



Мир приключений

Джек ЛОНДОН

Путешествие
на «Снарке»

Рассказы





Мир приключений

Джек ЛОНДОН

**Путешествие на «Снарке»
Рассказы**

МОСКВА · ИЗДАТЕЛЬСТВО « ПРАВДА »

1991

84. 7 США
Л 76

Переводы с английского

Послесловие
А. Ерохина

Иллюстрации
М. Петрова

Л $\frac{4703010100-2667}{080(02)-91}$ 2667—91

ISBN 5—253—00526—9

© Ерохин А. Послесловие. 1988
© Петров М. Иллюстрации. 1988

Путешествие на «Снарке»



Посвящается ЧАРМИАН — помощнице капитана «Снарка», становившейся к штурвалу и ночью и днем, на подходах к портам и при выходе из них, при следовании узкими проливами, при любой опасности — и заплакавшей после двух лет плавания, когда путешествие было прервано.

Глава I

ВСТУПЛЕНИЕ

Началось все в купальнях Глен-Эллен. Поплавав немного, мы ложились обыкновенно на песке, чтобы дать коже подышать теплым воздухом и напиться солнечным светом. Роско был яхтсменом. Я тоже побороздил в своей жизни моря. Поэтому рано или поздно разговор неизбежно должен был коснуться различного типа судов. Мы заговорили о яхтах и вообще о судах небольшого размера и об их мореходных качествах. Вспомнили капитана Слокума и его трехлетнее путешествие вокруг света на суденышке «Спрэй».

Мы утверждали, что совсем не страшно отправиться вокруг света на маленьком судне, ну, скажем, футов в сорок длинной... Более того, мы утверждали, что это даже доставило бы нам удовольствие. И договорились в конце концов до того, будто нам больше всего на свете хочется совершить такое плавание.

— За чем же дело стало? Поплыли! — сказали мы... в шутку.

Потом, когда мы остались одни, я спросил Чармиан, нет ли у нее и в самом деле такого желания, а она сказала, что это было бы так чудесно, что просто не верится.

В ближайший же день, когда мы опять проветривали кожу на песке у купальни, я сказал Роско:

— Давайте отправимся!

Я говорил совершенно серьезно, и он так меня и понял, потому что спросил:

— А когда?

Мне нужно было построить дом на своем ранчо, разбить фруктовый сад, виноградник, посадить вокруг ранчо живую изгородь — вообще переделать кучу различных дел. Мы решили, что отправимся лет этак через пять. Но соблазн приключений одолевал нас. Почему не отправиться теперь же? Никто из



нас не станет моложе через пять лет. Пусть сад, виноградник и живые изгороди разрастутся за время нашего отсутствия. Когда мы вернемся, они будут к нашим услугам. И мы тогда отлично проживем в сторожке, пока не будет выстроен дом.

Таким образом, вопрос был решен, и постройка «Снарка» началась. Мы называли его «Снарком» просто потому, что никакое другое сочетание звуков нам не нравилось, — говорю для тех, кто будет искать в этом названии какой-то скрытый смысл.

Друзья никак не могут понять, зачем нам понадобилась эта поездка. Они беспокоятся, ахают и всплескивают руками. Никакие доводы не могут заставить их понять, что мы просто пошли по линии наименьшего сопротивления; что отправиться по морю в маленькой яхте для нас легче и удобнее, чем остаться на суше, — совершенно так же, как для них гораздо легче и удобнее остаться дома, на суше, чем отправиться по морю в маленькой яхте. Все это происходит от преувеличенной оценки своего «я». Они не могут уйти от себя. Они не могут даже временно отрешиться от себя, чтобы увидеть: то, что для них есть линия наименьшего сопротивления, вовсе не обя-

зательно есть линия наименьшего сопротивления для других. Из собственных желаний, вкусов и предрассудков они делают аршин, которым меряют желания, вкусы и предрассудки всех других живых существ. Это очень нехорошо. Я так и говорю им. Но они не могут отрешиться от своих несчастных «я» даже настолько, чтобы выслушать меня. Они думают, что я сумасшедший. Я их понимаю. И со мной такое бывало. Мы все склонны предполагать, что если человек с нами не соглашается, значит, у него в голове что-то не в порядке.

А все потому, что сильнейший из побудителей на свете — этот тот, который выражается словами: так мне хочется. Он лежит за пределами философствования: он вплетен в самое сердце жизни. Пусть, например, разум, опираясь на философию, в течение целого месяца упорно убеждает некоего индивида, что он должен делать то-то и то-то. Индивид в последнюю минуту может сказать «я так хочу» и сделает что-нибудь совсем не то, чего добивалась философия, и философия оказывается посрамлена. Я так хочу — это причина, почему пьяница пьет, а подвижник носит власяницу; одного она делает кутилой, а другого анахоретом; одного заставляет добиваться славы, другого — денег, третьего — любви, четвертого — искать бога. А философию человек пускает в ход по большей части только для того, чтобы объяснить свое «хочу».

Так вот, если вернуться к «Снарку» и к вопросу, почему я захотел совершить на нем путешествие вокруг света, я скажу так. Мои «хочу» и «мне нравится» составляют для меня всю ценность жизни. А больше всего я хочу разных личных достижений — не для того, понятно, чтобы кто-то мне аплодировал, а просто для себя, для собственного удовольствия. Это все то же старое: «Это я сделал! Я! Собственными руками я сделал это!»

Но мои подвиги должны быть непременно материального, даже физического свойства. Для меня гораздо интереснее побить рекорд в плавании или удержаться в седле, когда лошадь хочет меня сбросить, чем написать прекрасный роман. Всякому свое. А другому, вероятно, приятнее написать прекрасный роман, чем победить в плавании или обуздать непослушную лошадь.

Подвиг, которым я, кажется, больше всего горжусь, подвиг, давший мне невероятно острое ощущение жизни, я совершил, когда мне было семнадцать лет. Я служил тогда на трехмачтовой шхуне, плававшей у японского побережья. Мы попали в тайфун. Команда провела на палубе почти всю ночь. Меня разбудили в семь утра и поставили к штурвалу. Паруса были

убраны до последнего лоскутка. Мы шли под голым рангоутом, однако шхуна неслась ходко. Высокие волны катились редко, на расстоянии в одну восьмую мили друг от друга, а ветер срывал их пенящиеся вершушки, и воздух до того был насыщен водяной пылью, что дальше второй волны ничего не было видно. Шхуна, собственно, почти не слушалась руля. Она то и дело принимала воду то правым, то левым бортом, беспорядочно тыкалась носом то вверх, то вниз, рыская по всем румбам от юго-запада до юго-востока, и каждый раз, когда налетающая волна поднимала ее корму, грозила развернуться бортом к ветру. А это означало верную гибель и для судна и для всей команды.

Я стал к штурвалу. Капитан несколько минут наблюдал за мною. Он, очевидно, боялся, что я слишком молод и что у меня не хватит ни силы, ни упорства. Но после того, как я несколько раз удачно выровнял шхуну, он спустился вниз завтракать. Весь экипаж находился внизу, так что если бы шхуна перевернулась, никто не успел бы выскочить на палубу.

В продолжение сорока минут я стоял у штурвала один, держа в руках бешено скачущую шхуну и двадцать две человеческих жизни. Один раз нас залило с кормы. Я видал, как волна налетает, и, почти захлебываясь под многими тоннами обрушившейся на меня воды, я все-таки не дал шхуне лечь на бок и не бросил штурвала. Через час меня сменили — я был весь в поту и совершенно без сил. Но все-таки я выполнил свое дело. Своими собственными руками я удержал шхуну на правильном курсе и провел сотню тонн дерева и железа через несколько миллионов тонн воды и ветра.

Я был счастлив потому, что мне это удалось, а вовсе не потому, что двадцать два человека знали об этом. Через год половина из них умерла или разбрелась по белу свету, но моя гордость не уменьшилась от этого. Впрочем, я должен сознаться, что небольшую аудиторию я все-таки иметь не прочь. Только она должна быть совсем-совсем небольшая и состоять из людей, которые любят меня и которых я тоже люблю. Если мне удастся совершить перед ними что-нибудь выдающееся, я чувствую, что оправдываю этим их любовь ко мне. Но тут уже нечто совсем другое, чем удовольствие от самого свершения. Это удовольствие принадлежит мне одному безраздельно и совершенно не зависит от присутствия или отсутствия свидетелей. Удача приводит меня в восторг. Я весь загораюсь. Я чувствую в себе особенную гордость, которая принадлежит мне и только мне. Это что-то физическое. Все фибры моего существа радостно трепещут от гордости. И это, конеч-

но, вполне естественно. Человек испытывает глубочайшее удовлетворение оттого, что ему удалось так хорошо приспособиться к среде. Удачное приспособление к среде — вот что такое успех.

Жизнь живая — это жизнь успеха; успех — биение ее сердца. Преодоление большой трудности — это всегда удачное приспособление к суровой, требовательной среде. Чем больше препятствия, тем больше удовольствие от их преодоления. Возьмите, например, человека, который прыгает с трамплина в воду: он делает в воздухе полуоборот всем телом и попадает в воду всегда головой вперед. Как только он оттолкнется от трамплина, он попадает в непривычную, суровую среду, и столь же сурова будет расплата, если он не справится с задачей и упадет на воду плашмя. Разумеется, ничто, собственно, не заставляет его подвергать себя риску такой расплаты. Он может спокойно остаться на берегу в безмятежном и сладостном окружении летнего воздуха, солнечного света и устойчивой неподвижности. Но что поделаешь, человек создан иначе! В короткие мгновения полета он живет так, как никогда не жил бы, оставаясь на месте.

Я, во всяком случае, предпочитаю быть на месте этого прыгуна, чем на месте субъектов, которые сидят на берегу и наблюдают за ним. Вот почему я строю «Снарк». Что поделаешь, так уж я создан. Хочу так — и все тут. Поездка вокруг света сулит мне богатые, полноценные мгновения жизни. Согласитесь со мной на одну минуту и посмотрите на все с моей точки зрения. Вот перед вами я, маленькое животное, называемое человеком, комочек живой материи, сто шестьдесят пять фунтов мяса, крови, нервов, жил, костей и мозга, — и все это мягко, нежно, хрупко и чувствительно к боли. Если я ударю тыльной стороной руки, совсем не сильно, по морде непослушной лошади, я рискую сломать себе руку. Если опущу голову на пять минут под воду, то я уже не выплыву, — я захлебнусь. Если упаду с высоты двадцати футов — разобьюсь насмерть. Мало того, я существую только при определенной температуре. Несколькими градусами ниже — и мои пальцы и уши чернеют и отваливаются. Несколькими градусами выше — и моя кожа покрывается пузырями и лопается, обнажая болезненное, кровоточащее мясо. Еще несколько градусов ниже или выше — и свет и жизнь внутри меня гаснут. Одна капля яду от укуса змеи — и я не двигаюсь и никогда больше не буду двигаться. Кусочек свинца из винтовки попадает мне в голову — и я погружаюсь в вечную тьму.

Хрупкий, беспомощный комочек пульсирующей протоплазмы — вот что такое я. Со всех сторон меня окружают стихии природы, грандиозные опасности, титаны разрушения — чудища, чуждые сострадания, которым до меня дела не больше, чем мне до той песчинки, которую я топчу ногами. Им вовсе нет до меня дела. Они не ведают о моем существовании. Это силы неразумные, беспощадные, не разбирающие добра и зла. Циклоны и самумы, молнии, водовороты, трясины, приливы и отливы, землетрясения, грохочущие прибои, что налетают на каменные утесы, волны, что заливают палубы самых больших кораблей, слизывая с них людей и лодки. И все эти бесчувственные чудища знать ничего не знают о слабеньком, чувствительном создании, сотканном из нервов и недостатков, которое люди называют Джеком Лондоном и которое о себе довольно высокого мнения и даже считает себя существом высшего порядка.

И вот в хаосе столкновений всех этих грандиозных и опасных титанов я должен прокладывать себе дорогу. Комочек жизни, называемый «я», хочет восторжествовать над ними всеми. И всякий раз, когда комочек жизни, называемый «я», ухитряется провести их или обуздать и заставить работать на себя, он склонен считать себя богоравным. Это ведь совсем не плохо — оседлать бурю и чувствовать себя богом. Я осмелюсь утверждать даже, что когда комочек живой протоплазмы чувствует себя богом, это выходит гораздо более гордо, чем когда такое чувство испытывает бог.

Вот море, ветер и волны. Вот моря, ветры и волны всего мира. Вот она, самая жестокая, свирепая среда. И приспособиться к ней трудно, но приспособиться к ней — наслаждение для комочка, трепещущего тщеславия, называемого «я». Я хочу! Я так создан. Это моя специфическая форма тщеславия — вот и все.

Впрочем, в путешествии на «Снарке» есть еще и другая сторона. Поскольку я живу, постольку я хочу смотреть и видеть, а увидеть целый мир — это немножко больше, чем видеть собственный городок или долину.

Мы не слишком много думали о нашем маршруте. Решено было только одно: наша первая остановка будет в Гонолулу. А куда мы направимся после Гавайских островов, мы в точности не знали. Это должно было решиться уже на месте. В общем, мы знали только, что обойдем все Южные моря, заглянем на Самоа, в Новую Зеландию, Тасманию, Австралию, Новую Гвинею, на Борнео и на Суматру, затем отправимся на север, в Японию, через Филиппинские острова. Потом очередь

будет за Кореей, Китаем, Индией, а оттуда в Красное море и в Средиземное. Затем предположения становились уже окончательно расплывчатыми, хотя много отдельных деталей было установлено совершенно точно — между прочим, и то, что в каждой из европейских стран мы проведем от одного до трех месяцев.

«Снарк» будет парусником. На нем установят бензиновый двигатель, но мы будем пользоваться им только в самых крайних случаях, как, например, среди рифов, где штиль в соединении с быстрыми течениями делает всякое парусное судно совершенно беспомощным. По оснастке «Снарк» задуман так называемым «кечем». Оснастка кеча — это нечто среднее между оснасткой пола и шхуны. За последние годы признано, что оснастка пола наиболее удобна для дальних плаваний в одиночку. Кеч сохраняет все преимущества пола и в то же время приобретает некоторые выгодные качества шхуны. Впрочем, все предыдущее следует принимать пока не совсем всерьез. Это только теории. Я еще ни разу не плавал на кече и даже не видал ни одного кеча. Теоретически это все для меня неоспоримо. Однако вот погодите: выйду в открытое море и тогда смогу рассказать подробнее о всех свойствах и преимуществах кеча.

Первоначально предполагалось, что «Снарк» будет иметь сорок футов длины по ватерлинии. Но обнаружилось, что не хватит места для ванны, и поэтому мы увеличили длину до сорока пяти футов. Наибольшая ширина его — пятнадцать футов, ни трюма, ни рубки нет. Каютная надстройка, расположенная в носовой части, занимает шесть футов, а палуба совершенно пустая — только два сходных трапа и люк. Благодаря тому, что палуба не отягощена надстройками, мы будем в большей безопасности, когда многие тонны воды начнут обрушиваться на нас через борт. Широкий, вместительный утопленный в палубу кокпит с высоким ограждением и самоотливающей системой труб должен был сделать возможно более комфортабельными наши ночи и дни в дурную погоду.

Команды у нас не будет. Вернее, командой будет Чармиан, Роско и я. Мы все будем делать сами. Мы обойдем земной шар своими силами. Проплывем ли благополучно или потопим наше суденышко — во всяком случае, это все мы сделаем собственными руками. Разумеется, у нас будут повар и мальчик для услуг. Зачем нам в самом деле торчать у плиты, мыть посуду и накрывать на стол? Это мы могли бы делать с успехом и дома. Да, наконец, у нас достанет дела управляться с судном. Мне же, кроме того, придется заниматься и своим обычным

ремеслом — писать книги, чтобы прокормить всю компанию и иметь возможность покупать новые паруса и снасти для «Снарка» и вообще поддерживать его в полном порядке. А потом у меня есть еще и ферма, и я должен заботиться о том, чтобы виноградник, огород и изгородь процветали в мое отсутствие.

Когда мы увеличили длину «Снарка», чтобы выиграть место для ванной, то оказалось, что у нас еще остается немного свободного пространства, можно поставить более крупный двигатель. У нас будет мотор в семьдесят лошадиных сил, и так как предполагается, что он даст нам девять узлов ходу, то, значит, на всем свете не существует реки, с течением которой мы не могли бы справиться.

Мы собираемся, видите ли, провести много времени внутри материков. Небольшие размеры «Снарка» делают это вполне возможным. При входе в реку паруса и мачты убирают и пускают в ход машину. Заранее намечены каналы Китая и река Янцзы. Мы проведем на них целые месяцы, если только получим разрешение от правительства. Эти разрешения от правительства, конечно, будут служить постоянным препятствием для внутриматериковых экскурсий. Но зато, если мы их получим, мы сможем увидеть очень многое.

Когда мы доберемся до Египта, мы отлично можем подняться вверх по Нилу. По Дунаю мы поднимемся до Вены, по Темзе до Лондона, по Сене до Парижа, а там станем на якорь против Латинского квартала, носом на Нотр-Дам, кормой к моргу. Из Средиземного моря мы поднимемся по Роне до Лиона, пройдем в Сону, из Соны в Марну Бургундским каналом, из Марны опять в Сону и потом опять в море мимо Гавра. А когда переплывем Атлантический океан к Соединенным Штатам, можем подняться вверх по Гудзону, пройти каналом Эри в Большие Озера, выйти из Мичигана у Чикаго, через реку Иллинойс и соединительный канал попасть в Миссисипи и вниз по Миссисипи до Мексиканского залива. А потом еще предстоят большие реки Южной Америки. Одним словом, когда мы вернемся обратно в Калифорнию, мы уже будем знать кое-что из географии.

Люди, строящие себе дома, очень часто приходят в отчаяние от всех хлопот, связанных с этим; но если есть между ними такие, кому нравится напряжение стройки, я посоветовал бы им лучше построить такое судно, как «Снарк». Представьте себе на мгновение, сколько разных вещей держат нас в постоянном напряжении. Возьмем, например, мотор. Какой лучше взять? Двухтактный? Трехтактный? Четырехтактный? Мои

губы совершенно измучены и исковерканы невероятным жаргоном, а мой мозг исковеркан еще более странными и непривычными для него понятиями и совершенно отбил себе ноги в этих новых, скалистых областях мысли. Теперь зажигание: какое лучше — батарейное с прерывателем или магнето?

И дальше: что лучше — сухие батареи или аккумуляторы? Как будто аккумуляторы, но для них нужно динамо; если динамо, то какой мощности? Но раз уж у нас будет динамо и аккумуляторы, то смешно было бы не осветить судно электричеством. Тогда выдвигается вопрос: сколько лампочек и во сколько свечей? Идея сама по себе великолепна. Однако для электрического освещения понадобятся более емкие аккумуляторы, которые, в свою очередь, потребуют более мощной динамо-машины.

Но если уж на то пошло, почему бы не завести и прожектор? Он был бы нам чрезвычайно полезен. Но прожектор поглощает так много электрической энергии, что, когда он будет в действии, всякий другой свет придется выключать. Опять то же затруднение: нужны аккумуляторы и динамо большего размера. И когда все как будто выясняется, вдруг кто-то спрашивает: «А что если мотор вдруг перестанет работать?» Мы пропали! Ведь у нас бортовые огни, якорный огонь и компас, который должен быть всегда освещен! Это вопрос жизни и смерти. Выходим из затруднения: наряду с электричеством у нас будут простые керосиновые лампы.

Однако с мотором так легко не разделаешься. Машина сильна. А мы слабы: нас всего двое не очень крупных мужчин и одна маленькая женщина. Мы надорвем себе все жилы, мы надорвем свое здоровье, если будем выбирать якорь вручную. Пусть лучше поработает за нас машина. Тогда возникает вопрос о передаче энергии от двигателя к брашпилю. Когда все это окончательно решено, мы начинаем распределять пространство между машинным отделением, камбузом, ванной, кают-компанией и отдельными каютами, и сказка про белого бычка начинается сызнова. Наконец, когда вопрос с мотором выяснен окончательно, я посылаю в Нью-Йорк по телеграфу следующую тарабарщину: «Шарнирную передачу оставить поместите соответственно упорный подшипник расстояний десяти футов шести дюймов передней части маховика ближе корме».

Увлечение, хлопоты — хорошая вещь, но попробуйте-ка потанцевать около вопроса, какая система рулевого привода будет лучше, или решить, как обтягивать такелаж: по-старому — талями — или по-новому — винтовыми талрепами. Как по-

местить компас: ровно посередине, против штурвала, или несколько в стороне от него? У заправских моряков по поводу всех этих тонкостей имеются целые библиотеки. Потом выдвигается вопрос о хранении бензина, которого будет тысяча пятьсот галлонов; вопрос о лучшей системе огнетушителей на случай его воспламенения. Затем маленькая тонкая проблема спасательной шлюпки. Когда, наконец, и с этим покончено, вылезает кок с мальчиком для услуг и со всеми прочими кошмарными подробностями. Наше судно очень невелико, и мы будем в нем очень плотно упакованы. Вот почему все сложности, связанные с подысканием прислуги на суше, совершенно бледнеют в сравнении с нашими. Мы нашли одного боя, и у нас гора с плеч свалилась, но он вдруг влюбился и отказался ехать.

Где же тут найти время проштудировать навигацию, еслирываешься между всеми этими неотложными вопросами и необходимостью заработать деньги, чтобы иметь право ставить себе эти вопросы! Ни Роско, ни я, собственно, навигации не знали, а лето уже прошло, скоро мы двинемся; вопросов все больше и больше, сокровищница же наших знаний по-прежнему наполнена благими намерениями. Ну да ладно, чтобы стать моряком, нужны годы, а мы с Роско как-никак моряки! Если мы не найдем времени сейчас, мы захватим с собой книги и инструменты в достаточном количестве и будем изучать навигацию в открытом море, между Сан-Франциско и Гавайскими островами.

Есть еще одна сторона нашего путешествия на «Снарке» — чрезвычайно печальная и даже опасная. Роско является последователем некоего Сайруса Р. Тиды, а этот Сайрус Р. Тид придерживается космографии, несколько отличающейся от общепринятой. Роско полагает вместе с ним, что поверхность Земли вогнутая и что мы живем на внутренней стороне поллой сферы. Таким образом, хотя мы с ним будем плыть на одном и том же судне — на «Снарке», но Роско будет путешествовать вокруг света по внутренней стороне сферы, а я — по внешней. Но к этому я еще вернусь впоследствии. Возможно, что к концу плавания мы договоримся до чего-нибудь. Я лично надеюсь, что мне удастся уговорить его закончить путешествие на внешней стороне, но беда в том, что он, в свою очередь, надеется, что еще до возвращения в Сан-Франциско я окажусь внутри Земли. Как он умудрится протащить меня сквозь земную кору, я не знаю, но только Роско — очень способный человек.

Р. S. Кстати о моторе. Если уж у нас будут мотор, и динамо, и аккумуляторы, то почему бы не завести машины для приготовления искусственного льда? Лед в тропиках! Да ведь это будет полезнее для нас, чем хлеб! Да будет лед!.. Теперь я погружаюсь в химию: и опять болят мои губы, и опять болят мои мозги, и опять неизвестно, где взять время на изучение навигации...

Глава II

НЕПОСТИЖИМОЕ И ЧУДОВИЩНОЕ

— Не жалейте денег,— сказал я Роско.— Пусть на «Снарке» все будет самое лучшее. О внешнем виде не очень заботьтесь. На мой взгляд, нет ничего лучше обшивки из простых сосновых досок. Все деньги вкладывайте в конструкцию. «Снарк» должен быть крепким и остойчивым, как ни одно судно в мире. Все равно, чего бы это ни стоило! Вы только смотрите, чтобы оно было крепким и остойчивым, а я буду писать и писать и достану денег, чтобы оплатить все.

И я доставал... доставал, сколько мог, ибо «Снарк» пожирает деньги быстрее, чем я их зарабатывал. В самом непродолжительном времени мне пришлось брать в долг, в дополнение к моему заработку. Иногда я занимал тысячу долларов, иногда две, а иногда и пять. И ежедневно я продолжал зарабатывать и тратить на «Снарк» все заработанное. Я работал и в воскресенье, никаких праздников у меня не было. Но дело стоило того. Всякий раз, когда я вспоминал о «Снарке», я думал: для него стоит поработать, стоит!

Милейший читатель, вы должны познакомиться с главными достоинствами «Снарка». Длина его — сорок пять футов по ватерлинии. Обшивка днища — в три дюйма толщиной. Бортовая обшивка — два с половиной дюйма. Палубный настил — в два дюйма. Ни в одной доске нет ни одного сучка — это я знаю наверное, потому что они специально заказаны в Пюджет-Саунде. В корпусе «Снарка» четыре отсека, непроницаемые для воды, — иначе говоря, он разделен поперек тремя водонепроницаемыми переборками. Таким образом, если бы даже «Снарк» получил основательную течь, только один отсек будет залит водой, а три других будут поддерживать его на поверхности и дадут нам возможность заделать пробойну. Эти переборки имеют еще одно важное преимущество. В последнем отсеке помещается шесть баков, а в них — тысяча гал-

лонов бензина. Бензин, как известно, — вещь очень опасная на маленьком судне в открытом море. Но если шесть баков, которые, конечно, не текут, поставлены в отдельном помещении, герметически изолированном, то опасность, как видите, невелика.

«Снарк» — парусник. Он так и строился, чтобы ходить под парусами. Но, между прочим, в качестве дополнения на нем был установлен двигатель в семьдесят лошадиных сил. Двигатель хорош. Я это знаю. И не могу не знать, так как заплатил за его доставку из Нью-Йорка. На палубе над машинным отделением помещается брашпиль. Это чудеснейшая штука. Она весит несколько сот фунтов и занимает немало места. Вы понимаете, смешно выбирать якорь вручную, когда у нас на судне машина в семьдесят лошадиных сил. Мы установили соединенный с мотором привод, который был специально заказан на чугунолитейном заводе в Сан-Франциско.

«Снарк» решено было сделать комфортабельным, и денег на это не жалели. Например, ванная. Правда, она невелика, но зато в ней все удобства любой ванной комнаты на суше. Это не ванная, а мечта, пленительный сон о насосах, рычагах, клапанах, кранах и прочих остроумных изобретениях. Ну, зато я лежал ночи напролет с открытыми глазами, обдумывая эту ванную. Но ванная — это еще не все, у нас есть спасательная шлюпка и моторная лодка. Они помещаются на палубе и отнимают там последнее свободное место. Но ведь это своего рода страхование жизни, и всякий осторожный человек, даже если ему и удастся построить такое крепкое и стройное судно, как «Снарк», непременно захочет иметь в придачу спасательную лодку. А у нас хорошая шлюпка. Прямо игрушка, а не шлюпка. По смете она должна была стоить сто пятьдесят долларов, а когда дошло дело до платежа, мне пришлось выложить триста девяносто пять. По этому можно, конечно, судить, насколько она хороша.

Я мог бы очень долго перечислять все разнообразные достоинства и преимущества «Снарка», но я воздерживаюсь. Я и так хвастался достаточно и сделал это с определенной целью, как станет видно еще до конца настоящей главы: будьте любезны вспомнить ее заголовок — «Непостижимое и чудовищное». Решено было, что «Снарк» отплывает 1 октября 1906 года. Что он не отплыл, было непостижимо и чудовищно. И, главное, не было никаких разумных оснований для этого, разве вот только, что он не был готов. Но почему он не был готов, на это опять-таки не было никаких разумных оснований. Окончание постройки было обещано к 1 ноября, потом

к 15-му, потом к 1 декабря, но «Снарк» не был готов и к этому сроку. Первого декабря мы с Чармиан покинули нашу милую, тихую Сономскую Долину и переехали в душный, зловонный город — ненадолго, конечно, о нет, всего каких-нибудь недели на две: 15 декабря мы должны были выйти в плавание. В этом не могло быть никаких сомнений, потому что так сказал Роско, это был его совет — переехать в город за две недели до отплытия. Увы, прошло две недели, прошло четыре недели, прошло шесть недель, прошло восемь недель, а мы были дальше от этого долгожданного момента, чем когда-либо. Вы ждете объяснений? От кого? От меня? Я не могу их дать. Это единственная вещь в моей жизни, от объяснения которой я просто увернулся. Да и нет никаких объяснений, а то я бы, конечно, дал их. Я работник слова, и я признаю свою полную неспособность объяснить словами, почему «Снарк» не был готов. Я уже сказал и должен повторить еще раз: это было непостижимо и чудовищно.

Восемь недель превратились в шестнадцать, и тогда в один прекрасный день Роско порадовал нас словами:

— Если мы не выйдем в море к первому апреля, отдаю вам свою голову, и можете сделать из нее футбольный мяч.

А через две недели он сказал:

— Боюсь, что мне пора пустить голову на футбольные тренировки.

— Ну, не беда! — говорили мы с Чармиан друг другу. — Зато какое это будет удивительное судно, когда оно будет готово!

И тогда, для обоюдного ободрения, мы принимались перечислять все многочисленные и разнообразные достоинства «Снарка». А я опять занимал деньги и опять сидел за письменным столом, писал еще настойчивее и героически отказывался от воскресений и от прогулок за город с друзьями. Я строил судно — и, клянусь вечностью, оно должно быть настоящим судном, с большой буквы — Судно, чего бы это мне ни стоило.

О, я забыл еще одно удивительное качество «Снарка», которым я должен похвастать, — это конфигурация его носа! Ни одна волна не могла бы залить такой нос. Ему не страшны никакие волны. Он смеется над ними. Он бросает океану вызов. И при всем том он красив: его линии — это целая сказка. Вряд ли есть еще судно на свете, благословенное таким же красивым и в то же время практичным носом. Он создан для того, чтобы побеждать ураганы. Один взгляд на него убеждал, что ради такого носа все затраты — ничто. И всякий раз, когда наше плавание откладывалось или приходилось делать допол-

нительные расходы, мы вспоминали об изумительном носе и успокаивались.

«Снарк» — небольшое судно. Когда я прикинул, что оно обойдется мне в семь тысяч долларов, мой подсчет был трезв и щедр. Мне приходилось строить амбары и дома, и я знаю, что стоимость постройки всегда имеет склонность выйти далеко за пределы первоначальной сметы. Это я знал, я это учел, когда исчислял предположительную стоимость «Снарка» в семь тысяч долларов. Но он обошелся мне в тридцать тысяч. И, пожалуйста, не задавайте мне вопросов! Это истинная правда. Я сам подписывал чеки и добывал деньги. Разумеется, объяснить это невозможно. Это непостижимо и чудовищно, как вы, конечно, со мной согласитесь, когда дочитаете мой рассказ.

Потом началась история со сроками. Я имел дело с представителями сорока семи артелей и со ста пятнадцатью различными фирмами. И ни один рабочий, ни одна фирма не сдали мне работы в заранее установленный срок — вовремя они являлись только за деньгами и счетами. Все клялись мне бесмертием своей души, что исполнят работу в такой-то срок, и, как правило, после такой клятвы больше чем на три месяца не опаздывали. Так шло время, и мы с Чармиан утешали друг друга разговорами о том, какое чудесное судно «Снарк» — остойчивое и крепкое; мы садились в маленькую лодочку, объезжали вокруг «Снарка» и восхищались его необыкновенным, чудесным носом.

— Представь себе, — говорил я Чармиан, — шторм у берегов Китая, «Снарк» лежит в дрейфе, и его изумительный нос направлен наперерез волнам. Ни одна капля воды не перекатится через него. Он будет сух, как перышко, а мы, пока бушует буря, будем внизу, в каюте, играть в вист.

И Чармиан восторженно сжимала мою руку и восклицала:

— Он стоит всего этого — просрочек, расходов, усталости и всего прочего! В самом деле, что за чудесное судно!

Когда я глядел на нос «Снарка» или думал о его водонепроницаемых переборках, я ощущал прилив бодрости. Но на остальных это не действовало. Мои друзья начали каждый раз заключать с нами пари, что мы не снимемся в назначенный срок. Первым выиграл пари мистер Виджет, которому мы поручили следить за нашей усадьбой в Сономе. Он выиграл это пари в день нового, тысяча девятьсот седьмого года. Вслед за тем пари на нас так и посыпались. Мои друзья набросились на меня, подобно толпе гарпий, держа пари против любого срока отплытия, который я назначал. Я был безрассуден

и упрям. Я заключал одно пари за другим, и мне приходилось платить. Жены моих добрых друзей осмелели настолько, что даже те, которые никогда до сих пор не бились об заклад, заключали пари со мною. И им я тоже платил мои проигрыши.

— Это ровно ничего не значит,— сказала мне Чармиан.— Подумай только, какой у «Снарка» нос и как мы будем лежать в дрейфе в Китайском море!

— Видите ли,— сказал я моим друзьям, рассчитываясь за последнюю партию проигранных пари,— мы не жалеем ни трудов, ни денег, лишь бы «Снарк» был самым лучшим судном, какое когда-либо выходило под парусами через Золотые Ворота. Вот и задерживаемся немного.

Между тем издатели, с которыми у меня были заключены договоры, осаждали меня и требовали объяснений. Но что же я мог объяснить им, когда я и себе-то объяснить ничего не мог и когда никто, даже Роско, ничего не понимал? Газеты стали подсмеиваться надо мной и помещать юмористические куплеты на отплытие «Снарка» с припевами вроде: «Скоро, скоро, только не сегодня!»

Но Чармиан снова подбадривала меня, напоминая мне о носе, и я шел к банкиру и брал еще пять тысяч долларов под векселя.

Однако нет худа без добра, и наша задержка тоже сослужила мне службу. Один из моих приятелей, считающий себя критиком, написал статью, где разделал меня в пух и прах, и не только за то, что я уже создал, но и за все то, что я когда-либо в своей жизни еще создам; он рассчитывал, что статья выйдет, когда я буду уже в океане. Но она вышла, а я все еще сидел на берегу, и ему пришлось изворачиваться, придумывая объяснения.

А время шло. С каждым днем становилось очевидным только одно, а именно, что в Сан-Франциско постройку «Снарка» закончить не удастся. Он так долго строился, что начал разваливаться и изнашиваться, и это изнашивание шло скорее, чем могла идти починка. Он стал некоей притчей во языцех. Никто не относился к нему всерьез, а меньше всего те, кто на нем работал. Тогда я сказал, что пуцу его таким, как он есть, и закончу постройку в Гонолулу. После этого он дал течь, которую, конечно, надо было заделать до отплытия. Пришлось ввести его в док. Но во время этой операции его здорово стиснуло между двумя баржами и помяло ему бока. В доке мы поставили его на катки, но когда мы стали его вытаскивать, катки разъехались, и корма увязла в иле.

Теперь он перешел из рук судостроителей в руки спасателей поврежденных судов. В сутки бывает два прилива, и во время каждого прилива, днем и ночью, целую неделю напролет, два буксирных парохода тащили «Снарк». А он, искалеченный и разбитый, сидел кормой в иле. Тогда, чтобы выбраться из этого плачевного положения, мы решили пустить в дело изготовленный в местной литейной мастерской цепной привод, который должен был передавать вращение от нашего двигателя на брашпиль. Мы в первый раз прибегали к этому приспособлению. Но цепь оказалась с изъяном: звенья ее распались, и брашпиль остался без привода. Вслед за тем вышел из строя семидесятисильный двигатель. Двигатель этот был заказан в Нью-Йорке; так значилось на дощечке, прикрепленной к его основанию; но основание тоже оказалось с изъяном, и семидесятисильная машина отломилась от треснувшего основания, подскочила в воздух, сокрушая все болты и крепления, и повалилась на бок. А «Снарк» продолжал сидеть в иле, и два буксирных парохода продолжали безуспешно тащить его.

— Ничего,— сказала Чармиан,— зато подумай только, какой он крепкий и остойчивый.

— Да,— сказал я,— и какой у него изумительный нос!

Итак, мы собрались с духом и продолжали начатое. Поломанный двигатель мы привязали к его негодному основанию; разлетевшуюся передачу мы сняли и спрятали отдельно,— все это мы сделали, чтобы после, в Гонолулу, произвести необходимые починки и заказать новые звенья для передачи. Когда-то, в туманной дали времен, «Снарк» покрыли белым грунтом, по которому собирались красить его дальше. При внимательном исследовании и теперь еще видны были следы окраски. Но внутри «Снарк» так и не удалось покрасить. Внутри он был покрыт жирным слоем грязи и табачного сока, который оставили все многочисленные рабочие, перебивавшие на нем. Но мы относились к этому спокойно; сор и грязь нетрудно счистить, а позже, когда мы доберемся до Гонолулу, можно будет покрасить «Снарк» при его ремонте.

С большим трудом нам удалось стащить «Снарк» с того места, где он застрял, и поставить его у Оклэндской пристани. Мы привезли на телегах из дому всякую утварь, и книги, и одеяла, и багаж наш, и наших служащих. Одновременно с этим лавиной посыпалось и все остальное, дрова и уголь, вода и резервуары для воды, овощи, провизия, керосин, спасательная шлюпка, моторная лодка, все наши знакомые, все знакомые наших знакомых и все те, кто утверждал, будто они

знакомые наши, да к тому же еще кое-какие знакомые тех, кто был знаком со знакомыми кое-кого из членов нашей команды. Были здесь также репортеры, и фотографы, и совсем посторонние люди, и над всем этим носились облака угольной пыли с пристани.

Было решено, что мы снимемся в воскресенье, в одиннадцать утра. Наступил вечер субботы. И толпа и угольная пыль были особенно густы в этот день. В одном кармане у меня была чековая книжка, вечное перо и промокательная бумага; в другом кармане — около двух тысяч долларов золотом и банковыми билетами. Я готов был встретить кредиторов: мелких — наличными, солидных — чеками — и ждал только Роско, который должен был привезти счета ста пятнадцати фирм, задержавших меня здесь столько месяцев.

И вдруг еще раз совершилось непостижимое и чудовищное. Раньше чем успел приехать Роско, приехал другой. Этот другой был судебным приставом Соединенных Штатов. Он укрепил бумажку на гордой мачте «Снарка», и все на пристани могли прочесть, что на «Снарк» наложен арест за неуплату долгов. Затем судебный пристав оставил «Снарк» на попечение маленького старичка, а сам удалился. Теперь я уже не имел власти над «Снарком» и над его изумительным носом. Теперь его господином и повелителем был маленький старичок, который любезно разъяснил мне, что начиная с этого дня я буду выплачивать ему три доллара ежедневно за то, что он будет господином и повелителем «Снарка». От него я узнал также имя человека, наложившего на «Снарк» арест. Это был некто Селлерс, а долг был в двести тридцать два доллара, — долг был не больше, чем можно было ждать от носителя такой фамилии. Селлерс¹! Праведные боги! Селлерс!

Но кто был этот Селлерс, черт возьми? Я заглянул в чековую книжку и нашел, что две недели тому назад уплатил ему пятьсот долларов. Из рассмотрения других чековых книжек обнаружилось, что в течение длительной постройки «Снарка» я выплатил ему несколько тысяч долларов. Так почему, скажите, хотя бы просто из приличия он не представил своего жалкого счета, вместо того чтобы накладывать арест на «Снарк»? Я засунул руки в карманы и нащупал в одном чековую книжку и перо, а в другом — золото и бумажки. Там было достаточно денег, чтобы несколько раз оплатить его грошовый счет... Но тогда зачем? Почему? Объяснений не было: просто это было непостижимо и чудовищно.

¹ Sellers (англ.) — торгош, купец.

Хуже всего оказалось то, что «Снарк» был опечатан в субботу вечером; я хотя и немедленно отправил адвокатов и различных агентов по всему Оклэнду и Сан-Франциско, никого найти не удалось — ни судью, ни судебного пристава, ни мистера Селлерса, ни адвоката мистера Селлерса. Все, решительно все уехали на воскресенье из города. Вот почему «Снарк» не снялся с якоря в воскресенье, в одиннадцать утра. Маленький старичок был на своем посту и сказал: «Нет». А мы с Чармиан прогуливались напротив «Снарка» по пристани и восхищались его изумительным носом, воображая, как он будет пронзать все штормы и тайфуны.

— Глупая буржуазная выходка! — говорил я Чармиан, имея в виду Селлерса и наложенный им арест. — Поступок перетрусившего мелкого торгаша. Но это не беда. Как только мы выйдем в открытое море, все неприятности кончатся.

И мы, действительно, наконец отплыли — во вторник, 13 апреля 1907 года. Отплыли, надо сознаться, без всякого шика. Якорь нам пришлось выбирать вручную, потому что передаточный привод был разбит вдребезги. Обломки двигателя в семьдесят лошадиных сил тоже пришлось сложить в трюм в качестве балласта. Но это же пустяки в конце концов. Все это можно было наладить в Гонолулу. Зато в остальном наш корабль великолепен. Правда, двигатель на моторной лодке отказался действовать, а спасательная шлюпка текла, как решето, но в конце концов это все были приложения к «Снарку», а не сам «Снарк». «Снарк» — это водонепроницаемые переборки, солидная обшивка, без единого сучка, все приспособления ванной комнаты — вот что такое «Снарк». Но выше всего был, конечно, благородно-пронзительный нос «Снарка», который победно пронзит все ветры и волны.

Мы прошли через Золотые Ворота и повернули на юг, рассчитывая попасть в полосу северо-восточных пассатов. Не успели мы двинуться, как начались приключения. Я сообразил заранее, что для такого путешествия, как наше, молодость важнее всего, а потому взял с собой целых три молодости: молодость повара, молодость мою и молодость мальчика для услуг. Оказалось, что я ошибся только на две трети. Я забыл, что молодость часто подвержена морской болезни. В двух случаях из трех именно это и произошло. Как только мы вышли в открытое море, кок и бой забрались на свои койки и больше от их молодости целую неделю не было никакого прока. Из вышеизложенного ясно, что мы были лишены горячей пищи и должной чистоты и порядка в каютах и на палубе. Но это нас не слишком огорчило, ибо мы вскоре обнаружили,

что ящик с апельсинами где-то и когда-то промерз; что яблоки заплесневели и загнили; что корзина капусты была доставлена уже в гнилом виде и подлежала немедленному удалению за борт; что в морковь попал керосин, брюква была, как дерево, а свекла испорчена; что растопка трухлявая и гореть не будет; что уголь, доставленный в дырявых мешках из-под картофеля, рассыпается по палубе и его смывает водой.

Но в конце концов это тоже пустяки — детали, подробности, не больше. Все дело в самом судне, а оно, как вы знаете, было прекрасно... Я прошелся по палубе и меньше чем в минуту насчитал четырнадцать сучков в ее великолепном настиле, заказанном специально в Пюджет-Саунде с той целью, чтобы сучков в ней не было. К тому же палуба протекала, здорово протекала. Роско принужден был покинуть свою койку, инструменты в машинном отделении заржавели, не говоря уже о провизии в камбузе, испорченной от соленой воды. Протекали также борта «Снарка», протекало и днище, и мы должны были выкачивать воду каждый день, чтобы не пойти ко дну. Пол камбуза у нас на два фута возвышается над внутренней обшивкой днища, но когда я забрался в камбуз, чтобы поискать чего-нибудь съедобного, то промочил ноги до колен, и это через четыре часа после того, как вся вода была старательно выкачана!

А наши пресловутые водонепроницаемые переборки, на которые было ухлопано столько времени и денег, оказались, увы, вполне проницаемыми. Вода свободно, точно воздух, проходила из отделения в отделение; мало того: от нее заметно несло бензином, и это позволило мне заключить, что некоторые из герметически запертых в кормовом отсеке бензиновых баков, очевидно, текут. Итак, баки текли и не были герметически изолированы от остального судна. Наконец, если уж говорить о ванной и всех ее приспособлениях, то придется констатировать, что все ее усовершенствованные краны и насосы пришли в негодность в первые же двадцать часов путешествия. Мощные железные насосы сломались у нас под рукой при первой же попытке накачать воду. Наша ванная вышла на судне из строя раньше всего остального.

И все металлические части «Снарка», откуда бы они ни были доставлены, никуда не годились. Основание двигателя, например, было из Нью-Йорка, и оно никуда не годилось; цепь для привода у брашпиля была из Сан-Франциско, и она тоже никуда не годилась. Наконец, железные поковки, входившие в такелаж, разлетелись по всем направлениям при первом на-

поре ветра. Представьте себе — кованое железо, а оно полопалось, как лапша!

Вертлюг с грота-гафеля сломался сразу же. Мы заменили его вертлюгом с гафеля штормового грота, и второй вертлюг сломался, не прослужив и четверти часа, а его — подумайте только! — мы взяли с гафеля штормового грота, от крепости которого зависела наша жизнь в случае шторма. Сейчас грот «Снарка» болтается, как сломанное крыло, оттого что вертлюг гафеля мы заменили простой веревкой. Попытаемся добыть доброкачественное железо в Гонолулу.

Люди обманули нас и отправили по морю в решетке, но господь бог, очевидно, нас возлюбил, ибо погода стояла все время тихая и прекрасная, и мы на досуге могли убедиться в том, что, во-первых, воду надо откачивать каждый день, если не хотим потонуть, и в том, во-вторых, что скорее можно положиться на прочность деревянной зубочистки, чем на крепость самой массивной металлической части нашего судна. И вот по мере того, как на наших глазах развеивался миф о прочности и остойчивости «Снарка», мы с Чармиан все больше упования возлагали на его дивный нос. Ничего другого нам и не оставалось, очевидно. Все остальное было непостижимо и чудовищно, это мы знали, но, по крайней мере, нос был определенной реальностью. И вот однажды вечером мы решили лечь в дрейф, развернувшись носом к волне.

Как рассказать мне об этом? Прежде всего в интересах профанов позвольте мне разъяснить, что значит на языке моряков «лечь в дрейф». Это значит уменьшить площадь парусов до последней возможности и так их расположить, чтобы судно все время держалось носом против ветра и волны. Если ветер слишком силен или волны слишком высоки, то для судна таких размеров, как «Снарк», лечь в дрейф — самый спокойный и самый легкий маневр, и тогда на палубе нечего делать. Можно даже снять рулевого и вахтенного. Все могут идти вниз и лечь спать или играть в вист.

Так вот однажды, когда ветер переходил в небольшой шторм, я сказал Роско, что мы ляжем в дрейф. Наступил вечер. Я стоял на руле почти целый день, вахта на палубе (то есть Роско, Берт и Чармиан) устала, а вахта внизу лежала по обыкновению со своей морской болезнью. Мы еще раньше убавили паруса. Теперь убрали и бизань. Я начал перекладывать штурвал, чтобы лечь в дрейф. «Снарк» в это время попал в «корыто», то есть находился между двумя волнами, боком к ним. Он так и остался. Я повернул штурвал еще и еще. Но «Снарк» даже не двинулся. Такое положение, милый чита-

тель,—самое опасное из всех положений судна. Я налег на штурвал что было силы, но «Снарк» продолжал стоять по-своему. Роско и Берт, ухватившись за снасти, возились с гротом. Но «Снарк» по-прежнему стоял боком к волне, черпая воду то одним бортом, то другим.

Непостижимое и чудовищное опять высунуло свою отвратительную морду. Это было в конце концов просто комично и нелепо. Я положительно не верил своим глазам. Судно с зарифленными парусами отказывалось развернуться носом к ветру поперек волны. Мы натягивали паруса и распускали — безрезультатно. Подняли штормовой трисель, убрали грот, но «Снарк» по-прежнему стоял боком. Этот его знаменитый нос не желал становиться против ветра.

Наконец убрали вовсе зарифленный стаксель, оставили только штормовой трисель на бизани. Уж теперь-то «Снарк» должен был развернуться носом на ветер. Боюсь, что вы мне не поверите, но говорю вам: этого не случилось. Я видел своими глазами. Я сам не верю, но это так. Это невероятно, но я рассказываю вам не о том, во что я верю или не верю, я рассказываю вам о том, что я видел.

Ну, любезный читатель, что стали бы вы делать, очутившись на небольшом судне, которое болтается между волнами, с триселем на корме, не способным повернуть это судно к ветру? Вы стали бы на штормовой якорь. Мы так и сделали. У нас был патентованный штормовой якорь, который нам продали с гарантией, что он не утонет. Представьте себе стальной обруч, который держит открытым отверстие большого, конической формы холщового мешка, и вы поймете, что такое штормовой якорь. Итак, мы прикрепили канат одним концом к якорю, а другим к носу «Снарка» и бросили якорь в воду. Он тут же затонул. Мы вытащили его обратно, привязали к нему толстое бревно в качестве поплавка и снова бросили его в воду. На этот раз он остался на поверхности. Трисель стремился развернуть нос «Снарка» против ветра, но «Снарк» продолжал качаться боком к волне, волоча якорь за собой. Мы убрали штормовой трисель, подняли и натянули бизань, но «Снарк» по-прежнему болтался между двумя волнами и тащил за собой якорь. Можете не верить мне. Я сам не верю этому. Я только рассказываю вам, что видел.

Теперь предоставляю все на ваш суд. Слыхали вы когда-нибудь о паруснике, который не хочет развернуться поперек волны: не хочет даже, когда отдан штормовой якорь! Я по крайней мере никогда не слыхал. Я стоял на палубе и смотрел прямо в глаза непостижимому и чудовищному, то есть «Снар-

ку», который не ложился в дрейф. Наступила бурная ночь. Луна светила в разрывах между бегущими тучами. Воздух был полон водяной пыли, с наветренной стороны надвигался дождь. А мы по-прежнему болтались между двумя волнами, в холодных, безжалостных провалах, освещенных лунным светом, в которых «Снарк» переваливался с боку на бок с очевидной приятностью для себя. Тогда мы убрали бизань, вытащили штормовой якорь, подняли зарифленный стаксель, повернули «Снарк» по ветру и спустились вниз — но не к столу, на котором нас должен был бы ждать горячий ужин, — скользя по чему-то липкому и скверному на полу каюты, где трупами лежали повар и бой, мы прошли и легли, не раздеваясь, на койки и слушали, как переливается в камбузе вода.

В Сан-Франциско имеется Богемский клуб, а в нем бывает много заправских моряков. Я это знаю точно, потому что слышал, как они обсуждали «Снарк» во время постройки. Они находили в нем только один существенный недостаток — и в этом они все были согласны между собой, — они говорили, что он не пойдет точно по ветру. Судно хорошее и в целом и в деталях, говорили они, только не пойдет. «Такая уж линия! — объясняли они загадочно. — Все дело в линии. Просто не пойдет, только и всего». Ладно, очень бы я хотел, чтобы эти заправские моряки из Богемского клуба были у меня на «Снарке» в эту ночь. Чтобы они собственными глазами убедились, как их решительное, принципиальное, единогласно принятое мнение полетело вверх тормашками. Не пойдет по ветру? Да это единственное, кажется, что «Снарк» делает в совершенстве. Не пойдет? Да он летит, несмотря на отданный штормовой якорь и убранные паруса. Не пойдет? Вот в ту самую минуту, когда я пишу эти строки, мы мчимся со скоростью шести узлов. На руле никого, и колесо штурвала даже не закреплено... Ветер, строго говоря, север-восточный, бизань у «Снарка» убрана, передние паруса выбраны втугую, курс юго-юго-запад. И, однако, находятся люди, плававшие по морям десятки лет, которые утверждают, что ни одно судно не может идти прямо по ветру без помощи руля. Когда они прочтут эти строки, они, конечно, назовут меня лгуном; лгуном называли они и капитана Слокума, который рассказывал то же самое о своем судне «Спрэй».

Что касается будущего «Снарка», я теряюсь, я сейчас ничего не знаю. Будь у меня деньги или кредит, я построил бы другой «Снарк», который все-таки ложился бы в дрейф. Но мои средства на исходе. Мне приходится принимать нынешний «Снарк», каков он есть, или все бросить, а я не могу бро-

силь. Видимо, мне следует научиться разворачивать «Снарк» против ветра кормой вперед. Подожду следующего шторма, посмотрю, что из этого выйдет. Я думаю, что это осуществимо. Все зависит от того, как будет корма принимать волны. И кто знает, быть может, в одно прекрасное штормовое утро в Китайском море какой-нибудь седобородый шкипер вдруг примется в изумлении протирать себе глаза при виде маленького суденьшка, сильно смахивающего на наш «Снарк», которое будет разрезать волны кормой, подставленной навстречу ветру.

Р. S. Вернувшись по окончании нашего плавания в Калифорнию, я узнал, что длина «Снарка» по ватерлинии равнялась не сорока пяти, а сорока трем футам. Его строители, по-видимому, не в ладах с рулеткой или с двухфутовой рейкой.

Глава III

ЖАЖДА ПРИКЛЮЧЕНИЙ

Нет, жажда приключений еще жила назло паровым двигателям и конторе Кука и К°. Когда появилась в печати заметка о моем предполагаемом путешествии на «Снарке», то молодых людей со склонностью к бродячей жизни оказалось чуть не легион, а также и молодых женщин — не говоря уже о мужчинах и женщинах более пожилого возраста, предлагавших себя мне в спутники. Да что говорить, даже между моими личными друзьями нашлось около полдюжины очень сожалевших о недавно состоявшихся или предстоящих в скором времени браках. А один из таких браков — это я знаю наверное — чуть было не расстроился, и все из-за «Снарка».

С каждой почтой я получал груды писем от избранных натур, задыхающихся в «копоты и вони городов», и мне скоро стало очевидно, что Одиссею двадцатого столетия, прежде чем ставить паруса, нужен целый штат стенографисток, чтобы разобратся с корреспонденцией. Нет, жажда приключений, конечно, не умерла, раз вы можете получать письма, начинающиеся, например, так: «Несомненно, что когда вы прочтете этот крик души незнакомой вам жительницы Нью-Йорка», — а дальше вы узнаете из этого письма, что эта незнакомка весит только девяносто фунтов, хочет быть мальчиком для услуг и жаждет посмотреть белый свет и поплавать по морям.

У одного из претендентов оказалась «страстная любовь к географии»; другой писал: «Надо мной тяготеет проклятие

вечной тоски по вечному движению — отсюда и письмо к вам». Но всех превзошел один парень, который хотел ехать, потому что у него «очень уж зачесались ноги».

Некоторые писали анонимно, выставляя кандидатами своих друзей и давая этим так называемым друзьям самые лестные характеристики, но мне в таких письмах мерещилось всегда что-то подозрительное, и я их обычно до конца не дочитывал.

За исключением двоих или троих, все сотни моих волонтеров были вполне искренни. Очень многие присылали фотографические карточки. Девяносто процентов соглашались на любую работу, девяносто девять предлагали работать без вознаграждения. «Только присутствовать при вашем путешествии на «Снарке», — писал, например, один, — только сопровождать вас, невзирая ни на какие опасности и исполняя любую работу, — было бы кульминационным пунктом моих честолюбивых мечтаний». Это мне напоминает еще одного юношу, который уведомлял меня, что ему семнадцать лет от роду и что он «крайне честолюбив», а в конце письма очень серьезно просил, чтобы все это осталось между нами и не было помещено ни в газетах, ни в журналах. Были письма и в другом стиле, например: «Буду работать как черт, а платы не нужно». Почти все просили меня сообщить о моем согласии по телеграфу, за их счет, и многие предлагали внести залог, гарантирующий их своевременное появление на «Снарке».

Некоторые довольно своеобразно представляли себе работу на «Снарке»; так, например: «Я взял на себя смелость написать вам, чтобы выяснить, не представится ли какой-нибудь возможности поступить в команду вашего судна для изготовления эскизов и иллюстраций». Другие, не имея, очевидно, ни малейшего представления о миниатюрных размерах «Снарка» и его потребностях, предлагали себя, как выразился один из них, «чтобы оказывать помощь по сбору материалов для ваших романов и повестей». Вот что значит быть плодовитым писателем!

«Позвольте мне самому дать себе характеристику, — пишет один. — Я сирота и живу с дядей, ярым революционером и социалистом, который утверждает, что человек, в жилах которого нет любви к приключениям, просто тряпка».

Другой пишет: «Я умею плавать, хотя и незнаком со специальными приемами плавания. Но вода — моя стихия, а это самое важное». «Если бы меня посадили одного в парусную лодку, я смог бы отправиться куда угодно», — писал о себе третий, — и рекомендация эта была много лучше нижеследующей.

ющей: «Я видел также, как разгружались рыбачьи суда». Но высшей награды достоин, вероятно, тот, который тонко подчеркнул глубокое знание мира и жизни, написав: «Мой возраст, считая только годы, — двадцать два года».

Были также простые, неприкрашенные, искренние письма мальчиков, которые, «правда, не умеют красно выражаться, но очень хотят путешествовать». Отклонять эти просьбы было труднее всего, и всякий раз, когда приходилось делать это, мне казалось, что я даю пощечину юности. Они были так искренни, эти мальчики, и так ужасно хотели отправиться в плавание. «Мне шестнадцать, но я широк в плечах», — писал один юноша. «Мне семнадцать, но я крепкий и здоровый», — писал другой. «Я, во всяком случае, не менее силен, чем средний мальчик моего роста», — писал, очевидно, слабенький мальчик. «Не боюсь никакой работы», — говорили многие, а один, рассчитывая, очевидно, соблазнить меня экономией, предлагал оплатить свой проезд через Тихий океан, что «очевидно, будет для вас удобно». «Объехать вокруг света — одно-единственное мое желание», — говорил один, не подозревая, что это было «одним-единственным» желанием еще нескольких сотен мальчиков. «Никому на свете нет дела до того, уеду я или останусь», — грустно сообщил какой-то мальчуган. Один прислал фотографию, говоря по поводу нее следующее: «Я не больно хорош собой, но ведь тут не в красоте дело». «Мне девятнадцать лет, и я невысок, а следовательно, не займу много места, но я вынослив, как дьявол», — писал еще один, и я уверен, что этот оказался бы вполне пригодным. И, наконец, был один претендент тринадцати лет, в которого мы оба с Чармиан совершенно влюбились, и наши сердца чуть не разорвались от горя, когда надо было послать ему отказ.

Но не подумайте, что большая часть моих добровольцев были мальчики: наоборот, мальчики составляли только небольшую толику. Мне писали мужчины и женщины всех возрастов и положений. Ко мне обращалось с предложениями множество врачей, хирургов, дантистов и, как все, они согласны были работать даром и даже готовы были заплатить за счастье служить на «Снарке».

Наборщикам и репортерам, желавшим ехать, не было конца, не говоря уже об опытных слугах, дворецких и экономах. Гражданские инженеры пылали желанием поехать; дамы-компаньонки так и осаждали Чармиан, а меня осыпали предложениями лица, желавшие быть моими личными секретарями. Многие студенты высших учебных заведений мечтали к нам

присоединиться, и я не знаю такой профессии, представителей которой не было бы в числе желавших отправиться с нами; особенно много было машинистов, электромехаников. Меня поразило количество конторских служащих, которые из своих затхлых канцелярий слышали призыв к приключениям, и меня еще больше удивило количество отставных и составившихся морских офицеров, до сих пор очарованных морем. Многие молодые люди, ожидавшие получения миллионных наследств, пылали страстью к приключениям точно так же, как многие провинциальные школьные учителя.

Отцы хотели путешествовать с сыновьями, мужья с женами, и стенографы с пишущими машинками. Одна юная стенографистка писала: «Пишите немедленно, если я вам нужна. Приеду с машинкой первым же поездом». Но лучше всего, кажется, было следующее письмо (обратите внимание, как деликатно он устраивал на «Снарк» свою жену): «Мне показалось, что очень правильно будет черкнуть вам несколько слов, чтобы осведомиться, нельзя ли поехать с вами; мне двадцать четыре года, я женат, средств не имею, и такая поездка очень подошла бы нам в настоящую минуту».

Действительно, если подумать, среднему человеку в высшей степени трудно написать о себе самом честное рекомендательное письмо. Один из моих корреспондентов был до того смущен предстоящей ему задачей, что начал письмо словами: «Трудная это задача — писать о самом себе», — и после нескольких неудачных попыток закончил письмо: «Нет, трудно писать о себе».

Однако нашелся человек, который написал очень пылкую и пространную свою собственную характеристику и в конце признал, что получил от этого большое удовольствие. Вот отрывок из его письма: «Подумайте только: юнга, который может смотреть за двигателем, может исправить его, когда он испортится, может выполнять всякую плотничью работу или работу механика. Сильный, здоровый, работающий. Неужели вы не предпочтете его младенцу, который заболеет морской болезнью и способен только на то, чтобы мыть тарелки?» На такие письма очень трудно было отвечать отказом. Автор этого письма самоучкой научился по-английски, только два года жил в Соединенных Штатах, и он писал, что хочет отправиться с нами не для того, чтобы зарабатывать хлеб насущный, а чтобы учиться и видеть. В то время он был чертежником на одном крупном заводе; прежде плавал на море и всю свою жизнь имел дело с небольшими судами.

«У меня хорошая служба, но это не имеет для меня никакого значения, я предпочитаю путешествовать,— писал другой.— Что касается вознаграждения, взгляните на меня, и если я достоин доллара или двух — прекрасно, а если нет — нечего говорить об этом. Что до моей репутации, я с удовольствием свел бы вас с моими хозяевами. Не пью, не курю, но, правду сказать, хотел бы, набравшись немного опыта, написать что-нибудь».

«Могу заверить вас, что я вполне порядочный человек, но нахожу скучными порядочных людей». Написавший эти строки заставил меня призадуматься, и я до сих пор не знаю, что он, черт возьми, хотел сказать: что ему со мной будет скучно или же что-то совсем другое?

Но у того, кто написал нижеследующее, готовность к самопожертвованию была так велика, что я не мог на нее согласиться: «У меня есть отец, мать, братья и сестры, друзья и хорошая служба, но я готов пожертвовать всем этим, чтобы стать членом вашей судовой команды».

Другой претендент, принять которого я тоже никак не мог решиться, был очень разборчивый молодой человек; чтобы доказать мне, что я должен его взять с собой, он говорил в своем письме: «Плавание на обыкновенном судне, будь то шхуна или пароход, мне не подходит, так как там мне пришлось бы иметь дело с обыкновенными моряками, а они живут не очень чисто».

Был там еще молодой человек двадцати шести лет, который «прошел через всю гамму человеческих чувств», и «побывал всем, от повара до слушателя Стэнфордского университета», и который в то время, как он писал это письмо, был «пастухом на ранчо площадью в пятьдесят пять тысяч акров». Не в пример ему другой был чрезвычайно скромн и писал: «Не знаю за собой каких-либо особых качеств, которые могли бы привлечь ваше внимание. Но если вы заинтересуетесь мною, не откажите потратить несколько минут на ответ. Иначе мне придется продолжать работать на заводе. Не ожидая ничего, а только надеюсь, остаюсь и пр.» Но я долго сжимал обеими руками голову, стараясь представить себе, какое духовное сродство существовало между мною и тем, кто писал мне: «Задолго до того, как я услышал про вас, я смешал политическую экономию и историю и сделал на практике те же выводы, что и вы».

А вот одно из лучших писем по краткости: «Если кто-нибудь из команды, подписавший с вами условие, струсит и даст задний ход и вам понадобится еще кто-нибудь, знающий мо-

реплавание, моторы и пр., буду рад, если вы обратитесь и т. д.» Вот еще одно краткое письмо: «Бью в центр — хочу быть мальчиком для услуг или вообще чем-нибудь в вашей кругосветной поездке. Американец, девятнадцать лет, весу сто сорок фунтов».

Вот письмо от человека «чуть-чуть повыше пяти футов»: «Когда я прочел о вашем мужественном решении обойти вокруг света на небольшом судне вместе с миссис Лондон, я до того обрадовался, что мне показалось даже, будто это я сам выдумал такое путешествие, и вот я решил написать вам относительно должности для меня самого, повара или слуги. По некоторым причинам я этого не сделал, а поехал из Оклэнда в Денвер войти компаньоном в дело моего друга — это в прошлый месяц, то есть, — но у него дело идет все хуже и хуже, и вообще не везет. Но, к счастью, вы отложили отъезд по случаю Великого землетрясения, и я в конце концов решился предложить вам свои услуги на какую-нибудь должность. Я не очень силен, так как ростом я чуть-чуть повыше пяти футов, но все же я хорошего здоровья и таких же способностей».

«Полагаю, что мог бы сделать к оборудованию вашего судна полезное добавление в виде изобретенного мною приспособления для полной утилизации силы ветра, — писал один доброжелатель. — Приспособление это не мешает при обычном маневрировании в легкий ветер и в то же время дает вам возможность использовать полностью силы самых бешеных шквалов, так что даже в тех случаях, когда обычно приходится убирать все паруса до последнего клочка, вы сможете благодаря моему приспособлению не убирать их вовсе. Кроме того, это полезное добавление не дает судну перевернуться».

Предыдущее письмо написано в Сан-Франциско и помечено 16 апреля 1906 года. Через два дня произошло большое землетрясение. Оно заставило, очевидно, бежать моего корреспондента, и мне не пришлось с ним встретиться.

Многие из моих братьев-социалистов возражали против моего желания отправиться в плавание, и особенно типично следующее возражение: «Идея социализма и миллионы угнетенных жертв капитализма имеют право на вашу жизнь и работу и требуют, чтобы вы посвятили себя им. Если тем не менее вы будете упорствовать, вспомните, когда вы, утопая, будете глотать последний в вашей жизни глоток соленой воды, что мы протестовали против вашего поступка».

Один, немало побродивший по свету человек, который «мог бы при случае описать много необычных сцен и событий», потратил несколько листов бумаги, изо всех сил стара-

ясь добраться до цели своего письма, и, наконец, изрек следующее: «До сих пор я ничего не сказал о цели моего письма. Скажу прямо: я прочел, будто вы и еще одно или два лица намерены совершить кругосветное плавание на небольшом паруснике, длиной футов в пятьдесят или шестьдесят. Не могу поверить, чтобы человек вашего ума и опыта мог решиться на поступок, который есть не что иное, как особый вид самоубийства. И даже если бы вы случайно уцелели,—и вы сами и ваши спутники,—вы будете совсем разбиты непрекращающейся качкой судна столь малых размеров, даже если бы оно было обито изнутри войлоком, что вовсе не принято на море». Спасибо, добрый друг, спасибо за эту оговорку: «не принято на море». И он не профан в морском деле. Он сам говорит о себе: «Я не какая-нибудь сухопутная крыса, я плавал по всем морям и океанам».

Заканчивает он следующими словами: «Не желая обидеть вас, скажу, что безумием было бы выйти из залива в открытое море на подобном судне, имея на борту женщину».

И тем не менее сейчас, когда я пишу это, Чармиан сидит в своей каюте за пишущей машинкой, Мартин готовит обед, Точиги накрывает на стол, Роско и Берт конопатят палубу, и «Снарк» идет со скоростью пяти узлов при порядочном волнении, а между тем «Снарк» войлоком не обит.

«Прочитав в газетах о вашем предполагающемся путешествии, мы хотели бы узнать, не нужна ли вам хорошая команда; нас здесь шестеро парней, хороших моряков, с хорошими рекомендациями с военных и торговых судов; все мы настоящие американцы в возрасте от двадцати до двадцати двух лет, работаем в настоящее время на заводе металлических изделий в качестве мастеров по такелажу и очень хотели бы отправиться в плавание с вами». Подобные письма заставляли меня жалеть, что мое судно так мало.

А вот письмо от женщины, единственной в мире женщины, исключая, очевидно, Чармиан, которая с одобрением отнеслась к нашей затее: «Если вам не удалось еще заполучить повара, мне было бы очень приятно совершить с вами путешествие в этой должности. Мне пятьдесят лет, я женщина здоровая и вполне могу справиться со стряпней на такую небольшую компанию, как команда вашего «Снарка». Я отличный повар и такой же отличный моряк. Что же касается продолжительности плавания, то десять лет для меня приятнее, чем один год. Рекомендации мои и т. д.»

Когда-нибудь, если мне удастся заработать кучу денег, я построю большой корабль вместимостью на тысячу доброволь-

цев, чтобы обойти вокруг света. Им придется самим исполнять «всякую работу безразлично», — как они, впрочем, и желают, — или оставаться дома. И я нисколько не сомневаюсь, что они поедут, ибо жажда приключений жива, это мне доподлинно известно, потому что я сам состоял с ней в длительной и интимной переписке.

Глава IV

ОЩУПЬЮ В ОКЕАНЕ

— Но послушайте, — протестовали друзья, — как же вы, однако, решаетесь пуститься по морю, не имея на борту ни одного опытного моряка? Вы же не учились штурманскому делу?

Мне пришлось признаваться, что я действительно навигации не знаю, что за всю жизнь я ни разу не брал в руки секстанта и что, пожалуй, даже не отличу его от морского альманаха. А когда они спрашивали, знает ли навигацию Роско, я покачивал головой. Роско обижался. Он посмотрел «Краткое руководство», купленное для путешествия, умел пользоваться логарифмическими таблицами, несколько раз видел секстант и на основании всего этого, а также на основании того, что в роду у него были когда-то моряки, он считал себя опытным мореходом. Но Роско ошибался, уверяю вас. Когда он был еще мальчиком, он с атлантического побережья через Панамский перешеек приехал в Калифорнию. И это был единственный раз в его жизни, когда земля скрылась из его глаз. Он никогда не был в морском училище и никогда не сдавал экзамена по навигации; никогда также не приходилось ему плавать в открытом море, а следовательно, он ничему не мог выучиться у других опытных моряков. Он был членом яхт-клуба в заливе Сан-Франциско, где нельзя удалиться от берега больше чем на несколько миль и где искусство навигации не может быть применено в полной мере.

Итак, «Снарк» пустился в путь без опытного моряка. Мы прошли Золотые Ворота 23 апреля и направились на Гавайские острова, лежащие на расстоянии двух тысяч ста морских миль по прямому направлению. Результат был нашим лучшим оправданием. Мы приплыли к Гавайским островам, и даже без неприятностей, как вы увидите, то есть без серьезных неприятностей.

Управлять судном взялся Роско. С теорией он был знаком как нельзя лучше, но он впервые применял ее на деле, и это явствовало из странного поведения «Снарка». Нельзя сказать, чтобы «Снарк» шел ровным курсом; вензеля, которые он выписывал, отмечались на карте. Иной раз, когда дул легкий ветерок, он делал на карте такой скачок, который мог быть только при сильном шторме, а в другой раз, когда, казалось бы, он быстро рассекал воды, по карте наше местоположение почти не изменялось. Но если судно делает, согласно показаниям лага, в течение двадцати четырех часов по шесть узлов, это значит, что оно проходит сто сорок четыре морских мили в сутки. Море было в порядке, и патентованный лаг также, а что до скорости, всякий мог видеть ее своими глазами. Поэтому все дело было только за вычислениями, которые не хотели двигать «Снарк» вперед по карте. Это случалось не каждый день, но все же это случалось. И это было вполне естественно, и ничего другого нельзя было ожидать от первой попытки применить теорию на практике.

Приобретение знаний в науке мореплавания имеет странное действие на людские умы. Моряк говорит об этой науке с глубоким почтением. Профану она кажется непостижимой и страшной тайной, поскольку он видит, с каким почтением относятся к ней сами моряки. Я знал искренних и скромных молодых людей, которые, приступив к изучению мореплавания, вдруг ни с того ни с сего становились скрытными, подозрительными и самоуверенными, как будто бы они достигли бог весть каких высот человеческого духа. Самый средний моряк кажется профану пророком какого-то таинственного культа. Какой-нибудь любитель яхтсмен, затаив дыхание, приглашает знакомых взглянуть на свой хронометр. Поэтому-то наши друзья испытывали такой страх, когда мы отправились в путь без моряка-специалиста.

Когда «Снарк» еще строился, мы с Роско заключили приблизительно такое условие. «Я поставляю книги и инструменты,— сказал я,— а вы изучаете навигацию. Мне сейчас совершенно некогда. А когда мы выйдем в открытое море, вы научите меня всему, что изучили». Роско был в восторге. Надо сказать, что в то время Роско был искренним и скромным, как те молодые люди, о которых я писал выше. Но когда мы вышли в открытое море и он стал проделывать манипуляции таинственного ритуала, на которые я смотрел, благоговейно затаив дыхание, едва уловимая, но в то же время вполне определенная перемена произошла в нем. Когда он в полдень измерял высоту солнца, на него как бы нисходил сияющий нимб

подвига. Когда он, спустившись вниз и закончив вычисления, поднимался снова на палубу и объявлял нам широту и долготу; его голос звучал повелительно, к чему мы были совершенно непривычны.

Но это было еще не самое худшее. Знания, наполнявшие его, оказались такого свойства, что их никак нельзя было передать кому бы то ни было. И по мере того, как он проникал в таинственные причины странных прыжков «Снарка» по карте, и по мере того, как эти прыжки выравнивались, знания его становились все более священными, таинственными и непередаваемыми. Мои ласковые намеки на то, что, пожалуй, время как раз подходящее, чтобы и мне чему-нибудь поучиться, отнюдь не встречали с его стороны сердечной и радостной готовности помочь мне. Ни малейшего желания выполнить уговор у него не замечалось.

Роско, собственно, не был виноват: что он мог сделать? С ним просто произошло то же, что и со всеми другими людьми, которые до него когда-либо изучали навигацию. Благодаря вполне естественной и простительной переоценке ценностей плюс неумению сориентироваться в новой научной дисциплине он был раздавлен воображаемой естественностью и чувствовал себя обладателем чуть ли не божественного откровения. Всю жизнь Роско провел на земле или в виду земли. Благодаря этому вокруг него всегда было достаточно всяких знаков, чтобы правильно — за редкими исключениями — передвигать свое тело по поверхности земли. Теперь он очутился в открытом море, в широко раскинувшемся море, ограниченном только вечным кольцом неба. Это кольцо неба было всегда одно и то же. Никаких вех и знаков кругом не было. Солнце поднималось с востока и опускалось на западе, а ночью звезды описывали тот же полукруг. И кто, казалось, мог бы, посмотрев на Солнце и на звезды, сказать: «Я нахожусь сейчас в трех четвертях мили к западу от бакалейной лавки Джонса на Смизерсвилле» — или: «Я отлично знаю, где я нахожусь сейчас, так как Малая Медведица говорит мне, что Бостон отсюда лежит в трех милях, второй поворот направо». А Роско именно это и делал. Сказать, что он был ошеломлен своим могуществом — это еще слишком слабо. Он преклонялся перед самим собою; он творил чудо. Акт, посредством которого он находил свое положение на поверхности океана, стал для него священнодействием, и он считал себя по отношению ко всем нам, не участвующим в священнодействии, существом высшего порядка, тем более, что мы зависели от него, были его стадом, которое он пас на волнующемся, безграничном

пространстве — на соленой дороге между двумя континентами, на которой не было никаких верстовых столбов. Управляясь с секстаном, он совершал жертвоприношение богу Солнца, затем рылся в древних фолиантах, разбирая кабалистические знаки, бормотал заклинания на непонятном языке, вроде «индекэррорпараллаксрефракция», заносил на бумагу магические знаки, что-то складывал и умножал и, наконец, ставил палец на подозрительное пустое место священной карты и заявлял: «Мы здесь». Когда мы смотрели на подозрительное пустое место и спрашивали: «А где это, собственно?» — он отвечал на цифровом жаргоне высших священнослужителей: «31-15-47 северной, 133-5-30 западной». И тогда мы говорили: «О-о» — и чувствовали себя совсем ничтожными.

Повторяю, Роско не был виноват. Он и правда был почти богом, потому что нес всех нас в собственной своей горсти через пустые пространства карты. Я питал к Роско необыкновенное почтение: оно было столь глубоко, что если бы ему вздумалось приказать: «Пади ниц и поклонись мне!» — я, наверное, немедленно шлепнулся бы на палубу и заплакал. Но однажды маленькая мысль шевельнулась у меня в голове: «Ведь это не бог; это просто Роско, такой же человек, как и я сам. И что может сделать он, то могу и я. Кто учил его? Он сам учился. Поступи так же — будь и ты своим собственным учителем». И Роско слетел с пьедестала и перестал быть верховным жрецом «Снарка». Я вломился в святилище и потребовал старинные фолианты и магические таблицы, а также и жертвенник, то есть секстан.

А теперь я расскажу вам простыми словами, как я сам себя научил навигации. Один раз я провел все время от обеда до ужина у штурвала, правя одной рукой, а другой делая вычисления по таблице логарифмов. Другие два вечера — по два часа каждый вечер — я изучал общую теорию навигации и, в частности, процесс определения меридианальной высоты. Потом я взял секстан, определил поправку индекса и измерил высоту Солнца. Дальнейшие вычисления были просто детской игрой. В «Кратком руководстве» и в «Альманахе» оказались готовые таблицы, составленные математиками и астрономами. Пользоваться ими было так же легко, как таблицей процентов или электрическим счетчиком. Тайна перестала быть тайной. Я ткнул пальцем в карту и объявил, что мы находимся здесь. Я оказался прав, то есть, во всяком случае, не менее прав, чем Роско, который указал на карте точку на четверть мили в сторону от моей. Он даже соглашался уступить мне половину этой разницы. Я раскрыл тайну, но таково уж было

волшебство ее, что я незамедлительно почувствовал в себе какую-то необыкновенную силу и гордость. И когда Мартин спрашивал меня — так же смиренно и почтительно, как некогда я спрашивал Роско, — где мы находимся в настоящее время, я отвечал ему вдохновенно и внушительно на цифровом жаргоне высших священнослужителей и слышал от него такое же подобострастное «О-о!». А что касается Чармиан, то я почувствовал, что приобретаю новые права на нее и что она очень счастливая женщина, если у нее такой муж, как я.

Я ничего не мог поделать. Говорю это в оправдание Роско и всех предшествовавших мореплавателей. Яд власти подействовал на меня. Я уже не был обыкновенным человеком: я знал что-то, чего они не знали, я знал тайну неба, указывающую мне дорогу над пучинами моря. Долгими часами я стоял на руле, правя одной рукой и держа в другой ключ к изучаемым тайнам. К концу недели такого самообучения я был уже способен на многое. Например, я определял высоту Полярной звезды — конечно, ночью; я вводил нужные поправки, вычислял и находил нашу широту. И эта широта совпадала с широтой, определенной в полдень, с прибавкой тех изменений, которые должны были произойти за день. Мог ли я не гордиться? Но еще более возгордился я после следующего чуда. Обычно я уходил к себе в девять вечера. Я занимался самообучением и поставил себе задачей определить, какая звезда должна пройти через наш меридиан около половины девятого. Такой звездой оказалась Alfa Crusis.

Я никогда не слышал об этой звезде. Я разыскал ее на карте звездного неба. Оказалось, что это одна из звезд в созвездии Южного Креста. «Как! — подумал я. — Вот уж сколько ночей мы плывем при свете Южного креста и ничего об этом не знаем. Идиоты! Дураки и кроты!» Я не поверил себе и еще раз проделал все вычисления. В этот вечер с восьми до десяти на руле стояла Чармиан. Я просил ее смотреть очень внимательно на южную сторону горизонта: не покажется ли в самом деле Южный Крест. И когда небо вызвездилось, действительно невысоко над горизонтом стоял Южный Крест. Гордился я? Ни один врач и ни один жрец никогда не был так горд, как я. Мало того, с помощью священного секстана я определил высоту Альфы Креста и по ней вычислил нашу широту. Мало того, я определил высоту Полярной звезды, и все, что я узнал от нее, в точности совпало с тем, что мне сообщил Южный Крест. Гордился ли я? Да, ведь я, значит, понимаю язык звезд и слышу, как они указывают мне путь над пучиной!

Гордился ли я? Я был чудотворец. Я позабыл, как легко я приобрел мои познания со страниц книг. Я позабыл, что вся работа (о, это была трудная работа!) была проделана до меня великими умами, астрономами и математиками, которые открыли и разобрали всю науку мореплавания и составили таблицы в «Кратком руководстве». Я только помнил чудо: я умел понимать язык звезд, и они указывали мне то место на море, где я нахожусь. Чармиан не знала этого; Мартин не знал этого; Точиги, юнга, не знал этого. Но я сказал им. Я был вестником небес! Я стоял между ними и вечностью. Я переводил небесные речи на удобопонятный язык. Небо управляло нами, и я был тем, кто умел читать небесные знамения! Я! Я!..

Теперь, когда восторг мой стал более умеренным, я спешу разъяснить полную простоту всего этого, разболтать тайну Роско и всех сведущих в мореплавании людей и прочих священнослужителей. Открываю я тайну из страха, что уподоблюсь им, сделавшись скрытным, бесстыдным и самоупоенным. Выскажу теперь все: любой юноша с нормальным серым веществом мозга, нормальным воспитанием и обыкновеннейшими способностями может добыть книги, карты, инструменты и научиться навигации. Не поймите меня превратно. Стать моряком — другое дело. Этому не научиться в один или два дня, на это нужно убить годы. Поэтому плавать с помощью одного лага можно только после длительной учебы и практики. Но плавать, ориентируясь по Солнцу, Луне и звездам, — это теперь благодаря усилиям астрономов и математиков детская игра. Любой юноша может научиться ей в неделю. Еще раз прошу, не поймите меня превратно. Я не хочу сказать, что по истечении недели такой юноша сможет взять на себя управление пароходом водоизмещением в пятьдесят тысяч тонн, который идет со скоростью двадцати узлов в открытом море, мчась от одного материка к другому и в хорошую погоду и в шторм, при ясном и при облачном небе, при помощи компаса с фантастической точностью прокладывая путь к земле. Я хочу сказать только, что юноша, о котором я говорил, может сесть на надежное парусное судно и отправиться в плавание по океану, совсем не будучи знаком с навигацией, и по прошествии недели он настолько ознакомится с нею, что в состоянии будет определять то место, где он находится. Он сможет вполне точно измерить меридианальную высоту, и, узнав ее, он через десять минут, произведя необходимые вычисления, найдет координаты места. У него на борту нет ни груза, ни пассажиров, ничто не заставляет его торопиться до цели, он может спокойно плыть, а если он усомнится в своем ис-

кусстве мореплавания и испугается, как бы не наскочить на землю, он может лечь в дрейф на всю ночь и только с наступлением дня пускаться в дальнейший путь.

Джошеуа Слокум несколько лет тому назад совершил кругосветное плавание на паруснике длиной в тридцать семь футов и один управлял им. Я никогда не забуду того места в его рассказе об этом путешествии, где он восторженно приветствует тех молодых людей, которые захотят на таких же небольших судах совершить подобные же путешествия. Меня захватила эта мысль, захватила до такой степени, что я взял с собою в путешествие мою жену. Экскурсия бюро Кука покажется рядом с таким путешествием совершенной чепухой. А сколько удовольствия оно доставит! И в довершение всего послужит молодому человеку хорошей наукой: он узнает многое о внешнем мире, увидит неведомые страны, людей и природу, но он познает также и мир внутренний, изучит и поймет самого себя, познает свою душу. А какая это школа для выдержки, характера! Юноша познает здесь пределы своих возможностей, а затем неминуемо будет стараться расширить эти пределы. И вернется из такого плавания и лучшим и более значительным человеком. А что касается спорта, то лучше нет спорта, чем обойти кругом света, выполняя всю работу собственными руками, завися только от одного себя, и, вернувшись наконец туда, откуда отправился, мысленно представить себе стремительно мчащуюся в мировых пространствах нашу планету, вокруг которой вы совершили свое путешествие, и сказать: «Я сделал это; собственными руками сделал я это. Я обошел вокруг вращающегося шара. Я могу путешествовать один, без приставленного ко мне в качестве няньки капитана, который направлял бы мой путь по морям. Я не могу полететь на другие звезды, но на этой звезде я хозяин!»

Когда я дописываю эти строки, я поднимаю глаза и смотрю на море. Я нахожусь в заливе Вайкики, на острове Оаху. Далеко по бледно-голубому небу тянутся облака над зеленоватой бирюзой океана. Ближе к берегу вода переходит в изумрудный и оливковый цвета. Около коралловых рифов она становится дымчато-лиловой, с кроваво-красными пятнами. Затем чередуются ярко-зеленые и рябиново-красные полосы, указывая места песчаных и коралловых отмелей. Через все эти изумительные краски и над ними и из них бьет и грохочет великолепный прибой. Как я уже сказал, я поднимаю глаза — и вдруг на белом гребне налетающей волны я вижу прямую темную фигуру не то сирены, не то морского божества; оно стоит в дымящейся пене, гребень каждое мгновение вздымает-

ся и падает, брызги окутывают его по пояс, и волна кипит, вынося его к берегу одним могучим разбегом. Это канака на своей доске. И я знаю, что как только я закончу эти строки, я тоже окажусь в этой вакханалии красок и кипящего прибоя и буду пробовать тоже кататься на гребнях, как он, и буду падать,— как он, разумеется, никогда не падает,— но зато буду жить так остро, как немногие из людей. И картина этого моря, горящего разноцветными огнями, и образ летящего в волнах морского божества, конечно, достаточное основание для молодых людей плыть на запад и еще дальше на запад, до тех пор все на запад и на запад, пока они не окажутся опять на родине.

Но вернемся к навигации. Пожалуйста, не подумайте, что я уже изучил ее вдоль и поперек. Я знаю только основы навигации, и мне еще многое осталось выучить. На «Снарке» имеется масса увлекательных книг по навигации, которые до сих пор ждут меня. Имеются, например, угол опасности Лекки — очень интересный угол — и линия Сомнера, которая определит вам безошибочно — когда вы уже окончательно собьетесь с дороги — не только то место, где вы находитесь, но и те места, где вас нет. Существуют дюжины дюжин различных способов определения положения судна, и нужно посвятить изучению целые годы, чтобы овладеть всеми тонкостями.

Но даже в том немногом, чему мы научились, были пробелы, чем и объяснялось странное поведение «Снарка». Так, например, в четверг, 16 мая, пассат совсем стих. В течение двадцати четырех часов, до самого полудня пятницы, мы, согласно показаниям лага, не прошли и двадцати миль. Вот, однако, наше положение на море в четверг и в пятницу, согласно нашим полуденным астрономическим наблюдениям:

Четверг	20° 57' 9"
	152° 40' 30"
Пятница	21° 15' 33"
	154° 12' —

Расстояние между этими двумя точками на карте равнялось приблизительно восьмидесяти милям. А мы прекрасно знали, что не прошли и двадцати миль. Вычисления наши были безукоризненно правильны. Мы несколько раз проверяли их; ошибка была сделана во время наблюдений. Правильное наблюдение требует практики и ловкости, особенно на таком небольшом судне, как «Снарк». Непрерывная качка судна и близость глаза наблюдателя к поверхности воды очень ме-

шают. Большая волна, поднимающаяся где-нибудь за милю от вас, в состоянии совсем закрыть горизонт.

Но в данном случае действовал другой мешавший нам фактор. Солнце, совершая свой годичный путь по небу к северу, увеличивало свое склонение. На девятнадцатой параллели северной широты Солнце в половине мая стоит почти над головой. Высота его в полдень равна восьмидесяти восьми или восьмидесяти девяти градусам. Если бы она равнялась девяноста градусам, Солнце находилось бы совсем в зените. Только на завтра узнали мы кое-что о том, как ловить Солнце, когда оно почти перпендикулярно над головой. Роско приготовился ловить Солнце на востоке и настаивал на своем, хотя оно явно намеревалось пройти меридиан на юге. Со своей стороны, я решил ловить его на юго-востоке, но постепенно уклонился на юго-запад. Как видите, мы еще продолжали учиться. Наконец, когда судовые часы показывали двадцать пять минут первого, я провозгласил полдень по Солнцу. Это значило, что наше местоположение на поверхности земли изменилось на двадцать пять минут, что равняется приблизительно шести градусам долготы, или тремстам пятидесяти милям. А это доказывало, что «Снарк» шел со скоростью пятнадцати узлов в течение двадцати четырех часов,—а мы и не заметили! Вышло смешно и нелепо... Но Роско, продолжая смотреть на восток, утверждал, что полдень еще не наступил. Он намерен был уверить нас, что мы идем со скоростью двадцати узлов. Тут мы начали быстро поворачивать наши секстаны по горизонту, и куда бы мы ни глядели, всюду мы видели Солнце до странности низко над горизонтом, а иногда и ниже его. В одном направлении Солнце говорило нам, что еще раннее утро, а в другом — что полдень давно миновал. Но Солнце показывало время правильно — значит, ошибались мы. И до самого ужина мы просидели в каюте, стараясь разобрать этот вопрос с помощью книг и найти, в чем же состояла наша ошибка. Мы напутали в наших наблюдениях на этот раз, но мы не путали в следующий раз. Мы научились.

И мы хорошо научились, лучше даже, чем сами предполагали. Как-то раз в начале второй вечерней вахты мы с Чармиан на баке играли в карты. Вдруг я увидел впереди какие-то горы, окутанные облаками. Мы, конечно, обрадовались земле, но я был очень огорчен нашими познаниями в навигации. Я полагал, что мы научились кое-чему, а согласно нашим наблюдениям в полдень, даже если прибавить то расстояние, которое мы прошли с тех пор, земля должна была находиться

не ближе ста миль. Но это была земля, таявшая на наших глазах в лучах заката. Спорить было не о чем. Значит, наши вычисления неправильны. Но нет, они были правильны. Просто показалась вершина горы Халеакала, Обители Солнца, величайшего потухшего вулкана на всем земном шаре. Он поднимается на десять тысяч футов над уровнем моря, и его видно на расстоянии ста миль. Мы шли к нему всю ночь со скоростью семи узлов, а наутро Обитель Солнца по-прежнему стояла на горизонте, и потребовалось еще много часов, чтобы добраться до нее.

— Это остров Мауи,— решили мы после исследования карты.— Следующий остров, намечающийся на горизонте,— Молокаи, где находится колония прокаженных. А еще следующий — Оаху. Вон гора Макапуу. Завтра мы будем в Гонолулу. Выходит, что наши познания в навигации совсем уж не так плохи.

Глава V

ПЕРВАЯ ОСТАНОВКА В ПУТИ

— На море совсем не будет скучно,— обещал я своим товарищам перед отправлением.— Море полно жизни. Оно так населено живыми существами, что мы каждый день будем встречать что-нибудь новое. Как только мы пройдем Золотые Ворота и повернем к югу, мы увидим летучих рыб. Будем поджаривать их на завтрак. Будем также бить макрелей и дельфинов острогой с бушприта. И потом акулы. Акул будет без конца.

Мы прошли Золотые Ворота и повернули к югу. Горы Калифорнии исчезли мало-помалу с горизонта, а солнце с каждым днем становилось жарче. Но летучих рыб не было; макрелей и дельфинов тоже не было. Океан был совершенно лишен жизни. Никогда раньше я не плавал по такому пустынному океану. Прежде в этих самых широтах я всегда встречал летучих рыб.

— Ничего,— говорил я.— Подождите, пока мы поравняемся с берегом Южной Калифорнии. Там мы увидим летучих рыб.

Мы поравнялись с Южной Калифорнией, мы прошли вдоль всей Калифорнии, мы шли вдоль мексиканского побережья, а летучих рыб не было. И ничего другого не было. Никакой жизни. Дни шли, и это отсутствие жизни становилось удручающим.

— Не беда,—говорю я.—Как только мы встретим летающих рыб, мы встретим и все остальное. Летучие рыбы это вроде авангарда океана. Как только увидим летучих рыб, сразу явится и все остальное.

Чтобы попасть на Гавайские острова, мне нужно было бы держать на юго-запад, а я все держал на юг. Мне непременно хотелось отыскать этих летучих рыб. Наконец, настало время повернуть прямо на запад, если я хотел попасть в Гонолулу. Но я все продолжал идти на юг. На девятнадцатом градусе широты мы увидели первую летучую рыбу. Она казалась очень одинокой. Я заметил это. Пять пар внимательных глаз обшаривали море целый день, но не заметили больше ни одной. А в следующие дни они попадались так скупно, что прошла целая неделя, пока все мои спутники заметили каждый по одной летучей рыбе. А что касается до дельфинов, макрелей и прочих морских созданий, то их совсем не было.

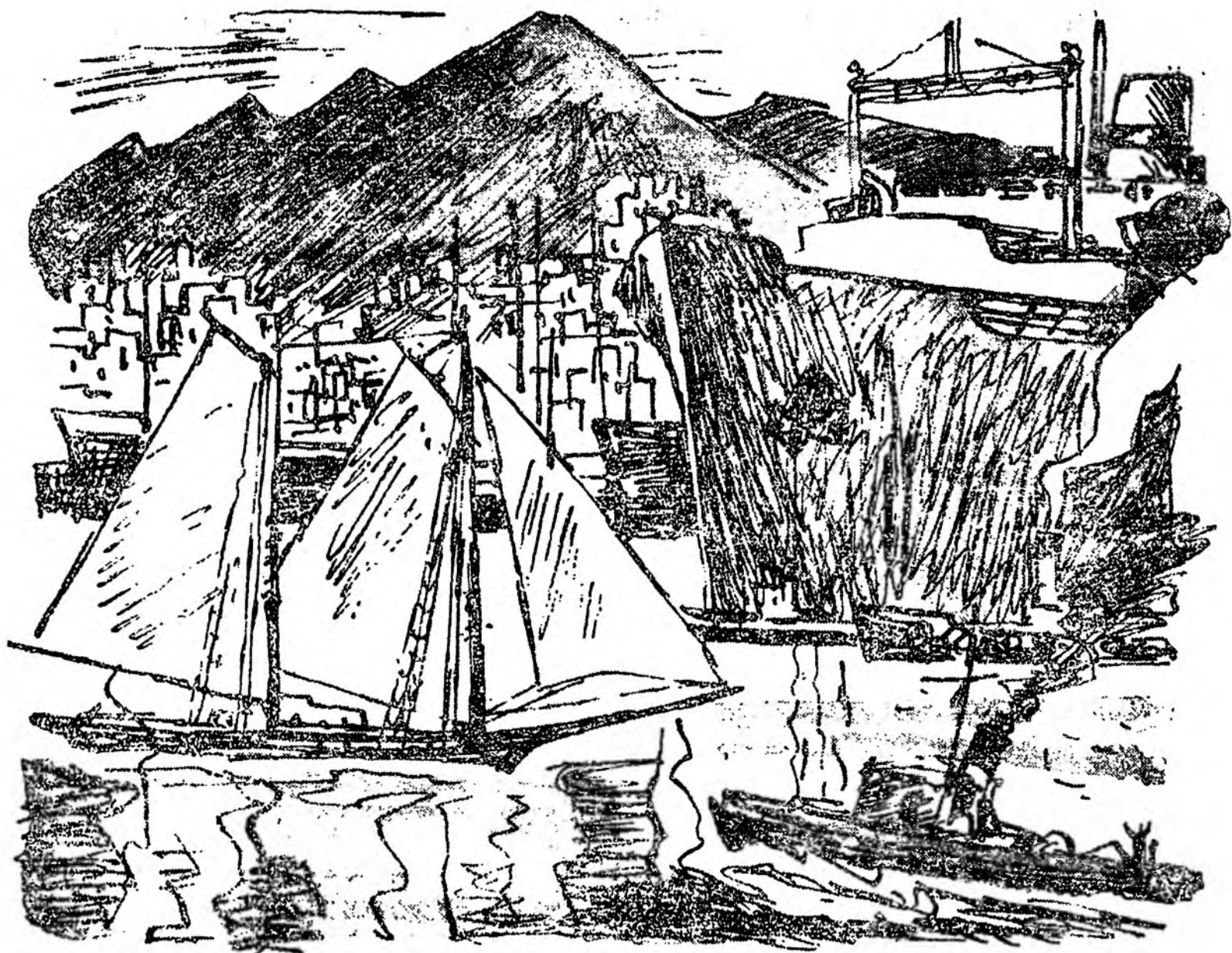
Ни одна акула ни разу не разрезала водной поверхности своими темными зловещими плавниками. Берт ежедневно купался в море, держась за ватер-штаг под бушпритом. И ежедневно говорил нам, как он отпустит наконец штаг и будет купаться по-настоящему. Я всячески уговаривал его не делать этого. Но он перестал считать меня авторитетом по части моря.

— Если акулы здесь есть,—говорил он,—то почему же они не показываются?

Я уверял его, что они сейчас же покажутся, как только он отпустит штаг и поплывет в море. Собственно, я запугивал его нарочно. Я сам в это не верил. Два дня мне удавалось удерживать его. А на третий день ветер упал, и стало очень жарко. «Снарк» двигался со скоростью одного узла. Берт спрыгнул в воду с бушприта и поплыл. И вот странная превратность судьбы! Мы проделали более двух тысяч миль по океану и не видали акул. А тут через пять минут после того, как Берт взобрался на судно, черный плавник акулы резал воду, кружась около «Снарка».

Что-то с этой акулой было не так. Ее появление смутило меня. С какой стати она очутилась посреди пустынного океана? Чем больше я об этом думал, тем это становилось непонятнее. Но через два часа мы заметили землю — и тайна объяснилась. Акула явилась к нам от берега, а не из необитаемых глубин океана. Она была вестником земли.

Через двадцать семь дней по выходе из Сан-Франциско мы подходили к острову Оаху, принадлежащему к группе Гавай-



ских островов. Рано утром мы обогнули Алмазную Вершину и очутились против Гонолулу. И тут океан внезапно закипел жизнью. Сверкающие эскадроны летающих рыб пронизывали воздух. За пять минут мы их насчитали больше, чем за все предыдущее путешествие. И еще какие-то другие толстые рыбы выпрыгивали из воды. Жизнь была всюду: и на море и на берегу. Мы видели мачты и пароходные трубы в гавани, гостиницы и купальни по всей бухте Вайкики, и уютные дымки домов по вулканическим склонам Пуншевой Чаши и Тантаала. Таможенный катер летел к нам на всех парах, а большая стая дельфинов проделывала у носа «Снарка» самые уморительные прыжки. К борту подошла шлюпка портового врача, а большая морская черепаха выставила из воды спину и голову и с любопытством посмотрела на нас. Ни разу еще на море не было вокруг нас такого водоворота жизни. Какие-то незнакомые лица появились на палубе, кричали незнакомые странные голоса, и перед глазами замелькали настоящие сегодняшние газеты с телеграммами из всех частей света. Из них мы узнали, между прочим, что «Снарк» со всем экипажем погиб в море и что это было совершенно никудашное судно. Однако, пока мы читали это печальное

сообщение, радиотелеграф на вершине Халеакалы получил известие о благополучном прибытии «Снарка» в Гонолулу.

Это была первая остановка «Снарка» — и какая остановка! Двадцать семь дней мы пробыли в пустынях океана, и нам довольно трудно было принять в себя столько жизни. Главное — сразу. Мы были ошеломлены, как пробудившиеся Египты Ван-Винкли, и нам казалось, что все это во сне. С одной стороны «Снарка» светло-голубое небо скатывалось в светло-голубое море. С другой — море вздымалось огромными изумрудными волнами, разбивавшимися снежной пеной о коралловые рифы бухты. А выше, на берегу, мягкими зелеными уступами поднимались плантации сахарного тростника, взбираясь на крутые склоны, которые затем переходили в зубчатые вулканические хребты, окутанные туманами тропических лиан и огромными шапками принесенных пассатом облаков. Если это был сон, то чудесный сон. «Снарк» развернулся и пошел в изумрудный прибой, который вздымался и грохотал по обеим его сторонам, и совсем близко от нас рифы скалили свои длинные, бледно-зеленые угрожающие зубы.

Внезапно сам берег двинулся на нас и охватил «Снарк» хаосом своих зеленых рук. Не было уже опасного прохода между рифами, не было изумрудного прибоя и бледно-голубого океана — ничего не было, кроме мягкой, теплой земли, застывшей лагуны и купающихся в ней темнокожих ребят. Океана больше не было. Якорь «Снарка» загрохотал цепью — и мы стали. Все было так красиво и странно, что мы никак не могли поверить в реальность окружающего нас великолепия. По карте это место называется Жемчужной бухтой, но мы его называли Бухтой Снов.

К нам подошла шлюпка: это члены местного яхт-клуба явились поздравить нас с приездом и сделали это с истинно гавайским гостеприимством. Это были, конечно, самые обыкновенные люди из плоти, крови и всего прочего, но появление их не нарушило очарования сна. Последние наши воспоминания о людях были связаны с появлением судебных приставов и маленьких перепуганных коммерсантов с потертыми долларами вместо душ. Эти людишки в смрадной атмосфере угля и копоты вцепились в «Снарк» грязными цепкими руками, не отпуская его в мир приключений и снов. Но люди, встретившие нас здесь, были чистыми и прекрасными. На щеках их лежал здоровый загар, а глаза были ясными — они не потускнели и не загородились линзами очков от блеска вечно пересчитываемых долларов. Нет, эти люди только еще больше убедили нас, что мы видим прекрасный сон.

Мы вышли вслед за этими чудесными людьми на волшебный зеленый берег. Мы высадились на миниатюрной пристани, и сон стал еще чудеснее. Не забудьте, что в продолжение двадцати семи дней мы качались по океану на маленьком «Снарке». В течение двадцати семи дней не было ни одной минуты без этого качающегося движения. Оно вошло уже в нашу плоть и кровь. И тела и души наши так долго качало и подкидывало, что когда мы вышли на миниатюрную пристань, мы все еще продолжали качаться. Мы, естественно, приписывали это самой пристани. Своего рода психологический обман. Я заковывался вдоль пристани и чуть не слетел в воду. Взглянул на Чармиан — и ее походка меня опечалила. Пристань ни в чем не уступала палубе судна. Она поднималась, вздрагивала, качалась и стремительно летела вниз; а так как держаться было не за что, то мы с Чармиан должны были прилагать все усилия, чтобы не упасть в воду. Я никогда не видал такой каверзной пристани! Когда я смотрел на нее, она переставала качаться, но как только мое внимание отвлекалось чем-нибудь, она опять становилась «Снарком». Один раз я поймал ее все-таки, как раз, когда она встала отвесно; я посмотрел на ее противоположный конец с высоты около двухсот футов — и, честное слово, это была настоящая палуба настоящего судна, бросающегося вниз с гребня волны.

Наконец, поддерживаемые нашими новыми друзьями, мы кое-как преодолели пристань и ступили на твердую сушу. Но и суша оказалась не лучше. Первое, что она вздумала сделать, — это быстро накрениться в сторону вместе со всеми горами и даже с облаками, и я далеко-далеко мог проследить ее крен. Нет, это не была устойчивая, твердая земля, иначе она не выкидывала бы таких номеров. Она была так же нереальна, как и весь этот берег. Того и гляди, рассеется, как облачко пара. Мне пришла в голову мысль, что это, может быть, моя вина: просто съел чего-нибудь и вот теперь кружится голова. Но я взглянул на Чармиан и ее неуверенную поступь: как раз в это мгновение она качнулась и толкнула шедшего рядом с ней яхтсмена. Я заговорил с ней, и она тотчас же пожаловалась мне на странное поведение земли.

Мы шли через широкую волшебную лужайку, потом по аллее царственных пальм, и опять через лужайку, еще более волшебную, осененные благодатной тенью стройных деревьев. Воздух звенел птичьими голосами и был душным от роскошных теплых ароматов огромных лилий, пылающих хибис-

кусов и других странных, опьяняющих тропических растений. Сон становился непереносимо прекрасным для нас, видевших перед собой так долго только соленую воду в непрерывном движении. Чармиан протянула руку и уцепилась за меня. «Не может выдержать этой красоты», — подумал я. Но оказалось другое. Когда я расставил ноги, чтобы поддержать ее, я заметил, что лужайка и кусты качаются и кружатся. Это было совсем как землетрясение, только маленькое, оно скоро прошло и никому не причинило вреда. И главное — отчаянно трудно было поймать ее, то есть землю, на этих фокусах. Пока я следил за нею, ничего не происходило, но стоило мне только отвлечься чем-нибудь посторонним, все кругом начинало качаться и волноваться. Один раз мне удалось при быстром и внезапном повороте головы поймать красивое движение пальм, описывающих огромную дугу через все небо. Но как только я поймал это движение, оно прекратилось, и вокруг меня был прежний безмятежный сон.

Наконец мы вошли в сказочный дом с широкой прохладной верандой — дом, где могли жить только сказочные существа, питающиеся лотосом. Окна и двери были широко распахнуты, и пение птиц и ароматы цветов приплывали и уплывали через них. Стены были затянуты плетеными циновками из кокосовых волокон. Небольшие диваны, покрытые ковриками из зеленой травы, заманчиво глядели отовсюду, и тут же стоял большой рояль, который должен был издавать, как мне казалось, только баюкающие звуки. Служанки-японки в национальных костюмах порхали вокруг бесшумно, как бабочки. Все было овеяно сверхъестественной свежестью. Ничего похожего на грубые нападения солнца и ветра в безбрежном море. Нет, положительно, все это было чересчур хорошо. Это не могло быть реальностью. Я понял это, потому что, быстро обернувшись, поймал рояль на каком-то подозрительном пируэте в углу комнаты. Я не сказал ничего: как раз в это время к нам подошла прелестная женщина, настоящая мадонна, одетая в белые разлетающиеся одежды, в сандалиях, поздоровалась с нами так, как будто она знала нас всю жизнь.

Мы сели за стол на веранде, где вкушают лотос; нам прислуживали бабочки, и мы ели удивительные кушанья и пили нектар, который называют здесь пои. Но по временам сон грозил растаять. Он вздрагивал и туманился, как радужный мыльный пузырь, готовый лопнуть. Я взглянул на зеленую лу-

жайку, на стройные деревья и цветы хибискуса и вдруг почувствовал, что стол двигается. Стол и мадонна против меня, и веранда, где вкушают лотос, и пылающие хибискусы, и лужайка, и деревья — все вдруг взметнулось кверху и затем тяжело полетело вниз, как с гребня чудовищной волны. Я судорожно ухватился за ручки кресла и удержался. У меня было такое чувство, что я держусь не только за стул, но и за самый сон и удерживаю его. Я нисколько не был бы удивлен, если бы вдруг кругом зашумело море, смыло бы всю эту волшебную страну и я очутился бы опять на «Снарке», опять на руле, с таблицами логарифмов в руке. Но сон не исчезал. Я украдкой взглянул на мадонну и ее супруга. Они не изменились. И блюда не сдвинулись со стола. И хибискусы, и деревья, и трава были на месте. Ничто не изменилось. Я выпил еще немного нектара, и сон стал реальнее, чем когда-либо.

— Не хотите ли чаю со льдом? — спросила мадонна, и конец стола, где она сидела, осторожно наклонился, и я ответил «да» уже под углом в сорок пять градусов.

— Вот вы говорили об акулах, — сказал ее муж. — Там, на Ниихау, был один человек...

В это мгновение стол качнулся и стал подниматься на дыбы; я смотрел на говорившего снизу, под углом в сорок пять градусов.

Так шел завтрак, и я был счастлив, что по крайней мере могу не видеть походки Чармиан и не огорчаться. Вдруг какое-то таинственное слово испуга сорвалось с губ небожителей.

«Ну вот, — подумал я, — конец прекрасному сновидению».

Я с отчаянием вцепился в стул, твердо решившись вернуться в реальность «Снарка», захватив с собою вещественное доказательство существования страны лотоса. Я чувствовал, как сон притаился и сейчас уйдет. Но вот опять прозвучало таинственное страшное слово. Оно звучало как-то вроде: «ре-пор-теры». Я взглянул и увидел, что три человека направляются к нам через лужайку. О милые, благословенные репортеры! Значит, все-таки этот сон был настоящей, неоспоримой реальностью! Я посмотрел вдаль, на сияющее море и увидел «Снарк», стоявший на якоре, и вспомнил, что я приплыл на нем от Сан-Франциско до Гавайских островов, и что вот это — Жемчужная бухта, и что сейчас меня с кем-то знакомят, и я уже отвечаю на первый вопрос:

— О да, погода была чудесная всю дорогу!

Глава VI

СПОРТ БОГОВ И ГЕРОЕВ

Да, это действительно лучший спорт для прирожденных героев.

Трава в бухте Вайкики растет у самой воды. Деревья тоже. И вот сидишь под их сенью и глядишь на величественный прибой, накатывающийся к самым твоим ногам. На расстоянии полумили, там, где рифы, из безмятежной бирюзовой глубины выскакивают вдруг косматые белогривые валы и мчатся к берегу. Они летят друг за другом, захватывая целую милю в ширину, с дымящимися хребтами — белые батальоны бесчисленной армии океана. А ты сидишь и слушаешь несмолкаемый гул и смотришь на бесконечную их процессию, и чувствуешь себя маленьким, жалким перед бешеной силой, воплотившейся в их реве и ярости. Чувствуешь себя микроскопически крохотным, и одна мысль о том, что можно вступить в бой с этими волнами, заставляет содрогаться от страха. Эти волны, длиною в целую милю, эти зубастые чудовища весят добрую тысячу тонн и мчатся к берегу быстрее, чем может бежать человек. Можно ли отважиться на это? Нет, нельзя, — решает трепещущий разум; и ты сидишь, и глядишь, и думаешь: как хорошо нежиться на траве, в тени у берега!..

И вдруг там, где вздымается к небесам могучий седой вал из водоворота пены, взбитой как сливки, показывается морской бог. Сначала на головокружительно несущемся гребне, нарастающем, нависающем, обрушивающемся вниз, появляется его голова. Потом черные плечи, грудь, колени, ноги — все выступает на белом фоне, как яркое видение. Там, где за минуту до этого была лишь дикая стихия и непокорный рев воды, стоит теперь человек, стоит прямо, во весь рост, а не бьется судорожно из последних сил, не падает, не гибнет под ударами могучих чудовищ, нет, он возвышается над ними, спокойный, великолепный, стоит на самой вершине — и только ноги его захватывает кипящая пена да соленые брызги взлетают до колен, а все его тело — в воздухе, в солнечном свете, и он летит в этом воздухе, летит вперед, летит так же быстро, как гребень, на котором он стоит.

Это Меркурий, смуглый Меркурий. На ногах у него крылья, а в них вся сила и быстрота океана. Он выскочил из пучины, оседлав волну, он скачет на ней, а она ревет и мечется под ним и не может сбросить его. А он даже не борется с ней, даже не балансирует. Он стоит неподвижный, бесстрастный, как

каменное изваяние, вознесенное каким-то чудом со дна океана. И он летит прямо на берег, стоя своими крылатыми ногами на белом гребне. И дико разбивается пенная волна и с протяжным, замирающим шумом растекается, обессиленная, у ваших ног, и вот уже на берегу спокойно стоит канака, смуглый, золотой от тропического солнца. Несколько минут назад он был маленьким пятнышком за четверть мили от берега. Он взнуздал упрямое морское чудовище, он ехал на нем, и гордость победы чувствуется во всем его прекрасном теле, когда он как бы равнодушно взглядывает на вас, сидящего на берегу в тени. Он чувствует себя человеком, представителем той удивительной породы, которая покорила материю, подчинила себе всех прочих тварей земных, завладела всем миром.

Все это прекрасно, когда сидишь и рассуждаешь здесь, в прохладной тени. Но, собственно говоря, вы такой же человек, из той же удивительной породы; и, значит, если канака может это делать, то и вы можете. Ступайте и пробуйте. Сбросьте одежду, которая только мешает здесь, в этом прекрасном климате. Ступайте и боритесь с океаном: окрылите свои ноги всей смелостью и силой, которыми вы наделены от природы; оседлайте дикие волны, покорите их и катайтесь на их спинах, как истинный повелитель вселенной.

Вот как случилось, что я научился кататься на прибое. И теперь, когда я умею это делать, я опять повторяю с еще большей настойчивостью: это спорт богов и героев.

Позвольте мне прежде всего объяснить механику этого дела. Волна — это передающееся движение. Вода, составляющая волну, сама по себе не движется. Если бы она двигалась, в том месте, где упал бы брошенный вами камень и откуда расходятся по воде круги, была бы все увеличивающаяся дыра. Нет, вода, составляющая тело волны, неподвижна. Глядя перед собой на поверхность океана, вы увидите, как та же самая вода тысячу раз будет вздыматься и падать от движения тысяч следующих одна за другой волн. Теперь представьте себе, что это движение направлено к берегу. У берега дно постепенно поднимается, и нижняя часть волны, соприкасаясь с ним, задерживается. Но вода текуча, и верхняя часть волны не столкнулась ни с каким препятствием, она продолжает мчаться вперед. А раз верхняя часть волны продолжает мчаться вперед, когда нижняя часть ее отстала, так просто это не проходит. Гребень накатывает вперед и падает вниз, клубясь и грохоча. От столкновения подножия волны с поднимающимся дном и возникает прибой.

Но переход от плавного волнообразного движения к пенящимся волнам не внезапен, кроме тех случаев, когда дно моря повышается сразу. Если дно постепенно повышается на протяжении от одной четверти мили до мили, то и превращение волны протекает на таком же пространстве. Именно такое постепенно повышающееся дно у залива Вайкики, и прибой там восхитительно приспособлен к тому, чтобы кататься на нем. Вы забираетесь на хребет волны как раз тогда, когда она начинает расти, и стоите на ней все то время, пока она растет, устремляясь к берегу.

А теперь перейдем к частному вопросу о технике катания на прибое. Возьмите гладкую доску в шесть футов длины и два фута ширины, с закругленными концами. Ложитесь на нее вдоль, как ложатся ребята на санки, и гребите руками, пока не доберетесь до такой глубины, где уже начинают образовываться волны. Там оставайтесь на своей доске совершенно спокойно. Волна за волной вздымается сзади, спереди, снизу, сверху, но они вас не сдвинут. Вам надо ждать волны с пенящимся гребнем. Такие волны выше и круче. Вообразите себя на доске, на переднем склоне такой высокой волны. Если бы волна стояла неподвижно, вы бы скатились с нее, как дети на салазках с горы. «Позвольте,—говорите вы,—волна ведь не стоит на месте». Верно, волна не стоит на месте, но вода, образующая ее, стоит на месте, и в этом весь секрет. Если вы установите доску на переднем склоне волны, то вы будете все время скользить по ней, никогда не достигая ее подножия. Пожалуйста, не смейтесь! Пусть склон волны будет всего-навсего шесть футов — вы все-таки будете соскальзывать с него на протяжении четверти мили или полмили и все-таки не достигнете подножия. Потому, что, видите ли, если волна — это только передача движения и если вода, образующая волну, все время меняется, то новая вода будет подниматься под вами по мере того, как передвигается волна. Вы соскальзываете по этой новой воде, но оказываетесь в прежнем положении на волне, все время скользя вниз по воде, которая с такой же скоростью подымается под вами, образуя вашу волну. Вы скользите со скоростью, равной быстроте движения волны. Если она движется со скоростью пятнадцати миль в час, вы тоже скользите со скоростью пятнадцати миль в час. Между вами и берегом лежит водное пространство в четверть мили. Волна катится, вода услужливо вздымается, остальное доделывает сила тяжести — и вы скользите, скользите вниз на протяжении всей четверти мили. Если же вы по-прежнему думаете, что вода



движется вместе с вами, погрузите в нее руки и попробуйте грести, вы почувствуете при каждом ударе, что вода убегает у вас из-под ладоней с той же скоростью, с какой вы мчитесь вперед.

А теперь еще кое-что о технических приемах катания на прибое. Нет правила без исключения. Действительно, вода, составляющая волну, не движется вперед. Но все-таки воде сообщается импульс. И на самом гребне вода безусловно движется, и вы сразу заметите это, если она ударит вас в лицо или если вас захлестнет здоровенная волна, и вы с полминуты, задыхаясь и захлебываясь, пробудете под водой. Гребень волны как бы покоится все время на основании — на той воде, что образует нижнюю часть волны. Основание волны, соприкасаясь с дном, останавливается, тогда как гребень ее летит дальше. Основание больше не поддерживает его. Там, где был крепкий фундамент из воды, теперь имеется только воздух, и впервые волна знакомится с земным притяжением и обрушивается вниз, в то же время отрываясь от медлящего основания и летя вперед. Поэтому катание на прибое и нельзя сравнивать с мирным катанием на салазках. В самом деле, вас вы-

швыривает на берег с такой силой, как будто вас бросила рука титана.

Я покинул прохладную сень деревьев, надел купальный костюм и с доской в руках вошел в воду. Доска была мала для меня. Но я этого не знал, и никто ничего не сказал мне. Я присоединился к компании малолетних туземцев, упражнявшихся в сравнительно спокойной воде, где волны были невелики и смиренны — нечто вроде купального детского сада, — я стал наблюдать за ребятами. Когда на них набегала волна, они бросались животом на доски, били ногами как сумасшедшие и неслись к берегу. Я попробовал сделать то же. Я подражал каждому их движению — и все-таки ничего не выходило. Волна проносилась мимо, но не подхватывала меня. Я пробовал много раз. Я бил ногами, так же как мальчишки около меня, и все-таки оставался на месте. Вокруг меня было с полдюжины ребят. Все мы поджидали хорошую волну. Все вместе вскакивали на нее на наших досках и били ногами, как паровоз спицами колес, но чертенята уплывали, а я оставался на месте, точно какой-то отверженный.

Я провозился битый час и не смог убедить ни одну волну дотащить меня до берега. И тогда явился избавитель — Александр Юм Форд, путешественник по призванию и большой любитель сильных ощущений, которые готов искать повсюду. В Вайкики он нашел их. Он плыл в Австралию, остановился здесь на неделю, чтобы испытать ощущение катания на прибое, да так и остался. Он провел здесь уже с месяц, катался каждый день, и очарование все не пропадало. Он сказал мне тоном знатока:

— Бросьте эту доску, бросьте сейчас же! Посмотрите, как вы на ней лежите. Если она толкнется носом в дно, она неминуемо пробьет вам живот и выпустит кишки. Возьмите мою. У нее такой размер, как нужно для взрослого.

Когда я сталкиваюсь с наукой, я всегда становлюсь покорным и смиренным: Форд мог убедиться в этом. Он научил меня обращаться с доской. Потом, дождавшись хорошей волны, он подтолкнул меня в нужный момент. О волшебная минута, когда я почувствовал, что волна подхватила меня и несет! Я пролетел на ней футов полтора и мягко опустился на песок. Тут я погиб окончательно. Я вернулся к Форду с доской. Доска была прекрасная, толщиной в несколько дюймов и весила семьдесят пять фунтов. Форд надавал мне кучу советов. Его самого не учил никто, и то, что он сообщил мне в течение получаса, было добыто в результате нескольких недель труда. Через полчаса я уже мог кататься самостоятельно. Я катался

и катался, а Форд ободрял и советовал. Он указал мне, например, на каком расстоянии от переднего конца доски надо ложиться. Но один раз я, очевидно, лег слишком близко, потому что проклятая доска у самого берега зарылась носом в дно и сделала это так внезапно, что перевернулась сама и грубейшим образом стряхнула меня с себя. Меня подбросило в воздух как щепку и постыдно смяло набежавшей волной. Тут я понял, что, если бы не Форд, мне бы давно пробило живот. Форд говорит, что в таком риске и заключается вся прелесть этого спорта. Может быть, ему посчастливится, и он до отъезда из Вайкики успеет получить рану в живот; тогда, я надеюсь, его страсть к сильным ощущениям будет на какое-то время удовлетворена.

Я твердо убежден, что самоубийство все-таки лучше, чем убийство, а в особенности если предстоит убить женщину. Форд спас меня от убийства. «Вообразите свои ноги рулем,— сказал он.— Сожмите их плотно и правьте ими». Через несколько минут после того, как были сказаны эти слова, я лежал на гребне. Когда я был уже близко от берега, я увидел прямо перед собой женскую фигуру по пояс в воде. Что делать? Как остановить волну? Похоже было на то, что женщина погибла. В доске было семьдесят пять фунтов весу; во мне — сто шестьдесят пять. Все это несло со скоростью пятнадцати миль в час. Я предоставляю кому угодно математически вычислить силу, которая должна была обрушиться на эту бедную хрупкую женщину. И тут я вспомнил Форда, моего ангела-хранителя. «Править ногами, как рулем»,— пронеслось у меня в голове. И я правил, правил изо всех сил, какие были у меня в ногах. Доска повернулась боком к гребню волны. Тут одновременно произошло очень многое. Прежде всего волна легонько шлепнула меня, то есть легонько, принимая во внимание мощь волны, но вполне достаточно для того, чтобы сбить меня с доски и сбросить на дно, с которым мне пришлось прийти в крайне неприятное столкновение и некоторое время катиться по нему кубарем. Наконец, мне удалось освободить из воды голову, а потом набрать в легкие воздух и встать на ноги. Женщина стояла передо мной. Я чувствовал себя героем. Я спас ее. А она... она смеялась. Как она хохотала надо мной! И это не была истерика от пережитого страха. Она даже не подозревала об опасности. Я утешил себя тем, что в конце концов спас ее Форд, а не я, и, стало быть, я вовсе не обязан корчить из себя героя. А кроме того, этот руль из ног оказался интереснейшей штукой. Через несколько минут

упражнений я уже мог лавировать между купальщиками, и притом оказывался сверху волны, а не под ней.

— Завтра,— сказал Форд,— я возьму вас подальше, в голубую воду.

Я посмотрел в ту сторону, куда он показывал, и увидел гигантских косматых чудовищ. По сравнению с ними волны, на которых я катался сегодня, казались просто рябью. Я не знаю, что бы я сказал ему, если бы не вспомнил вовремя, что принадлежу к удивительнейшей породе животных, которая... и т. д. Поэтому я сказал:

— Отлично, завтра непременно.

Вода в бухте Вайкики точно такая же, как и всюду на Гавайских островах; и вода эта, в особенности с точки зрения купальщиков, удивительная. Она достаточно прохладна, чтобы давать приятное ощущение, и в то же время достаточно тепла, чтобы в ней можно было плавать хоть целый день, не рискуя озябнуть и простудиться. При свете солнца, при мерцании звезд, ровно в полдень или во мраке полуночи, зимой или в разгар лета она всегда имеет одинаковую температуру: не слишком низкую, не слишком высокую, а в самый раз. Это удивительная вода, соленая, как и сам древний океан, чистая и кристально прозрачная. Понятно, что на такой воде канакки — самые искусные пловцы в мире.

Итак, в следующее утро Форд зашел за мной, и мы отправились в море на целый день. Сидя на наших досках, или, вернее, лежа на них на животах, мы проплыли через «детский сад», где возились маленькие туземцы. Мы попали в глубокую воду, и пенящиеся гребни с ревом полезли нам навстречу. Уже одна борьба с ними, чтобы устоять и пробиться дальше, была прекраснейшим спортом. Тут надо было не горячиться и не зевать, потому что в противовес бешеным ударам одной стороны другая сторона могла выставить только выдержку и сообразительность. Это была борьба между стихийной, бессмысленной силой и разумом. Скоро я выучился кое-чему. Когда гребень нависал над моей головой, какое-то мгновение я видел солнечный свет сквозь изумрудную толщу: потом я нырял под волну головой вперед, что есть силы цепляясь за доску. Тут обрушивался удар, и зрителям с берега должно было казаться, что я погиб. А на самом деле и доска и я уже успевали пройти сквозь волну и безмятежно вынырнуть с другой ее стороны. Но все же я бы не посоветовал пускаться на такое хилым и слаонервным. Удары эти достаточно тяжелы, а вода обдирает кожу, как наждачная бумага. Когда пройдешь сквозь

полдюжины таких гребней подряд, то, пожалуй, откроешь массу преимуществ пребывания на суше.

В разгар нашей борьбы с косматыми чудовищами к нам присоединился третий товарищ, некий Фриз. Выбравшись из-под волны и приглядываясь к следующей, я увидел его на гребне, он стоял на своей доске в беспечной позе молодого бронзового бога и мчался на нас. Форд окликнул его. Он соскочил с доски, поймал ее и, подплыв к нам, тоже занялся моим обучением. Между прочим, он показал мне, как поступать, если надвигающаяся волна слишком велика. Такие волны положительно опасны, и входить в них на доске не рекомендуется. Фриз учил меня, что при приближении такого опасного гиганта следует соскользнуть с заднего конца доски. Удерживая доску поднятыми над головой руками. При таком положении, если даже волна ухитрится вырвать доску из ваших рук и ударить вас ею по голове (что волны очень любят делать), между головой и доской окажется водяная подушка больше фута толщиной. Пройдет волна, влезай на доску и гребь дальше. Я слышал, что многие серьезно пострадали от таких ударов.

Как я узнал, все искусство катания на волнах заключается в уклонении от борьбы с ними. Увертывайтесь от волны, которая бросается на вас. Нырять головой под волну или ногами вперед как можно глубже, и пусть вал, собирающийся раздавить вас, пронесется над вашей головой. Не сопротивляйтесь, будьте гибки, отдавайте себя на произвол воды, которая бушует и клокочет вокруг вас. Когда вас захватит подводное течение и понесет в открытое море над самым дном, не боритесь. Если вы станете бороться, вам угрожает опасность утонуть, так как течение это гораздо сильнее вас. Предоставьте воде нести вас. Плывайте по течению, а не против него, и давление его на ваше тело ослабнет. И, плывя по течению, обманывая его, чтобы оно вас не задерживало, плывите в то же время вверх. Вам совсем нетрудно будет выбраться на поверхность.

Тот, кто хочет научиться кататься на прибое, должен быть хорошим пловцом и должен уметь подолгу оставаться под водой. А все остальное зависит только от его выносливости и сообразительности. Учесть силу больших волн почти невозможно. Случается, что пловца швыряет на несколько сот футов от доски, на которой он плывет. Тогда он должен уметь позаботиться о себе. Сколько бы ни было с ним товарищей по катанию на прибое, он предоставлен самому себе и не должен рассчитывать ни на чью помощь. Чувство воображаемой безопасности, которое внушали мне близость Форда и Фриза, за-

ставило меня позабыть, что я в первый раз выплыл в открытое море кататься на больших волнах. Тем не менее я внезапно вспомнил об этом, когда большая волна нахлынула и умчала обоих моих спутников к берегу. Я раз десять мог бы утонуть, прежде чем они успели бы вернуться ко мне.

Пловец скользит на хребте волны, лежа на доске, но для этого нужно раньше попасть на этот хребет волны. Пловец и доска должны с достаточной скоростью двигаться к берегу, прежде чем их подхватит волна. Когда вы замечаете приближение волны, которой вы хотите воспользоваться, вы поворачиваетесь к ней спиной и изо всех сил гребете руками и ногами к берегу, плывя стилем «мельничное колесо». Этот маневр вы должны проделать с молниеносной быстротой. Если ваша доска движется достаточно быстро, волна ускорит ее движение, и ваша доска начнет свой скользящий путь вниз, растянутый на целую четверть мили.

Я никогда не забуду первой волны, на которую мне удалось взобраться здесь, в настоящей воде. Я видел, как она надвигалась. Я повернулся к ней спиной, лежа на доске, и начал грести что есть силы. Моя доска летела все быстрее, а что было позади, я не мог видеть: обернуться было невозможно. Я слышал только, как все ближе шипела и клокотала налетающая волна, и вдруг доску приподняло, и мы полетели. В первую минуту я даже не понял, что случилось. Хотя глаза мои были широко открыты, я ничего не видел в кипящей пене гребня. Но это было неважно. Я знал, что я на гребне, и испытывал настоящий экстаз. Через минуту я стал приглядываться. Я заметил, что три фута носа моей доски высунулись из воды и несутся в воздухе. Я продвинулся вперед и заставил нос опуститься. А потом я спокойно лежал в диком водовороте воды и разглядывал берег и купальщиков, которые становились все яснее. Однако мне не удалось доплыть на этой волне до берега: мне показалось, что передний конец доски опускается, я отодвинулся назад, но, очевидно, слишком сильно, и скатился с волны вместе с доской.

Но это был только второй день моего катания на прибое, и я был очень доволен собой. Я пробыл в воде четыре часа и, уходя, был намерен вернуться завтра утром. Однако этому благому намерению предстояло осуществиться лишь спустя некоторое время. На следующее утро я лежал в постели. Вода в Гонолулу изумительная, но и солнце изумительное: тропическое солнце, и притом в первой половине июня. Оно стоит прямо над головой. Коварное, предательское солнце. Первый раз в жизни я не заметил, что солнце сожгло мне кожу. Руки,

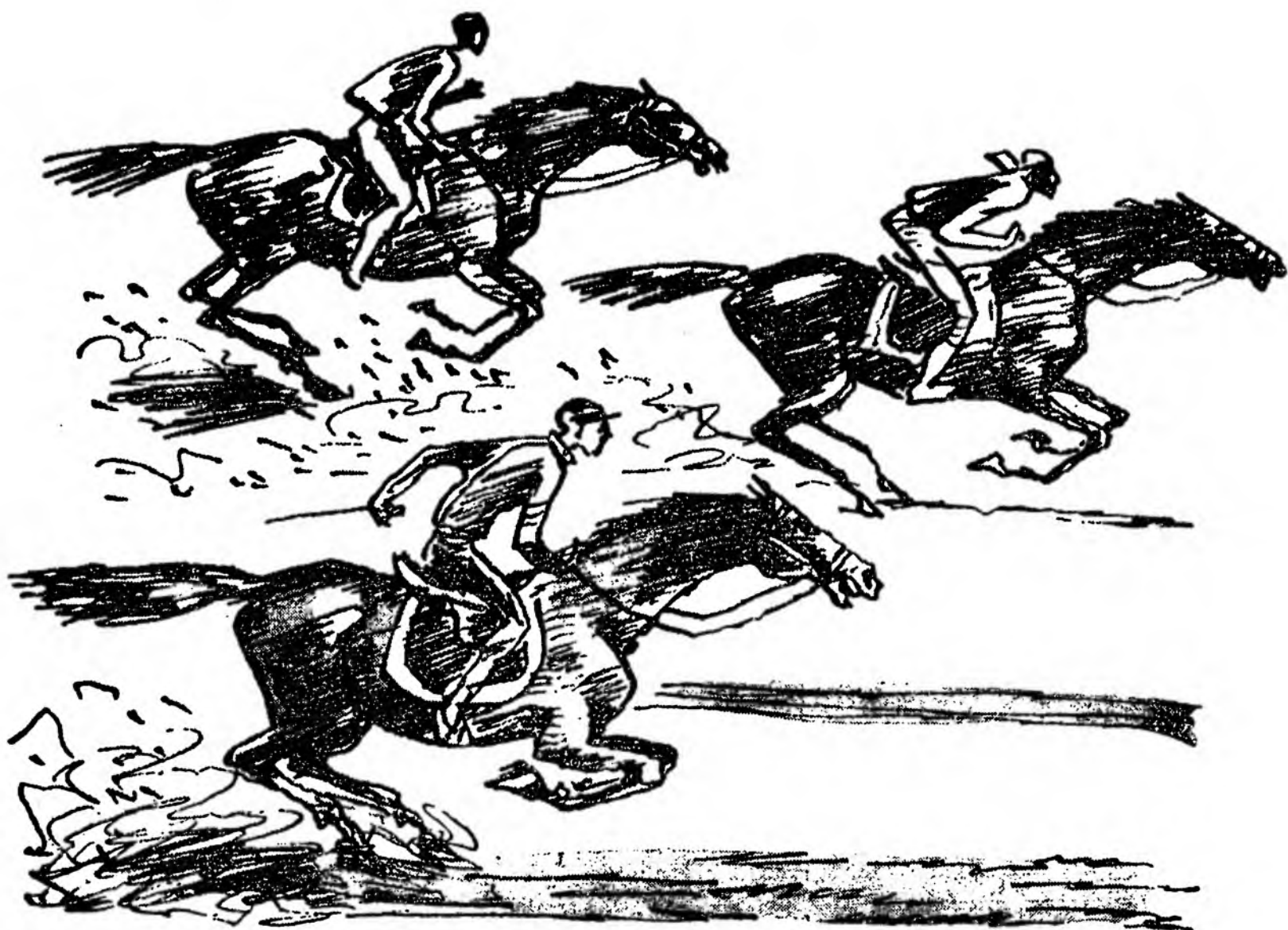
плечи и спина и раньше много раз бывали обожжены и потому до некоторой степени закалились, но ноги впервые оказались под действием отвесных лучей, да еще в продолжение четырех часов подряд. Я сообразил это только на берегу. Солнечный ожог сначала чувствуется не очень сильно. Потом обожженное место покрывается пузырями. Сгибать суставы совершенно невозможно, и мне пришлось пролежать весь следующий день в постели. Ходить я не мог. И вот почему сегодня я пишу тоже в постели. Сегодня мне лучше, но все же не очень хорошо. Зато завтра... о, завтра я буду совсем здоров, и опять отправлюсь кататься на прибое, и научусь кататься стоя, как Форд и Фриз! А если завтра это не удастся, то удастся послезавтра или после послезавтра. Одно я решил твердо: «Снарк» не покинет Гонолулу, пока на моих ногах не вырастут крылья моря и я не сделаюсь загорелым Меркурием, хотя бы и с облезшей кожей.

Глава VII

КОЛОНИЯ ПРОКАЖЕННЫХ

Когда «Снарк» на пути в Гонолулу проходил вдоль побережья Молокаи, я взглянул на карту и, показывая на низменный полуостров, за которым возвышались неприступные скалы от двух до четырех футов высоты, сказал: «Вот преддверие ада — самое проклятое место на земном шаре». Каково бы мне было, если бы я мог в ту минуту увидеть себя самого в этом «самом проклятом месте земного шара», постыдно-весело проводящего время в компании восьмисот прокаженных, которые тоже не скучали. Их веселье, разумеется, не было постыдным, но мне просто позор, потому что нехорошо веселиться в таком месте. Я сам это понимал: единственное мое извинение, что там никак нельзя было не веселиться.

Так, например, вечером четвертого июля все прокаженные собрались на ипподроме. Я оставил начальника колонии и врачей, чтобы сделать несколько снимков с финиша скачек. Состязания были интересные, и тотализатор работал вовсю. Скакали три лошади: на одной ехал китаец, на другой — гаваец, на третьей — португальский мальчик. Все трое были прокаженными. Жюри и публика — тоже. Лошади должны были сделать два круга. Китаец и гаваец скакали рядом, голова в голову, португальский мальчик отстал от них футов на двести. Так был сделан первый круг. С половины второго китаец вы-



двинулся вперед на голову. В то же время маленький португалец начал нагонять. Но где ему! Толпа пришла в неистовство: все здешние прокаженные — страстные любители лошадей и скачек. Португалец все нагонял. Я тоже пришел в неистовство... Они уже подходили к финишу. Португалец обогнал гавайца. Шумно стучали копыта, шумно храпели три лошади, сбившиеся в кучу, свистели хлысты жокеев, и во всю глотку кричали зрители и зрительницы. Ближе и ближе, дюйм за дюймом забирает португалец и обгоняет, да, обгоняет и мчится первым, на голову впереди китайца. Когда я пришел в себя, меня окружала кучка прокаженных. Все прокаженные орали, подбрасывали вверх шляпы, плясали вокруг, как черти в аду. И я делал то же самое! Я поймал себя на том, что размахиваю шляпой и твержу в упоении:

— Черт возьми, выиграл мальчишка! Мальчишка-то выиграл!

Я постарался урезонить самого себя. Я убеждал себя, что наблюдаю «ужасы Молокаи» и что для меня по меньшей мере неприлично быть легкомысленным при таких обстоятельствах. Но ничто не помогало. Следующей была скачка ослов — настоящая потеха. Выигрывал отставший, и дело осложнялось еще тем, что никто не ехал на своем собствен-

ном осле. Поэтому каждый из участников гнал что есть силы осла, на котором сидел, чтобы оставить позади своего собственного осла, на котором ехал кто-то другой. В состязании участвовали, разумеется, только самые ленивые и упрямые ослы. Один осел, например, был обучен подгибать колени и ложиться, как только всадник дотрагивался каблуками до его боков. Некоторые ослы стремились повернуть назад; другие быстро подбегали к барьеру и, положив на него морды, отказывались двинуться дальше. Вообще все делали что-то не то. На полдороге один из ослов решительно не поладил со своим жокеем. Когда все остальные уже прошли круг, эти двое все еще препирались между собой. Он и оказался победителем, хотя наездник, бросив осла, побежал вместо него сам. Около тысячи прокаженных покатывались со смеху. Право, всякий на моем месте тоже хохотал бы вместе с ними.

Все это я рассказываю, чтобы самым решительным образом заявить, что расписанных столь красочно «ужасов Молокаи» не существует. Колония не раз служила темой любителей сенсаций, из которых многие в глаза ее не видали. Конечно, проказа остается проказой — ужасной, отвратительной болезнью. Но, с другой стороны, столько мрачного писалось о Молокаи, что это становится уже несправедливым по отношению к прокаженным и по отношению к тем, кто посвятил им свою жизнь. Вот пример. Корреспондент одной газеты, который, разумеется, никогда и близко не подходил к колонии, описывал в ярких красках, как начальник колонии Мак-Вей, скорчившись, сидит в соломенной хижине, днем и ночью осаждаемый прокаженными, которые, воя от голода, на коленях молят о куске хлеба. Эта корреспонденция, от которой волосы становились дыбом, была сейчас же перепечатана всеми газетами Соединенных Штатов и дала материал для нескольких возмущенных и протестующих передовиц. Ну так вот: в течение пяти дней я жил и спал в «Соломенной хижине» мистера Мак-Вея (оказавшейся, кстати сказать, комфортабельным деревянным коттеджем; во всей колонии вы не найдете ни одной соломенной хижины); слышал я также мольбы прокаженных, — только мольбы эти были исключительно мелодичны и сопровождались аккомпанементом струнного оркестра — скрипок, гитар, укулеле и банджо. Мольбы были разнообразны. Сначала молил духовой оркестр, потом — два хора и, наконец, квинтет, составленный из прекрасных голосов. Стоит ли дальше опровергать эту ложь, которую вовсе не следовало печатать? Это была серенада, которую колония устраивает

всякий раз мистеру Мак-Вею, когда он возвращается из поездки в Гонолулу.

Проказа не так заразна, как это обыкновенно думают. Мы с женой провели в поселке неделю, чего мы, конечно, не сделали бы, если бы боялись заразиться. Мы не носили длинных, наглухо застегнутых перчаток и не держались от прокаженных в стороне. Наоборот, мы постоянно были в их толпе и за неделю перезнакомились с очень многими. Необходима лишь одна мера предосторожности — самая обыкновенная чистоплотность. По возвращении домой здоровые, как, например, начальник поселка и доктора, приходившие в соприкосновение с прокаженными, должны тщательно вымыть руки и лицо антисептическим мылом и переменить платье — вот и все.

Что проказа заразна, забывать все же нельзя, так что изоляция прокаженных, по всему тому, что мы знаем об этой болезни, является необходимой. Но тот ужас и отвращение, с которыми прежде относились к прокаженным, конечно, не нужны и жестоки. Чтобы поколебать обычно преувеличенную боязнь проказы, я расскажу кое-что о жизни прокаженных и здоровых на Молокаи. На следующее утро после нашего прибытия мы с Чармиан присутствовали на состязании стрелков в местном клубе и в первый раз заглянули, таким образом, в это царство скорби. Разыгрывался кубок, пожертвованный мистером Мак-Веем, который состоит членом клуба, точно так же, как и врачи Гудхью и Холлман, живущие в колонии со своими женами. Палатка была наполнена прокаженными. Больные и здоровые стреляли из одних ружей, и народу в этом тесном помещении набилось много. Большинство были гавайцы. Рядом со мною на скамейке сидел норвежец, а против меня стоял, готовясь стрелять, американец. Ветеран гражданской войны, сражавшийся в войсках Конфедерации. Ему было шестьдесят пять лет, но это не мешало ему состязаться с другими. Рослые гавайские полисмены — тоже прокаженные, — одетые в хаки, тоже стреляли, а также и португальцы, китайцы и кокуасы — туземные слуги поселка, непрокаженные. А в тот вечер, когда мы с Чармиан поднялись перед отъездом на пали, на высоту двух тысяч футов, чтобы сверху последний раз взглянуть на поселок, мы увидели, что начальник колонии, доктора и масса больных и здоровых всех национальностей с увлечением играют в бейсбол.

Не так, конечно, относились к прокаженному и его ложно понимаемой болезни в средние века. В глазах общества и закона прокаженный считался тогда мертвым. Похоронная процессия отводила его в церковь, где его отпевали, как покойни-

ка. На грудь ему бросали горсть земли, и он становился трупом, живым трупом. Хотя, конечно, такие жестокие меры были излишни, все же они сослужили определенную службу. В Европе проказа была неизвестна до тех пор, пока ее не занесли возвращающиеся из Азии крестоносцы, после чего она стала медленно и упорно развиваться, охватывая все бóльшие и бóльшие круги населения. Было ясно, что болезнь передавалась через прикосновение и что необходима изоляция заболевших. И как ни жестоко было подобное обращение с прокаженными, оно укоренило эту истину в сознании людей. Только благодаря этому распространение проказы было приостановлено.

Вследствие изоляции больных проказа уменьшается даже на Гавайских островах. Но изоляция прокаженных на острове Молокаи совсем не тот кошмар, который так превратно описывается «желтой» прессой. Прежде всего надо сказать, что прокаженный не вырывается из родной семьи внезапно и безжалостно. Когда обнаруживается подозрительный в этом отношении субъект, министерство здравоохранения приглашает его явиться на испытательную станцию Калихи, в Гонолулу. Проезд и все издержки по поездке ему оплачиваются. Его подвергают бактериологическому исследованию, и, если у него находят *bacillus leproae* (бациллу проказы), его передают особой комиссии, состоящей из пяти врачей-специалистов. Если и они подтверждают наличие проказы, испытуемый объявляется прокаженным и подлежит отправке на Молокаи. Однако для участия в этой процедуре больной имеет право еще и сам выбрать и нанять себе врача. А кроме того, он не сразу отсылается на Молокаи после того, как его признают прокаженным. Ему дается достаточно времени — недели, а иногда даже и месяцы, в продолжение которых он живет в Калихи и приводит в порядок все дела. На Молокаи больного могут посещать родственники, поверенные в делах и другие лица, хотя им и не разрешается есть и спать у него в доме. Для этого имеются особые дома для посетителей, которые содержатся в большой чистоте.

Образец того, какому тщательному обследованию подвергается человек, у которого заподозрили проказу, я видел при посещении станции в Калихи, куда ездил вместе с мистером Пинкгэмом, председателем санитарной комиссии. Испытуемый был гаваец, семидесятилетний старик, тридцать четыре года проработавший в Гонолулу в качестве наборщика. Бактериолог станции дал заключение, что он болен, но испытательная комиссия не могла прийти ни к какому определен-

ному решению, и в тот день, когда мы посетили станцию, врачи еще раз собрались в Калихи для вторичного осмотра больного.

Даже отправленные на Молокаи прокаженные имеют право требовать переосвидетельствования, и многие больные приезжают с этой целью обратно в Гонолулу. На пароходе, на котором я плыл в Молокаи, были две возвращавшиеся обратно в колонию молодые женщины-прокаженные. Одна ездила в Гонолулу по поводу каких-то дел, другая — чтобы повидать больную мать. Обе оставались в Калихи около месяца.

Климат на Молокаи еще лучше, чем в Гонолулу, особенно в колонии, расположенной на подветренной стороне острова, как раз на пути прохладных северо-восточных пассатов. Окрестности там великолепны. С одной стороны безбрежно-голубой океан, с другой — грандиозная стена утесов — па-ли, — прерываемая то здесь, то там роскошными горными долинами. Всюду богатые пастбища, по которым бродят сотни лошадей, принадлежащих прокаженным. Многие прокаженные имеют собственные телеги, брички и другие экипажи. В маленькой гавани Калаупапа стоит множество лодок и одна моторная. Все это принадлежит прокаженным. Их экскурсии по морю, разумеется, ограничены известным районом, но других ограничений нет. Рыбу они продают санитарному управлению колонии, и деньги получают в полную собственность. В то время, когда я был там, улов одной ночи равнялся четырем тысячам фунтов.

Кроме рыболовства, они занимаются и земледелием. Да и ремесла здесь процветают. Один из прокаженных, чистокровный гаваец, содержит малярную мастерскую. У него работают восемь человек, и он берет подряды на окраску различных зданий колонии. Он состоит членом стрелкового клуба, где я с ним и познакомился, и должен сознаться, он был одет гораздо лучше, чем я. У другого — столярная мастерская. Кроме магазина, принадлежащего управлению, имеется несколько маленьких частных лавочек, где субъекты с торгашескими наклонностями могут упражнять свои инстинкты. Помощник начальника колонии мистер Вайямау — очень образованный и талантливый человек — гаваец и сам прокаженный. Мистер Бартлет, заведующий магазином, — американец, торговавший в Гонолулу до заболевания проказой. Все, что зарабатывают эти люди, идет в их собственную пользу. Если они не хотят работать, они все же получают от колонии пищу, кров, одежду и медицинскую помощь. Санитарное управление имеет собственные поля, виноградники и молочные фермы. Жела-

ющие работать на них получают хорошее вознаграждение. Но никто не принуждает больных работать: они находятся на положении призреваемых. Для малолетних, стариков и нетрудоспособных имеются приюты и больницы.

С майором Ли, американцем, долго служившим в Междупаровой паровой прачечной, где он был занят установкой двигателя. Я часто встречал его потом, и однажды он сказал мне:

— Дали бы вы правдивую картину нашей жизни здесь, описали бы все, как оно есть. Положили бы конец всем этим рассказам о «долине ужасов». Нам тоже не очень приятно, когда о нас распускают дикие слухи. Расскажите, как мы действительно живем здесь.

То же самое говорили мне, в тех или других выражениях, многие мужчины и женщины, с которыми я разговаривал в колонии. Не было сомнения, что они очень остро и горько переживали недавнюю сенсационную кампанию, поднятую газетами.

За исключением самого факта тяжелой болезни, прокаженные в колонии почти счастливы. Они живут в двух деревнях и многочисленных усадьбах и дачах на берегу моря. Их всего около тысячи человек. У них шесть церквей, народный дом, принадлежащий Обществу христианской молодежи, несколько залов для собраний, музыкальный павильон, ипподром, площадки для игры в мяч и для стрельбы в цель, атлетический клуб, хоры и два духовых оркестра.

— Им здесь так нравится, — сказал мне как-то мистер Пинкгэм, — что их отсюда и силой не выгонишь.

Впоследствии я убедился в этом лично. В январе этого года одиннадцать прокаженных, болезнь которых после довольно острого периода совершенно замерла, были посланы в Голулу на переосвидетельствование. Они не хотели ехать, а когда их спросили, куда они желали бы отправиться, если бы были признаны здоровыми, они все как один отвечали: «Обратно на Молокаи».

Много лет назад, до открытия возбудителя проказы, на Молокаи попало по недоразумению несколько мужчин и женщин, страдавших совершенно другими болезнями. И когда через несколько лет бактериологи заявили им, что они не больны и никогда не были больны проказой, они ни за что не хотели оставлять Молокаи. Так они и остались в колонии, на службе у санитарного управления. Один из них — теперешний смотритель тюрьмы, — когда его признали здоровым, согласился взять эту должность, лишь бы остаться в колонии.

В настоящее время в Гонолулу живет один чистильщик сапог, американский негр. Мистер Мак-Вей рассказывал мне о нем. Очень давно, когда еще не применялось бактериологическое исследование, он был прислан в колонию как прокаженный. Вкусив беззаботной жизни на государственных хлебах, он разошелся вовсю и причинял весьма много неприятностей администрации. За несколько лет он надоел всем невероятно, и вот в один прекрасный день к нему применяется бактериологическое исследование, и оказывается, что он не прокаженный.

— Ага! — радостно заявил мистер Мак-Вей. — Теперь я избавлюсь от вас. Вы отправитесь с ближайшим пароходом. Счастливого пути!

Но негр совсем не собирался уезжать. Он сейчас же женился на старухе в последней стадии проказы и стал хлопотать о разрешении остаться ухаживать за больной женой. Никто не будет ухаживать за его бедной женой так хорошо, как он, восклицал он патетически. Его игру раскусили. Он был посажен на пароход, отвезен в Гонолулу и выпущен на свободу. Но он хотел жить на Молокаи. Он высадился на другой стороне острова, перебрался через пали ночью и снова явился в поселок. Его, конечно, задержали, обвинили во вторжении в чужие владения, присудили к небольшому штрафу и снова посадили на пароход, предупредив, что, если он вновь появится в колонии, его оштрафуют на сто долларов и посадят в тюрьму в Гонолулу. И теперь каждый раз, когда мистер Мак-Вей бывает в Гонолулу, чистильщик-негр чистит его сапоги, приговаривая:

— Послушайте, хозяин, я ведь все равно что покинул родной дом. Да, сэр, потерял родной дом. — Потом голос его переходит в конфиденциальный шепот, и он спрашивает: — Скажите, хозяин, вернуться нельзя? Может быть, вы как-нибудь устроите, чтобы мне вернуться?

Он прожил на Молокаи девять лет, и ему жилось там лучше, чем когда-либо на свободе.

Что касается страха самой проказы, то нигде в колонии я не наблюдал его — ни среди больных, ни среди здоровых. Ужас перед проказой вырастает, очевидно, в умах тех, кто никогда не видал прокаженных и не имеет никакого понятия о болезни. В Байкики, в отеле, где я остановился, одна дама с дрожью в голосе изумлялась, как это я могу решиться ехать осматривать колонию. Из дальнейших разговоров я узнал, что она уроженка Гонолулу, прожила здесь всю жизнь и никогда не видала в глаза прокаженных. Я про себя этого сказать не

мог, ибо изоляция заболевших в Соединенных Штатах проводится не бог весть как строго, и мне не раз приходилось встречать прокаженных на улицах больших городов.

Проказа ужасна,—кто станет отрицать это! Но на основании того, что я знаю об этой болезни и ее заразительности, я бы с большим удовольствием согласился провести остаток жизни на Молокаи, чем в туберкулезном санатории. В каждой больнице для бедняков Соединенных Штатов или любого другого государства можно встретить, конечно, такие же ужасы, как на Молокаи, и там их в общем гораздо больше и они составляют картину гораздо более чудовищную. Да что там больницы! Если бы мне было предложено на выбор кончать мои дни на Молокаи или в трущобах лондонского Ист-Энда, нью-йоркского Ист-Сайда и чикагского Сток-Ярда, я без малейшего колебания выбрал бы Молокаи. Я предпочел бы даже один год жизни на Молокаи пяти годам жизни в этих сточных ямах, наполненных человеческими отбросами.

Обитатели Молокаи чувствуют себя счастливыми. Я никогда не забуду празднования четвертого июля, на котором мне пришлось присутствовать. В шесть часов утра «несчастные» были уже на ногах, разодетые в фантастические наряды, верхом на собственных лошадях, ослах и мулах, и разъезжали взад и вперед по поселку. Два духовых оркестра тоже были на ногах. Тридцать или сорок па-у, великолепных гавайских амазонок, гарцевали небольшими группами в роскошных национальных костюмах. После обеда мы с Чармиан в павильоне жюри помогали раздавать призы за искусную езду этим самым па-у. Вокруг нас толпились сотни прокаженных с гирляндами цветов на голове, на шее и на плечах, шутили и смеялись. И всюду по склонам холмов и на цветущих лугах виднелись мужчины и женщины верхами, в праздничных одеждах, все в цветах и гирляндах, с песнями, со смехом, скачущие быстро, как ветер. И когда я стоял в павильоне жюри, наблюдая все это, мне вдруг вспомнился Дом прокаженных в Гаване, где я видел около двухсот больных, запертых в четырех стенах до самой смерти. Нет, я положительно знаю тысячи мест на земном шаре, которым я предпочел бы Молокаи. Вечером мы пошли в зал народных собраний, где состязались певческие общества, а по окончании концерта молодежь танцевала всю ночь напролет. Я видел гавайцев, живущих в трущобах Гонолулу, и прекрасно понимаю, почему они все в один голос говорят: «Назад на Молокаи»,— когда их везут на переосвидетельствование.

Одно неоспоримо. Прокаженному в колонии живется несравненно лучше, чем если он скрывается на воле. Там он, отверженный, одинокий, живет в постоянном страхе, что его вот-вот обнаружат, и он сгнивает медленно и неуклонно. Проказа протекает неровно, скачками. Наложив руку на свою жертву и произведя в организме более или менее сильные опустошения, она может совершенно затихнуть на неопределенное время. Может пройти пять лет, и десять лет, и даже сорок лет — и пациент будет чувствовать себя совершенно здоровым. Впрочем, эти первые приступы редко излечиваются сами собой. Требуется помощь искусного хирурга, и этой помощью искусного хирурга не может воспользоваться больной, который скрывается. Пусть, например, болезнь проявилась в форме незаживающей язвы на подошве ноги. Как только язва дойдет до кости, начнется некроз. Скрывающийся больной не может прибегнуть к оперативному вмешательству. Некроз захватывает мало-помалу кость ноги, и в очень короткое время больной погибает от гангрены или каких-либо других осложнений. Если бы этот больной находился на Молокаи, хирург вырезал бы ему язву, вычистил кость и приостановил бы разрушение ткани в этом месте. Через месяц после операции больной скакал бы на лошади, состязался в беге, катался на прибое и взбирался на скалы за горными яблоками. И болезнь оставила бы его на пять, десять, а может быть, и сорок лет.

Прежние ужасы проказы относятся к тем временам, когда не было еще асептической хирургии, когда не было таких врачей, как доктор Гудхью и доктор Холлман, отдающих свою жизнь прокаженным. Доктор Гудхью был первым хирургом поселка, и никакими словами нельзя достаточно оценить его труд. Я провел с ним одно утро в операционной. Из трех произведенных им операций две были сделаны новым больным, прибывшим на одном пароходе со мной. У всех троих на теле было затронуто какое-нибудь одно место. У одного была язва на щиколотке, притом застарелая, у другого такая же застарелая язва под мышкой. В обоих случаях доктору Гудхью удалось сразу приостановить разрушение. Через четыре недели эти больные будут так же здоровы и сильны, как они были до болезни. Единственной разницей между ними и мной или вами будет то, что в их теле таится болезнь в спящем состоянии, и в любой момент она может проявиться снова.

Проказа стара, как сама история. Упоминания о ней встречаются в самых древних исторических документах. И тем не менее, в сущности, о ней теперь знают почти столько же,

сколько знали и в древности. Самое существенное знали и тогда, а именно, что она заразительна и что изоляция заболевших необходима. Разница между настоящим временем и прошедшим заключается главным образом в том, что теперь изоляция проводится строже, и в то же время обращение с прокаженными стало гораздо гуманнее. Но сама по себе проказа остается по-прежнему ужасной и непроницаемой тайной. Если вы будете читать отчеты врачей и специалистов всех стран, то прежде всего убедитесь в противоречивом отношении к этой болезни. Специалисты не сходятся между собой в определении ни одной из стадий болезни. Они просто не понимают до конца ни одной. Прежде они обобщали — наскоро и догматически. Теперь они не обобщают. Единственное, о чем можно заключить на основании всех исследований, — это что проказа малозаразительна. Но каким способом происходит заражение, неизвестно. Возбудитель проказы в настоящее время найден. Бактериологическое исследование может определить, болен данный человек или нет; но и теперь, как и прежде, совершенно неизвестно, каким образом бациллы проникают в тело здорового человека. Продолжительность инкубационного периода тоже не установлена. Пробовали делать прививку проказы различным животным, но это не удалось.

Итак, специалисты еще не нашли средства, при помощи которого можно было бы бороться с проказой. Несмотря на все старание, они не открыли еще ни причины заболевания, ни способов его излечения. Иногда они опьянялись надеждами, — появлялись многообещающие теории, рекомендовались чудодейственные средства, но всякий раз неудачи гасили пламя надежд.

Один доктор заявил, например, что причиной проказы является слишком продолжительное питание рыбой. Он очень основательно доказывал свою теорию, но тут другой врач из нагорной части Индии потребовал от него объяснения, почему в таком случае заболевают проказой жители его округа, которые сами никогда не ели рыбы, да и все поколения их предков в глаза ее не видели. Кто-нибудь находит способ излечивать проказу каким-нибудь маслом или настойкой, а через пять, десять или сорок лет болезнь снова обнаруживается у его пациентов. Это обычная уловка проказы — оставаться в скрытом состоянии в теле больного неопределенное время; благодаря этому и было найдено столько «новых, верных средств». Одно остается неоспоримым: до сих пор не было еще ни одного несомненного случая излечения.

Проказа малозаразительна, но как же все-таки происходит заражение? Один австрийский врач привил проказу себе и своим ассистентам, и никто из них проказой не заболел. Но это не показатель ввиду известного случая с гавайским преступником, которому смертная казнь была заменена, с его согласия, привитием проказы. Через некоторое время после прививки болезнь явственно обнаружилась, и этот человек кончил свои дни в колонии на Молокаи. Но и это не показатель, так как впоследствии обнаружилось, что некоторые члены его семьи были больны проказой и уже находились на Молокаи в то время, когда ему делали прививку. Он мог еще раньше заразиться от них проказой, и, возможно, она уже таилась в его теле, когда ему делали прививку. Затем рассказывают еще о герое-священнике, о некоем Дамьене, который поселился в колонии здоровым человеком и умер прокаженным. Много говорили о том, каким именно образом он заболел проказой, но в точности ничего известно не было. Он и сам не знал. Во всяком случае, не меньшей опасности подвергается женщина, которая и сейчас живет в колонии; она живет здесь много лет, у нее было пять прокаженных мужей, и были дети от них, и до сих пор она совершенно здорова.

Итак, до сих пор никто еще не проник в тайну проказы. Когда мы будем больше знать о ней, может быть, будет найден и способ ее излечения. Если бы только удалось выработать действенную прививку, проказа ввиду ее слабой заразительности совершенно исчезла бы с лица земли. Битва с ней будет короткой и победоносной. Но как найти секрет этой прививки или какое-нибудь другое средство? Это вопрос очень серьезный. В одной Индии насчитывают более полумиллиона прокаженных, живущих на свободе. Библиотеки Карнеги, университеты Рокфеллера и тому подобные благотворительные учреждения очень хороши, конечно, но невольно приходит в голову, как много можно было бы сделать даже на несколько тысяч долларов, пожертвованных на колонию в Молокаи. Обитатели колонии — это случайные неудачники, козлы отпущения какого-то таинственного закона природы, о котором люди ничего не знают, заключенные на острове ради благополучия их сограждан, которые могли бы заразиться от них. Но не столько даже для них самих нужны эти тысячи долларов, — они нужны прежде всего на дальнейшие исследования, на открытие какой-то прививки или какого-то еще более изумительного средства, которое поможет победить *bacillus leproae*. Вот, господа филантропы, хорошее употребление для ваших денег!

Глава VIII

ОБИТЕЛЬ СОЛНЦА

Толпами, точно беспокойные духи, мечутся люди по всему свету в поисках прекрасных видов и прочих чудес природы. Европу они наводняют целыми армиями; вы можете встретить их стада на Флориде, в Вест-Индии, у пирамид, по склонам и вершинам канадских и американских Скалистых Гор; но в Обители Солнца они такая же редкость, как живые динозавры. Халеакала по-гавайски и значит: Обитель Солнца. Это великолепное жилище находится на острове Мауи, и его посетило столь ничтожное число туристов, что практически его можно считать равным нулю. И все же я рискну утверждать, что, может быть, существуют на земле места такие же изумительные по красоте и величию, как Обитель Солнца, но более прекрасных и более величественных, конечно, нет. От Сан-Франциско до Гонолулу шесть дней пути пароходом; до Мауи от Гонолулу пароход довозит за одну ночь, а еще через шесть часов путешественник, если он торопится, может очутиться в Коликоли, на высоте десяти тысяч тридцати двух футов над уровнем моря, у «Главного входа» в Обитель Солнца. Но туристы не являются, и Халеакала спит в своем одиноком и никем не оцененном величии.

Но так как мы, обитатели «Снарка», не туристы, то мы и отправились на Халеакалу. На склонах этой громадной горы расположено ранчо, занимающее около пятидесяти тысяч акров; в нем мы заночевали на высоте двух тысяч футов. На следующее утро на сцену явились высокие сапоги, седла, ковбои и вьючные лошади, и мы добрались до Укулеле, высокогорного дома, в пяти тысячах футов над уровнем моря, где по ночам необходимы одеяла, а вечером — хороший огонь в очаге. Укулеле по-гавайски означает, собственно, «прыгающая блоха», но этим же именем называется музыкальный инструмент, напоминающий гитару. Торопиться нам было некуда, и мы провели в Укулеле целый день в ученых спорах о высотах и барометрах, то и дело встряхивая наш собственный барометр по мере того, как возникала нужда в доказательствах. Никогда прежде я не видал такого покладистого и услужливого инструмента. Кроме того, мы собирали горную малину величиною с куриное яйцо, любовались высотными лугами на некогда покрытых лавой склонах Халеакалы и ее величавой вершиной в четырех тысячах футов над нами и, залитые яс-

ным солнечным светом, наблюдали грандиозную битву облаков, что велась внизу, под нами.

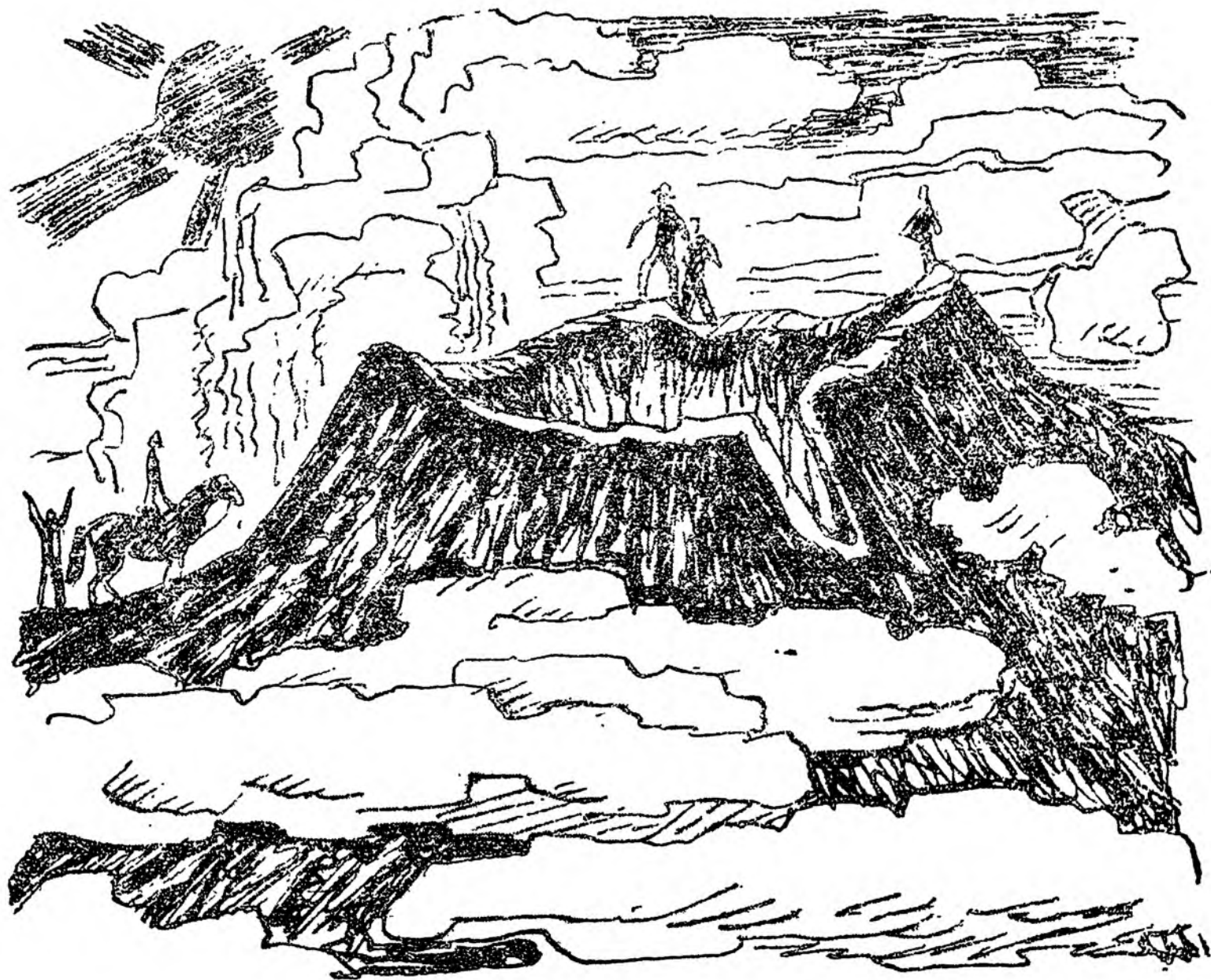
День за днем идет эта бесконечная битва облаков. Укиукиу — так зовут северо-восточный пассат — с яростью налетает на Халеакалу. Но Халеакала так высока, что изменяет направление ветра и расщепляет его на две части, так что на противоположной стороне горы ветра нет вовсе. Наоборот, оттуда ветер начинает дуть в противоположную сторону, прямо навстречу пассату. Этот обратный ветер называется Наулу. И день за днем и ночь за ночью борются между собой Укиукиу и Наулу, отступая, налетая, огибая, извиваясь, крутясь и перепрыгивая друг через друга, что можно наблюдать по движению облачных масс, которые оба ветра срывают с небес и посылают в бой целыми батальонами, армиями, горами. Иногда Укиукиу удастся перебросить сразу огромные массы туч на вершину Халеакалы, тогда Наулу быстро завладевает ими, формирует из них свои полки и обрушивает на своего древнего, извечного врага. И опять Укиукиу посылает огромную армию облаков вдоль восточного склона горы — это обходное, фланговое движение, хорошо рассчитанное и выполненное. Но Наулу из засады на противоположной стороне горы замечает фланговое движение, он набрасывается на армию врага, топчет ее, крутит, рвет и опять сколачивает из нее свои отряды и шлет их против Укиукиу вдоль западного склона горы. И все время выше и ниже главного поля сражения несутся с двух сторон маленькие обрывки облаков, яростно сталкиваясь между собою, застревая в ущельях и между деревьями, подстерегая друг друга, делая внезапные вылазки и опять убегая в ущелья. Но когда Укиукиу и Наулу двигают свои главные силы, маленькие яростные авангарды оказываются смятыми, и они на тысячи футов взлетают вверх вертикальными вихревыми столбами.

Но главное сражение разыгрывается все же на западном склоне Халеакалы. Сюда стягивает Наулу свои грознейшие силы и здесь одерживает самые блестящие победы. К вечеру Укиукиу, как и все пассаты, ослабевает, и Наулу берет над ним верх. Наулу — хороший стратег. Целый день он собирает огромные резервы на западном склоне. Вечером он выводит их в бой стройной колонной в милю шириной, много миль длиной и в несколько сот футов толщиной. Колонна спереди заострена. Она медленно врезается в широкий боевой фронт Укиукиу, и вот Укиукиу, обессиленный к этому времени, смят ею. Но иногда сражения не обходятся без кровопролития. Бывает, что Укиукиу яростно сопротивляется, с северо-востока

ему приходят подкрепления, и он расшвыривает облачную армию Наулу, далеко отбрасывая к западу колонны туч в полимили длиною. Иногда, когда обе армии сходятся вплотную по всему фронту, получается гигантский вихревой столб, и рваные лохмотья облаков взлетают, кружась, на тысячи футов вверх. Любимым приемом Укиукиу является отправка плотно сбитой массы облаков низом, над самой землей, под позиции Наулу. Пробравшись вниз, Укиукиу подымается на дыбы. Иногда мощный центр Наулу не выдерживает натиска, но обычно он отбрасывает атакующих, смятых и истерзанных в мелкие клочья. И все время, не переставая, яростные маленькие авангарды карабкаются по склонам, ползут из ущелий, наскакивая друг на друга из засады. А с неба, с вышины, одинокая и ослепительная в лучах заходящего солнца, смотрит вниз на сражающихся Халеакалы. Приходит ночь. Но наутро Укиукиу, по обычаю пассатов, набирается сил и опрокидывает полчища Наулу. И так день за днем. День за днем идет вечный бой облаков, нескончаема война Укиукиу и Наулу на склонах Халеакалы.

С утра опять появляются на сцену высокие сапоги, седла, ковбои и выючные лошади, и мы начинаем взбираться на вершину. Одна из выючных лошадей везет двадцать галлонов воды, налитой в четыре пятигаллонных меха. На вершине кратера вода — редкая драгоценность, хотя по склонам кратера дождей выпадает больше, чем в каком-либо другом месте земного шара. Наш путь идет прямо через бесчисленные потоки застывшей лавы, без малейшего намека на тропинку, и ни разу в жизни я не видел, чтобы лошади ступали так необыкновенно уверенно, как эти тридцать лошадей нашего отряда. Они влезали или спускались по совершенно отвесным кручам с легкостью и спокойствием горных коз, и ни разу ни одна не упала и даже не споткнулась.

Когда поднимаешься на гору, испытываешь всегда одну и ту же странную иллюзию. Чем выше ты взбираешься, тем дальше тебе видно, и поэтому кажется, будто горизонт расположен выше того места, где стоит наблюдатель. Эта иллюзия особенно остра на Халеакале, так как вулкан поднимается прямо из океана, без всяких отрогов и предгорий. И вот, чем выше взбирались мы по мрачным склонам Халеакалы, тем глубже опускались, точно падая в какую-то бездну, сама Халеакала, и мы, и все вокруг. Где-то там, выше нас, лежала линия горизонта. Океан точно скатывался на нас с горизонта. Чем выше мы поднимались, тем ниже, казалось нам, мы опускались. Это было что-то нереальное, противоестественное,



фантастическое, и в голове мелькали мысли о кратере вулкана, через который Жюль Верн попал к центру Земли.

И когда наконец мы достигли вершины этой гигантской горы, словно дна ужасной конической ямы в космосе, мы оказались не на вершине и не на дне — высоко над нами был горизонт, а глубоко под нами — страшная пропасть, огромный кратер: этот кратер и есть Обитель Солнца. На двадцать три мили по окружности тянулся головокружительный барьер кратера. Мы стояли на краю почти отвесной стены, и дно кратера лежало под нами на расстоянии полумили. Дно это, залитое потоками лавы и покрытое конусами шлаков, было такого ярко-красного цвета, точно лава застыла только вчера и только вчера погасло пламя. Самые маленькие из конусов шлака имели четыреста футов высоты, а большие до девятисот, но все они казались небольшими кучками песка — настолько грандиозны были там масштабы. Две большие расщелины глубиною по несколько тысяч футов разрывали края кратера, и Укиукиу напрасно старался прогнать через них свои белые полчища облаков. По мере того как они продвигались к середине, жар кратера растворял их, и они без следа исчезали в воздухе.

Перед нами была картина дикого безлюдья, суровая, жуткая, подавляющая и чарующая. Под нами было жилище подземного огня, мастерская природы, все еще занятая древними делами мироздания. Местами из недр земли пробиваются жилы первичных каменных пород и виднеются на когда-то расплавленной и теперь остывшей поверхности. Все это было нереально и невероятно. Над нами (на самом деле внизу, под нами) шла облачная битва между Укинуку и Наула. Еще выше, по склонам кажущейся пропасти, выше полчищ облаков, были подвешены в воздухе острова Ланаи и Молокаи. По другую сторону кратера, опять как будто над нами, поднималось бирюзовое море, почти белая линия прибоя гавайского побережья, потом пояс пассатных облаков, а еще выше торчали в голубом небе, словно стоя на пьедестале из облаков, покрытые снегом, укутанные туманами страшные шапки Мауна-Кеа и Мауна-Лоа.

Предание гласит, что там, где сейчас находится Западный Мауи, жил некто Мауи, сын Хины. Мать его, Хина, занималась изготовлением «капа», полотен. Вероятно, она приготавливала «капа» по ночам, потому что днем она занималась просушкой их. Каждое утро, много дней подряд, расстилала она свои «капа» на солнце. Но едва успевала она разостлать их, как пора уже было собирать их на ночь. Ибо дни тогда были гораздо короче, чем сейчас. Мауи смотрел на тяжелый и бесплодный труд матери, и ему было обидно за нее. Он решил, что неплохо бы помочь ей, — о, конечно, не в развешивании и уборке «капа». Это бы всякий дурак смог. Он надумал заставить солнце двигаться медленнее. По всей вероятности, он был первым гавайским астрономом. Так или иначе, он произвел несколько наблюдений над солнцем с разных пунктов на острове. Он вывел из этих наблюдений, что солнце идет как раз над Халеакалой. Не в пример Иисусу Назвину, он обошелся без всякой божественной помощи. Он собрал достаточное количество кокосовых орехов, сделал из их волокон хорошую веревку с петлей на конце — в точности такую веревку, как делают и сейчас ковбои на Халеакале. Потом он забрался в Обитель Солнца и стал ждать. Когда солнце показалось на своей дорожке, быстро несясь, чтобы поскорее закончить день, храбрый юноша накинул свой аркан на один из самых крупных и крепких солнечных лучей. Этим он немного задержал солнце, но луч сломался. Тогда он стал накидывать аркан на все лучи подряд, обламывая их, и солнце сказало, что согласно

вступить в переговоры. Мауи выставил свое условие для заключения мира, а именно: чтобы впредь солнце двигалось медленнее,—и солнце согласилось. Благодаря этому у Хины стало достаточно времени, чтобы просушивать свои «капа», а дни стали длиннее, чем были раньше, что вполне согласно с учением современной астрономии.

Мы позавтракали вяленным мясом и терпким пой в каменной ограде, служившей издревле для ночевки скота, прогоняемого через остров. Потом, проехав около полумили по краю кратера, мы стали спускаться на его дно. Оно лежало под нами на расстоянии двух тысяч пятисот футов, и лошади скользили и сползали по вулканическому шлаку. Черная плотная поверхность шлака, разбиваемая копытами лошадей, превращалась в желтую пыль, кислую на вкус, взвивавшуюся облаками. Проскакали небольшую гладкую площадку до нового спуска, менее крутого, извивающегося между конусами шлака, кирпично-красными, бледно-розовыми и фиолетово-черными. Над нашими головами выше и выше вырастали стены кратера, а мы перебирались через бесчисленные потоки лавы, между твердыми волнами окаменелого мира с фантастическими утесами и пропастями. Миновав бездонное жерло, мы семь миль ехали над застывшим главным потоком лавы последнего извержения.

Наконец мы сделали привал у подножия стены в полторы тысячи футов высотой, в маленькой роще деревьев олапа и колеа. Здесь была и трава для лошадей, но воды не было, и нам пришлось прежде всего отправиться чуть не за миллю к известному нашим проводникам водоему. Но воды и там не оказалось. Тогда вскарабкались еще выше футов на пятьдесят, и ведром перелили вниз воду, найденную в верхней впадине. Воды оказалось бочек шесть; драгоценная жидкость потоком побежала вниз по скале и наполнила нижнюю впадину. Ковбоям пришлось удерживать лошадей, так как у маленького водопоя их можно было напоить только по очереди. Потом мы разбили палатку, стреляли диких коз, прыгавших наверху целыми стадами. К вяленому мясу и терпкому пой прибавилась козлятина, жаренная на вертеле. По гребню кратера, как раз над нашими головами, несло море облаков, гонимых Укиукиу. Облака неслись непрерывно, но никогда не достигали середины кратера и ни разу не заслонили нам месяца, потому что жар вулкана немедленно уничтожал облака. Привлеченные нашим огнем, пробирались к нам в лунном свете дикие быки и с любопытством и с вызовом разглядывали нас. То были жирные животные, хотя они почти не видят воды, кото-

рую им заменяет утренняя роса на траве. Роса, впрочем, выпадала обильная, так что мы были весьма благодарны нашей палатке, в которой уснули под звуки хула неутомимых гавайских ковбоев, в жилах которых, конечно, течет кровь Мауи, их храброго предка.

Фотоаппарат не в силах воздать должное Обителю Солнца. Хитроумнейшие светочувствительные пластинки, разумеется, не лгут, но они, конечно, не передают всей правды. Можно правильно воспроизвести расселину Куулау, как она отражается на матовом стекле кодака, и все же на готовом снимке не получится всей гаммы неуловимых оттенков и подлинного величия. Стены кратера, которые тянутся, казалось, на сотни футов в высоту, на самом деле вздымаются на несколько тысяч футов; край облака, выдвинувшийся клином через расселину около мили в ширину, а за стеной кратера — там целый океан облаков; передний план из глыб шлака и вулканической пыли, который кажется темным и бесцветным, на самом деле великолепно играет красками, — он и кирпично-красный, и цвета терракоты, и розовый, и цвета желтой охры, и черный с фиолетовым отливом. Слова бессильны, хоть плачь. Ведь сказать, что высота стены кратера две тысячи футов — значит только всего и сказать, что высота ее две тысячи футов, но ведь тут не в одних только цифрах дело. Солнце находится от нас на расстоянии девяноста трех миллионов миль, но для сознания смертного человека соседняя провинция кажется более отдаленной. Эта неспособность человеческого воображения особенно ясна на примере с солнцем. Такова же она и в отношении обитателя Солнца, Халеакалы — это воплощение чуда и красоты. Это надо почувствовать, передать это невозможно. Колико находится в шести часах от Кахулуи; Кахулуи — на расстоянии одной ночи от Гонолулу; Гонолулу — в шести днях пути от Сан-Франциско. Только и всего. Не так уж далеко.

Наутро мы опять карабкались по откосам кратера, опять переводили лошадей по непроходимым кручам, и опять катились у нас из-под ног камни, и опять мы стреляли в диких коз. Я не попал ни в одну, — потому, вероятно, что был слишком занят сталкиванием камней. Один раз помню, мы столкнули камень величиною с лошадь. Он покатился сначала довольно медленно, переворачиваясь с боку на бок, словно вот-вот остановится. Но уже через несколько минут он летел, покрывая футов по двести за один скачок. При этом он все уменьшался, потом ударился о склон вулканического песка и пронесся по нему, точно заяц, оставляя за собой узкую полосу

желтой пыли. И камень и облачко пыли вокруг него делались все меньше, и, наконец, кто-то сказал, что камень остановился. Сказал это тот, кто просто перестал его видеть, — очень уже далеко он укатился. А другие, может, его еще различали — я, например. Я даже глубоко убежден, что он и сейчас все еще катится.

В последний день нашего пребывания в кратере Укиукиу показал себя во всем величии. Он смял Наулу по всей линии, наполнил облаками Обитель Солнца до краев и вымочил нас до нитки. Водомером нам служил сосуд вместимостью в одну пинту, стоявший в палатке там, где в парусине оказалась дырочка. В эту бурную ночь он наполнился до краев в одно мгновение, а сколько еще воды перелилось через край на наши одеяла! Ну, а раз водомер не сработал, то не было решительно никакого резона оставаться в кратере. Мы снялись, едва забрезжил рассвет, и начали спускаться с восточной стороны по расщелине Каупо. Весь восточный берег Мауи — это не что иное, как громадный поток лавы. Мы спустились по этому потоку с высоты шести тысяч пятисот футов к берегу моря. Такой перегон был бы тяжелым рабочим днем для всех лошадей, только не для наших. В трудных местах они шли спокойно, не торопясь, но как только попадали на более ровное место, где можно было перейти на рысь, — они переходили на рысь. Их невозможно было удержать, пока дорога не становилась опять опасной, — тогда они останавливались сами. Несколько дней они непрерывно и тяжело работали, питаясь травой, которую сами находили, пока мы спали, а в этот последний день они сделали двадцать восемь головоломных миль и примчались в Хану, словно стайка веселых жеребят. Многие из них никогда не были подкованы, и после трудных многодневных переходов по острым, как стекло, осколкам лавы, с тяжестью человеческого тела на спине, их копыта были в лучшем состоянии, чем копыта подкованных лошадей.

Местность между Виейрасом и Ханой (мы проехали ее в полдня) так хороша, что здесь стоило бы прожить и неделю и месяц. Но вся ее дикая красота ничто в сравнении со сказочной страной, начинающейся за плантациями каучуковых деревьев между Ханой и ущельем Хономану. У нас ушло два дня на этот участок пути, ведущий по подветренному склону Халеакалы. Местные жители называют эту область Страной Канав, — название не слишком многообещающее, но что делать, так уж называли: никто, кроме местных жителей, здесь не бывает, и никто, кроме них, этой местности не видел. За исключением горсточки людей, которых дела заставляют проезжать

здесь, никто никогда не слышал ничего о Стране Канав на острове Мауи. Известно, что такое канава,— это всегда нечисто грязное, пересекающее обычно самые однообразные и неинтересные места. Но Канава Нахику — совсем необычайная канава. Вся подветренная сторона Халеакалы изрезана тысячами ущелий, по которым несутся потоки, образуя многочисленные каскады и водопады. Здесь выпадает больше дождей, чем где бы то ни было в другом месте на земле. За один 1904 год здесь выпало 420 дюймов осадков. Вода здесь означает сахар, а сахар — это душа Гавайских островов. Вот потому-то и создана была Канава Нахику, которая, собственно, не канава, а целая цепь подземных труб. Вода бежит все время под землей и видна только тогда, когда она по высокому, легкому акведуку пересекает ущелье, чтобы снова погрузиться в глубины земли под горным склоном. Назвать это изумительное гидравлическое сооружение «Канавой» можно, пожалуй, с тем же правом, как барку Клеопатры — товарным вагоном.

В этой стране нет колесных дорог, а в прежнее время, до постройки Канавы, не было даже и проезжих троп. Громадное количество осадков, выпадающих на плодородную почву под тропическим солнцем, означает буйную растительность. Если бы кто-нибудь захотел пробиться пешком сквозь здешние заросли, он смог бы сделать в день не больше одной мили. Через неделю при последнем издыхании он был бы принужден ползти обратно, пока прорубленная им тропинка не успела зарости опять. О'Шонесси — фамилия дерзкого инженера, который покорила заросли и ущелья и не только соорудил Канаву, но и проложил вдоль нее конную тропу. Он строил на века, из камней и бетона и создал одно из самых изумительных гидравлических сооружений в мире. Каждый маленький проток и ручеек отведен подземными ходами в главную Канаву. Но дождя выпадает столько, что нужны бесчисленные водосливы, чтобы избыток воды мог уходить в море.

Тропа для верховых не широка. Но, как и проложивший ее строитель, она не отступает ни перед чем. Когда Канава уходит глубоко в гору, тропа вьется над нею, а когда вода идет через ущелье по акведуку, то и тропа бежит тут же. Вообще тропа весьма беспечна и совсем не заботится об удобстве путешественников. Она идет по самому отвесу пропастей, где над головой стена в несколько сот футов, а под ногами провал в несколько тысяч футов; она по камням обходит водопады или проходит под ними, а они летят сверху с невероятным грохотом и яростью. Но чудесных горных лошадей тоже ничем не удивишь. Они бегут рысцой по скользким от дождя

камням и поскакали бы галопом, ежеминутно обрываясь задними ногами с края пропасти, если бы им позволили это. Людям с больными нервами и слабой выдержкой я бы не советовал ехать этой дорогой. Один из наших ковбоев считался на большом ранчо, откуда мы его взяли, самым сильным и смелым. Он всю жизнь разъезжал верхом по крутым западным склонам Халеакала. Он лучше всех объезжал лошадей, и, когда все другие отказывались, он шел в загон укрощать какого-нибудь свирепого быка. Одним словом, у него была блестящая репутация. Но он еще ни разу не ездил вдоль Канавы Нахику, и здесь репутации его суждено было погибнуть. Когда ему пришлось в первый раз переправляться через акведук, узенький, без перил, перекинутый через ущелье на неизмеримой высоте, причем один бешеный поток воды летел сверху, а другой снизу, и оба вместе оглушали ревом и ослепляли брызгами, — ковбой слез с лошади, наскоро объяснив, что у него жена и двое детей, и перешел пешком, держа лошадь на поводу.

Отдыхали от акведуков мы над пропастями, а от пропастей — на акведуках, за исключением разве тех случаев, когда Канава уходила глубоко под землю, а мы поодиночке шагом ехали по первобытным деревянным мостикам, которые качались, гнулись и грозили развалиться. Признаюсь, что первое время я во всех опасных местах вынимал ноги из стремян, а когда мы ехали по краю пропасти, то вполне сознательно и преднамеренно освобождал ту ногу, которая висела над бездной глубиной в тысячу футов. Я сказал «первое время», потому что, как в кратере мы очень скоро потеряли представление о грандиозности, так и здесь, на Канаве Нахику, мы скоро перестали воспринимать глубину. Ощущения неизмеримой высоты и такой же неизмеримой глубины сменялись так часто, что стали наконец обычной формой восприятия действительности, и видеть под ногами лошади пропасть в четыреста — пятьсот футов стало уже чем-то естественным и обыденным и не вызывало ни малейшей дрожи. И теперь мы уже перебирались по головокружительным высотам или ныряли под водопады так же беспечно, как эта сказочная тропа и эти сказочные лошади.

Да, это была поездка! Со всех сторон грохотали водопады. Мы ехали то выше облаков, то ниже облаков, то в самих облаках. Время от времени луч солнца прорезывал их, как прожектор, освещая черные глубины пропастей, или зажигал над на-

шими головами край кратера где-нибудь на высоте тысячи футов. На каждом повороте дороги нашим глазам открывался новый водопад или дюжина новых водопадов. Около нашей первой ночевки в ущелье Кине мы насчитали, не сходя с места, тридцать два водопада. Буйная растительность покрывала эту дикую страну. Целые рощи коа, коlea и орешника. Были здесь еще деревья, называемые охиа-аи, с ярко-красными яблоками, сочными, нежными, изумительно вкусными. Дикie бананы росли всюду, свешиваясь над ущельями, а иногда ветвь ломалась под тяжестью громадных спелых гроздей, и бананы лежали поперек тропы, заграждая путь. А над лесом колыхалось зеленое живое море вьющихся растений всевозможных пород; одни качались в воздухе, как тончайшее кружево, другие толстыми сочными змеями вползали на деревья; одно из них — эи-эи, — чрезвычайно похожее на ползучую пальму, перекидывалось толстыми гирляндами с ветки на ветку, с дерева на дерево и душило свою живую опору, по которой ползло все выше и выше. Сквозь море зелени древесные папоротники поднимали свои нежные листья с тонкой резьбою и ярко горели огромные красные цветы лехуа. По земле расстилались странные травы яркой окраски, которые в Соединенных Штатах можно увидеть только в оранжереях. В сущности, вся Страна Канав острова Мауи представляет собою огромную оранжерею. Особенно много папоротников, и, кроме всех известных видов, очень много неизвестных и необыкновенных, начиная от тончайшего и нежнейшего «девичьего волоса» до грубого хищника «оленьего рога», врага местных дровосеков, — заросли его образуют плотные массы в пять-шесть футов толщиной, покрывающие иногда площади во много акров.

Да, это была изумительная поездка. Мы сделали ее в два дня, потом выехали на колесную дорогу и вернулись на ранчо галопом. Конечно, это было очень жестоко — гнать галопом лошадей после такого длинного и трудного путешествия, но, к сожалению, ничего нельзя было сделать: мы все натерли пузырями на руках и все-таки не могли сдержать лошадей. Вот каких необычайных лошадей вырабатывает Халеакалa! Вернувшись, мы попали на празднество: пригнали новые партии скота, животных клеймили, объезжали лошадей — веселье бурлило вовсю! А высоко над нашими головами храбро сражались Укиукиу и Наулу, а еще выше купалась в солнечных лучах могучая вершина Халеакалa.

Глава IX

ЧЕРЕЗ ТИХИЙ ОКЕАН

«От Гавайских островов до Таити. Этот переход чрезвычайно затрудняют пассаты. Китоловы и все другие моряки говорят, что с Гавайских островов попасть на Таити очень трудно. Капитан Брюс разъясняет, что судно должно сначала держать на север, пока оно не попадет в полосу ветра, и только тогда взять курс к своей цели. Сам капитан Брюс во время его плавания в ноябре 1837 года, спустившись к югу от экватора, никак не мог поймать переменные ветры и, несмотря на все усилия, ни на одном галсе не смог добиться отклонения к востоку».

Вот что говорится в Указаниях для судов о южной части Тихого океана — и это все, что там сказано. Ни слова больше, чтобы облегчить измученному путешественнику этот долгий переход, — там нет также ни слова о пути с Таити до Маркизских островов, лежащих в восьмистах милях к северо-западу от Таити, а этот путь еще труднее. Отсутствие каких-либо указаний объясняется, я полагаю, уверенностью в том, что ни один путешественник не станет предпринимать такое невозможное путешествие. Но невозможное не пугало «Снарка» главным образом потому, что мы прочли это краткое «Указание парусникам» после того, как отправились в путь.

Мы отплыли от Хило (Гавайские острова) 7 ноября и прибыли на Нукухиву (Маркизские острова) 6 декабря. Расстояние по карте — две тысячи миль, мы же сделали по меньшей мере четыре, чем и доказали раз навсегда, что прямая линия далеко не всегда кратчайшее расстояние между двумя точками: если бы мы держали прямо на Маркизы, то прошли бы пять, а то и все шесть тысяч миль.

Одно мы решили твердо с самого начала: пересекать экватор не западнее 130-го меридиана. В этом и была вся задача. Переходя экватор западнее 130-го меридиана, мы попадали во власть юго-восточных пассатов, которые так отклонили бы нас от Маркизских островов, что впоследствии пришлось бы идти почти против ветра. А еще вдобавок экваториальное течение, скорость которого достигает семидесяти пяти миль в день! Хороши бы мы были, если бы нам пришлось встретить противный ветер и идти против течения! Нет, мы должны пересечь экватор ни минутой, ни секундой не западнее 130-го градуса долготы. Но так как юго-восточные пассаты можно встретить на пять или шесть градусов севернее экватора, мы

должны были держаться значительно севернее экватора и севернее пассатов по крайней мере до 128-го меридиана.

Я забыл упомянуть, что бензиновый двигатель в семьдесят пять лошадиных сил, по своему обыкновению, не работал, так что приходилось рассчитывать только на паруса. Мотор нашей лодки тоже не работал. И уж если на то пошло, пяти-сильное динамо, обслуживающее освещение, насосы и вентиляторы, тоже выбыло из строя. И во сне и наяву передо мной стоит чрезвычайно эффектное заглавие для книги. Непременно напишу книгу под заглавием «Плавание вокруг света с тремя двигателями и женой». Впрочем, может, и не напишу, чтобы не оскорбить самолюбие тех молодых людей, которые обучались своему ремеслу на двигателях «Снарка» в Сан-Франциско, Гонолулу и Хило.

На бумаге все это казалось чрезвычайно легко. Вот тут Хило, а там — цель нашего плавания, 128-й градус западной долготы. Северо-восточный пассат мог бы погнать нас по прямой линии между этими двумя точками. Но самое неприятное в пассатах заключается в том, что никогда точно не известно, где найти их, и в каком именно направлении они будут дуть. Нас подхватил северо-восточный пассат, едва мы отошли от Хило, но этот жалкий ветерок тут же перешел и задул прямо с востока. Кроме него, было еще северное экваториальное течение, несшееся к западу подобно мощной реке. Небольшое суденышко при ветре и сильном волнении очень плохо подвигается вперед. Его швыряет вверх и вниз, и оно все остается на одном месте. Паруса его надуты и наполнены ветром, каждое мгновение оно ложится подветренным бортом на воду; встает на дыбы, трепещет, ныряет носом — и только. Когда же оно наконец пойдет, оно налетает на огромную водяную гору и, разумеется, опять останавливается. И «Снарк», вследствие его малых размеров, восточного пассата и мощного экваториального течения, сильно уклонялся к югу. Конечно, не прямо к югу. Но к востоку он забирал угрожающе мало. Одиннадцатого октября он продвинулся к востоку на сорок миль; двенадцатого октября — на пятнадцать миль; тринадцатого — не продвинулся совсем; четырнадцатого октября — на тридцать миль; пятнадцатого — на двадцать три мили; шестнадцатого — на одиннадцать миль, а семнадцатого октября «Снарк» и вовсе отклонился на четыре мили к западу. Таким образом, за неделю он продвинулся к востоку на сто пятнадцать миль, что составляет в среднем шестнадцать миль в день. Но меридиан Хило и 128-й градус западной долготы отстоят друг от друга на двадцать семь градусов, или приблизительно на ты-

сячу шестьсот миль. Считая по шестнадцати миль в день, нам понадобилось бы сто дней, чтобы пройти то расстояние. И то мы попали бы на 128-й градус западной долготы в пяти градусах к северу от экватора, тогда как цель нашего плаванья — Нукухива в группе Маркизских островов — лежит на девять градусов к югу от экватора и в двенадцати градусах западнее 128-го градуса.

Нам оставалось только одно — спуститься к югу, выйти из полосы пассатов и вступить в полосу переменных ветров. Правда, капитан Брюс во время перехода на юг не встретил переменных ветров, и ему «не удавалось добиться отклонения к востоку». Но у нас не было выбора, и мы молили бога, чтобы нам повезло больше, чем капитану Брюсу. Переменные ветры занимают определенный пояс в океане между пассатами и штилями. Они образуются так: потоки нагретого воздуха поднимаются вверх, встречаются с пассатами и постепенно опускаются до поверхности океана, и их находят... там, где находят: границы их пояса лежат между пассатами и штилями, которые и сами день ото дня и месяц от месяца меняют свои владения.

Мы встретили переменные ветры на одиннадцатом градусе северной широты и изо всех сил держались этой параллели. К югу лежала полоса штилей. К северу — полоса северо-восточных пассатов, которые не хотели дуть с северо-востока. Дни шли за днями, и «Снарк» все время оставался близ одиннадцатой параллели. Переменные ветры и в самом деле были переменчивы. Легкий ветерок вдруг падал и оставлял нас в полосе мертвого штиля на сорок восемь часов. Потом ветерок снова начинал дуть, дул три часа и снова оставлял нас в полосе штиля на новых сорок восемь часов. Потом — о радость! — начинал дуть ветер с запада, свежий, чудесный свежий ветер, и «Снарк» летел своим курсом, оставляя бурлящий пенный след. Но по истечении получаса ветер внезапно испускал предсмертный вздох и стихал... И так все время. Мы оптимистически держали пари за каждый порыв ветра, который продолжался больше пяти минут, но и это не помогало. Порывы стихали.

И все же были исключения. Когда вы имеете дело с переменными ветрами, нужно только набраться терпения и ждать, и тогда вам непременно представится счастливый случай, а мы были так хорошо снабжены водой и съестными припасами, что могли себе позволить ждать. Двадцать шестого октября мы прошли ни много, ни мало как сто три мили к востоку, и этот переход много дней служил у нас темой для разго-

воров. В другой раз нас подхватил ветер, дувший с юга в течение восьми часов. Он дал нам возможность пройти семьдесят одну милю к востоку! А как раз в то время, когда этот ветер совсем спал, подул ветер прямо с севера и продвинул нас еще на один градус к востоку.

Много лет ни одно парусное судно не совершало такого перехода, и мы оказались в полном одиночестве среди Тихого океана. За все шестьдесят дней, пока длилось наше плавание, мы не повстречали ни одного паруса, не заметили ни разу пароходного дыма над горизонтом. Потеряв судно ход — и оно бы сотни лет проплавало среди этой водной пустыни, ибо помощи здесь ждать неоткуда. Помощь могла бы прийти только с какого-либо судна, вроде «Снарка», а «Снарк» оказался здесь главным образом потому, что мы пустились в путь, не прочтя вовремя относящегося к этому переходу абзаца в «Указаниях парусникам». Когда мы стояли во весь рост на палубе, прямая линия от наших глаз до горизонта тянулась три с половиной мили. Таким образом, диаметр того круга на поверхности океана, центром которого были мы, равнялся семи милям. Мы все время пребывали в центре круга и все время двигались то в одну, то в другую сторону; следовательно, круги, которые мы видели, все время менялись. Но все они были похожи один на другой. Ни зеленые острова, ни серые каменные мысы, ни сверкающие пятна белых парусов не нарушали линии горизонта. Облака проносились над нами, появляясь над одним краем круга, пролетали над его поверхностью и скрывались за противоположным краем.

Недели шли за неделями, и внешний мир тускнел в нашей памяти. Он тускнел до тех пор, пока не осталось для нас уже никакого иного мира, кроме «Снарка», его семи обитателей и широкого водного простора. Воспоминания о жизни в далеком большом мире стали похожи на сны о каком-то прежнем существовании, которое мы пережили раньше, чем родились здесь, на «Снарке». О свежих овощах, например, которых мы не видали очень давно, мы упоминали так, как, бывало, мой отец о каких-то особенных яблоках, которые он едал в детстве. Человеку свойственно создавать себе привычку — и мы, обитатели «Снарка», привыкли к своей жизни на «Снарке». Все, что нас здесь окружало, казалось вполне естественным, никому и в голову не приходило, что можно или нужно что-то изменить. Подобная мысль была бы просто оскорбительной.

Да и не было для внешнего мира никакого пути воздействовать на нас. Никто не мог прийти к обеду, не было ни те-

леграмм, ни телефонных звонков, нарушающих спокойствие нашего существования. Никуда не надо было идти, и нечего было бояться опоздать на какой-то поезд, и не было утренних газет, из которых, потратив на это достаточно времени, мы могли бы узнать, что случилось с тысячью пятьюстами миллионов наших собратьев по земному шару.

Но скуки не было. В нашем маленьком мире дела было достаточно, а кроме того, его — в противоположность большому миру — нужно было направлять на его пути в пространстве. Затем нам приходилось сталкиваться и бороться с космическими силами; чего также не бывает в большом мире, несущемся без препятствий по своей орбите в безветренной пустыне вселенной. А мы никогда не знали заранее, что случится через пять минут. Разнообразие было сколько угодно. Вот, например, в четыре утра я сменяю Германа у руля.

— Ост-норд-ост, — сообщает он мне курс. — Отклонились на восемь румбов, но «Снарк» не слушается руля.

Ничего удивительного! Разве есть на свете судно, которое бы слушалось руля при полном штиле?

— Недавно еще был кое-какой ветерок, может быть, опять поднимется, — обнадеживает Герман перед уходом.

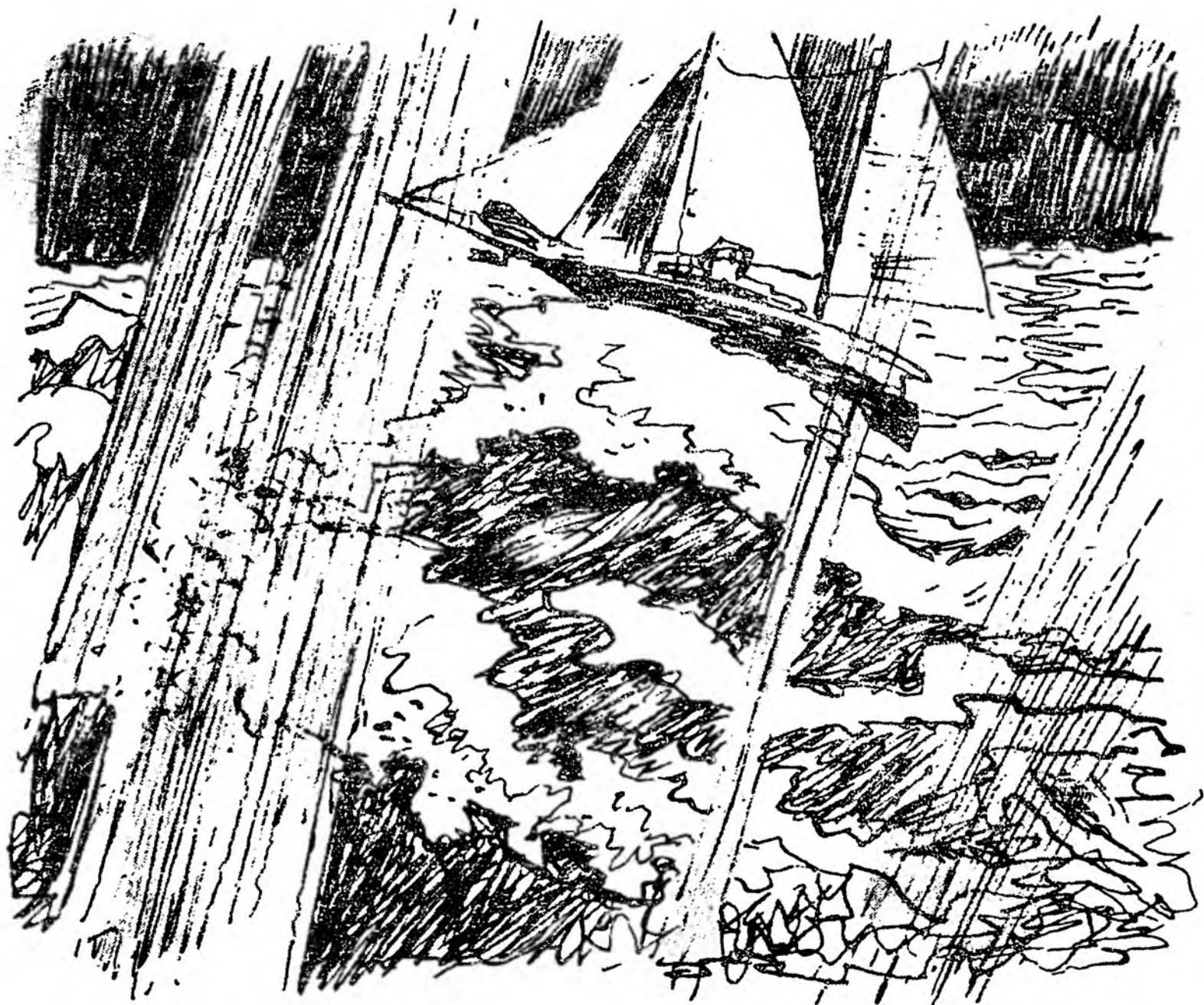
Бизань спущена и убрана. Ночью, при качке без ветра, слишком отвратительно слушать, как хлопают пустые паруса и скрипят снасти. Но грот оставили и стаксель с кливерами тоже, и они производят оглушительные звуки. Небо все вызвездило. Без особой причины я перекидываю руль в противоположную сторону и смотрю на звезды. Что же еще делать? Что же еще делать на паруснике, качающемся при полном штиле?

Потом я вдруг чувствую щекой едва заметное дуновение; потом еще и еще, и, наконец, сомнений нет: поднялся легонький ветерок. Как уж там ухитряются паруса «Снарка» его поймать, я не знаю, но, очевидно, все-таки ухитряются, потому что стрелка компаса задвигалась на картушке. То есть, конечно, не стрелка компаса, которую удерживает земной магнетизм. Поворачивается сам «Снарк», вращаясь вокруг этого несложного картонного сооружения, плавающего в сосуде со спиртом.

Наконец «Снарк» приходит на прежний курс. Легкое дуновение перерастает в небольшой ветерок. «Снарк» его сразу чувствует и слегка кренится. Над головой плывет какая-то дымка, и я замечаю, что звезды гаснут одна за другой. Черные стены плотнее обступают меня, и когда наконец гаснет последняя звезда, темные стены уже так близко, что, кажется, я могу дотронуться до них рукой. Я наклоняюсь, протягиваю

руку и чувствую прикосновение тьмы на лице. Порывы ветра следуют один за другим, и я рад, что бизань убрана. Уфф! Вот это был удар! «Снарк» подпрыгивает и зачерпывает воду подветренным бортом. Чуть не весь Тихий океан вливается к нам на палубу. Еще пять или шесть таких порывов, и я начинаю жалеть, что не убраны кливера. Волны поднимаются все выше; порывы ветра крепче и чаще; воздух полон водяной пыли. Смотреть в наветренную сторону невозможно, как ни старайся. Да и черная стена встает тут же, на расстоянии вытянутой руки. Но мне все-таки очень хочется увидеть, что происходит там, откуда дует ветер. Да, с наветренной стороны творится что-то неладное, зловещее. Кажется, надо только всмотреться в темноту попристальнее и подольше, и я разгляжу, в чем дело. Но это, конечно, только кажется. В промежутке между двумя порывами ветра я успеваю сбегать к трапу, посмотреть на барометр. Я чиркаю спички одну за другой и вижу — 29,90. Наш чувствительнейший барометр не желает отмечать атмосферных явлений, из-за которых поднялся такой хриплый вой у нас в снастях. Я успеваю вернуться к штурвалу как раз, когда налетает новый порыв ветра, еще яростнее прежних. Ну, во всяком случае, ветер есть, «Снарк» держит курс правильно и забирает к востоку. Кливера меня раздражают; право же, жаль, что они не убраны. «Снарку» было бы легче идти, да и риска меньше. Ветер храпит и фыркает в снастях, и редкие капли дождя стучат, как градины. Ничего не поделаешь, придется звать всех наверх, решаю я; но потом думаю, что продержусь еще немного один. Может быть, сейчас все кончится, и я вызову их понапрасну. Пусть еще поспят. Я держу «Снарк» на курсе, а из тьмы хлещет уже настоящий ливень с воющим ветром. Затем все временно затихает и рассеивается, за исключением, конечно, темноты, — и я радуюсь, что никого не позовал.

Ветер немного успокоился, но волны становятся все выше. Теперь идут белоголовые косматые гребни, и «Снарк» прыгает, как пробка. А потом снова летят из тьмы порывы ветра все сильнее и сильнее. Если бы только я мог знать, что там скрывается с наветренной стороны! «Снарку» приходится туго; его подветренный борт зачерпывает воду чаще и чаще. Ветер воет и ревет все сильнее. Нет, если уж звать кого-нибудь, то сейчас. Я решаю: звать. И опять налетает ливень, и опять слабее ветер — и я не зову. Но только человеку очень одиноко стоять так на руле и править маленьким миром в ревущей непроглядной тьме. И потом, это все-таки большая ответственность — быть совершенно одному на поверхности мира в ми-



нугу опасности и думать за всех его спящих обитателей. Нет, мне не под силу такая ответственность, решаю я, когда порывы ветра с новой силой обрушиваются на «Снарк» и волны хлещут через борт. Я чувствую тепло морской воды на коже, вижу, как она призрачно сверкает повсюду яркими фосфорическими точками. Кончено, я зову сейчас остальных, чтобы убрать все паруса. Зачем им, собственно, спать? Я просто дурак, что деликатничаю! Мой разум возмущен моим сердцем. Это сердце сказало мне тогда: «пусть еще поспят». Да, но разум подтвердил это решение. Ну, тогда пусть сейчас разум его отменит; но пока я выдвигаю доводы за и против, ветер стихает. Посмотрю, что будет дальше, решаю я. В конце концов это право моего разума — решать, что способен выдержать «Снарк», и звать на помощь только в последнюю минуту.

Наконец сквозь толщу облаков пробивается рассвет, серый, ненастный; можно разглядеть море, вздымающееся под порывами ветра. Потом опять налетает ливень, и все долины между громадными гребнями заполняются молоком водяной пыли. И ветер и дождь точно сплющивают волны, которые ждут только случая, чтобы подняться с новой силой. Понемногу на

палубу выползают люди. Лицо Германа сияет от радости, что мне удалось «подхватить» такой «ветерок». Я передаю руль Уоррену и задерживаюсь на минуту, чтобы поправить камбузную трубу, которую сдвинуло волной. Ноги у меня босы и достаточно привыкли цепляться за доски палубы, но когда борт заливают зеленая вода, со мной делается что-то странное: я внезапно оказываюсь сидящим на залитой водой палубе. Герман, естественно, спрашивает, почему это мне вздумалось принять такую позу. Но в это время набегает новая волна, и он тоже садится — внезапно и без малейшего промедления. «Снарк» бросает вверх и вниз, подветренный борт в воде, и мы с Германом, вцепившись в драгоценную трубу, катимся вместе с нею к борту. Наконец я внизу, переодеваясь в сухое платье, улыбаюсь от удовольствия: «Снарк» здорово забирает к востоку.

Нет, скучно у нас не было! Вот мы только что были в полосе затишья и радовались, если удавалось сделать десяток миль в продолжение многих часов, а в такой день, как этот, мы прошли через дюжину шквалов, а сколько их еще поблизости! И каждый из таких шквалов был словно дубинка, занесенная над головой «Снарка». Иногда мы попадали в самый центр шквала, иногда нас задевало только краем, но никогда заранее нельзя было предвидеть, что именно случится. Иногда грандиозный шквал, захватывающий полнеба, вдруг разделялся на два, которые обходили нас с двух сторон, а иногда маленький, невзрачный шквальчик, с каким-нибудь бочонком дождя и одним фунтом ветра, вдруг принимал циклопические размеры и ожесточенно обрушивался на нас. Шторм через несколько часов становится просто утомительным и совсем неинтересным, но шквалы интересны всегда, и тысячный шквал будет так же интересен, как первый, если не еще интереснее. Шквалами пренебрегают лишь по неведению. Человек, переживший тысячу шквалов, относится к ним с почтением. Ему известно, что это такое — шквал.

Самое бурное наше приключение произошло в полосе затишья. Оказалось, — это случилось 20 ноября, — что половина запаса пресной воды каким-то образом вытекла. Так как мы вышли из Хило сорок три дня назад, то запас этот вообще был невелик. Потерять половину его было бедствием. При самом экономном употреблении воды могло хватить дней на двадцать. Но ведь мы в полосе затишья, и кто мог знать, где и когда нам удастся подхватить юго-восточный пассат?

Воду стали выдавать раз в день порциями. Каждый из нас получал по кварте для личного употребления, а повар полу-

чал восемь кварт для приготовления обеда. Теперь на сцену появилась психология. Как только стало известно, — что воды мало, я почувствовал мучительную жажду. Никогда в жизни мне не хотелось так пить, как теперь. Свою маленькую кварту я мог бы выпить одним глотком, и требовалось большое напряжение воли, чтобы не сделать этого. И не со мной одним было так. Мы все говорили о воде, думали о воде и даже во сне видели только воду. Мы тщательно исследовали карту, надеясь найти вблизи хоть какой-нибудь островок, к помощи которого можно было бы прибегнуть. Но такого островка не было. Ближайшими были Маркизские острова, но они лежали по ту сторону экватора, а мы были в полосе затишья. Мы были на третьем градусе северной широты, а Маркизские острова на шестом градусе южной, — расстояние около тысячи миль да еще около четырнадцати градусов на запад от нашей долготы. Ничего не скажешь, приятное положение для кучки несчастных существ, затерявшихся в знойном тропическом штиле.

Посередине палубы мы укрепили палубный тент, приподняв его с кормы так, чтобы весь дождь можно было собрать на носу. Целый день следили мы за шквалами, проходившими в разных частях неба. Они появлялись то справа, то слева, то спереди, то сзади, но ни один не подошел близко. К вечеру стала надвигаться большая туча, и мы глядели с надеждой, как она проливает в соленое море бесчисленные галлоны драгоценной влаги. Мы еще раз с величайшей тщательностью осмотрели наше сооружение и стали ждать. Уоррен, Мартин и Герман составили живописную группу. Они повисли, раскачиваясь, на снастях и напряженно вглядывались в приближающуюся тучу. Нетерпение, беспокойство, жадное ожидание были в каждом их жесте. А рядом — пустой и сухой тент. Но как они сразу обмякли и понурились, когда шквал вдруг разделился и часть его прошла далеко спереди, а другая далеко с кормы!

Ночью дождь все же пошел, Мартин, которого психологическая жажда заставила уже давно выпить свою кварту, приставил рот прямо к краю тента и сделал такой невероятный глоток, которого я не видал никогда в жизни. В два часа мы набрали сто двадцать галлонов. Замечательно, что после этого до самых Маркизских островов не было больше ни одной капли дождя. Если бы и этот шквал прошел мимо, нам пришлось бы употребить остаток бензина для дистилляции морской воды.

Кроме того, мы занимались рыбной ловлей. Это происходило очень просто, так как рыба была тут же, за бортом. Трехдюймовый стальной крючок на крепкой лесе и кусок белой тряпки в виде приманки — вот все, что было нужно, чтобы ловить макрелей от десяти до двадцати пяти фунтов весом. Макрели питаются летучими рыбами, а потому не клюют потихоньку, а набрасываются на крючок с налета и так дергают лесу, что тот, кто тащит их первый раз, этого ощущения никогда не забудет. Кроме того, макрели — настоящие самоеды. Как только одна из них попадает на крючок, на нее тут же с жадностью набрасываются другие. Очень часто мы вытаскивали на борт макрелей со свежими ранами величиной с чайную чашку.

Одна стая в несколько тысяч макрелей недели три плыла рядом с нами. Благодаря «Снарку» у них была чудеснейшая охота: они плыли по обе стороны под бушпритом, набрасываясь на вспугиваемых его движением летучих рыб, и опустошили таким образом половину океана в полмили шириною и в тысячу пятьсот миль длиною. Если какой-нибудь рыбке удавалось уцелеть и она у нас за кормой уплывала прочь, макрели бросались за нею вдогонку, а потом догоняли «Снарка», и за кормой всегда можно было видеть сотни серебряных спин на поверхности волн. Наевшись досыта, они с наслаждением отдыхали в тени судна, и целые сотни их лениво скользили здесь в прохладной воде.

Бедные, бедные летучие рыбы! В воде их преследовали и пожирали живьем макрели и дельфины, а когда они ради спасения жизни выпрыгивали в воздух, их загоняли обратно в воду хищные морские птицы. Спасения не было нигде. Летучие рыбы выскакивают из воды вовсе не для забавы. Это для них вопрос жизни и смерти. Тысячи раз в день мы могли наблюдать эту трагедию. Вот перед вашими глазами легкими кругами, высоко в воздухе, реет чайка. Вдруг она останавливается и камнем падает вниз. Вы опускаете глаза. Темная спина дельфина быстро прорезает воду, а перед самым его носом поднимается в воздух дрожащая серебряная полоска — нежнейший органический летательный аппарат, наделенный способностью самопроизвольного управления, наделенный чувствительностью и любовью к жизни. Чайка налетает на серебряную полоску, но промахивается, и летучая рыба продолжает набирать высоту, поднимаясь против ветра, как воздушный змей; описывает полукруг над судном и уже скользит вниз по ветру с другой стороны. А внизу все время плывет дельфин, следя своими жадными глазами за улетающим зав-

траком, который вздумал путешествовать в какой-то другой, недоступной для дельфина среде. Подняться сам он не может, но он прожженный эмпирик и прекрасно знает, что рано или поздно рыба вернется в воду, если только ее не слопают по дороге чайка. И, дождавшись, он позавтракает. Мы жалели бедных крылатых рыб, и нам противно было смотреть на гнусную бойню. Но когда ночью маленькая крылатая рыбка, ударившись о грот-мачты, падала, задыхаясь и трепеща, на палубу, тот из нас, кто стоял ночную вахту, набрасывался на нее с такой же кровожадностью, как дельфины или макрели. Надо вам сказать, что летучие рыбы — удивительно вкусный завтрак. Но мне всегда было непонятно, почему такая нежная пища, попадая постоянно в ткани хищника, не делает их более деликатными и утонченными. Может быть, дельфины и макрели грубеют от той громадной скорости, которую они должны развивать на охоте? Но нежнейшие летучие рыбы развивают такую же скорость...

Изредка мы ловили акул на большие крючки на цепочках, привязанных к коротким канатам. А где акулы, там и рыба-лоцман, и прилипало, и прочие паразиты. Некоторые акулы были несомненными людоедами, с круглыми глазами, как у тигров, с двенадцатью рядами зубов, острых, как бритва. Кстати сказать, все обитатели «Снарка» пришли к единогласному заключению, что очень многие из обычно употребляемых в пищу рыб далеко уступают по вкусу мясу акулы, поджаренному в томатном соусе. А один раз на крючок, который обычно тащился у нас за кормой, попала какая-то странная рыба, напоминающая змею, более трех футов в длину и не больше трех дюймов толщиной, с четырьмя клыками во рту. Она оказалась самой вкусной, самой нежной и ароматной из всех океанских рыб.

Весьма приятным и ценным пополнением нашего провианта явилась морская черепаха весом в сто футов, которая фигурировала в самых аппетитных жирных супах и соусах; в последний раз она появилась в виде изумительного ризотто, заставившего всех нас поглотить больше риса, чем это было необходимо и возможно. Черепаху заметили с наветренной стороны; она мирно спала на поверхности океана, окруженная стаей любопытных дельфинов. Это была, конечно, настоящая океанская черепаха, потому что ближайшая земля была за много тысяч миль. Мы развернули «Снарк», пошли обратным галсом, и Герману удалось пробить черепахе голову острой. Когда ее вытащили, она вся оказалась обсаженной прилипалами, а из складок кожи на ногах выпало несколько

больших крабов. После первого же обеда с черепахой вся команда «Снарка» пришла к единогласному заключению, что ради черепахи можно было бы и еще раз лечь на обратный курс.

Но самой интересной океанской живностью является все же дельфин. Его окраска до того изменчива, что вы никогда не увидите двух дельфинов совершенно одинакового оттенка. Даже обычный небесно-лазурный цвет его боков представляет чудо переливов и оттенков. Но это все же ничто в сравнении с теми цветовыми превращениями, на которые он вообще способен. Иногда он бывает зеленым, бледно-зеленым, темно-зеленым, фосфорически-зеленым; иногда — синим, темно-синим, ярко-голубым — словом, целая гамма синевы. Вы поймали его на крючок, и он становится золотым, золотым с головы до хвоста. Вытаскиваете его на палубу, и он перед вашими глазами пробегает всю гамму невероятных, непередаваемых синих, зеленых и желтых тонов, потом вдруг становится мертвенно-белым с ярко-синими пятнышками, и вы вдруг делаете открытие, что ведь он крапчатый, как форель. Потом из белого он опять проходит через все оттенки и становится наконец темно-перламутровым.

Для любителей рыбной ловли я не могу придумать ничего более интересного, чем ловля дельфинов. Разумеется, ловить их следует тонкой лесой с удилицем и катушкой. Крючок системы О'Шонесси № 7 — как раз то, что требуется, и на него нужно насадить в качестве приманки целую летучую рыбу. Подобно макрели, дельфин питается летучей рыбой, и он бросается на приманку с быстротой молнии. Первое предупреждение вы получаете тогда, когда катушка закрипит, и вы увидите, что леса натянулась под прямым углом и убегает под борт судна. Прежде чем вы успеете выразить опасение относительно недостаточной длины вашей леси, рыба уже выскочит из воды, и начнутся прыжки. Так как дельфин не менее четырех футов в длину, вытащить его на борт нелегкое дело. Как только он попадает на крючок, он немедленно становится золотистого цвета. Прыгает он, чтобы освободиться от крючка, и тот просто каменный человек или совершенный ублюдок, в ком сердце не дрогнет и не затрепещет при виде этой великолепной рыбы, одетой в золотую кольчугу, когда она дрожит и рвется, точно лихой скакун на поводу. Смотрите не зевайте! Выбирайте слабинку! А не то крючок во время одного из этих прыжков полетит в сторону на двадцать футов. Не давайте рыбе свободы, и она начнет снова кружить в воде, а потом опять попробует пуститься прыжками. К этому времени начи-

наешь обычно сокрушаться, что у тебя на катушке не девятьсот, а всего только шестнадцать футов лесы. Осторожно маневрируя, вы можете подтянуть ее, и через час тяжелой работы вам удастся вытащить рыбу на палубу. Я поймал одного такого дельфина, и он оказался четырех футов и семи дюймов в длину.

Герман ловил дельфинов более прозаическим способом. Короткая леса и хороший кусок акульего мяса — вот все, что ему было нужно. Его леса была очень толстая, но не раз она рвалась, и рыба уплывала. Однажды дельфин удрал, захватив с собой приманку и четыре крючка системы О'Шонесси. Меньше чем через час этого самого дельфина мы поймали на уду и, разрезав его, нашли все четыре крючка. Под экватором дельфины, которые сопровождали наше судно в течение месяца, нас покинули, и за все время дальнейшего плавания мы не видели больше ни одного дельфина.

Так шли дни. Дела было столько, что время не тянулось слишком долго. Но даже если бы и нечего было делать, время все равно не могло тянуться долго под таким изумительным небом. Зори походили на медленные пожары исполинских городов под арками перекинутых через все небо радуг. Закаты заливали море реками розового света, истекавшими из солнца, от которого по небу расходились ярко-голубые лучи. В солнечный день вода за бортом казалась лазурным атласом, под которым сходились конусы солнечного сияния. А за кормой из глубины тянулась процессия тускло-бирюзовых пузырьков — пенный след бегущего «Снарка». А ночью море горело фосфорическим огнем, и в глубине его, как яркие кометы с длинными призрачными хвостами, шныряли макрели и дельфины.

Мы отходили все дальше к востоку, плывя через полосу переменных ветров.

Во вторник, 26 ноября, во время сильнейшего шквала, ветер вдруг повернул и стал дуть с юго-востока. Это был наконец настоящий пассат. Шквалы кончились; стояла ясная, ровная погода, и свежий ветер надувал паруса. Мы уверенно держали на юго-запад, и, десять дней спустя, 6 декабря, в пять утра, мы заметили землю, как раз там, где ей «быть надлежало». Мы обошли Уа-Хука и Нукухиву и ночью, в сильный ветер и непроглядную мглу, вошли в узкую бухту Тайохэ и стали на якорь. С берега доносились блеяние диких коз, а воздух был душен от аромата цветов. Переход был закончен. В шестьдесят дней мы проделали этот путь от одной земли к другой через пустынный океан, на горизонте которого никогда не встают паруса встречных кораблей.

Глава X

ТАЙПИ

Оставшаяся на востоке Уа-Хука скрылась за густой завесой дождя, который уже догонял нашего «Снарка». Но «Снарк» бежал отлично. Пролетели мимо мыса Мартина, юго-восточной оконечности Нукухивы, миновали широкий вход в Контролерскую бухту, где виднелась белая Скала-Парус, как две капли воды похожая на парус рыбачьей лодки.

— Как вы думаете, что это такое? — спросил я у Германа, который стоял на руле.

— Рыбачья лодка, — решил он после внимательного исследования.

А на карте значилось совершенно определенно: «Скала-Парус».

Но нас гораздо больше интересовала внутренность Контролерской бухты, где глаза наши жадно искали три небольших заливчика, средний из которых переходил в едва заметную в сгущающихся сумерках узкую долину между высокими стенами скал. Сколько раз мы отыскивали на карте этот маленький средний заливчик и начинающуюся за ним долину — долину Тайпи. Карта называла ее Таипи, что, конечно, было правильнее, но мне гораздо больше нравится Тайпи, и я всегда буду произносить и писать Тайпи. Когда я был маленьким мальчиком, я прочел удивительную книгу, которая так и называлась «Тайпи», книгу Германа Мелвилла; и много-много часов провел я, мечтая над этой книгой. Но я не только мечтал. Я твердо решил, что, когда вырасту, будь что будет, а я побываю в долине Тайпи. Потому что властная тайна неведомых стран уже тогда овладела моим сознанием; потом они водили меня по разным странам; это они ведут меня и сейчас. Годы шли, но Тайпи не была забыта. Однажды, вернувшись в Сан-Франциско из семимесячного плавания по северной части Тихого океана, я решил, что время пришло. На Маркизские острова отправлялся бриг «Галилей», но экипаж был уже набран; и вот мне, бывалому матросу, и по молодости лет сверх меры гордому этой своей бывалостью, пришлось унизиться до того, чтобы предложить себя в качестве каютного боя, лишь бы только как-нибудь попасть в Тайпи. «Галилей» вернулся бы без меня, потому что я, конечно, разыскивал бы Кори-Кори и Файавэй. Может быть, конечно, капитан прочел в моих глазах намерение улизнуть. А может быть, место боя

действительно было занято. Во всяком случае, я его не получил.

И опять шли годы, полные планов, достижений, неудач; но Тайпи не была забыта, и вот я наконец здесь и вглядываюсь в ее неясные очертания, пока налетевший шквал не закрывает «Снарк» потоком дождя. Впереди мелькнула скала Часовой, опоясанная бурлящей полоской прибоя. Мелькнула и скрылась в дожде и сгущающемся сумраке ночи. Мы держали прямо на эту скалу, надеясь, что шум прибоя подскажет нам, где повернуть. У нас не было ничего, кроме компаса, чтобы ориентироваться здесь, и если бы мы упустили Часового, мы не попали бы в бухту Тайохэ, и пришлось бы повернуть «Снарк» обратно в море и там дожидаться рассвета — не очень приятная перспектива для путешественников, измученных шестидесятидневным переходом через Тихий океан, тоской по твердой земле, тоской по свежим плодам и больше всего многолетней, давнишней тоской по милой долине Тайпи.

Неожиданно из хаоса дождя с ревом вынырнул Часовой, почти перед носом «Снарка». Мы резко повернули и прошли в бухту. Под скалой ветра не было, но потом слабое дуновение коснулось наших парусов, и мы двинулись с трудом, тщетно высматривая в темноте красный огонек, который должен был гореть на развалинах старого форта, показывая нам, где можно отдать якорь. Ветер кружил, и со всех сторон доносился рев прибоя. С высокого берега было слышно блеяние диких коз, а наверху сквозь последние клочья уходящей тучи начинали просвечивать звезды. Через два часа, пройдя внутри бухты около мили, мы отдали якорь на глубине шестидесяти шести футов. Так мы очутились на Тайохэ.

Утром мы проснулись в сказочной стране. «Снарк» покоился в безмятежной, уютной гавани, а вокруг, казалось, прямо из воды подымались амфитеатром увитые диким виноградом берега. Далеко на востоке мы заметили узенькую ленточку тропинки, которая вела по склону, теряясь в зелени.

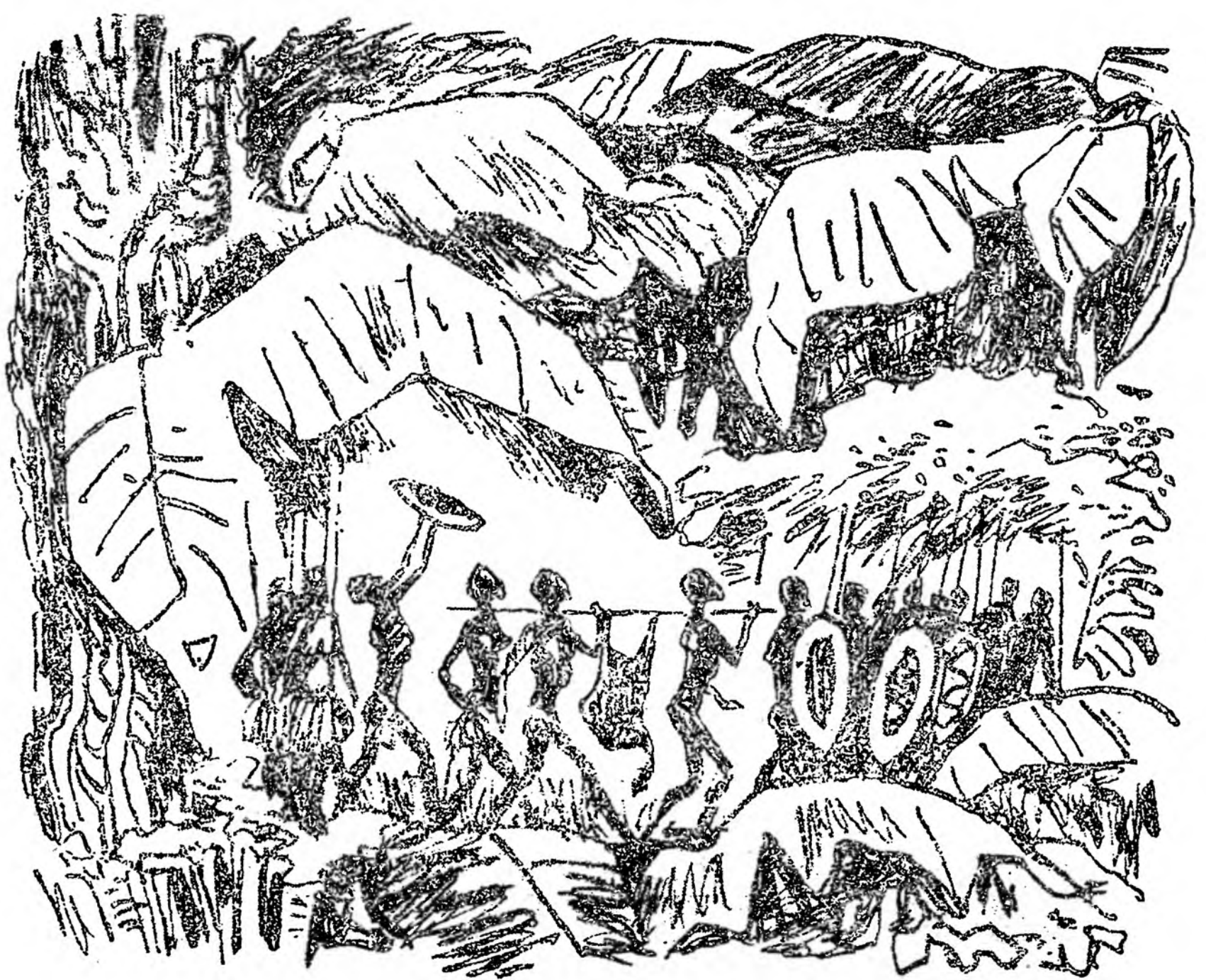
— Тропинка, по которой Тоби убежал из Тайпи! — воскликнули мы.

Очутившись на берегу, мы хотели было тут же сесть на лошадей и ехать, но пришлось нам повременить немного со своим паломничеством. Два месяца, проведенные на море босиком, почти без движения, были плохой подготовкой к длинной прогулке да еще в кожаной обуви. А кроме того, надо было переждать, пока земля не перестанет тошнотворно качаться, чтобы решиться ехать по головокружительным горным тропинкам на быстроногих горных лошадях. Поэтому

в целях тренировки мы пока предприняли короткую поездку по джунглям и посетили одного почтенного заросшего мохом идола, попав к нему в очень трагическую минуту его жизни. Какой-то немецкий коммерсант и норвежский капитан спорили между собой о том, сколько названный идол весит и насколько ли он упадет в цене, если распилить его пополам. Они крайне святотатственно обращались со стариком, тыкали в него перочинными ножами, чтобы исследовать, насколько он крепок и насколько толст одевающий его покров мха, а потом приказали, чтобы он восстал и собственными силами спустился к морю и тем избавил бы их от лишних забот. Но так как идол этого не сделал, то четырнадцать канаков повалили его на катки из бревен и поволокли к судну, где он был заперт в трюм и, может быть, еще и сейчас путешествует по направлению к Европе — этому последнему пристанищу всех языческих идолов, за исключением немногих, устроившихся в Америке, и одного, который сейчас скалит зубы на моем столе и, если только мы не потонем, будет скалиться на меня до самой моей смерти. Он, конечно, переживет меня. И будет скалить зубы и тогда, когда я превращусь в прах.

Еще мы в целях тренировки побывали в тот же день на пиршестве, которое устроил некий Таиара Тамарии, сын гавайского матроса, сбежавший с китобойного судна, в память своей покойной матери-маркизанки. Он зажарил целиком четырнадцать кабанов на угощение всей деревне. Когда мы приблизились, нас приветствовала в качестве местного герольда молодая девушка, которая, стоя на высокой скале, напевно провозгласила, что наше присутствие есть главное украшение сегодняшнего торжества. То же самое повторяла она всем приходящим. Но только мы уселись, как ее пение вдруг резко изменилось, и все присутствовавшие чрезвычайно заволновались. Ее возгласы стали быстрыми и пронзительными. Откуда-то издали послышались ответные крики мужских голосов, перешедшие в дикую, варварскую песнь, песнь войны и крови. Потом из тропических зарослей показалась процессия дикарей, совершенно голых, если не считать пестрых узких повязок вокруг бедер. Они двигались медленно, издавая гортанные возгласы, исполненные ликования и торжества. На плечах они несли молодые деревца, а к ним были подвязаны какие-то таинственные, очевидно, очень тяжелые предметы, тщательно завернутые в зеленые листья.

Это были свиньи — невинные, откормленные и зажаренные на вертеле свиньи, но люди несли их в лагерь так, как в древ-



ние времена они носили «длинную свинью». Надо вам сказать, что «длинная свинья» — это вовсе не свинья. «Длинная свинья» — это полинезийское обозначение человеческого мяса. И вот теперь эти потомки людоедов во главе с сыном короля несли к столу поросят с теми же обрядами, с какими их прадеды носили убитых врагов. Иногда процессия приостанавливалась, чтобы дать возможность несущим издать ужасные возгласы победы, презрения к врагу и предвкушения гастрономических наслаждений. Только два поколения назад Мелвилл был свидетелем того, как несли таким образом обернутые листьями тела убитых гаппарских воинов на пиршество в Тай. Там же Мелвилл в другой раз обратил внимание на «деревянную посудину странной формы» и, заглянув в нее, увидел человеческие кости, еще свежие и влажные, с кусками мяса, висящими на них.

Многие высокоцивилизованные люди склонны считать каннибализм чуть ли не сказкой: им, может быть, неприятно думать, что их собственные предки тоже были некогда к нему привержены. Капитан Кук также скептически относился к этому вопросу, пока сам тщательно все не проверил: однажды у берегов Новой Зеландии ему принесли на судно премилую,

высушенную на солнце человеческую голову, и, по приказанию Кука, от нее был отрезан кусочек, который и предложили туземцу, а он съел его с жадностью. Надо отдать ему должное, капитан Кук был настоящим эмпириком. Во всяком случае, он дал науке конкретный факт, в котором она сильно нуждалась. Конечно, он не подозревал в то время о существовании небольшой группы островов за несколько тысяч миль, где впоследствии возникло довольно курьезное судебное разбирательство. Один престарелый вождь из племени Мауи судился за клевету, так как утверждал, что его тело является вместилищем большого пальца ноги капитана Кука. Говорят, что истцам так и не удалось доказать, что старый вождь не съел большого пальца путешественника, и процесс был ими проигран.

Боюсь, в наши упадочные дни мне не удастся видеть, как едят «длинную свинью»; но я уже заполучил доподлинную маркизанскую чашу, возрастом более ста лет, овальной формы, любопытно выточенную, из которой была выпита кровь двух капитанов. Один из этих капитанов был весьма непорядочный человек. Он продал одному из маркизанских вождей старый гнилой вельбот за новый, покрасив его предварительно в белый цвет. Как только капитан уехал, вельбот, конечно, развалился. Но по странной игре судьбы этот капитан через некоторое время потерпел крушение как раз у берегов того же самого острова. Маркизанский вождь был весьма слабо осведомлен по части дебета и кредита, но у него было твердое первобытное понятие о честности и такое же первобытное ощущение необходимости экономии в природе. Он сбалансировал свой счет, съев человека, который его надул.

На рассвете, когда было еще совсем темно, мы отправились в Тайпи верхом на маленьких свирепых жеребчиках, которые визжали, лягали и кусали друг друга всю дорогу, не думая ни о хрупких человеческих созданиях, сидящих на их спинах, ни о скользких тропинках, ни о пропастях, ни о шатающихся камнях под ногами.

Мы ехали старой, заброшенной дорогой через заросли хау. По обе стороны виднелись следы прежней плотной заселенности острова. Всюду, куда мог проникнуть взгляд, возвышались каменные стены и прочно сложенные фундаменты домов от шести до восьми футов высотой. Это были каменные платформы, на которых когда-то стояли дома. Но люди вымерли, дома разрушились, и лес мало-помалу овладел постройками. Эти постройки носят название *паэ-паэ*.

Геперешние обитатели Маркизских островов были бы не в силах vorочать такие огромные каменные глыбы. Да это им и не нужно. Вокруг них целые тысячи этих *паэ-паэ*, заброшенных и никем не используемых. Раза два, спускаясь в долину, мы видели жалкие, крытые соломой хижины, примостившиеся на грандиозных великолепных *паэ-паэ*; впечатление было смешное, вроде того, как если бы на основании пирамиды Хеопса насадили деревянный ларек. Население Маркизских островов вымирает, и единственное, что задерживает еще вымирание, — сужу по Тайохэ, — это постоянный приток свежей крози со стороны. Чистокровный маркизанец — большая редкость. Все они метисы, и притом являют собой самое невозможное смешение различных рас. Для погрузки копры торговцы едва могут набрать в Тайохэ девятнадцать дельных рабочих, и в жилах этих рабочих течет кровь англичан, американцев, датчан, немцев, французов, корсиканцев, испанцев, португальцев, китайцев, гавайцев, таитян и меланезийцев. Национальностей больше, чем людей. Но жизнь здесь слабеет, чахнет, исчезает. В этом ровном теплом климате — настоящем земном раю — с поразительно ровной температурой, с воздухом чистым и пахучим, как целительный бальзам, постоянно освежаемым несущими озон пассатами, не менее пышно, чем растительность в джунглях, расцветают туберкулез, астма и другие болезни. Из каждой соломенной хижины раздается прерывистый, мучительный кашель выеденных легких. Много и других страшных болезней, но болезни легких производят самые большие опустошения. Имеется, например, одна форма скоротечной чахотки, которую называют здесь «галопирующей». В два месяца она уносит самого сильного человека, превращая его перед смертью в скелет. Долина за долиной вымирали целиком до последнего человека, и джунгли снова овладели некогда обработанной плодородной землей. Еще во времена Мелвилла долина Хапаа (он называет ее Хаппар) была населена воинственным племенем. Через одно поколение оставалось уже всего двести человек. В настоящее время это безлюдная, загложшая тропическая пустыня.

Мы поднимались все выше и выше, и наши неподкованные лошади очень ловко карабкались по камням, пробираясь между заброшенными *паэ-паэ* и сквозь чащи ненасытных джунглей. Нам попались красные горные яблоки, которые мы знали еще с Гавайских островов, и мы отправили за ними туземца. Нарвали мы также кокосовых орехов. Я пил кокосовое молоко еще на Ямайке и на Гавайских островах, но, пока я не попробовал его здесь, я и не представлял себе, что это за уди-

вительный напиток. Иногда мы проезжали под лимонными и апельсиновыми деревьями,—деревья дольше выдерживали натиск дикой природы, чем люди, насадившие их.

Мы ехали через бесконечные заросли кассии, сплошь покрытой желтой цветочной пылью,—только разве это была нормальная езда! Заросли были полны ос! И каких ос! Эти желтые твари были величиной с маленькую канарейку и неслись по воздуху, сложив лапы, так что получался хвост длинной дюйма в два. Ваша лошадь вдруг останавливается и, упершись на передние ноги, поднимает задние к небесам. Затем она опускает их вниз на одно мгновение, чтобы сделать отчаянный прыжок вперед и снова стать в вертикальное положение. Не смущайтесь! Просто ее толстую кожу прокололо жгучее жало осы. В это время еще одна лошадь, и еще одна, и все лошади начинают брыкаться и вставать на передние ноги над самыми пропастями. Раз! Добела раскаленный кинжал вонзается в щеку! Раз! Такой же удар по шее! Я в арьергарде, и на мою долю приходится несправедливо много. Отступить некуда. Да и впереди, видно, тоже хорошего мало: вон как лошади брыкаются над самой пропастью. Моя лошадь обгоняет лошадь Чармиан, и это чувствительное создание, то есть лошадь Чармиан, ужаленное в такой психологический момент, естественно, поднимает задние ноги и всаживает одно копыто в меня, другое в мою лошадь. Я благодарю небо, что она не подкована, и сейчас же дико подскакиваю в седле от легкого прикосновения раскаленного кинжала. Честное слово, это чересчур, я не могу больше, и моя бедная лошадь от страха и боли ошалела не меньше меня.

— С дороги! Еду вперед! — кричу я, неистово отмахиваясь от крылатых гадин.

С одной стороны тропинки стена вверх, с другой — стена вниз. Единственная возможность уйти с дороги — это нестись вперед. Как нашим лошадям удалось не слететь вниз, я просто не понимаю, — они неслись как сумасшедшие, наскакивая одна на другую, прыгая, спотыкаясь и неизменно подбрасывая крупы к небесам всякий раз, когда их жалили осы. Через некоторое время мы смогли наконец перевести дух и подсчитать потери. И так повторялось не раз и не два, а много-много раз. Но, странно сказать, это совсем не было однообразно. Знаю, что я по крайней мере каждый раз пролетал через заросли с неослабевающим рвением человека, спасающегося от верной смерти. Нет, уверяю вас, по дороге между Тайохэ и Тайпи ни один путешественник скучать не будет.

наконец мы поднялись выше области ос. Всюду вокруг нас, куда только хватал взгляд, торчали остроконечные скалы, доходя вершинами до облаков. Внизу, с той стороны, откуда мы приехали, в тихой бухте Тайохэ виднелся совсем маленький игрушечный «Снарк». Впереди лежал один из заливов Контролерской бухты. Мы спустились на тысячу футов ниже, и Тайпи наконец была перед нами. «Если бы мне дано было заглянуть в райские кущи, я и то бы, наверно, восхитился не больше», — говорил Мелвилл о том мгновении, когда долина Тайпи впервые открылась перед ним. Он увидел цветущий сад. Мы же увидели дикую чащу. Куда делись громадные рощи хлебных деревьев, о которых говорит он? Перед нами были джунгли, и только джунгли, да еще две соломенных хижины и несколько кокосовых пальм. Куда девался знаменитый Тай — дворец холостяков, где женщины были табу и где вождь Мехеви вершил дела племени, окруженный младшими вождями и полудюжиной выживших из ума старцев, единственным назначением которых было напоминать собою о славном прошлом? С берегов быстрого потока не доносились голоса девушек и женщин, колотивших *тапу*. А куда девалась хижина, которую вечно строил старый Мархейо? Напрасно я искал его где-нибудь на кокосовой пальме, футах в девяносто над землей, курящего свою утреннюю трубочку.

Мы спустились по зигзагообразной тропинке по тоннелю из переплетшихся деревьев, где неслышно взлетали и парили огромные бабочки. Татуированный дикарь, вооруженный палицей и дротиком, не охранял больше входа в долину, и мы могли переходить поток, где вздумается. Священное и беспощадное табу не царствовало больше над долиной. Впрочем, нет, табу осталось, только это было уже новое табу. Когда мы подошли слишком близко к нескольким жалким туземным женщинам, мы услышали предостерегающее табу. Это было вполне кстати, так как женщины были прокаженные. Человек, предупредивший нас, был обезображен последней стадией элифантиазиса. Все, кроме того, были чахоточными. Долина Тайпи стала жилищем смерти, и оставшаяся горсточка ее обитателей испускала последние слабые вздохи в мучительном угасании вымирающего племени.

Конечно, победили не сильнейшие, ибо тайпийцы были когда-то могучим племенем, более сильным, чем племя Хаппа, чем племя Тайохэ, чем все племена Нукухивы. Слово «тайпи», или, точнее, «таипи», означало первоначально «тот, кто ест человеческое мясо». Но так как все население Маркизских островов ело человеческое мясо, то, очевидно, это название

обозначало, что носители его были людоедами в высочайшей степени. И тайпийцы славились своей храбростью и свирепостью не только на Нукухиве, но и по всем Маркизским островам. Они были непобедимы. Их имя всюду произносилось с трепетом. Даже французы, захватившие Маркизские острова, не тронули Тайпи.

Однажды в долину Тайпи вторгся капитан Портер с фрегата «Эссекс». Кроме матросов, у него было две тысячи туземцев из племени Хаппа и Тайохэ. Они прошли довольно далеко в глубь долины, но встретили такое отчаянное сопротивление, что едва ноги унесли и рады были добраться до лодок и спастись бегством.

Из всех островитян в южных морях обитатели Маркизских островов считались самыми сильными и самыми красивыми. Мелвилл говорил о них: «Я был положительно ошеломлен их изумительной физической силой и красотой... По красоте тела они превосходили всех виденных мною доселе людей. В толпах, участвовавших в празднествах, я ни у кого не заметил ни малейшего намека на какое-нибудь физическое уродство. Каждый был прекрасно сложен в своем роде, и почти каждый мог бы послужить моделью для скульптора». Менданья, открывший Маркизские острова, тоже упоминал о необычайной красоте их обитателей, а Фигероа, его хроникер, говорит о них: «Кожа у них почти белая; они высоки ростом и красиво сложены». Капитан Кук говорит, что между ними не встретишь никого менее шести футов ростом.

А теперь вся эта мощь и красота исчезли, и долина Тайпи является пристанищем нескольких жалких созданий, съедаемых чахоткой, элефантиазисом и проказой. Мелвилл считал население долины в две тысячи человек, не считая смежной долины Хо-о-у-ми. Люди точно сгнили в этом изумительном саду, с климатом более здоровым и приятным, чем где бы то ни было на земном шаре. Тайпийцы были не только физически прекрасны, они были чисты. Воздух, которым они дышали, не содержал никаких бактерий и микробов, отравляющих воздух наших городов. И когда белые люди завезли на своих кораблях всевозможные болезни, тайпийцы сразу поддались им и начали вымирать.

Если внимательно разобраться во всем этом, то приходишь к заключению, что белая раса процветает именно благодаря нечистоте, гнили и болезням, которыми она отравлена. Действительно, мы, белые, являемся племенем, выжившим в борьбе с микроорганизмами; мы потомки сотен и тысяч поколений, которые также вели эту борьбу и также выживали. А выжива-

... только те, кто мог побеждать болезни. Мы, живущие в настоящее время, приобрели иммунитет, приспособившись к среде, кишасей болезнями. Бедные жители Маркизских островов не имели в прошлом такого естественного отбора. У них не было иммунитета. И вот они, привыкшие съедать своих врагов, сами были съедены врагами, чьи размеры настолько малы, что их и увидеть невозможно. И тайпийцы вымерли.

Мы расседлали лошадей во время завтрака, разогнали их в разные стороны, чтобы они не дрались, и, тщетно отмахиваясь от мух-песочниц, подкрепились бананами и мясными консервами, запивая их кокосовым молоком. Смотреть, собственно, было нечего. Разросшиеся джунгли поглотили работу людей. Тут и там виднелись *лаэ-лаэ*, но на них не было никаких надписей, иероглифов, рисунков. Из середины их росли большие деревья, раскалывающие и разбрасывающие сложенные камни; из ненависти к человеку и его работе они старались скорее вернуть все в первоначальный хаос.

Мы оставили джунгли и пошли купаться в надежде избавиться от песочниц. Но не тут-то было. Чтобы войти в воду, надо снять с себя платье. Мухи это прекрасно знают и ждут вас на берегу мириадами. Туземцы называют их *нау-нау*, произнося это слово, как английское «now» («теперь»). Название чрезвычайно подходящее, так как мухи эти — действительно самое неотложное и реальное настоящее. И прошедшее и будущее совершенно исчезает, когда они облепят вам кожу. Я готов ручаться чем угодно, что Омар Хайям никогда бы не написал своих «Рубаи» в долине Тайпи: это было бы просто психологически невозможно. Я сделал одну крупную стратегическую ошибку, раздевшись на высоком берегу, с которого я мог отлично спрыгнуть, но на который не мог влезть обратно. Чтобы добраться до своего платья, когда я кончил купаться, мне пришлось пройти ярдов сто по берегу. При первом же моем шаге тысяч десять *нау-нау* бросились на меня. Когда я сделал второй шаг, вокруг меня было уже облако. На третьем — солнце затмилось в небе. А что было дальше — я совершенно не знаю. Пока я добежал до платья, у меня помутился рассудок. И тогда-то я совершил еще одну ошибку, на этот раз тактическую. В борьбе с *нау-нау* надо твердо помнить одно правило: никогда не давить их. Делайте, что хотите, только не давите их! В момент гибели они по злобности своей впускают вам под кожу весь яд. Их надо нежно снимать с себя, осторожно взяв между большим и указательным пальцами и ласково убеждая, чтобы они отняли свое жало от вашей страждущей плоти. Получается нечто вроде нежного выдер-

гивания зубов. Но беда была в том, что я не успевал их выдерживать — вырастали новые; вот я их и давил, а поступая так, я накачивал себя ядом. Это случилось неделю тому назад. В настоящую минуту я напоминаю выздоравливающего от оспы, который не получил во время болезни должного ухода.

Хо-о-у-ми — маленькая долина, отделенная от Тайпи невысокими холмами; мы спустились в нее, как только нам удалось взнуздать наших непокорных и ненасытных лошадей. Мы доехали до выхода из долины Тайпи и заглянули вниз, на бухту, из которой бежал Мелвилл. Вот там, вероятно, был спрятан вельбот; а здесь, должно быть, стоял в воде Каракои, канака-табу, и торговался с дикарями. А там, должно быть, Мелвилл в последний раз обнял Файавэй, раньше чем бросился вплавь к лодке. Мы восстановили в уме всю сцену его бегства, так подробно им описанную.

Потом мы спустились в Хо-о-у-ми. Мелвилла так тщательно стерегли, что он и не подозревал о существовании этой долины, хотя, конечно, ему часто приходилось встречаться с ее обитателями, подчинявшимися тайпийцам. Мы ехали опять между такими же заброшенными *паэ-паэ*, но, приблизившись к берегу моря, нашли там большое количество кокосовых пальм, хлебных деревьев, таро и с десятков соломенных хижин. В одной из них мы решили устроиться на ночь, и хозяева сразу принялись за приготовление к пиршеству. Закололи молодую свинью, и пока она поджаривалась между раскаленными камнями, а цыплята варились в кокосовом молоке, я убедил одного из наших поваров взобраться на необычайно высокую кокосовую пальму. Гроздь орехов на ее вершине находилась от земли по крайней мере на высоте ста двадцати пяти футов, но туземец подошел к дереву, обхватил его руками, изогнулся так, что его ступни плотно прилегли к стволу, и затем просто пошел наверх, не останавливаясь. На дереве не было сучков, и он не закидывал в помощь себе веревки. Он просто шел по дереву — сто двадцать пять футов вверх — и, дойдя до вершины, стал рвать орехи. Впрочем, не у многих здесь хватило бы силы и легких, чтобы проделать такую штуку, так как большинство из них больны чахоткой.

Пиршество наше было сервировано на широком *паэ-паэ* перед домом, где мы собирались переночевать. Первым блюдом была сырая рыба под соусом *пой-пой*, который здесь был гораздо кислее и острее, чем гавайское *пой*, сделанное из таро. *Пой-пой* Маркизских островов делается из плодов хлебного дерева. Со спелых плодов снимается кожура, и они растираются камнем в густую, клейкую кашу. В таком виде *пой*

может сохраняться несколько лет, если его завернуть в листья и закопать в землю. Перед употреблением в пищу *пой*, обернутое листьями, кладут на горячие камни и запекают. Затем разводят холодной водой до степени жидковатой каши так, чтобы ее можно было захватить двумя пальцами. При ближайшем знакомстве оказалось, что это весьма приятное и питательное блюдо. А плоды хлебного дерева, когда они хорошо выспели и хорошо сварены или поджарены! Это уж совсем великолепно. Плоды хлебного дерева и таро — превкусная вещь, только первые, конечно, патентованные самозванцы, ибо вкусом напоминают вовсе не хлеб, а скорее земляную грушу, только менее сладкую.

Пиршество окончилось, и мы смотрели на луну, поднимающуюся над Тайпи. Воздух был точно целебный бальзам с тонкой примесью цветочных ароматов. Это была волшебная ночь, повсюду царила глубокая тишь, и ни единое дыхание ветра не трогало листвы. И такая была красота вокруг, что дух захватывало и в груди что-то до боли сжималось от восторга. Шум прибоя доносился из бухты, далекий и слабый... Кроватей не было, и все устроились на полу. Где-то близко стонала и задыхалась во сне женщина, и со всех сторон доносился из мрака прерывистый кашель вымиравших островитян.

Глава XI

ДИТЯ ПРИРОДЫ

Первый раз я встретил его на Маркет-стрит в Сан-Франциско. Был сырой, промозглый вечер, моросил дождь, а он шел по улице в штанах до колен и в рубашке с короткими рукавами; босые ноги шлепали по грязной мостовой. За ним бежали мальчишки. И все встречные — а их были тысячи — с любопытством поворачивали головы, когда он проходил. Обернулся и я. Ни разу в жизни я не видел такого чудесного загара на теле. Он весь был покрыт ровным золотистым загаром, который бывает только у блондинок, если их кожа не лупится от солнца. Его желтые волосы выгорели, как и борода, которая росла, нигде не подкошенная бритвой. Он был весь покрыт позолотой, и светился, и сиял от поглощенного им солнца. «Еще один пророк, — подумал я, — принесший в город откровение, которое должно спасти мир».

Через несколько недель после этого я был на даче у своих знакомых на Пьемонтских холмах над бухтой Сан-Франциско.

«Нашли его, все-таки нашли, — смеялись они. — Поймали на дереве; он совсем ручной и мухи не обидит. Идемте посмотрим». Я взобрался с ними вместе на крутой холм, и там, в плохоньком шалаше среди эвкалиптовой рощи, увидел своего сожженного солнцем пророка.

Он поспешил к нам навстречу, прыгая и кувыркаясь в траве. Он не стал пожимать нам руки, его приветствие выразилось самыми необычайными телодвижениями. Он перевернулся несколько раз через голову, извиваясь как змея, а потом наклонился, не сгибая сдвинутых колен, и ладонями по земле выбил барабанную дробь. Он крутился, и прыгал, и танцевал вокруг, как опьяневшая обезьяна. Это была песня без слов о его горячей, солнечной жизни. «Как я счастлив, как я счастлив!» — означала она.

И он пел ее весь вечер с бесконечными вариациями. «Сумасшедший, — подумал я. — Я встретил в лесу сумасшедшего». Но сумасшедший оказался интересным. Прыгая и кувыркаясь, он изложил свое учение, которое должно было спасти мир. Оно состояло из двух основных заповедей. Прежде всего страдающее человечество должно содрать с себя одежды и погрузиться в дикость среди гор и долин; и, во-вторых, несчастный мир должен усвоить фонетическое правописание. Я попробовал представить себе этот новый рецепт для решения великой социальной проблемы: нагие жители городов наводнят горы и долины, а взбешенные фермеры будут гоняться за ними с ружьями, собаками и вилами.

Прошло несколько лет, и вот в одно солнечное утро «Снарк» просунул свой нос в узкий проход между коралловыми рифами перед бухтой Папезте. Навстречу нам шла лодка с желтым флагом. Мы знали, что это направляется к нам портовый доктор. Но на некотором расстоянии от нее показалась другая лодочка, которая заинтересовала нас, потому что на ней был поднят красный флаг. Я внимательно рассматривал его в бинокль, боясь, что он означает какую-нибудь скрытую опасность — затонувшее судно или сорванный буй. В это время причалил доктор. Он осмотрел нас, выслушал наши заверения, что мы не привезли с собой тайно на «Снарке» живых крыс, а я спросил его, что означает лодка с красным флагом.

— О, это Дарлинг, — был ответ.

А вскоре и сам Дарлинг, Эрнст Дарлинг, из-под красного флага, обозначающего братство народов, окликнул нас:

— Алло, Джек! Алло, Чармиан!

Он быстро приближался, и я узнал в нем золотого пророка с Пьемонтских холмов. Он поднялся на борт, как золотой бог

солнца, с ярко-красной повязкой вокруг бедер и с дарами Аркадии в обеих руках — бутылкой золотого меда и корзиной из листьев, наполненной золотыми плодами манго, золотыми бананами, золотыми ананасами, лимонами и апельсинами — золотым соком земли и солнца. И вот таким-то образом я еще раз под небом тропиков встретил Дарлинга, человека, вернувшегося к природе.

Таити — одно из самых красивых мест на земном шаре. К сожалению, оно населено ворами, грабителями и лжецами — впрочем, живет там и несколько порядочных людей. И вот, так как изумительная красота Таити разъедается ржавчиной человеческих мерзостей, мне хочется писать не о Таити, а о человеке, вернувшемся к природе. От него по крайней мере веет здоровьем и свежестью. Вокруг него особая атмосфера доброты и яркости, которые никому не могут сделать зла и никого не заденут, кроме, конечно, хищнических и наживательских чувств капиталистов.

— Что означает ваш красный флаг? — спросил я.

— Социализм, разумеется.

— Ну да, конечно, это я знаю, — продолжал я. — Но что означает он в ваших руках?

— То, что я нашел истину.

— И проповедуете ее на Таити? — спросил я недоверчиво.

— Ну, конечно, — ответил он просто.

Впоследствии я убедился, что так и было.

Когда мы бросили якорь, спустили шлюпку и высадились на берег, Дарлинг сопровождал нас.

— «Ну, — подумал я, — вот теперь этот сумасшедший совершенно изведет меня. Ни во сне, ни наяву он не оставит меня в покое, пока мы опять не снимемся с якоря».

Но никогда в жизни я не ошибался до такой степени. Я снял себе домик, где жил и работал, и ни разу этот человек, это дитя природы, не пришел ко мне без приглашения. Зато он часто бывал на «Снарке», завладел нашей библиотекой, придя в восхищение от большого числа научных книг и возмущаясь (как я узнал впоследствии) непомерным количеством беллетристики. Человек, вернувшийся к природе, не тратит времени на вымыслы.

Через неделю во мне заговорила совесть, и я позвал его обедать в один из городских отелей. Он явился в полотняном пиджаке, в котором, очевидно, очень скверно себя чувствовал. Когда я предложил ему снять его, он просиял от радости и сейчас же сделал это, обнажив свою солнечную, золотую кожу, покрытую куском редкой рыбацкой сети. Ярко-красная

повязка вокруг бедер дополняла его костюм. С этого вечера началось наше знакомство, перешедшее в настоящую дружбу за время моего продолжительного пребывания на Таити.

— Так вы, значит, пишете книги? — сказал он однажды, когда я, усталый и вспотевший, заканчивал свою утреннюю работу. — Я тоже пишу книги, — заявил он.

«Ага, — подумал я, — вот когда он меня изведет, он будет читать мне все свои литературные произведения».

И я уже заранее возмущался. Не для того же я проехал все южные моря, чтобы фигурировать здесь в качестве литературного бюро.

— Вот книга, которую я пишу! — воскликнул он, звучно ударив себя в грудь сжатым кулаком. — Когда горилла в африканских лесах бьет себя кулаком по груди, удары слышны за полмили.

— У вас тоже грудная клетка недурная, — сказал я с восхищением, — ей, пожалуй, и горилла позавидует.

В этот день и следующие я узнал подробности о необыкновенной книге, которую написал Эрнст Дарлинг. Двенадцать лет тому назад он был при смерти. Он весил девяносто фунтов и был так слаб, что не мог говорить. Доктора отступились от него. Отец его, опытный врач, тоже от него отказался. Все консультации единогласно заявляли, что надежды нет. Его свалили. переутомление (он был преподавателем в школе и в то же время сам учился в университете) и два воспаления легких. День ото дня он терял силы. Его организм не усваивал тяжелых питательных веществ, которыми пичкали его окружающие, и никакие пилюли и порошки не могли помочь его пищеварению. Вслед за физическим недугом к нему пришла и душевная болезнь. Его сознание омрачилось. Он слышать больше не мог о лекарствах, он видеть больше не мог людей. Человеческая речь раздражала его. Человеческое внимание приводило его в ярость. Тогда ему пришла в голову мысль, что раз ему все равно умирать, то уж лучше умереть на свободе. А может быть, за всем этим крылась маленькая надежда, что он и не умрет, если только ему удастся сбежать от «питательной» пищи, лекарств и доброжелательных людей, которые приводили его в ярость.

И вот Эрнст Дарлинг, скелет, обтянутый кожей, еледвигающийся полутруп, в котором жизни было ровно настолько, чтобы еле двигаться, покинул людей и жилища людей и потащился в кустарники за пять миль от города Портленда в Орегоне. Конечно, он был сумасшедшим. Только сумасшедший может тащиться куда-то, встав со смертного одра.

Но в зарослях Дарлинг нашел то, что ему было нужно,—покой. Никто не лез к нему с бифштексами и свининой. Врачи не дергали его усталых нервов, щупая пульс или наполняя слабый желудок пилюлями и порошками. Он немного успокоился.

Солнце было теплое, и он грелся в его лучах целый день. Солнечное тепло казалось ему эликсиром жизни. Потом он ощутил, что все его искалеченное тело требует солнца. Тогда он сорвал с себя платье и лежал, купаясь в лучах солнца. Он почувствовал себя лучше. Это было первое облегчение после многих месяцев пытки.

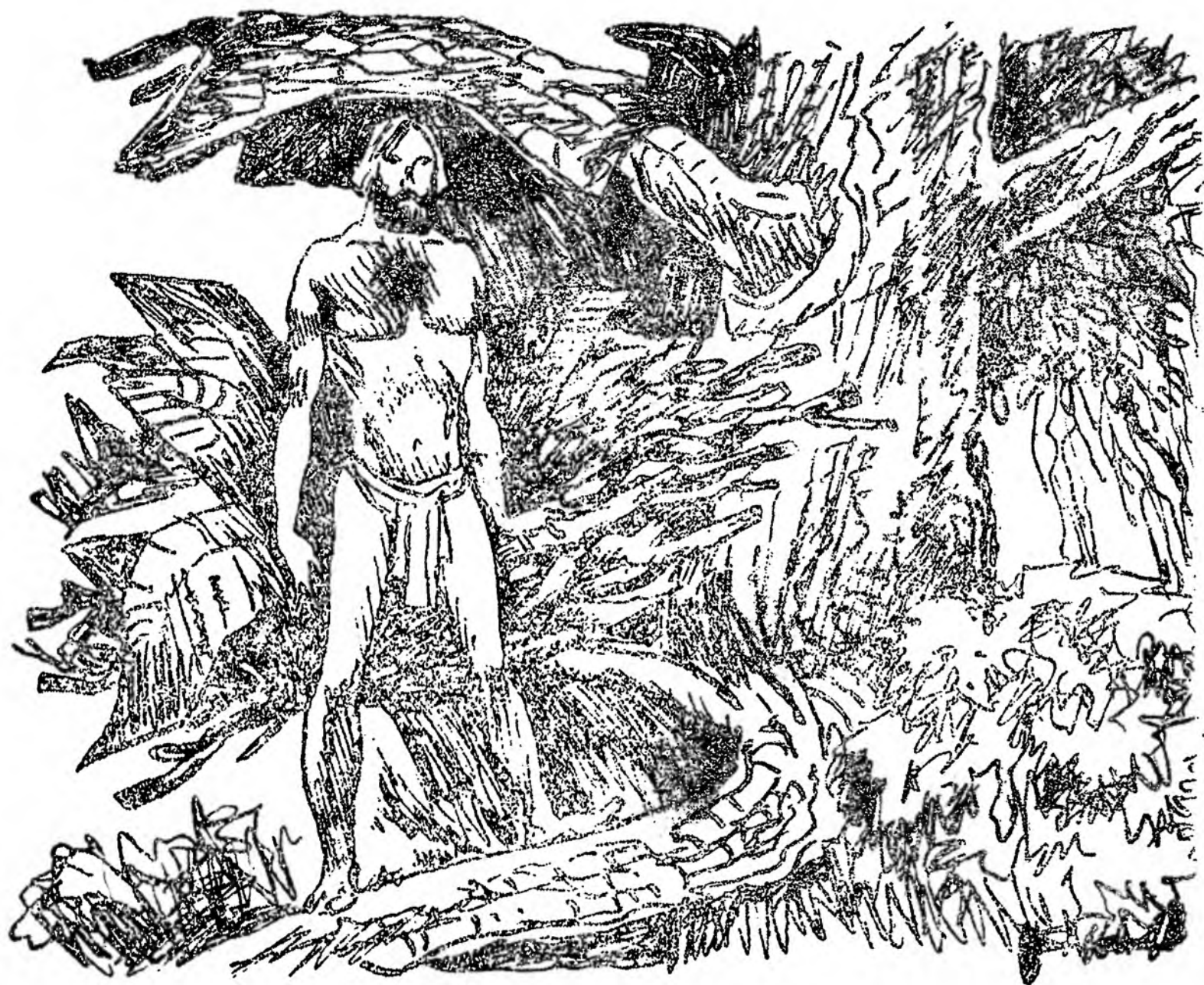
Когда ему стало немного лучше, он начал наблюдать окружающую природу. Вокруг него порхали и чирикали птицы, играли и прыгали белки. Он позавидовал их здоровью и веселю, их счастливому, беззаботному житью. Он стал сравнивать их жизнь со своею: это было неизбежно, и точно так же неизбежен вопрос, почему же они полны сил, а он слаб и жалок. Ответ был прост: потому что они живут естественной жизнью, а он живет совершенно неестественно. Отсюда он сделал вывод, что, если он хочет жить, он должен вернуться к природе.

Там, в глуши, он выработал свое учение и попробовал применить его на практике. Сбросив одежду, он стал прыгать, и скакать, и бегать на четвереньках, и лазить по деревьям — короче говоря, он делал физические упражнения, купаясь в солнечном свете. Он подражал животным. Он построил себе гнездо из сухих листьев и травы, чтобы забираться туда ночью, и покрыл его корой для защиты от первых осенних дождей.

— Вот великолепное упражнение,—сказал он мне однажды, хлопая себя изо всей силы по бокам,—я научился ему от петухов.

В другой раз я заметил, что он пьет кокосовое молоко с особым громким причмокиванием. Он объяснил мне, что таким образом пьют коровы, и он решил, что в этом должен быть какой-то смысл. Он попробовал, нашел, что выходит хорошо, и с тех пор пьет только так.

Он заметил также, что белки питаются исключительно орехами и плодами. Он тоже перешел на орехи и плоды с добавлением хлеба — и стал прибавлять в весе. В течение трех месяцев он вел свое первобытное существование в чаще леса, пока осенние оregonские дожди не загнали его обратно в человеческие жилища. Трех месяцев было, конечно, недостаточно, чтобы жалкое существо весом в девяносто фунтов, пере-



несшее два воспаления легких, могло настолько закалиться, чтобы перенести орегонскую зиму на открытом воздухе.

Он достиг многого, но все это пошло насмарку. Ему пришлось вернуться в дом отца, а там, живя в закупоренных комнатах, с легкими, которым нужен был простор и лесной воздух, он заболел третьим воспалением. Он ослабел еще больше, чем раньше. В полуживом теле мозг оказался парализованным. Он лежал как труп: слишком слабый, чтобы говорить, слишком раздраженный и утомленный, чтобы слушать, что ему говорили. Единственное волевое движение, на которое он был способен, — это заткнуть уши пальцами, отказываясь слушать что-либо. Тогда обратились к психиатрам. Психиатры признали его сумасшедшим и заявили, что он проживет не более месяца.

Один из знаменитых психиатров увез его в санаторий на гору Табор. Там убедились, что он из «тихих», и предоставили ему свободу. Ему не предписывали никакой особой диеты, и он мог вернуться к своим плодам и орехам, оливковому маслу, маслу из турецких бобов, бананам. Немного окрепнув, он твердо решил, что с этого времени будет жить по-своему. Жить, как другие, соблюдая все общественные условности, он

не может — он умрет. А умирать не хотелось. Страх смерти был одним из главных факторов его выздоровления. И чтобы жить, ему необходима естественная пища, свежий воздух и благодатное солнце.

Так как орегонская зима не благоприятствует возвращению к природе, Дарлинг отправился на поиски более подходящего климата. Он сел на велосипед и поехал на юг, в страну солнца. На год он задержался в Стэнфордском университете, где продолжали разрабатывать ясную теорию, посещал лекции в том минимальном количестве одежды, которое разрешалось администрацией, и по мере возможности применял принципы жизни, которым научился в царстве белок. Самым его излюбленным методом обучения было, сбросив платье, лежать на солнце на холме позади университета и впитывать в себя книжную мудрость, впитывая в то же время всем телом солнечный свет.

Но в Центральной Калифорнии все же бывает зима, и Дарлинг отправился дальше на юг. Он пробовал устроиться в Лос-Анжелосе и Южной Калифорнии. Там его неоднократно арестовывали и отправляли на испытание в психиатрическую больницу, потому что его образ жизни не походил на образ жизни «нормальных» людей. Пробовал он жить и на Гавайских островах, но местные власти, не будучи в состоянии доказать, что он сумасшедший, просто-напросто выслали его. Это, собственно, не была высылка в точном смысле слова. Ему предложили на выбор: либо уехать, либо остаться, но только отбыть год тюремного заключения. Но тюрьма — это смерть для человека, вернувшегося к природе, так как он может сохранить жизнь только на открытом воздухе, купаясь на солнце. Нельзя, конечно, винить гавайские власти. Дарлинг был для них совсем нежелательным гражданином. Каждый человек становится нежелательным для того, с кем он не согласен. А когда человек расходится с другими до такой степени, как Дарлинг, да притом еще со всеми, то его нежелательность для властей вполне понятна.

Таким образом, Дарлингу пришлось искать климат не только желательный для него самого, но и такой, где он сам не был бы слишком нежелательным. И он нашел его в саду садов — на Таити.

Вот как писалась страница за страницей его книга. Здесь он носит только повязку на бедрах и сетчатую рубашку без рукавов. Вес его — сто шестьдесят пять фунтов. Он вполне здоров. Зрение его, которое одно время сильно расстроилось, сейчас

превосходно. Легкие, разрушенные тремя воспалениями, не только поправились, но стали сильнее, чем когда-либо.

Я никогда не забуду, как он, разговаривая со мною в первый раз, раздавил москита. Противное существо укусило его посредине спины, между лопатками. Не прерывая разговора, не пропустив ни одного слова, он поднял сжатый кулак, загнул его назад и ударил себя между лопатками, причем его грудная клетка издала звук барабана.

— Горилла в африканских лесах колотит себя в грудь так, что звук этот слышен за полмили! — восклицал он иногда совершенно неожиданно и принимался так барабанить по своей груди, что положительно волосы становились дыбом.

Однажды он заметил у меня на стене боксерские перчатки, и глаза его засияли от радости.

— Вы боксируете? — спросил я.

— Я даже давал уроки бокса в Стэнфордском университете, — ответил он.

Тогда мы скинули рубахи и надели перчатки. Бахх! Длинная рука гориллы сверкнула и хлопнула меня перчаткой по носу. Бахх! Он хватил меня по голове сбоку и чуть не сшиб с ног. Шишка от удара оставалась у меня целую неделю. Я изловчился и ударил его правой в живот. Удар был основательный, я обрушился всею тяжестью своего тела. Я ожидал, что он скорчится и упадет. Но лицо его просияло от удовольствия, и он сказал: «Вот это великолепно!» А в следующую минуту он уже перешел в нападение, и я должен был защищаться от целого урагана ударов со всех сторон. Я опять как-то изловчился и ударил его в солнечное сплетение. Удар был удачный. Он раскинул руки, задохнулся и внезапно сел на пол.

— Ничего. Сейчас! — сказал он. — Подождите минутку.

И через тридцать секунд он уже был на ногах и возвратил мне долг — тоже в солнечное сплетение. Теперь уже я раскинул руки, задохнулся и сел на пол, только чуточку скорее, чем это сделал он.

На основании рассказанного, я смело утверждаю, что человек, с которым я боксировал, был совсем не тот несчастный девяностофунтовый заморыш, от которого отказались врачи. Книга, написанная Эрнстом Дарлингом, была хороша, и переплет у нее тоже недурен.

Гавайи много лет жалуются на недостаток хороших колонистов, и все-таки островная администрация выслала человека, вернувшегося на лоно природы. Я пользуюсь случаем, чтобы рассказать им, какого колониста они потеряли. Пусть куса-

ют себе локти. Приехав на Таити, он стал искать участок земли, чтобы прокормиться. Но землю, то есть даровую землю, найти было трудно, а капиталов у человека, вернувшегося к природе, конечно, не было. Наконец высоко в горах он нашел восемьдесят акров густых зарослей, которые, очевидно, никому не принадлежали. Местные власти сказали ему, что если он расчистит землю и будет работать на ней в течение тридцати лет, она станет его собственностью.

Он немедленно принялся за работу. И за какую работу! Земля была сплошь покрыта зарослями, где кишело множество кабанов и бесчисленное количество крыс. Прежде всего он проложил туда от Папезте дорогу, на что ушло несколько недель. Кабаны и крысы уничтожали у него все посевы. Он стрелял кабанов и расставлял западни для крыс. Крыс он наловил полторы тысячи за две недели. И все, что ему было нужно, он должен был приносить на спине; эту работу вьючной лошади он исполнял обыкновенно по ночам.

Но мало-помалу он брал верх. Он построил соломенную хижину. На плодородной вулканической почве, отвоеванной у лесов и лесных тварей, выросли пятьсот кокосовых пальм, пятьсот дынных деревьев, триста манго, много хлебных деревьев, не говоря уже о виноградниках и огородах. Он устроил сложнейшую систему ирригации и вскоре не только кормился сам, но мог продавать излишки своих продуктов жителям Папезте.

Тогда оказалось, что земля, официально ни за кем не числившаяся, имеет хозяина и что все бумаги у старого владельца в порядке. Похоже было, что все труды пошли насмарку. А ведь эта земля ничего не стоила, когда Дарлинг на ней поселился. В конце концов у них все-таки состоялось соглашение, но Дарлингу пришлось выплатить порядочную сумму.

Тогда на него обрушился еще более тяжелый удар. Ему был прекращен доступ на рынок. Дорогу, им же самим построенную, перегородили тремя рядами колючей проволоки: одно из обычных удовольствий нашей нелепейшей социальной системы. В конце концов это было проявление той же тупой, консервативной силы, которая таскала Дарлинга на психиатрическое освидетельствование и выслала его с Гавайских островов. Очевидно, местная администрация имела некоторое отношение к этой консервативной силе, потому что дорога, построенная Дарлингом, закрыта и сейчас. Но он, сделавшийся истинным сыном природы, по-прежнему поет и танцует. Он и не думает сидеть ночи напролет, размышляя о несправедливости, которую ему причинили; обиды и огорчения он предо-

ставляет тем, кто их творит. А у него нет времени на огорчения. Он верит, что живет на свете для того, чтобы быть счастливым, и ему некогда терять время на какие-то другие цели.

Итак, дорога загорожена. Новой он построить не может просто потому, что негде ее проложить. Власти, правда, оставили ему кабанью тропинку, проходящую по кручам. Я как-то лазил с ним по этой тропинке, и нам приходилось висеть на руках, ползти и карабкаться. Переделать эту тропинку в дорогу тоже невозможно, потому что для этого нужны инженер, машины и стальной трос. Но о чем беспокоиться этому человеку, вернувшемуся в природу? По его благородной этике предполагается на зло отвечать добром. И разве он не счастливее всех тех, кто ему делал зло?

— Не беда, не стоит и думать об их глупой дороге,— сказал он мне, когда мы влезли на какую-то скалу и сели передохнуть.— Скоро у меня будет воздухоплавательный аппарат, и я их всех оставлю в дураках. Я уже делаю площадку для спуска летательных машин; в следующий раз, когда вы приедете на Таити, вы опуститесь прямо у моей двери.

У Дарлинга, надо сказать, имеются странные идеи и помимо тренировки себя по системе горицлы африканских лесов. Так, например, идея левитации, то есть преодоления тяжести, и полета.

— Да, сэр,— сказал он мне как-то раз,— левитация не невозможна. И подумайте только, как это будет прекрасно — подниматься с земли одним усилием воли! Астрономы уверяют, что вся наша солнечная система умирает, что она застынет, и жизнь на ней будет невозможна. Ну и пусть! В эти дни все люди уже будут вполне законченными левитаторами, они оставят нашу погибающую планету и отправятся искать более гостеприимные миры. Вы спрашиваете: как этого добиться? Прогрессирующими постами. Я этот способ испытывал и к концу действительно чувствовал, что становлюсь легче.

«Он сумасшедший»,— подумал я.

— Впрочем,— прибавил он,— это только мои теории. Мне приятно размышлять о светлом будущем человечества. Может быть, левитация и невозможна, но мне нравится думать о ней как о чем-то возможном.

Однажды вечером, когда он зевнул, я спросил, сколько часов в сутки он позволяет себе спать.

— Семь часов,— ответил он.— Но через десять лет я буду спать шесть часов, а через двадцать— только пять. Как видите, я буду урезывать от сна по часу каждые десять лет.

— Так что к ста годам вы совсем не будете спать? — спросил я.

— Совершенно верно. Именно так. Когда мне будет сто лет, сон не будет мне нужен. Кроме, того, я буду питаться только воздухом. Вы же знаете, конечно, что есть растения, которые питаются только воздухом?

— Но разве это удалось хоть одному человеку?

Он покачал головой.

— Не знаю. Не слышал. Но ведь это только одна из моих теорий — усвоение питательных веществ из воздуха. А ведь хорошо было бы, верно? Конечно, может быть, это и невозможно. Скорее всего, что так. Видите, я не такой уж отчаянный фантазер, я никогда не забываю о действительности. Даже когда я лечу сломя голову в будущее, я всегда оставляю за собой ниточку, чтобы можно было вернуться.

Иногда мне кажется, что Дарлинг просто шутит. Но, во всяком случае, он добился своего и живет самой простой жизнью. На стирку он явно тратит немного. Питается фруктами. Свои обычные издержки, пока он живет на плантации, он оценивает в пять центов в день. Сейчас он живет в городе, частью потому, что дорога перегорожена, частью потому, что увлекается пропагандой социализма, и его издержки вместе с квартирной платой доходят до двадцати пяти центов в день. Чтобы покрыть их, он учительствует в вечерней школе для китайцев. Дарлинг — не ханжа и не фанатик. Когда нет ничего, кроме мяса, он ест и мясо, — например, когда он попадает в тюрьму или на борт судна. Вообще у него, кажется, нет ни одного застывшего догмата, кроме убеждения в необходимости солнца и воздуха.

— Где б вы ни бросили якорь, он вас все-таки на месте не удержит, если конечно, душа ваша — бескрайнее и бездонное море, а не пороссячья лужа, — говорил он мне однажды. — Вы видите, у меня якорь все время волочится. Я живу во имя прогресса и оздоровления человечества. Для меня это одно и то же. И я стараюсь волочить мой якорь в эту сторону. Меня спасло именно то, что мой якорь сидел не намертво, я тащил его за собой. Вот я потащил его в лес, когда был болен, и оставил в дураках всех докторов. Когда я немного окреп, я стал учить людей, что надо вернуться к природе. Но они были глухи. Когда я плыл на пароходе на Таити, один матрос растолковал мне, что такое социализм. Он доказал мне, что прежде всего нужно справедливо распределить средства к жизни, а потому уже люди смогут жить согласно с приро-

дой. Я опять потащил якорь в новом направлении и теперь стараюсь работать на пользу социализма.

— Вчера ночью я видел сон,— продолжал он задумчиво, и радость медленно заливала его лицо.— Мне снилось, что двадцать пять мужчин и женщин, вернувшихся к природе, приехали сюда из Калифорнии на пароходе и что я собираюсь вести их на свою плантацию по горной тропинке.

Ах, милый Эрнст Дарлинг, поклонник солнца и простой, естественной жизни, иногда я готов завидовать вам и вашей беспечной жизни! Я и сейчас вижу вас танцующим и кувыркающимся на веранде; с волос ваших капает после купания соленая вода, глаза сверкают, тело, золотое от солнца, тоже сверкает, грудь дьявольски резонирует под ударами, когда вы распеваете: «Горилла в африканских лесах колотит себя в грудь так, что звук ударов слышен за полмили». И я всегда буду видеть вас таким как видел в последний день, когда «Снарк» опять просунул свой нос в узкий проход между рифами, направляясь в открытый океан, а я махал шляпой и прощался с оставшимися на берегу. И неподдельно горячим было мое последнее приветствие золотому солнечному богу в ярко-красной повязке вокруг бедер, стоящему в своей маленькой лодочке.

Глава XII

В СТРАНЕ ИЗОБИЛИЯ

Когда прибывают чужестранцы, всякий старается сдружиться с кем-нибудь из них и привести его в свое жилище, где гостя с величайшей любезностью чествуют все живущие в округе; они сажают его на почетное место и угощают самой лучшей пищей.

Полинезийские изыскания.

«Снарк» стоял на якоре у острова Райтеа, против селения Утуроа; мы подошли к острову ночью, когда было уже темно. Рано утром я заметил, что по лагуне скользит узенький челнок с огромным шпринтовым парусом. Челнок, похожий на гроб, был выдолблен из цельного ствола, имел четырнадцать футов длины, не более четырнадцати дюймов ширины и дюймов двадцать высоты. У него, собственно, не было обтекаемых контуров, если не считать двух заостренных

концов. Борта были перпендикулярны к воде, как у ящика. Не будь у него балансира (длинный брус, параллельный корпусу челнока), он бы опрокинулся в десятую долю секунды. Балансир держал его.

Парус челнока был невероятно огромен. О таких вещах говорят, что в их существование не только нельзя поверить, пока не увидишь, но даже когда видишь, и то не веришь. Вообще это была не парусная лодка и даже не челн, а какая-то плавающая машина, и человек, сидящий в ней, управлял ею главным образом с помощью своего веса, а еще больше, конечно, крепостью своих нервов. Я наблюдал, как он лавировал по заливу, сидя почти все время на бресе, и, наконец, я заявил решительно:

— Ладно, решено. Я не покину Райатеа, пока не покатаюсь на таком челноке!

Несколько минут спустя Уоррен крикнул мне вниз:

— Этот челнок уже здесь, у нашего борта.

Я бросился со всех ног на палубу и поздоровался с владельцем челна, стройным полинезийцем с простодушным лицом и блестящими умными глазами. На нем была красная повязка вокруг бедер и соломенная шляпа. В руках у него были подарки — рыба, связка зелени и несколько огромных плодов ямса. Я поблагодарил его улыбками, которые еще ценятся в отдаленных уголках Полинезии, и многократным повторением *мауру-уру* (что значит на языке Таити «благодарю вас») и потом показал ему знаками, что хотел бы покататься в его челноке.

Его лицо засияло от удовольствия, и он сказал: «Та-хаа», — показывая пальцем на высокие, покрытые облаками утесы острова в трех милях от нас — острова Тахаа. В ту сторону ветер был попутный, но назад идти против ветра было бы очень трудно. А кроме того, мне совсем не хотелось ехать сейчас на Тахаа. Мне нужно было передать письма на Райатеа, повидать местные власти, да и Чармиан собиралась сойти на берег. Я настойчиво объяснил знаками, что хочу только немного покататься по лагуне. Его лицо моментально выразило полное разочарование, но он сейчас же мило улыбнулся и закивал утвердительно.

— Идем кататься на челноке! — крикнул я вниз Чармиан. — Только надень купальный костюм, потому что мы явно промокнем.

Это был положительно какой-то сон. Это не могло быть реальностью. Неуклюжий челнок скользил по воде, как полоска серебра. Я перелез на брус и играл таким образом роль не-

обходимого балласта, а Тэхэи (произносить надо Тей-хэйи) — олицетворял собою крепкие нервы. В трудные минуты он тоже перебирался ко мне, не выпуская из рук длинного кормового весла и удерживая парус ногою.

Когда мы вернулись на «Снарк» после небольшой прогулки, Тэхэи спросил меня знаками, куда направляется «Снарк». Я последовательно перечислил: Самоа, Фиджи, Новая Гвинея, Франция, Англия и Калифорния. Тогда он произнес «Самоа» и знаками дал понять, что он тоже хотел бы отправиться туда. Мне довольно трудно было объяснить ему, что на судне для него не хватит места. И опять выражение детского разочарования на его лице быстро сменилось милой улыбкой, и опять он усиленно приглашал нас знаками отправиться с ним на Тахаа.

Мы с Чармиан быстро переглянулись. Восхищение от недавней прогулки было еще слишком сильно. Письма, которые надо было передать, были забыты так же, как и визиты к местным властям. Башмаки, рубашки, пара штанов, патроны, спички и книга были наскоро втиснуты в жестянку из-под сухарей и завернуты в клеенку — и мы очутились в челноке.

— Когда ждать вас назад? — крикнул Уоррен, когда парус надулся и мы с Тэхэи полезли на брус.

— Не знаю, — ответил я. — Как придется.

Мы двинулись. Ветер немного усилился. Борт челнока поднимался над водой всего дюйма на два с половиной, и небольшие волны то и дело переливались через него. Необходимо было выкачивать воду, а это одна из главных обязанностей *вахине*. *Вахине* — по-таитянски женщина, а так как Чармиан была единственной *вахине* на челноке, то эта работа по справедливости досталась ей. Мы с Тэхэи вряд ли много бы вычерпали, так как все время ползали по бруссу, удерживая челнок в равновесии. Чармиан работала в поте лица своего, при помощи простого деревянного черпака, и справлялась со своей задачей настолько удачно, что иногда даже могла передохнуть.

Райатеа и Тахаа обладают тем своеобразием, что они оба расположены внутри одного барьера-рифа. Это два гористых вулканических острова, увенчанных высокими пиками и минаретами. Райатеа имеет в окружности тридцать миль и Тахаа — пятнадцать, так что можно составить себе представление о размерах охватывающего их рифа. Между островами и рифом лежит красивая лагуна от одной до двух миль шириной. Огромные тихоокеанские волны, достигающие полутора миль в длину, накатываются на барьерный риф, вздымаются к небесам и обрушиваются на него с ужасным грохотом, но

хрупкие коралловые постройки стоят непоколебимо, защищая землю. За рифом любой океанский корабль ожидает гибель. Но в лагуне вода спокойна и недвижна, и челнок вроде нашего, с бортами, едва выступающими над поверхностью воды, может в безопасности скользить по зеркальной глади. Мы неслись по воде. И что это была за вода! Чистая, как в горном источнике, и прозрачная в своей чистоте, вся пронизанная голубоокружительными переливами красок и радужными лентами, которые роскошнее любой радуги. Темно-зеленый цвет перемежался с бирюзовым, ярко-синий — с изумрудным, наш челн то скользил над фиолетово-красными глубинами, то над ослепительной, сверкающей белизной песчаного дна, по которому медленно передвигались в своих раковинах гигантские обитатели теплых морей. Мы проносились над сказочными коралловыми садами, где резвились разноцветные рыбки, трепещущая, точно подводные бабочки, пестрыми крыльшками; а в следующее мгновение под нами оказывались темные воды приглубин, из которых вдруг вырывались серебристые стайки летучих рыб; и вот уже мы снова скользили над коралловыми садами. А высоко над нами изогнулось небо тропиков, и пушистые пассатные облака проносятся друг за другом и громоздятся мягкими горами на горизонте.

Мы не успели оглянуться, как доехали до Тахаа (произносится Тах-ах-ах, с одинаковым ударением на всех трех слогах), и Тэхэи, выходя на берег, улыбнулся нашей *вахине*, весьма одобряя ее работу. Челнок остановился в двадцати футах от берега, и мы пошли по мягкому песку, на котором извивались какие-то ползучие морские твари и мелкие осьминоги (ступать по ним было более чем мягко). Почти у самой воды, между кокосовыми пальмами и бананами, стояла на сваях хижина Тэхэи, сделанная из бамбука и покрытая травой. Из хижины к нам навстречу вышла *вахине* Тэхэи, совсем маленькая, стройная женщина с ласковыми глазами и монгольскими чертами лица, а впрочем, может быть, она была из индейских племен Северной Америки. Тэхэи называл ее Биаура (произносить — Би-аа-ау-раа, сильно ударяя на все слоги подряд).

Она взяла Чармиан за руку и повела ее в дом; мы с Тэхэи следовали за ними. В хижине нам объяснили знаками, но вполне ясно, что все, что у них есть, принадлежит нам. Ни один гидальго в мире не мог бы выказать столько щедрости и гостеприимства на словах, а тем более, конечно, на деле. Мы очень быстро усвоили, что нельзя восхищаться ничем, иначе вещь немедленно перейдет в наше владение. Обе *вахине*, по всемирному обычаю всех *вахине*, занялись тотчас же исследо-



ванием различных принадлежностей туалета, а Тэхэи и я, как и подобает настоящим мужчинам, стали рассматривать рыболовные снасти, капканы для ловли диких кабанов и тонкие остроги, которыми туземцы бьют макрелей на расстоянии сорока футов. Чармиан похвалила корзинку для шитъя — чудесный образчик полинезийского плетения, — и корзинка тотчас же была подарена ей. Я пришел в восхищение от рыболовного крючка, выточенного из раковины-жемчужницы, — он оказался моим. Чармиан загляделась на тонкое плетение из соломки красивого рисунка, из которого могла выйти шляпа какой угодно формы, — соломка, свернутая в ролик, была уже у нее в руках. Мои глаза задержались немного дольше, чем следует, на ступке для *пой*, относящейся, вероятно, к каменному веку, — и она была мне подарена. Чармиан, в свою очередь, слишком долго рассматривала красивую чашу для *пой*, выдолбленную из цельного куска дерева, в форме челна на четырех ножках, — и получила ее. Я посмотрел два раза подряд на чашу из гигантского кокосового ореха — она стала моей. Тогда мы с Чармиан, обменявшись взглядами, решили больше ничем не восхищаться, потому что это восхищение станови-

лось для нас слишком прибыльным. Мы уже ломали себе голову, что из имущества «Снарка» можно было бы употребить на ответные подарки. Родство с его обычной проблемой подарков ничто по сравнению с задачей ответить достойным образом на полинезийскую щедрость.

Мы сидели на прохладном крыльце на лучших циновках Биаури и в ожидании обеда познакомились с другими обитателями деревни. Они подходили по двое и по трое, пожимали нам руки и произносили таитянское приветствие — *йорана*. Мужчины, высокие и плотные, были в набедренных повязках, и некоторые в рубашках, женщины в обычных полинезийских *аху*, нечто вроде передника, падающего красивыми складками от плеч до самого пола. Некоторые были поражены elephantiasis. У одной очень красивой женщины, огромного роста, с осанкой королевы, одна рука была больше другой в четыре раза, а может быть, и в двенадцать. Рядом с ней стоял мужчина шести футов ростом, статный, с великолепной мускулатурой бронзового бога, но его ноги были до того раздуты и обезображены, что действительно походили на чудовищные ноги слона.

Что вызывает полинезийский elephantiasis, толком никто не знает. Некоторые полагают, что этой болезнью заражаются от употребления стоячей, испорченной воды. Другие — что она передается укусами moskitov. Объясняют ее также предрасположением и влиянием местного климата. Но тогда тем, кто боится заразы, нечего и думать о путешествии в Полинезию. Всякому приходится пить местную воду, и всякого, конечно, кусают москиты. И никакие предосторожности тут не помогут. Единственный способ благополучно проплыть по южным морям — это быть как можно беспечнее и надеяться на свою счастливую звезду. Поглядев, как больная elephantiasis женщина выжимает для вас руками сок кокосового ореха, пейте его, думая о его чудесном вкусе, а не о руках, которые его выжимали. Слоновая болезнь и проказа, кажется, не передаются при соприкосновении с больными.

Посмотрев, как островитянка выжимала для нас молоко из мякоти кокосового ореха распухшими, изуродованными руками, мы отправились под навес, где Тэхэй и Биаура готовили обед. Он был сервирован для нас на пустом ящике из-под галантерейных товаров, а хозяева устроились на полу. Но какой это был обед! Несомненно, мы были в стране изобилия. Прежде всего была подана великолепная сырая рыба, вымоченная предварительно в течение нескольких часов в лимонном соке. Затем жареные цыплята. Для питья — два кокосовых ореха

с очень сладким молоком. Потом были бананы, напоминающие по вкусу клубнику и тающие во рту. Далее банановое *пои*, вкуснее всех соусов и пудингов в мире. И еще вареный ямс, вареное таро и печеный фейс — особый сорт красных, сочных, мучнистых бананов. Мы не могли прийти в себя при виде такого изобилия, а тут еще принесли поросенка — целого поросенка! — обернутого в листья и зажаренного на камнях, — самое почетное блюдо полинезийской кухни. И, наконец, на сцену появился кофе — восхитительный черный кофе, выросший здесь же, на склонах Тахаа.

Рыболовные принадлежности Тэхэи привели меня в восхищение, мы уговорились отправиться на рыбную ловлю, и тогда мы с Чармиан решили остаться здесь на ночь. Еще раз Тэхэи заговорил о Самоа, и снова моя ссылка на размеры нашего судна вызвала разочарование и улыбку покорности на его лице. Отсюда я собирался отправиться на Бора-Бора. Расстояние между Бора-Бора и Райатеа легко можно пройти на катере. Я пригласил Тэхэи отправиться туда с нами на «Снарке». Потом я узнал, что его жена родом с Бора-Бора и что у нее есть там свой дом. Мы пригласили и ее, и немедленно за этим последовало встречное приглашение с их стороны остановиться вместе с ними в их доме на Бора-Бора. Это было в понедельник. Во вторник мы собирались отправиться на рыбную ловлю с тем, чтобы в тот же день вернуться на Райатеа. В среду мы должны были пройти мимо Тахаа в определенном месте, принять на борт Тэхэи и Биауру и отправиться на Бора-Бора. Обо всем этом мы подробно договорились — об этом и о куче других вещей, несмотря на то, что Тэхэи знал всего три фразы по-английски, Чармиан и я знали с дюжину таитянских слов, и все четверо мы могли бы обмениваться дюжиной французских слов, которые были бы понятны нам всем. Такой многоязычный разговор был, разумеется, медленным, но с помощью блокнота, карандаша, изображения часов, которые Чармиан нарисовала на блокноте, и десяти тысяч различных жестов нам удалось объясниться чудесным образом.

Как только туземцы-гости заметили, что нам хочется спать, они исчезли, словно растаяли, произнося ласковые слова прощания: *йорана*; так же исчезли и растаяли Тэхэи и Биаура. Вся хижина состояла из одной большой комнаты, которая и была всецело предоставлена в наше распоряжение. И я не могу не подчеркнуть, что нигде в мире никогда и никто не принимал меня так сердечно и хорошо, как эта темнокожая чета полинезийцев. Я говорю не о подарках, не об их щедрости, не об угощениях в их царстве изобилия, а о той тонкой деликатно-

сти, безукоризненном такте, ласковой предупредительности и неподдельном расположении, которые проявлялись решительно во всем. Они не только исполняли все, что предписывали их обычаи, они старались угадать малейшее наше желание и угадывали чрезвычайно тонко. Невозможно перечислить те заботы, которыми они окружили нас в продолжение нескольких дней, проведенных нами в их обществе. И высшая прелесть этих отношений заключалась в том, что они были не результатом воспитания, сложной социальной тренировки, а совершенно естественным порывом их непосредственных натур.

На следующее утро мы отправились ловить рыбу — Тэхэи, Чармиан и я — в том же челноке, похожем на гроб, только на этот раз без паруса. За несколько миль от берега, но не переходя рифы, Тэхэи закинул свои крючки с наживкой и грузилами; наживкой служили кусочки осьминога, которые Тэхэи откусывал от живого осьминога, извивающегося на дне лодки. Он забросил девять таких лесок, к каждой из которых был привязан кусочек бамбука в виде поплавка. Когда рыба клевала, один конец бамбуковой палочки уходил в воду, а другой, естественно, выскакивал, призывая нас. И как мы торопились! Вскрикивая и взвизгивая, мы гребли от одного сигнального поплавка к другому и вытягивали из глубин океана сверкающих красавиц подводного царства фута в два-три длиною.

Тем временем с востока надвинулся основательный шторм, и небо покрылось тучами. А мы были за три мили от дома. Мы повернули к берегу при первых же порывах ветра, но дождь нагнал нас. Только в тропиках бывают такие дожди: мало того, что отверзлись все краны и шлюзы небесные, но и весь небесный резервуар опрокинулся на землю. Но нам было все равно. Чармиан была в купальном костюме, я в пижаме, а Тэхэи только в набедренной повязке. На берегу нас поджидала Биаура и, взяв за руку Чармиан, поспешно увела ее в дом, вроде того как мать уводит непослушную дочь, которая перепачкалась, бегая по лужам.

Потом мы переоделись в сухое платье и уютно курили в ожидании *кай-кай*. На полинезийском наречии *кай-кай* означает одновременно и «пищу» и «есть». Очевидно, это очень древний корень, сохранившийся по всему Тихому океану. И еще раз мы сидели за столом изобилия и еще раз сожалели, что не созданы по образу и подобию жирафы или верблюда.

Потом, когда мы уже собирались отправиться на «Снарке», небо вдруг снова потемнело, и разразился новый шквал. На этот раз он почти не принес дождя — только ветер стонал и свистел в пальмовых стволах, грозя разрушить хрупкое бам-

буковое обиталище наших хозяев, а от барьерного рифа неслся оглушительный грохот бешеных океанских валов, разбивающихся о коралловую стену. И даже в лагуне, охраняемой рифами, кипели белые пенные барашки, так что всего искусства Тэхэи не доставало бы на то, чтобы вести его утлый челнок по такой воде.

Перед закатом ветер стих, но для челнока волны все же были слишком велики. Поэтому я попросил Тэхэи найти туземца, который предоставил бы нам свой катер до Райатеа за два чилийских доллара, что составляет на наши деньги девяносто центов. Тэхэи и Биаура созвали полдеревни, чтобы нести подарки, которыми они нас наградили. Тут были живые цыплята в корзинках, очищенная и обернутая в зеленые листья рыба, огромные кисти золотых бананов, корзины с лимонами и апельсинами, груши-аллигаторы (маслянистый плод, называемый еще *авока*), громадные корзины ямса, связки таро и кокосовых орехов и, наконец, даже толстые ветви и куски стволов — топливо для «Снарка».

По дороге к катеру мы встретили единственного белого обитателя острова Тахаа — Джорджа Лефкина, родом из Америки. Ему было восемьдесят шесть лет от роду, из которых шестьдесят с лишним он прожил на Островах Товарищества, отлучившись только два раза: один раз в Калифорнию, когда там открыли золото, а другой раз в окрестности Сан-Франциско, где он попробовал заняться земледелием.

«Катер» оказался небольшой шлюпкой, но по сравнению с узеньким челноком Тэхэи казался очень основательным. Однако когда мы вышли из лагуны и попали в новый шквал, то убедились, что это игрушка, и вспоминали о «Снарке», как о каком-то незыблемом континенте. Тэхэи и Биаура отправились с нами, и Биаура оказалась настоящим моряком. Мы шли под штормом на всех парусах. Становилось темно, а лагуна была полна ответвлениями коралловых рифов. Три раза шлюпка ложилась на бок, и, чтобы выровнять ее, приходилось травить шкоты.

Между тем окончательно стемнело. Шторм усилился, и хотя мы вовремя убрали паруса, все же промчались мимо «Снарка» и бились целый час, пока не перебрались на спущенную моторную лодку и не подняли наконец на палубу «Снарка» несчастный катер.

В тот день, когда мы отправились на Бора-Бора, ветер был слабый, и мы пустили в ход машину, чтобы добраться до места, где нас должны были ждать Тэхэи и Биаура. Но их нигде не было видно.

— Ждать нельзя, — сказал я. — При таком ветерке мы не доберемся до Бора-Бора засветло, а бензин на исходе.

В южных морях бензин — это целая проблема. Никогда не знаешь, где и когда удастся пополнить его запасы.

Но как раз в это мгновение между деревьями показался Тэхэи. Он снял рубашку и отчаянно махал ею. Биаура, очевидно, не успела еще собраться. Явившись на судно, Тэхэи знаками объяснил, что необходимо подвести «Снарк» ближе к его дому. Он сам стал на руль и провел нас между кораллами. Тогда с берега послышались приветственные крики, и Биаура с помощью других туземцев доставила на «Снарк» два челнока, наполненных дарами этой страны изобилия. Там были ямс, таро, *фейс*, плоды хлебного дерева, кокосовые орехи, апельсины, лимоны, ананасы, арбузы, груши-аллигаторы, гранаты, рыба, живые куры, которые сустились, кудахтали и несли яйца на палубе, и, наконец, живой поросенок, дьявольски визжавший все время, точно его уже резали.

Месяц стоял довольно высоко, когда мы прошли через опасные коралловые рифы Бора-Бора и бросили якорь против деревни Байтапе. Биаура, у которой здесь был дом, очень беспокоилась, что не может попасть на берег раньше нас, чтобы встретить нас все тем же изобилием. Звуки музыки разносились над спящей лагуной. Повсюду на Островах Товарищества нам говорили, что Бора-Бора — очень веселый остров. Когда мы с Чармиан сошли на берег, то увидели на лужайке у деревни танцующих юношей и девушек, сплошь увитых гирляндами и с какими-то странно фосфоресцирующими цветами в волосах, которые вспыхивали и мерцали в лунном свете. Дальше перед громадной соломенной хижинной овальной формы, в семьдесят футов длиною старейшины деревни пели *химинэ*. Они были тоже увенчаны цветами и тоже веселы и приветствовали нас радостно, как заблудших овец, пришедших из темноты на свет.

На другое утро Тэхэи явился на «Снарк» со свежепойманной рыбой и передал нам приглашение на обед. По дороге мы заглянули в дом, перед которым накануне старцы пели *химинэ*. Там пели те же старцы вперемешку с молодежью. Судя по всему, готовился пир. На полу возвышалась гора плодов и овощей, а по обе стороны лежали куры, связанные кокосовыми мочалками. После многочисленных *химинэ* один из стариков поднялся и сказал речь. Речь относилась к нам, и хотя мы ничего не поняли, все же нам показалось, что между нами и горой изобилия имеется какая-то связь.

— Что если они собираются подарить нам все это? — шепнула Чармиан.

— Невозможно! — прошептал я. — Зачем бы? Да и места на «Снарке» нет совершенно. Мы не смогли бы съесть и десятой доли. А ведь остальное сгниет. Может быть, они просто приглашают нас на пир?

Но царство изобилия по-прежнему окружало нас. Оратор недвусмысленными жестами дал нам понять, что передает в наше владение каждый предмет из этой горы изобилия, а потом и всю гору в целом. Минута была затруднительная. Как бы вы поступили, если бы в вашем распоряжении была всего одна комната, а ваш друг презентовал бы вам белого слона? Эта новая нагрузка была совершенно не по силам «Снарку». Мы краснели и запинаясь, произнося *мауру-уру*. Мы лепетали *мауру-уру* долго и даже прибавляли *нуи*, что означает самую невероятную благодарность, и все-таки старались показать жестами, что не можем принять всех подарков, что было с полинезийской точки зрения высочайшей бестактностью. Певцы *химинэ* совершенно растерялись от огорчения, и в тот же вечер мы при помощи Тэхэи старались загладить наше невежество, приняв по одному экземпляру от каждого сорта приношений.

Уйти от этого наводняющего изобилия совершенно невозможно. Я купил у одного туземца дюжину кур, а на следующий день он доставил мне тринадцать да еще полную лодку фруктов в придачу. Француз-лавочник подарил нам корзину гранат и предоставил в наше распоряжение свою лучшую лошадь. И местный жандарм одалживал нам свою любимую лошадь, которую лелеял как зеницу ока. Все решительно посылали нам цветы. «Снарк» превратился в зеленую лавку, замаскированную под цветочный магазин. Мы ходили не иначе, как увитые гирляндами. Когда певцы *химинэ* появлялись на «Снарке», девушки приветствовали нас поцелуями, и вся команда от капитана до боя влюбилась в девушек с Бора-Бора. Тэхэи устроил в нашу честь грандиозную рыбную ловлю, на которую мы отправились в большом сдвоенном челне, где гребцами были все те же прелестные амазонки. К счастью, рыбы не наловили, иначе «Снарк» бы просто затонул, не снявшись с якоря.

Проходили дни, но изобилие не кончалось. В день нашего отъезда к борту один за другим причаливали челноки. Тэхэи привез нам огурцов и молоденькое деревцо *палайя*, увешанное великолепнейшими плодами. Мне лично он подарил маленький двойной челнок с полным комплектом рыболовных при-

надлежностей и фруктов, фруктов и овощей с такой же щедростью, как на Тахаа. Биаура привезла для Чармиан несколько шелковых подушек, вееров и узорных циновок. И, наконец, все навезли плодов, фруктов и кур. Туземцы, которых я даже ни разу не видел, привозили мне удочки, лески и рыболовные крючки, выточенные из перламутровых раковин.

Когда «Снарк» выходил за рифы, он тащил за собою катер, на котором Биаура должна была отправиться домой одна, — Тэхэи меня все-таки уломал, и теперь он плыл на «Снарке». Он стал членом нашей команды. Когда катер отдал буксир и повернул к востоку, а «Снарк» к западу, Тэхэи стал на колени на корме, погруженный в безмолвные молитвы, и слезы текли по его щекам. А когда неделю спустя Мартин показал ему несколько свеженапечатанных фотографий, этот темнокожий сын Полинезии, узнав свою бесконечно любимую Биауру, разрыдался.

Но изобилие! Что было делать с изобилием? Мы не могли работать на «Снарке» из-за этого изобилия. Мы ходили по фруктам. Шлюпка и моторная лодка были полны до краев. Натянутые тенты трещали от их тяжести. Но как только мы попали в настоящий ветер, началась автоматическая разгрузка. При каждом качании «Снарк» выбрасывал за борт то связку бананов, то десяток кокосовых орехов, то корзину с лимонами. Золотая лимонная река стекала по водостокам. Лопались огромные корзины с ямсом, а гранаты и ананасы катались взад и вперед. Куры и цыплята вырвались на свободу и расселись повсюду, — и на борту и даже на мачтах. Это ведь дикие куры, умеющие летать. Когда мы пробовали их ловить, они улетали с судна и, покружившись над морем, возвращались все-таки назад, впрочем, не всегда возвращались... Никто не заметил в суматохе, как из клетки выбрался поросенок и тоже очутился за бортом.

Глава XIII

РЫБНАЯ ЛОВЛЯ НА БОРА-БОРА

В пять часов утра начался свист в раковины. По всему берегу, точно древний военный призыв, неслись эти звуки, заставляя рыболовов готовиться к ловле. Мы на «Снарке» тоже, конечно, вскочили, потому что спать в этом сумасшедшем гама было невозможно. И потому, что мы тоже собирались на рыбную ловлю.

Эту своеобразную местную ловлю рыбы называют *тау-тай-таора*, причем *таутай* означает снаряд, в данном случае камень, а *таора* — бросать, а все вместе значит рыбная ловля посредством бросания камней. В сущности, это облава, точно такая же облава, как, например, на диких кроликов. Только охотники пребывают в одной стихии, в воздухе, между тем как дичь остается в воде, но будь вода хоть в сотню футов глубиной, это все равно не мешает облаве. Делается это так. Челноки вытягиваются в ряд на расстоянии от ста до двухсот футов друг от друга. На носу каждого из них стоит человек с тяжелым камнем на короткой веревке: этим камнем бьют по воде, опуская его и опять выдергивая. На корме сидит гребец, который гребет, но не нарушая боевого порядка, так что ряд челноков соединяется с другим таким же рядом на расстоянии мили или двух от первого; противоположные концы обеих линий упираются в берег. Вместе с линией берега получается круг. Круг все суживается, а с берега в воду выходят женщины, образуя ногами живую загородку под водой. В нужную минуту, когда круг уже достаточно тесен, с берега на лодке подвозят длинную плетенку из кокосовых листьев, которая опускается в воду, в помощь ограде из женских ног.

— *Très jolie* (очень мило), — говорил француз-жандарм, объясняя знаками, что будут пойманы многие тысячи рыб самых различных величин, от миноги до акулы, и что загнанная рыба будет биться у самого берега, выбрасываясь на песок.

Такой способ рыбной ловли неизменно приносит большой улов, и напоминает все это скорее праздник, чем прозаическое, обыденное добывание пищи, происходит это на Бора-Бора каждый месяц с незапамятных времен. Кто придумал этот способ, неизвестно. Всегда так было. Но невольно приходит в голову, что изобретатель был очень талантливый человек и, конечно, радикал, в чем я не сомневаюсь. И несомненно также, соплеменники считали его сумасшедшим, или дураком, или анархистом. Ему было гораздо труднее, чем современным изобретателям, которым приходится убеждать в полезности своего изобретения одного или двух капиталистов. Ему необходимо было убедить целое племя, потому что иначе и попробовать этот способ было невозможно. Воображаю, какой вой поднимался иногда по вечерам в первобытном парламенте, когда он называл своих сограждан заплесневелыми пнями, а они его — шутом, нахалом, помещанным! Одному небу известно, скольких седых волос и проклятий стоило ему завоевание кучки приверженцев! Однако на поверку правда оказалась на его стороне. И впоследствии все его противники, как

один человек, кричали, что они первыми предсказали ему успех.

Наши милые друзья Тэхэи и Биаура, которые устроили эту ловлю в честь нас, явились за нами в почетной барже. Нас положительно ошеломило ее великолепие. Два челнока были связаны поперечными шестами и украшены гирляндами из цветов и золотистой травы. На веслах сидели прелестные амазонки, увенчанные цветами, а на корме каждого челнока — рулевой, тоже весь в цветах — алых, золотых, оранжевых — и в ярко-красной *пареу* вокруг бедер. Цветы были повсюду — цветы, цветы без конца и края. Это была оргия цветов и красок. На помосте, уложенном поперек обоих челноков, танцевали Тэхэи и Биаура, и все голоса сливались в буйном приветственном пении.

Они три раза обошли вокруг «Снарка», прежде чем причалить и забрать Чармиан и меня. «На Бора-Бора всегда весело», — говорят на Островах Товарищества. И действительно, было весело. Под четкие удары весел пелись песни и в честь лодок, и в честь акул, и в честь рыбной ловли. Время от времени слышался возглас: «*Мао*». И все что было сил налегали на весла. *Мао* означает «акула», и при появлении этого океанского тигра туземцы под страхом смерти спешат к берегу, иначе их легкий челнок будет перевернут, а они сами съедены. В данном случае никаких акул не было, и тревожное «*мао*» употреблялось только для того, чтобы подзадорить гребцов.

Тэхэи и Биаура продолжали танцевать на носу под аккомпанемент пения и ритмического хлопанья в ладоши. Иногда ритм подчеркивался мелодичными ударами весел по борту челноков. Молодая девушка вдруг бросала весло, вспрыгивала на помост и принималась танцевать *хула*, и во время танца, извиваясь и наклоняясь всем телом, касалась наших щек приветственными поцелуями. Некоторые *химинэ* были божественными песнопениями, эти были особенно хороши, напоминая звуки органа красивыми сочетаниями мужских басов с женскими контральто и высокими сопрано. Другие песни, наоборот, представляли собой дикие древние баллады и восходили, очевидно, к дохристианской эпохе.

Так, под пение и пляски и ритмичные удары весел, мы добрались до места ловли. Местный жандарм, представитель французских властей на Бора-Бора, тоже вышел с семьей в двойном челноке, в котором на веслах сидели арестанты: он был не только жандармом и правителем, но также и смотри-



телем тюрьмы, а в этой веселой стране на общую рыбную ловлю должны непременно выходить все. Штук двадцать одиночных челноков окружили нас со всех сторон. Из-за мыса выплыл красивый парусный челн. Трое юношей, расположившись на брус-балансире, приветствовали нас барабанным боем.

У следующего мыса было место сбора. Здесь нас дожидалась моторная лодка, приведенная Уорреном и Мартином. Жители Бора-Бора никак не могли понять, что заставляет ее двигаться, и разглядывали ее с неослабевающим любопытством. Потом лодки вытащили на песок, и все сошли на берег, чтобы пить кокосовое молоко и снова петь и снова плясать. Здесь к нам присоединилось много туземцев, пришедших пешком из соседних деревень, и прелестное это было зрелище: молодые девушки, увитые цветами, идущие попарно по песчаному берегу.

— Обычно улов бывает хороший, — сказал нам Аллико, местный торговец-метис. — В конце вы увидите, вода будет прямо кишеть рыбой. Вообще будет занятно. Вы, конечно, знаете, что вся рыба будет ваша?

— Как? Вся? — простонал я, потому что «Снарк» был и так перегружен всевозможными подарками: фруктами, овощами, курами и поросятами.

— Вся до последней рыбешки, — отвечал Аллико. — Когда облава подойдет к концу, вы в качестве почетного гостя должны будете поднять на острогу первую рыбу — таков обычай, — а потом они уже будут выбрасывать ее на берег руками. Получатся целые горы рыбы. Потом кто-нибудь из вождей скажет речь, в которой сообщит, что весь улов преподносится вам. Но вам незачем брать все. Вы тоже встанете и скажете речь. Вы укажете, какую рыбу отобрали себе, а остальное преподнесете участникам ловли. И все начнут восхвалять вашу щедрость.

— А вдруг бы кто-нибудь взял себе весь улов? — спросил я.

— Этого еще никогда не случалось, — был ответ. — Таков уж обычай: одна сторона дарит, другая отдаривает.

Туземный священник прочел молитву об успешной ловле. Затем главный из рыболовов стал выкликать челноки, назначая каждому его место. Все сели в лодки и отошли. Остались на берегу только женщины, за исключением Чармиан и Биауры. В прежнее время и они подлежали бы табу, так как женщины обязаны оставаться на берегу, чтобы в нужную минуту образовать в воде живую изгородь из ног.

Тяжелый двойной челн был оставлен, и мы отправились в моторной лодке. Одна половина челнов пошла направо, а мы с другой половиной — налево, растянувшись длинной цепью от берега до рифов. Предводитель облавы, красивый старик с флагом в руке, находился в середине нашей линии. Он управлял движениями обеих линий сигналами. Когда все встали на места, он махнул флагом в правую сторону. И в то же мгновение все камни были брошены в правую сторону от лодок. Как только их вытащили, — они опускались неглубоко, — флаг метнулся влево, и с изумительной точностью все камни полетели влево. Так продолжалось в течение всеголова; при каждом взмахе флага камни летели в воду. В то же время гребцы двигали челноки к берегу.

На носу нашей лодки Тэхэи, не сводя глаз с предводителя, бросал свой камень в такт с остальными. Один раз его камень соскочил с веревки — и в ту же секунду Тэхэи исчез в воде вслед за ним. Я не знаю, успел ли камень дойти до дна, знаю только, что в следующую же секунду Тэхэи вынырнул с камнем в руке. Я заметил, что то же случилось и у других, и всякий раз бросавший нырял за камнем в воду и приносил его обратно.

Концы обеих линий сближались у рифов, пока не сошлись совершенно. Тогда началось сокращение круга, и бедная, перепуганная рыба должна была броситься к берегу, спасаясь от сотрясения воды, производимого камнями. Женщины уже образовали живую изгородь из ног, войдя в воду, — более рослые пошли дальше, маленькие стояли ближе к берегу. От берега отделился челн и очень быстро обошел линию загонщиков, спуская в воду длинную циновку из кокосовых листьев. Теперь лодки были уже не нужны, и загонщики тоже слезли в воду, чтобы увеличить живую изгородь. Они били по воде руками и ногами и кричали во все горло; получился настоящий ад.

Но ни одна рыба не показывалась на поверхности лагуны, и ни одна не пробовала пробиться сквозь изгородь из ног. Наконец предводитель вошел в кольцо и внимательно осмотрел его в разных направлениях. Но нигде рыба не кишела, не подскакивала в воздух и не билась о песок. Не оказалось ни одной сардинки, и ни одной миноги, и ни одной самой жалкой рыбешки. Что-то не вышло, очевидно, с молитвой или, может быть, — как объяснил нам один старик — ветер был неподходящий, и вся рыба ушла на другую сторону лагуны.

— Такая неудача бывает из пяти один раз, — утешил нас Аллико.

Что же, нам повезло: приехали на Бора-Бора специально, чтобы видеть рыбную ловлю, и вытянули из пяти билетов единственный пустой. Будь из пяти один выигрышный, мы б его никогда не вытянули. Это не пессимизм, не осуждение мирового устройства. Это просто чувство досады, знакомое каждому, кто возвращался с пустыми руками после дня трудов.

Глава XIV

МОРЕХОД-САМОУЧКА

Я знаю, капитаны бывают разные, встречаются и просто превосходные капитаны, но на «Снарке» с капитанами дело обстояло плохо. Я пришел к выводу, что один капитан на маленьком судне причиняет больше хлопот, чем два грудных младенца. Впрочем, это и понятно. Хорошие капитаны занимают хорошие места на больших судах водоизмещением от одной до пятнадцати тысяч тонн и не станут менять свое положение, чтобы водить по волнам наш десятитонный «Снарк». «Снарку» приходилось брать своих штурманов с бе-

рега, а береговой штурман — это обычно никуда не годное существо, человек, который способен недели две проискать на океане какой-либо остров, а потом вернуться со своей шхуной и донести, что остров утонул со всем, что на нем было; человек с таким характером и с такой жаждой к спиртным напиткам, что он чаще изгоняется с судов, чем попадает на них.

На «Снарке» побывало три капитана, и больше, даст бог, не будет ни одного. Первый из них настолько страдал старческим слабоумием, что не в состоянии был указать плотнику точные размеры бушприта. Он был до такой степени дряхл и беспомощен, что не в силах был приказать матросу, чтобы тот окатил соленой водой палубу «Снарка». Двенадцать дней, которые мы простояли на якоре под отвесными лучами тропического солнца, палуба оставалась сухой. Она рассохлась, конечно. Мне стоило сто тридцать пять долларов переконопатить ее. Второй капитан был сердит. Он родился сердитым. «Папа всегда сердит», — такова была характеристика, данная капитану его сыном-метисом. Третий капитан был криводушен, душа у него была кривее штопора. Правды он не говорил никогда, понятия о чести у него совсем не было, и он был так же далек от прямых путей и честных поступков, как был далек от правильного курса, когда он едва не погубил «Снарк» у островов Золотого Кольца.

В Суве, на островах Фиджи, я рассчитал своего третьего и последнего капитана и снова взял на себя роль морехода-самоучки. Однажды я уже выступал в этой роли при первом моем капитане, который, когда мы вышли из Сан-Франциско, заставил «Снарк» так забавно скакать по карте, что мне пришлось наконец выяснить, что же происходит на самом деле. Выяснить это было не трудно, потому что нам предстояло пройти еще две тысячи сто миль. Я ровно ничего не смыслил в навигации, но, потратив немало сил на чтение и провозившись полчаса с секстаном, я уже мог отыскать широту «Снарка» по меридианальной высоте, а долготу — тем простым способом, который известен под названием «метода соответствующих высот». Это метод неправильный. Это метод даже не безопасный, но мой капитан пытался вести судно с его помощью, а он был единственным человеком на борту, который мог бы сказать мне, что этого метода следует избегать. Я все-таки привел «Снарк» на Гавайские острова; но мне благоприятствовали обстоятельства. О правильном способе нахождения долготы с помощью хронометра я не имел понятия. Правда, мой первый капитан как-то упомянул было о нем, но

после нескольких попыток воспользоваться им больше упомянуть не стал.

На островах Фиджи мне удалось сверить мой хронометр с двумя другими хронометрами. За две недели до того, в Паго-Паго, на Самоа, я просил моего капитана сверить наш хронометр с хронометрами американского крейсера «Аннаполис». Капитан сказал мне, что сделает это, — он, разумеется, ничего не сделал; он сказал мне, что разница оказалась в ничтожную долю секунды. Говоря это, он искусно имитировал радость и произносил слова похвалы моему великолепному инструменту. Я повторяю это теперь вместе со словами похвалы его великолепной наглой лживости. Потому что две недели спустя, на Суве, я сверил мой хронометр с хронометром «Атуа», австралийского парохода, и нашел, что он ушел вперед на тридцать одну секунду. Тридцать одна секунда, переводя на дугу, равняется семи и одной четверти мили. Другими словами, если бы я плыл на запад ночью и, считая по лагу от моего положения в полдень, установленного с помощью хронометра, должен был находиться в семи милях от берега, я в это самое мгновение разбился бы о береговые утесы. Потом сверил мой хронометр с хронометром капитана Вули. Капитан Вули, начальник порта в Суве, трижды в неделю ровно в полдень стреляет из пушки. В сравнении с его хронометром мой был впереди на пятьдесят девять секунд — другими словами, плывя на запад, я разбился бы о рифы, думая, что нахожусь в пятнадцати милях от них.

В качестве компромисса я вычел из пятидесяти девяти секунд тридцать одну и направился на остров Танна, в группе Новых Гебридских островов, решив, что когда мне темной ночью придется быть неподалеку от земли, я буду твердо помнить и о тех семи милях, которые надо прибавить, согласно хронометру капитана Вули. Танна лежит приблизительно в шестистах милях к западо-юго-западу от островов Фиджи, так что я был уверен, что за время этого перехода успею начинить мою голову таким количеством познаний по навигации, которое дало бы мне возможность добраться туда. Я действительно добрался туда, но выслушайте сперва, какие мне пришлось одолеть трудности. Навигация совсем не трудное дело, я всегда буду утверждать это; но когда вы везете вокруг света три бензиновых двигателя и жену и должны писать с утра до вечера, чтобы оплатить бензин для моторов и жемчуг и вулканы для жены, у вас остается слишком мало времени на изучение навигации. Кроме того, много легче изучать названную науку на берегу, где долгота и широта пребывают

неизменными, в доме, положение которого постоянно, чем на борту судна, не переставшего идти день и ночь по направлению к суше, которую вы стараетесь отыскать и на которую можете наскочить, когда всего меньше этого ожидаете.

Прежде всего надо руководствоваться компасом. Мы вышли из Сувы в субботу 6 июня 1908 года после полудня и до наступления темноты пробирались узким, усеянным подводными камнями проливом между островами Вити-Леву и Мбанга. Перед нами лежал открытый океан. Путь был свободен, если не считать Вату-Лейле, крохотного островка, торчавшего из воды милях в двадцати к западо-юго-западу — как раз в том направлении, куда я хотел плыть. Мне, разумеется, казалось, что его ничего не стоит обогнуть, пройдя милях в восьми или десяти к северу. Была темная ночь, и мы шли по ветру. Нужно было сказать рулевому, какой держать курс, чтобы обойти Вату-Лейле. Но я откуда знал, какой должен быть курс? Я обратился к руководству по навигации. «Истинный курс» — нашел я слова. То, что мне нужно! Мне нужен был истинный курс. Я стал читать с жадностью.

«Истинный курс есть угол, образуемый меридианом и прямой линией, проведенной между точкой, обозначающей местонахождение судна, и тем местом, куда оно направляется».

Это-то мне и надо. «Снарк» находился у западного входа в пролив между Вити-Леву и Мбанга. Направлялся он к точке, находящейся по карте в десяти милях к северу от Вату-Лейле. Я проверил направление на карте транспортиром-линейкой и определил, что истинным курсом будет юго-запад. Оставалось только дать распоряжение рулевому, и «Снарку» обеспечен благополучный путь по открытому морю.

Но, к своему ужасу и к своему счастью, я стал читать дальше. Я узнал, что компас, этот верный и неизменный друг морехода, далеко не всегда указывает на север. Он отклоняется. Иногда он отклоняется к востоку, иногда к западу, а бывает так, что он вместо севера указывает на юг. Склонение в том месте, где находился «Снарк», равнялось $9^{\circ} 40'$ к востоку. Так вот, это следовало принять в расчет, раньше чем давать указания рулевому. Я прочел:

«Правильный магнитный курс получается от прибавления к истинному курсу соответствующего склонения».

Теперь, рассудил я, раз компас отклонился на $9^{\circ} 40'$ к востоку, а я желаю плыть на север, мне следует направляться на $9^{\circ} 40'$ к западу от севера, указываемого компасом, потому что этот север вовсе не север. Итак, я прибавил $9^{\circ} 40'$ влево к мо-

ему курсу на юго-запад, определил правильный магнитный курс и приготовился выйти в открытый океан.

Но тут, на счастье и на горе, я прочел дальше. Оказалось, правильный магнитный курс не совпадал с направлением по компасу. Еще один бесенок ждал меня, чтобы поймать и разбить о рифы Вату-Лейле. Этот маленький бесенок появился под названием девиации. Я прочел: «Компасное направление есть то направление, которого следует держаться, и получается оно от прибавления к правильному магнитному курсу девиации».

Девиация есть отклонение стрелки компаса в зависимости от распределения железных предметов на борту судна. Это чисто местное склонение я определил по таблице девиации главного компаса и прибавил эту величину к правильному магнитному курсу. Таким образом, я получил направление по компасу. Но и это было не все. Главный компас находился посредине судна, подле трапа в капитанскую каюту. Путевой компас, по которому правит рулевой, находился на юте, подле штурвала. И их указания упорно не сходились.

Все вышеуказанные операции необходимы, чтобы правильно определить курс. И самое худшее заключается в том, что все они должны быть проделаны безукоризненно правильно, а не то вы услышите как-нибудь ночью: «Буруны прямо по носу», — выкупаетесь в морской воде и испытаете удовольствие бороться с волнами, пробираясь к берегу через стаю прожорливых акул.

Подобно компасу, который выкидывает всевозможные штуки и сводит с ума морехода, показывая куда угодно, только не на север, ведет себя и солнце, которое упорно не желает находиться там, где ему в данное время положено находиться. Это легкомыслие со стороны солнца является причиной всякого беспокойства — по крайней мере так было со мной. Чтобы определить, где вы находитесь на поверхности земли, вы должны знать, где в это время находится на небе солнце. А тут выходит, что солнце, которое служит хронометром для людей, само нарушает сроки. Когда я обнаружил это, я впал в глубокую меланхолию и усомнился в незыблемости законов мироздания. Даже такие физические законы, как закон тяготения и сохранения энергии, потеряли незыблемость; я бы не удивился, увидев, что они нарушаются. Раз компас лгал, а солнце не исполняло своих обязанностей, отчего же не потерять притяжения предметам и не исчезнуть бесследно несколькими корзинами энергии? Даже вечное движение казалось мне возможным, и я был в таком состоянии, что купил бы веч-

ный двигатель Килея, работающий без потребления энергии, у первого же предприимчивого агента, который появился бы на палубе «Снарка». А когда я узнал, что Земля в действительности обращается вокруг своей оси 336 раз, тогда как Солнце встает и заходит всего 365 раз, я готов был усомниться в том, что я существую.

Вот как движется солнце! Оно так неаккуратно, что человеку невозможно создать часы, которые уследили бы за его движением. Солнце то ускоряет, то замедляет ход, никакие часы не могут угнаться за ним. Иногда солнце опережает расписание, иногда оно плетется позади него, а иногда оно летит, чтобы нагнать самое себя, или, вернее сказать, чтобы нагнать то место на небе, где ему полагается быть. В этом последнем случае оно недостаточно быстро замедляет ход и в результате оказывается впереди того места, где ему следует быть. Как бы то ни было, солнце бывает в том самом месте, где оно должно быть, только четыре раза в году. Остальные 361 день солнце находится где-то вблизи этого места. Человек, более совершенный, чем солнце, создал часы, указывающие правильное время. Кроме того, он с точностью вычисляет, насколько солнце обогнало свое расписание или отстало от него. Разницу между действительным местонахождением солнца и тем местом, где ему надлежало бы находиться, если бы оно было порядочным, благопристойным светилом, люди называют уравнением времени. Таким образом, мореплаватель, желающий определить, где его судно находится на море, глядит на свой хронометр, чтобы установить, в каком месте неба должно находиться солнце, согласно указаниям Гринвичской обсерватории. К этому указанию он прибавляет уравнение времени — и находит то место, где солнцу следует быть, но где его нет. К полученной величине прибавляет еще что-то, потом еще, и так до бесконечности.

«Снарк» покинул Фиджи в субботу 6 июня, а на следующий день, в воскресенье, находясь в открытом океане и не видя нигде земли, я попытался определить мое местонахождение, найдя с помощью хронометра долготу и выяснив широту по меридианальной высоте. Хронометрические наблюдения я сделал утром, когда солнце отстояло над горизонтом примерно на 21 градус. Я взглянул в «Морской альманах» и нашел, что в этот самый день, 7 июня, солнце запаздывает на 1 минуту и 26 секунд и что оно наверстывает упущенное со скоростью 14,67 секунды в час. Хронометр сказал мне, что в то самое мгновение, когда я определял высоту солнца, в Гринвиче было 8 часов 25 минут утра. Казалось бы, что, имея все эти дан-

ные, любой школьник мог ввести поправку на уравнение времени. К несчастью, я не школьник. Ясно, что в полдень в Гринвиче солнце отстаёт на 1 минуту и 26 секунд. Столь же ясно, что если бы теперь было одиннадцать часов утра, солнце отставало бы на 1 минуту 26 секунд и ещё на 14,67 секунды. Если бы было 10 часов утра, следовало бы прибавить дважды 14,67 секунды. А если бы было 8 часов 25 минут утра, следовало бы прибавить 14,67 секунды, помноженные на 3,5. Далее, совершенно ясно, что если бы было не 8 часов 25 минут утра, а 8 часов 25 минут пополудни, то следовало бы не прибавить 14,67 секунды, а вычесть их, потому что если в полдень солнце отставало на 1 минуту и 26 секунд и нагоняло это опоздание со скоростью 14,67 секунды в час, в 8 часов 25 минут пополудни оно должно было находиться много ближе к тому месту, где ему надлежит быть, чем в полдень.

До сих пор все шло хорошо. Но что же именно показывал хронометр: 8 часов 25 минут утра или вечера? Я взглянул на часы. Они показывали 8 часов 9 минут, конечно, утра, так как я только что окончил завтрак. Но раз на борту «Снарка» было 8 часов утра, то 8 часов, которые показывал хронометр (а он показывал гринвичское время), должны были быть иными, чем 8 часов на «Снарке». Но какие же это были 8 часов? «Это не могло быть 8 часов этого утра,— решил я,— значит, это 8 часов либо этого, либо предыдущего вечера».

Здесь я рухнул в бездонную пропасть интеллектуального хаоса. «У нас восточная долгота,— соображал я,— следовательно, мы идем впереди Гринвича. Если мы идем позади Гринвича,— значит, сегодня есть вчера; если мы идем впереди Гринвича,— значит, вчера есть сегодня; но если вчера есть сегодня, то что ж такое сегодня — завтра? Чепуха!» И все же это должно быть так. Когда я производил наблюдения сегодня утром в 8 часов 25 минут, в Гринвиче только что окончился вчерашний обед.

«В таком случае, исправь разницу времени за вчерашний день»,— говорит мой логический ум.

«Но ведь сегодня есть сегодня,— настаивает мой здравый смысл.— Я должен внести поправку за сегодняшний день, а не за вчера».

«И все же сегодня есть вчера»,— упорствует мой логический ум.

«Ну, допустим,— продолжает мой здравый смысл,— если бы я находился в Гринвиче, теперь было бы вчера. Мало ли что бывает в Гринвиче! Но я знаю столь же твердо, как то, что

я жив, что я произвел наблюдения здесь, теперь, 7 июня; поэтому я должен внести поправку здесь, теперь, 7 июня».

«Чепуха!—воскликает мой логический ум.—Лекки говорит...»

«Неважно, что говорит Лекки,—прерывает мой здравый смысл.—Послушай-ка, что говорит «Морской альманах». Альманах говорит, что сегодня, 7 июня, солнце отстаёт на 1 минуту 26 секунд и нагоняет это опоздание со скоростью 14,67 секунды в час. Он говорит, что вчера, 6 июня, солнце отставало на 1 минуту и 36 секунд и нагоняло опоздание со скоростью 15,66 секунды в час. Нельзя же вносить поправку к сегодняшнему положению солнца с помощью вчерашней таблицы».

«Дурак!»

«Идиот!»

Так они и препираются, пока моя голова не начинает кружиться: теперь я готов поверить, что сегодня—послезавтра позапрошлой недели. И тут я вспомнил напутственное наставление начальника порта в Суве:

«Находясь в восточных долготах, берите из «Морского ежегодника» данные для вчерашнего дня».

Мне пришлось претерпеть ещё много других страданий, но всего труднее было сообразить, как переводить градусы широты в морские мили, потому что градусы становятся на карте все длиннее по мере удаления от экватора. Но все же я справился со всеми трудностями, с грехом пополам, но справился.

И я был вознагражден. В четверг, 10 июня, я определил местоположение «Снарка» и, проложив по карте курс дальше, обнаружил, что мы выскочим прямо на остров Футуна, один из крайних восточных островов в группе Новых Гебридов, вулканический конус вышиною в две тысячи футов, возвышающийся прямо из недр океана. Я изменил курс так, чтобы «Снарк» прошел от него примерно милях в десяти к северу. Потом я сказал Ваде, коку, стоявшему на руле ежедневно от четырех до шести часов утра:

— Вада, завтра утром хорошенько смотри,—слева будет земля.

И отправился спать. Жребий был брошен. Я поставил на карту свою репутацию морехода. Подумать только, а что, если на рассвете не окажется никакой земли? Где же окажутся тогда мои познания в навигации? И где же окажемся мы сами? Как мы разыщем то место, где мы находимся? И доберемся ли до какой-либо земли? Мне уже мерещилось, как «Снарк» целый месяц носится по пустынному океану, тщетно разыскивая

землю, пока мы не съедем всей нашей провизии и не станем жадно поглядывать друг на друга, воочию увидев перед собою страшный лик каннибализма.

Признаюсь, что мой сон не был

...подобен летнему небу,

Где звучит нежная музыка жаворонка.

Скорее, «я просыпался в безмолвной тишине» и слушал скрипение снастей и плеск волн вдоль бортов «Снарка», который упорно делал свои шесть узлов. Я снова и снова проверял мысленно вычисления, стремясь найти ошибку, пока мой мозг не пришел в такое состояние, что я начал находить десятки ошибок. Что, если все мои вычисления неправильны и я нахожусь не в шестидесяти милях от Футуны, а в шести милях? Значит, и курс, взятый мною, тоже неправилен и «Снарк» идет теперь прямо на Футуну, того и гляди, мы напоремся на остров. При этой мысли я даже вскочил с койки, но и потом, хотя я и заставил себя лечь, несколько минут я с замирающим сердцем ждал столкновения.

Во сне меня душили кошмары. Чаще всего это бывало землетрясение, но появлялся еще какой-то человек со счетом и упорно не давал мне покоя. Он хотел драться со мной, и всякий раз Чармиан уговаривала меня не соглашаться на это. Но вот он явился во сне, в котором Чармиан не было. Тут уж я не зевал. Мы подрались, и я до тех пор дубасил его, пока он не стал просить прощения. Тогда я спросил: «А как же быть с этим счетом?» Расправившись с ним, я готов был заплатить ему. Но он взглянул на меня и проворчал: «Ошибка, счет не к вам, а к вашему соседу».

Здесь он исчез и больше не появлялся в моих снах, и сны тоже исчезли. Я проснулся со смехом. Было 3 часа утра. Я вышел на палубу. Генри, туземец с острова Рапа, стоял на руле. Я взглянул на лаг. Он насчитал сорок две мили. «Снарк» продолжал делать шесть узлов и еще не наскочил на Футуну. В половине шестого я снова был на палубе. Стоявший на руле Вада не видал никакой земли. В течение четверти часа меня терзали мучительные сомнения. Потом я увидел землю в том самом месте, где ей следовало быть, — маленький, острый обломок берега, возвышающийся над водой. В 6 часов я уже ясно видел, что это великолепный вулканический конус Футуны. В 8 часов, когда мы поравнялись с ним, я при помощи секстана измерил расстояние до него и нашел, что оно равняется 9,3 мили. А я решил пройти от него в 10 милях!

Дальше, к югу, из моря вырастал Анеитеум, на севере — Анива, а прямо впереди — Танна. Танну можно узнать безошибочно: высокий столб дыма подымался над нею. Она находилась в сорока милях от нас, и около полудня, когда мы подошли ближе к ней, все время продолжая делать шесть узлов, мы увидели, что это высокий гористый остров без всякого признака бухты вдоль всей береговой линии. Я искал Гавань Решения, хотя и был готов к тому, что она как якорная стоянка больше не существует. Вулканические землетрясения в течение последних сорока лет так подняли ее дно, что там, где прежде могли стоять на якоре самые большие корабли, по последним сведениям, едва мог стать на якорь «Снарк». И разве новое сотрясение почвы не могло окончательно разрушить гавань?

Я подошел вплотную к кольцу атолла, окруженному острыми камнями, о которые, пенясь, разбивались буруны. В бинокль я оглядел весь берег, но нигде не находил следов прохода. По компасу я определил направление, в котором лежали Футуна и Анива, и нанес на карту. В месте пересечения этих двух линий находился «Снарк». Потом я проложил курс «Снарка» к Гавани Решения. Внеся поправки на склонение и девиацию, я вышел на палубу и с ужасом увидел, что мой курс направлял меня прямо на цепь утесов, о которые разбивался прибой. К изумлению моего матроса с острова Рапа, я держал курс прямо на скалы, пока они не очутились в одной восьмой мили от меня.

— Здесь нет стоянки, — заявил он, предостерегающе покачав головой.

Но я изменил курс и пошел вдоль берега. Чармиан стояла на руле. Мартин находился при машине и был готов в любое мгновение пустить ее в ход. Внезапно показался узкий проход. В бинокль я мог видеть, как у входа бушуют буруны. Генри, островитянин с Рапа, глядел со смущением; так же глядел и Тэхэи, островитянин с Тахаа.

— Здесь нет прохода, — сказал Генри. — Если мы пойдем сюда, нам будет конец.

Признаюсь, что и я думал точно так же; но я направлялся прямо в проход, внимательно следя, сталкиваются ли между собой волны, откатываясь от берегов. Между ними оказалась узкая полоска спокойной воды. Чармиан повернула штурвал и направила «Снарк» в проход. Мартин пустил в ход машину, а все остальные, даже кок, бросились убирать паруса.

В глубине залива виднелся дом торгового агентства. На бе-

регу, в сотне ярдов, бил дымящийся гейзер. Слева, когда мы обогнули мысок, показалось здание миссии.

— Три сажени! — крикнул Вада, бросавший лот.

— Три сажени!.. Две сажени! — последовало вскоре.

Чармиан круто положила руль, Мартин застопорил машину. «Снарк» описал крутую дугу, и только якорь грохнулся в воду, как подле борта и на борту была уже толпа чернокожих туземцев — скалящих зубы обезьяноподобных созданий с лохматыми головами и бегающими глазами, украшенных английскими булавками и глиняными трубками в продырявленных ушах; на них не было ровно никакой одежды ни спереди, ни сзади.

Этой ночью, когда все уснули, я выскользнул на палубу, оглядел сияющую лагуну и возликовал, да, возликовал, ибо я своего добился, справился со своей задачей, привел мой корабль куда надо.

Глава XV

НА СОЛОМОНОВЫХ ОСТРОВАХ

— Почему бы вам не прокатиться с нами? — спросил нас капитан Дженсен в Пендефрине на острове Гуадалканаре.

Мы с Чармиан переглянулись, посоветовались друг с другом — безмолвно и одновременно кивнули в знак согласия. Мы всегда решаем вопросы таким способом, и надо сказать, это отличный способ, если не в вашем характере попусту киснуть из-за неудач.

— Захватите с собой револьверы и винтовки, — прибавил капитан Дженсен. — Может быть, у вас найдется также несколько лишних патронов.

Мы взяли винтовки, патроны и захватили с собой Ваду и Накату — кока и боя со «Снарка». Вада и Наката были в расстроенных чувствах. Они, мягко выражаясь, не выказывали сокрушительного рвения, хотя Наката ни разу не смалодушничал в минуту опасности. Но Соломоновы острова обошлись с ним слишком жестоко. Во-первых, они оба подхватили местные язвы. Правда, это случилось со всеми нами (я как раз тогда содействовал созреванию двух нарывчиков с помощью раствора сулемы); но обоим японцам досталось особенно солоно. А нарывы эти не из приятных. Им просто конца нет. Достаточно укуса москита, незначительного пореза, самой пу-

стой царапины, чтобы образовался нарыв, словно самый воздух Соломоновых островов пропитан каким-то ядом. Нарыв лопается, образуется язва, которая с поразительной быстротой разъедает кожу. Едва заметный нарывчик, с булавочную головку, становился на второй день язвой в маленькую монету, а через неделю ее уже не покроет серебряный доллар.

Еще больше страдали японцы от местной злокачественной лихорадки. Оба пережили уже несколько приступов, а когда начинали выздоравливать, то, еле двигаясь от слабости, сидели у борта, в той части «Снарка», которая была ближе к их далекой Японии, и с тоской глядели в ту сторону.

А теперь еще в довершение всех бед мы брали их с собой на дикий остров Малаиту. Вада, который особенно трусил, был уверен, что никогда не увидит Японии; потускневшими, тоскующими глазами смотрел он, как переносили винтовки и другие припасы на борт «Миноты». Он уже слышал о «Миноте» и ее рейсах на Малаиту. Он знал, что всего полгода назад она была захвачена дикарями, что капитан ее был изрублен в куски томагавками и что по законам справедливости этого милостивого острова белые были должны дикарям еще две головы. Он знал также, что один малаитский мальчик, работавший на пендефринских плантациях, умер недавно от дизентерии и долг белых увеличился, таким образом, еще на одну голову. Кроме того, переноса наш багаж в капитанскую каюту, он заметил, конечно, на ее двери следы топоров. А в камбузе у плиты не было трубы — это он тоже заметил: труба была унесена островитянами в числе прочей добычи.

«Минота» была австралийской яхтой с оснасткой кеча. Узкая и длинная, с острым килем, она была приспособлена скорее для гонок, чем для поездок за черными рекрутами. Команда ее была теперь удвоена и состояла из пятнадцати человек. Кроме того, на ней находилось человек двадцать «обратных» парней, которые уже отслужили свое время на плантациях и возвращались домой, в свои лесные деревни. Одного взгляда на них было достаточно, чтобы убедиться, что это самые доподлинные людоеды, охотники за человеческими черепами. Их продырявленные ноздри были проткнуты костяными или деревянными палочками величиною с карандаш. У иных проколот был самый кончик носа, и там торчали черепаховые острия или проволока с насаженными на ней бусами. Некоторые проделали ряды дырочек по всей длине ноздрей. В ушах у всех было от двух до двенадцати отверстий, причем в некоторые были воткнуты деревянные втулки диаметром до трех дюймов, а из тех, что поменьше, торчали глиняные трубки

и тому подобные безделушки. Дыр, в общем, было столько, что не хватало украшений для них; и когда, приближаясь к Малаите, мы сделали несколько выстрелов, чтобы испробовать винтовки, на палубе произошла настоящая потасовка из-за пустых гильз, которые тут же и очутились в пустующих отверстиях их ушей.

Мы не только испробовали винтовки, но и украсили борт колючей проволокой: «Минота» с ее открытой палубой без каких-либо надстроек и с поручнями высотой всего в шесть дюймов была слишком доступна для абордажа. В борт были ввинчены медные стойки и проведена двойная линия колючей проволоки от кормы к носу. Это было, конечно, хорошей защитой от дикарей, но доставляло много неудобств во время качки. Если вы не хотите скатиться к накренившемуся колючему борту, но и ухватиться руками за не менее колючий поднявшийся борт тоже не решаетесь, вам остается только кататься по мокрой палубе, которая наклоняется под углом в сорок пять градусов. И при этом не забывайте, что на Соломоновых островах любая царапина от колючей проволоки не просто царапина, потому что из каждой неизменно образуется гнойная язва. В том, что никакие предосторожности не могут спасти от колючей проволоки, мы убедились в одно прекрасное утро, когда шли вдоль берегов Малаиты. Ветер был довольно сильный, и волны разгулялись приличные. На руле стоял молодой негр. Капитан Дженсен, мистер Джэкобсен (штурман), Чармиан и я только что уселись на палубе завтракать. Вдруг налетели подряд три необычайно больших волны. Юноша на руле растерялся, и три раза подряд «Миноту» окатило волной. Завтрак смыло за борт, ножи и вилки выскользнули через шпигаты. С юта волной унесло одного из матросов, и его с трудом вытащили, а наш почтенный капитан висел на борту на колючей проволоке. После этого происшествия нам пришлось применять на практике первобытный коммунизм по части ножей и вилок. Впрочем, на «Юджени» было еще хуже, там на четырех приходилась всего одна чайная ложечка, но о «Юджени» разговор особый, после.

Наша первая стоянка была в Суо, на западном берегу Малаиты. Соломоновы острова вообще находятся на краю света, вернее, на задворках цивилизации. Темными ночами приходится с невероятным трудом пробираться через проливы, усеянные рифами, пересекать какие-то беспорядочные течения, и притом на всем архипелаге, растянувшемся на тысячу миль, вдоль всей его береговой линии нет ни одного маяка; но мало того: даже сама эта береговая линия неправильно нанесена на

карты. Например, Суо. По карте адмиралтейства берег Малаиты представляет в этом месте прямую непрерывную линию. Однако сквозь эту непрерывную линию мы прошли проливом глубиной в двадцать саженей. Где полагалось быть земле, лежала в действительности глубокая бухта. Мы зашли в нее, манговые заросли позади нас сомкнулись, и мы бросили якорь в неподвижную воду, словно в спокойный пруд. Капитану Дженсену стоянка не нравилась. Он был здесь первый раз, а Суо пользовалась плохой репутацией. В случае нападения здесь нельзя было рассчитывать на ветер, а если бы команда вздумала уйти на веслах, ее всю до единого человека перебили бы с берега. Да, случись что-нибудь, и мы окажемся в настоящей западне.

— А если бы «Минота» села на мель, что бы вы стали делать? — спросил я.

— Но она не села на мель, — был ответ.

— Ну, а если бы все-таки?

Капитан посмотрел на штурмана, который в эту минуту пристегивал к поясу револьвер, потом на вооруженных матросов, спускавшихся в шлюпку, подумал и сказал:

— Мы сели бы в шлюпку и постарались бы удрать отсюда как можно скорее.

Он рассказал мне еще, что на матросов-малаитов никогда нельзя рассчитывать, особенно в случае крушения; что туземцы считают всякое судно, потерпевшее крушение у их берегов, своей законной добычей; что у туземцев достаточно ружей и что у него на борту двадцать «обратных», которые, конечно, в случае нападения с удовольствием помогут родственникам и друзьям с берега.

Прежде всего на берег доставили «обратников» и их вещи. Таким образом, одна из опасностей была удалена. Тем временем от берега к нам подошел челнок с тремя голыми дикарями. Голыми в буквальном смысле слова. На них не было ни одного лоскутка, ни малейшего признака одежды, если, конечно, не считать одеждой колец в носу, втулок в ушах и браслетов из раковин. Главным в челне был одноглазый старик вождь, по слухам, из мирных и такой грязный, что даже железный скребок, которым чистят палубу, затупился бы на нем. Он приехал посоветовать капитану не отпускать никого на берег. Позднее вечером он повторил это предостережение.

Напрасно плавала наша шлюпка вдоль берега в поисках рекрутов-рабочих. Лесная чаща была полна вооруженными туземцами, которые очень охотно разговаривали с нашими людьми, но не собирались подписывать контракт на три года

и работать на плантациях за шесть фунтов в год. В то же время они всячески старались заманить наших людей на берег. На следующий день они с этой целью разожгли костер в дальнем конце залива; так как это был всегдашний сигнал, что туземцы хотят наниматься, мы послали туда лодку. Но ничего не получилось. Ни один из них не завербовался, и ни один из наших на берег не вышел. Спустя некоторое время мы заметили вооруженных туземцев, пробиравшихся кустами вдоль берега. Но сколько их скрывалось в лесу, определить было невозможно.

Вечером капитан Дженсен, Чармиан и я занялись с лодки ловлей рыбы при помощи динамита. Мы подгребли близко к берегу, который казался совершенно пустынным. Все были вооружены винтовками, в том числе и Джонни, вербовщик из туземцев, сидевший на руле. Подойдя к берегу, мы развернулись к нему кормой, чтобы в случае нападения сразу уйти, и продолжали продвигаться вперед кормой. За все время пребывания на Малаите я ни разу не видел, чтобы шлюпки подходили к берегу носом. Обыкновенно вербовщики идут на двух шлюпках, одна подходит к берегу, а другая остается на расстоянии нескольких сот футов и «страхует». Но «Минота» была небольшой яхтой, и второй шлюпки у нее не было.

Мы наткнулись на стаю рыбы, только подойдя почти вплотную кормой к берегу. Зажгли фитиль и бросили в воду динамитный патрон. Раздался взрыв, и вся поверхность воды заплескалась рыбой. И в то же самое мгновение лес ожил. Человек двадцать голых дикарей с луками, стрелами, копьями и ружьями выскочили на берег. Команда шлюпки тоже схватилась за винтовки. И обе вражеские стороны не спускали друг с друга глаз, пока двое из наших подбирали в воде оглушенную рыбу.

Мы провели в Суо совершенно бесполезно три дня. «Миноте» не удалось заполучить ни одного рекрута с берега, а дикарям ни одного черепа с «Миноты». Один Вада заполучил кое-что — жестокую лихорадку. Шлюпка вытащила нас из лагуны, и мы отправились вдоль берега в большой поселок Ланга-Ланга, построенный с невероятным трудом на песчаной мели лагуны; он в буквальном смысле представлял собой искусственный островок, возведенный для защиты от кровожадных лесных дикарей. Здесь же, на другом берегу лагуны, находилась деревня Бину, где полгода назад была захвачена «Минота» и убит ее капитан. Когда мы входили в узкий пролив, нам навстречу вышла лодка и сообщила, что только сегодня утром отсюда ушел военный корабль, который сжег три де-

ревни, убил тридцать голов свиней и утопил одного младенца. Судно это было «Кэмбриан» под командой капитана Льюиса.

Я с ним познакомился в Корее во время русско-японской войны, и с тех пор мы не раз пересекали след друг друга, но больше не виделись. Когда мы на «Снарке» выходили в Суву (на островах Фиджи), мы издалека видели уходящий в плавание «Кэмбриан». На Новых Гебридах мы разминулись на один день. У берегов острова Санто мы разошлись, не признав друг друга в ночную пору. Мы вышли из Пендефрина в тот день, когда «Кэмбриан» пришел в Тулаги милях в десяти оттуда. И вот здесь, в Ланга-Ланга, мы разминулись на несколько часов.

«Кэмбриан» приходил сюда, чтобы покарать убийц капитана «Миноты», но подробности мы узнали только вечером, когда к нам явился местный миссионер мистер Эббат. Деревни действительно были сожжены и свиньи зарезаны. Но из туземцев не пострадал никто. Убийц не удалось задержать, хотя флаг «Миноты» и некоторые другие вещи и были найдены. Младенец утонул случайно. Вождь Джонни из деревни Бину отказался вести десант в лес, и никто из его воинов тоже не решался быть проводником. Тогда рассерженный капитан Льюис сказал Джонни, что его деревню следовало бы сжечь. В лексиконе Джонни не оказалось, очевидно, слова «следовало бы», и он понял, что деревня будет сожжена обязательно. Тогда обитатели ее с такой поспешностью бросились бежать, что при сборах утопили младенца. Сам же вождь Джонни поспешил к мистеру Эббату и вручил ему четырнадцать золотых соверенов, чтобы подкупить капитана Льюиса. Деревня Джонни не была сожжена, но капитан Льюис червонцев не взял, ибо я впоследствии видел их у Джонни, когда тот приезжал к нам на «Миноту». Джонни объяснил мне, что отказался быть проводником из-за большого нарыва, который он мне даже показал. Настоящая причина была, конечно, гораздо серьезнее: он просто боялся мести дикарей.

Вот вам маленькая иллюстрация нравов на Соломоновых островах. Джонни явился к нам выменивать на табак грот, марсель и кливер какого-то вельбота. В тот же день, немного позже, явился вождь Билли и предложил — тоже в обмен на табак — мачту и бушприт. Все эти части были сняты с вельбота, который капитан Дженсен отобрал у туземцев еще в предыдущую поездку на Малаиту. Вельбот принадлежал одной плантации на острове Изабель. Одиннадцать уроженцев Малаиты, работавшие на ней по контракту, однажды решили бежать. Они, конечно, не имели понятия, что такое вельбот

и как им управлять в открытом море. Поэтому они убедили двух туземцев из Сан-Кристовала бежать вместе с ними. Сан-крисстовальцы получили по заслугам, ибо должны были знать, с кем имеют дело. Когда они благополучно довели краденую лодку до Малаиты, им отрубили головы. Вот эту-то лодку и ее снасти отобрал у жителей Малаиты капитан Дженсен.

Все же я не совсем напрасно съездил на Соломоновы острова. Здесь наконец мне удалось увидеть, как было унижено высокомерие Чармиан и неприступный замок ее женского превосходства был повержен во прах. Случилось это на Ланга-Ланга, искусственном острове, которого даже не видно под домами. Мы бродили здесь в окружении не ведающих стыда голых мужчин, женщин и детей и любовались пейзажем. Револютеры наши, конечно, были заряжены, и команда, тоже с винтовками, следила за нами с лодки. Но урок «Кэмбриана» был еще слишком свеж в памяти, так что нам, собственно, нечего было бояться. Мы ходили всюду и смотрели, что хотели, пока не дошли до какого-то большого ствола, перекинутого в виде мостика через ручей. Чернокожие стали перед ним стеной, отказываясь пропустить нас. Мы потребовали объяснения. Чернокожие сказали: «Идите». Мы вытаращили глаза, ничего не понимая. Последовали разъяснения. Капитан Дженсен и я пройти могли, потому что были мужчинами. Но ни одна «Мэри» не смела перейти ручей по мосту или даже вброд. «Мэри» означала женщину вообще, и Чармиан — увы! — была женщина. Значит, и для нее мост был «тамбо», то есть по-местному табу. Какой гордостью переполнилась моя грудь! Наконец-то мое мужское достоинство было отмщено. Я принадлежал к высшему полу! Чармиан могла сколько угодно таскаться за нами по пятам, но мужчинами были все же только мы, и через мост могли идти только мы, а она должна была идти в обход на шлюпке.

Я не хотел бы, чтобы меня поняли неправильно, но всем известно, что на Соломоновых островах приступы лихорадки часто бывают следствием нервных потрясений. И вот через полчаса после того, как Чармиан было отказано в праве прохода по мосту, ее, дрожащую, доставили на «Миноту», завернули в несколько одеял и напичкали хинином. Я не знаю, какого рода нервные потрясения переживали Вада и Наката, но они слегли также. Да, климат Соломоновых островов мог бы быть немного поздоровее!

Во время этого припадка лихорадки у Чармиан образовалась соломонова язва. Это было последней каплей. Все на «Снарке» переболели язвами, за исключением Чармиан.

Я, например, был убежден, что потеряю ногу из-за необыкновенно злокачественной язвы на лодыжке. У Генри и Тэхэи — таитян — язв было множество. Вада насчитывал штук сорок. А у Накаты отдельные язвы имели по три дюйма в длину. У Мартина от язв того и гляди должно было начаться омертвление тканей на ноге. Но Чармиан все время оставалась невредимой. Неподвластная недугу, она уже стала с презрением относиться к нам. Она так возвысилась в собственных глазах, что однажды скромно пояснила мне, что тут все дело в чистоте крови. Понимаете, у всех были язвы, у нее нет, значит... Ну, так вот же, теперь у нее была язва величиной с серебряный доллар, и чистота ее крови не помещала ей в течение многих недель лечиться сулемой. Она верит исключительно в сулему; Мартин — исключительно в йодоформ; Генри употребляет лимонный сок, а по-моему, если сулема действует слишком медленно, ее следует чередовать с перекисью водорода. Некоторые из белых, живущие на Соломоновых островах, имеют пристрастие к борной кислоте, другие — к лизолю. У меня, впрочем, тоже есть патентованное средство. Называется оно «Калифорния». Пусть-ка найдет мне кто-нибудь соломонову язву в Калифорнии!

Из Ланга-Ланга мы отправились вдоль лагуны, проходя иногда маленькими проливчиками в манговых зарослях, где «Минота» едва не задевала бортами берега. Мы миновали построенные на рифах деревни Калака и Ауки. Основатели их, как и основатели Венеции, спаслись сюда от преследования обитателей суши. Эти люди, случайно уцелевшие во время резни и неспособные бороться за существование в лесах, обосновались на песчаных мелях. Они укрепили мели и сделали их островами. Свою пищу они принуждены были добывать из моря и стали настоящими моряками. Они изучили нравы рыб и моллюсков, изобрели лесы и крючки, сети и западни. Их тела приспособились к новому образу жизни, приспособились к лодке. Им негде было ходить, и все время они проводили на воде, вследствие чего у них стали широкие плечи, крепкие руки, узкий таз и слабые ноги. Живя у берега и захватив в свои руки всю торговлю с островом, они разбогатели. Между ними и остальными островитянами идет постоянная вражда, и перемирие бывает только по базарным дням — раз или два в неделю. С обеих сторон торговлю ведут только женщины. На берегу, на расстоянии ста ярдов, прячутся в кустах островитяне в полном вооружении, а из лодок наблюдают прибрежные жители, тоже вооруженные. Впрочем, базарные перемирия нарушаются очень редко; обитатели лесов слишком любят

рыбу, а рыбаки с побережья чувствуют невыносимую органическую потребность в зелени и фруктах, которые им негде выращивать на их плотно заселенных островках.

Пройдя тридцать миль от Ланга-Ланга, мы подошли к проливу между островом Бассакана и Малаитой. К ночи ветер совершенно упал, и «Миноту» пришлось тащить вельботом на буксире. Но течение было против нас, и мы едва двигались. На полпути мы поравнялись с «Юджени», крупной вербовочной шхуной, которую тащили два вельбота. Ее шкипер, капитан Келлер, весьма решительный немец лет двадцати двух, явился к нам «поболтать», и мы обсудили все малайтские новости. Ему повезло; в деревне Фиу он завербовал двадцать рекрутов на работы. Но пока он стоял там на рейде, произошло обычное в этих местах «приключение с убийством». Убитый парень был из морских бушменов, то есть рыбак по занятиям, но живущий не на островке. Он работал в своем огороде, когда к нему пришли из леса три туземца. Они держали себя вполне дружелюбно по отношению к нему и, наконец, попросили *кай-кай*. *Кай-кай* означает «есть». Он развел огонь и поставил вариться таро. Когда он нагнулся за чем-то к горшку, один из пришедших прострелил ему голову. Он упал головой в огонь, а они всадили ему копье в живот и распороли его.

— Честное слово, не хотел бы, чтобы меня застрелили из штуцера, — прибавил капитан Келлер: целая лошадь с телегой прошла бы через дыру в его голове!

Вот еще одно доблестное убийство, которое произошло во время моего пребывания на Малаите. Умер один из вождей лесных островитян, умер вполне естественной смертью. Они понимают, что можно умереть от пули, томагавка или копья, но если человек умирает иначе, ясно, что его заколдовали. Вождь умер сам по себе, и его племя обвинило в его смерти одну семью. Так как решительно все равно, кого из членов заподозренной семьи убить ради отмщения, выбрали одиноко живущего старика. Это было удобнее. У него притом не было ружья. Кроме того, он был слеп. До несчастного старика дошли какие-то слухи, и он заготовил множество стрел. Три храбрых воина — все трое с ружьями — напали на него ночью. До утра они героически сражались с ним. Стоило им шевельнуться в кустарниках или стукнуть чем-нибудь, как слепой посылал туда стрелу. Утром, когда он выпустил последнюю, три героя подкрались к нему и размозжили ему голову.

Утро застало нас в той же безнадежной борьбе с течением посреди пролива. В конце концов мы отчаялись, повернули обратно, вышли в море и, обойдя остров Бассакана морем, до-

брались до Малу. Место стоянки в Малу было прекрасное, но оно лежало позади очень скверного рифа с узким проходом, так что войти было легко, а выйти достаточно трудно.

Местный миссионер мистер Колфилд только что совершил на вельботе путешествие вдоль берега. Это был стройный худощавый человек, страстно преданный своему делу, хладнокровный и практичный — настоящий священник двадцатого столетия. Отправляясь на Малаиту, он сказал, что пробудет там не больше шести месяцев. Потом он решил, что если остался жив в продолжение этого времени, то задержится еще. И вот прошло шесть лет, а он все еще здесь. Его опасения насчет шести месяцев были, однако, не напрасны. До него на Малаите были три миссионера, и в гораздо более короткий срок двое из них умерли от лихорадки, а третий вернулся калекой.

— О каком это убийстве вы говорите? — вдруг остановил он капитана Дженсена в середине какого-то разговора.

Тот объяснил.

— Ну, это было уже давно. Я говорю о другом, — сказал мистер Колфилд. — Ваше случилось две недели назад.

Здесь, в Малу, мне пришлось понести заслуженное возмездие за злорадство и все издевательства по поводу соломоновой язвы, которую Чармиан подцепила в Ланга-Ланга. И мистер Колфилд был отчасти орудием этого возмездия. Он подарил нам курицу. Она сбежала, и мне пришлось гоняться за ней с ружьем по кустарникам. В конце концов я ее подстрелил, но при этом споткнулся о ствол дерева и расцарапал ногу у щиколотки. В результате три соломоновы язвы. С двумя прежними это выходило уже пять. А капитан Дженсен и Наката в это же время схватили *гари-гари*, что в буквальном переводе значит — скреби-скреби. Но переводить не было надобности: гимнастические упражнения капитана и Накаты были понятны без слов.

Нет, климат Соломоновых островов совсем не такой здоровый, как хотелось бы. Я пишу эту главу на острове Изабель, куда мы подвели «Снарк», чтобы почистить киль и днище. Только сегодня утром я встал от последнего приступа лихорадки, и между двумя приступами у меня был всего один свободный день. У Чармиан приступы через две недели. Вада стал совсем калекой от этой лихорадки, вчера ночью мне показалось, что у него начинается воспаление легких. Генри, здоровенный гигант с Таити, только что встал сегодня после приступа и валяется на палубе, как прошлогоднее гнилое яблоко. Он и Тэхэи собрали ценную коллекцию соломоновых язв и,

кроме того, подцепили еще особую разновидность *гари-гари*, напоминающую отравление растительными ядами, как, например, дубильной или синильной кислотой. Впрочем, *гари-гари* не является их исключительной собственностью. Несколько дней назад Чармиан, Мартин и я пошли на охоту за голубями и с тех пор составили довольно ясное представление о том, что такое муки ада. На маленьком островке Мартин изрезал себе подошвы о кораллы, гоняясь за акулой, то есть, это он так говорит, мне же показалось, что положение дела было как раз обратное. Все порезы обратились в соломоновы язвы. Перед последним приступом лихорадки я ссадил немного кожу на пальцах, помогая убирать паруса, и теперь у меня три свеженькие язвочки. А бедный Наката! Целых три недели он не мог сидеть. Вчера он сел в первый раз и просидел целых пятнадцать минут. Он весело уверяет, что вылечится от своего *гари-гари* в течение месяца. А между тем благодаря чрезмерному вдохновению по части «скреби-скреби» у него образовалось бесчисленное множество соломоновых язв. И к тому же он только что опять слег с новым — седьмым — приступом лихорадки. Будь я королем, я бы в качестве самого ужасного наказания для моих врагов применял ссылку на Соломоновы острова. Впрочем, пожалуй, что и нет: слишком это было бы жестоко.

Доставка завербованных для плантаций рабочих на маленькой узкой яхте, построенной для плавания у берегов, не слишком приятное дело. Пассажиры и их семьи занимают всю палубу. Общая каюта набита людьми. Ночью они все спят здесь. В нашу маленькую каюту можно попасть только через общую, и нам приходится протискиваться между сонными телами или прямо наступать на них. Это тоже не очень приятно. Они все до одного больны всевозможными злокачественными кожными болезнями. У одних — стригущий лишай, у других — *букуа*. Эта последняя происходит от паразита, живущего на растениях; он въедается в кожу и в мускулы. Зуд совершенно невыносим. Кроме того, язвы и всевозможные болячки. На судно приходили туземцы с глубокими, до кости, язвами на ступнях. Несчастные больные могли ходить только на кончиках пальцев. Заражение крови встречается на каждом шагу, и капитан Дженсен оперирует всех подряд с помощью матросского ножа и иглы для сшивания парусов. Как бы ни был безнадежен случай, он смело вскрывает рану, вычищает ее и ставит припарку из морских сухарей. Когда мы наталкиваемся на особо ужасные язвы, мы поспешно убегаем к себе и по-

ливаем свои собственные язвы сулемой. Так мы живем, и едим, и спим на «Миноте», в надежде на свою счастливую звезду.

На острове Суава я вторично восторжествовал над Чармиан. Нас посетил «большой господин — хозяин Суава» (главный ее вождь). Но предварительно он прислал к капитану Дженсену за ситцем, чтобы прикрыть свою королевскую наготу. Он ждал ситца в челноке, стоявшем у самого борта. Готов поклясться, что царственная грязь покрывала его грудь по меньшей мере на полдюйма и что возраст нижних слоев ее достигал десяти и даже двадцати лет. Вторично отправленный к нам посол разъяснил, что «большой господин Суава» соглашается — и даже охотно — пожать руку капитану Дженсену и мне, но что его высокороденной душе совершенно неприлично унижаться до того, чтобы протянуть руку ничтожной женщине. Бедная Чармиан! Со времени своего приключения на Малаите она совершенно переменилась. Скромность и робость ей до такой степени к лицу, что я нисколько не удивлюсь, если — по возвращении в лоно цивилизации — она во время прогулки будет идти по тротуару шага на три позади меня, смиренно опустив голову.

Больше ничего интересного в Суава не случилось. Бичу — повар-туземец — сбежал. Налетали шквалы, хлестали нас дождем и ветром. Штурман, мистер Джэкобсен и Вада лежали в лихорадке. Наши соломоновы язвы росли и множились. Тараканы устраивали расширенные парады. Самым подходящим временем они считали полночь, а самым подходящим местом — нашу маленькую каюту. Они были от двух до трех дюймов длины, и их было много, целые сотни, и они бегали по нашим телам. Когда мы попробовали защищаться, они отделились от земли и порхали в воздухе, как колибри. Они были гораздо больше наших собственных, снарковских. Может быть, наши просто еще молоды и не успели вырасти? Но зато у нас на «Снарке» имеются сколопендры, и порядочные, в шесть дюймов длины. При случае мы их убивали, чаще всего на койке Чармиан. Дважды они кусали меня, и оба раза преподлю, во сне. Но с беднягой Мартином было еще хуже. Прележав в постели три недели, он наконец сел... прямо на сколопендру.

Мы вернулись на Малу, забрали еще семерых рекрутов, потом снялись с якоря и попытались пройти через предательские рифы. Ветер стих, течение так и несло на самую неприятную часть рифа. Как раз в ту минуту, когда мы выходили уже в открытое море, ветер повернул на четыре румба. «Минота» попыталась изменить галис, но ничего не вышло. Два якоря бы-

ли потеряны еще в Тулаги. Отдали последний. Цепь была потравлена настолько, чтобы якорь мог забрать за кораллы. Киль «Миноты» задел за дно, и ее грот-мачта так закачалась и задрожала, точно собиралась свалиться нам на головы. Якорная цепь натянулась как раз в ту минуту, когда огромная волна бросила нас к берегу. Цепь оборвалась. Это был наш последний якорь. «Минота» повернулась на месте и ринулась в сторону подводных камней.

На палубе образовался совершенный бедлам. Завербованные были лесными жителями и боялись моря, в паническом ужасе они выскочили на палубу, мешая всем. Наша команда схватилась за ружья. Все знали, что значит сесть на мель у Малаиты — одной рукой надо хватать ружье, другой — спасать судно. Что можно было сделать при таких условиях, я не знаю, но что-то нужно было делать, так как «Миноту» качало и било о кораллы. Туземцы со страха полезли на мачты, не понимая, что мачты могут сломаться. Спустили вельбот, чтобы он взял «Миноту» на буксир и не дал ей двигаться дальше на камни, а капитан Дженсен и штурман (бледный и едва стоящий на ногах от лихорадки) вытащили из трюма какой-то старый якорь, служивший балластом. На помощь подошел на вельботе мистер Колфилд со служащими миссии.

Когда «Минота» села на риф, нигде не было видно ни одного челнока, но теперь они плыли со всех сторон, как ястребы, кружащие над добычей. Наша команда с ружьями наперевес удерживала их на расстоянии ста футов, пригрозив открыть огонь, если они приблизятся. И челноки так и стояли в ста футах от нас, черные и зловещие, переполненные людьми, которые веслами удерживали их на грани опасного прибоя. В то же время со всех сторон с холмов сбегались туземцы, вооруженные копьями, ружьями, стрелами и палицами, пока весь берег не покрылся ими. Положение обострялось еще и тем, что по меньшей мере десять человек наших рекрутов принадлежали именно к этому племени, которое жадно ожидало на берегу, когда можно будет завладеть табаком, и мануфактурой, и всем, что было на «Миноте».

«Минота» была крепко построена, а это самое важное для судна, которое наскочило на рифы. Как ее трепало, можно судить по тому, что в первые двадцать четыре часа она оборвала две якорные цепи и восемь толстых канатов. Вся команда деятельно ныряла, привязывая новые канаты к якорям. Иногда и цепи и канаты рвались одновременно. И все же «Минота» еще держалась. С берега доставили три толстых ствола и подсунули под ее киль, чтобы защитить его. Стволы были

тотчас же искрошены, и тросы, на которых они держались, изорваны, а судно все подпрыгивало и все еще было цело. Но все же мы оказались счастливее «Айвенго», большой вербовочной шхуны, которая села на мель у берегов Малаиты несколько месяцев назад и была разграблена туземцами. Капитану и команде удалось спастись на вельботе, и жители лесных и прибрежных селений мигом обчистили судно.

Шквал за шквалом налетал на «Миноту» с бешеным ливнем, и волны становились все выше. «Юджени» стояла на якоре в пяти милях в наветренную сторону за мысом, и с нее нельзя было видеть, что с нами случилось. По просьбе капитана Дженсена я написал несколько слов капитану Келлеру, умоляя прислать запасные якоря и канаты. Но никто из туземцев не соглашался доставить письмо. Напрасно я предлагал пол-ящика табаку, чернокожие скалили зубы, ухмылялись, и ни один человек не двинулся. Пол-ящика табаку стоило три фунта стерлингов. Письмо даже при таком ветре можно доставить за два часа, и, значит, можно было заработать в эти два часа столько, сколько за полгода на плантациях. Я подошел в лодке к вельботу мистера Колфилда, который стоял на якоре недалеко от нас. Я думал, его слова произведут на туземцев большее впечатление. Он подозвал к себе челноки и, когда его окружило десятка два челноков, еще раз повторил им о моем предложении. Никто не отозвался.

— Знаю, что вы думаете! — крикнул им миссионер. — Вы думаете, шхуна набита табаком, и вы его все равно получите! А я вам говорю, она набита ружьями. И не табак вы получите, а пули!

Наконец один из туземцев, одиноко сидевший в маленьком челноке, взял письмо и уехал. В ожидании помощи на «Миноте» продолжали работать. Опорожнили бочки с пресной водой, а припасы, паруса и балласт перевезли на берег. Приятные минутки пережили мы, когда «Минота» с одного бока переваливалась на другой, и люди, спасая жизнь и ноги, скакали через ящики, рей и двухпудовые железные болванки балласта, катающиеся по палубе от борта к борту. Бедная красивенькая гоночная яхта! Ее палубы и бегучий такелаж были совершенно разорены. Внизу все было разворочено. Настил в каюте был снят, чтобы добраться до балласта, и грязная вода плескалась в трюме. Лимоны, облепленные мокрой мукой, катались там же, напоминая невыпеченные пирожки. В капитанской каюте Наката охранял винтовки и патроны.

Наконец через три часа после того, как отбыл наш посол, с подветренной стороны, сквозь стену дождя и вихря, показал-

ся вельбот. На нем был капитан Келлер, мокрый от дождя и брызг, с револьвером за поясом: его команда была вооружена до зубов, посредине вельбота кучей лежали якоря и канаты, и вельбот летел быстрее ветра: белый человек спешил на помощь белому человеку. Круг стервятников-челнов, так долго ждавших добычи, распался и исчез так же скоро, как образовался. Теперь у нас было три вельбота, из которых два непрерывно ходили между судном и берегом, а третий возился с якорями, связывая лопнувшие канаты. К вечеру, посоветовавшись друг с другом и приняв во внимание, что часть нашей команды и десять рекрутов были из этих мест, мы отобрали оружие у команды. Ружья были переданы пятерым служащим миссии, явившимся к нам с мистером Колфилдом.

Поздно ночью мистер Колфилд получил предостережение: за голову одного из наших рекрутов, оказывается, была назначена награда в пятьдесят сажень раковин (местная монета) и сорок свиней. Так как захватить судно не удалось, туземцы решили заполучить эту голову. Раз начинается кровопролитие, никогда нельзя сказать заранее, чем оно кончится; поэтому капитан Дженсен вооружил вельбот и отправился на нем в глубь бухты. Уги, один из нашей команды, встал на носу и говорил от имени капитана. Уги был очень взволнован. Предостережение капитана Дженсена, что всякая лодка, приближающаяся ночью к судну, будет расстреляна, он перевел как-то очень воинственно, закончив эффектной фразой, приблизительно в таком роде: «Вы убиваете капитана, я пью его кровь и умираю с ним!»

Туземцы удовлетворились тем, что сожгли один из пустых домов при миссии, а затем ушли в лес. На следующий день подошла «Юджени». Три дня и две ночи билась «Минота» на рифах. Но она все-таки выдержала; ее киль был освобожден, и ее отвели в спокойное место. Здесь мы распрощались с нею и со всеми находящимися на ней и пересели на «Юджени», направляющуюся на остров Флориду.

Примечания автора. Чтобы доказать, что мы на «Снарке» не какие-нибудь мозгляки, как можно было бы заподозрить по постигшим нас болезням, привожу следующую дословную выписку из корабельного журнала «Юджени». Эта выписка может дать представление о том, что такое плавание у Соломоновых островов.

Улава. Четверг, 12 марта 1908 года.

Утром отправили на берег шлюпку. Достали груз кокосовых орехов. 4000 копры. Капитан лежит в лихорадке.

Улава. Пятница, 13 марта 1908 года.

Купили орехов 1,5 тонны. Подшкипер и капитан лежат в лихорадке.

Улава. Суббота, 14 марта 1908 года.

В полдень подняли якорь и при слабом ОНО отплыли в Нгора-Нгора. Якорь бросили на глубине 8 сажений — кораллы и раковины. Подшкипер лежит в лихорадке.

Нгора-Нгора. Воскресенье, 15 марта 1908 года.

На рассвете обнаружили, что рабочий Багуа умер ночью от дизентерии. Он проболел около двух недель. На закате сильный шквал с NW (приготовили запасный якорь). Шквал длился 1 ч. 30 м.

В море. Понедельник, 16 марта 1908 года.

Взяли курс на Сикиану в 4 часа дня. Ветер утих. Сильные шквалы в течение ночи. Капитан болен дизентерией, а также один матрос.

В море. Вторник, 17 марта 1908 года.

Капитан и два матроса больны дизентерией. У подшкипера лихорадка.

В море. Среда, 18 марта 1908 года.

Сильное волнение. Подветренный борт все время заливают водой. Идем под зарифленными парусами. Капитан и три матроса больны дизентерией. Подшкипер лежит в лихорадке.

В море. Четверг, 19 марта 1908 года.

В течение ночи шквалы, достигавшие силы урагана. Капитан и шесть матросов больны дизентерией.

В море. Суббота, 21 марта 1908 года.

Повернули в сторону от Сикианы. Весь день шквалы с ливнями и бурное море. Капитан и большая часть команды больны дизентерией. У подшкипера лихорадка.

И так изо дня в день, причем большинство команды лежит в дизентерии, продолжает корабельный журнал «Юджени». Нечто новое случилось только 31 марта, когда подшкипер заболел дизентерией, а капитана свалила лихорадка.

Глава XVI

ВРАЧ-САМОУЧКА

Когда мы отплыли из Сан-Франциско, я знал о болезнях приблизительно столько же, сколько адмирал швейцарского флота о море. И вот прежде всего позвольте

мне дать один совет всякому, кто вздумает отправиться в какие-нибудь необычайные местности под тропиками. Прежде всего сходите в первоклассную аптеку — такую, где работают настоящие специалисты, знающие решительно все. Вызовите одного из таковых и переговорите с ним основательно. Запишите тщательно все, что он вам скажет. Составьте список всего того, что он порекомендует взять с собой. Напишите чек на общую сумму и... разорвите его.

Я очень жалею, что не поступил так. Теперь я знаю, что самое умное было бы купить одну из тех готовых чудодейственных аптечек, которые так любят капитаны судов четвертого разряда. В такой аптечке каждая баночка имеет номер. На внутренней стороне крышки помещается краткое руководство: № 1 — зубная боль; № 2 — оспа; № 3 — расстройство желудка; № 4 — холера; № 5 — ревматизм — и так все существующие болезни подряд. Я бы по крайней мере употреблял их, как один почтенный шкипер, который, истратив № 3, смешивал № 1 и № 2, или, когда выходил № 7, давал своей команде № 4 и № 3 до тех пор, пока № 3 не выходил, в свою очередь; тогда он принимался за № 5 и № 2.

Что же касается моей аптеки, то, за исключением сулемы (рекомендованной мне для хирургических операций, которых я ни разу не делал), она оказалась совершенно бесполезной. Она была хуже, чем бесполезной, так как занимала много места, которое я мог бы использовать гораздо лучше.

Хирургические инструменты — это дело другое. Мне, правда, еще ни разу не пришлось пользоваться ими всерьез, но мне не жаль места, которое они занимают. Достаточно вспомнить о них, чтобы почувствовать себя уверенней. Это своего рода страхование жизни, но только гораздо приятнее, ибо в мрачной игре со страхованием выигрывает только тот, кто умирает. Положим, я не знаю, как ими пользоваться, и ничего не понимаю в хирургии. Но ведь придет нужда, так разбирать не станешь — а разве знаешь, когда она придет? И не случится ли это за тысячу миль от твердой земли и не будет ли до ближайшего порта двадцать дней пути?

Решительно ничего не знал я и о лечении зубов, но один из моих друзей снабдил меня на дорогу щипцами, а в Гонолулу я купил книгу о зубах и зубных болезнях. В том же тропическом городе я ухитрился раздобыть череп, у которого я вырвал все зубы быстро и безболезненно. С такой подготовкой я был готов, хотя и не горел желанием, расправиться с любым зубом, который мне попадется. Первый случай представился

мне в Нукухиве на Маркизских островах; это был зуб маленького старого китайца. И тут у меня со страху начался своего рода приступ лихорадки, и я предоставляю решить всякому здравомыслящему человеку: мыслимое ли это дело — в лихорадке, с дрожащими руками и сердцебиением выступать в роли бывалого зубодера? Мне не удалось обмануть бедного китайца. Он был напуган не меньше моего и даже чуть-чуть больше. Я почти забыл о своем страхе, боясь, как бы он не сбежал. Клянусь вам, если бы он попробовал удрать, я дал бы ему подножку, сел бы на него и стал бы ждать, пока он не придет в себя и не успокоится.

Мне очень хотелось выдернуть этот зуб, а Мартину хотелось заснять меня в момент операции. Чармиан тоже пришла со своим аппаратом. Так мы и тронулись в путь. Мы жили в доме, который когда-то назывался клубом, в те времена, когда Стивенсон приезжал на Маркизские острова. На веранде (где он провел столько приятных часов) свет оказался нехорош, то есть для снимков. Я двинулся в сад со стулом в одной руке и всевозможными щипцами в другой, и колени мои стучали друг о друга неприличнейшим образом. Бедный старик китаец шел вслед за мной и тоже дрожал. Чармиан и Мартин с «кодаками» замыкали шествие. Мы нырнули в тень авокадовых деревьев, прошли между кокосовыми пальмами и вышли на полянку, удовлетворявшую фотографическим требованиям Мартина.

Я взглянул на зуб и обнаружил, что решительно ничего не помню о зубах, которые выдергивал из черепа месяцев пять назад. Сколько у зуба корней? Один, два, три? То, что виднелось снаружи, было очень хрупко с виду, и я знал, что должен ухватить зуб где-то поглубже, в десне. Было положительно необходимо знать, сколько у него корней. Я сходил домой за книгой о зубах и зубных болезнях. У моей несчастной жертвы был такой вид, как у его приговоренных к смерти соотечественников (сужу по фотографиям), когда они на коленях ожидают удара меча, который должен снести им голову.

— Только не дайте ему уйти, — шепнул я Мартину, отправляясь за книгой. — Я очень хочу выдернуть зуб.

— Ну, разумеется! — восторженно отвечал он из-за аппарата. — Я очень хочу вас сфотографировать.

В эту минуту я пожалел китайца.

Хотя в книге не было ничего относительно выдергивания зубов, все-таки это была отличная книга: на одном из рисунков я нашел все зубы, и все их корни, и как они сидят в челюсти. Теперь нужно было выбрать щипцы. У меня их было семь пар,

но какие взять, я не знал. Не хотелось, чтобы вышла какая-нибудь ошибка. Когда я стал со звоном перебирать эти орудия пытки, несчастная жертва окончательно потеряла присутствие духа и стала изжелта-зеленой. Она пожаловалась было на солнце, но оно было необходимо для съемки, так что пришлось стерпеть и это. Наконец я наложил щипцы, а пациент вздрогнул и упал духом окончательно.

— Вы готовы? — крикнул я Мартину.

— Готов! — отвечал он.

Я дернул. О боги. Зуб едва держался... Он выскочил в то же мгновение. Я с торжеством поднял его высоко на щипцах!

— Всадите назад, пожалуйста, всадите назад! — взмолился Мартин. — Нельзя так скоро, я ничего не успел!

И старичок китаец снова сел, и я всадил ему зуб и снова вытащил. Мартин щелкнул затвором. Подвиг был совершен. Гордость? Упоение? Да! Ни один охотник, конечно, не гордился так первым убитым оленем, как я моим первым зубом... Я это сделал! Я! Своими собственными руками и парой щипцов я сделал это сам (не считая того покойника, которому принадлежал забытый череп)!

Следующим моим пациентом был матрос-таитянин. Он был небольшого роста и едва держался на ногах от зубной боли, терзавшей его уже много дней и много ночей. Прежде всего я разрезал десну. Я, конечно, не знал, как это делается, но все-таки разрезал. Тащить зуб было очень трудно, и я очень долго возился. Человек этот был героем. Он охал и стонал, и я боялся, что он потеряет сознание. Но он все же не закрывал рта и не мешал мне тащить. И в конце концов я зуб выдрал.

После этого я готов был принять кого угодно — состояние духа, самое благоприятное для Ватерлооского поражения. И оно наступило. Звали мое поражение Томми. Это был здоровенный дикарь (язычник к тому же), и о нем ходила худая слава. Он отличался склонностью к насильственным деяниям: так, например, он забил насмерть двух жен. Его отец и мать были откровенными людоедами. Когда он сел в кресло, а я всунул ему в рот щипцы, я заметил, что он сидя такого же роста, как я стоя. Я знал, что иногда такие большие люди, склонные к жестокости, не переносят боли; поэтому я за него опасался. Чармиан схватила его за одну руку, Уоррен — за другую. И грянул бой. В то мгновение, когда щипцы сдавили ему зуб, он сдавил щипцы челюстями. А обе его руки взлетели и ухватились за мою руку. Я держал крепко, и он держал крепко. Чармиан и Уоррен тоже держали крепко.



Нас было трое против одного, да еще я ухватил его за больной зуб, что было уже и вовсе не по правилам; но, несмотря на такое неравенство сил, дикарь нас одолел. Щипцы соскользнули, проехавшись по его верхним зубам с душераздирающим вигзом и выпали изо рта. Несчастный с кровожадным воплем подскочил, и мы трое полетели на пол. Мы ожидали, что он растерзает нас. Но этот дикарь с кровавой репутацией только завыл и снова упал в кресло. Он сжал голову обеими руками и стонал, стонал, стонал. Он не хотел ничего слушать. Он считал меня шарлатаном. Мое безболезненное удаление зубов было обманом, издевательством и низкой саморекламой. Мне до такой степени хотелось вырвать его зуб, что я готов был дать дикарю взятку. Но профессиональная гордость не позволила сделать это, и я отпустил его с невыдернутым зубом. То был единственный случай в моей практике, когда мне не удалось добиться своего. С тех пор я не пропустил уже ни одного зуба. Да, вот на днях только я сам вызвался отправиться в лодке на трое суток пути да еще против ветра, чтобы вырвать зуб одной миссионерке. Я сильно рассчитываю к кон-

цу плавания на «Снарке» научиться делать мостики и ставить золотые коронки.

Потом вот еще что. Я не знаю хорошенько, что это такое: африканская язва или нет,—один доктор на Фиджи сказал мне, что да, а миссионер на Соломоновых островах, что нет, во всяком случае, я смело утверждаю, что эта болезнь — вещь крайне неприятная. Такое уж выпало мне счастье: в Таити я нанял матроса-француза, который, когда мы вышли в море, оказался болен отвратительной накожной болезнью. «Снарк» был слишком мал и жил слишком по-семейному, чтобы такого больного можно было оставить: но пока мы добрались до твердой земли, я волей-неволей принужден был лечить его. Я почитал книги и принялся за лечение, обливаясь каждый раз антисептическими средствами. Когда мы доехали до Тутуилы, нам не только не удалось там оставить его, но портовый врач объявил из-за него карантин всему «Снарку» и не позволил даже коку высадиться на берег. Наконец в Апии, на Самоа, мне удалось посадить его на пароход, идущий в Новую Зеландию. Здесь, в Апии, москиты здорово искусили мне ноги у щиколоток, и я, надо сознаться, основательно расчесал искушенные места. Когда мы дошли до Савайи, у меня образовалась небольшая язва на подошве. Я решил, что это от жары и от едких испарений лавы, по которой я много ходил. Помазать мазью — и все пройдет, думал я. От мази ранку скоро затянуло, но тотчас же вокруг началось воспаление, вновь образовавшаяся кожа сошла, и язва стала еще больше. И так повторялось много раз. Много раз затягивалась рана кожей, но тотчас же вокруг начиналось воспаление, и в результате язва увеличивалась. Я был озадачен и испуган. Всю жизнь я гордился тем, что на моей коже все быстро заживает, но язва никак не желала заживать. Наоборот, день ото дня она разъедала мою кожу и, проев ее насквозь, принялась за мышцы.

В это время «Снарк» был в открытом море, направляясь на Фиджи. Я вспомнил француза-матроса и первый раз в жизни испугался не на шутку. Появились еще четыре такие же язвы, или, вернее, нарывы, и болели так, что я не спал ночей. Я только и думал, как бы поскорее добраться до Фиджи и, оставив там «Снарк», самому отправиться пароходом в Австралию к врачам-специалистам. А тем временем я, как врач-самоучка, продолжал действовать по мере своего разума. Я перечел все медицинские книги, которые у нас были, но не встретил ни одной строчки, ни одного словечка о моей болезни. Я решил подойти к проблеме попросту. Меня съедают какие-то злокачественные гнойники. Очевидно,

действует какое-то сильное органическое отравление. Отсюда два вывода. Во-первых, найти противоядие. Во-вторых, гнойники, очевидно, нельзя лечить наружными средствами, надо прибегнуть к внутренним. В качестве противоядия я решил взять сулему. Самое название показалось мне весьма сильным. Вот именно — огнем против огня! Меня пожирал сильнодействующий яд — я двинул против него другой сильнодействующий яд. В продолжение многих дней я чередовал промывание сулемой с промываниями перекисью водорода, и когда мы достигли Фиджи, четыре нарыва из пяти совершенно прошли, а пятый стал величиной с горошину.

Теперь я почувствовал себя специалистом по части лечения африканской язвы, но в то же время и к ней испытывал большое уважение. Не так отнеслась к этому происшествию остальная команда «Снарка». Для них видеть — не значило уверовать. Все они видели мое отчаянное положение, и у каждого из них — я глубоко убежден в этом — была подсознательная уверенность в том, что его превосходный, здоровый организм, его замечательная природа не допустили бы внедрения такого мерзкого яда, как это допустила моя анемичная, никудышная природа. В Гавани Решения на Новых Гебридах Мартину пришлось в голову прогуляться по лесу босиком, и он вернулся на «Снарк» с многочисленными порезами и ссадинами на ногах.

— Следовало бы быть поосторожнее, — предостерег я. — Я тебе дам немного сулемы, чтобы промыть порезы. На всякий случай, понятно?

Мартин усмехнулся весьма высокомерно. Он не сказал ничего, но все же мне дано было понять, что он не таков, как другие (этим другим мог быть только я), и что через несколько дней его ссадины заживут. Он прочел мне поучительную лекцию о редкостной чистоте своей крови и ее удивительной целительной силе. Когда он кончил, я чувствовал себя совсем уничтоженным. Видно, я был не такой, как другие, и кровь у меня была не такая чистая.

Однажды при глаженье белья Наката наш бой принял свою ногу за подставку для утюга и получил ожог в три дюйма длины и полдюйма ширины. И он тоже высокомерно усмехнулся, когда я предложил ему сулему, напоминая о собственном горьком опыте. Мне дали понять, очень вежливо и осторожно, что причиной всего была моя плохая кровь, а мол, его японская порт-артурская кровь самая первосортная, и наплевать ему на все микробы.

Вада, повар, находился однажды в лодке во время неудачной высадки, и ему пришлось спрыгнуть в воду и помогать тащить лодку к берегу через прибой. Он сильно изрезал ноги о раковины и кораллы. Я предложил ему склянку с сулемой. И опять мне пришлось вытерпеть усмешку превосходства, и опять мне дали понять, что кровь Вады — хорошая кровь, от нее попало русским, попадет когда-нибудь Соединенным Штатам, а если бы его кровь не смогла противостоять нескольким пустячным царапинам, то он сделал бы себе со стыда характер.

И тогда я понял, что врачу-самоучке не добиться признания на своем судне, даже если он и вылечит самого себя. Вся команда считала, что я просто тихо помешался на язвах и сулеме. Но если у меня самого не чистая кровь, это еще не значит, что и у других кровь не в порядке. Я перестал предлагать свои услуги. Время и микробы были за меня, и мне оставалось только ждать.

— Что-то мои порезы как будто загрязнились, — сказал Мартин несколько времени спустя, вопросительно поглядывая на меня. — Я думаю, если их промыть, все будет в порядке, — прибавил он, видя, что я молчу.

Еще два дня прошло, а порезы не заживали, — и я как-то наткнулся на Мартина, моющего ноги в ведре горячей воды.

— Горячая вода — лучшее средство! — воскликнул он с одушевлением. — Не то что там всякие докторские снадобья! К утру все пройдет, увидишь.

Но к утру взгляд его стал беспокойным, и я знал, что близится час моего торжества.

— Пожалуй, я попробую что-нибудь из твоих лекарств, — объявил он в тот же день к вечеру. — Вряд ли это поможет, конечно, но все-таки надо попробовать.

Вскоре после этого и гордая японская кровь явилась за лекарством, и я окончательно унизил ее, объяснив охотно и детально мой метод лечения. Наката тщательно выполнял мои указания, и язвы его уменьшались с каждым днем. Вада был вообще апатичнее, и лечение его шло хуже. Но Мартин все еще сомневался, и так как он не излечился сразу, то стал проповедовать теорию, что даже в тех случаях, когда лекарство хорошо, оно не может быть хорошо для всех. На него, например, сулема не действует. Да и откуда я могу знать, что это и есть настоящее средство? Разве у меня есть опыт? То, что я вылечился, еще не доказывает, что я вылечился именно благодаря сулеме. Бывают же совпадения. Несомненно, что существует какое-то настоящее лекарство от язв, и когда он по-

падет к настоящему врачу, он его узнает и получит — и выздоровеет.

Примерно в это время мы прибыли на Соломоновы острова. Архипелаг этот — отнюдь не санаторий, это скажет любой врач. После самого непродолжительного пребывания на Соломоновых островах я впервые в жизни ясно представил себе, до чего хрупки ткани человеческого тела. Наша первая стоянка была в Порте-Мария на острове Санта-Анна. Единственный белый человек в порту, торговый агент, подошел к нам на вельботе. Его звали Том Батлер, и он был великолепным примером того, во что может обратиться здоровый человек на Соломоновых островах. Он лежал на дне вельбота недвижно, словно умирающий. На его лице не только не было ни малейшего следа улыбки, ни даже никакого сознательного человеческого выражения. То была унылая мертвая голова, череп, который даже уже не скалится. У Батлера тоже были африканские язвы и преогромные. Нам пришлось втаскивать его на палубу «Снарка». Он уверял, что прекрасно себя чувствует, что лихорадки у него давно не было и что, не считая руки, все у него в порядке. Рука у него была парализована, но он отрицал это. Какой там паралич, если у него и раньше бывало такое и проходило бесследно! Просто обычная местная болезнь на Санта-Анна, объяснял он, пока его вели в каюту, а его мертвая рука билась о ступеньки. Это был, без сомнения, самый страшный и мрачный гость из всех посетивших нас на «Снарке», а у нас бывали и с проказой и с элифантиазисом.

Мартин осведомился у него о фрамбезии, африканской язве, потому что уж кому и знать, как не ему. Мы могли судить об этом по его рукам и ногам, сплошь покрытым рубцами, и по новым гноящимся язвам на старых рубцах.

— О, к язвам-то привыкаешь! — заявил Том Батлер. — Язвы что, пустяки, если только они не въелись слишком глубоко. А вот если они дойдут до артерий, то проедают их стенки — и тогда дело конченное, собирайся на кладбище. Как раз за последнее время умерло от язв несколько туземцев. Но это неважно в конце концов. Не язвы, так что-нибудь другое. На то это и Соломоновы острова.

Я заметил, что с этого времени Мартин стал относиться к своим язвам со все возрастающим интересом. Он стал чаще и аккуратнее промывать их сулемой, а в разговоре все с большим одушевлением вспоминал прекрасный климат Канзаса и прочие его прелести. Мы с Чармиан полагали, что Калифорния — единственное место, где все хорошо. Генри клялся

островом Рана; Тэхэи перевозносил Бора-Бора; Вада и Наката слагали стансы в честь здорового климата Японии.

Однажды вечером, когда «Снарк» огибал остров Уги, отыскивая одну хваленую якорную стоянку, к нам подошел на вельботе английский миссионер мистер Дрю, направлявшийся в Сан-Кристоваль, и мы пригласили его у нас отобедать. Мартин, чьи ноги были забинтованы, словно у мумии, как всегда, свернул разговор на язвы.

— Да,— сказал мистер Дрю,— на Соломоновых островах это вещь обычная. Все приезжие белые страдают такими язвами.

— У вас они тоже бывали?— спросил Мартин, оскорбленный в своих лучших чувствах тем, что у миссионера англиканской церкви может быть столь вульгарное заболевание.

Мистер Дрю кивнул, прибавив, что не только были, но и сейчас еще есть, так что он все еще продолжает лечение.

— А чем вы их лечите?— тут же выпалил Мартин.

В ожидании ответа сердце мое остановилось. Этот ответ должен был восстановить или погубить навсегда мою докторскую репутацию. Мартин—это я видел—был твердо уверен в ее гибели. И тогда последовал ответ, благословенный ответ!

— Сулемой,— сказал мистер Дрю.

Мартин сдался, честно признав себя окончательно побежденным, так что я думаю, попроси я у него в эту минуту разрешения выдернуть один зуб, он не отказал бы мне и в этом.

Все белые на Соломоновых островах страдают этой болезнью, и каждый порез и каждая царапина означают образование новых язв. У всех, с кем я встречался, они были, и у девяти из десяти еще не прошли окончательно. Было, впрочем, одно исключение. Один молодой человек, пробывший в общем здесь около пяти месяцев, на десятый день после приезда слег от лихорадки и затем болел лихорадкой так часто, что у него не было ни времени, ни подходящего случая получить язвы.

На «Снарке» язвы были у всех, кроме Чармиан. Благодаря этому самомнение ее было не меньше, чем самомнение Японии или Канзаса. Она считала, что тут все дело в чистоте крови, и по мере того как проходили дни, она все чаще и больше распространялась на тему о чистоте своей крови. Говоря между нами, я приписывал этот «иммунитет» тому простому факту, что она женщина, а потому ей не приходится ранить руки на тяжелой работе, как нам, трудящимся мужчинам, в поте лица своего ведущим «Снарк» вокруг света. Ей я, конечно, не говорил этого. Я не хотел ранить ее душу грубыми фактами.

К тому же я был доктором — пусть хотя бы любителем, — я знал о болезнях больше, чем она, и понимал, что время — мой лучший союзник. К несчастью, я не сумел воспользоваться услугами этого союзника, когда он преподнес мне отличную язвочку на ее щиколотке. Я так поспешно применил антисептическое лечение, что язва зажила раньше, чем Чармиан удостоверилась в ее существовании. И опять я очутился в роли пророка, непризнанного в своем отечестве; даже хуже, меня обвинили в том, что я нарочно вводил ее в заблуждение, пытаясь уверить, будто у нее действительно образовалась язва. Ее чистая кровь негодовала еще пуще прежнего, так что я принужден был уткнуться носом в книги по навигации и молчать. И наконец день настал. Мы как раз плыли вдоль берегов Малаиты.

— Что это у тебя на ноге внизу?

— Ничего, — отвечала она.

— Прекрасно, — сказал я, — но все равно лучше приложи сулему. А недели через две или три, когда ранка заживет и останется только шрам, — он останется у тебя до конца твоих дней, — можешь позабыть о чистоте своей крови и о своих славных предках и тогда расскажешь мне, что ты думаешь об африканской язве.

На этот раз язва была величиною с серебряный доллар и не проходила три недели. Бывали дни, когда Чармиан не могла ходить от боли, и почти каждый день она твердила, что щиколотка — самое болезненное и неприятное место для язвы. Я, в свою очередь, доказывал, что гораздо больнее, когда язва открывается на ступне. Решить наш спор мы предоставили Мартину, а он не согласился ни с той, ни с другой стороной, уверяя, что хуже нет, когда язва у человека на икре.

Но с течением времени и язвы теряют прелесть новизны. В настоящую минуту, когда я пишу это, у меня пять язв на руках и три на голени. У Чармиан две — по обеим сторонам правой ступни. Тэхэи сходит с ума от своих. У Мартина на голени новые раны, затмившие все прежде бывшие. А у Накаты их несколько десятков. Но история «Снарка» ничем не отличается от истории всех судов, заходивших на Соломоновы острова с момента их открытия. Выписываю следующее место из «Указаний по мореплавателям»:

«Команды судов, пробывших более или менее продолжительное время на Соломоновых островах, страдают от злокачественных язв, неизменно образующихся на месте ран и повреждений».

По вопросу о лихорадке «Указания» такие же малоутешительные.

«Новоприбывшие рано или поздно заболевают лихорадкой. Туземцы также подвержены ей. Число смертных случаев среди белых в 1897 году составляло девять на пятьдесят».

Думаю, что некоторые из этих смертей были случайными.

У нас первым слег с лихорадкой Наката. Это случилось в Пендефрине. За ним последовали Вада и Генри. Потом сдала Чармиан. Мне удалось выдержать несколько месяцев, но когда я свалился в свою очередь, через несколько дней слег и Мартин, очевидно, из чувства товарищества. Из нас семерых держался только Тэхэи, но его тоска по родине была хуже всякой лихорадки. Наката, как и всегда, в точности выполнял все предписания, так что к концу третьего припадка научился, пропотев два часа и проглотив от тридцати до сорока гран хинину, через сутки уже вставать на ноги, хотя, конечно, испытывал страшную слабость.

Вада и Генри были трудными пациентами. Вначале Вада страшно перепугался. Он был твердо убежден, что звезда его закатилась и что Соломоновы острова будут его могилой. Он знал, что жизнь здесь ценится дешево. В Пендефрине он видел, как свирепствует дизентерия, и, на свое несчастье, присутствовал на погребении одной из ее жертв; умершего вынесли на железном листе и бросили в яму без гроба и без всяких похоронных церемоний. Здесь у всех была лихорадка, у всех была дизентерия, у всех было все. Смерть была самой обыкновенной вещью. Сегодня жив, завтра умер, и Вада совершенно забыл про сегодняшний день, думая, что уже наступило завтра.

Он не заботился о своих язвах, забывал промывать их сулемой, расчесывал их без удержу и, конечно, разнес заразу по всему телу. Он не выполнял также предписаний по части лихорадки и в результате валялся в припадке по пять дней, когда совершенно достаточно было одного. Здоровенный гигант Генри вел себя так же глупо. Он решительно отказался принимать хинин на том основании, что несколько лет назад, когда у него была лихорадка, доктор давал ему какие-то пилюли, ни цветом, ни величиной не похожие на таблетки хинина, предлагаемые мною. Так они вдвоем с Вадой и мучались.

Но я перехитрил их обоих, вылечив лекарством, для них самым подходящим — внушением. Они верили в свои дурные предчувствия и считали, что скоро умрут. Я заставил их проглотить хорошую порцию хинина и стал мерить их температуру. В первый раз я пользовался термометром, приложенным к моему знаменитому ящичку с медикаментами, и немед-

ленно же убедился, что он никуда не годится, ибо сделан для сбыта, а вовсе не для того, чтобы им пользовались. Но стоило бы мне заикнуться моим пациентам, что термометр испорчен, и в самом скором времени у нас на «Снарке» было бы два трупа. Можете ли вы поверить, температура у них была сорок градусов. Я торжественно поставил им по очереди термометр в рот, выразил на своем лице несомненное удовлетворение и очень весело сообщил, что температура у них — тридцать восемь. Затем я снова напичкал их хинином и предупредил, что если они теперь будут чувствовать себя очень слабыми и совсем больными, то это только от хинина; и оставил их выздоравливать. И они выздоровели, хотя Вада упирался. Ну, скажите, если человек может умереть по недоразумению, то разве уж так безнравственно заставить его жить по недоразумению?

Белая раса все-таки самая живучая. Один из наших двух японцев и оба тайтянина так перепугались, что их нужно было ободрять, утешать, веселить — просто насильно тащить обратно к жизни. Чармиан и Мартин относились к своим болезням спокойно и жизнерадостно, особого значения им не придавали и с прежней ровной уверенностью шли по дороге жизни. Когда Вада и Генри решили, что они скоро умрут, Тэхэи тоже не выдержал и целыми часами молился и плакал. А Мартин чертыхался — и выздоровел. И Чармиан тоже между стонами строила планы о том, что будет делать, когда поправится.

Чармиан выросла вегетарианкой и гигиенисткой. Тетя Нетта, воспитавшая ее, жила в здоровом климате и совершенно не верила в лекарства. Чармиан тоже не верила. Кроме того, она лекарства не воспринимала. Их действие на ее организм бывало хуже, чем сама болезнь. Но все же она выслушивала мои доводы в пользу хинина и согласилась на него как на меньшее зло; благодаря этому приступы были короче, легче и реже. Мы познакомились с одним миссионером, мистером Колфилдом, оба предшественника которого умерли от лихорадки меньше чем в шесть месяцев. И он, так же, как и они, был сторонником гомеопатии, но в первый же приступ лихорадки сделал сильное отклонение в сторону аллопатии и хинина — и выздоровел.

Но бедный Вада! Последней каплей, переполнившей чашу его терпения, было путешествие с нами на Малаиту, остров людоедов — путешествие на маленьком судне, на котором, прямо в каюте, всего полгода назад был убит капитан. *Кай-кай* — значит «есть», и Вада был твердо убежден, что и он пойдет на «*кай-кай*». Мы жили там, вооруженные до зубов, мы

день и ночь были настороже; даже купаясь в устье пресноводной реки, мы ставили на страже наших чернокожих матросов с ружьями в руках. Мы встречали английские военные суда, сжигавшие целые деревни и расстреливавшие туземцев в наказание за убийство белых. Туземцы, за головы которых была назначена награда, искали у нас на судне спасения. Смерть и убийство бродили вокруг нас. Иногда в глухих уголках острова мы получали предостережения от дружелюбно расположенных туземцев о готовящихся на нас нападениях. За нашим судном числился долг Малаите в две белые головы, и их могли потребовать в любую минуту. И в довершение всего мы еще сели на мель, где одной рукой должны были работать, спасая судно, а в другой держали винтовку, не давая приблизиться туземцам, жаждавшим разграбить судно: И в конце концов Вада не выдержал и сбежал со «Снарка» на остров Изабель, сбежал в проливной дождь, между двумя приступами лихорадки, рискуя схватить воспаление легких. Если его там не съедят и если он не умрет от лихорадки или от язв, которые свирепствуют на этом острове, он может надеяться — в случае, если ему очень повезет, конечно, — недель через шесть или восемь перебраться с этого острова на соседний. Он никогда не доверял моим медицинским познаниям, а ведь я в свое время с первой же попытки вполне успешно выдернул ему два зуба.

В течение многих месяцев «Снарк» был плавучей больницей, и я должен сказать, что мы постепенно привыкли к этому. В лагуне Мэриндж, где мы поднимали из воды и чистили корпус «Снарка», случалось иногда, что только один из нас был в состоянии спускаться на воду, да и на берегу все трое белых поселенцев лежали в лихорадке. В настоящую минуту, когда я пишу это, мы путаемся в открытом море, где-то к северо-востоку от острова Изабель, в поисках острова Лорд-Хау, который представляет собой небольшой атолл, а потому и заметить его нельзя, пока не подойдешь к нему вплотную. Хронометр испортился. Солнца все равно не видно, и ночью нельзя наблюдать звезды, потому что уже много-много дней подряд мы не выходим из шквалов и ливней. Кока у нас нет. Нака-та, который взялся быть одновременно и коком и боем, лежит в лихорадке. Мартин только поднялся и слег опять. Чармиан, у которой лихорадка возвращается через правильные промежутки времени, изучает свою записную книжечку, пытаясь вычислить, когда ей ждать следующего приступа. Генри уже поглощает хинин — тоже в ожидании приступа. А так как мои приступы налетают и сваливают меня совершенно внезапно,

то я никак не могу определить заранее, когда свалюсь. По недоразумению мы отдали последний мешок муки одному белому, у которого вышла вся мука. А теперь мы не знаем, когда доберемся до суши. Наши соломоновы язвы более многочисленны и более нестерпимы, чем когда-либо. Сулему случайно забыли на берегу в Пендефрине; перекись водорода подходит к концу; теперь я делаю опыты с борной кислотой, лизолом и антифлогестином. Право же, если мне не удастся стать знаменитым доктором, то, во всяком случае, не от недостатка практики.

1. Р. S. Прошло две недели с тех пор, как были написаны последние строки, и Тэхэи, единственный здоровый среди нас, вот уже десять дней лежит в жесточайшей лихорадке, которая у него приняла особенно тяжелую форму. Температура у него была почти постоянно 41° , а пульс — 115.

2. Р. S. В открытом море, между Тасманией и проливом Маннинга.

У Тэхэи приступы злокачественной лихорадки — самой тяжелой формы малярии, происходящей (по свидетельству моих медицинских книг) от смешанной инфекции. Вытащив его кое-как из очередного приступа, я теперь уже окончательно потерял голову, ибо он просто обезумел. Я еще слишком недавно практикую, чтобы браться за лечение сумасшедших. Это уже второй случай помешательства за наше короткое путешествие.

3. Р. S. Когда-нибудь, может быть, я напишу книгу (для медиков) и назову ее «Вокруг света на госпитальном судне «Снарк». Даже наши звери не избежали общей участи. В лагуне Мэриндж мы приобрели двух — ирландского терьера и белого какаду. Терьер упал в люк и охромел на левую заднюю лапу, потом еще раз повторил тот же маневр и охромел на правую переднюю лапу. В настоящее время у него остались для ходьбы только две лапы. К счастью, они расположены наискось, так что он еще может кое-как ковылять и на двух. Какаду разбился о потолок каюты, и его пришлось убить. Это был первый смертный случай на «Снарке», если не считать гибели кур, из которых вышел бы сейчас отличный бульон для наших больных, — куры все перелетели через борт и утонули. Процвечают одни тараканы. У них не бывает ни болезней, ни несчастных случаев; они прекрасно прибавляют в росте и становятся все кровожаднее; по ночам они грызут наши ногти на руках и ногах.

4. Р. S. У Чармиан новый приступ лихорадки. Мартин с отчаяния лечит свои язвы по-коновальски: поливает их медным

купоросом и честит Соломоновы острова на чем свет стоит. Что касается меня, то в дополнение к занятиям навигацией и медициной и к писанию рассказиков я тщетно жду выздоровления. Из всех больных на судне, если не считать случаев безумия, я в наихудшем положении. С первым встречным пароходом я отправляюсь в Австралию и сразу лягу на операционный стол. Из числа моих болезней (не главных) я должен упомянуть об одной очень таинственной. За последнюю неделю руки у меня распухли, как от водянки. Сжимать их трудно и больно. Тащить канат — совершенная пытка. Ощущение такое, точно они отморожены. Кроме того, кожа сходит с них с угрожающей быстротой, а новая, которая вырастает, — тверда и толста. В моих книгах о такой болезни не упоминается. И никто не знает, что это такое.

5. Р. S. Ну, по крайней мере хронометр-то я вылечил. Проболтавшись в море восемь шквалистых дней, я наконец сумел измерить в полдень высоту мелькнувшего в тучах солнца. Отсюда я вычислил нашу широту, потом нашел по логии широту острова Лорд-Хау, провел прямую линию и стал проверять хронометр по долготе. Оказалось, он убежал примерно на три минуты. Каждая минута соответствует пятнадцати милям, так что суммарную ошибку вычислить нетрудно. Добравшись до Лорд-Хау, я провел несколько наблюдений и обнаружил, что мой хронометр в сутки отстает на одну седьмую секунды. Но дело в том, что ровно год назад, когда мы отплывали с Гавайев, этот же самый хронометр отставал на ту же самую седьмую секунды. Поправка вводилась каждый день, но что же, в таком случае, заставило проклятый хронометр обогнать самого себя на целых три минуты? Разве такое бывает? Часовщики скажут, конечно, что нет. А я вам скажу, что никто из них не чинил и не налаживал часов на Соломоновых островах. Тут все дело в климате — таков мой диагноз. Во всяком случае, я вылечил чертов хронометр, даже если мне и не удалось справиться со случаями помешательства или с язвами Мартина.

6. Р. S. Мартин только что попробовал применить ляпис и честит Соломоновы острова яростнее, чем когда либо.

7. Р. S. Между проливом Маннинга и островами Паулу.

У Генри ревматизм в спине; с моих рук сошло уже десять шкур, а теперь сходит одиннадцатая. Тэхэи совсем потерял рассудок, он денно и нощно молит бога не убивать его. Кроме того, мы с Накатой лежим в лихорадке. И наконец, вчера вечером Наката чуть не умер от отравления мясными консервами, и мы провозились с ним полночи.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Как вы помните, «Снарк» имел сорок три фута по ватерлинии и пятьдесят пять по борту, ширина его была пятнадцать футов, осадка семь футов и восемь дюймов. По типу оснастки он был кечем. У него было два кливера, фока-стаксель, грот и бизань. Он был разделен на четыре отделения переборками, которые должны были быть водонепроницаемыми. Вспомогательный мотор в семьдесят лошадиных сил изредка работал, причем это обходилось в двадцать долларов с мили. Пятисильный мотор приводил в движение насосы — когда не был испорчен, конечно, — и дважды оказался способен доставить нам электрическую энергию для прожектора. Аккумуляторы сработали четыре или пять раз за два года. Считалось, что наша четырнадцатифутовая моторная лодка всегда в нашем распоряжении, но всякий раз, когда я хотел воспользоваться ею, она оказывалась испорченной.

К счастью, у «Снарка» были паруса. И только благодаря этому он двигался. Он шел под парусами целых два года и ни разу не наткнулся на подводные камни, на рифы или мели. В трюме не было балласта, железный киль весил пять тонн, и «Снарк» сидел глубоко в воде, что делало его очень устойчивым. Часто под тропиками шквалы налетали на «Снарк», когда были подняты все паруса, часто его палуба и борта заливались водой, но он все-таки не перевортывался. Он хорошо слушался руля, но так же хорошо шел и без руля — ночью и днем и при всяком ветре. При попутном ветре и когда паруса были правильно поставлены, он — без руля — отклонялся не более как на два румба, а при противном — не более как на три.

«Снарк» был наполовину построен в Сан-Франциско. В то утро, когда его железный киль должен был быть отлит, произошло Великое Землетрясение. Потом были всякие неурядицы, постройка затянулась на шесть месяцев. Я отправился на Гавайские острова на недостроенном судне, мотор его лежал в трюме, а строительные материалы — на палубе. Вздумаю я кончать постройку в Сан-Франциско, я бы по сей день сидел бы там. И так в незаконченном виде «Снарк» обошелся мне в четыре раза дороже, чем должен был стоить в готовом.

«Снарк» родился под несчастной звездой. В Сан-Франциско на него был наложен арест, на Гавайских островах мои чеки были объявлены почему-то подложными, на Соломоно-

вых — нас оштрафовали за нарушение карантина. Газеты, хоть их и убей, не в состоянии были писать о нем правду. Когда я рассчитал неспособного капитана, они рассказывали, что я избил его чуть не до смерти. Когда один юноша возвратился домой, чтобы продолжать занятия в колледже, это объяснили тем, что я настоящий Вульф Ларсен и команда моя разбежалась, так как я всех избиваю до полусмерти. В действительности один-единственный удар на «Снарке» получил кок, но не от меня, а от капитана, попавшего к нам с фальшивыми бумагами и рассчитанного мною на Фиджи. Правда, мы с Чармиан занимались иногда боксом, но при этом ни она ни я серьезных увечий не получили.

Путешествие это мы предприняли, чтобы интересно провести время. Я построил «Снарк» на свои деньги и оплачивал все расходы. Я заключил договор с одним журналом на тридцать пять тысяч слов по той же цене, по которой писал рассказы, сидя дома. Журнал не замедлил объявить, что он послал меня вокруг света за свой счет. Это был известный толстый журнал, а потому все имевшие какие-либо дела со «Снарком» поднимали цены втрое, рассчитывая, что журнал все равно оплатит. Этот миф проник даже на самые дальние острова Полинезии, и мне всюду приходилось платить соответствующие цены. И до сей минуты все еще убеждены, что расходы оплачивал журнал, а я нажил на этом путешествии целое состояние. Где уж тут вдолбить людям в головы, что мы предприняли это путешествие только ради собственного удовольствия!

Я отправился в Австралию, пролежал там пять недель в больнице. После этого я пять месяцев провалялся больной по гостиницам. Таинственная болезнь, изуродовавшая мои руки, оказалась не под силу австралийским знаменитостям. В истории медицины она тоже была неизвестна. Нигде и никогда о ней не упоминалось. С рук она перешла также и на ноги, и временами я был беспомощнее ребенка. Бывали дни, когда руки мои увеличивались вдвое против нормального, и семь слоев омертвевшей кожи сходилю с них одновременно. Иногда ногти на ногах в течение двадцати четырех часов разрастались до такой степени, что толщина их равнялась длине. Спилишь их, а они через двадцать четыре часа становились точно такими же.

Австралийские знаменитости признали, что болезнь не разного происхождения, а потому, вероятно, нервная. Мне от этого было, конечно, не легче, и продолжать путешествие было, очевидно, невозможно. Разве что меня привязали бы к койке, потому что я был до того беспомощен, что не мог

ухватиться ни за какой предмет и совершенно не мог передвигаться на небольшом судне, подверженном постоянной качке. Кроме того, я сказал себе, что судов и путешествий на свете много, а руки у меня одни и пальцы на ногах тоже. И к тому же, рассуждал я, в моем родном климате, в Калифорнии, моя нервная система всегда была в полном порядке. И тогда я направился домой.

По возвращении в Калифорнию я быстро выздоровел. И вскоре узнал, что это такое было. Мне попала в руки книга полковника Чарльза Е. Вудрафа под заглавием «Влияние тропического света на белых людей». Тут я понял все. Впоследствии я познакомился лично с полковником Вудрафом и узнал, что у него самого была такая же болезнь. Он был военным врачом, и, кроме него, семнадцать таких же военных врачей съехались на Филиппины на консилиум, но, так же, как и австралийские специалисты, должны были признать себя бессильными. Очевидно, я был особенно предрасположен к тем разрушениям тканей, которые производит тропический свет. Меня погубили ультрафиолетовые лучи, как рентгеновские лучи погубили многих, экспериментировавших с ними.

Скажу, между прочим, что в числе других болезней, общая сумма которых заставила меня прервать путешествие, была так называемая «ложная проказа», известная еще под названием «европейской проказы» и «библейской проказы». Об этой таинственной болезни известно еще менее, чем о настоящей проказе. Ни один врач не нашел еще способа лечить ее, хотя она нередко проходит сама собой. Она приходит неизвестно откуда. Она протекает неизвестно как. Она проходит неизвестно почему. Я не принимал никаких лекарств, и только благодаря здоровому климату Калифорнии моя серебристая кожа стала опять нормальной. Врачи говорили, что единственное, на что я могу уповать, — это необъяснимое самоизлечение, и болезнь действительно прошла сама собой.

Еще одно слово: какова же окончательная оценка путешествия? Мне, как и всякому другому мужчине, конечно, легко сказать, что оно было интересным. Но у меня есть еще свидетель — женщина, которая проделала с нами это путешествие от начала до конца. Когда в больнице я сказал Чармиан, что должен буду вернуться в Калифорнию, глаза ее наполнились слезами. Два дня она не могла оправиться от огорчения, что такое прекрасное, такое чудесное путешествие пришло к концу.

*Глен-Эллен, Калифорния.
7 апреля 1911 года.*

Рассказы



ДОМ МАЛУИ

Несмотря на свои тяжеловесные очертания, шхуна «Аораи» двигалась при легком ветре послушно и быстро, и капитан подвел ее близко к острову, прежде чем бросить якорь чуть не доходя до того места, где начинался прибой. Атолл Хикуэру, ярдов сто в ширину и окружностью двадцать миль, представлял собой кольцо измельченного кораллового песка, поднимавшееся всего на четыре-пять футов над высшим уровнем прилива. На дне огромной, гладкой, как зеркало, лагуны было много жемчужных раковин, и с палубы шхуны было видно, как за узкой полоской атолла искатели жемчуга бросаются в воду и снова выходят на берег. Но войти в атолл не могла даже торговая шхуна. Небольшим гребным катерам при попутном ветре удавалось пробраться туда по мелкому извилистому проливу, шхуны же останавливались на рейде и высылали к берегу лодки.

С «Аораи» проворно спустили шлюпку, и в нее прыгнули несколько темнокожих матросов, голых, с алыми повязками вокруг бедер. Они взялись за весла, а на корме у руля стал молодой человек в белом костюме, какие носят в тропиках европейцы. Но он не был чистым европейцем: золотистый отлив его светлой кожи и золотые блики в мерцающей голубизне глаз выдавали примесь полинезийской крови. Это был Рауль, Александр Рауль, младший сын Мари Рауль, богатой квартиронки, владелицы шести торговых шхун. Шлюпка одолела водоворот у самого входа в пролив и сквозь кипящую стену прибоя прорвалась на зеркальную гладь лагуны. Рауль выпрыгнул на белый песок и поздоровался за руку с высоким туземцем. У туземца были великолепные плечи и грудь, но обрубок правой руки с торчащей на несколько дюймов, побелевшей от времени костью свидетельствовал о встрече с акулой.

после которой он уже не мог нырять за жемчугом и стал мелким интриганом и прихлебателем.

— Ты слышал, Алек? — были его первые слова. — Мапуи нашел жемчужину. Да какую жемчужину! Такой еще не находили на Хикуэру, и нигде на всех Паумоту¹, и нигде во всем мире. Купи ее, она еще у него. Он дурак и много не запросит. И помни: я тебе первый сказал. Табак есть?

Рауль немедленно зашагал вверх по берегу, к лачуге под высоким пандановым деревом. Он служил у своей матери агентом, и в обязанности его входило объезжать все острова Паумоту и скупать копру, раковины и жемчуг.

Он был новичком в этом деле, плавал агентом всего второй раз и втайне тревожился, что не умеет оценивать жемчуг. Но когда Мапуи показал ему свою жемчужину, он сумел подавить изумленное восклицание и сохранить небрежную деловитость тона. А между тем жемчужина поразила его. Она была величиною с голубиное яйцо, безупречной формы, и белизна ее отражала все краски матовыми огнями. Она была как живая. Рауль никогда не видел ничего подобного ей. Когда Мапуи положил жемчужину ему на ладонь, он удивился ее тяжести. Это подтверждало ценность жемчужины. Он внимательно рассмотрел ее через увеличительное стекло и не нашел ни малейшего порока или изъяна: она была такая чистая, что казалось, вот-вот растворится в воздухе. В тени она мягко светилась переливчатым лунным светом. И так прозрачна была эта белизна, что, бросив жемчужину в стакан с водой, Рауль едва мог различить ее. Так быстро она опустилась на дно, что он сразу оценил ее вес.

— Сколько же ты хочешь за эту жемчужину? — спросил он с ловко разыгранным равнодушием.

— Я хочу... — начал Мапуи, и из-за плеч Мапуи, обрамляя его коричневое лицо, высунулись коричневые лица двух женщин и девочки; они закивали в подтверждение его слов и, еле сдерживая волнение, жадно сверкая глазами, вытянули вперед шеи.

— Мне нужен дом, — продолжал Мапуи. — С крышей из оцинкованного железа и с восьмиугольными часами на стене. Чтобы он был длиной в сорок футов и чтобы вокруг шла ве-

¹ *Острова Паумоту (Туамоту)* — архипелаг в Тихом океане в Полинезии, которая вместе с Микронезией, Меланезией и Новой Зеландией составляет Океанию. В начале XX века, когда Лондон бывал на архипелагах Океании, эти группы островов входили в сферы влияния Великобритании, США, Франции, Нидерландов, Японии, Германии. Некоторые из них принадлежали Чили.

ранда. В середине чтобы была большая комната, и в ней круглый стол, а на стене часы с гирями. И чтобы было четыре спальни, по две с каждой стороны от большой комнаты; и в каждой спальне железная кровать, два стула и умывальник. А за домом кухня—хорошая кухня, с кастрюльками и сковородками и с печкой. И чтобы ты построил мне этот дом на моем острове, на Факарава.

— Это все? — недоверчиво спросил Рауль.

— И чтобы была швейная машина,—заговорила Тэфара, жена Мапуи.

— И обязательно стенные часы с гирями,—добавила Наури, мать Мапуи.

— Да, это все,—сказал Мапуи.

Рауль засмеялся. Он смеялся долго и весело. Но, смеясь, он торопливо решал в уме арифметическую задачу: ему никогда не приходилось строить дом, и представления о постройке домов у него были самые туманные. Не переставая смеяться, он подсчитывал, во что обойдется рейс на Таити за материалами, сами материалы, обратный рейс на Факарава, выгрузка материалов и строительные работы. На все это, круглым счетом, потребуется четыре тысячи французских долларов, иными словами—двадцать тысяч франков. Это немыслимо! Откуда ему знать, сколько стоит такая жемчужина? Двадцать тысяч франков—огромные деньги, да к тому же это деньги его матери.

— Мапуи,—сказал он,—ты дурак. Назначь цену деньгами.

Но Мапуи покачал головой, и три головы позади него тоже закачались.

— Мне нужен дом,—сказал он,—длиной в сорок футов, чтобы вокруг шла веранда...

— Да, да,—перебил его Рауль.—Про дом я все понял, но из этого ничего не выйдет. Я дам тебе тысячу чилийских долларов...

Четыре головы дружно закачались в знак молчаливого отказа.

— И кредит на сто чилийских долларов.

— Мне нужен дом...—начал Мапуи.

— Какая тебе польза от дома?—спросил Рауль.—Первый же ураган снесет его в море. Ты сам это знаешь. Капитан Раффи говорит, что вот и сейчас можно ждать урагана.

— Только не на Факарава,—сказал Мапуи,—там берег много выше. Здесь, может быть, и снесет; на Хикуэру всякий ураган опасен. Мне нужен дом на Факарава: длиною в сорок футов и вокруг веранда...

И Рауль еще раз выслушал весь рассказ о доме. В течение нескольких часов он старался выбить эту навязчивую идею из головы туземца, но жена, и мать Мапуи, и его дочь Нгакура поддерживали его. Слушая в двадцатый раз подробное описание вожделенного дома, Рауль увидел через открытую дверь лачуги, что к берегу подошла вторая шлюпка с «Аораи». Гребцы не выпускали весел из рук, очевидно, спеша отвалить. Помощник капитана шхуны, выскочив на песок, спросил что-то у однорукого туземца и быстро зашагал к Раулю. Внезапно стало темно, — грозовая туча закрыла солнце. Было видно, как за лагуной по морю быстро приближается зловещая линия ветра.

— Капитан Раффи говорит, надо убираться отсюда, — сразу же начал помощник. — Он велел передать, что, если есть жемчуг, все равно надо уходить, авось, успеем собрать его после. Барометр упал до двадцати девяти и семидесяти.

Порыв ветра тряхнул пандановое дерево над головой Рауля и пронесся дальше; несколько спелых кокосовых орехов с глухим стуком упали на землю. Пошел дождь — сначала вдалеке, потом все ближе, надвигаясь вместе с сильным ветром, и вода в лагуне задымилась бороздками. Дробный стук первых капель по листьям заставил Рауля вскочить на ноги.

— Тысячу чилийских долларов наличными, Мапуи, — сказал он, — и кредит на двести.

— Мне нужен дом... — затянул Мапуи.

— Мапуи! — прокричал Рауль сквозь шум ветра. — Ты дурак!

Он выскочил из лачуги и вместе с помощником капитана кое-как добрался до берега, где их ждала шлюпка. Шлюпки не было видно. Тропический ливень окружал их стеной, так что они видели только кусок берега под ногами и злые маленькие волны лагуны, кусавшие песок. Рядом выросла фигура человека. Это был однорукий Хуру-Хуру.

— Получил жемчужину? — прокричал он в ухо Раулю.

— Мапуи дурак! — крикнул тот в ответ, и в следующую минуту их разделили потоки дождя.

Полчаса спустя Хуру-Хуру, стоя на обращенной к морю стороне атолла, увидел, как обе шлюпки подняли на шхуну и «Аораи» повернула прочь от острова. А в том же месте, словно принесенная на крыльях шквала, появилась и стала на якорь другая шхуна, и с нее тоже спустили шлюпку. Он знал эту шхуну. Это была «Орохена», принадлежавшая метису То-рики, торговцу, который сам объезжал острова, скупая жемчуг, и сейчас, разумеется, стоял на корме своей шлюпки. Ху-

ру-Хуру лукаво усмехнулся. Он знал, что Мапуи задолжал Торики за товары, купленные в кредит еще в прошлом году.

Гроза пронеслась. Солнце палило, и лагуна опять стала гладкой, как зеркало. Но воздух был липкий, словно клей, и тяжесть его давила на легкие и затрудняла дыхание.

— Ты слышал новость, Торики? — спросил Хуру-Хуру. — Мапуи нашел жемчужину. Такой никогда не находили на Хикуэру, и нигде на всех Паумоту, и нигде во всем мире. Мапуи дурак. К тому же он у тебя в долгу. Помни: я тебе первый сказал. Табак есть?

И вот к соломенной лачуге Мапуи зашагал Торики. Это был властный человек, но не очень умный. Он небрежно взглянул на чудесную жемчужину — взглянул только мельком — и преспокойно опустил ее себе в карман.

— Тебе повезло, — сказал он. — Жемчужина красивая. Я открою тебе кредит на товары.

— Мне нужен дом... — в ужасе залепетал Мапуи. — Чтобы длиной был сорок футов...

— А, поди ты со своим домом! — оборвал его торговец. — Тебе нужно расплатиться с долгами, вот что тебе нужно. Ты был мне должен тысячу двести чилийских долларов. Прекрасно! Теперь ты мне ничего не должен. Мы в расчете. А кроме того, я открою тебе кредит на двести чилийских долларов. Если я удачно продам эту жемчужину на Таити, увеличу тебе кредит еще на сотню — всего, значит, будет триста. Но помни, — только если я удачно продам ее. Я могу еще потерпеть на ней убыток.

Мапуи скорбно скрестил руки и понурил голову. У него украли его сокровище. Нового дома не будет, — он попросту отдал долг. Он ничего не получит за жемчужину.

— Ты дурак, — сказала Тэфара.

— Ты дурак, — сказала старая Наури. — Зачем ты отдал ему жемчужину?

— Что мне было делать? — оправдывался Мапуи. — Я был ему должен. Он знал, что я нашел жемчужину. Ты сама слышала, как он просил показать ее. Я ему ничего не говорил, он сам знал. Это кто-то другой сказал ему. А я был ему должен.

— Мапуи дурак, — подхватила и Нгакура.

Ей было двенадцать лет, она еще не набралась ума-разума. Чтобы облегчить душу, Мапуи дал ей такого тумака, что она свалилась наземь, а Тэфара и Наури залились слезами, не переставая корить его, как это свойственно женщинам.

Хуру-Хуру, стоя на берегу, увидел, как третья знакомая ему шхуна бросила якорь у входа в атолл и спустила шлюпку. На-

зывалась она «Хира» — и не даром: хозяином ее был Леви, немецкий еврей, самый крупный скупщик жемчуга, а Хира, как известно, — таитянский бог, покровитель воров и рыбаков.

— Ты слышал новость? — спросил Хуру-Хуру, как только Леви, толстяк с крупной головой и неправильными чертами лица, ступил на берег. — Мапуи нашел жемчужину. Такой жемчужины не бывало еще на Хикуэру, и на всех Паумоту, и во всем мире. Мапуи дурак: он продал ее Торики за тысячу четыреста чилийских долларов, — я подслушал их разговор. И Торики тоже дурак. Ты можешь купить у него жемчужину и дешево. Помни: я первый тебе сказала. Табак есть?

— Где Торики?

— У капитана Линча, пьет абсент. Он уже час как сидит там.

И пока Леви и Торики пили абсент и торговались из-за жемчужины, Хуру-Хуру подслушивал — и услышал, как они сошлись на невероятной цене: двадцать пять тысяч франков!

Вот в это-то время «Орохена» и «Хира» подошли совсем близко к острову и стали стрелять из орудий и отчаянно сигнализировать. Капитан Линч и его гости, выйдя из дому, еще успели увидеть, как обе шхуны поспешно повернули и стали уходить от берега, на ходу убирая гроты и кливера и под напором шквала низко кренясь над побелевшей водой. Потом они скрылись за стеною дождя.

— Они вернутся, когда утихнет, — сказал Торики. — Надо нам выбираться отсюда.

— Барометр, верно, еще упал, — сказал капитан Линч.

Это был седой бородатый старик, который уже не ходил в море и давно понял, что может жить в ладу со своей астмой только на Хикуэру. Он вошел в дом и взглянул на барометр.

— Боже ты мой! — услышали они и бросились за ним следом: он стоял, с ужасом глядя на стрелку, которая показывала двадцать девять и двадцать.

Снова выйдя на берег, они в тревоге оглядели море и небо. Шквал прошел, но небо не прояснилось. Обе шхуны, а с ними и еще одна, под всеми парусами шли к острову. Но вот ветер переменился, и они поубавили парусов. А через пять минут шквал налетел на них с противоположной стороны, прямо в лоб, — и с берега было видно, как там поспешно ослабили, а потом и совсем убрали передние паруса. Прибой звучал глухо и грозно, началось сильное волнение. Потрясающей силы молния разрезала потемневшее небо, и оглушительными раскатами загремел гром.

Торики и Леви бегом пустились к шлюпкам. Леви бежал вперевалку, словно насмерть перепуганный бегемот. При выходе из атолла навстречу их лодкам неслась шлюпка с «Аораи». На корме, подгоняя гребцов, стоял Рауль. Мысль о жемчужине не давала ему покоя, и он решил вернуться, чтобы принять условия Мапуи. Он выскочил на песок в таком вихре дождя и ветра, что столкнулся с Хуру-Хуру, прежде чем увидел его.

— Опоздал! — крикнул Хуру-Хуру. — Мапуи продал ее Торики за тысячу четыреста чилийских долларов, а Торики продал ее Леви за двадцать пять тысяч франков. А Леви продаст ее во Франции за сто тысяч. Табак есть?

Рауль облегченно вздохнул. Все его терзания кончились. Можно больше не думать о жемчужине, хоть она и не досталась ему. Но он не поверил Хуру-Хуру: вполне возможно, что Мапуи продал жемчужину за тысячу четыреста чилийских долларов, но чтобы Леви, опытный торговец, заплатил за нее двадцать пять тысяч франков — это едва ли. Рауль решил переспросить капитана Линча, но, добравшись до жилища старого моряка, он застал его перед барометром в полном недоумении.

— Сколько, по-твоему, показывает? — тревожно спросил капитан, протер очки и снова посмотрел на барометр.

— Двадцать девять и десять, — сказал Рауль. — Я никогда не видел, чтобы он стоял так низко.

— Неудивительно, — проворчал капитан. — Я пятьдесят лет ходил по морям и то не видел ничего подобного. Слышишь?

Они прислушались к реву прибоя, сотрясавшего дом, потом вышли. Шквал утих. За милю от берега «Аораи», попавшую в штиль, кренило и швыряло на высоких волнах, которые величественно, одна за другой, катились с северо-востока и с яростью кидались на коралловый берег. Один из гребцов Рауля указал на вход в пролив и покачал головой. Посмотрев в ту сторону, Рауль увидел белое месиво клубящейся пены.

— Я, пожалуй, переночую у вас, капитан, — сказал он и велел матросу вытащить шлюпку на берег и найти пристанище для себя и для остальных гребцов.

— Ровно двадцать девять, — сообщил капитан Линч, уходивший в дом, чтобы еще раз взглянуть на барометр.

Он вынес из дома стул, сел и уставился на море. Солнце вышло из-за облаков, стало душно, по-прежнему не было ни ветерка. Волнение на море усиливалось.

— И откуда такие волны, не могу понять, — нервничал

Рауль.— Ветра нет... А вы посмотрите... нет, вы только посмотрите вон на ту!

Волна, протянувшаяся на несколько миль, обрушила десятки тысяч тонн воды на хрупкий атолл, и он задрожал, как от землетрясения. Капитан Линч был ошеломлен.

— О, господи!— воскликнул он, привстав со стула, и снова сел.

— А ветра нет,— твердил Рауль.— Был бы ветер, я бы еще мог это понять.

— Можешь не беспокоиться, будет и ветер,— мрачно ответил капитан.

Они замолчали. Пот выступил у них на теле миллионами мельчайших росинок, которые сливались в капли и ручейками стекали на землю. Не хватало воздуха, старик мучительно задыхался. Большая волна взбежала на берег, облизала стволы кокосовых пальм и спала почти у самых ног капитана Линча.

— Намного выше последней отметки,— сказал он.— А я живу здесь одиннадцать лет.— Он посмотрел на часы.— Ровно три.

На берегу появились мужчина и женщина в сопровождении стайки детей и собак. Пройдя дом, они остановились в нерешительности и после долгих колебаний сели на песок. Несколько минут спустя с противоположной стороны приплелось другое семейство, нагруженное всяким домашним скарбом. И вскоре вокруг дома капитана Линча собралось несколько сот человек — мужчин и женщин, стариков, детей. Капитан окликнул одну из женщин, с грудным младенцем на руках, и узнал, что ее дом только что смыло волной.

Дом капитана стоял на самом высоком месте острова, справа и слева от него огромные волны уже перехлестывали через узкое кольцо атолла в лагуну. Двадцать миль в окружности имело это кольцо, и лишь кое-где оно достигало трехсот футов в ширину. Сезон ловли жемчуга был в разгаре, и туземцы съехались сюда со всех окрестных островов и даже с Таити.

— Здесь сейчас тысяча двести человек,— сказал капитан Линч.— Трудно сказать, сколько из них уцелеет к завтрашнему утру.

— Непонятно, почему нет ветра?— спросил Рауль.

— Не беспокойся, мой милый, не беспокойся, неприятности начнутся очень скоро.

Не успел капитан Линч договорить, как огромная волна низринулась на атолл. Морская вода, покрыв песок трехдюймовым слоем, закипела вокруг их стульев. Раздался протяж-

ный стон испуганных женщин. Дети, стиснув руки, смотрели на гигантские валы и жалобно плакали. Куры и кошки заматались в воде, а потом дружно, как сговорившись, устремились на крышу дома. Один туземец, взяв корзину с новорожденными щенятами, залез на кокосовую пальму и привязал корзину на высоте двадцати футов над землей. Собака-мать, повизгивая и таякая, скакала в воде вокруг дерева.

А солнце светило по-прежнему ярко, и все еще не было ни ветерка. Они сидели, глядя на волны, кидавшие «Аораи» из стороны в сторону. Капитан Линч, не в силах больше смотреть на вздымающиеся водяные горы, закрыл лицо руками, потом ушел в дом.

— Двадцать восемь и шестьдесят,— негромко сказал он, возвращаясь.

В руке у него был моток толстой веревки. Он нарезал из нее концы по десять футов длиной, один дал Раулю, один оставил себе, а остальные роздал женщинам, посоветовав им лезть на деревья.

С северо-востока потянул легкий ветерок, и, почувствовав на лице его дуновение, Рауль оживился. Он увидел, как «Аораи», выбрав шкоты, двинулась прочь от берега, и пожалел, что остался здесь. Шхуна-то уйдет от беды, а вот остров... Волна перехлестнула через атолл, чуть не сбив его с ног, и он присмотрел себе дерево, потом, вспомнив про барометр, побежал в дом и в дверях столкнулся с капитаном Линчем.

— Двадцать восемь и двадцать,— сказал старик.— Ох, и заварится тут чертова каша!.. Это что такое?

Воздух наполнился стремительным движением. Дом дрогнул и закачался, и они услышали мощный гул. В окнах задрезжали стекла. Одно окно разбилось; в комнату ворвался порыв ветра такой силы, что они едва устояли на ногах. Дверь с треском захлопнулась, расщепив щеколду. Осколки белой дверной ручки посыпались на пол. Стены комнаты вздулись, как воздушный шар, в который слишком быстро накачали газ. Потом послышался новый шум, похожий на ружейную стрельбу,— это гребень волны разбился о стену дома. Капитан Линч посмотрел на часы. Было четыре пополудни. Он надел синюю суконную куртку, снял со стены барометр и засунул его в глубокий карман. Новая волна с глухим стуком ударилась в дом, и легкая постройка повернулась на фундаменте и осела, накренившись под углом в десять градусов.

Рауль первый выбрался наружу. Ветер подхватил его и погнал по берегу. Он заметил, что теперь дует с востока. Ему стоило огромного труда лечь и прикинуть к песку. Капитан

Линч, которого ветер нес, как соломинку, упал прямо на него. Два матроса с «Аораи» прыгнули с кокосовой пальмы и бросились им на помощь, уклоняясь от ветра под самыми невероятными углами, на каждом шагу хватаясь за землю.

Капитан Линч был уже слишком стар, чтобы лазить по деревьям, поэтому матросы, связав несколько коротких веревок, стали постепенно поднимать его по стволу и наконец привязали к верхушке в пятидесяти футах от земли. Рауль закинул свою веревку за ствол другой пальмы и огляделся. Ветер был ужасающий. Ему и не снилось, что такой бывает. Волна, перекатившись через атолл, промочила его до колен и хлынула в лагуну. Солнце исчезло, наступили свинцовые сумерки. Несколько капель дождя ударили его сбоку, словно дробины, лицо окатило соленой пеной, словно ему дали оплеуху; щеки жгло от боли, на глазах выступили слезы. Несколько сот туземцев забрались на деревья, и в другое время Рауль посмеялся бы, глядя на эти гроздя людей. Но он родился на Таити и знал, что делать: он согнулся, обхватил руками дерево и, крепко ступая, пошел по стволу вверх. На верхушке пальмы он обнаружил двух женщин, двух девочек и мужчину; одна из девочек крепко прижимала к груди кошку.

Со своей вышки он помахал рукой старику капитану, и тот бодро помахал ему в ответ. Рауль был потрясен видом неба: оно словно нависло совсем низко над головой и из свинцового стало черным. Много народу еще сидело кучками на земле под деревьями, держась за стволы. Кое-где молились, перед одной из кучек проповедовал миссионер-мормон. Станный звук долетел до слуха Рауля — ритмичный, слабый, как стрекот далекого сверчка: он длился всего минуту, но за эту минуту успел смутно пробудить в нем мысль о рае и небесной музыке. Оглянувшись, он увидел под другим деревом большую группу людей, державшихся за веревки и друг за друга. По их лицам и по одинаковым у всех движениям губ он понял, что они поют псалом.

А ветер все крепчал. Никакой меркой Рауль не мог его измерить, — этот вихрь оставил далеко позади все его прежние представления о ветре, — но почему-то он все-таки знал, что ветер усилился. Невдалеке от него вырвало с корнем дерево, висевших на нем людей швырнуло на землю. Волна окатила узкую полосу песка — и люди исчезли. Все совершалось быстро. Рауль увидел на фоне белой вспененной воды лагуны черную голову, коричневое плечо. В следующее мгновение они скрылись из глаз. Деревья гнулись, падали и скрещивались, как спички. Рауль не уставал поражаться силе ветра;

пальма, на которой он спасался, тоже угрожающе раскачивалась. Одна из женщин причитала, крепко прижав к себе девочку, а та все не выпускала из рук кошку.

Мужчина, державший второго ребенка, тронул Рауля за плечо и указал вниз. Рауль увидел, что в ста шагах от его дерева мормонская часовня, как пьяная, шатается на ходу: ее сорвало с фундамента, и теперь волны и ветер подгоняли ее к лагуне. Ужасающей силы вал подхватил ее, повернул и бросил на кучу кокосовых пальм. Люди посыпались с них, как спелые орехи. Волна схлынула, а они остались лежать на земле: одни неподвижно, другие — извиваясь и корчась. Они чем-то напомнили Раулю муравьев. Он не ужаснулся, — теперь его уже ничто не могло ужаснуть. Спокойно и деловито он наблюдал, как следующей волной эти человеческие обломки смыло в воду. Третья волна, самая огромная из всех, швырнула часовню в лагуну, и она поплыла во мрак, наполовину затонув, — ни дать ни взять Ноев ковчег.

Рауль поискал глазами дом капитана Линча и с удивлением убедился, что дома больше нет. Да, все совершалось очень быстро. Он заметил, что с уцелевших деревьев многие спустились на землю. Ветер тем временем еще усилился, Рауль видел это по своей пальме: она уже не раскачивалась взад и вперед, — теперь она оставалась почти неподвижной, низко согнувшись под напором ветра, и только дрожала. Но от этой дрожи тошнота подступала к горлу. Это напоминало вибрацию камертона или струн гавайской гитары. Хуже всего было то, что пальма вибрировала необычайно быстро. Даже если ее не вырвет с корнями, она долго не выдержит такого напряжения и переломится.

Ага! Одно дерево уже не выдержало! Он не заметил, когда оно сломалось, но вот стоит обломок — половина ствола. Пока не увидишь, так и не будешь знать, что творится. Треск деревьев и горестные вопли людей тонули в мощном реве и грохоте... Когда это случилось, Рауль как раз смотрел туда, где был капитан Линч. Он увидел, как пальма бесшумно треснула посередине и верхушка ее, с тремя матросами и старым капитаном, понеслась к лагуне. Она не упала, а поплыла по воздуху, как соломинка. Он следил за ее полетом: она ударилась о воду шагах в ста от берега. Он напряг зрение и увидел — он мог бы в том поклясться, — что капитан Линч помахал ему на прощание рукой.

Рауль не стал больше ждать, он тронул туземца за плечо и знаками показал ему, что нужно спускаться. Туземец согласился было, но женщины словно окаменели от страха, и он

остался с ними. Рауль захлестнул веревку вокруг дерева и сполз по стволу на землю. Его окатило соленой водой. Он задержал дыхание, судорожно вцепившись в веревку. Волна спала, и, прижавшись к стволу, он перевел дух, потом завязал веревку покрепче. И тут его окатила новая волна. Одна из женщин соскользнула с дерева, но мужчина остался со второй женщиной, обоими детьми и кошкой. Рауль еще сверху видел, что кучки людей, жавшихся к подножиям других деревьев, постепенно таяли. Теперь это происходило справа и слева от него, со всех сторон. Сам он напрягал все силы, чтобы удержаться, женщина рядом с ним заметно слабела. После каждой волны он дивился сначала тому, что его еще не смыло, а потом — что не смыло женщину. Наконец, когда схлынула еще одна волна, он остался один. Он поднял голову: верхушка дерева тоже исчезла. Укоротившийся наполовину, дрожал расщепленный ствол. Рауль был спасен: корнями пальма держалась, и теперь ветер был ей не страшен. Он полез вверх по стволу. Он так ослабел, что двигался медленно, и еще несколько волн догнали его, прежде чем ему удалось от них уйти. Тут он привязал себя к стволу и приготовился мужественно встретить ночь и то неизвестное, что еще ожидало его.

Ему было очень тоскливо одному в темноте. Временами казалось, что наступил конец света и только он один еще остался в живых. А ветер все усиливался, усиливался с каждым часом. К одиннадцати часам, по расчетам Рауля, он достиг совсем уже невероятной силы. Это было что-то чудовищное, дикое — визжащий зверь, стена, которая крушила все перед собой и проносилась мимо, но тут же налетала снова, — и так без конца. Ему казалось, что он стал легким, невесомым, что он сам движется куда-то, что его с неимоверной быстротой несет сквозь бесконечную плотную массу. Ветер уже не был движущимся воздухом — он стал осязаемым, как вода или ртуть. Раулю чудилось, что в этот ветер можно запустить руку и отрывать его кусками, как мясо от туши быка, что в него можно вцепиться и прикинуться к нему, как к скале.

Ветер душил его. Он врывался с дыханием через рот и ноздри, раздувая легкие, как пузыри. В такие минуты Раулю казалось, что все тело у него набито землей. Чтобы дышать, он прижимался губами к стволу пальмы. Этот непрекращающийся вихрь лишал его последних сил, он изматывал и тело и рассудок. Рауль уже не мог ни наблюдать, ни думать, он был в полусознании. Четкой оставалась одна мысль: «Значит, это ураган». Мысль эта упорно мерцала в мозгу, точно слабый огонек, временами дававший всплшки. Очнувшись от забытья, он

вспоминал: «Значит, это ураган», — потом снова погружался в забытие.

Яростнее всего ураган бушевал от одиннадцати до трех часов ночи, — и как раз в одиннадцать сломалось то дерево, на котором спасался Мапуи и его семья. Мапуи всплыл на поверхность лагуны, все еще не выпуская из рук свою дочь Нгакуру. Только местный житель мог уцелеть в такой переделке. Верхушка дерева, к которой Мапуи был привязан, бешено крутилась среди пены и волн. То цепляясь за нее, то быстро перехватывая по стволу руками, чтобы высунуть из воды свою голову и голову дочери, он ухитрился не захлебнуться, но вместе с воздухом в легкие проникала вода — летящие брызги и дождь, ливший почти горизонтально.

До противоположного берега лагуны было десять миль. Здесь о бешено крутящиеся завалы из стволов, досок, обломков домов и лодок разбивалось девять из каждых десяти несчастных, не погибших в водах лагуны. Захлебнувшись, полуживых, их швыряло в эту дьявольскую мельницу и размалывало в кашу. Но Мапуи повезло, волею судьбы он оказался в числе уцелевших: его выкинуло на песок. Он истекал кровью, у Нгакуры левая рука была сломана, пальцы правой расплющило, щека и лоб были рассечены до кости. Мапуи обхватил рукою дерево и, держа дочь другой рукой, со стонами переводил дух, а набегавшие из лагуны волны доставали ему до колен, а то и до пояса.

В три часа утра сила урагана пошла на убыль. В пять часов было очень ветрено, но не более того, а к шести стало совсем тихо и показалось солнце. Море начало успокаиваться. На берегу еще покрытой волнами лагуны Мапуи увидел искалеченные тела тех, кому не удалось живыми добраться до суши. Наверное, среди них и его жена и мать. Он побрел по песку, осматривая трупы, и увидел свою жену Тэфару, лежавшую наполовину в воде. Он сел на землю и заплакал, подвывая по-звериному, — ибо так свойственно дикарю выражать свое горе. И вдруг женщина пошевелилась и застонала. Мапуи вгляделся в нее: она была не только жива, но и не ранена. Она просто спала! Тэфара тоже оказалась в числе немногих счастливых.

Из тысячи двухсот человек, населявших остров накануне, уцелело всего триста. Миссионер-мормон и жандарм переписали их. Лагуна была забита трупами. На всем острове не осталось ни одного дома, ни одной хижины — не осталось камня на камне. Почти все кокосовые пальмы вырвало с корнем, а те, что еще стояли, были сломаны, и орехи с них сбиты все

до одного. Не было пресной воды. В неглубоких колодцах, куда стекали струи дождя, скопилась соль. Из лагуны выловили несколько промокших мешков с мукой. Спасшиеся вырезали и ели сердцевину упавших кокосовых орехов. Они вырыли ямы в песке, прикрыли их остатками железных крыш и заползли в эти норы. Миссионер соорудил примитивный перегонный куб, но не успевал опреснять воду на триста человек. К концу второго дня Рауль, купаясь в лагуне, почувствовал, что жажда мучит его не так сильно. Он оповестил всех о своем открытии, и скоро триста мужчин, женщин и детей стояли по шею в воде, стараясь хотя бы так утолить жажду. Трупы плавали вокруг них, попадались им под ноги. На третий день они похоронили мертвых и стали ждать спасательных судов.

А между тем Наури, разлученная со своей семьей, одна переживала все ужасы урагана. Вместе с доской, за которую она упорно цеплялась, не обращая внимания на бесчисленные занозы и ушибы, ее перекинуло через атолл и унесло в море. Здесь, среди сокрушительных толчков огромных, как горы, волн, она потеряла свою доску. Наури было без малого шестьдесят лет, но она родилась на этих островах и всю жизнь прожила у моря. Плывая в темноте, задыхаясь, захлебываясь, ловя ртом воздух, она почувствовала, как ее с силой ударил в плечо кокосовый орех. Мгновенно составив план действий, она схватила этот орех. В течение часа ей удалось поймать еще семь. Она связала их. И получился спасательный пояс, который и удержал ее на воде, хотя ей все время грозила опасность насмерть расшибиться о него. Наури была толстая и скоро вся покрылась синяками, но ураганы были ей не внове, и, прося у своего акульского бога защиты от акул, она ждала, чтобы ветер начал стихать. Но к трем часам ее так укачало, что она пропустила этот момент. И о том, что к шести часам ветер совсем стих, она тоже не знала. Она очнулась, только когда ее выкинуло на песок, и, хватаясь за него израненными, окровавленными руками, поползла вверх по берегу, чтобы волны не смыли ее обратно в море.

Она знала, где находится: ее выбросило на крошечный островок Такокота. Здесь не было лагуны, здесь никто не жил. Островок отстоял от Хикуэру на пятнадцать миль. Хикуэру не было видно, но Наури знала, что он лежит к югу от нее. Десять дней она жила, питаясь кокосовыми орехами, которые не дали ей утонуть: она пила их сок и ела сердцевину, но понемножку, чтобы хватило надолго. В спасении она не была уве-

рена. На горизонте виднелись дымки спасательных пароходов, но какой пароход догадается заглянуть на маленький необитаемый остров Такокота?

С самого начала ей не давали покоя трупы. Море упорно выбрасывало их на песок, и она, пока хватало сил, так же упорно сталкивала их обратно в море, где их пожирали акулы. Когда силы у нее иссякли, трупы опоясали остров страшной гирляндой, и она ушла от них как можно дальше, хотя далеко уйти было некуда.

На десятый день последний орех был съеден, и Наури вся высохла от жажды. Она ползала по песку в поисках орехов. «Странно,— думала она,— почему всплывает столько трупов, а орехов нет? Орехов должно бы плавать больше, чем мертвых тел!» Наконец она отчаялась и в изнеможении вытянулась на песке. Больше надеяться было не на что, оставалось только ждать смерти.

Придя в себя, Наури медленно осознала, что перед глазами у нее голова утопленника с прядью светло-рыжих волос. Волна подбросила труп поближе к ней, потом унесла назад и, наконец, перевернула навзничь. Наури увидела, что у него нет лица, но в пряди светло-рыжих волос было что-то знакомое. Прошел час. Она не старалась опознать мертвеца,— она ждала смерти и ее не интересовало, кем было раньше это страшное лицо.

Но через час она с усилием приподнялась и вгляделась в труп. Сильная волна подхватила его и оставила там, куда не доставали волны поменьше. Да, она не ошиблась: эта прядь рыжих волос могла принадлежать только одному человеку на островах Паумоту: это был Леви, немецкий еврей,— тот, что купил жемчужину Мапуи и увез ее на шхуне «Хира». Что ж, ясно одно: «Хира» погибла. Бог рыболовов и воров отвернулся от скупщика жемчуга.

Она подползла к мертвецу. Рубашку с него сорвало, широкий кожаный пояс был на виду. Затаив дыхание, Наури попробовала расстегнуть пряжку. Это оказалось совсем не трудно, и она поспешила отползти прочь, волоча пояс за собой по песку. Она расстегнула один кармашек, другой, третий — пусто. Куда же он ее дел? В последнем кармашке она нашла ее — первую и единственную жемчужину, купленную им за эту поездку. Наури отползла еще на несколько шагов, подальше от вонючего пояса, и рассмотрела жемчужину. Это была та самая, которую Мапуи нашел, а Торики отнял у него. Она взвесила ее на руке, любовно покатала по ладони, но не красота жемчужины занимала Наури: она видела в ней дом, который они с Мапуи и Тэфарой так старательно построили в сво-

их мечтах. Глядя на жемчужину, она видела этот дом во всех подробностях, включая восьмиугольные часы на стене. Ради этого стоило жить.

Она оторвала полосу от своей аху и, крепко завязав в нее жемчужину, повесила на шею, потом двинулась по берегу, кряхтя и задыхаясь, но зорко высматривая кокосовые орехи. Очень скоро она нашла один, а за ним и второй. Разбив орех, она выпила сок, отдававший плесенью, и съела дочиста всю сердцевину. Немного позже она набрела на разбитый челнок. Уключин на нем не было, но она не теряла надежды и к вечеру разыскала и уключину. Каждая находка была добрым предзнаменованием. Жемчужина принесла ей счастье. Перед закатом Наури увидела деревянный ящик, качавшийся на воде. Когда она тащила его на берег, в нем что-то громыhalo. В ящике оказалось десять банок рыбных консервов. Одну из них она открыла, поколотив ее о борт челнока. Соус она выпила через пробитое отверстие, а потом несколько часов по маленьким кусочкам извлекала из жестянки лососину.

Еще восемь дней Наури ждала помощи. За это время она пристроила к челноку найденную уключину, использовав все волокна кокосовых орехов, какие ей удалось собрать, и остатки своей аху. Челнок сильно растрескался, проконопатить его было нечем, но Наури припасла скорлупу от кокосового ореха, чтобы вычерпывать воду. Она долго думала, как сделать весло; потом куском жести отрезала свои волосы, сплела из них шнурок и этим шнурком привязала трехфутовую палку к доске от ящика с консервами, закрепив ее маленькими клиньями, которые выгрызла зубами.

На восемнадцатые сутки, в полночь, Наури спустила челнок на воду и, миновав полосу прибоя, пустилась в путь домой, на Хикуэру. Наури была старуха. От пережитых лишений весь жир у нее сошел, остались одна кожа да чуть прикрытые дряблыми мышцами кости. Челнок был большой, рассчитанный на трех сильных гребцов, но она справлялась с ним одна, работая самодельным веслом; протекал он так сильно, что треть времени уходила на вычерпывание. Уже совсем рассвело, а Хикуэру еще не было видно. Такокота исчез позади, за линией горизонта. Солнце палило, и обильный пот проступил на обнаженном теле Наури. У нее остались две банки лососины, и в течение дня она пробила в них дырки и выпила соус,— доставать рыбу было некогда. Челнок относилось к западу, но подвигался ли он на юг, она не знала.

Вскоре после полудня, встав во весь рост на дне челнока, она увидела Хикуэру. Пышные купы кокосовых пальм исчез-

ли. Там и сям торчали редкие обломанные стволы. Вид острова придал ей бодрости. Она не думала, что он уже так близко. Течение относило ее к западу. Она продолжала грести, стараясь направлять челнок к югу. Клиньишки, державшие шнурок на весле, стали выскакивать, и Наури тратила много времени каждый раз, когда приходилось загонять их на место. И на дне все время набиралась вода: через каждые два часа Наури бросала весло и час работала черпаком. И все время ее относило на запад.

К закату Хикуэру был в трех милях от нее, на юго-востоке. Взошла полная луна, и в восемь часов остров лежал прямо на восток, до него оставалось две мили. Наури промучилась еще час, но земля не приближалась: течение крепко держало ее, челнок был велик, никуда не годилось весло и слишком много времени и сил уходило на вычерпывание. К тому же она очень устала и слабела все больше и больше. Несмотря на все ее усилия, челнок дрейфовал на запад.

Она помолилась акульему богу, выпрыгнула из челнока и поплыла. Вода освежила ее, челнок скоро остался позади. Через час земля заметно приблизилась. И тут случилось самое страшное. Прямо впереди нее, не дальше чем в двадцати футах, воду разрезал огромный плавник. Наури упорно плыла на него, а он медленно удалялся, потом свернул вправо и описал вокруг нее дугу. Не теряя плавника из вида, она плыла дальше. Когда он исчезал, она ложилась ничком на воду и выжидала. Когда он вновь появлялся, она плыла вперед. Акула не торопилась — это было ясно: со времени урагана у нее не было недостатка в пище. Наури знала, что, будь акула очень голодна, она сразу бросилась бы на добычу. В ней было пятнадцать футов в длину, и одним движением челюстей она могла перекусить человека пополам.

Но Наури было некогда заниматься акулой, — течение упорно тянуло ее прочь от земли. Прошло полчаса, и акула обнаглела. Видя, что ей ничего не грозит, она стала сужать круги и, проплывая мимо Наури, жадно скашивала на нее глаза. Женщина не сомневалась, что рано или поздно акула осмелеет и бросится на нее. Она решила действовать, не дожидаясь этого, и пошла на отчаянный риск. Старуха, ослабевшая от голода и лишений, встретившись с этим тигром морей, задумала предвосхитить его бросок и броситься на него первой. Она плыла, выжидая удобную минуту. И вот акула лениво проплывала мимо нее всего в каких-нибудь восьми футах. Наури кинулась вперед, словно нападавая. Яростно ударив хвостом, аку-

ла пустилась наутек и, задев женщину своим шершавым боком, содрала ей кожу от локтя до плеча. Она уплывала быстро, по кругу и наконец исчезла.

В яме, вырытой в песке и прикрытой кусками искореженно-го железа, лежали Мапуи и Тэфара; они ссорились.

— Послушался бы ты моего совета, — в тысячный раз корила его Тэфара, — припрятал жемчужину и никому бы не говорил, она и сейчас была бы у тебя.

— Но Хуру-Хуру стоял около меня, когда я открывал раковину, я тебе уже говорил это много-много раз.

— А теперь у нас не будет дома. Рауль мне сегодня сказал, что если б ты не продал жемчужину Торики...

— Я не продавал ее. Торики меня ограбил.

— ...если бы ты ее не продал, он дал бы тебе пять тысяч французских долларов, а это все равно что десять тысяч чилийских.

— Он посоветовался с матерью, — пояснил Мапуи. — Она-то знает толк в жемчуге.

— А теперь у нас нет жемчужины, — простонала Тэфара.

— Зато я заплатил долг Торики. Значит, тысячу двести я все-таки заработал.

— Торики умер! — крикнула она. — О его шхуне нет никаких известий. Она погибла вместе с «Аораи» и «Хира». Даст тебе Торики на триста долларов кредита, как обещал? Нет, потому что Торики умер, а не найди ты эту жемчужину, был бы ты ему сейчас должен тысячу двести? Нет! Потому что Торики умер, а мертвым долгов не платят.

— А Леви не заплатил Торики, — сказал Мапуи. — Он дал ему бумагу, чтобы по ней получить деньги в Папее; а теперь Леви мертвый и не может заплатить; и Торики мертвый, и бумага погибла вместе с ним, а жемчужина погибла вместе с Леви. Ты права, Тэфара. Жемчужину я упустил и не получил за нее ничего. А теперь давай спать.

Вдруг он поднял руку и прислушался. Снаружи слышались какие-то странные звуки, словно кто-то дышал тяжело и надсадно. Чья-то рука шарила по циновке, закрывавшей вход.

— Кто здесь? — крикнул Мапуи.

— Наури, — раздалось в ответ. — Скажите мне, где Мапуи, мой сын?

Тэфара взвизгнула и вцепилась мужу в плечо.

— Это дух! — пролепетала она. — Дух!

У Мапуи лицо пожелтело от ужаса. Он трусливо прижался к жене.

— Добрая женщина,— сказал он, запинаясь и стараясь изменить голос.— Я хорошо знаю твоего сына. Он живет на восточном берегу лагуны.

За циновкой послышался вздох. Мапуи приободрился: ему удалось провести духа.

— А откуда ты пришла, добрая женщина?— спросил он.

— С моря,— печально раздалось в ответ.

— Я так и знала, так и знала!— завопила Тэфара, раскачиваясь взад и вперед.

— Давно ли Тэфара ночует в чужом доме?— сказал голос Наури.

Мапуи с ужасом и укоризной посмотрел на жену,— ее голос выдал их обоих.

— И давно ли мой сын Мапуи стал отрекаться от своей старой матери?— продолжал голос.

— Нет, нет, я не... Мапуи не отрекается от тебя!— крикнул он.— Я не Мапуи. Говорю тебе, он на восточном берегу.

Нгакура проснулась и громко заплакала. Циновка заколыхалась.

— Что ты делаешь?— спросил Мапуи.

— Вхожу,— ответил голос Наури.

Край циновки приподнялся. Тэфара хотела зарыться в одеяла, но Мапуи не отпускал ее,— ему нужно было за что-то держаться. Дрожа всем телом и стуча зубами, они оба, вытаращив глаза, смотрели на циновку. В яму вползла Наури, вся мокрая и без аху. Они откатились от входа и стали рвать друг у друга одеяло Нгакуры, чтобы закрыться им с головой.

— Мог бы дать старухе матери напиться,— жалобно сказал дух.

— Дай ей напиться!— приказала Тэфара дрожащим голосом.

— Дай ей напиться,— приказал Мапуи дочери.

И вдвоем они вытолкнули Нгакуру из-под одеяла. Через минуту Мапуи краешком глаза увидел, что дух пьет воду. А потом дух протянул трясущуюся руку и коснулся его руки, и, почувствовав ее тяжесть, Мапуи убедился, что перед ним не дух. Тогда он вылез из-под одеяла, таща за собою жену, и скоро все они уже слушали рассказ Наури. А когда она рассказала про Леви и положила жемчужину на ладонь Тэфары, даже та признала, что ее свекровь — человек из плоти и крови.

— Завтра утром,— сказала Тэфара,— ты продашь жемчужину Раулю за пять тысяч французских долларов.

— А дом? — возразила Наури.

— Он построит дом, — сказала Тэфара. — Он говорит, что это обойдется в четыре тысячи. И кредит даст на тысячу французских долларов — это две тысячи чилийских.

— И дом будет сорок футов в длину? — спросила Наури.

— Да, — ответил Мапуи, — сорок футов.

— И в средней комнате будут настенные часы с гирями?

— Да, и круглый стол.

— Тогда дайте мне поесть, потому что я проголодалась, — удовлетворенно сказала Наури. — А потом мы будем спать, потому что я устала. А завтра мы еще поговорим про дом, прежде чем продать жемчужину. Тысячу французских долларов лучше взять наличными. Всегда лучше платить за товары наличными, чем брать в кредит.

ЗУБ КАШАЛОТА

Много воды утекло с тех пор, как Джон Стархерст заявил во всеуслышание в миссионерском доме деревни Реувы о своем намерении провозвестить слово божие всему Вити Леву. Надо сказать, что Вити Леву — в переводе «Великая земля» — это самый большой остров архипелага Фиджи, в который входит множество больших островов, не считая сотен мелких. Кое-где на его побережье осели немногочисленные миссионеры, торговцы, ловцы трепангов и беглецы с китобойных судов, жившие без всякой уверенности в завтрашнем дне. Дым из раскаленных печей стлался под окнами их жилищ, и дикари тащили на пиршества тела убитых.

«Лоту» — что значит обращение в христианство — подвигалось медленно и нередко шло вспять. Вожди, объявившие себя христианами и радушно принятые в лоно церкви, имели прискорбное обыкновение временами отпадать от веры, чтобы вкусить мяса какого-нибудь особенно ненавистного врага. «Ешь, не то съедят тебя» — таков был закон этих мест; «Ешь, не то съедят тебя» — таким, по-видимому, и останется закон этих мест на долгие годы. Там были вожди, например Таноа, Туйвейкосо и Туйкилакила, которые поглотили сотни своих ближних. Но всех этих обжор перецеголял Ра Ундреундре. Ра Ундреундре жил в Такираки. Он вел счет своим гастрономическим подвигам. Ряд камней близ его дома обозначал количество съеденных им врагов. Этот ряд достигал двухсот тридцати шагов в длину, а камней в нем насчитывалось восемьсот семьдесят два. Каждое тело отмечалось одним камнем. Ряд камней, вероятно, был бы еще длиннее, если бы на свою беду Ра Ундреундре не получил удара копьем в поясницу во время стычки в чаще на Сомо-Сомо и не был подан на стол вождю

Наунга Вули, чей жалкий ряд состоял всего только из сорока восьми камней.

Измученные тяжелой работой и лихорадкой, миссионеры упрямо делали свое дело, временами приходя в отчаяние, и все ждали какого-то необычайного знамения, какой-то вспышки пламени духа святого, который поможет им собрать богатый урожай душ. Но обитатели островов Фиджи закоснели в своем язычестве. Курчавым людоедам отнюдь не хотелось поститься, когда урожай человеческих душ был так обилен. Время от времени, пресытившись, они обманывали миссионеров, распуская слух, что в такой-то день устроят бойню и будут жарить туши. Миссионеры тогда спешили спасти обреченных, покупая их жизнь за связки табака, куски ситца и кварталы бус. Вожди совершали таким способом выгодные торговые операции, отделяваясь от излишков живности. К тому же они всегда могли пойти на охоту и пополнить свои запасы.

Так обстояли дела, когда Джон Стархерст объявил во всеуслышание, что провозвестит слово божие по всей Великой земле, от побережья до побережья, а для начала отправится в горы, к неприступным истокам реки Реувы. Его слова ошеломили всех.

Учителя-туземцы тихо плакали. Двое миссионеров, товарищей Стархерста, пытались отговорить его. Владыка Реувы предостерегал Стархерста, говоря, что горные жители непременно «кай-кай» его (кай-кай — значит съесть), и ему, владыке Реувы, как обращенному в «лоту», придется тогда объявить войну горным жителям. Что ему их не победить, это он хорошо понимал. Что они спустятся по реке и разорят деревню Реуву, это он тоже хорошо понимал. Но что же ему остается делать? Если Джон Стархерст хочет во что бы то ни стало быть съеденным, значит, не миновать войны, которая обойдется в сотни жизней.

В тот же день под вечер к Джону Стархерсту явилась депутация вождей Реувы. Он слушал их терпеливо и терпеливо спорил с ними, но ни на волос не изменил своего решения. Своим товарищам миссионерам он объяснил, что вовсе не жаждет принять мученический венец; просто он услышал зов, побуждающий его провозвестить слово божие всему Вити Леву, и повинуетя господнему велению.

Торговцам, которые пришли к нему и отговаривали его усерднее всех, он сказал:

— Ваши доводы неубедительны. Вы только о том и заботитесь, как бы не пострадала ваша торговля. Вы стремитесь на-

живать деньги, а я стремлюсь спасти души. Язычники этой темной страны должны быть спасены.

Джон Стархерст не был фанатиком. Он первый опроверг бы такое обвинение. Он был вполне благоразумен и практичен. Он верил, что его миссия увенчается успехом, и уже видел, как вспыхивает искра духа святого в душах горцев и как возрождение, начавшееся в горах, охватит всю Великую землю вдоль и поперек, от моря до моря и до островов в просторах моря. Не пламенем безумства светились его кроткие серые глаза, но спокойной решимостью и непоколебимой верой в высшую силу, которая руководит им.

Лишь один человек одобрял решение миссионера, и это был Ра Вату, который тайком поощрял его и предлагал ему проводников до предгорий. Джон Стархерст, в свою очередь, был очень доволен поведением Ра Вату. Закоренелый язычник, с сердцем таким же черным, как и его деяния, Ра Вату начал обнаруживать признаки просветления. Он даже поговаривал о том, что сделается «лоту». Правда, три года тому назад Ра Вату говорил то же самое и, очевидно, вошел бы в лоно церкви, если бы Джон Стархерст не воспротивился его попытке привести с собой своих четырех жен. Ра Вату был противником моногамии по соображениям этического и экономического порядка. К тому же мелочные придирки миссионера показались ему обидными, и в доказательство того, что он сам себе хозяин и человек чести, он замахнулся своей увесистой боевой палицей на Стархерста. Стархерст спасся; пригнувшись, он бросился на Ра Вату, стиснул его и не отпускал, пока не подоспела помощь. Но теперь все это было прощено и забыто. Ра Вату решил войти в лоно церкви, и не только как обращенный язычник, но и как обращенный многоженец. Ему только хочется подождать, уверял он Стархерста, пока умрет его старшая жена, которая уже давно болеет.

Джон Стархерст плыл вверх по медлительной Реуве в одном из челноков Ра Вату. Челнок должен был доставить его за два дня до непроходимых мест, а затем вернуться обратно. Далеко впереди в небо упирались громадные окутанные дымкой горы — хребет Великой земли. Весь день Джон Стархерст смотрел на них нетерпеливо и жадно.

Время от времени он безмолвно творил молитву. Иногда вместе с ним молился и Нарау, учитель-туземец, который был «лоту» вот уже семь лет — с тех пор как его спас от жаровни доктор Джеймс Эллери Браун, истративший на выкуп всего только сотню связок табаку, два байковых одеяла и большую бутылку виски. Проведя двадцать часов в уединении и молит-

ве, Нарау в последнюю минуту услышал зов, побуждающий его идти вместе с Джоном Стархерстом в горы.

— Учитель, я пойду с тобой,— сказал он.

Джон Стархерст приветствовал его решение со степенной радостью. Поистине с ним сам господь, если дух разыграл даже в таком малодушном существе, как Нарау.

— Я и вправду робок, ибо я—слабейший из сосудов божьих,— говорил Нарау, сидя в челноке, в первый день их путешествия.

— Ты должен верить, укрепиться в вере,— внушал ему миссионер.

В тот же день по Реуве поднимался другой челнок. Но он плыл сзади, на расстоянии часа пути, и человек, сидевший в нем, старался остаться незамеченным. Этот челнок также принадлежал Ра Вату. В нем был Эрирола, двоюродный брат Ра Вату и его преданный наперсник, а в небольшой корзинке, которую он не выпускал из рук, лежал зуб кашалота. Это был великолепный зуб длиной в добрых шесть дюймов, с годами принявший желтовато-пурпурный оттенок. Этот зуб тоже принадлежал Ра Вату, а когда такой зуб начинает ходить по рукам, на Фиджи неизменно совершаются важные события. Ибо вот что связано с зубами кашалота: тот, кто примет в дар такой зуб, должен исполнить просьбу, которую обычно высказывают, когда его дарят или некоторое время спустя. Просить можно о чем угодно, начиная с человеческой жизни и кончая союзом между племенами, и нет фиджианца, который настолько потерял бы честь, чтобы принять зуб, но отказать в просьбе. Случается, что обещание не удается исполнить или с этим медлят, но тогда дело кончается плохо.

В верховьях Реувы, в деревне одного вождя по имени Монгондро, Джон Стархерст отдыхал на исходе второго дня своего путешествия. Наутро он вместе с Нарау собирался идти пешком в те дымчатые горы, которые теперь, вблизи, казались зелеными и бархатистыми. Монгондро был добродушный подслеповатый старик небольшого роста, страдающий слоновой болезнью и уже утративший вкус к бранным подвигам. Он принял Стархерста радушно, угостил его яствами со своего стола и даже побеседовал с ним о религии. У Монгондро был пытливый ум, и он доставил большое удовольствие Джону Стархерсту, попросив его рассказать, отчего все существует и с чего все началось. Закончив свой краткий очерк сотворения мира по Книге Бытия, миссионер заметил, что Монгондро потрясен его рассказом. Несколько минут старик

вождь молча курил. Наконец он вынул трубку изо рта и горестно покачал головой.

— Не может этого быть,— сказал он.— Я, Монгондро, в юности хорошо работал топором. Однако у меня ушло три месяца на то, чтобы сделать один челнок — маленький челнок, очень маленький челнок. А ты говоришь, что вся эта земля и вода сделаны одним человеком.

— Нет, они созданы богом, единым истинным богом,— перебил его миссионер.

— Это одно и то же,— продолжал Монгондро.— Значит, вся земля и вся вода, деревья, рыба, лесные чащи, горы, солнце, и луна, и звезды — все это было сделано в шесть дней? Нет, нет! Говорю тебе, в юности я был ловкий, однако у меня ушло три месяца на один небольшой челнок. Твоей сказкой можно пугать маленьких детей, но ей не поверит ни один мужчина.

— Я мужчина,— сказал миссионер.

— Да, ты мужчина. Но моему темному разуму не дано понять то, во что ты веришь.

— Говорю тебе, я верю в то, что все было сотворено в шесть дней.

— Пусть так, пусть так,— пробормотал старый туземец примирительным тоном.

А когда Джон Стархерст и Нарау легли спать, Эрирола прокрался в хижину вождя и после предварительных дипломатических переговоров протянул зуб кашалота Монгондро.

Старый вождь долго вертел зуб в руках. Зуб был красивый, и старику очень хотелось получить его. Но он догадывался, о чем его попросят. «Нет, нет, хороший зуб, хороший, но...» и хотя у него слюнки текли от жадности, он вежливо отказался и вернул зуб Эрироле.

На рассвете Джон Стархерст уже шагал по тропе среди зарослей в высоких кожаных сапогах, и по пятам за ним следовал верный Нарау, а сам Стархерст шел по пятам за голым проводником, которого ему дал Монгондро, чтобы показать дорогу до следующей деревни. Туда путники пришли в полдень, а дальше их повел новый проводник. Сзади, на расстоянии мили, шагал Эрирола, и в корзине, перекинутой у него через плечо, лежал зуб кашалота. Он шел за миссионером четвертые сутки и предлагал зуб вождям всех деревень. Но те один за другим отказывались от зуба. Этот зуб появлялся так скоро после прихода миссионера, что вожди догадывались, о чем их попросят, и не хотели связываться с таким подарком.

Путники углубились в горы, а Эрирола свернул на тайную тропу, опередил миссионера и добрался до твердынь Були из Гатока. Були не знал о том, что миссионер скоро придет. А зуб был хорош — необыкновенный экземпляр редчайшей расцветки. Эрирола преподнес его публично. Вокруг гатокского Були собрались приближенные, трое слуг усердно отгоняли от него мух, и Були, восседавший на своей лучшей циновке, соблаговолил принять из рук глашатая зуб кашалота, посланный в дар вождем Ра Вату и доставленный в горы его двоюродным братом Эриролой. Дар был принят под гром рукоплесканий, и все приближенные, слуги и глашатаи закричали хором:

— А! уой! уой! уой! А! уой! уой! уой! А табуа леву! уой! уой! А мудуа, мудуа, мудуа!

— Скоро придет человек, белый человек, — начал Эрирола, выдержав приличную паузу. — Он миссионер, и он придет сегодня. Ра Вату пожелал иметь его сапоги. Он хочет преподнести их своему доброму другу Монгондро и обязательно вместе с ногами, так как Монгондро старик, и зубы у него плохи. Похлопотать, о Були, чтобы в сапогах были отправлены и ноги, а все прочее пусть останется здесь.

Радость, доставленная зубом кашалота, померкла в глазах Були, и он оглянулся кругом, не зная, что делать. Но подарок был уже принят.

— Что значит такая мелочь, как миссионер? — подсказал ему Эрирола.

— Да, что значит такая мелочь, как миссионер! — согласился Були, успокоенный. — Монгондро получит сапоги. Эй, юноши, ступайте, трое или четверо, навстречу миссионеру. И не забудьте принести сапоги.

— Поздно! — сказал Эрирола. — Слушайте! Он идет.

Продравшись сквозь чащу кустарника, Джон Стархерст и не отстававший от него Нарау выступили на сцену. Пресловутые сапоги промокли, когда миссионер переходил ручей вброд, и с каждым его шагом из них тонкими струйками брызгала вода. Стархерст окинул все вокруг сверкающими глазами. Воодушевленный непоколебимой уверенностью, без тени сомнения и страха, он был в восторге от того, что предстало его взору. Стархерст знал, что от начала времен он первый из белых людей ступил в горную твердыню Гатоки.

Сплетенные из трав хижины лепились по крутому горному склону или нависали над бушующей Реувой. Справа и слева вздымались высочайшие кручи. Солнце освещало эту теснину не больше трех часов в день. Здесь не было ни кокосовых пальм, ни банановых деревьев, хотя все поросло густой тропи-

ческой растительностью и ее легкая бахрома свешивалась с отвесных обрывов и заполняла все трещины в утесах. В дальнем конце ущелья Реува одним прыжком соскакивала с высоты восьмисот футов, и воздух этой скалистой крепости вибрировал в лад с ритмичным грохотом водопада.

Джон Стархерст увидел, как Були вышел из хижины вместе со своими приближенными.

— Я несу вам хорошие вести, — приветствовал их миссионер.

— Кто послал тебя? — спросил Були негромко.

— Господь.

— Такого имени на Вити Леву не знают, — усмехнулся Були. — Если он вождь, то каких деревень, островов, горных проходов?

— Он вождь всех деревень, всех островов, всех горных проходов, — ответил Джон Стархерст торжественно. — Он владеет землей и небом, и я пришел провозвестить вам его слова.

— Он прислал нам в дар зуб кашалота? — дерзко спросил Були.

— Нет, но драгоценнее зубов кашалота...

— У вождей в обычае посылать друг другу зубы кашалота, — перебил его Були. — Твой вождь скряга, а сам ты глуп, если идешь в горы с пустыми руками. Смотри, тебя опередил более щедрый посланец.

И он показал Стархерсту зуб кашалота, который получил от Эриролы.

Нарау застонал.

— Это кашалотовый зуб Ра Вату, — шепнул он Стархерсту. — Я его хорошо знаю. Мы погибли.

— Добрый поступок, — сказал миссионер, оглаживая свою длинную бороду и поправляя очки. — Ра Вату позаботился о том, чтобы нас хорошо приняли.

Но Нарау снова застонал и отшатнулся от того, за кем следовал с такой преданностью.

— Ра Вату скоро станет «лоту», — проговорил Стархерст, — и вам тоже я принес «лоту».

— Не надо мне твоего «лоту», — надменно ответил Були, — и я решил убить тебя сегодня же.

Були кивнул одному из своих рослых горцев, и тот выступил вперед и взмахнул палицей. Нарау кинулся в ближайшую хижину, ища убежища среди женщин и цинсвок, а Джон Стархерст прыгнул вперед и, увернувшись от палицы, обхватил шею своего палача. Заняв столь выгодную позицию, он принялся убеждать дикарей. Он убеждал их, зная, что борется

за свою жизнь, но эта мысль не вызывала у него ни страха, ни волнения.

— Плохо ты поступишь, если убьешь меня,— сказал он палачу.— Я не сделал тебе зла, и я не сделал зла Були.

Он так крепко обхватил шею этого человека, что остальные не решались ударить его своими палицами. Стархерст не разжимал рук и отстаивал свою жизнь, убеждая тех, кто жаждал его смерти.

— Я Джон Стархерст,— продолжал он спокойно,— я три года трудился на Фиджи не ради наживы. Я здесь среди вас ради вашего же блага. Зачем убивать меня? Если меня убьют, это никому не принесет пользы.

Були покосился на зуб кашалота. Ему-то хорошо заплатили за это убийство.

Миссионера окружила толпа голых дикарей, и все они старались добраться до него. Зазвучала песнь смерти— песнь раскаленной печи, и увещевания Стархерста потонули в ней. Но он так ловко обвивал тело палача своим телом, что никто не смел нанести ему смертельный удар. Эрирола ухмыльнулся, а Були пришел в ярость.

— Разойдитесь!— крикнул он.— Хорошая молва о нас дойдет до побережья! Вас много, а миссионер один, безоружный, слабый, как женщина, и он один одолевает всех.

— погоди, о Були,— крикнул Джон Стархерст из самой гущи свалки,— я одолею тебя самого! Ибо оружие мое— истина и справедливость, а против них не устоит никто.

— Так подойди же ко мне,— отозвался Були,— ибо мое оружие— всего только жалкая, ничтожная дубинка, и, как ты сам говоришь, ей с тобой не сладить.

Толпа расступилась, и Джон Стархерст стоял теперь один лицом к лицу с Були, который опирался на свою громадную сучковатую боевую палицу.

— Подойди ко мне, миссионер, и одолей меня,— подстрекал его Були.

— Хорошо, я подойду к тебе и одолею тебя,— откликнулся Джон Стархерст; затем протер очки и, аккуратно надев их, начал приближаться к Були.

Тот ждал, поднимая палицу.

— Прежде всего моя смерть не принесет тебе никакой пользы,— начал Джон Стархерст.

— На это ответит моя дубинка,— отозвался Були.

Так он отвечал на каждый довод Стархерста, а сам не спускал с миссионера глаз, чтобы вовремя помешать ему броситься вперед и нырнуть под занесенную над его головой па-

лицу. Тогда-то Джон Стархерст впервые понял, что смерть его близка. Он не повторил своей уловки. Обнажив голову, он стоял на солнцепеке и громко молился — таинственный, неотвратимый белый человек, один из тех, кто библией, пулей или бутылкой рома настигает изумленного дикаря во всех его твердынях. Так стоял Джон Стархерст в скалистой крепости гатокского Були.

— Прости им, ибо они не ведают, что творят, — молился он. — О господи! Будь милосерден к Фиджи. Смилуйся над Фиджи! Отец всевышний, услышь нас ради сына твоего, которого ты дал нам, чтобы через него мы все стали твоими сынами. Ты дал нам жизнь, и мы верим, что в лоно твое вернемся. Темна земля сия, о боже, темна. Но ты всемогущ, и в твоей воле спасти ее. Простри длань твою, о господи, и спаси Фиджи, спаси несчастных людоедов Фиджи.

Були терял терпение.

— Сейчас я тебе отвечу, — пробормотал он и, схватив палицу обеими руками, замахнулся.

Нарау, прятаясь среди женщин и циновок, услышал удар и вздрогнул. Грянула песнь смерти, и он понял, что тело его возлюбленного учителя тащат к печи.

«Неси меня бережно, неси меня бережно.

Ведь я — защитник родной страны.

Благодарите! Благодарите! Благодарите!»

Один голос выделился из хора:

«Где храбрец?»

Сотни голосов загремели в ответ:

«Его несут к печи, его несут к печи».

«Где трус?» — раздался тот же голос.

«Бежит доносить весть!» — прогремел ответ сотни голосов. — «Бежит доносить! Бежит доносить!»

Нарау застонал от душевной муки. Правду говорила старая песня. Он был трус, и ему оставалось только убежать и донести весть о случившемся.

МАУКИ

Он весил сто десять фунтов. Волосы у него были курчавые, как у негра, и он был черен. Черен как-то по-особенному: не красновато и не синевато-черен, а черно-лилов, как слива. Звали его Мауки, и он был сын вождя. У него было три «тамбо». Тамбо у меланезийцев означает табу и, конечно, сродни этому полинезийскому слову. Три тамбо Мауки сводились к следующему: во-первых, он не должен здороваться за руку с женщиной или допускать, чтобы женская рука прикасалась к нему и к его вещам; во-вторых, он не должен есть ракушек или другой пищи, приготовленной на огне, на котором их жарили; в-третьих, он не должен притрагиваться к крокодилам или плавать в челне, на котором была частица крокодила величиной хотя бы с ноготь.

Черными были у Мауки и зубы, но в отличие от кожи они были совсем черные или, лучше сказать, черные, как сажа. Они стали у него такими за одну ночь, когда мать натерла их истолченным в порошок камнем, который добывали у горного обвала возле Порт-Адамса. Порт-Адамс — приморская деревушка на Малаите, а Малаита — самый дикий из всех Соломоновых островов. Он настолько дик, что ни одному купцу или плантатору не удалось там обосноваться, а сотни белых авантюристов — начиная с первых ловцов трепанга и торговцев сандаловым деревом и кончая современными вербовщиками рабочей силы с их винчестерами и нефтяными двигателями — нашли здесь свой конец от томагавков и тупоносых снайперовских пуль. Тем не менее и сейчас, в двадцатом столетии, Малаита остается золотым дном для вербовщиков, которые посещают ее берега в надежде найти здесь туземцев для работы на плантациях соседних и более цивилизованных островов за тридцать долларов в год. Уроженцы этих соседних и более

цивилизованных островов сами настолько приобщились к цивилизации, что уже не желают работать на плантациях.

Уши Мауки были проткнуты не в одном и не в двух, а в десятках мест. В одном из меньших отверстий он носил глиняную трубку. Отверстия покрупней не годились для этой цели: не только чубук, но и вся трубка легко проскочила бы насквозь. Да это и немудрено, потому что в самые большие дырки он обычно вставлял по круглой деревяшке диаметром в добрых четыре дюйма. Иначе говоря, окружность этих дыр равнялась приблизительно двенадцати с половиной дюймам. Что касается эстетики, то здесь Маука придерживался весьма независимых взглядов. В ушах у него красовались такие предметы, как пустые гильзы, гвозди от подков, медные гайки, обрывки бечевки, плетенный из соломы шнур, зеленые стрелки пальмовых листьев, а когда наступала вечерняя прохлада, — пунцовые цветы мальвы. Отсюда видно, что он прекрасно мог обходиться без карманов. Да и куда бы он их приделал — ведь вся его одежда состояла из куска ситца шириной в несколько дюймов. Карманный нож он носил в волосах, зацемив лезвием курчавую прядь, а самое ценное свое достояние — ручку от фарфоровой чашки — привешивал к продетому сквозь ноздри черепаховому кольцу.

Невзирая на все эти украшения, Мауки был миловиден. Его лицо смело можно было назвать красивым даже с европейской точки зрения, а для меланезийца Мауки был поразительно хорош собой. Единственным недостатком этого лица была излишняя мягкость. Оно было женственным, почти девичьим, с тонкими, мелкими и правильными чертами. Безвольный подбородок и рот. Ни силы, ни характера в линии скул, лба и носа. Разве только в глазах Мауки порой проскальзывал какой-то намек на те неизвестные величины, которые составляли неотъемлемую часть его существа, но никем еще не были разгаданы. Эти неизвестные были смелость, настойчивость, бесстрашие, живое воображение, хитрость, и когда они проявлялись в его последовательных и решительных поступках, окружающие только разводили руками.

Отец Мауки был вождем в деревушке Порт-Адамс, и для родившегося на берегу мальчика вода была родной стихией. Он умел ловить рыб и устриц; коралловые рифы были для него открытой книгой. Управлять челноком он тоже умел. Плавать научился, когда ему был год от роду. Семи лет он уже мог задерживать дыхание на целую минуту и нырять на глубину тридцати футов. Но в этом возрасте его похитили жители чащи, которые не только не умеют плавать, но даже боят-

ся соленой воды. С тех пор Мауки видел море только издали, сквозь просветы в зарослях или с обнаженных склонов высоких гор. Он стал рабом старого Фанфоа, царька, объединившего под своей властью около двух десятков разбросанных по горным отрогам Малаиты селений, дым которых в безветренные утра служит для белых мореплавателей едва ли не единственным доказательством того, что внутренняя часть острова обитаема. Белые не проникают в глубь Малаиты. Когда-то в погоне за золотом они пытались туда пробраться, но всякий раз оставляли там свои головы, которые и поныне скалят зубы с закопченных балок туземных хижин.

Однажды, когда Мауки уже был рослым семнадцатилетним юношей, Фанфоа остался без табаку. Он остался совсем без табаку. И все его подданные очень бедствовали. Виноват в этом был сам Фанфоа. Бухта Суо настолько мала, что большой шхуне в ней не развернуться на якоре. Мангровые заросли обступают ее со всех сторон и низко свешиваются над темной водой. Это западня, и в эту западню попались двое белых. Они приплыли на небольшом двухмачтовом паруснике вербовать рабочих, и у них было много табаку и товаров, не говоря уже о трех винтовках и большом запасе патронов. В Суо нет прибрежных жителей, и лесные племена здесь могут спокойно спускаться к морю. Торговля шла бойко. В первый же день записались двадцать человек. Даже старый Фанфоа записался. И в тот же день двадцать новых рабочих отрубили двум белым головы, прикончили команду и сожгли парусник. После этого целых три месяца табак и другие товары не переводились в лесных селениях. А потом пришел военный корабль, ядра с которого полетели далеко в горы, и люди в страхе разбежались из деревень и ушли в глубь чащи. Затем на берег высадились вооруженные отряды. Они сожгли все деревни вместе с награбленным табаком и товарами. Кокосовые пальмы и бананы были срублены, всходы таро¹ уничтожены, а куры и свиньи прирезаны.

Полученный урок мог пригодиться Фанфоа в будущем, но пока что он оставался без табаку. А молодежь в селениях была так напугана, что отказывалась наниматься к вербовщикам. Потому-то Фанфоа и приказал отвести своего раба Мауки на берег и сдать его белым, а в задаток получить за него пол-ящика табаку да еще ножей, топоров, бус и ситцу. Все это Мауки отрабатывает на плантациях. Мауки до смерти перепутал-

¹ Т а р о — распространенная в Океании сельскохозяйственная культура, один из основных видов питания местных народностей.

ся, когда ему велели подняться на шхуну. Он шел, словно ягненок на заклание. Белые, наверное, очень свирепые существа. Иначе они бы не посмели разъезжать вдоль берегов Малаиты и заходить во все бухты, по двое на шхуне, с командой из пятнадцати — двадцати чернокожих да еще с несколькими десятками завербованных. А ведь им приходилось вдобавок опасаться прибрежного населения, готового в любую минуту напасть, захватить шхуну и прикончить весь экипаж. Белые люди, должно быть, очень страшны. Притом ни у кого, кроме белых, не было таких дьявол-дьяволов — ружей, стрелявших много раз подряд без остановки; всяких железных и медных штук, заставлявших шхуну идти без всякого ветра, и ящиков, которые говорили и смеялись, точь-в-точь как говорят и смеются люди. Да это еще что! Он слышал про одного белого, у которого его собственный, личный дьявол-дьявол обладал такой чудодейственной силой, что этот белый мог по желанию вынимать все свои зубы, а потом вставлять их обратно.

Мауки повели вниз в каюту. На палубе остался сторожить один белый с двумя пистолетами за поясом. А в каюте другой сидел за книгой и чертил в ней какие-то таинственные линии и знаки. Он осмотрел Мауки, словно тот был курицей или поросенком, заглянул ему под мышки и написал что-то в книге. Потом протянул Мауки палочку для письма, и Мауки, только дотронувшись до нее, тем самым обязался работать три года на плантациях мыловаренной компании «Лунный блеск». Мауки никто не разъяснил, что свирепые белые люди прибегают к силе, если он вздумает уклониться от взятого на себя обязательства, и что вся мощь и все военные корабли Великобритании будут им в том поддержкой.

На шхуне было много других чернокожих из дальних и никому неизвестных мест, и когда белый человек им что-то сказал, они сорвали с головы Мауки длинное перо, остригли его наголо, а вокруг бедер повязали лава-лаву из ярко-желтого ситца.

Много дней провел Мауки на шхуне, много видел новых земель и островов — столько ему и во сне не снилось — и наконец добрался до Нью-Джорджии, где его высадили на берег и поставили работать в поле — резать тростник и расчищать заросли. Только теперь он узнал, что такое работа. Даже когда он был у старого Фанфоа, ему не приходилось столько трудиться. А трудиться он не любил. Подымались с зарей, возвращались в сумерки, ели всего два раза в день. И пища была однообразная. Заладят на целый месяц одни бататы, а не то целый месяц дают только рис.

День за днем он очищал кокосовые орехи от скорлупы, день за днем и неделю за неделей подбрасывал хворост в костры, на которых сушили копру, пока у него не разболелись глаза и его не послали валить деревья. Он ловко орудовал топором, и вскоре его перевели на постройку моста. Потом в наказание за какую-то провинность отправили на дорожные работы. Ему случалось плавать и на вельботах, когда белые отправлялись в отдаленные бухты за копррой или выходили в море глушить рыбу динамитом.

Помимо всего прочего, он усвоил «*bêche de mer*»¹ — распространенный в южных морях английский жаргон — и мог теперь объясняться с белыми, а главное — со всеми черными рабочими, с которыми иначе никогда бы не сталкивался. Тут были сотни различных племен и наречий. Многого узнал он о белых людях, и прежде всего то, что они держат свое слово. Когда они говорили рабочему, что дадут ему пачку табаку, он ее получал. Когда говорили, что выбьют из него семь склянок, если он сделает то-то и то-то, и он это делал, из него непременно выбивали семь склянок. Мауки не знал, что такое «семь склянок», но, часто слыша это выражение, решил про себя, что, должно быть, это кровь и зубы, потерей которых часто сопровождались подобного рода операции. Еще одно он твердо усвоил: никого не били и не наказывали зря. Даже когда белые напивались — а это с ними случалось нередко, — они никогда не дрались, если не было нарушено какое-нибудь их правило.

Мауки не нравилось на плантациях. Работать он терпеть не мог, ведь как-никак он был сын вождя. К тому же с тех пор как Фанфоя похитил его из Порт-Адамса, прошло десять лет, и Мауки стосковался по дому. Даже рабство у старого Фанфоя представлялось ему теперь завидным уделом. Поэтому он бежал. Он углубился в джунгли, надеясь пробиться на юг к морю, украсть челнок и в нем добраться до Порт-Адамса. Но схватил лихорадку, был пойман и полумертвым доставлен назад.

Второй раз Мауки бежал уже не один, а с двумя земляками. Они отошли миль за двадцать по берегу, достигли деревни и укрылись в хижине одного из тамошних жителей, переселенца с Малаиты. Но двое белых не побоялись прийти глухой ночью в селение и выбить по семи склянок из каждого беглеца, связать их всех троих, как поросят, и кинуть в вельбот. А

¹ Трепанг (фр.). В данном случае наречие, распространенное в тех местах, где добывается трепанг.

из человека, который их приютил, выкололи семь раз по семи склянок, судя по количеству вырванных у него волос, содранной кожи и выбитых зубов. На всю жизнь пропала у него охота укрывать беглых.

Целый год Мауки терпел и трудился. Потом его взяли в дом прислуживать. Тут пища была лучше, свободного времени больше, работа совсем не трудная — убирать комнаты и подавать белым господам виски и пиво в любое время дня и ночи. Мауки это нравилось, но жизнь в Порт-Адамсе нравилась ему еще больше. Служить оставалось два года, а два года — долгий срок, когда тоскуешь по дому. За этот год Мауки многому научился, и теперь на правах слуги он ко всему имел доступ. Он разбирал и чистил винтовки, знал, где хранится ключ от кладовой. План побега принадлежал ему, и вот однажды ночью десять туземцев с Малаиты и один из Сан-Кристора ускользнули из барачных помещений и подтащили к берегу вельбот. Ключ от висевшего на вельботе замка раздобыл Мауки, и тот же Мауки погрузил в вельбот двенадцать винчестеров, огромный запас патронов, ящик динамита с детонаторами и бикфордовым шнуром и десять ящиков табаку.

Дул северо-западный муссон, и по ночам они неслись на юг, а днем прятались на уединенных, необитаемых островках, если же приставали к большому острову, то втаскивали вельбот в кусты. Так они добрались до Гвадалканара, обогнули остров, держась вдоль берега, потом пересекли пролив Индиспенсебл и пристали к острову Флорида. Здесь они убили того чернокожего, который был из Сан-Кристора, голову его спрятали, а все остальное зажарили и съели. Малаита была всего в двадцати милях, но в последнюю ночь сильное течение и переменные ветры помешали им достичь берега. Рассвет застал их все еще в нескольких милях от цели. Но на рассвете показался катер с двумя белыми, которые не испугались одиннадцати туземцев с их двенадцатью ружьями. Мауки и его товарищей доставили в Тулаги, где жил великий белый господин, старший над всеми белыми. И великий белый господин судил беглецов, после чего их связали, дали им по двенадцати плетей и приговорили к штрафу в пятнадцать долларов. Затем их отослали в Нью-Джорджию, где белые выбили из них по семи склянок из каждого и запрягли в работу. Но Мауки уже не попал в слуги. Его отправили на постройку дороги. Штраф в пятнадцать долларов уплатили за него белые, от которых он бежал, и ему сказали, что он должен их отработать, а это значило — лишних шесть месяцев на плантациях. Да сверх того за его долю украденного табаку ему накинули еще год.

Теперь до возвращения в Порт-Адамс Мауки оставалось три с половиной года. Поэтому он однажды ночью украл челнок, прятался некоторое время на островках в проливе Маннинг, потом пересек этот пролив и стал пробираться вдоль восточного побережья острова Изабель, но, проделав две трети пути, был пойман белыми у лагуны Мериндж. Спустя неделю он бежал от них и скрылся в чаще. На Изабель нет лесных племен, там одни только прибрежные жители, и все они христиане. Белые назначили за поимку Мауки награду в пятьсот пачек табаку, и всякий раз, как он пытался пробраться к морю, чтобы украсть челнок, прибрежные жители устраивали на него облаву. Так прошло четыре месяца, но когда награду повысили до тысячи пачек, Мауки поймали и вернули в Нью-Джорджию строить дороги. Ну, а тысяча пачек табаку стоит пятьдесят долларов, и обещанную награду Мауки должен был уплатить сам, а для этого требовалось проработать год и восемь месяцев. Так что Порт-Адамс отодвинулся теперь уже на пять лет.

Он тосковал еще сильнее и отнюдь не был склонен к тому, чтобы взяться за ум, остепениться, отработать свои пять лет и тогда уже вернуться домой. В следующий раз его задержали при попытке к бегству. Дело рассматривал сам мистер Хэвеби, представитель мыловаренной компании на острове, и он признал Мауки неисправимым. Неисправимых компания отправляла с Соломоновых островов за сотни миль, на острова Санта-Крус, где у нее тоже были свои плантации. Туда и отправили Мауки, только он не доехал. Шхуна зашла в Санта-Анне, и ночью Мауки вплавь добрался до берега, стащил у торгового агента две винтовки и ящик табаку и в челноке доплыл до Кристобаля. Малаита была теперь от него к северу всего в пятидесяти или шестидесяти милях, но когда он пытался переправиться через пролив, поднялся шторм и его отнесло назад к Санта-Анне, где агент заковал его в кандалы и продержал до возвращения шхуны с островов Санта-Крус. Винтовки агенту вернули, а за ящик табаку Мауки предстояло расплатиться годом работы. Его задолженность компании теперь равнялась шести годам.

На обратном пути в Нью-Джорджию шхуна стала на якорь в проливе Марау у юго-восточной оконечности Гвадалканара. С кандалами на руках Мауки поплыл к берегу и скрылся в зарослях. Шхуна ушла, но местный агент «Лунного блеска» предложил за поимку беглеца награду в тысячу пачек табаку, и жители чащи привели к нему Мауки, что увеличило его долг компании еще на год и восемь месяцев. Прежде чем шху-

на вернулась, Мауки снова сбежал, на этот раз в вельботе, прихватив с собой украденный у агента ящик табаку. Но налетевший с северо-запада шквал выбросил его на Уги, где туземцы-христиане стащили у него табак, а его самого передали агенту «Лунного блеска». Украденный туземцами табак означал для Мауки еще год работы, что в итоге составило восемь с половиной лет.

— Отправим-ка его на Лорд-Хау, — сказал мистер Хэвби. — Там теперь Бунстер. Пусть как хотят, так между собой и разбираются. Либо Мауки угробит Бунстера, либо Бунстер — Мауки. И в том и в другом случае мы останемся в выигрыше.

Если выйти из лагуны Мериндж у острова Изабель и держать курс прямо на север, по компасу, то, пройдя сто пятьдесят миль, увидишь выступающие из воды коралловые отмели Лорд-Хау. Лорд-Хау — кольцеобразная полоса земли миль полтора в окружности и шириной всего в несколько сот ярдов, возвышающаяся местами на целых десять футов над уровнем моря. Внутри этого песчаного кольца лежит огромная лагуна, усеянная коралловыми рифами. Ни географически, ни этнографически Лорд-Хау не может быть отнесен к Соломоновым островам. Это атолл, тогда как Соломоновы острова происхождения вулканического. И язык и внешность его обитателей говорят об их близости к полинезийской расе, а жители Соломоновых островов — меланезийцы. Лорд-Хау заселен уроженцами Западной Полинезии, приток которых продолжается и по сей день: юго-восточный пассат прибывает к берегам острова их длинные узконосые челны. Некоторый, хоть и более слабый приток меланезийцев на Лорд-Хау в пору северо-западных муссонов тоже не подлежит сомнению.

Никто не посещает Лорд-Хау, или Онтонг-Джаву, как этот остров иногда называют. Агентство Кука не продает туда билетов, и туристы не подозревают о его существовании. Ни один белый миссионер не высаживался на его берегах. Пять тысяч жителей этого атолла столь же милостивы, сколь и первобытны. Но они не всегда отличались таким миролюбием. Лоции указывают на их враждебность и коварство. Однако составители этих лоций, видимо, не знают, какие изменения претерпел нрав обитателей острова, с тех пор как они несколько лет назад захватили большой трехмачтовый корабль и перебили всю команду, кроме помощника штурмана, которому удалось спастись. Уцелевший принес эту весть своим белым братьям и вернулся на Лорд-Хау с тремя торговыми шхунами. Шкиперы направили свои суда прямо в лагуну и без

дальних слов стали проповедовать евангелие белого человека, гласившее, что убивать белых разрешается лишь белым, а низшим расам это не положено. Шхуны разгуливали вдоль и поперек лагуны, сея смерть и разрушение. Бежать с этой узкой полоски песка было некуда. В чернокожего стреляли, как только он показывался, а спрятаться ему было негде. Деревни были сожжены, лодки изломаны в щепы, куры и свиньи зарезаны, а драгоценные кокосовые пальмы срублены. Так продолжалось месяц, а потом шхуны удалились, но страх перед белым человеком навсегда запечатлелся в сердцах островитян, и никогда они уже не осмеливались нанести ему вред.

Макс Бунстер, агент вездесущей мыловаренной компании «Лунный блеск», был единственным белым на острове. На Лорд-Хау компания водворила его потому, что стремилась если не совсем с ним развязаться, то хоть запихнуть его куда-нибудь подальше. Отделаться от него раз и навсегда она не могла, потому что не так-то легко было найти кого-нибудь на его место. В голове у этого здоровенного немца явно чего-то не доставало. Назвать его полупомешанным было бы еще слишком мягко. Задира, трус и в три раза худший дикарь, чем любой из дикарей на острове, Бунстер, как это и свойственно трусам, измывался только над слабыми. Поступив агентом на службу мыловаренной компании, он сперва получил назначение на Саво. Когда его решили оттуда убрать и послали ему на смену чахоточного колониста, Бунстер избил его до полусмерти, и тот, совсем уже умирающий, вынужден был уехать на той же шхуне, с которой прибыл.

Затем мистер Хэвеби подыскал на место Бунстера молодого иоркширца, настоящего гиганта, стяжавшего себе славу кулачного бойца, которого хлебом не корми, а только дай подраться. Но Бунстер не желал драться. Десять дней он прикидывался овечкой, пока иоркширец не свалился от приступа дизентерии и лихорадки. Тут Бунстер себя наконец показал, сбросил больного на пол и до того разошелся, что принялся топтать его ногами. Опасаясь расплаты, Бунстер не стал ждать, когда его жертва оправится, и сбежал на катере в Гувуту. Там он опять-таки отличился: избил молодого англичанина, и без того искалеченного во время бурской войны.

Тогда-то мистер Хэвеби и отослал Бунстера на этот богом забытый остров — Лорд-Хау. В честь своего прибытия Бунстер выдул пол-ящика джину и исколотил помощника шкипера с доставившей его шхуны, человека уже пожилого и страдающего астмой. А когда шхуна ушла, он созвал на берег канаков и предложил им бороться с ним один на один, пообещав

ящик табаку тому, кто положит его на обе лопатки. Трех канаров он одолел, а четвертый положил его самого, но вместо обещанного табаку получил пулю в легкие.

Так началось правление Бунстера на Лорд-Хау. В главном селении жили три тысячи человек, но оно пустело даже средь бела дня, стоило только Бунстеру там появиться. Мужчины, женщины, дети бросались от него врассыпную. Даже собаки и свиньи спешили убратся подобру-поздорову, а сам король, позабыв о своем королевском достоинстве, прятался от него под циновку. Оба премьер-министра трепетали от страха перед Бунстером, который, не вдаваясь в обсуждение спорных вопросов, сразу пускал в ход кулаки.

И сюда, на Лорд-Хау, доставили Мауки, и здесь он должен был работать на Бунстера восемь с половиной долгих лет. С Лорд-Хау не убежишь. Так или иначе судьбы Бунстера и Мауки отныне тесно переплелись. Бунстер весил двести фунтов, Мауки — сто десять. У Бунстера была жестокость дегенерата, у Мауки — свирепость дикаря, и оба, каждый по-своему, были хитры и упорны.

Мауки и понятия не имел, на какого хозяина ему придется работать. Его никто не предостерег насчет Бунстера, и он думал, что этот белый такой же, как и все остальные, — пьет много виски, правит островом, устанавливает законы, всегда держит свое слово и никогда без причины не ударит туземца. Бунстер был в более выгодном положении. Он знал историю Мауки и заранее предвкушал, как возьмет его в оборот. Последний по счету повар Бунстера лежал со сломанной рукой и вывихнутым плечом, поэтому немец взял к себе Мауки поваром; кроме того, он должен был прислуживать по дому.

Мауки очень скоро понял, что белый белому рознь.

В тот самый день, когда шхуна снялась с якоря, Бунстер приказал ему купить цыпленка у Самайзи, туземца-миссионера с островов Тонга. Но Самайзи как раз был в отлучке — он отправился на другой берег лагуны, и его ждали назад только через три дня. Мауки вернулся с пустыми руками. Он поднялся по крутой лестнице (дом стоял на сваях, футов на двенадцать от земли) и вошел в спальню хозяина. Бунстер потребовал цыпленка. Мауки раскрыл было рот, чтобы объяснить, почему он не выполнил приказание. Но Бунстер был не охотник до объяснений. Он двинул его кулаком. Удар пришелся Мауки по челюсти и подбросил его в воздух. Он вылетел в дверь, перелетел через узкую веранду, обломав перила, и грохнулся на землю. Губы у него были расквашены, рот полон крови и выбитых зубов.

— Поговори у меня! — орал багровый от ярости агент, перегнувшись через сломанные перила и сверкая глазами на Мауки.

Такого белого Мауки еще никогда не встречал, и он решил смириться и по возможности не раздражать хозяина. Он видел, как доставалось от Бунстера гребцам; одного из них немец три дня продержал в кандалах и морил голодом лишь за то, что тот сломал уключину. Слышал он и ходившие по деревне толки, узнал, почему Бунстер взял себе третью жену, взял насильно, как это всем было известно. И первая и вторая жены покоились на кладбище, засыпанные белым коралловым песком с коралловыми глыбами в ногах и в изголовье. Молва говорила, что они умерли от побоев. А что третьей жене Бунстера живется не сладко, Мауки и сам видел.

Но разве угодишь на белого человека, когда он зол на жизнь? Если Мауки молчал, его били и обзывали бессловесной скотиной. Если говорил, били за то, что смеет рассуждать. Если он был угрюм, Бунстер утверждал, что повар замышляет недоброе, и на всякий случай порол его. А если Мауки силился улыбнуться и казаться веселым, его обвиняли в том, что он насмехается над своим господином и повелителем, и угощали палкой. Бунстер был суший дьявол. В селении с ним давно бы расправились, если бы не память о трех шхунах и о полученном тогда уроке. Возможно, что и это не остановило бы туземцев, будь здесь лес, куда они могли бы бежать. Но леса не было, а убийство белого — любого белого — приведет сюда военный корабль, виновных перестреляют, а драгоценные кокосовые пальмы срубят. Гребцы тоже только о том и мечтали, как бы невзначай утопить Бунстера, опрокинув шлюпку. Однако Бунстер зорко следил за тем, чтобы шлюпка не опрокидывалась.

Мауки был слеплен из другого теста. Зная, что, пока Бунстер жив, ему не убежать, он твердо решил прикончить белого. Вся беда была в том, что не представлялось подходящего случая. Бунстер всегда был начеку. Ни днем, ни ночью не расставался он с револьвером. Он никому не разрешал подходить к себе сзади. Мауки уразумел это после того, как его дважды сшибли с ног кулаком. Бунстер понимал, что ему следует опасаться этого добродушного и даже кроткого на вид юнца с Малаиты больше, чем всего населения Лорд-Хау. Но наслаждение, которое он испытывал, мучая Мауки, приобретало от этого лишь особую остроту. А Мауки до поры до времени смирялся, безропотно переносил все истязания и ждал.

До сих пор все белые уважали его тамбо, но Бунстер не считался ни с чем. Мауки полагалось две пачки табаку в неделю. Бунстер отдавал их своей наложнице, и Мауки должен был брать табак у нее из рук. Этого он сделать не мог и оставался без табаку. Тем же способом его не раз лишали обеда, и часто он по целым дням ходил голодный. Ему нарочно заказывали рагу из ракушек, которые водились у берегов. Но этого блюда Мауки не мог приготовить: ракушки были для него тамбо. Шесть раз отказывался он прикоснуться к ракушкам, и шесть раз его избивали до потери сознания. Бунстер знал, что этот щенок скорее умрет, чем нарушит запрет, однако называл его отказ бунтом и, конечно, убил бы Мауки, если бы не боялся остаться без повара.

Любимой забавой агента было схватить Мауки за курчавые волосы и колотить его головой об стену или же неожиданно для Мауки ткнуть ему в голое тело горячей сигарой. Это называлось у Бунстера прививкой, и такой прививке Мауки подвергался чуть ли не каждый день. Однажды в припадке бешенства Бунстер выдернул ручку от фарфоровой чашки из носа Мауки, разорвав ему ноздри.

— Ну и рожа! — вот и все, что Бунстер нашел нужным сказать, взглянув на его изуродованное лицо.

Если кожа акулы шершава, как наждачная бумага, то кожа ската подобна терке. В южных морях туземцы употребляют ее вместо рашпиля для шлифовки челнов и весел. Бунстер обзавелся рукавицей из кожи ската. Для начала он испытал ее на Мауки, одним взмахом руки содрав ему кожу от затылка до лопатки. Бунстер пришел в восторг. Он и жену угостил рукавицей, а потом весьма основательно опробовал ее на всех гребцах. Оба премьер-министра тоже удостоились прикосновения рукавицы и скрепя сердце вынуждены были ухмыляться и принимать все в шутку.

— Смейтесь же, черт побери, смейтесь! — приговаривал при этом Бунстер.

Мауки больше всех терпел от рукавицы. Не проходило дня, чтобы он не испытал ее ласк. Временами сплошь покрытая ссадинами спина не давала ему спать по ночам, а неистощимый в своих шутках мистер Бунстер то и дело сдирал едва поджившую кожу. Мауки терпел и ждал, уверенный, что рано или поздно наступит и его час. А когда этот час наконец наступил, все до мелочи было у него уже решено и предусмотрено.

Однажды утром Бунстер поднялся в таком настроении, что готов был выбить семь склянок из всей вселенной. Начал он с

Мауки и им же кончил, между делом наградив увесистым тумачком жену и исколотив всех гребцов. За завтраком он назвал кофе помоями и обварил Мауки, выплеснув всю чашку ему в лицо. К десяти часам Бунстер дрожал от озноба, а полчаса спустя он метался в жару. Это был не простой приступ малярии. Болезнь быстро приняла тяжелое течение со всеми признаками тропической лихорадки. Дни проходили, а прикованный к постели Бунстер все слабел и слабел. Мауки следил за ним и ждал, а кожа его тем временем подживала. Он приказал гребцам вытащить катер на берег, чтобы очистить дно и вообще привести шлюпку в порядок. Думая, что это распоряжение Бунстера, они беспрекословно повиновались. Но Бунстер в это время лежал без сознания и распоряжаться не мог. Казалось бы, удобный случай настал, но Мауки почему-то все еще медлил.

Лишь только миновал кризис и выздоравливающий, но слабый, как ребенок, Бунстер пришел в себя, Мауки уложил в сундучок свои скудные пожитки, в том числе и драгоценную ручку от фарфоровой чашки, и отправился в деревню переговаривать с королем и его двумя премьер-министрами.

— Эта хозяин Бунстер, он — хороший хозяин, вы много его любите? — спросил Мауки.

Те в один голос стали уверять, что вовсе его не любят. Министры изливались в жалобах, перечисляя все оскорбления и обиды, которые вытерпели от Бунстера. Король так расчувствовался, что даже всплакнул. Мауки грубо прервал их:

— Ваш мой слушай — мой большой господина в свой страна. Ваш не любит этот белый хозяин. Мой его не любит. Будет шибко хорош — ваш клади катер сто кокос, двести кокос, триста кокос. Ваш кончал таскай, ваш ходи спать. Канаки все ходи спать. Большой белый хозяин шибко дома шуметь. Ваш ничего не знай, ваш много крепко спать.

В том же духе Мауки переговаривал и с гребцами. Потом он приказал жене Бунстера вернуться к своим родным. Если бы она отказалась, он попал бы в затруднительное положение, ведь его тамбо не позволяло ему и пальцем притронуться к ней.

Когда дом опустел, Мауки вошел в спальню, где дремал Бунстер. Прежде всего он убрал от него револьверы, потом натянул рукавицу из кожи ската. Взмах рукавицы, содравшей Бунстеру всю кожу с носа, послужил ему первым предупреждением.

— Шибко хорош, хозяин? — ухмыльнулся Мауки между двумя взмахами рукавицы, первый из которых ободрал лоб, а



второй снял всю кожу с левой щеки агента.— Смейся, черт бери, смейся!

Мауки работал на совесть, и укрывшиеся в своих хижинах канаки слышали, как «большой хозяин шибко шумел» и продолжал шуметь еще с час, а то и больше.

Закончив свое дело, Мауки отнес компас и все имевшиеся в доме винтовки и патроны в катер и стал грузить в него ящики с табаком. Пока он занимался этим, из дома выскочило какое-то страшное багровое существо и с воплями устремилось к морю. Но пробежав несколько шагов, оно упало на песок и пыталось еще ползти, корчась и скуля под палящими лучами солнца. Мауки посмотрел в ту сторону; он, видимо, колебался. Затем подошел, аккуратно отделил Бунстеру голову от туловища, завернул ее в циновку и спрятал в ящик на корме катера.

Так крепко спали канаки весь этот долгий жаркий день, что не видели, как катер вышел в открытое море и повернул на юг, подгоняемый юго-восточным пассатом. Катер не был замечен и во время долгого перехода к острову Изабель и тогда, когда он, беспрестанно лавируя, шел против ветра оттуда на Малайту. Мауки прибыл в Порт-Адамс богачом: такой уймы винтовок и табаку здесь ни у кого до сих пор еще не было. Но он не остался там. Он отрезал голову белому человеку, и только лес мог быть ему защитой. Итак, Мауки вернулся в лесные селения, пристрелил старого Фанфоа и с десятков его приспешников, а себя провозгласил вождем. Когда умерли его отец и брат, Мауки стал править в Порт-Адамсе, они заключили союз, и жители джунглей и побережья, объединившись, стали наиболее грозной силой среди двухсот вечно враждующих между собой племен на Малаите.

Мауки очень боялся британского правительства, но еще больше боялся он всемогущей мыловаренной компании «Лунный блеск». И вот однажды в джунгли пришло известие: компания напоминала, что он ей должен за неотработанные восемь с половиной лет. Мауки ответил, что согласен уплатить; и тогда появился неизбежный белый человек, шкипер шхуны, единственный белый, который за все время правления Мауки осмелился углубиться в чащу и вышел оттуда цел и невредим. И этот человек не только вышел из чащи, но и унес с собой семьсот пятьдесят долларов золотом — возмещение за недополученные компанией восемь с половиной лет работы и за уступленные ею по себестоимости небезызвестные винтовки и ящики табаку.

Мауки весит уже не сто десять фунтов. У него живот в три обхвата и четыре жены. Много у него и всякого другого добра: винтовки, револьверы, ручка от фарфоровой чашки и великолепная коллекция голов, в которой представлены чуть ли не все лесные племена Малаиты. Но дороже всей коллекции ему одна голова, превосходно высушенная и сохранившаяся, с песочного цвета волосами и рыжеватой бородкой, бережно завернутая в тончайшую лава-лава. Когда Мауки отправляется в поход на своих соседей, он неизменно достает эту голову и один в своем тростниковом дворце долго и торжественно ее созерцает. В такие минуты деревня погружается в безмолвие, и в этой мертвой тишине даже грудной младенец не смеет пикнуть. Голову эту считают самым могущественным дьявол-дьяволом на Малаите и приписывают ей всю силу и величие Мауки.

АТУ ИХ, АТУ!

Это был пьянчуга шотландец, он глотал неразбавленное виски, как воду, и, зарядившись ровно в шесть утра, потом регулярно подкреплялся часов до двенадцати ночи, когда надо было укладываться спать. Для сна он урывал каких-нибудь пять часов в сутки, остальные же девятнадцать тихо и благородно выпивал. За два месяца моего пребывания на атолле Оолонг я ни разу не видел его трезвым. Он так мало спал, что и не успевал протрезвиться. Такого образцового пьяницу, который пил бы так прилежно и методично, мне еще не приходилось встречать.

Звали его Мак-Аллистер. Посмотреть — хлипкий старикашка, еле на ногах держится, руки трясутся, как у параличного, особенно когда он наливает себе стаканчик, но я ни разу не видел, чтобы он пролил хоть каплю. Двадцать восемь лет носило его по Меланезии, между германской Новой Гвинеей и германскими Соломоновыми островами¹, и он так акклиматизировался в этих краях, что и разговаривал уже на тамошнем тарабарском наречии, которое зовется «*bêche de mer*». Даже говоря со мной, не обходился он без таких выражений, как «солнце, он встал» — вместо «на рассвете», «кай-кай, он здесь» — вместо «обед подан» или «моя пуза гуляет» — вместо «живот болит».

Маленький человек, сухой, как щепка, прокаленный снаружи жгучим солнцем и винными парами изнутри, живой обломок шлака, еще не остывшего шлака, он двигался толчками,

¹ Германская Новая Гвинея и германские Соломоновы острова. — До первой мировой войны 1914—1918 годов Германия владела частью территории острова Новая Гвинея и частью архипелага Соломоновых островов.

как заведенный манекен. Казалось, его могло унести порывом ветра. Он и весил каких-нибудь девяносто фунтов, не больше.

Но, как ни странно, это был царек, облеченный всей полнотою власти. Атолл Оолонг насчитывает сто сорок миль в окружности. Только по компасу можно войти в его лагуну. В то время население Оолонга составляли пять тысяч полинезийцев; все — мужчины и женщины — статные, как на подбор, многие ростом не ниже шести футов и весом в двести фунтов с лишним. От Оолонга до ближайшей земли двести пятьдесят миль. Дважды в год навещалась сюда маленькая шхуна за копррой.

Мелкий торговец и отпетый пьяница, Мак-Аллистер был на Оолонге единственным представителем белой расы и правил его пятитысячным населением поистине железной рукой. Воля его была здесь законом. Любая его фантазия, любая прихоть исполнялись беспрекословно. Сварливый ворчун, какие нередко встречаются среди стариков шотландцев, он постоянно вмешивался в домашние дела дикарей. Так, когда Нугу, королевская дочь, избрала себе в мужа молодого Гаунау, жившего на другом конце атолла, отец дал согласие; но Мак-Аллистер сказал: «нет!» — и свадьба расстроилась. Или когда король пожелал купить у своего верховного жреца принадлежавший тому островок в лагуне, Мак-Аллистер опять сказал: «Нет!» Король задолжал Компании сто восемьдесят тысяч кокосовых орехов, и ни один кокос не должен был уйти на сторону, пока не будет выплачен весь долг.

Однако заботы Мак-Аллистера не снискали ему любви короля и народа. Вернее, его ненавидели лютой ненавистью. Как я узнал, жители атолла во главе со своими жрецами на протяжении трех месяцев творили заклинания, стараясь сжить тирана со света. Они насылали на него самых страшных своих духов, но Мак-Аллистер ни во что не верил, и никакой дьявол не был ему страшен. Такого пьяницу шотландца никакими заклятиями не проймешь. Напрасно дикари подбирали остатки пищи, которой касались его губы, бутылки из-под виски и кокосовые орехи, сок которых он пил, даже его плевки и колдовали над ними, — Мак-Аллистер жил не тужил. На здоровье он не жаловался, не знал, что такое лихорадка, кашель или простуда; дизентерия обходила его стороной, как и обычные в этих широтах злокачественные опухоли и кожные болезни, которым подвержены равно белые и черные. Он, верно, так проспиртовался, что никакой микроб не мог в нем уцелеть. Мне представлялось, что, едва угодив в окружающую Мак-Аллистера проспиртованную атмосферу, они так и падают к его

ногам мельчайшими частицами пепла. Все живое бежало Мак-Аллистера, даже микробы, а ему бы только виски. Так он и жил!

Это казалось мне загадкой: как могут пять тысяч туземцев мириться с самовластием какого-то старого сморчка? Каким чудом он еще держится, а не скончался скоропостижно уже много лет назад? В противоположность трусливым меланезийцам, местное племя отличается отвагой и воинственным духом. На большом кладбище, в головах и ногах погребенных, хранится немало кровавых трофеев — гарпуны, скребки для ворвани, ржавые штыки и сабли, медные болты, железные части руля, бомбарды, кирпичи — по-видимому, остатки печей на китобойных судах, старые бронзовые пушки шестнадцатого века — свидетельство того, что сюда заходили еще корабли первых испанских мореплавателей. Не один корабль нашел в этих водах безвременную могилу. И тридцати лет не прошло с тех пор, как китобойное судно «Бленнердейл», ставшее в лагуне на ремонт, попало в руки туземцев вместе со всем экипажем. Та же участь постигла команду «Гаскетта», шхуны, перевозившей сандаловое дерево. Большой французский парусник «Тулон» был застигнут штилем у берегов атолла и после отчаянной схватки взят на abordаж и потоплен у входа в Липау. Только капитану с горсточкой матросов удалось бежать на баркасе. И, наконец, испанские пушки — о гибели какого из первых отважных мореплавателей они возвещали? Но все это давно стало достоянием истории, — почитайте «Южно-Тихоокеанский справочник»! О существовании другой истории — неписаной — мне еще только предстояло узнать. Пока же я безуспешно ломал голову над тем, как пять тысяч дикарей до сих пор не расправились с каким-то выродком шотландцем, почему они даровали ему жизнь?

Однажды в знойный полдень мы с Мак-Аллистером сидели на веранде и смотрели на лагуну, которая чудесно отливала всеми оттенками драгоценных камней. За нами на сотни ярдов тянулись усеянные пальмами отмели, а дальше, разбиваясь о прибрежные скалы, ревел прибой. Было жарко, как в пекле. Мы находились на четвертом градусе южной широты, и солнце, всего лишь несколько дней назад пересекшее экватор, стояло в зените. Ни малейшего движения в воздухе и на воде. В этом году юго-восточный пассат перестал дуть раньше обычного, а северо-западный муссон еще не вступил в свои права.

— Сапожники они, а не плясуны, — упрямо твердил Мак-Аллистер.

Я отозвался о полинезийских плясках с похвалой, сказав, что папуасские¹ и в сравнение с ними не идут; Мак-Аллистер же, единственно по причине дурного характера, отрицал это. Я промолчал, чтобы не спорить в такую жару. К тому же мне еще ни разу не случалось видеть, как пляшут жители Оолонга.

— Сейчас я вам докажу, — не унимался мой собеседник и, подозвав туземца с Нового Ганновера, исполнявшего при нем обязанности повара и слуги, послал его за королем: — Эй ты, бой, скажи королю, пусть идет сюда.

Бой повиновался, и вскоре перед Мак-Аллистером предстал растерянный премьер-министр. Он бормотал какие-то извинения: король-де отдыхает и его нельзя тревожить.

— Король здорово крепко отдыхай, — сказал он в заключение.

Это привело Мак-Аллистера в такую ярость, что министр трусливо бежал и вскоре возвратился с самим королем. Я невольно залюбовался этой чудесной парой. Особенно поразил меня король, богатырь не менее шести футов трех дюймов росту. В его чертах было что-то орлиное — такие лица не редкость среди североамериканских индейцев. Он был не только рожден, но и создан для власти. Глаза его метали молнии, однако он покорно выслушал приказание созвать со всей деревни двести человек, мужчин и женщин, лучших танцоров. И они действительно плясали перед нами битых два часа под палящими лучами солнца. Пусть они за это еще больше возненавидели Мак-Аллистера — плевать ему было на чувства туземцев, и домой он проводил их бранью и насмешками.

Рабская покорность этих великолепных дикарей все сильнее и сильнее меня поражала. Я спрашивал себя: как это возможно? В чем тут секрет? И я все больше терялся в догадках, по мере того как новые доказательства этой непререкаемой власти вставали предо мной, но так и не находил ей объяснения.

Однажды я рассказал Мак-Аллистеру о своей неудаче: старик туземец, обладатель двух великолепных золотистых раковин «каури», отказался променять их мне на табак. В Сиднее я заплатил бы за них не менее пяти фунтов. Я предлагал ему двести плиток табаку, а он просил триста. Когда я упомянул

¹ Папуасы — негроидная группа племен Западной Меланезии. Полинезийцы — коренное население Полинезии. По этническим данным и по языку сильно отличаются от папуасов, относятся к так называемой малайско-полинезийской группе.



об этом невзначай, Мак-Аллистер вызвал к себе туземца, отобрал у него раковины и отдал мне. Красная цена им, рассудил он, пятьдесят плиток, и чтобы я и думать не смел предлагать больше. Туземец с радостью взял табак. Очевидно, он и на это не рассчитывал. Что касается меня, то я решил в будущем придержать язык. Я еще раз подивился могуществу Мак-Аллистера и, набравшись храбрости, даже спросил его об этом; Мак-Аллистер только хитро прищурился и с глубокомысленным видом отхлебнул из стакана.

Как-то ночью мы с Отти — так звали обиженного туземца — вышли в лагуну ловить рыбу. Я втихомолку вручил старику недоданные сто пятьдесят плиток, чем заслужил величайшее его уважение, граничившее с каким-то детским обожанием, тем более удивительным, что человек этот годился мне в отцы.

— Что это вы, канаки, точно малые дети, — приступил я к нему, — купец один, а вас, канаков, много. Вы лижете ему пятки, как трусливые собачонки. Бойтесь, что он съест вас? Так ведь у него и зубов нет. Откуда у вас этот страх?

— А если много канаки убивай купец? — спросил он.

— Он умрет, только и всего, — ответил я. — Ведь вам, канакам, не впервой убивать белых. Что же вы так испугались этого белого человека?

— Да, канаки много убивал белый человек, — согласился он. — Я правда говорю. Но только давно, давно. Один шхуна — я тогда совсем молодой — стал там, за атолл: ветер, он не дул. Нас много канаки, много-много челнов, надо нам поймай этот шхуна. И нас поймай эта шхуна — я правда говорю, — но после большой драки. Два-три белый стрелял как дьявол. Канак, он не знал страх. Везде, внизу,верху, много канак, может, десять раз пятьдесят. А еще на шхуна белый Мери. Моя никогда не видел белый Мери. Канаки убивал много-много белый. Только не капитан. Капитан, он живой, и еще пять-шесть белый не умирал. Капитан, он давал команда. Белый, он стрелял. Другой белый спускал лодка. А потом все марш-марш за борт. Капитан, он белый Мери тоже спускал за борт. Все греби, как дьявол. Мой отец, он тогда сильный был, бросал копье. Копье пробил бок белой Мери, пробил другой бок, выскочил наружу. Конец белой Мери. Нас, канаки, ничего не боялся.

Очевидно, гордость Отти была задета — он сдвинул набедренную повязку и показал мне шрам, в котором нетрудно было признать след пулевой раны. Но прежде чем я успел ему ответить, его поплавок сильно задергался. Отти подскочил, но леска не поддавалась, рыба успела уйти за ветвь коралла.

Старик посмотрел на меня с упреком, так как я разговорами отвлек его внимание, скользнул по борту вниз, потом, уже в воде, перевернулся и плавно ушел на дно следом за леской. Здесь было не меньше десяти сажений.

Перегнувшись, я с лодки следил за его мелькающими пятками. Постепенно теряясь в глубине, они тянули за собой в темную пучину призрачный, фосфорический след. Десять морских сажений — шестьдесят футов — что это значило для такого старика по сравнению с драгоценной снастью! Через минуту, показавшуюся мне вечностью, он, облитый белым сиянием, снова вынырнул из глубины. Выплыв на поверхность, он бросил в лодку десятифунтовую треску — крючок, торчавший в ее губе, благополучно вернулся к своему хозяину.

— Что ж, может, это и правда, — не отставал я. — Когда-то вы не боялись. Зато теперь купец нагнал на вас страху.

— Да, много страх, — согласился он, явно не желая продолжать разговор.

Мы еще с полчаса удили в полном молчании. Но вот под нами зашныряли мелкие акулы, они откусывали с наживкою и крючок, и мы, потеряв по крючку, решили подождать — пусть разбойники уберутся восвояси.

— Да, твоя верно говори, — вдруг словно спохватился Отти. — Канаки узнал страх.

Я зажег трубку и приготовился слушать. Хотя старик изъяснялся на ужасающем «*bêche de mer*», я передаю его рассказ на правильном английском языке. Но самый дух и строй его повествования я постараюсь сохранить.

— Вот тогда-то мы и возгордились. Столько раз дрались мы с чужими белыми людьми, что являются к нам с моря, и всегда побеждали. Немало полегло и наших, но что это в сравнении с сокровищами, что ждали нас на кораблях! И вот, может, двадцать, а может, двадцать пять лет назад у входа в лагуну показался корабль и прямехонько вошел в нее. Это была большая трехмачтовая шхуна. На ее борту находилось пять белых и человек сорок экипажа — все черные с Новой Гвинеи и Новой Британии. Они прибыли сюда для ловли трепангов. Шхуна стала на якорь у Паулоо — это на другом берегу, — ее лодки шныряли по всей лагуне. Повсюду они разбили свои лагеря и стали сушить трепангов. Когда белые разделились, они уже были нам не страшны: ловцы находились милях в пятидесяти от шхуны, а то и больше.

Король держал совет со старейшинами, и мне вместе с другими пришлось весь остаток дня и всю ночь плыть в челне на ту сторону лагуны, чтобы передать жителям Паулоо: мы со-

бираемся напасть на все становища сразу, а вы захватите шхуну. Сами гонцы, хоть и выбились из сил, тоже приняли участие в драке. На шхуне было двое белых, капитан и помощник, а с ними шесть черных. Капитана и трех матросов схватили на берегу и убили, но сначала капитан из двух револьверов уложил восьмерых наших. Видишь, как близко, лицом к лицу, сошлись мы с врагами!

Помощник услышал выстрелы и не стал ждать; он погрузил запас воды, съестное и парус в маленькую шлюпку, футов двенадцать длиной. Мы, тысяча человек, в челнах, усеявших всю лагуну, двинулись на судно. Наши воины дули в раковины, оглашали воздух песнями войны и громко били веслами о борт. Что мог сделать один белый и трое черных против всех нас? Ничего — и помощник знал это.

Но белый человек подобен дьяволу. Стар я и немало белых перевидал на своем веку, но теперь, наконец, понял, как случилось, что белые захватили все острова в океане. Это потому, что они дьяволы. Взять хоть тебя, что сидишь со мною в одной лодке. Ты еще молод годами. Что ты знаешь? Мне каждый день приходится учить тебя то тому, то другому. Да я еще мальчишкой знал о рыбе и ее привычках больше, чем знаешь ты сейчас. Я, старый человек, ныряю на дно лагуны, а ты... где тебе за мной угнаться! Так на что же, спрашивается, ты годишься? Разве только на то, чтобы драться. Я никогда не видел тебя в бою, но знаю, ты во всем подобен своим братьям, и дерешься ты верно, как дьявол. И ты такой же глупец, как твои братья, — ни за что не признаешь себя побежденным. Будешь драться насмерть и так и не узнаешь, что ты разбит.

А теперь послушай, что сделал помощник. Когда мы, дуя в раковины, окружили шхуну и от наших челнов почернела вся вода кругом, он спустил шлюпку и вместе с матросами направился к выходу в открытое море. И опять по этому видно, какой он глупец. Ни один умный человек не отважится выйти в море на такой шлюпке. Борта ее и на четыре дюйма не выдавались над водой. Двадцать челнов устремились за ним в погоню, в них было двести человек — вся наша молодежь. Пока матросы проходили на своей шлюпке одну сажень, мы успевали пройти пять. Дела его были совсем плохи, но, говорю тебе, это был глупец. Он стоял в шлюпке и выпускал заряд за зарядом. Он был никудышный стрелок, но мы его догоняли, и у нас все прибывало убитых и раненых. Но все равно дела его были совсем, совсем плохи.

Помню, он не выпускал изо рта сигары. Когда же мы, изо всех сил налегая на весла, приблизились к нему шагов на со-

рок, он бросил винтовку, поднес сигару к динамитной шашке и кинул ее в нашу сторону. Он зажигал все новые и новые шашки и бросал их одну за другой, без счета. Теперь я понимаю, что он расщеплял шнур и вставлял в него спичечные головки, чтобы шнур скорее сгорал, и у него были очень короткие шнуры. Иногда шашка взрывалась в воздухе, но чаще в каком-нибудь челне, и всякий раз, как она взрывалась в челне, от людей ничего не оставалось. Из двадцати наших лодок половина была разбита в щепы. Та, где сидел я, тоже взлетела на воздух, а с нею двое моих товарищей — динамит взорвался как раз между ними. Остальные повернули назад. Тогда помощник с криком «Ату их, ату!» опять схватился за ружье и стал стрелять нам в спину. И все это время его черные матросы гребли изо всех сил. Видишь, я не обманул тебя, человек этот и вправду был дьявол.

Но этим дело не кончилось. Оставляя шхуну, он поджег ее и устроил так, чтобы весь порох и динамит на борту взорвались одновременно. Сотни наших тушили пожар и качали воду, когда шхуна взлетела на воздух. И вот добыча, за которой мы гнались, ушла от нас, а сколько наших было убито! Даже и сейчас, когда я стар и меня навещают дурные сны, я слышу, как помощник кричит: «Ату их, ату!» Громовым голосом кричит он: «Ату их, ату!» Зато из тех белых, кто был застигнут на берегу, ни один не остался в живых.

Помощник в своей маленькой лодке вышел в океан — на верную гибель, как мы думали, разве может такое суденышко с четырьмя гребцами уцелеть в открытом море? Но прошел месяц, и в часы затишья между двумя ливнями в лагуну вошел корабль и стал на якорь против нашей деревни. Король собрал старейшин, было решено дня через два-три напасть на корабль. Тем временем, соблюдая обычай, мы поплыли в наших челнах приветствовать гостей и захватили с собой связки кокосов, птицу и свиней для обмена. Но едва наши головные поравнялись со шхуной, как люди на борту начали расстреливать нас из винтовок. Остальные обратились в бегство. Изо всех сил налегая на весла, я увидел Помощника — того, что в маленькой лодке бежал в открытое море: он взобрался на борт, и приплясывал, и орал во все горло: «Ату их, ату!»

В тот же полдень к берегу подошли три шлюпки; в них было полным-полно белых людей, и они высадились в нашей деревне. Они прошли ее из конца в конец и убивали каждого на своем пути. Они перебили всю птицу и всех свиней. Те из нас, что спаслись от пуль, сели в челны и укрылись в лагуне. Отъезжая от берега, мы увидели, что вся деревня в огне. К вечеру

нам повстречалось много челнов из селения Нихи у прохода Нихи, что на северо-востоке. Это были те, кому, как и нам, удалось спастись, их деревня была сожжена дотла вторым кораблем, вошедшим в лагуну через северо-восточный проход Нихи.

Темнота застала нас западнее Паулоо. Здесь в глухую полночь до нас донесся женский плач, и мы врезались в целую стаю челнов с беглецами из Паулоо. Это было все, что осталось от людной деревни; теперь там курилось огромное пожарище, так как в Паулоо тем временем пришла третья шхуна. Как оказалось, помощник вместе с тремя черными матросами добрался до Соломоновых островов и рассказал своим братьям, что произошло на Оолонге. И тогда его братья сказали, что пойдут и накажут нас. Вот они и явились на трех шхунах, и три наши деревни были стерты с лица земли.

Что же нам было делать? Наутро два корабля, воспользовавшись попутным ветром, настигли нас посреди лагуны. Дул сильный ветер, и они мчались прямо на нас, топя на своем пути десятки челнов. Мы бежали от них врассыпную, как летучая рыба бежит от меч-рыбы, и нас было так много, что тысячам канаков удалось все же укрыться на окраинных островах.

Но и после этого три корабля продолжали охотиться за нами по всей лагуне. Ночью мы благополучно прокрались мимо них. И на второй, и на третий, и на четвертый день шхуны возвращались и гнали нас на другой конец лагуны. И так день за днем. Мы потеряли счет убитым и уже не вспоминали о них. Правда, нас было много, а белых мало. Но что могли мы сделать? Я находился среди тех храбрецов, что собрались в двадцати челнах и были готовы сложить голову. Мы напали на шхуну, что поменьше. Они убивали нас без пощады. Они забросали нас динамитными шашками, а когда динамит кончился, стали поливать кипящей водой. Их ружья ни на минуту не смолкали. Тех, кто спасся с затонувших лодок и пустился вплавь, они приканчивали в воде. А помощник опять плясал на палубе рубки и кричал во все горло: «Ату их, ату!»

Каждый дом на самом крошечном островке был сожжен дотла. Они не оставили нам ни одной курицы, ни одной свиньи. Все колодцы были забиты трупами или доверху засыпаны обломками коралла. До прихода трех шхун нас было на Оолонге двадцать пять тысяч. Сейчас нас пять тысяч, тогда как после их ухода, как ты увидишь, нас оставалось всего три тысячи.

Наконец трем шхунам надоело перегонять нас из конца в конец по всей лагуне. Они собрались в Нихи, что у севе-

ро-восточного прохода, и оттуда стали теснить нас на запад. Белые спустили девять шлюпок и обшаривали каждый остров. Они преследовали нас неустанно, день за днем. А едва наступала ночь, три шхуны и девять шлюпок выстраивались в сторожевую цепь, которая тянулась через всю лагуну, из края в край, и не давала проскользнуть ни одному челну.

Это не могло длиться вечно. Ведь лагуна не так уж велика. Все, кто остался в живых, были вытеснены на западное побережье. Дальше простирался океан. Десять тысяч канаков усеяло песчаную отмель от входа в лагуну до прибрежных скал, где пенился прибой. Никто не мог ни прилечь, ни размять ноги, для этого просто не было места. Мы стояли бедро к бедру, плечо к плечу. Два дня они продержали нас так, помощник то и дело взбирался на мачту и, глумясь над нами, оглашал воздух криками: «Ату их, ату!» Мы уже сожалели, что месяц назад осмелились поднять руку на него и его шхуну. Мы были голодны и двое суток простояли на ногах. Умикали дети, умирали старые и слабые, и те, кто истекал кровью от ран. Но самое ужасное — не было воды, чтобы утолить жажду. Два дня сжигало нас солнце и не было тени, чтобы укрыться. Многие мужчины и женщины искали спасения в прохладном океане, и кипящие буруны выбрасывали на скалы их тела. Новая казнь — нас роями осаждали мухи. Кое-кто из мужчин пытался вплавь добраться до шхун, но всех их до одного пристрелили в воде. Те из нас, кто остался жив, горько сожалели, что напали на трехмачтовое судно, вошедшее в лагуну для ловли трепангов.

Наутро третьего дня к нам подъехала лодка, в ней сидели три капитана вместе с помощником. Вооруженные до зубов, они вступили с нами в переговоры. Они только потому прекратили избиение, объявили капитаны, что устали нас убивать. А мы уверяли их, что раскаиваемся, никогда мы больше не поднимем руку на белого человека и в доказательство своей покорности посыпали голову песком.

Тут наши женщины и дети стали громко вопить, моля дать им воду, и долгое время ничего нельзя было разобрать. Наконец мы услышали свой приговор. Нам было приказано нагрузить все три корабля копррой и трепангами. Мы согласились. Нас мучила жажда, и мужество оставило нас: теперь мы знали, что в бою канаки сущие дети по сравнению с белыми, которые сражаются, как дьяволы. А когда переговоры кончились, помощник встал и, насмехаясь, закричал нам вслед: «Ату их, ату!» После этого мы сели в лодки и отправились на поиски воды.

Проходили недели, а мы все ловили и сушили трепангов, собирали кокосы и готовили из них копру. День и ночь дым густой пеленой стлался над всеми островами Оолонга — так искупали мы свою вину. Ибо в те дни смерти нам каленым железом выжгли в мозгу, что нельзя поднимать руку на белого человека.

Но вот трюмы шхун наполнились трепангами и копррой, а наши пальмы были начисто обобраны. И тогда три капитана и помощник снова созвали нас для важного разговора. Они сказали, что сердце у них радуется, так хорошо канаки затвердили свой урок, а мы в тысячный раз уверяли их в своем раскаянии и клялись, что больше это не повторится, и опять посыпали голову песком. И капитаны сказали, что все это очень хорошо. Но в знак своей милости они приставят к нам дьявола, дьявола из дьяволов, чтобы было кому нас остеречь, если мы задумаем зло против белого человека. И тогда помощник, чтобы поглумиться над нами, еще раз крикнул: «Ату их, ату!» Шестеро наших, которых мы уже оплакивали, как мертвых, были спущены на берег, после чего корабли, подняв паруса, ушли к Соломоновым островам.

Шесть высаженных на берег канаков первыми пали жертвой страшного дьявола, которого приставили к нам капитаны.

— Вас посетила тяжкая болезнь? — перебил я, сразу раскусив, в чем заключалась хитрость белых.

На борту одной из шхун свирепствовала корь, и пленников умышленно заразили этой болезнью.

— Да, тяжкая болезнь. Это был могущественный дьявол. Самые древние старики не слыхали о таком. Мы убили последних жрецов, остававшихся в живых, за то, что они не могли справиться с этим дьяволом. Болезнь что ни день становилась злее. Я уже говорил, что тогда, на песчаной отмели, бедро к бедру и плечо к плечу стояли десять тысяч человек. Когда же болезнь ушла прочь, нас осталось только три тысячи. И так как все кокосы ушли на копру, в стране начался голод.

— Этот купец, — сказал Отти в заключение, — он кучка навоза, что валяйся на дороге. Он гнилой мясо, черви его кай-кай, он смердит. Он пес, шелудивый пес, его заеда́й блохи. Канак, он не бойся купец. Он бойся белый человек. Он слишком хорошо знает, что значит — убей белый человек. Шелудивый пес купец, он имей много братья, братья не давай его в обиду, они сражайся, как дьявол. Канак, он ни бойся окаянный купец. Канак злой-злой, он рад убей купец, но он помни

страшный дьявол. Помощник кричи: «Ату их, ату!» — и канак, он не убивай.

Отти зубами вырвал кусок мякоти из брюшка огромной, судорожно бившейся макрели, насадил на крючок и крючок с наживкой, озаренный призрачным светом, стал быстро погружаться на дно.

— Акула марш-марш,— сказал Отти.— Теперь нас поймай много-много рыба.

Поплавок отчаянно дернуло. Старик потащил леску, осторожно выбирая ее руками, и большая треска, сердито разевая пасть, шлепнулась на дно лодки.

— Солнце, он вставай,— сказал Отти,— моя неси окаянный купец большой-большой рыба задаром.

СТРАШНЫЕ СОЛОМОНОВЫ ОСТРОВА

Вряд ли кто станет утверждать, что Соломоновы острова — райское местечко, хотя, с другой стороны, на свете есть места и похуже. Но новичку, незнакомому с жизнью вдали от цивилизации, Соломоновы острова могут показаться сущим адом.

Правда, там до сих пор свирепствует тропическая лихорадка, и дизентерия, и всякие кожные болезни; воздух там насквозь пропитан ядом, который, просачиваясь в каждую царапину и ссадину, превращает их в гноящиеся язвы, так что редко кому удастся выбраться оттуда живым, и даже самые крепкие и здоровые люди зачастую возвращаются на родину жалкими развалинами. Правда и то, что туземные обитатели Соломоновых островов до сих пор еще пребывают в довольно диком состоянии; они с большой охотой едят человечину и одержимы страстью коллекционировать человеческие головы. Подкрасться к своей жертве сзади и одним ударом дубины перебить ей позвонки у основания черепа считается там верхом охотничьего искусства. До сих пор на некоторых островах, как, например, на Малаите, вес человека в обществе зависит от числа убитых им, как у нас — от текущего счета в банке; человеческие головы являются самым ходким предметом обмена, причем особенно ценятся головы белых. Очень часто несколько деревень складываются и заводят общий котел, который пополняется из месяца в месяц, пока какой-нибудь смелый воин не представит свеженькую голову белого, с еще не запекшейся на ней кровью, и не потребует в обмен все накопленное добро.

Все это правда, и, однако, немало белых людей десятками лет живут на Соломоновых островах и тоскуют, когда приходится их покинуть. Белый может долго прожить на Соломо-

новых островах, для этого ему нужна только осторожность и удача, а кроме того, надо, чтобы он был неукротимым. Печатью неукротимости должны быть отмечены его мысли и поступки. Он должен уметь с великолепным равнодушием встречать неудачи, должен обладать колоссальным самомнением, уверенностью, что все, что бы он ни сделал, правильно; должен, наконец, непоколебимо верить в свое расовое превосходство и никогда не сомневаться в том, что один белый в любое время может справиться с тысячью черных, а по воскресным дням — и с двумя тысячами. Именно это и сделало белого неукротимым. Да, и еще одно обстоятельство: белый, который желает быть неукротимым, не только должен глубоко презирать все другие расы и превыше всех ставить самого себя, но и должен быть лишен всяких фантазий. Не следует ему также вникать в побуждения, мысли и обычаи черно-, желто- и краснокожих, ибо отнюдь не этим руководилась белая раса, совершая свое триумфальное шествие вокруг всего земного шара.

Берти Аркрайт не принадлежал к числу таких белых. Для этого он был чересчур нервным и чувствительным, с излишне развитым воображением. Слишком болезненно воспринимал он все впечатления, слишком остро реагировал на окружающее. Поэтому Соломоновы острова были для него самым неподходящим местом. Правда, он и не собирался долго там задерживаться. Пяти недель, пока не придет следующий пароход, было, по его мнению, вполне достаточно, чтобы удовлетворить тягу к первобытному, столь приятно щекотавшему его нервы. По крайней мере так — хотя и в несколько иных выражениях — он излагал свои планы попутчицам по «Макембо», а те смотрели на него как на героя, ибо сами они, как и подобает путешествующим дамам, намеревалисьзнакомиться с Соломоновыми островами, не покидая безопасной паровой палубы.

На борту парохода находился еще один пассажир, который, впрочем, не пользовался вниманием прекрасного пола. Это был маленький сморщенный человечек с загорелым до черна лицом, иссушенным ветрами и солнцем. Имя его — то, под которым он значился в списке пассажиров, — никому ничего не говорило. Зато его прозвище — капитан Малу — было хорошо известно всем туземцам от Нового Ганновера до Новых Гебридов; они даже пугали им непослушных детей. Используя все — труд дикарей, самые варварские меры, лихорадку и голод, пули и бичи надсмотрщиков, — он нажил состояние в пять миллионов, выражавшееся в обширных запасах трепанга и сандалового дерева, перламутра и черепаховой кости,

пальмовых орехов и копры, в земельных участках, факториях и плантациях.

В одном покалеченном мизинце капитана Малу было больше неукротимости, чем во всем существе Берти Аркрайта. Но что поделаешь! Путешествующие дамы судят главным образом по внешности, а внешность Берти всегда завоевывала ему симпатии дам.

Разговаривая как-то с капитаном Малу в курительной комнате, Берти открыл ему свое твердое намерение изведать «бурную и полную опасностей жизнь на Соломоновых островах», — так он при этом случае выразился. Капитан Малу согласился с тем, что это весьма смелое и достойное мужчины намерение. Но настоящий интерес к Берти появился у него лишь несколькими днями позже, когда тот вздумал показать ему свой автоматический пистолет 44-го калибра. Объяснив систему зарядания, Берти для наглядности вставил снаряженный магазин в рукоятку.

— Видите, как просто, — сказал он, отводя ствол назад. — Теперь пистолет заряжен и курок взведен. Остается только нажимать на спусковой крючок, до восьми раз, с любой желательной вам скоростью. А посмотрите сюда, на защелку предохранителя. Вот что мне больше всего нравится в этой системе. Полная безопасность! Возможность несчастного случая абсолютно исключена! — Он вытащил магазин и продолжал: — Вот! Видите, насколько эта система безопасна?

Пока Берти производил свои манипуляции, выцветшие глаза капитана Малу пристально следили за пистолетом, особенно под конец, когда дуло пришлось как раз в направлении его живота.

— Будьте любезны, направьте ваш пистолет на что-нибудь другое, — попросил он.

— Он не заряжен, — успокоил его Берти. — Я же вытащил магазин. А незаряженные пистолеты не стреляют, как вам известно.

— Бывает, что и палка стреляет.

— Эта система не выстрелит.

— А вы все-таки поверните его в другую сторону.

Капитан Малу говорил негромко и спокойно, с металлическими нотками в голосе, но глаза его ни на миг не отрывались от дула пистолета, пока Берти не отвернул его наконец в сторону.

— Хотите пари на пять фунтов, что пистолет не заряжен? — с жаром воскликнул Берти.

Его собеседник отрицательно покачал головой.

— Хорошо же, я докажу вам...

И Берти приставил пистолет к виску с очевидным намерением спустить курок.

— Подождите минутку,— спокойно сказал капитан Малу, протягивая руку.— Дайте, я еще разок на него взгляну.

Он направил пистолет в море и нажал спуск. Раздался оглушительный выстрел, механизм щелкнул и выбросил на палубу дымящуюся гильзу. Берти застыл с открытым ртом.

— Я, кажется, отводил назад ствол, да?— пробормотал он.— Как глупо...

Он жалко улыбнулся и тяжело опустился в кресло. В лице у него не было ни кровинки, под глазами обозначились темные круги, руки так тряслись, что он не мог донести до рта дрожащую сигарету. У него было слишком богатое воображение: он уже видел себя распростертым на палубе с простреленной головой.

— В-в-вот история!— пролепетал он.

— Ничего, хорошая штука,— сказал капитан Малу, возвращая пистолет.

На борту «Макембо» находился правительственный резидент, возвращающийся из Сиднея, и с его разрешения пароход зашел в Уги, чтобы высадить на берег миссионера. В Уги стояло небольшое двухмачтовое суденышко «Арла» под командованием шкипера Гансена. «Арла», как и многое другое, тоже принадлежала капитану Малу, и по его приглашению Берти перешел на нее, чтобы погостить там несколько дней и принять участие в вербовочном рейсе вдоль берегов Малаиты. Через четыре дня его должны были посадить на плантации Реминдж (тоже собственность капитана Малу), где он мог пожить недельку, а затем отправиться на Тулаги — местопребывание резидента — и остановиться у него в доме. Остается еще упомянуть о двух предложениях капитана Малу, сделанных им шкиперу Гансену и мистеру Гаривелу, управляющему плантацией, после чего он надолго исчезает из нашего повествования. Сущность обоих предложений сводилась к одному и тому же — показать мистеру Бертраму Аркрайту «бурную и полную опасностей жизнь на Соломоновых островах». Говорят также, будто капитан Малу намекнул, что тот, кто доставит мистеру Аркрайту наиболее яркие переживания, получит премию в виде ящика шотландского виски.

— Между нами, Сварц всегда был порядочным идиотом. Как-то повез он четверых своих гребцов на Тулаги, чтобы их

там высекли — конечно, совершенно официально. И с ними же отправился на вельботе обратно. В море немного штормило, и вельбот перевернулся. Все спаслись, ну, а Сварц — Сварц-то утонул. Разумеется, это был несчастный случай.

— Вот как? Очень интересно, — рассеянно заметил Берти, так как все его внимание было поглощено чернокожим гигантом, стоявшим у штурвала.

Уги остался за кормой, и «Арла» легко скользила по сверкающей глади моря, направляясь к густо поросшим лесом берегам Малианты. Сквозь кончик носа у рулевого, так занимавшего внимание Берти, был щегольски продет большой гвоздь, на шее красовалось ожерелье из брючных пуговиц, в ушах висели консервный нож, сломанная зубная щетка, глиняная трубка, медное колесико будильника и несколько гильз от винчестерных патронов; на груди болталась половинка фарфоровой тарелки. По палубе в разных местах разлеглось около сорока чернокожих, разукрашенных примерно таким же образом. Пятнадцать человек из них составляли экипаж судна, остальные были завербованные рабочие.

— Конечно, несчастный случай, — заговорил опять помощник шкипера «Арлы» Джекобс, худощавый, с темными глазами, похожий скорее на профессора, чем на моряка. — С Джонни Бедилом тоже чуть было не приключился такой же несчастный случай. Он тоже вез домой нескольких высеченных, и они перевернули ему лодку. Но он плавал не хуже их и спасся с помощью багра и револьвера, а двое черных утонули. Тоже несчастный случай.

— Это здесь частенько бывает, — заметил шкипер. — Взгляните вон на того парня у руля, мистер Аркрайт! Ведь самый настоящий людоед. Полгода назад он вместе с остальной командой утопил тогдашнего шкипера «Арлы». Прямо на палубе, сэр, вон там, у бизань-мачты.

— А уж в какой вид палубу привели — смотреть было страшно, — проговорил помощник.

— Позвольте, вы хотите сказать?.. — начал Берти.

— Вот, вот, — прервал его шкипер Гансен. — Несчастный случай. Утонул человек.

— Но как же — на палубе?

— Да уж вот так. Между нами говоря, они воспользовались топором.

— И это — теперешний ваш экипаж?!

Шкипер Гансен кивнул.

— Тот шкипер был уж очень неосторожен, — объяснил помощник. — Повернулся к ним спиной, ну... и пострадал.

— Нам приходится избегать лишнего шума,— пожаловался шкипер.— Правительство всегда стоит за черномазых. Мы не можем стрелять первыми, а должны ждать, пока выстрелит черный. Не то правительство объявит это убийством, и вас отправят на Фиджи. Вот почему так много несчастных случаев. Тонут, что поделаешь.

Подали обед, и Берти со шкипером спустились вниз, оставив помощника на палубе.

— Смотрите в оба за этим чертом Ауки,— предупредил шкипер на прощание.— Что-то не нравится мне последнее время его рожа.

— Ладно,— ответил помощник.

Обед еще не закончился, и шкипер дошел как раз до середины своего рассказа о том, как была вырезана команда на судне «Вожди Шотландии».

— Да,— говорил он,— отличное было судно, одно из лучших на побережье. Не успели вовремя повернуть, ну и напоролись на риф, а тут сразу же на них набросилась целая флотилия челнов. На борту было пятеро белых и двадцать человек команды с Самоа и Санта-Крус, а спасся один второй помощник. Кроме того, погибло шестьдесят человек завербованных. Всех их дикари — кай-кай. Что такое кай-кай? Прошу прощения, я хотел сказать — всех их съели. Потом еще «Джемс Эдвардс», прекрасно оснащенный...

Громкая брань помощника прервала шкипера. На палубе раздались дикие крики, затем прогремели три выстрела, и что-то тяжелое упало в воду. Одним прыжком шкипер Гансен взлетел по трапу, ведущему на палубу, на ходу вытаскивая револьвер. Берти тоже полез наверх, хотя и не столь быстро, и с осторожностью высунул голову из люка. Но ничего не случилось. На палубе стоял помощник с револьвером в руке, трясаясь, как в лихорадке. Вдруг он вздрогнул и отскочил в сторону, как будто сзади ему угрожала опасность.

— Туземец упал за борт,— доложил он каким-то странным, звенящим голосом.— Он не умел плавать.

— Кто это был? — строго спросил шкипер.

— Ауки!

— Позвольте, мне кажется, я слышал выстрелы,— вмешался Берти, испытывая приятный трепет от сознания опасности — тем более приятный, что опасность уже миновала.

Помощник круто повернулся к нему и прорычал:

— Вранье! Никто не стрелял. Черномазый просто упал за борт.

Гансен посмотрел на Берти немигающим, невидящим взглядом.

— Мне показалось,— начал было Берти.

— Выстрелы? — задумчиво проговорил шкипер.— Вы слышали выстрелы, мистер Джекобс?

— Ни единого,— отвечал помощник.

Шкипер с торжествующим видом повернулся к своему гостю.

— Очевидно, несчастный случай. Спустимся вниз, мистер Аркрайт, и закончим обед.

В эту ночь Берти спал в крошечной каюте, отгороженной от кают-компаний и важно именовавшейся капитанской каютой. У носовой переборки красовалась ружейная пирамида. Над изголовьем койки висело еще три ружья. Под койкой стоял большой ящик, в котором Берти обнаружил патроны, динамит и несколько коробок с бикфордовым шнуром. Берти предпочел перейти на диванчик у противоположной стены, и тут его взгляд упал на судовой журнал «Арлы», лежавший на столике. Ему и в голову не приходило, что этот журнал был изготовлен капитаном Малу специально для него. Из журнала Берти узнал, что двадцать первого сентября двое матросов упали за борт и утонули. Но теперь Берти уже научился читать между строк и знал, как это надо понимать. Далее он прочитал о том, как в зарослях на Суу вельбот с «Арлы» попал в засаду и потерял трех человек убитыми; как шкипер обнаружил в котле у повара человеческое мясо, которое команда купила, сойдя на берег в Фуи; как во время сигнализации случайным взрывом динамита были перебиты все гребцы в шлюпке. Он прочитал также о ночных нападениях на шхуну, о ее спешном бегстве со стоянок под покровом ночной темноты, о нападениях лесных жителей на команду в мангровых зарослях и о сражениях с дикарями в лагунах и бухтах. То и дело Берти натыкался на случаи смерти от дизентерии. Со страхом он заметил, что так умерли двое белых, подобно ему гостивших на «Арле».

— Послушайте, э-э!..— обратился на другой день Берти к шкиперу Гансену.— Я заглянул в ваш судовой журнал...

Шкипер был, по-видимому, крайне раздосадован тем, что судовой журнал попался на глаза постороннему человеку.

— Так вот эта дизентерия—это такая же ерунда, как и все ваши несчастные случаи,— продолжал Берти.— Что на самом деле имеется в виду под дизентерией?

Шкипер изумился проницательности своего гостя, сделал было попытку все отрицать, потом сознался.

— Видите ли, мистер Аркрайт, дело вот в чем. Эти острова и так уже имеют печальную славу. С каждым днем становится все труднее вербовать белых для здешней работы. Предположим, белого убили—Компании придется платить бешеные деньги, чтобы заманить сюда другого. А если он умер от болезни,—ну, тогда ничего. Против болезней новички не возражают, они только не согласны, чтобы их убивали. Когда я поступал сюда, на «Арлу», я был уверен, что ее прежний шкипер умер от дизентерии. Потом я узнал правду, но было уже поздно: я подписал контракт.

— Кроме того,—добавил мистер Джекобс,—слишком уж много получается несчастных случаев. Это может вызвать ненужные разговоры. А во всем виновато правительство. Что еще остается делать, если белый не имеет возможности защитить себя от черномазых?

— Правильно,—подтвердил шкипер Гансен.—Возьмите хотя бы случай с «Принцессой» и этим янки, который служил на ней помощником. Кроме него, на судне было еще пятеро белых, в том числе правительственный агент. Шкипер, агент и второй помощник съехали на берег в двух шлюпках. Их всех перебили до одного. На судне оставались помощник, боцман и пятнадцать человек команды, уроженцев Самоа и Тонга. С берега явилась толпа дикарей. Помощник и оглянуться не успел, как боцман и экипаж были перебиты. Тогда он схватил три патронташа и два винчестера, влез на мачту и стал оттуда стрелять. Он словно взбесился при мысли, что все его товарищи погибли. Палил из одного ружья, пока оно не раскалилось. Потом взялся за другое. На палубе было темно от дикарей—ну, он всех их прикончил. Бил их влет, когда они прыгали за борт, бил в лодках, прежде чем они успевали схватиться за весла. Тогда они стали кидаться в воду, думали добраться до берега вплавь, а он уже так рассвирепел, что и в воде перестрелял еще с полдесятка. И что же он получил в награду?

— Семь лет каторги на Фиджи,—угрюмо бросил помощник.

— Да, правительство заявило, что он не имел права стрелять дикарей в воде,—пояснил шкипер.

— Вот почему они теперь умирают от дизентерии,—закончил Джекобс.

— Подумать только,—заметил Берти, чувствуя острое желание, чтобы эта поездка скорее кончилась.

В этот же день он имел беседу с туземцем, который, как ему сказали, был людоедом. Звали туземца Сумазаи. Три года он проработал на плантации в Квинсленде, побывал и в Сид-

нее, и на Самоа, и на Фиджи. В качестве матроса на вербовочной шхуне он объездил почти все острова — Новую Британию и Новую Ирландию, Новую Гвинею и Адмиралтейские острова. Он был большой шутник и в разговоре с Берти следовал примеру шкипера. Ел ли он человечину? Случалось. Сколько раз? Ну, разве запомнишь. Едал и белых. Очень вкусные, только не тогда, когда они больные. Раз как-то случилось ему попробовать больного.

— Фу! Плохой! — воскликнул он с отвращением, вспоминая об этой трапезе. — Я потом сам очень больной чуть кишки наружу не вылазил.

Берти передернуло, но он мужественно продолжал расспросы. Есть ли у Сумазаи головы убитых? Да, несколько голов он припрятал на берегу, все они в хорошем состоянии — высушенные и прокопченные. Одна с длинными бакенбардами — голова шкипера шхуны. Ее он согласен продать за два фунта, головы черных — по фунту за каждую. Еще у него есть несколько детских голов, но они плохо сохранились. За них он просит всего по десять шиллингов.

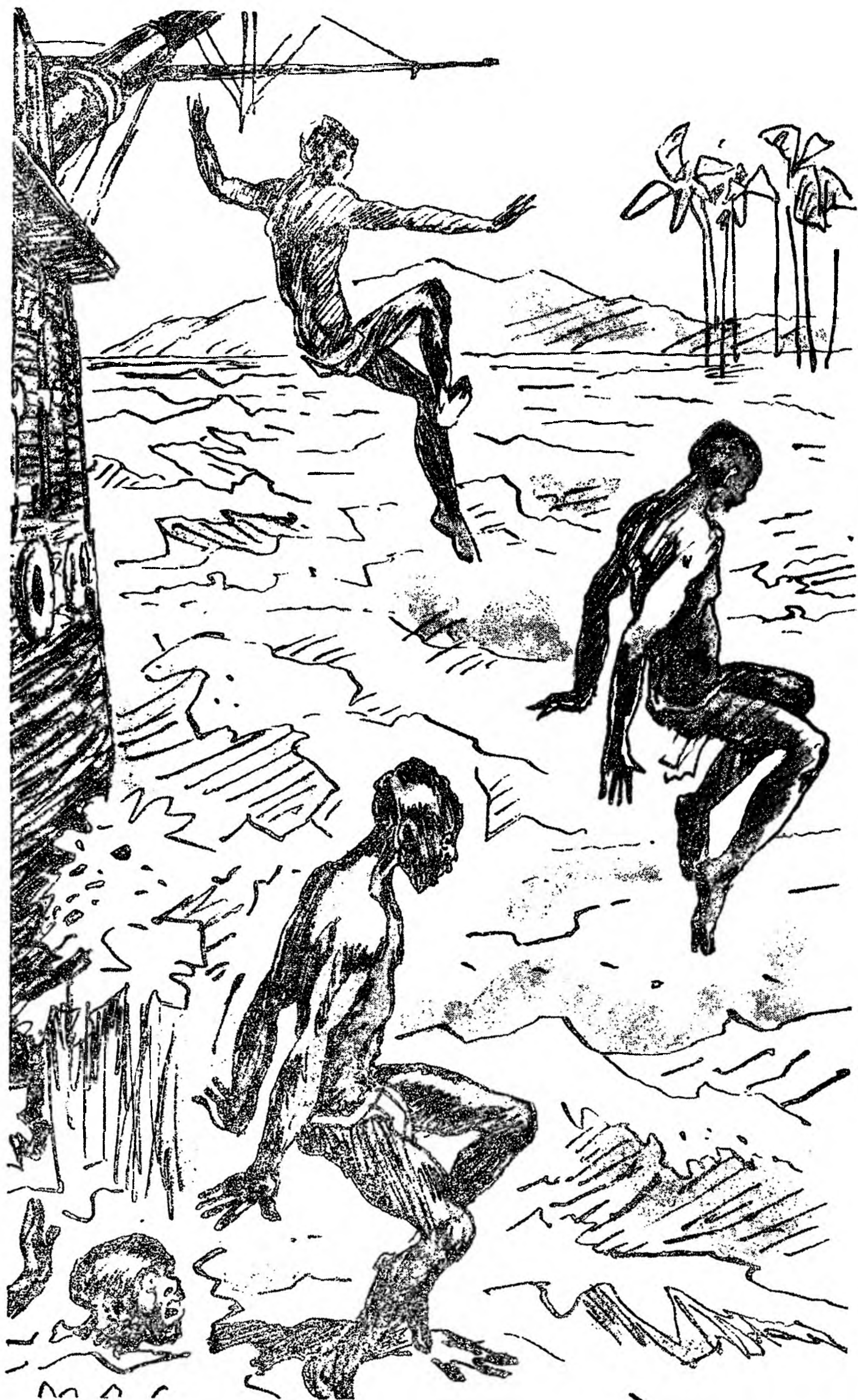
Немного погодя, присев в раздумье на трапе, Берти вдруг обнаружил рядом с собой туземца с какой-то ужасной кожной болезнью. Он вскочил и поспешно удалился. Когда он спросил, что у этого парня, ему ответили — проказа. Как молния, влетел он в свою каюту и тщательно вымылся антисептическим мылом. За день ему пришлось еще несколько раз мыться, так как оказалось, что все туземцы на борту больны той или другой заразной болезнью.

Когда «Арла» бросила якорь среди мангровых болот, над бортом протянули двойной ряд колючей проволоки. Это выглядело весьма внушительно, а когда вблизи показалось множество челнов, в которых сидели туземцы, вооруженные копьями, луками и ружьями, Берти еще раз подумал, что хорошо бы поездка скорее кончалась.

В этот вечер туземцы не спешили покинуть судно, хотя им не разрешалось оставаться на борту после заката солнца. Они даже стали дерзить, когда помощник приказал им убираться восвояси.

— Ничего, сейчас они запоют у меня по-другому, — заявил шкипер Гансен, ныряя в люк.

Вернувшись, он украдкой показал Берти палочку с прикрепленным к ней рыболовным крючком. Простая аптечная склянка из-под хлородина, обернутая в бумагу, с привязанным к ней куском бикфордова шнура может вполне сойти за динамитную шашку. И Берти и туземцы были введены в заблужде-



ние. Стоило шкиперу Гансену поджечь шнур и прицепить крючок к набедренной повязке первого попавшегося дикаря, как того сразу охватило страстное желание очутиться как можно скорее на берегу. Забыв все на свете и не догадываясь сбросить с себя повязку, несчастный рванулся к борту. За ним, шипя и дымя, волочился шнур, и туземцы стали очертя голову брбсаться через колючую проволоку в море. Берти был в ужасе. Шкипер Гансен тоже. Еще бы! Двадцать пять завербованных им туземцев — за каждого он уплатил по тридцать шиллингов вперед — попрыгали за борт вместе с местными жителями. За ними последовал и тот, с дымящейся склянкой.

Что было дальше с этой склянкой, Берти не видел, но так как в это самое время помощник взорвал на корме настоящую динамитную шашку, не причинившую, конечно, никому никакого вреда, то Берти с чистой совестью присягнул бы на суде, что туземца у него на глазах разорвало в клочья.

Бегство двадцати пяти завербованных обошлось капитану «Арлы» в сорок фунтов стерлингов, так как не было, конечно, никакой надежды разыскать беглецов в густых зарослях и вернуть их на судно. Шкипер и помощник решили утопить свое горе в холодном чае. А так как этот чай был разлит в бутылки из-под виски, то Берти и в голову не пришло, что они поглощают столь невинный напиток. Он видел только, что они очень быстро упились до положения риз и стали ожесточенно спорить о том, как сообщить о взорванном туземце — как об утопленнике или умершем от дизентерии. Затем оба захрапели, а Берти, видя, что, кроме него, на борту не осталось ни одного белого в трезвом состоянии, до самой зари неусыпно нес вахту, ежеминутно ожидая нападения с берега или бунта команды.

Еще три дня простояла «Арла» у берегов Малаиты, и еще три томительных ночи Берти провел на вахте, в то время как шкипер и помощник накачивались с вечера холодным чаем и мирно спали до утра, вполне полагаясь на его бдительность. Берти твердо решил, что если он останется жив, то обязательно сообщит капитану Малу об их пьянстве.

Наконец «Арла» бросила якорь у плантации Реминдж на Гвадалканаре. Со вздохом облегчения сошел Берти на берег и крепко пожал руку управляющему. У мистера Гаривела все было готово к приему гостя.

— Вы только не беспокойтесь, пожалуйста, если заметите, что мои подчиненные настроены невесело, — шепнул по секрету мистер Гаривел, отводя Берти в сторону. — Ходят слухи, что у нас готовится бунт, и нельзя не признать, что кое-какие

основания к тому есть, но лично я уверен, что все это сплошной вздор.

— И-и... много туземцев у вас на плантации? — спросил Берти упавшим голосом.

— Сейчас человек четыреста, — с готовностью сообщил мистер Гаривел, — но нас-то ведь трое, да еще вы, конечно, да шкипер «Арлы» с помощником — мы легко с ними управимся.

В эту минуту подошел некто Мак-Тэвиш, кладовщик на плантации, и, еле поздоровавшись с Берти, взволнованно обратился к мистеру Гаривелу с просьбой немедленно его уволить.

— У меня семья, дети, мистер Гаривел! Я не имею права рисковать жизнью! Беда на носу, это и слепому видно. Черные того и гляди взбунтуются, и здесь повторятся все ужасы Хохоно!

— А что это за ужасы Хохоно? — поинтересовался Берти, когда кладовщик после долгих уговоров согласился остаться еще до конца месяца.

— Это он о плантации Хохоно на острове Изабель, — отвечал управляющий. — Там дикари перебили пятерых белых на берегу, захватили шхуну, зарезали капитана и помощника и все скопом сбежали на Малайту. Я всегда говорил, что тамошнее начальство слишком беспечно. Нас-то они не застанут врасплох!.. Пожалуйте сюда, на веранду, мистер Аркрайт. Посмотрите, какой вид на окрестности!

Но Берти было не до видов. Он придумывал, как бы ему поскорее добраться до Тулаги, под крылышко резидента. И пока он был занят размышлениями на эту тему, за спиной у него вдруг грянул выстрел. В тот же миг мистер Гаривел стремительно втащил его в дом, чуть не вывернув ему при этом руку.

— Ну, дружище, вам повезло. Капельку бы левее — и... — говорил управляющий, ощупывая Берти и постепенно убеждаясь, что тот цел и невредим. — Простите, ради бога, все по моей вине, но кто бы мог подумать — среди бела дня...

Берти побледнел.

— Вот так же убили прежнего управляющего, — снисходительно заметил Мак-Тэвиш. — Хороший был парень, жалко! Всю веранду тогда мозгами забрызгало. Вы обратили внимание — вон там темное пятнышко, во-он, между крыльцом и дверью.

Берти пришел в такое расстройство, что коктейль, приготовленный и поднесенный ему мистером Гаривелом, оказался для него как нельзя более кстати. Но не успел он поднести стакан к губам, как вошел человек в бриджах и крагах.

— Что там еще стряслось? — спросил управляющий, взглянув на вошедшего. — Река, что ли, опять разлилась?

— Какая, к черту, река — дикари. В десяти шагах отсюда вылезли из тростника и пальнули по мне. Хорошо еще, что у них была снайдеровская винтовка, а не винчестер, да и стреляли с бедра... Но хотел бы я знать, откуда у них этот снайдер?.. Ах, простите, мистер Аркрайт. Рад вас приветствовать.

— Мистер Браун, мой помощник, — представил его мистер Гаривел. — А теперь давайте выпьем.

— Но где они достали оружие? — допытывался мистер Браун. — Говорил я вам, что нельзя хранить ружья в доме.

— Но они же никуда не делись, — уже с раздражением возразил мистер Гаривел.

Мистер Браун недоверчиво усмехнулся.

— Пойдем посмотрим! — потребовал управляющий.

Берти тоже отправился в контору вместе с остальными. Войдя туда, мистер Гаривел торжествующе указал на большой ящик, стоявший в темном пыльном углу.

— Прекрасно, но откуда же тогда у негодеев ружья? — в который раз повторил мистер Браун.

Но тут Мак-Тэвиш потрогал ящик и, ко всеобщему изумлению, без труда приподнял его. Управляющий бросился к ящику и сорвал крышку — ящик был пуст. Молча и со страхом они посмотрели друг на друга. Гаривел устало опустил голову. Мак-Тэвиш выругался:

— Черт побери! Я всегда говорил, что слугам нельзя доверять.

— Да, положение серьезное, — признался Гаривел. — Ну, ничего, как-нибудь выкрутимся. Нужно задать им острастку, вот и все. Джентльмены, захватите с собой к обеду винтовки, а вы, мистер Браун, пожалуйста, приготовьте штук сорок — пятьдесят динамитных шашек. Шнуры сделайте покороче. Мы им покажем, канальям! А сейчас, джентльмены, прошу к столу.

Берти терпеть не мог риса с пряностями по-индейски, поэтому он, опережая остальных, сразу приступил к заманчивому на вид омлету. Он успел уже разделаться со своей порцией, когда Гаривел тоже потянулся за омлетом. Но, взяв кусочек в рот, управляющий тут же с проклятиями его выплюнул.

— Это уже второй раз, — зловеще процедил Мак-Тэвиш. Гаривел все еще харкал и плевался.

— Что второй раз? — дрожащим голосом спросил Берти.

— Яд, — последовал ответ. — Этому повару не миновать виселицы!

— Вот так же отправился на тот свет счетовод с мыса Марш,— заговорил Браун.— Он умер в ужасных мучениях. Люди с «Джесси» рассказывали, что за три мили слышно было, как он кричал.

— В кандалы закую мерзавца,— прошипел Гаривел.— Хорошо еще, что мы вовремя заметили.

Берти сидел белый, как полотно, не шевелясь и не дыша. Он попытался что-то сказать, но только слабый хрип вылетел из его горла. Все с тревогой посмотрели на него.

— Неужели вы?..— испуганно воскликнул Мак-Тэвиш.

— Да, да, я съел его! Много! Целую тарелку!— возопил Берти, внезапно обретая дыхание, как пловец, вынырнувший на поверхность.

Наступило ужасное молчание. В глазах сотрапезников Берти прочитал свой приговор.

— Может, это еще и не яд,— мрачно заметил Гаривел.

— Спросим повара,— посоветовал Браун.

Весело улыбаясь, в комнату вошел повар, молодой туземец, с гвоздем в носу и продырявленными ушами.

— Слушай ты, Ви-Ви! Что это такое?— прорычал Гаривел, угрожающе ткнув пальцем в яичницу.

Такой вопрос, естественно, озадачил и испугал Ви-Ви.

— Хороший еда, можно кушать,— пробормотал он извиняющимся тоном.

— Пускай сам попробует,— предложил Мак-Тэвиш.— Это лучший способ узнать правду.

Гаривел схватил ложку омлета и подскочил к повару. Тот в страхе бросился вон из комнаты.

— Все ясно,— торжественно объявил Браун.— Не станет есть, хоть ты его режь.

— Мистер Браун, прошу вас надеть на него кандалы!— приказал Гаривел и затем ободряюще обратился к Берти:— Не беспокойтесь, дружище, резидент разберет это дело, и, если вы умрете, негодяй будет повешен.

— Вряд ли правительство решится на это,— возразил Мак-Тэвиш.

— Но, господа, господа,— чуть не плача закричал Берти,— вы забываете обо мне!

Гаривел с прискорбием развел руками.

— К сожалению, дорогой мой, это туземный яд и противоядие пока еще не известно. Соберитесь с духом, и если...

Два резких винтовочных выстрела прервали его. Вошел Браун, перезарядил винтовку и сел к столу.

— Повар умер,—сообщил он.—Внезапный приступ лихорадки.

— Мы тут говорили, что против местных ядов нет противоядия.

— Кроме джина,—заметил Браун.

Назвав себя безмозглым идиотом, Гаривел бросился за джином.

— Только не разбавляйте,—предупредил он, и Берти, хватив разом чуть не стакан неразбавленного спирта, поперхнулся, задохся и так раскашлялся, что на глазах у него выступили слезы.

Гаривел пощупал у него пульс и смерил температуру, он всячески ухаживал за Берти, приговаривая, что, может, еще омлет и не был отравлен. Браун и Мак-Тэвиш тоже высказали сомнение на этот счет, но Берти уловил в их тоне неискреннюю нотку. Есть ему уже ничего не хотелось, и он, тайком от остальных, щупал под столом свой пульс. Пульс все учащался, в этом не было сомнений, Берти только не сообразил, что это от выпитого им джина. Мак-Тэвиш взял винтовку и вышел на веранду посмотреть, что делается вокруг дома.

— Они собираются около кухни,—доложил он, вернувшись.—И все со снайдерами. Я предлагаю подкрасться с другой стороны и ударить им во фланг. Нападение—лучший способ защиты, так? Вы пойдете со мной, Браун?

Гаривел как ни в чем не бывало продолжал есть, а Берти с трепетом обнаружил, что пульс у него участился еще на пять ударов. Тем не менее и он невольно вскочил, когда началась стрельба. Сквозь частую трескотню снайдеров слышались гулкие выстрелы винчестеров Брауна и Мак-Тэвиша. Все это сопровождалось демоническими воплями и криками.

— Наши обратили их в бегство,—заметил Гаривел, когда крики и выстрелы стали удаляться.

Браун и Мак-Тэвиш вернулись к столу, но последний тут же снова отправился на разведку.

— Они достали динамит,—сообщил он по возвращении.

— Что же, пустим в ход динамит и мы,—предложил Гаривел.

Засунув в карманы по пять, шесть штук динамитных шашек, с зажженными сигарами во рту, они устремились к выходу. И вдруг!.. Позже они обвиняли Мак-Тэвиша в неосторожности, и тот признал, что заряд, пожалуй, и правда был великоват. Так или иначе, страшный взрыв потряс стены, дом одним углом поднялся на воздух, потом снова сел на свое основание. Со стола на пол полетела посуда, стенные часы

с восьмидневным заводом остановились. Взывая о мести, вся троица кинулась в темноту, и началась бомбардировка.

Когда они вернулись в столовую, Берти и след простыл. Дотащившись до конторы и забаррикадив дверь, он почил на полу, переживая в пьяных кошмарах сотни всевозможных смертей, пока вокруг него кипел бой. Наутро, разбитый, с отчаянной головной болью от джина, он выполз на воздух и с изумлением обнаружил, что солнце по-прежнему сияет на небе и бог, очевидно, правит миром, ибо гостеприимные хозяева Берти разгуливали по плантации живые и невредимые.

Гаривел уговаривал его погостить еще, но Берти был непоколебим и отплыл на «Арле» к Тулаги, где до прибытия парохода не покидал дома резидента. На пароходе в Сидней опять были путешествующие дамы, и опять они смотрели на Берти как на героя, а капитана Малу не замечали. Но по прибытии в Сидней капитан Малу отправил на острова не один, а два ящика первосортного шотландского виски, ибо никак не мог решить, кто — шкипер Гансен или мистер Гаривел — лучше показал Берти Аркрайту «бурную и полную опасностей жизнь на страшных Соломоновых островах».

ЯЗЫЧНИК

Впервые мы встретились, когда бушевал ураган, и хотя мы пробивались сквозь шторм на одном судне, я обратил на него внимание только после того, как шхуна разлетелась в щепки. Я, несомненно, видел его и раньше, среди других членов нашей команды, сплошь состоявшей из канаков, но за все время я ни разу не вспомнил о его существовании, потому что на «Крошке Жанне» было очень много народу. Кроме восьми или десяти матросов-канаков, белого капитана, его помощника, кладовщика и шестерых каютных пассажиров, шхуна взяла в Ранжире что-то около восьмидесяти пяти палубных пассажиров с Паумоту и Таити: мужчин, женщин и детей. У каждого из них были корзины, не говоря уже о матрасах, одеялах и узлах с одеждой.

Сезон добычи жемчуга на Паумоту закончился, и ловцы возвращались на Таити. Шестеро скупщиков жемчуга разместились в каютах: два американца, китаец А-Чун (ни разу в жизни не видел такого белокожего китайца), один немец, один польский еврей и я.

Сезон был удачный. Ни один из нас и ни один из восьмидесяти пяти палубных пассажиров не имел оснований жаловаться на судьбу. Все хорошо поработали и мечтали отдохнуть и развлечься в Папезте.

«Крошку Жанну», конечно, перегрузили. Водоизмещением она была всего в семьдесят тонн; нельзя было брать на борт и десятую часть того сброда, который запрудил палубу. Трюмы были до отказа загружены жемчужными раковинами и копррой. Даже кладовку забили перламутром. Каким-то чудом матросы умудрялись еще управлять шхуной. Пройти по палубе было невозможно, и они передвигались по поручням.

Ночью матросы ходили по людям, которые, честное слово, спали буквально друг на друге. А кроме того, полно было

поросят, кур, мешков с бататом, и везде, где только можно, красовались связки кокосовых орехов для утоления жажды и гроздь бананов. По обе стороны между вантами грот-мачты и фок-мачты низко, чтобы не соприкасались со штагами утлегаря, были натянуты леера. А на каждом таком леере висело не меньше полусотни связок бананов.

Рейс предстоял беспокойный, даже если пройти путь дня за два-три, что было возможно только при сильном юго-восточном пассате. Но ветра не было. Через пять часов пути после нескольких слабых порывов ветер стих совсем. Штиль продолжался всю ночь и весь следующий день — один из тех ослепительных зеркальных штилей, когда от одной мысли о том, чтобы открыть глаза и посмотреть на воду, начинает болеть голова.

На следующий день умер человек, уроженец острова Пасхи, — в том сезоне он был одним из лучших ловцов жемчуга в лагуне. Оспа — вот причина его смерти, хотя я не могу себе представить, как ее занесли на судно; когда мы выходили из Ранжира, на берегу не было зарегистрировано ни единого случая заболевания оспой. И все-таки факт оставался фактом: оспа, умерший человек и трое больных.

Ничего нельзя было сделать. Мы не могли изолировать больных и не могли ухаживать за ними. На судне нас было, что сельдей в бочке. Ничего нельзя было сделать — только заживо гнить да умирать, вернее, ничего нельзя было сделать после той ночи, когда умер человек. В ту же ночь помощник капитана, кладовщик, польский еврей и четверо ловцов-туземцев удрали на вельботе. Больше мы их не видели. Утром капитан приказал продырявить оставшиеся шлюпки, и теперь мы уже никуда не могли деться.

В тот день умерли двое, на следующий день — трое, потом количество смертных случаев подскочило до восьми. Любопытно было наблюдать, как мы это воспринимали. Туземцев, например, охватил тупой, беспросветный страх. Капитан-француз стал раздражительным и болтал без умолку. Звали этого капитана Удуз. От волнения его даже подергивало. Высокий, грузный мужчина, весом фунтов двести, не меньше, — жирная туша, дрожащая, как желе.

Немец, два американца и я скупили все виски и непрерывно пили. Рассчитали мы все отлично, а именно: бактерии, проникающие в организм, моментально погибнут. И этот рецепт оказался действенным, хотя, должен признаться, и капитана

Удуза и А-Чуна болезнь миновала тоже. Француз совсем не пил, а А-Чун ограничивался стаканом в день.

Да, славное было времечко! Солнце стояло в зените. Ветра совсем не было, лишь изредка налетали шквалы, они свирепствовали от пяти до тридцати минут и мчались прочь, окатив нас ливнем. После шквала снова нещадно палило солнце, и с отсыревших палуб поднимались клубы пара.

Пар этот был не простой. Это был смертоносный туман, насыщенный мириадами бацилл. Видя, как с больных людей и с трупов поднимается этот пар, мы пропускали еще по стаканчику, потом еще и еще, почти не разбавляя. Кроме того, мы взяли за правило выпивать несколько добавочных рюмок каждый раз, когда скидывали мертвецов за борт кишачим вокруг судна акулам.

Прошла неделя, запасы виски кончились. И это хорошо, иначе меня не было бы сейчас в живых. Чтобы пережить все, что произошло потом, нужно было быть вполне трезвым, надеюсь, вы со мной согласитесь, если я упомяну об одной небольшой детали — в конце концов в живых осталось только двое. Вторым был язычник, во всяком случае, я слышал, что именно так называл его капитан Удуз в тот момент, когда я впервые узнал о существовании этого человека. Не будем, однако, забегать вперед.

Это было на исходе недели. Виски вышло, скупщики жемчуга протрезвели, и я впервые случайно взглянул на барометр, висевший в кают-компании. Для Паумоту норма — 29.90, и мы привыкли видеть, как стрелка колеблется между 29.85 и 30.00 или даже 30.05, но то, что увидел я — 29.62! — могло привести в чувство самого пьяного скупщика жемчуга из тех, кто когда-либо пытался уничтожить микробов оспы шотландским виски.

Я сказал об этом капитану Удузу, и он ответил, что уже несколько часов наблюдает, как падает барометр. Не много можно было сделать при данных обстоятельствах, но это немногое он выполнил превосходно. Он оставил только штормовые паруса, натянул штормовые леера и ждал ветра. Ошибся он уже после того, как налетел ветер. Он лег в дрейф, и это правильно, когда находишься к югу от экватора, если — вот тут-то он и сплеховал, — если судно не стоит на пути урагана.

А мы стояли на пути урагана. Я видел это по тому, как непрерывно усиливался ветер и падал барометр. Я считал, что шкуну надо было повернуть и идти левым галсом, пока не перестанет падать барометр, и уже после этого лечь в дрейф. Я спорил с капитаном, чуть не довел его до истерики, но он

стоял на своем. Хуже всего то, что мне не удалось уговорить остальных скупщиков жемчуга поддержать меня. В конце концов, кто я такой, чтобы знать море и его особенности лучше многоопытного капитана? Так они, вероятно, думали.

Ветер катил страшные валы, и я никогда не забуду трех первых волн, обрушившихся на «Крошку Жанну». Она накренилась, что иногда бывает, когда суда ложатся в дрейф, и первая волна перекатилась через палубу. Штормовые леера — это для сильных и здоровых, но даже им они не особенно помогают, когда женщины, дети, груды бананов и кокосовых орехов, поросята, дорожные корзины, умирающие, больные — все это катится по палубе сплошной визжащей, воющей массой.

Вторая волна смела с палубы «Крошки Жанны» поручни, и, так как корма шхуны погрузилась в воду, а нос взметнулся к небу, все это страшное месиво людей и груза поползло вниз. Это был поток человеческих тел. Людей несло, кого головой вперед, кого вперед ногами, кого боком, кувыркком; они корчились, сгибались, извивались и распластывались. Время от времени кому-нибудь удавалось ухватиться за мачту или леер, но под напором движущихся тел он разжимал руки.

Кто-то врезался головой в битенг по правому борту. Череп его раскололся, как яйцо. Я понял, что нас ждет, и вскарабкался на рубку, затем на грот-мачту. А-Чун и один из американцев попытались влезть следом за мной, но я опередил их на целый прыжок. Американца тут же смыло волной за борт, как соломинку. А-Чун ухватился за штурвал и повис на нем. Но огромная женщина из племени раратонга, весом, наверно, фунтов в двести пятьдесят, упала на него и ухватила рукой за его шею. Свободной рукой он схватил канака-рулевого, но в это мгновение шхуна накренилась на правый борт.

Лавина воды и человеческих тел, которая неслась вдоль левого борта между каютой и поручнями, ринулась к правому борту. Всех смело: ту женщину, А-Чуна и рулевого, — и, честное слово, я видел, как, разжав руки и падая вниз, А-Чун усмехнулся мне с философским смирением.

Третья, самая большая волна причинила не меньше разрушений. Когда она обрушилась на судно, почти все взобрались на такелаж. Внизу остался десяток оглушенных, захлебывающихся, полуживых несчастных, они старались уползти куда-нибудь в безопасное место, но их швыряло назад и вперед по палубе. Их смыло волной вместе с обломками двух шлюпок. Скупщики жемчуга и я умудрились между двумя волнами затолкать в кают-компанию человек пятнадцать женщин и детей и запереть их там. Увы, это не спасло несчастных.

А ветер? Я никогда бы не поверил, что может быть такой ветер. Описать его нельзя. Разве можно описать кошмар? С таким же успехом можно описывать тот ветер. Он срывал с нас одежду. Я сказал «срывал», и я не оговорился. Я вовсе не прошу, чтобы вы мне верили. Я просто рассказываю о том, что сам видел и пережил. Порой мне не верится, что все это было. Невозможно испытать на себе этот ветер и остаться в живых. Я выжил, вот и все. Это было что-то чудовищное, и ужас заключался в том, что ветер все время усиливался.

Представьте себе неисчислимые миллионы и миллиарды тонн песка. Представьте, что песок мчится со скоростью девяносто, сто, сто двадцать миль в час, даже быстрее. Представьте себе, далее, что песок невидим, несязаем, хотя полностью сохраняет вес и плотность песка. Вообразите все это — и вы получите отдаленное представление о том ветре.

Быть может, песок — неудачное сравнение. Считайте, что это шлам, невидимый, несязаемый, но тяжелый, как шлам. Нет, даже не то! Считайте, что каждая молекула воздуха сама является кучей шлама. Затем попытайтесь вообразить великое множество таких молекул, слитых воедино. Нет, у меня не хватает слов. Язык человека может передать обычные явления жизни, но он не дает возможности передать сверхъестественное стихийное бедствие, как тот ветер. Лучше бы мне не браться за это описание, как я решил вначале.

Я только одно скажу: этот ветер сбил волны. Более того, казалось, смерч всосал в себя весь океан и заметался в том пространстве, где прежде был воздух.

Конечно, от парусов на шхуне остались одни клочья. Но капитан Удуз имел на «Крошке Жанне» приспособление, каких я никогда не видел на здешних шхунах, — плавучий якорь. Это был конический брезентовый мешок с массивным железным обручем, вставленным в верхний край. Плавучий якорь пускают, подобно змею, он врезается в воду так же, как змей взмывает в поднебесье, с той только разницей, что плавучий якорь останавливался у самой поверхности воды. Со шхуной якорь связывал длинный канат. Поэтому «Крошка Жанна», гонимая ветром, встречала волны носом.

Все могло бы кончиться благополучно, не окажись мы на пути урагана. Правда, ветер сорвал наши паруса, сломал верхушки мачт, перепугал снасти бегучего такелажа, и все-таки мы вышли бы из беды, если бы на нас не надвинулся самый центр урагана. Это нас и погубило. Бесконечные порывы ветра оглушили, пришибли, парализовали меня, я был готов прекратить борьбу, но тут мы оказались в центре циклона. На нас

обрушился новый страшный удар — полное затишье. Воздух стал абсолютно неподвижен. Это было невыносимо.

Не забывайте, что несколько часов подряд мы испытывали страшный напор ветра. А потом внезапно давление исчезло. У меня было такое чувство, что тело мое лопнет, разорвется на куски. Казалось, будто я вот-вот взорвусь. Но это длилось всего одно мгновение. Налвигалась катастрофа. Давление упало совсем, стих ветер — и тут поднялись волны. Они прыгали, они вздымались, они взмывали к самым тучам. Не забывайте, что отовсюду ветер дул к центру спокойствия. Поэтому сюда же со всех сторон катились волны. И не было ветра, который мог бы сбить их. Волны подскакивали, как пробки, пущенные со дна ведра с водой. В их движении отсутствовала система или последовательность. Это были безумные, сумасшедшие волны высотой не меньше восьмидесяти футов. Это были вовсе не волны. Ни один смертный не видел ничего подобного.

Это были всплески, чудовищные всплески — и все! Всплески высотой в восемьдесят футов. Восемьдесят! Даже больше восьмидесяти! Волны выше наших мачт. Волны-смерчи, волны-взрывы. Они были пьяны. Они падали везде, как попало. Они сталкивались, отталкивали друг друга. Они схлестывались и разлетались в стороны тысячами водопадов. Редко кому удавалось заглянуть в «глаз бури» — побывать в центре урагана. Полнейший хаос. Анархия. Преисподняя безумнейшей стихии.

Что случилось с «Крошкой Жанной»? Не знаю, язычник говорил мне потом, что он тоже ничего о ней не знает. Она в буквальном смысле раскололась пополам, разлетелась на куски, рассыпалась в щепки, превратилась в труху, перестала существовать. Я пришел в себя, когда был уже в воде и плыл, машинально работая руками, хотя уже начинал тонуть. Как я там очутился, не помню. Я видел только, как «Крошка Жанна» разлетается на куски, вероятно, это произошло в то мгновение, когда я терял сознание. Как бы там ни было, я был в воде, и единственное, что оставалось, — не падать духом, хотя духу-то у меня не хватало. Снова поднялся ветер, волны стали меньше, двигались они как обычно, и я понял, что миновал центр циклона. К счастью, вокруг не было акул. Ураган разогнал жадную стаю, которая окружала судно с мертвецами и пожирала трупы.

«Крошка Жанна» рассыпалась на куски около полудня, а часа через два я наткнулся на крышку от люка. Все время лил ливень, и я заметил эту крышку совершенно случайно. К кольцу была привязана небольшая веревка: я понял, что

продержусь по крайней мере день, если не появятся акулы. Часа три спустя, может быть, немного больше, когда я, крепко ухватившись за крышку и замурив глаза, по мере сил старался равномерно и глубоко дышать и в то же время не наглотаться воды, мне показалось, что слышу чьи-то голоса. Дождь прекратился, и ветер и море успокоились. Футы в двадцати от меня, прицепившись к крышке люка, плыли капитан Удуз и язычник. Они дрались из-за этой крышки, по крайней мере дрался Удуз.

Я услышал визг Удуза: «*Raïen noir!*»¹ — и увидел, как он стукнул канака ногой.

Надо сказать, что капитан Удуз потерял всю свою одежду, кроме тяжелых, грубых башмаков. Удар был жестокий — он пришелся язычнику в лицо и почти оглушил его. Я думал, что канака тоже стукнет его как следует, но он ограничился тем, что для безопасности отплыл футов на десять. Каждый раз, когда волны прибивали его к французу, тот, держась руками за крышку, лягал его обеими ногами и ругал канака черным язычником.

— Я вот пушу тебя на дно, белая скотина! — заорал я.

Только сильная усталость помешала мне это сделать. Мне сделалось не по себе от одной мысли о том, что надо к нему плыть. Так что я позвал канака и предложил ему держаться за мою крышку. Он сказал мне, что его зовут Отоо и что он уроженец острова Бора-Бора, самого западного из Островов Товарищества. Как я узнал впоследствии, он первым обнаружил крышку и, увидев через некоторое время капитана Удуза, предложил ему спастись вместе, а за эти старания капитан ногами оттолкнул его прочь.

Так мы впервые встретились с Отоо. Нет, он не задира. Он был кроток, нежен и добр, хотя рост его достигал шести футов, и сложен он был, как гладиатор. Он не был ни задирой, ни трусом. В груди его билось львиное сердце, и впоследствии я не раз видел, как он шел на риск там, где я непременно бы отступил. Я хочу сказать, хотя Отоо и не был задирой и никогда не ввязывался в ссоры, он никогда не отступал перед опасностью. Но берегись, когда Отоо начинал действовать! Никогда не забуду, как он разделал Билли Кинга. Это случилось в Германском Самоа. Билли Кинг был прославленным чемпионом-тяжеловесом американского флота. Это был человек-зверь, этакая горилла, один из тех грубо сколоченных, крепко сбитых парней, которые отлично владеют кулаками.

¹ *Raïen noir!* (фр.) — черный язычник, безбожник.

Он начал ссору и дважды стукнул Отоо ногой, потом ударил его еще раз, прежде чем до Отоо дошло, что необходимо драться. По-моему, не прошло и четырех минут, как Билли Кинг превратился в несчастного обладателя четырех сломанных ребер, перебитого предплечья и вывихнутой лопатки. Отоо ничего не смыслил в искусстве бокса. Он бил, как умел, и Билли Кинг пролежал что-то около трех месяцев, оправляясь от побоев, полученных в один прекрасный день на берегу Апии.

Не буду, однако, забегать вперед. Итак, мы оба держались за ту крышку. Каждый из нас по очереди забирался на нее и, лежа ничком, отдыхал, а другой, погружившись в воду до самого подбородка, лишь придерживался за нее руками. Два дня и две ночи, то лежа на крышке, то погружаясь в воду, мы носились по океану. Под конец я почти все время был в бессознательном состоянии, но иногда слышал, как Отоо что-то бормочет на своем родном языке. Мы находились в воде, поэтому не умерли от жажды, хотя соленая морская вода разъедала опаленное солнцем тело.

Кончилось тем, что Отоо спас мне жизнь, потому что я пришел в себя на берегу футах в двадцати от воды, защищенный от солнца листьями кокосовой пальмы. Это Отоо приволок меня туда и воткнул в песок листья. Сам он лежал рядом. Я снова потерял сознание, а когда очнулся, стояла прохладная звездная ночь, и Отоо поил меня соком кокосового ореха.

Кроме нас двоих, с «Крошки Жанны» не спасся никто. Капитан Удуз, вероятно, погиб от истощения, потому что ту крышку выбросило на берег через несколько дней. Мы с Отоо прожили на атолле целую неделю, потом нас подобрал французский крейсер и доставил на Таити. Однако за это время мы совершили церемонию обмена именами. На островах Южных Морей этот обычай связывает людей узами, которые крепче уз братства. Инициатива принадлежала мне, и Отоо пришел в неописуемый восторг от этого предложения.

— Это хорошо, — сказал он по-таитянски, — потому что два дня мы вместе смотрели в глаза смерти.

— Но смерть поперхнулась, — сказал я, улыбаясь.

— Вы были храбры, господин, — ответил он, — и у смерти не хватило наглости заговорить.

— Почему ты называешь меня «господином»? — возразил я, притворяясь обиженным. — Мы же поменялись именами. Для тебя я Отоо. Ты для меня — Чарли. И между нами на веки веков ты Чарли, а я Отоо. Таков обычай. И после нашей смерти, если

мы встретимся в потустороннем мире, ты все так же будешь для меня Чарли, а я для тебя Отоо.

— Да, господин, — ответил он, и глаза его засияли тихой радостью.

— Ты опять! — закричал я в негодовании.

— Разве я могу отвечать за то, что произносят мои губы? — сказал он. — Это ведь только губы. Но про себя я всегда буду говорить: «Отоо». Когда я буду думать о себе, я подумаю о тебе. Когда меня позовут по имени, я буду думать о тебе. И над небесами, и за звездами, отныне и навеки. Ты будешь для меня Отоо. Это хорошо, господин?

Я сдержал улыбку и ответил, что хорошо.

В Папеэте мы расстались. Я остался на берегу, чтобы немного окрепнуть, а он катером отправился на свой остров Бора-Бора. Через шесть недель он вернулся. Я удивился, потому что, уезжая, он сообщил, что решил вернуться домой, к жене и забыть о дальних путешествиях.

— Куда ты поедешь, господин? — спросил он, едва мы успели поздороваться.

Я пожал плечами. Это был трудный вопрос.

— Буду скитаться по всему свету, — ответил я, — по всем морям и по всем островам, которые лежат в этих морях.

— Я поеду с тобой, — сказал он просто. — Моя жена умерла.

У меня никогда не было брата, но если судить по другим людям, то вряд ли хоть один человек на земле имел брата, который бы значил для него так же много, как Отоо для меня. Он был мне и братом, и отцом, и матерью. Я твердо убежден, что стал лучше и честнее благодаря Отоо. Мне безразлично, что обо мне думают окружающие, но я должен был оставаться честным в глазах Отоо. Он был рядом, и я не смел запятнать себя. Я был его идеалом, конечно, это объясняется его любовью и обожанием, но подчас я мог бы наделать кучу глупостей, если бы меня не останавливала мысль об Отоо. Он гордился мной, и я уж и сам начинал видеть в себе что-то хорошее, и у меня выработалась привычка не делать ничего, что могло бы подорвать эту его гордость.

Я, конечно, не сразу понял, как он ко мне относится. Он никогда меня ни в чем не упрекал, никогда не порицал, и я не сразу узнал, как высоко я стою в его глазах. Так же медленно до меня доходило, что он тяжело переживает, когда я стараюсь казаться хуже, чем я есть на самом деле.

Мы не расставались семнадцать лет, и все эти годы он всегда был рядом со мной: сторожил мой сон, ухаживал за мной, когда я был ранен, бросался за меня в драку и получал раны.

Он служил на судах вместе со мной, и мы с ним избороздили весь Тихий океан — от Гавайских островов до мыса Сиднея и от пролива Торрес до Галапагоса. Мы вербовали чернокожих на всем протяжении от Новых Гебрид и островов Лайн до Луизианы, Новой Британии, Новой Ирландии и Нового Ганновера. Мы трижды пережили кораблекрушение: возле островов Гилберта, Санта-Крус и Фиджи. Мы покупали и перепродавали все, на чем можно было заработать доллар, — будь то жемчуг, раковины, копра, трепанги, черепахи, черепаховые панцири и всякая всячина с разбитых судов.

Я обо всем догадался в Папеэте, сразу после того, как он объявил, что пойдет за мной хоть на край света. В ту пору в Папеэте был своего рода клуб, где собирались скупщики жемчуга, торговцы, капитаны и разные авантюристы, каких немало в тех краях. Игра шла по крупный, пили тоже немало, и, к сожалению, я засиживался позднее, чем следовало бы. И когда бы я ни вышел из клуба, меня всегда ждал Отоо, чтобы проводить домой.

Вначале это вызывало у меня улыбку, затем я отчитал его. Потом я заявил ему без обиняков, что не нуждаюсь в няньках. После этого, выходя из клуба, я не встречал его. Прошла неделя, и как-то совершенно случайно я обнаружил, что он по-прежнему провожает меня домой, пробираясь вдоль улицы в тени манговых деревьев. Что я мог сделать? И когда я понял, что нужно было делать.

Незаметно для себя я стал приходить домой раньше. На улице дождь и ветер, и я в разгар дурачеств и беселья то и дело возвращался к мысли об Отоо, который неустанно несет свою унылую вахту под манговым деревом, не защищающим от потоков воды. Я и в самом деле стал лучше благодаря ему. И все-таки он не проявлял пуританской нетерпимости в вопросах морали. Ему ничего не было известно о христианских заповедях. Все население Бора-Бора приняло христианство, а он был язычник, единственный неверующий на острове, великий материалист, который знал, что будет мертв, когда умрет. Он верил в людскую добросовестность и честную игру. Мелкие подлости в его кодексе чести были почти таким же серьезным преступлением, как зверское убийство, и я совершенно убежден, что он скорее отнесется с уважением к убийце, чем к жулику средней руки.

Что же касается меня лично, он не одобрял ничего, что шло мне во вред. В игре он не видел ничего плохого. Он и сам был азартным игроком. Но поздние бдения, объяснял он, вредят здоровью. Он знал людей, которые умирали от лихорадки

потому, что не заботились о своем здоровье. Он не был трезвенником и, промокнув до нитки, был не прочь хлебнуть виски. Иными словами, он верил, что спиртное полезно лишь в умеренных количествах. Он видел множество людей, которых шотландское виски или джин загоняли в гроб или делали калеками.

Мое благосостояние Отоо принимал близко к сердцу. Он думал о моем будущем, взвешивал мои планы и размышлял о моей судьбе больше, чем я сам. Вначале, когда я еще не подозревал о том, что он интересуется моими делами, ему приходилось самому догадываться о моих намерениях, как, например, случилось в Папезте, когда я раздумывал, вступать ли в компанию с одним плутоватым парнем, моим соотечественником, который затеял рискованное предприятие с гуано. Я не знал, что этот парень — мошенник. Этому не знал ни один белый в Папезте. Отоо тоже ничего не знал, но он видел, что мы становимся с тем парнем закадычными друзьями, и на свой страх решил разузнать все о нем. На побережье Таити стекаются матросы-туземцы со всех морей. Подозрительный Отоо терся около них до тех пор, пока не собрал убедительные факты, подтверждающие его догадки. Да, немало он узнал о делишках Рэндольфа Уотерса. Когда Отоо рассказал мне о них, я не поверил, но потом выложил все Уотерсу, и тот, не сказав ни слова, с первым же пароходом отбыл в Окленд.

Откровенно говоря, вначале меня раздражало то, что Отоо сует нос в мои дела. Но я знал, что он действует совершенно бескорыстно; вскоре я должен был признать, что он мудр и осторожен. Он следил, чтобы я не упустил выгодного случая, был одновременно и дальновидным и пронывательным. Скоро я уже начал во всем советоваться с Отоо, так что в конце концов он стал разбираться в моих делах лучше, чем я сам. Мои интересы он принимал ближе к сердцу, чем я. В ту чудесную пору я был по-мальчишески беспечен, романтику предпочитал доллару, а приключение — удобному ночлегу под крышей. Словом, хорошо, что кто-то присматривал за мной. Если бы не Отоо, меня бы давно не было в живых. Это я знаю наверное.

Из многочисленных примеров позвольте привести один. Когда я отправился за жемчугом в Паумоту, у меня уже был некоторый опыт по вербовке чернокожих. В Самоа мы с Отоо остались на берегу, вернее, сели на мель, денег — ни гроша, но мне повезло: я поступил вербовщиком на бриг, который доставлял негров на плантации. Отоо нанялся на этот же бриг

простым матросом. В течение следующих шести лет на разных судах мы избороздили самые дикие уголки Меланезии. Отоо был убежден, что место загребного на моей лодке по праву принадлежит ему. Работали мы обычно так. Вербовщика высаживали на сушу. Его лодка оставалась у самого берега — весла наготове. Она находилась под прикрытием другой лодки, что стояла в нескольких сотнях ярдов в море. Я втыкал в песок шест, которым в случае необходимости можно было быстро оттолкнуться от берега, выгружал из лодки свои товары, а Отоо бросал весла и подсаживался к винчестеру, скрытому под парусиной. Матросы на другой лодке были тоже вооружены: под парусиной вдоль борта лежали снайдеры.

Пока я торговался с чернокожими и убеждал их наняться на плантации Квинсленда, Отоо не спускал с них глаз. Сколько раз негромким окриком предупреждал он меня о подозрительных действиях негров или о ловушке, которую они готовили. Иногда первым сигналом тревоги был внезапный выстрел, которым Отоо разил негра наповал. Я бросался к лодке, и он всегда подхватывал меня на лету. Помню, однажды, когда мы плавали на «Санта Анна», на нас напали, едва наша лодка подошла к берегу. Прикрывающая нас лодка помчалась на помощь, но тем временем несколько десятков дикарей оставили бы от нас мокрое место. Тогда Отоо одним прыжком перескочил на берег и начал обеими руками разбрасывать во все стороны табак, бусы, томагавки, ножи и куски ситца.

Для негров это было слишком сильное искушение. Пока они дрались из-за сокровищ, мы столкнули лодку в воду и отошли футов на сорок в море. А через четыре часа на этом самом берегу я завербовал тридцать человек.

Особенно запомнился мне один случай на Малаите, самом диком острове из восточной группы Соломоновых островов. Туземцы были настроены чрезвычайно дружелюбно, но откуда нам было знать, что вся деревня уже более двух лет собирала человеческие головы, чтобы обменять их на голову белого человека? Там все бродяги были охотниками за головами, и особенно высоко ценились головы белых. Тот, кто ее добудет, получит все, что они накопили. Как я уже сказал, они были настроены очень дружелюбно, и я в этот день удалился в глубь берега на добрую сотню ярдов. Отоо предупреждал, что это не безопасно, но я не послушался, и, как всегда, это привело меня к беде. Я внезапно увидел целую тучу копий, летящих из мангровой чащи. Не менее десятка задело меня. Я пустился бежать, но споткнулся о копье, которое вонзилось мне в икру, и упал. Негры бросились за мной, размахивая

боевыми, украшенными перьями топориками на длинных рукоятках, и собирались, по-видимому, отрубить мне голову. Им так не терпелось получить награду, что они толкались и мешали друг другу. В суматохе мне удавалось увертываться от ударов, петляя на бегу и бросаясь на землю.

В это время появился Отоо, Отоо — борец. Он где-то раздобыл тяжелую боевую дубинку, и в рукопашной она оказалась полезней ружья. Отоо бросился в гущу толпы, и враги не могли поразить его копьями, а топоры только мешали им. Он сражался за меня с исступлением. Дубинкой он орудовал потрясающе. Под его ударами головы лопались, словно перезрелые апельсины. Его ранили лишь после того, как, разогнав туземцев, он взвалил меня на плечи и побежал к лодке. Он добрался до лодки, четыре раза задетый копьями, схватил свой винчестер и стал стрелять, каждым выстрелом укладывая врага. Затем нас взяли на шхуну и перевязали раны.

Семнадцать лет мы не расставались. Он сделал меня человеком. Я бы и по сей день был судовым приказчиком, вербовщиком, а может быть, от меня не осталось бы даже воспоминания, если бы не он.

— Сейчас, истратив деньги, ты можешь заработать еще, — сказал он мне однажды. — Сейчас тебе легко добывать деньги. Но когда ты состаришься, деньги у тебя разойдутся, а заработать ты не сможешь. Я это знаю, господин. Я изучил повадки белых. На побережье много стариков, некогда они были молоды и могли зарабатывать, как ты сейчас. Теперь они стары, у них ничего нет, и они слоняются в ожидании какого-нибудь парня, который угостит их.

Чернокожий трудится на плантациях, словно раб. Он получает двадцать долларов в год. Он работает много. Надсмотрщик работает мало. Ездит себе верхом да наблюдает, как работает чернокожий парень. Он получает тысячу двести долларов в год. Я матрос на шхуне. Мне платят пятнадцать долларов в месяц. Это потому, что я хороший матрос. Я много работаю. А капитан прохлаждается под тентом да тянет пиво из больших бутылок. Я никогда не видел, чтобы он поднимал паруса или работал веслом. Он получает сто пятьдесят долларов в месяц. Я — матрос. Он — навигатор. Господин, я думаю, тебе надо изучить навигацию.

Отоо побудил меня заниматься этим. Когда я вышел в свой первый рейс вторым помощником капитана, он плавал со мной и больше меня гордился тем, что я командую. Но Отоо не унимался.

— Господин, капитан получает много денег, но он ведет судно и никогда не знает покоя. Судовладелец — вот кто получает больше. Судовладелец, который сидит на берегу и делает деньги.

— Верно, но шхуна стоит пять тысяч долларов, притом старая шхуна, — возразил я. — Я помру, прежде чем накоплю пять тысяч долларов.

— Белый человек может разбогатеть очень быстро, — продолжал он, указывая на берег в зарослях кокосовых пальм.

Это было у Соломоновых островов. Мы шли вдоль восточного берега Гвадалканара и скупали «растительную слоновую кость».

— Между устьями двух этих рек расстояние мили две, — сказал он. — Равнина тянется в глубь острова. Сейчас она ничего не стоит. Но кто знает? Может быть, через год-два эта земля будет стоить очень дорого. Тут удобно стать на якорь. Океанские пароходы могут подходить к самому берегу. Старый вождь продаст тебе полоску земли шириной в четыре мили за десять тысяч пачек табаку, десять бутылок джина и ружье системы Снайдера, что обойдется тебе приблизительно в сотню долларов. Затем ты оформишь сделку и через один-два года продашь землю и купишь собственное судно.

Я последовал совету Отоо, и его предсказание сбылось, правда, не через два, а через три года. Затем последовало дело с пастбищами на Гвадалканаре — арендовал у государства двадцать тысяч акров сроком на девяносто девять лет по номинальной стоимости. Я был арендатором ровно девяносто дней, потом продал землю за огромную сумму одной компании. Именно он, Отоо, все предвидел и не упускал удобного случая. Это была его идея — поднять затонувший «Донкастер», который продавался на аукционе за сто фунтов. Операция эта после покрытия всех расходов дала три тысячи чистой прибыли. По совету Отоо я стал плантатором на Савайе и занялся торговлей кокосовыми орехами в Уполу.

Мы уже не ходили в море так часто, как прежде. Я стал богатым, женился, жизнь пошла по-иному, но Отоо оставался все тем же Отоо, он бродил по дому, заглядывал в контору, не вынимая изо рта деревянной трубки и не расставаясь с дешевой сорочкой и панталонами. Я не мог заставить его тратить деньги. Ему не нужно было никакого вознаграждения, кроме любви, и — бог свидетель, — мы все от души его любили. Дети его обожали, а жена моя непременно бы его избаловала, если бы Отоо можно было избаловать.

А дети! Это он раскрыл им тайны окружающего мира. Под его присмотром они делали первые шаги. Когда кто-нибудь из ребят заболел, он не отходил от его постели. Одного за другим, когда они были еще совсем крошечными, он брал с собой в лагуну и учил плавать и нырять. Я никогда не знал о рыбах и о рыбной ловле столько, сколько он рассказал детям. Он открыл им тайны леса. В семь лет Том знал лес так, как мне и не снилось. Шести лет Мэри бесстрашно проходила по обрывистой скале, а я знал, что не каждый мужчина отважится на такой подвиг. Едва Франку исполнилось шесть лет, он мог достать монету с пятиметровой глубины.

— Мой народ на Бора-Бора не любит язычников, они там все христиане. А я не люблю христиан острова Бора-Бора, — сказал он однажды, когда я убеждал его взять одну из наших шхун и навестить родной остров. У меня была идея — заставить его тратить деньги, по праву принадлежащие ему. Путешествие я затевал неспроста: я надеялся, что это событие будет переломным в его психологии и он начнет беззаботно тратить деньги.

Я говорю «одну из наших шхун», хотя в ту пору все они по закону принадлежали мне. Я долго пытался побороть его упрямство: мне хотелось, чтобы мы были компаньонами.

— Мы компаньоны с того самого дня, как затонула «Крошка Жанна», — ответил он наконец. — Но если твое сердце так пожелало, давай будем законными компаньонами. Я бездельничаю, а денег на меня уходит уйма. Я много пью, ем и курю вволю, а это стоит немало, я знаю. Я беспилатно играю на бильярде, потому что это твой стол, но это все-таки расход. Удить рыбу на рифе для собственного удовольствия может позволить себе только богат. На крючки и лесы уходит много денег. Да, нам необходимо стать компаньонами по закону. Мне нужны деньги. Я буду получать их в конторе у старшего клерка.

Словом, были выписаны и оформлены соответствующие документы. Прошел год, и я начал ворчать.

— Чарли, — сказал я, — ты — старый обманщик, несчастный скряга, жалкий краб. Смотри-ка, твоя доля прибыли за этот год равна нескольким тысячам долларов. Эту бумагу дал мне старший клерк. Здесь написано, что за год ты израсходовал восемьдесят семь долларов и двадцать центов.

— Мне еще что-нибудь причитается? — спросил он озабоченно.

— Я же сказал, несколько тысяч долларов, — ответил я.

Лицо его просветлело, будто он почувствовал большое облегчение.

— Это очень хорошо,— сказал он.— Смотри, чтобы старший клерк правильно вел счета. Когда мне понадобятся деньги, я возьму их, и чтобы ни один цент не пропал.

— А если случается нехватка,— помолчав, добавил он жестко,— ее покрывают из жалованья клерка.

А в то время, как я впоследствии узнал, в сейфе американского консульства уже хранилось его завещание, составленное Каррузерсом, по которому я являлся единственным его наследником.

Но пришел конец, потому что все на свете должно когда-нибудь закончиться. Это случилось на Соломоновых островах, где в дни безрассудной юности мы работали не покладая рук. Теперь мы снова посетили эти места, главным образом для того, чтобы отдохнуть, а заодно посмотреть, как идут дела на земельных участках на острове Флорида, и разузнать, насколько выгоден жемчужный промысел в проливе Мбопи. Мы стали на якорь у острова Сабо в надежде выторговать у туземцев что-нибудь ценное.

Ну, возле Сабо так и кишат акулы. Обычай туземцев хоронить своих покойников в открытом море привел к тому, что акулы стали постоянными жильцами омывающих остров вод. Так уж мне всегда лезет, что крошечное, перегруженное туземное каное, в котором мы плыли, опрокинулось. В нем было, вернее, за нас держались, четверо негров и я. До шхуны было ярдов сто. Как раз в то время, когда я кричал своим на шхуне, чтобы спустили шлюпку, раздались вопли одного из негров. Он держался за конец каное, и его несколько раз потянуло вниз вместе с лодчонкой. Потом он разжал руки и исчез. Его утащила акула.

Трое оставшихся негров пытались выкарабкаться из воды на днище опрокинутого каное. Я кричал на них, ругался, даже стукнул того, который был рядом, кулаком, но ничего не помогло. Их охватил безумный ужас. Каное едва ли могло выдержать даже одного из них. Когда на лодку взобрались трое, она стала вертикально, затем опрокинулась на бок, сбросив их в воду.

Я поплыл к шхуне, надеясь, что мне навстречу выйдет шлюпка. Один из негров последовал за мной, и мы продвигались вперед рядом, не говоря ни слова и время от времени опуская лицо в воду, чтобы посмотреть, нет ли акул. Человек, оставшийся у каное, дико закричал: на него напали хищники. Опустив голову в воду, я увидел огромную акулу, проплыва-

ющую как раз подо мной. Она была не менее шестнадцати футов длиной. Я видел, как все произошло. Она схватила негра поперек туловища и поплыла прочь. Голова, руки, плечи несчастного все время были над водой, он кричал душераздирающим голосом. Акула протащила его несколько сот футов, потом он скрылся под водой.

Я плыл вперед, надеясь, что это была последняя голодная акула. Но была еще одна. Была ли это одна из тех, которые напали на негров вначале, или она насытилась где-нибудь в другом месте, я не знаю. Во всяком случае, она, кажется, не спешила, как другие. Теперь я уже не мог плыть так быстро, как раньше, потому что я тратил много сил, стараясь не терять ее из виду. Я видел, как она начала первую атаку. Мне повезло — я обеими руками стукнул ее по рылу, и, хотя ее внезапный толчок чуть не увлек меня под воду, мне все-таки удалось ее отогнать... Потом она повернула и начала кружить подле меня. Так же мне удалось спастись и во второй раз. Третий бросок был неудачен для обеих сторон. Она повернулась в тот момент, когда мои кулаки были возле ее рыла, и, прикоснувшись к ее боку, напомиравшему наждачную бумагу, я на одной руке содрал кожу от локтя до плеча: на мне была безрукавка.

Теперь я уже совсем выдохся и потерял всякую надежду на спасение. До шхуны оставалось футов двести. В то время, когда я опустил лицо в воду и наблюдал за акулой, которая готовилась к следующей атаке, я заметил промелькнувшее между нами коричневое тело. Это был Отоо.

— Плыви к шхуне, господин! — сказал он. И голос его был весел, словно речь шла о веселом приключении. — Я знаю акул. Акулы мне братья.

Я подчинился и медленно поплыл вперед, а Отоо был рядом, все время лавируя между мной и акулой, отражая ее атаки и подбадривая меня.

— На боканцах снесло такелаж, и они его крепят, — объяснил он через минуту-другую и сразу нырнул, чтобы отбить очередную атаку хищника.

Когда шхуна была в тридцати футах, я выдохся окончательно. Я с трудом двигал руками и ногами. С борта нам бросали веревки, но они падали слишком далеко. Акула, убедившись, что имеет дело с безобидными существами, осмелела. Несколько раз она меня чуть не схватила, но в решающую секунду ей мешал Отоо. Конечно, сам Отоо мог спастись в любой момент. Но он не хотел бросать меня.

— Прощай, Чарли! Это конец, — задыхаясь, выговорил я.

Я знал, что это конец, что через секунду я опущу руки и пойду ко дну.

Но Отоо засмеялся и сказал:

— Я покажу тебе новый фокус. Этой акуле плохо придется!

Он нырнул между мной и акулой, которая плыла за мной.

— Забирай влево! — крикнул он. — Там веревка. Еще левее, господин, левее!

Я повернул в другую сторону и поплыл вперед. Когда я ухватился за веревку, на шхуне раздался крик. Я оглянулся. Отоо не было... В следующее мгновение он появился на поверхности. Кисти обеих рук были у него оторваны, из ран лилась кровь.

— Отоо! — негромко позвал он. И взгляд его был полон той же любви, что звучала в его голосе.

Только теперь, единственный раз, в последнее мгновение своей жизни, он назвал меня этим именем.

— Прощай, Отоо! — крикнул он.

Потом он исчез под водой, а меня втащили на борт, где я упал на руки капитана и потерял сознание.

Так ушел из жизни Отоо, который спас меня в молодости, сделал меня человеком и потом снова спас. Мы встретились в пасти урагана, и нас разлучила пасть акулы. Между этими событиями прошло семнадцать лет, и я с полной ответственностью могу заявить, что в мире никогда не было такой дружбы между темнокожим и белым. И если Иегова на своем высоком посту действительно всевидящ, то в его царстве не последним будет Отоо, единственный язычник с острова Бора-Бора.

НЕУКРОТИМЫЙ БЕЛЫЙ ЧЕЛОВЕК

— Пока чернокожий человек черный, а белый человек белый, они не поймут друг друга,— так сказал капитан Вудворт.

Мы сидели в кабачке у Чарли Робертса и стаканами тянули «Абу-Хамед», приготовленный хозяином, который пил с нами за компанию. Чарли Робертс утверждал, что раздобыл рецепт этого напитка непосредственно у Стивенса, прославившегося изобретением «Абу-Хамеда» в то время, когда жажда гнала его отведать воду Нила, у того самого Стивенса¹, который сочинил «С Китченером к Хартуму», а потом погиб при осаде Ледисмита.

Капитан Вудворт, крепкий, коренастый, с опаленным за сорок лет пребывания в тропиках лицом, прекрасными лучистыми карими глазами, каких я ни разу в жизни не встречал у мужчин, многое изведal в жизни. Крестообразный шрам на его лысой макушке говорил о близком знакомстве с боевым топором туземца; о том же свидетельствовали два рубца от стрелы на правой стороне шеи: там, где стрела вошла и где она вышла из его тела. Но его словам, он бежал, а стрела ему мешала, но он не имел времени отламывать наконечник стрелы и потому протаскил ее насквозь. Теперь он был капитаном «Савайи», огромного парохода, который вербовал на островах Южных морей рабочую силу для немецких плантаций в Самоа.

¹ С т и в е н с, Чарльз — английский военный корреспондент, участник ряда колониальных войн Британской империи; описал свое пребывание в армии генерала Китченера, подавившего национально-освободительное движение в Судане (книга «С Китченером к Хартуму»). Убит в боях под городом Ледисмит, где буры в ходе войны против английских оккупантов блокировали многочисленный английский гарнизон (1900 год).

— Половина всех недоразумений происходит из-за нашей тупости,— заявил Робертс, делая паузу, чтобы отхлебнуть из своего стакана и добродушно отчитать за что-то маленького слугу-самоанца.— Если бы белый человек хотя бы иногда задумывался над психологией чернокожих, можно было бы избежать большинства недоразумений.

— Я встречал таких, правда, их было немного, которые утверждали, что понимают негров,— ответил капитан Вудворт,— и я всегда замечал, что их в первую очередь «кай-кай», то есть съедали. Вспомните миссионеров в Новой Гвинее и Новых Гебридах, на острове мучеников Эрроманге и на всех остальных островах. Вспомните судьбу австрийской экспедиции: ее изрубили в куски на Соломоновых островах, в дебрях Гвадалканара. Да и сами торговцы, умудренные многолетним опытом: они хвастались, что к ним не прикоснется ни один негр, а головы их по сей день красуются на балках плавучих жилищ. Или вот старый Джонни Симонс. Двадцать шесть лет провел в дебрях Меланезии и клялся, что знает негров как свои пять пальцев, что они его не тронут. А погиб он у лагуны Марово, в Нью-Джорджии. Ему отрезали голову черная Мэри и старый одноногий негр. (Одну ногу у него отхватила акула, когда он нырял за оглушенной рыбой.) Был еще Билли Уотс, убийца негров, человек, которого испугался бы сам дьявол! Помню, стояли мы у мыса Литл, это, знаете ли, в Новой Ирландии, когда негры утащили у него полтюка табаку, который он собирался продать, табак и стоил-то доллара три. Так он в отместку пристрелил шестерых негров, разбил их боевые каноэ и сжег две деревни. Четыре года спустя, когда он с пятьюдесятью молодчиками из Буку там же, у мыса Литл, ловил трепангов, их подстерегли чернокожие. Всех перебили за пять минут, кроме троих парней, которым удалось удрать в каноэ. Словом, нечего болтать, будто мы понимаем негров. Миссия белого человека — нести цивилизацию в мир, и это — нелегкое дело, выпавшее на его долю. Где ж тут останется время, чтобы копаться в психологии негров?

— Точно! — выпалил Робертс.— И вообще это не так уж обязательно — понимать негров. Чем глупее белый человек, тем успешнее он насаждает цивилизацию...

— И вселяет страх божий в сердца негров,— вставил капитан Вудворт.— Может быть, вы правы, Робертс. Возможно, секрет его успеха именно в глупости, и, несомненно, один из признаков этой глупости — неспособность понять негров. Одно ясно: белый призван управлять неграми, независимо от

того, понимает он их или нет. Он неукротим и неотвратим, как рок.

— Конечно, белый человек неукротим и неотвратим для негров,— вставил Робертс.— Скажите белому, что в какой-то лагуне, где живут десятки тысяч воинственных туземцев, лежит жемчужина,— он бросится туда очертя голову с полдюжиной разных ловцов-канаков и дешевым будильником вместо хронометра. Они возьмут удобное судно водоизмещением тонн в пять и набьются туда, как сельди в бочку. Только шепните ему, что на Северном полюсе есть золотая жила, и это неукротимое белокожее существо сразу же двинется в путь, прихватив с собой лопату, кирку, окорок и патентованный, последнего образца, лоток для промывания золота. И самое удивительное, что он туда доберется! Намекните ему, что за раскаленной оградой ада нашли алмазы—и Мистер Белокожий атакует врата преисподней и заставит старого бродягу Сатану работать ломом и лопатой. Вот что происходит, когда человек глуп и неукротим.

— Интересно, что думают чернокожие о... о неукротимости?

Капитан Вудворт негромко засмеялся. Глаза его засветились от воспоминаний.

— Мне тоже хотелось бы узнать, что думали и, должно быть, до сих пор думают негры Малу об одном неукротимом белом человеке, который был с нами на «Герцогине», когда мы стали на якорь у их берега,— сказал он.

Робертс приготовил еще три «Абу-Хамеда».

— Было это лет двадцать тому назад. Звали его Саксторп. Я ни разу в жизни не встречал такого тупого человека, но он был неукротим, как сама смерть. Он умел только стрелять, и больше ничего. Помню, как я в первый раз его встретил здесь, в Апии, двадцать лет назад. Тебя еще тут не было, Робертс. Я остановился в гостинице голландца Генри, там, где сейчас рынок. Вы ничего о нем не знаете? Он неплохо заработал, тайно переправляя оружие повстанцам¹, продал свою гостиницу, а ровно через шесть недель его зарезали в каком-то кабачке Сиднея.

Однако о Саксторпе. Как-то ночью, едва я заснул, кошачья пара начала во дворе концерт. Соскочив с постели, я подошел

¹ Повстанцы—имеется в виду повстанческое движение 1890—1900 годов на Филиппинских островах, сначала направленное против испанских колонIALистов, обосновавшихся на Филиппинах с XVII века, а затем против США, захвативших Филиппины под видом помощи в национально-освободительной антииспанской войне.

к окну с кувшином воды в руке. И в то же время я услышал, как раскрылось соседнее окошко. Раздались два выстрела, и окно закрылось. Все произошло так быстро, что описать невозможно. Это было делом нескольких секунд. Раскрывается окно, — бум, бум — два раза стреляет револьвер, — окно закрывается. Я не знаю, кто он был, но он даже не выглянул в окно. Он был уверен. Понимаете? Уверен. Концерт прекратился, и утром нашли окоченевшие тела нарушителей тишины. Мне это показалось чудовищным. Во-первых, на небе светили только звезды, а Саксторп стрелял, не целясь, во-вторых, выстрелы следовали один за другим так быстро, будто он стрелял из двустволки, и, наконец, он знал, что попал в свои мишени, даже не выглянув в окно.

Через два дня он пришел наниматься на «Герцогиню». Я тогда был помощником капитана на большой шхуне водоснабжением в сто пятьдесят тонн. Мы перевозили завербованных негров. Должен сказать, в те дни вербовка была настоящей вербовкой. Мы не знали ни правительственных инспекторов, ни властей. Это была адски тяжелая работа. Мы целиком полагались только на себя. Когда дела принимали плохой оборот, не пеняй на других! Мы вывозили негров со всех островов Южных морей, кроме тех, откуда нас гнали. Словом, он пришел на шхуну и назвался Джоном Саксторпом. Небольшой человечек какого-то песочного цвета: песочные волосы, песочный цвет лица, даже глаза песочные. Ничего в нем не было приметного. Душа у него была такая же бесцветная, как и физиономия. Он сказал, что остался без единого пенса и хочет поступить на судно. Готов служить конгой, коком, судовым приказчиком или простым матросом.

Он ничего не смыслил ни в одной из тех профессий, но сказал, что научится. Мне он был не нужен, но его стрельба произвела на меня столь сильное впечатление, что я записал его матросом с жалованьем три фунта в месяц.

Не стану отрицать, он действительно хотел чему-нибудь научиться. Но так уж он был устроен, что не мог ничему научиться. Он разбирался в румбах компаса не больше, чем я в приготовлении выпивки, которую нам делает Робертс. Штурвалом же он орудовал так, что ему я обязан первой сединой. Я ни разу не рискнул подпустить его к штурвалу, когда море было беспокойно, потому что движение с попутным ветром или галсами — против ветра — было для него неразрешимой тайной. Он бы никогда не мог сказать, в чем разница между шкотами и талями. Путал кливер с гафелем. Прикажете ему ослабить грот-трисель-шкот, и, прежде чем вы сообрази-

те, что происходит, он опустит нок гафеля. Он трижды падал за борт, а плавать не умел. Но он всегда был жизнерадостен, не ведал, что такое морская болезнь, и был самым покладистым человеком, каких я только знал. Это была замкнутая натура. Он никогда не рассказывал о себе. Для нас его жизнь началась с того дня, когда он появился на «Герцогине». Где он научился стрелять, сказать могли лишь звезды. Он был янки — это мы определили по его гнусавому произношению. Но больше мы так ничего и не узнали.

Вот я и подошел к самому главному. Нам здорово не везло на Новых Гебридах: за пять недель — только четырнадцать негров, и с попутным зюйд-остом мы взяли курс к Соломоновым островам. На Малаите тогда, как и сейчас, можно было легко вербовать негров, и мы пошли к северо-западной оконечности острова — Малу. Рифы там и у берега и в открытом море, и стать на якорь нелегко, но мы благополучно миновали рифы, отдали якорь и взорвали динамит — этим сигналом мы возвещали негров о начале вербовки. За три дня никто не явился. Негры сотнями подплывали к нам на своих каноэ, но они только смеялись, когда мы показывали им бусы, ситец, топоры и начинали рассказывать о том, что работа на плантациях Самоа — одно удовольствие.

На четвертый день все вдруг переменялось. Записалось сразу пятьдесят с лишним человек; их разместили в главном трюме, разумеется, с правом свободного передвижения по палубе. Теперь, когда я оглядываюсь назад, эта повальная вербовка представляется мне очень подозрительной, но в то время мы думали, что какой-нибудь могущественный вождь-царек разрешил своим подданным наниматься на работу. Утром пятого дня обе наши шлюпки, как обычно, пошли к берегу. Одна шлюпка прикрывала другую на случай нападения. И, как обычно, на палубе слонялись без дела, болтали, курили или спали полсотни негров. На «Герцогине», кроме них, остались я, Саксторп да четверка матросов. На обеих наших шлюпках работали уроженцы островов Гилберта. На первой были капитан, судовой приказчик и вербовщик. На второй, что прикрывала первую и стояла в сотне ярдов от берега, находился второй помощник капитана. Обе шлюпки были хорошо вооружены, хотя нам как будто ничто не угрожало.

Четверо матросов, включая Саксторпа, чистили поручни на корме. Пятый матрос с винтовкой в руках стоял на часах перед грот-мачтой, возле бака с водой. Я был на носу, наводя последний глянец на новое крепление фор-гафеля. Только я наклонился за своей трубкой, как с берега раздался выстрел.

Я выпрямился, чтобы посмотреть, в чем дело. Что-то стукнуло меня по затылку. Оглушенный, я свалился на палубу. Вначале я подумал, что мне на голову упала снасть, но я услышал адский треск выстрелов со стороны шлюпок и, падая, успел посмотреть на матроса, который стоял на часах. Два здоровенных негра держали его за руки, а третий замахнулся на него топором.

Как сейчас, вижу эту картину: бак для воды, грот-мачта, чернокожие, схватившие часового за руки, топор, опускающийся ему на голову, — и все это залито ослепительным солнечным светом. Я был словно во власти колдовского видения наступающей смерти. Казалось, томагавк двигается страшно медленно. Я увидел, как он врезался в голову, ноги матроса подкосились, и он начал оседать на палубу. Негры крепко держали его и стукнули еще два раза. Затем меня тоже стукнули пару раз по голове, и я решил, что я умер. К тому же выводу пришел тот негодяй, который нанес мне удары. Я не мог двигаться и лежал неподвижно, наблюдая, как они отсекли часовому голову. Должен сказать, орудовали они ловко. Видно, набили руку на этом деле.

Стрельба со шлюпок прекратилась, и я не сомневался, что они всех прикончили. Сейчас они придут за моей головой. Очевидно, они снимали головы тем матросам, что были на корме. На Малаите ценятся человеческие головы, особенно головы белых. Они занимают почетные места в каноэ, в которых живут прибрежные туземцы. Я не знаю, какого декоративного эффекта добиваются лесные жители, но они ценят человеческие головы так же, как их собратья на побережье.

Все же меня не покидала слабая надежда на спасение. На четвереньках я добрался до лебедки, а там с трудом поднялся на ноги. Теперь мне была видна корма — на палубе рубки торчали три головы. Это были головы матросов, с которыми я общался много месяцев подряд.

Негры заметили, что я поднялся на ноги, и побежали ко мне. Я хотел было достать револьвер, но обнаружил, что они его забрали. Не могу сказать, чтобы я очень испугался. Я несколько раз был на волосок от гибели, но никогда смерть не подступала ко мне так близко, как в тот раз. Я был в полубесознательном состоянии, и мне было все безразлично.

Негр, который несясь впереди, прихватил в камбузе большой мясницкий нож, намереваясь разделать меня на куски. Он гримасничал, как обезьяна. Но ему не удалось осуществить свое намерение. Он ничком рухнул на палубу, и я увидел, как изо рта у него хлынула кровь. В полубезытии я расслышал вы-

стрел, за ним еще и еще. Негры падали один за другим. Я постепенно приходил в себя и заметил, что стреляют без промаха. С каждым выстрелом кто-нибудь падал. Я уселся рядом с лебедкой и взглянул наверх. Там на салинге сидел Саксторп. Как он умудрился туда забраться, я не знаю: ведь у него в руках было два винчестера и множество патронташей. Как бы то ни было, сейчас он был занят единственным делом, на какое был способен.

Мне приходилось видеть и резню и расстрелы, но я ни разу в жизни не видел ничего подобного. Я сидел у лебедки и наблюдал. Я был в каком-то полуобморочном состоянии, и все происходящее представлялось мне сном. Банг, банг, банг — стреляю ружье, и хлоп, хлоп, хлоп — валились на палубу негры. Во время первой попытки схватить меня погибло человек десять, и остальные теперь остолбенели от ужаса, но Саксторп стрелял, не переставая. К этому времени к судну подошли те две шлюпки и каноэ с неграми, которые были вооружены снайдерами и винчестерами, захваченными у нас. Они открыли по Саксторпу ураганный огонь. К счастью для него, негры хорошо стреляют только на близком расстоянии. Они не прикладывают ружья к плечу. Они ждут, пока человек очутится ниже их, и стреляют, приставив ружье к бедру. Когда у Саксторпа перегревался винчестер, он брал другой. Поэтому-то он и захватил с собой два ружья, когда полез наверх.

Скорость стрельбы была у него потрясающая. К тому же Саксторп ни разу не промазал. Если на земле существует неукротимый человек, так это Саксторп. Немыслимая скорость делала это побоище страшным.

Негры не могли опомниться. Когда же они немного пришли в себя, они начали бросаться за борт и опрокидывали свой каноэ. Саксторп продолжал стрельбу. Вода была сплошь усеяна черными макушками, и — бух-бух-бух — всаживал он в них свои пули. Он не промахнулся ни разу, и я отлично слышал, как каждая пуля хлопала в человеческий череп.

Лавина негров устремилась к берегу. Я поднялся и, словно во сне, видел, как на воде, точно мячики, прыгали и исчезали в глубинах головы чернокожих. Некоторые дальние выстрелы были совершенно феноменальны. Только один добрался до берега, но, когда он поднялся, чтобы выйти из воды, Саксторп уложил и его. Это было превосходное попадание. И когда двое негров подбежали к раненому и стали вытаскивать его на берег, Саксторп уложил их на месте.

Я решил, что все кончилось. Но тут стрельба началась снова. Какой-то негр выскочил из кают-компании и бросился

к поручням, но на полпути упал. Кают-компания, вероятно, была переполнена неграми. Я насчитал человек двадцать. Они выбегали по одному и прыгали к поручням. Но ни один из них не добрался до борта. Мне это зрелище напомнило стрельбу по летящей мишени. Чернокожий выскакивал из двери, раздавался выстрел Саксторпа — и он моментально летел вниз. Там, в кают-компании, они, конечно, не знали, что происходит на палубе, и продолжали выбегать наверх, пока их всех не перебили.

Саксторп подождал немного, убедился, что опасность миновала, и спустился на палубу.

Из всей команды «Герцогини» уцелели только мы с Саксторпом, и я был очень плох, а он был совершенно беспомощен теперь, когда уже не нужно было стрелять. Следуя моим указаниям, он промыл мои раны и переязал их. Внушительная порция виски придала мне сил — надо было как-то выбираться отсюда. Мне не на кого было надеяться. Все были убиты. Мы попытались поставить паруса: Саксторп поднимал их, а я ему помогал. Он снова показал свою непроходимую тупость. Парус не поднялся ни на сантиметр, и, когда я снова потерял сознание, нам, казалось, пришел конец.

Но я очнулся. Саксторп беспомощно сидел на трапе в ожидании моих распоряжений. Я велел ему осмотреть раненых, среди них могли оказаться такие, которые могут передвигаться. Он отобрал шестерых. У одного, помню, была перебита нога, но Саксторп заявил, что руки у него в порядке. Лежа в тени, я отгонял мух и говорил, что делать, а Саксторп подгонял свою инвалидную команду. Клянусь, он заставлял этих несчастных негров тянуть каждый конец, прежде чем они нащипали фалы. Один из них, выбирая канат, замертво упал на палубу, но Саксторп избил остальных и велел им продолжать работать. Когда грот и фок были поставлены, я приказал ему раскрепить якорную цепь и выпустить ее за борт. Я заставил их помочь мне добраться до штурвала: хотел попытаться сам как-нибудь повести судно. Не могу понять, как это произошло, но вместо того, чтобы освободиться от якоря, он отдал второй. Так что теперь мы стали на оба якоря.

Но в конце концов Саксторпу удалось сбросить обе якорных цепи в море и поставить стаксель и кливер. «Герцогиня» легла на курс. Наша палуба представляла собой ужасное зрелище. Повсюду валялись трупы и умирающие. Они были везде, в самых неожиданных местах. Многим удалось заползти с палубы в кают-компанию. Я распорядился, чтобы Саксторп и его кладбищенская команда сбрасывали за борт трупы

и умирающих. В тот день акулы здорово поживились. Четверо наших убитых матросов были, разумеется, тоже сброшены за борт. Но головы их мы все-таки положили в мешок с грузом, чтобы их не выбросило на берег и чтобы они ни в коем случае не попали в руки неграм.

Пяттерку пленных я считал командой судна. Однако они придерживались иного мнения. Они дождались удобного случая и перемахнули за борт. Двоих Саксторп застрелил из револьвера на лету и прикончил бы и остальных, но я его остановил. Понимаете, мне надоела непрерывная бойня, и, кроме того, они помогли нам двинуться в путь. Но это заступничество ни к чему не привело: акулы сожрали всех троих.

Мы вышли в открытое море. У меня началось что-то вроде воспаления мозга. Как бы то ни было, «Герцогиню» носило по морю три недели, пока я немного не поправился и не привел ее в Сидней. Во всяком случае, эти негры Малу долго будут помнить, что с белым человеком шутки плохи. Саксторп был действительно неукротим.

Чарли Робертс протяжно свистнул и сказал:

— Еще бы! Ну, а Саксторп, что с ним было потом?

— Он занялся охотой на тюленей, и дела его шли отлично. Лет шесть он плавал на разных шхунах Виктории и Сан-Франциско. На седьмой год в Беринговом море шхуна, на которой он служил, была захвачена русским крейсером, и, говорят, всю команду отправили на соляные копи в Сибирь. Во всяком случае, я больше о нем не слышал.

— Нести цивилизацию в мир...— пробормотал Робертс.— Нести цивилизацию... Что ж, за это стоит выпить! Кто-то должен этим заниматься, я хочу сказать, нести цивилизацию.

Капитан Вудворт потер шрам на своей лысой голове.

— Я уже сделал свое дело,— сказал он.— Вот уж сорок лет, как я служу. Это мой последний рейс. Уеду домой — на покой.

— Держу пари,— возразил Робертс,— что вы встретите смерть за штурвалом, а не дома.

Капитан Вудворт без колебаний принял пари, но я думаю, что у Чарли Робертса больше шансов выиграть.

ПОТОМОК МАК-КОЯ

Низко осев под тяжестью груза пшеницы, шхуна «Пиренеи» медленно скользила по спокойному океану, и человек, подплывший в легкой пироге к ее железному борту, без труда вскарабкался наверх. Когда он перегнулся через фальшборт и увидел палубу, ему показалось, что перед его глазами колышется легкое, едва различимое туманное марево. Может, это ему и впрямь только показалось, может, глаза на секунду застлала плотная пелена? Его охватило непреодолимое желание стряхнуть с себя неприятное ощущение, и он подумал, что стареет и пришло время посылать в Сан-Франциско за очками.

Он перелез через поручни и посмотрел вверх на мачты, потом перевел взгляд на помпы. Они не работали. Никаких признаков того, что произошла какая-то авария, не было, и он удивился, почему шхуна подала сигнал бедствия. «Только бы не эпидемия,— подумал он, беспокоясь о счастливо-беззаботных жителях своего островка.— Нет, должно быть, кончилась пресная вода или провизия». Он поздоровался с капитаном и по его изможденному лицу и страдальческому выражению глаз понял, что тот не зря подал сигнал. В ту же секунду до него донесся слабый, едва ощутимый запах—похоже было, что подгорел хлеб.

Он удивленно огляделся. В двадцати футах от него матрос с усталым лицом конопатил палубу. Взгляд незнакомца задержался на нем; он заметил, как из паза в палубе, прямо из-под рук матроса, выскользнула тоненькая струйка дыма и, свернувшись кольцами, растаяла в воздухе. Он подошел ближе. Загрубевшие подошвы босых ног ощутили странное тепло. Теперь он уже знал, что произошло. Он бросил взгляд на бак; столпившаяся там команда с надеждой смотрела на него.

Влажные карие глаза незнакомца как будто изливали на них благодное тепло, лаская и словно окутывая покровом безмерного покоя.

— Давно горит, капитан? — спросил он голосом мягким и кротким, напоминавшим воркование голубя.

На какой-то краткий миг капитану передалось ощущение безмятежного покоя и умиротворенности, исходившее от незнакомца, но уже в следующую секунду при мысли о том, что пережито и что еще предстоит пережить, он возмутился. Какое право имеет этот жалкий оборванец в холщовых штанах и бумажной рубахе навязывать ему свой безмятежный покой и умиротворенность, лезть в его измученную тревожными душа. Капитан сам не отдавал себе в этом отчета: то был бессознательный протест, возникший помимо его желания и воли.

— Пятнадцать дней, — отрывисто ответил он. — А кто вы такой?

— Мое имя — Мак-Кой. — Голос незнакомца звучал теплым сочувствием.

— Меня интересует другое. Вы лоцман?

Ласковый благословляющий взгляд Мак-Коя устремился на подошедшего к капитану высокого широкоплечего человека с небритым, усталым лицом.

— Да, я и лоцман, — последовал ответ. — Мы все здесь лоцманы, капитан, и я знаю каждый дюйм этих вод.

— Мне надо повидать кого-нибудь из местных властей, — раздраженно перебил его капитан. — Я должен поговорить с ними, и чем скорее, тем лучше.

— В таком случае я тот, кто вам нужен.

И снова ощущение покоя и умиротворенности коварно проникло в душу капитана — и это теперь, когда каждую секунду у него под ногами вот-вот забушует огонь! Капитан раздраженно и нетерпеливо поднял брови и сжал кулаки, словно готовясь нанести удар.

— Да кто вы такой, черт побери? — крикнул он.

— Губернатор и главный судья, — был ответ, произнесенный голосом тихим и кротким.

При этих словах высокий широкоплечий человек разразился резким невеселым смехом, более походившим на истерические всхлипывания. И он и капитан изумленно и недоверчиво уставились на Мак-Коя. Непостижимо, как этот босоногий оборванец может занимать столь высокий пост. Под расстегнутой бумажной рубахой виднелась заросшая седыми волосами грудь, нижнего белья явно не было. Из-под полей выгоревшей соломенной шляпы выбивались растрепанные седые кос-

мы. На грудь спускалась спутанная борода, придававшая ему сходство с патриархом. Два шиллинга — вот красная цена, которую дали бы за его одежду в любой лавке старьевщика.

— Вы случайно не родственник Мак-Коя с брига «Баунти»¹? — спросил капитан.

— Он мой прадед.

— Да ну! — начал было капитан, но тут же осекся. — Меня зовут Девенпорт, а это мистер Кониг — мой старший помощник.

Они пожали друг другу руки.

— А теперь перейдем к делу, — торопливо, словно подгоняемый неотложной необходимостью, заговорил капитан. — Зерно начало гореть больше двух недель назад. Каждую секунду огонь может вырваться из трюма, и шхуна полетит ко всем чертям. Вот почему я взял курс на Питкэрн. Я хочу выброситься на берег или затопить шхуну, чтобы спасти хотя бы корпус.

— В таком случае вы совершили ошибку, капитан, — заметил Мак-Кой. — Надо было идти на Мангареву. Там прекрасная отмель, а вода в лагуне спокойная, как в мельничной запруде.

— Но ведь мы пришли не в Мангареву, а сюда, не так ли? — раздраженно сказал старший помощник. — Мы уже здесь, и надо что-нибудь придумать.

Губернатор добродушно покачал головой.

— Здесь вы ничего не придумаете. У Питкэрна нет ни отмели, ни даже якорной стоянки.

— Вздор! — воскликнул старший помощник. — Вздор! — повторил он громче, заметив, что капитан делает ему знаки не горячиться. — Уж кого-кого, а меня вы не проведете! А где стоят ваши суда: шхуна, куттер или что там у вас еще имеется? А? Что же вы молчите?

Мягкая улыбка, такая же мягкая, как и его голос, тронула губы Мак-Коя. Его улыбка была сама нежность и ласка, она словно обволакивала измученного помощника, увлекая его в мир тишины и спокойствия безмятежной души Мак-Коя.

— У нас нет ни шхуны, ни куттера, — ответил он. — А пироги мы втаскиваем на скалы.

— Ну уж не морочьте мне голову, — проворчал помощник. — Как же вы добираетесь до других островов?

— А мы и не добираемся до них. Я, как губернатор Питкэрна, еще иногда бываю на других островах. Прежде, когда

¹ Бриг «Баунти» — английское военное судно. Его команда восстала против офицеров (1789), уничтожила корабль и осела на острове Питкэрн, сменившись с местным населением.

я был помоложе, я то и дело уезжал с острова — чаще всего на миссионерском бриге, а иногда и на торговых шхунах. Но этого брига больше нет, и мы целиком зависим от идущих мимо судов. Бывает, к нам заходит в год пять, а то и шесть судов. А иной год и ни одного. Ваша шхуна — первая за последние семь месяцев.

— Неужели вы думаете, я поверю... — начал было старший помощник, но капитан Девенпорт перебил его:

— Ну, хватит. Мы теряем время. Что же делать, мистер Мак-Кой?

Карие, женственно-кроткие глаза старика обратились к одиноко высившемуся среди океана скалистому острову, затем он перевел взгляд — капитан с помощником наблюдали за ним — на столпившуюся на носу команду, напряженно ждавшую его решения.

Мак-Кой не торопился с ответом. Он размышлял долго, обстоятельно, с уверенностью человека, душу которого никогда ничто не омрачало.

— Ветер сейчас совсем слабый, — сказал он наконец. — Но немного западнее проходит сильное течение.

— Поэтому-то мы и вышли на подветренную сторону, — перебил его капитан, желая показать, что и он владеет искусством мореходства.

— Да, поэтому вы и вышли на подветренную сторону, — продолжал Мак-Кой. — Но сегодня вам все равно не удастся справиться с этим течением. А если б даже и удалось, все равно здесь нет отмели. Разобьете судно о скалы.

Он замолчал; капитан и старший помощник обменялись взглядом, полным отчаяния.

— Остается единственный выход, — снова заговорил Мак-Кой. — К ночи ветер покрепчает. Видите вон те облачка и марево с наветренной стороны? Вот оттуда-то, с юго-востока, он и задует. Отсюда до Мангаревы триста миль... Идите прямехонько туда. Там превосходная лагуна.

Старший помощник покачал головой.

— Зайдем в каюту и посмотрим карту, — предложил капитан.

Когда они вошли в каюту, в ноздри Мак-Кою ударил резкий, удушливый запах. Невидимый газ разъедал глаза, причиняя нестерпимую боль. На горячей палубе невозможно было стоять босиком. Пот градом катил с Мак-Коя. Он чуть не с ужасом поглядел вокруг. Поразительная жара. Просто диво, что каюта еще не объята огнем. Мак-Кою почудилось, что его

сунули в гигантскую печь, которая вот-вот разгорится и поглотит его, как былинку, в своем полыхающем чреве.

Помощник капитана увидел, как Мак-Кой, подняв ногу, потер обожженную подошву о штанину, и жестко рассмеялся.

— Преддверие ада, не так ли? А спуститесь ниже, угодите в самый ад.

— Ну и пекло! — вскричал Мак-Кой, вытирая лицо цветным носовым платком.

— Вот Мангарева, — проговорил капитан, склонившись над столом и указывая на черную точку, затерявшуюся среди белой пустыни карты. — А между Питкэрном и Мангаревой есть еще один остров. Почему бы нам не пойти к нему?

Мак-Кой даже не взглянул на карту.

— Это остров Полумесяца. Он необитаем, поднимается над морем фута на два-три, не больше. Есть лагуна, но в нее не войти. Нет, Мангарева — ближайшее и самое подходящее для вас место.

— Ну что ж, Мангарева так Мангарева, — сказал капитан Девенпорт, предупреждая возражения старшего помощника. — Созовите команду на корму, мистер Кониг.

Матросы повиновались и устало поплелись на корму. В каждом их движении чувствовалось страшное переутомление. Из камбуза вышел кок, рядом с ним стал юнга.

Когда капитан объяснил обстановку и сообщил о своем решении идти на Мангареву, поднялся возмущенный ропот. В общем гуле хриплых голосов порой слышались невнятные гневные выкрики, то там, то здесь раздавались громкие проклятия. На мгновение все заглушил пронзительный голос матроса-кокни¹.

— Да пропадите вы пропадом! Мало вам, что вот уже две недели мы жаримся в аду? Теперь нас снова хотят заставить идти черт знает куда на этой адской посудине!

Они не поддавались никаким уговорам капитана, и лишь кроткое спокойствие Мак-Коя, казалось, умиротворило их: мало-помалу ропот и проклятия затихли, и вскоре все матросы, кроме двух-трех, не сводивших с капитана тревожных глаз, устремили взгляды на зеленые, нависшие над морем скалы Питкэрна.

Словно ласковый ветерок прошелестел голос Мак-Коя:

— Капитан! Мне послышалось, матросы говорили, что они голодают?

¹ Кокни — уроженец восточной части Лондона.

— Да, так оно и есть. За последние два дня я сам съел один сухарь и маленький кусочек рыбы. Есть нечего. Когда мы обнаружили, что зерно загорелось, мы тут же задраили люки, надеялись, что задушим огонь. А уж после этого увидели, что в камбузе у нас мало съестных припасов. Но было уже поздно. Вскрыть люки мы не рискнули. Голодают? Я голодаю не меньше их.

Он снова принялся уговаривать матросов, и снова поднялся угрожающий ропот и послышались проклятия, снова на лицах появилось выражение гнева и злобы. Позади капитана, на полуюте, встали второй и третий помощники. Лица их не выражали ничего, кроме усталости и равнодушия; казалось, бунт команды вызывает у них только скуку. Капитан Девенпорт вопросительно посмотрел на старшего помощника, но тот беспомощно пожал плечами.

— Теперь вы понимаете, — обернулся капитан к Мак-Кою, — что невозможно заставить людей уйти от острова, в котором они видят единственное спасение, и на горящем судне снова пуститься в море. Больше двух недель шхуна, по существу, была им плавучим гробом. Они выбились из сил, изголодались — словом, достаточно натерпелись. Нам остается только одно: пробиваться к Питкэрну!

Но ветра по-прежнему не было, днище шхуны обросло ракушками, и она снова и снова безуспешно пыталась преодолеть мощное западное течение. К концу второго часа их отнесло назад на три мили. Матросы работали с отчаянием обреченных, словно пытались передать судну частицу своей силы и помочь ему в борьбе с враждебной стихией. Но все было напрасно: шхуну неуклонно, сначала левым бортом, потом правым, относило на запад. Капитан беспокойно шагал по палубе, лишь изредка останавливаясь перед плывущей по воздуху струйкой дыма и пытаясь найти щель, из которой она пробилась. Корабельный плотник без усталости разыскивал такие щели, а найдя, наглухо конопатил их.

— Ну, что скажете? — вдруг обратился капитан к Мак-Кою, с детским любопытством наблюдавшему за плотником.

Мак-Кой посмотрел на берег, который медленно исчезал в сгущавшейся дымке.

— Мне думается, лучше уходить на Мангареву. Ветер свежее, завтра к вечеру вы будете на месте.

— А что, если пламя вырвется наружу? Этого можно ждать в любую минуту.

— Держите шлюпки наготове. Если и начнется пожар, доберетесь с попутным ветром до Мангаревы на шлюпках.

Капитан на минуту задумался, и тут Мак-Кой услышал вопрос, которого он не желал бы слышать, но которого ждал все это время.

— У меня нет карты Мангаревы. На большой карте она крошечная точка. Мне не найти входа в лагуну. Не пойдете ли вы с нами?

Ничто не могло нарушить спокойствия Мак-Коя.

— Хорошо, капитан, — ответил он с такой безмятежностью, с какой принял бы приглашение на обед. — Я пойду с вами на Мангареву.

Снова команду созвали на корму, и, стоя на полуюте, капитан снова обратился к матросам:

— Мы сделали все, что было в наших силах, но вы сами видите: к Питкэрну не подойти. Нас относит течение со скоростью двух узлов. Вот этот джентльмен, его превосходительство Мак-Кой, — губернатор и главный судья острова Питкэрн. Он идет с нами на Мангареву. Значит, положение наше не такое уж скверное. Разве согласился бы он пойти с нами, если бы думал, что ему грозит смерть? Сколь бы ни был велик риск, раз он по доброй воле пошел на него, нам уж сам бог велел делать то же самое. Ну так что, идем мы на Мангареву?

На сей раз взрыва не последовало. Уверенность и спокойствие, которые, казалось, излучал Мак-Кой, возымели свое действие. Матросы начали вполголоса совещаться. Совещание длилось недолго. По сути дела, они были единодушны в своем решении. Объявить о нем они поручили матросу-кокни. Преисполненный сознанием собственной доблести, гордясь собой и своими товарищами, избранник матросов воскликнул с горящими глазами:

— Клянусь богом! Если он пойдет, то и мы пойдём!

Матросы нестройно поддержали его и разошлись.

— Постойте-ка, капитан, — сказал Мак-Кой, заметив, что тот собирается отдать приказание старшему помощнику. — Прежде чем отправиться с вами, я должен съездить на берег.

Мистер Кониг застыл на месте от изумления и уставился на Мак-Коя, словно на сумасшедшего.

— Съездить на берег! — повторил капитан. — Зачем? Пока вы доберетесь в своей пироге до Питкэрна, пройдет не меньше трех часов.

Мак-Кой прикинул на взгляд расстояние до острова и утвердительно кивнул.

— Ваша правда. Сейчас шесть. Раньше девяти мне до берега не доплыть. Люди соберутся только к десяти. Но к ночи ветер

обязательно покрепчает, вы сможете поднять паруса и на рассвете подберете меня прямо в море.

— Ради всего святого, — взорвался капитан, — для чего вам понадобилось собирать жителей? Неужто вы еще не поняли, что у нас под ногами полыхает огонь?

Мак-Кой оставался невозмутим и спокоен, точно океан в летнюю пору, и буря негодования пронеслась мимо — океан не подернулся даже легкой рябью.

— Я понимаю, капитан, что шхуна горит, — проворковал он. — Только поэтому я и согласился идти с вами на Мангареву. Но я должен получить на это разрешение граждан. Таков наш обычай. Не так уж часто губернатор покидает остров. Тогда на карту ставятся интересы всех жителей, поэтому они вправе либо дать согласие на его отъезд, либо ответить отказом. Но я знаю, они согласятся.

— Вы в этом уверены?

— Совершенно.

— А если так, то зачем же зря терять время? Подумайте, насколько это нас задержит — на целую ночь!

— Таков наш обычай, — последовал невозмутимый ответ. — Кроме того, как губернатор, я должен оставить на время моего отсутствия кое-какие распоряжения.

— Но ведь до Мангаревы ходу-то всего двадцать четыре часа, — возразил капитан. — Даже если в обратный путь вам придется идти против ветра и времени на него уйдет в шесть раз больше, то и тогда вы будете дома не позже, чем через неделю.

Мак-Кой улыбнулся своей ласковой, доброй улыбкой.

— Должно быть, вы не знаете, что суда в Питкэрн заходят очень редко; а уж если и заходят, то только те, что идут из Сан-Франциско, или те, что огибают мыс Горн. Если я вернусь на Питкэрн через полгода, считайте, что мне повезло. Быть может, мне придется отсутствовать и целый год, а быть может, придется добираться до Сан-Франциско и уж там ждать попутного судна. Однажды мой отец уехал с острова на три месяца, а прошло два года, прежде чем ему удалось вернуться домой. К тому же у вас плохо с провизией. Если дойдет до того, что надо будет пересаживаться в шлюпки да еще и погода испортится, не так-то скоро вы доберетесь до суши. Я приведу две пироги с провизией. Лучше всего, пожалуй, взять сушеных бананов. Как только ветер усилится, набирайте ход. Чем ближе вы подойдете к острову, тем тяжелее я нагружу свои пироги. До свидания.

Он протянул капитану руку. Девенпорт крепко пожал ее и на секунду задержал в своей. Казалось, он цепляется за нее с тем же отчаянием, с каким утопающий цепляется за спасательный круг.

— Могу я быть уверен, что утром вы вернетесь? — спросил он.

— То-то и оно-то! — крикнул старший помощник. — Откуда нам знать, не выдумал ли он всего, чтобы спасти собственную шкуру?

Мак-Кой ничего не ответил. Он посмотрел на них ласково и мягко, и обоим показалось, что вместе с его взглядом им передалась частица его огромной душевной убежденности.

Капитан выпустил его руку, и, окинув в последний раз ласковым взглядом шхуну и матросов, Мак-Кой перелез через поручни и спустился в пирог.

Ветер усилился, и шхуне удалось, несмотря на обросшее ракушками дно, уйти на несколько миль от западного течения. На рассвете, когда до Питкэрна оставалось не больше трех миль, капитан увидел две быстро приближающиеся к шхуне пироги. И снова Мак-Кой вскарабкался на борт и прыгнул на горячую палубу «Пиренеэв». Затем наверх подняли обернутые сухими листьями токи сушеных бананов.

— А теперь, капитан, — сказал Мак-Кой, — летим на всех парусах. Я ведь не моряк, — объяснил он спустя несколько минут, стоя на корме рядом с капитаном, который переводил взгляд с неба на воду, прикидывая скорость судна. — Ваше дело довести шхуну до Мангаревы, а уж там-то я введу ее в лагуну. Как по-вашему, сколько она делает узлов?

— Одиннадцать, — ответил капитан, бросив последний взгляд на пенящуюся за бортом воду.

— Одиннадцать, — повторил Мак-Кой. — Ну что ж, если она сохранит эту скорость, завтра утром, между восемью и девятью, мы увидим Мангареву. К десяти, самое позднее к одиннадцати, я подведу шхуну к берегу, и всем вашим несчастьям наступит конец.

В голосе Мак-Коя звучала такая убежденность, что капитану показалось, будто блаженная минута спасения уже наступила. Больше двух недель вел он по океану горящее судно. Еще немного, и он не вынесет страшного напряжения.

Ветер налетел шквалом, ударил его в спину и засвистел в ушах. Капитан мысленно определил его силу и быстро глянул за борт.

— А ветер-то все крепчает, — объявил он. — Старушка выжи-

мает, пожалуй, все двенадцать. Если ветер продержится, мы к рассвету покроем путь до Мангаревы.

Весь день шхуна с горящим грузом неслась по вспененному, яростно клокочущему океану. К ночи подняли бом-брамсель и брамсель, и шхуна продолжала лететь в крошечной тьме, разрезая и оставляя позади огромные ревущие валы. Путный ветер сделал свое дело, и настроение команды явно улучшилось. Когда сменилась вторая вахта, какой-то беззаботный матрос даже затянул песню, а когда пробило восемь склянок, ее подхватила уже вся команда.

Капитан Девенпорт велел постелить себе на палубе рубки.

— Я уже забыл, что такое сон,— пожаловался он Мак-Кою.— Совсем выбился из сил. Но вы разбудите меня, как только сочтете нужным.

В три часа ночи капитан проснулся от легкого прикосновения к плечу. Он быстро сел и прислонился спиной к световому люку, еще не очнувшись от короткого тяжелого сна. Ветер по-прежнему пел в снастях свою воинственную песню, все так же бушевал океан, яростно швыряя «Пиренеи» из стороны в сторону. Шхуна черпала воду то одним бортом, то другим, волны то и дело заливали палубу. Мак-Кой что-то крикнул ему— капитан не расслышал. Он схватил Мак-Коя за плечо и притянул к себе так, что его ухо оказалось вровень с губами Мак-Коя.

— Сейчас три часа,— услышал он голос Мак-Коя, не утративший своей голубиной кротости, но странно приглушенный, словно доносился откуда-то издали.— Мы прошли двести пятьдесят миль. Прямо по носу, милях в тридцати, остров Полумесеца. На нем нет маяков. Если мы будем нестись так, как несемся сейчас, наверняка наскочим на него,— сами погибнем и шхуну потеряем.

— Вы считаете, надо ложиться в дрейф?

— Да, до рассвета. Это задержит нас всего на четыре часа.

И шхуна с обжатым огнем чревом легла в дрейф, вступив в отчаянную схватку со штормом и приняв на себя всю ярость сокрушающих ударов ревущего океана,— охваченная пламенем скорлупка, за которую цеплялась кучка людей, из последних сил пытающихся выиграть сражение с взбунтовавшейся стихией.

— Никак не возьму в толк, откуда налетел шторм,— сказал Мак-Кой капитану, когда они добрались до подветренной стороны рубки.— В это время года не должно бы быть никакого шторма. Да и вообще с погодой творится что-то неладное. Пассат прекратился, а шторм налетел совсем с другой сторо-

ны.— Он махнул в темноту, словно взгляд его обладал способностью проникать за сотни миль.— Он несется на запад—где-то сейчас происходят вещи куда страшнее, чем здесь,— ураган или что-нибудь в этом роде. Наше счастье, что нас отнесло так далеко к востоку. Шторм скоро прекратится, уж что-что, а это-то я знаю наверняка.

С рассветом шторм и в самом деле утих. Но рассвет принес с собой новую опасность, еще более грозную. Над океаном навис густой туман, вернее, жемчужно-серая мгла; плотная и непроницаемая для глаза, она в то же время пропускала солнечные лучи, и они пронизывали ее насквозь, наполняя ярким переливчатым сиянием.

На палубе «Пиренеев» в это утро вилося больше дымков, чем накануне, и приподнятого настроения офицеров и матросов как не бывало. С подветренной стороны камбуза доносились всхлипывания юнги. Это был его первый рейс, и сердце его переполняло страх смерти. Капитан, как неприкаянный, слонялся по шхуне, хмурясь и нервно покусывая усы, не зная, на что решиться.

— Ну, а вы что скажете? — спросил он, останавливаясь возле Мак-Коя, который ел сушеные бананы и запивал их холодной водой.

Мак-Кой доел последний банан, допил воду и медленно осмотрелся. Взгляд его, который он обратил на капитана, лучился теплым сочувствием.

— Что ж, капитан,— сказал он,— чем гореть, стоя на месте, лучше идти вперед. Не может же палуба бесконечно сдерживать натиск огня. Сегодня она куда горячее, чем вчера. Не найдется ли у вас для меня пары ботинок? Трудновато становится ходить босиком.

При развороте шхуну захлестнули две огромные волны, и старший помощник заметил, что неплохо было бы залить эту воду в трюм, если б не надо было при этом отдраивать люки. Мак-Кой наклонился над компасом, проверяя курс судна.

— Я бы взял круче к ветру, капитан,— сказал он.— Нас здорово отнесло, пока мы лежали в дрейфе.

— Я уже взял правее на один румб. Мало?

— Прибавьте еще один, капитан. Шторм подогнал западное течение, теперь оно сильнее, чем вы думаете.

Капитан согласился на полтора румба и в сопровождении Мак-Коя и старшего помощника отправился на мостик посмотреть, не появится ли впереди земля. Были поставлены все паруса, и шхуна летела вперед со скоростью десять узлов.

Океан быстро успокаивался. Но беспросветная жемчужная мгла по-прежнему плотно окутывала «Пиренеи», и к десяти часам капитан начал нервничать. Все матросы стояли на своих местах, готовые, как только завидят сушу, броситься к снастям и повернуть шхуну по ветру. Наткнись они в такой мгле на коралловый риф, шхуна неминуемо погибнет.

Прошел еще час. Трое марсовых напряженно всматривались в светящуюся на солнце жемчужную мглу.

— А что, если мы прошли мимо Мангаревы? — вдруг спросил капитан.

— Пусть себе бежит вперед, капитан, — мягко ответил Мак-Кой, не сводя глаз с океана. — Это все, что мы можем сделать. Впереди — все Паумоту. На тысячу миль вокруг — рифы и атоллы. Где-нибудь да высадимся.

— Ну что ж, вперед так вперед. — Капитан начал спускаться на палубу. — Должно быть, мы уже пропустили Мангареву. Одному богу известно, когда теперь попадется другой остров. Я жалею, что не послушался вас и не взял на полрумба правее, — признался он минутой позже, — проклятое течение! Злые шутки играет оно с моряками!

— Старые моряки называли Паумоту «опасным Архипелагом», — сказал Мак-Кой, когда они вернулись на корму. А все из-за этого течения.

— Однажды я разговорился в Сиднее с одним малым, — начал мистер Кониг. — Он исходил все Паумоту на торговых судах. Так он уверял меня, что страховой взнос здесь составляет восемнадцать процентов. Это правда?

Мак-Кой улыбнулся и кивнул.

— Все верно, да только компании вовсе отказываются страховать суда, — объяснил он. — Каждый год владельцы списывают двадцать процентов стоимости своих шхун.

— Боже мой! — простонал капитан. — Значит, шхуна через пять лет ничего не стоит! — Он грустно покачал головой. — Страшные воды, страшные воды!

Они снова пошли в каюту посмотреть на большую карту, но каюта была полна ядовитых паров, и, задыхаясь и кашляя, они выбежали на палубу.

— Вот остров Моренаут. — Капитан показал на карту, которую он расстелил на крыше рубки. — До него не больше сотни миль, если идти в подветренную сторону.

— Сто десять. — Мак-Кой с сомнением покачал головой. — Можно попытаться подойти к нему, но это очень трудно. Может быть, мне и удастся подвести шхуну к берегу, но

с таким же успехом я могу посадить ее на риф. Плохое место, очень плохое.

— И все-таки попытаемся, — решил капитан и принялся прокладывать новый курс.

После полудня убавили парусов, чтобы в темноте не пройти мимо острова, и когда подошло время второй вахты, совсем было приунывшая команда снова воспрянула духом. Земля уже близко, рано поутру их мучениям наступит конец.

Утро следующего дня выдалось тихое и ясное, на горизонте вставало пылающее тропическое солнце. Юго-восточный пассат повернул на восток и гнал шхуну со скоростью восемь узлов. Капитан Девенпорт определил точное место судна, сделав поправку на течение, и объявил, что до Моренаута осталось не больше десяти миль. Шхуна прошла десять миль и еще десять, но тщетно марсовые на всех трех мачтах всматривались в даль: ничто не нарушало однообразия пустынного, сияющего в лучах солнца океана.

— И все-таки земля совсем рядом! — прокричал им с кормы капитан Девенпорт.

Мак-Кой успокаивающе улыбнулся, а капитан схватил секстан и, бросив на Мак-Коя безумный взгляд, снова принялся за вычисления.

— Так и знал, что я прав! — закричал он, кончив вычисления. — Двадцать один и пятьдесят пять южной широты; один — тридцать шесть и два — западной долготы. Вот где мы сейчас находимся. Остров в восьми милях под ветром. А что у вас получилось, мистер Кониг?

Старший помощник просмотрел свои выкладки и тихо сказал:

— Широта у меня та же, что и у вас, — двадцать один и пятьдесят пять, но долгота совсем другая: один — тридцать шесть, сорок восемь. Это значит, что остров с наветренной стороны и...

Но капитан встретил его слова таким презрительным молчанием, что мистеру Конигу не оставалось ничего другого, как заскрежетать зубами и пробормотать про себя проклятие.

— Круче к ветру! — приказал капитан рулевому. — Три румба вправо, так держать.

Он снова углубился в вычисления, заново проверяя их. Пот лил с него градом. Он нервно кусал губы, жевал усы, грыз карандаш и глядел на цифры с таким ужасом, словно перед ним стояло привидение. Внезапно, охваченный дикой вспышкой гнева, он скомкал исписанный листок и растоптал его ногами. Мистер Кониг злорадно ухмыльнулся, а капитан прислонился

к рубке и в течение получаса молчал, размышляя и безнадежно глядя на океан.

— Мистер Мак-Кой,— вдруг прервал он молчание.— Милях в сорока отсюда, к северу или к северо-северо-западу, на карте указана группа островов — острова Актеона. Что вы о них скажете?

— Их четыре, и все они очень низкие,— ответил Мак-Кой.— Первый, к юго-востоку,— Матуэри. Людей нет, лагуна закрыта. Потом идет Тенарунга. Когда-то на этом острове было десятка два жителей, но теперь там, наверно, никого не осталось. Да и неважно, живут ли на нем люди,— вход в лагуну очень мелкий, всего шесть футов, шхуне в нее не войти. Два других острова — Беауга и Теуараро. Ни людей, ни лагун,— очень низкие. Ни к одному из этих островов шхуне не пристать — верная гибель.

— Да что же это такое! — в бешенстве вскричал капитан.— Людей нет! Лагуны закрыты! На кой черт они тогда годятся, эти острова? Ну, ладно! — рывкнул он вдруг, словно разъяренный терьер.— К северо-западу от нас на карту нанесена целая куча островов. А о них что вы скажете? Неужто ни к одному нельзя подойти?

Мак-Кой спокойно обдумывал ответ. Ему не нужно было смотреть на карту. Все эти острова, рифы, мели, лагуны и расстояния между ними были давным-давно занесены на карту его памяти. Он знал их так же хорошо, как городской житель знает дома, улицы и переулки своего родного города.

— Панамена и Ванавана отсюда милях в ста, а то и больше, к западу, вернее, к северо-западу,— сказал он.— Один необитаем, а жители второго, слышал я, перебрались на остров Кадмус. Как бы там ни было, в лагуны этих островов нет входа. Еще в ста милях к северо-западу остров Ахунуи. Ни входа в лагуну, ни людей.

— Ладно. В сорока милях от них еще два острова? — Капитан Девенпорт поднял голову от карты.

Мак-Кой кивнул.

— Да, Парос и Манухунги — ни входа в лагуну, ни людей. В сорока милях от них — Ненго-Ненго. И тоже — ни людей, ни лагуны. Но рядом с ним остров Хао. Это как раз то, что нам надо. Лагуна имеет тридцать миль в длину и пять в ширину. Полным-полно народу. Сколько угодно пресной воды. В лагуну может войти судно любого размера.

Мак-Кой умолк и сочувственно посмотрел на капитана; Девенпорт, вооружившись измерительным циркулем, снова склонился над картой и глухо застонал.

— Неужели ближе Хао нет ни одного острова с открытой лагуной? — спросил он.

— Нет, капитан. Это ближайший.

— Но ведь до него триста сорок миль.— Капитан говорил медленно, но решительно.— Я не могу пойти на такой риск и взять на себя ответственность за жизнь вверенных мне людей. Уж лучше я потоплю шхуну на рифах островов Актеона. А жаль, неплохое ведь судно,— добавил он огорченно, отдавая распоряжение об изменении курса и делая большую, чем прежде, поправку на снос западным течением.

Прошел час, и небо заволокли тяжелые тучи. Все еще дул юго-восточный пассат, но океан стал похож на черно-белую шахматную доску, по которой перекачивались и вздымались пенные гребни волн.

— В час, самое позднее в два мы подойдем к островам,— уверенно объявил капитан.— Ваша задача, Мак-Кой, подвести шхуну к тому из них, на котором живут люди.

Солнце в этот день больше не показывалось; пробило час, но впереди не было видно никаких островов. Капитан мрачно смотрел на тянувшийся за «Пиренеями» бурлящий след.

— Бог мой! — вдруг закричал он.— Смотрите-ка! Восточное течение!

Мистер Кониг недоверчиво посмотрел за корму. Мак-Кой уклонился от прямого ответа, но заметил, что не видит причин, почему бы на Паумоту не быть восточному течению. От налетевшего шквала шхуна вдруг словно застыла на месте и полетела в бездонную пропасть между двумя высоченными волнами.

— Посмотрите на лот! Эй, вы там! — Капитан Девенпорт держал лотлинь и следил, как судно отклонялось от курса к северо-востоку.— Вон оно, смотрите! Подержите-ка лотлинь, увидите сами!

Мак-Кой и старший помощник схватились за линь и почувствовали, как он трепещет, подхваченный силой течения.

— Течение в четыре узла,— заметил мистер Кониг.

— Восточное течение вместо западного! — сказал капитан, осуждающе глядя на Мак-Коя, словно это он был виноват в том, что произошло.

— Вот вам одна из причин капитан, почему страховой взнос в этих местах составляет восемнадцать процентов,— весело ответил Мак-Кой.— Никогда не знаешь, что тебя ждет. Течения то и дело меняются. Один человек — забыл его имя, он книги писал и плавал на яхте «Каско», — так однажды он, вместо того чтобы пристать к Такароа, прошел от него в тридцати милях и

оказался у острова Тикеи, а все из-за того, что переменилось течение. Мы сейчас идем с наветренной стороны, и лучше бы взять на несколько румбов круче.

— Но насколько отнесло нас это течение? — раздраженно сказал капитан. — Откуда мне знать, сколько брать румбов?

— Я тоже не знаю, капитан, — кротко ответил Мак-Кой.

Снова подул ветер, и шхуна круто повернула по ветру; с палубы по-прежнему поднимались тоненькие струйки дыма, тускло мерцая в сером свете дня. Но вот шхуну снова отнесло назад, она сделала поворот фордевинд, пересекла свой след, бороздя океан и нащупывая путь к островам Актеона, которых по-прежнему не видели марсовые на мачтах.

Капитан Девенпорт был вне себя от ярости. Гнев его выпился в форму мрачного молчания, и с полудня до самого вечера он только урюмо шагал по палубе или молча стоял, прислонившись к вантам. С наступлением ночи, даже не посоветовавшись с Мак-Коем, он отдал приказ изменить курс на северо-запад. Мистер Кониг исподтишка бросил взгляд на карту и компас, а Мак-Кой, не скрываясь, простодушно сверился с компасом, и оба они поняли, что шхуна взяла направление к острову Хао. К полуночи ветер стих, небо усеяли звезды. Капитан Девенпорт приободрился в надежде на тихую погоду.

— Место корабля определяю утром, — сказал он Мак-Кою, — хотя на какой мы теперь долготе, для меня загадка. Но я думаю воспользоваться способом равных высот Сомнера. Вы знаете, что такое линия Сомнера?

И он подробно объяснил Мак-Кою метод определения места по способу Сомнера.

Утро выдалось ясное. С востока дул ровный пассат, и шхуна так же ровно бежала вперед со скоростью девяти узлов. Капитан и старший помощник определили местонахождение судна по способу Сомнера, цифры у обоих сошлись, и сделанные в полдень наблюдения лишь подтвердили правильность полученных утром данных.

— Еще двадцать четыре часа, и мы будем у цели, — уверял Мак-Коя капитан. — Просто чудо, как еще держится палуба нашей славной старушки! Но ее ненадолго хватит, нет, нет, ненадолго. Посмотрите, как дымится, с каждым днем все сильнее и сильнее. А ведь пригнана была на славу, перед выходом из Фриско ее заново проконопатили. Я даже удивился, когда в первый раз прорвался огонь и пришлось задраить люки. Что такое?

Он внезапно умолк и испуганно уставился на тоненькую струйку дыма, выющуюся за бизань-мачтой на высоте двадца-

ти футов над палубой. От удивления у него даже отвисла челюсть.

— Откуда он там взялся? — возмутился он.

Ниже никакого дыма не было. Должно быть, струйка дыма перелетела сюда с палубы и, найдя приют от ветра под прикрытием мачты, по какому-то странному капризу природы обрела форму и видимость на высоте двадцати футов от палубы. Вот она оторвалась от мачты и на короткое мгновение нависла над головой капитана, словно грозное предзнаменование судьбы. В следующую минуту порыв ветра подхватил ее и унес в океан, а челюсть капитана вновь приняла нормальное положение.

— Так вот, когда мы впервые задраили люки, я удивился. Уж как хорошо была пригнана палуба, и все же дым просачивался сквозь нее, словно сквозь сито. С тех пор мы только и делаем, что конопатим ее. Должно быть, давление в трюме огромное, если дым находит столько лазеек.

В тот вечер небо вновь затянуло тучами, начал моросить дождь. Ветер все время менял направление, то дул с юго-востока, то с северо-востока; в полночь с юго-запада налетел сильный шквал, отбросил шхуну назад, и с этой минуты ветер дул, не переставая ни на секунду.

— Нам не добраться до Хао раньше десяти или одиннадцати, — простонал капитан в семь утра, когда нависшая на востоке мрачная громада туч унесла последнюю слабую надежду на солнечный день. В следующую минуту он уже уныло спрашивал:

— Ну где же эти течения?

Марсовые на мачтах по-прежнему не видели землю, и весь день то стоял штиль и моросил дождь, то порывами налетал ветер. К ночи с запада пошли огромные волны. Барометр упал до 29.50. Ветра почти не было, но зловещие волны все сильнее и сильнее бились о борта «Пиренеев». Не прошло и часа, как шхуну завертело в водовороте огромных валов, бесконечной чередой мчавшихся с запада из бездны ночи. Быстро, как только смогли падавшие от усталости матросы обеих вахт, убрали паруса, и к шуму ревуших волн добавился угрожающий ропот и жалобы выбившихся из сил матросов. А когда вахтенных матросов вызвали на корму крепить снасти, они уже открыто выразили свое нежелание повиноваться. В каждом их движении крылись протест и угроза. Воздух был влажный и словно бы липкий, матросы дышали тяжело и часто, жадно ловя ртом воздух. Пот лил по обнаженным рукам и лицам матросов, по измученному, еще более мрачному, чем когда-ли-

бо, лицу капитана, и в его застывших глазах притаилась тревога и сознание неизбежной гибели.

— Ураган проходит западнее, — ободряюще сказал Мак-Кой. — Самое худшее — заденет нас краем.

Но капитан даже не обернулся и принялся читать при свете фонаря «Наставление морякам по вождению судов в циклоны и штормы». Молчание нарушали лишь доносящиеся со спардека всхлипывания юнги.

— Да замолчишь ли ты! — крикнул капитан с такой яростью, что все, кто был на палубе, вздрогнули, а преступник завопил от страха пуще прежнего. — Мистер Кониг, — обратился капитан к старшему помощнику дрожащим от возбуждения и гнева голосом, — сделайте сдолжение, заткните шваброй глотку этому отродью!

Но к мальчику отправился Мак-Кой, и через несколько минут всхлипывания прекратились — юнга успокоился и заснул.

Перед рассветом с юго-востока повеяло первым дыханием свежего ветерка, мало-помалу усиливавшегося и перешедшего в легкий ровный бриз. Вся команда собралась на палубе, тревожно ожидая, что последует дальше.

— Ну вот, теперь все будет в порядке, капитан, — сказал Мак-Кой, стоя бок о бок с Девенпортом. — Ураган промчался на запад, а мы много южнее. До нас дошел только этот бриз. Сильнее он уже не станет. Можно ставить паруса.

— А что от них толку? Куда мне вести шхуну? Вот уже два дня, как мы не знаем, где находимся, а ведь мы должны были увидеть Хао еще вчера утром. Куда нас несет: на север, юг, восток — или куда? Ответьте, и я в мгновение ока подниму все паруса.

— Я не моряк, капитан, — мягко сказал Мак-Кой.

— Когда-то я считал себя моряком, — слышалось в ответ, — до тех пор, пока не попал на эти проклятые Паумоту.

В полдень с мачты раздался крик:

— Прямо по носу буруны!

Моментально сбавили ход и начали убирать паруса. Судно медленно скользило вперед, борясь с течением, грозившим бросить его на рифы. Офицеры и матросы работали как одержимые, им помогали кок, юнга, капитан Девенпорт, Мак-Кой. Шхуна была на волосок от гибели: прямо перед ними тянулась низкая отмель, унылый и опасный клочок земли, непригодный для жилья, о который безостановочно разбивались волны и на котором даже птицам негде было свить гнезда. Шхуна прошла мимо отмели в каких-нибудь ста ярдах

и опять забрала ветер. Как только опасность миновала, задыхающиеся от только что пережитого волнения матросы обрушили поток ругательств и проклятий на голову Мак-Коя. Это он явился к ним на шхуну и предложил идти на Мангареву! Он лишил их безопасного приюта на Питкэрне и привел на верную гибель в эти изменчивые, страшные просторы океана! Но ничто не могло нарушить безмятежного спокойствия Мак-Коя. Он улыбнулся матросам, и столько добродетельности было в его улыбке, что лучившаяся от него доброта, казалось, проникла в мрачные, полные отчаяния души матросов, и, посрамленные, они замолкли.

— Страшные воды, страшные воды, — бормотал капитан, пока шхуна медленно уходила от опасного места. Вдруг он замолчал и уставился на отмель. Она должна была бы находиться прямо за кормой, но почему-то оказалась с наветренной стороны шхуны.

Он сел и закрыл лицо руками. И все — и старший помощник, и Мак-Кой, и матросы — увидели то, что увидел капитан. Южную оконечность отмели омывало восточное течение, отнесшее к ней шхуну; у северного конца отмели проходило западное течение, захватившее шхуну и медленно увлекавшее ее прочь.

— Когда-то я слышал об этих Паумоту, — со стоном сказал капитан, поднимая белое как полотно лицо. — Мне рассказывал о них капитан Мойендейл, после того как потерял здесь судно. А я тогда посмеялся над ним. Да простит меня бог за то, что я посмеялся над ним. Что это за отмель? — обратился он к Мак-Кою.

— Не знаю, капитан.

— Почему?

— Да потому, что мне никогда прежде не приходилось ни видеть ее, ни слышать о ней. Одно я знаю наверняка: на картах ее нет. Этот район никто никогда как следует не исследовал.

— Но ведь это значит, что вы не знаете, где мы находимся?

— Так же как и вы, капитан, — мягко ответил Мак-Кой.

В четыре пополудни вдали показалось несколько кокосовых пальм, словно выросших прямо из воды. А чуть позже над водой поднялся низкий атолл.

— Теперь я знаю, где мы находимся, капитан, — сказал Мак-Кой, опуская бинокль. — Это остров Решимости. Мы в сорока милях от Хао, но ветер дует нам прямо в лоб, и нам к нему не пробиться.

— Тогда приготовьтесь, будем приставать здесь. С какой стороны вход в лагуну?

— К лагуне ведет узкий пролив, годный разве что для легкой пироги. Но уж раз мы знаем теперь, где находимся, можно пойти к острову Барклая де Толли. Он всего в ста двадцати милях, на северо-северо-запад. При таком ветре мы будем там завтра к девяти утра.

Капитан углубился в карту, обдумывая предложение Мак-Коя.

— Даже если мы разобьем ее здесь, нам все равно не миновать идти к острову Барклая де Толли, только уж в шлюпках, — добавил Мак-Кой. Капитан отдал приказание, и снова шхуна пустилась в путь по океану, столь негостеприимно встречавшему ее.

Следующий день не принес ничего утешительного: палуба «Пиренеев» дымилась больше прежнего, людьми овладело безысходное отчаяние, грозившее в любую минуту перейти в открытый бунт. Течение усилилось, ветер спал, и шхуну неуклонно относило на запад. Далеко на востоке, еле видимый с мачты, показался остров Барклая де Толли, и шхуна несколько часов подряд безуспешно пыталась пробиться к нему. На горизонте, как навязчивый мираж, маячили кокосовые пальмы, стоило спуститься с мачты на палубу, и они сразу исчезали за выпуклым краем водной равнины.

И снова капитан Девенпорт углубился в карту, призвав на совет Мак-Коя. В семидесяти пяти милях к юго-западу лежит остров Макемо с превосходной лагуной длиной в тридцать миль. Но когда капитан отдал приказ идти к острову, матросы отказались повиноваться. Хватит с них жариться на адском огне, заявили они. Земля совсем рядом. Что из того, что шхуна не может к ней подойти? На что ж тогда шлюпки? Пусть горит, туда ей и дорога. А жизнь им еще пригодится. Они верой и правдой служили шхуне, теперь пришел черед послужить самим себе.

Отшвырнув с дороги второго и третьего помощников, матросы бросились к шлюпкам и с лихорадочной поспешностью стали готовить их к спуску. Им наперерез кинулись капитан Девенпорт и старший помощник с револьверами в руках. Но в этот момент с палубы рубки к матросам обратился Мак-Кой.

При первых же звуках его тихого, кроткого голоса они остановились и начали прислушиваться. Мак-Кой вселял в них свою непостижимую уверенность и безмятежность. Его мягкий голос и простые слова таинственным образом вливались в их сердца, и, сами того не желая и внутренне противясь, ма-

троссы оттаивали и смягчались. В памяти всплывали давно минувшие времена, любимые колыбельные песни, что пела в детстве мать, ласка и теплота материнских рук... И почудилось им, что нет больше в этом мире ни тревог, ни опасностей, ни усталости. Все идет так, как должно, и уж само собой разумеется, что им придется отказаться от мысли о суше и снова пуститься в океан на окваченном адским огнем судне...

Мак-Кой говорил очень просто, да им вовсе и неважно было то, что он говорил. Красноречивее любых слов говорила за него его незаурядная натура. Должно быть, они подпали под очарование той таинственной силы, которая исходила из его чистой и глубокой души, в одно и то же время несказанно смиренной и необычайно властной. Словно луч света проник в темные тайники их душ, неся с собой ласку и доброту, и эта сила оказалась куда более грозной, чем та, что глядела на них из сверкающих несущих смерть дул револьверов в руках капитана и старшего помощника.

Матросы заколебались, и те, кто уже успел отвязать шлюпки, начали поспешно крепить их обратно. Потом один, второй, третий, и вот уже все они сначала неуверенно, бочком, потом более поспешно стали расходиться с кормы.

Мак-Кой спустился с крыши рубки на палубу; лицо его светилось неподдельной радостью. Еще один бунт миновал. А был ли какой-нибудь бунт? Да и никогда не вспыхивали никакие бунты, ибо не было для них места в том благословенном мире, в котором он жил.

— Вы загипнотизировали их,—пробормотал старший помощник, мрачно усмехаясь.

— Они славные ребята, и у них добрые сердца,—последовал ответ.—Им нелегко пришлось, и они работали, не щадя себя; они и дальше не будут щадить себя, до самого конца.

Мистеру Конигу было не до разговора. Он отдал приказание, матросы послушно забегали по палубе, и скоро шхуна начала медленно поворачивать, пока наконец не взяла курс на Макемо.

Ветер дул очень слабый, а после заката и вовсе прекратился. Было нестерпимо жарко; по носу и корме уныло слонялись матросы: все их попытки заснуть оказались тщетными. На горячей палубе лечь было невозможно, ядовитые испарения просачивались сквозь щели и, словно злые духи, ползли по судну, забираясь в ноздри и горло, вызывая приступы кашля и удушья. На черном небе тускло мерцали звезды; взошла круглая луна, и в ее серебристом свете заплясали мириады

струек дыма; извиваясь и переплетаясь, они подымались над палубой, добираясь до самых верхушек мачт.

— Расскажите,— попросил капитан Девенпорт, протирая слезящиеся от дыма глаза,— что произошло с матросами брига «Баунти» после того, как они высадились на Питкэрне. В газетах тогда писали, что бриг они сожгли и след их отыскался только много лет спустя. А что произошло за это время? Мне всегда хотелось разузнать об их судьбе. Помнится, их приговорили к повешению. Кажется, они привезли с собой на Питкэрн туземцев, не так ли? И среди них было несколько женщин. Должно быть, из-за них-то и начались все неприятности.

— Да, неприятности и в самом деле начались,— ответил Мак-Кой.— Они были плохие люди. Они сразу начали ссориться из-за женщин. У одного из мятежников, звали его Уильямс, вскоре умерла жена, упала со скалы и разбилась, когда охотилась на морских птиц. Все женщины на острове были таитянки. Тогда Уильямс отнял жену у туземца. Туземцы рассердились и перебили почти всех мятежников. А потом те мятежники, что спаслись, перебили всех туземцев. Женщины им помогали. Да и сами туземцы убивали друг друга. Произошло побоище. Это были очень плохие люди.

Туземца Тимити убили двое других туземцев; пришли к нему в гости и в знак дружбы стали расчесывать ему волосы; потом убили. Этих двух послали белые люди. А потом белые люди убили их самих. Туллалоо был убит своей женой в пещере, потому что она хотела в мужья белого человека. Они были очень нехорошие. Господь отвратил от них лицо свое. К концу второго года из туземцев не осталось в живых ни одного, а из белых—четверо: Юнг, Джон Адамс, Мак-Кой—мой прадед, и Квинтал. Квинтал тоже был очень плохой человек. Однажды он откусил у своей жены ухо только потому, что она наловила мало рыбы.

— Вот так сброд!—воскликнул мистер Кониг.

— Да, они были очень дурные люди,— согласился Мак-Кой и продолжал ворковать о кровавых деяниях и пагубных страстях своих грешных предков.— Мой прадед убежал от виселицы только для того, чтобы покончить жизнь самоубийством. На острове он соорудил куб и начал гнать спирт из корней пальмового дерева. Квинтал был его закадычным другом, и они только и делали, что вместе пили. Кончилось тем, что прадед заболел белой горячкой и в приступе болезни привязал к шее камень и бросился со скалы в море.

Жена Квинтала, та самая, у которой он откусил ухо, тоже вскоре погибла, сорвалась со скалы. Тогда Квинтал отправил-

ся к Юнгу и потребовал, чтоб он отдал ему свою жену, а потом пошел к Адамсу и потребовал его жену. Адамс и Юнг боялись Квинтала. Они знали, что он убьет их. Тогда они сами убили его топором. Потом Юнг умер. На этом и кончились их несчастья.

— Еще бы им не кончиться, — пробормотал капитан Девенпорт. — Убивать-то больше было некого.

— Господь отвратил от них лицо свое, — тихо сказал Мак-Кой.

Миновала ночь; к утру восточный ветер почти совсем спал, и, не решаясь повернуть шхуну на юг, капитан Девенпорт привел ее в крутой бейдевинд. Он боялся коварного западного течения, которое уже не раз лишало их надежных убежищ. Штиль держался весь день и всю ночь, и снова среди матросов, вот уже много дней не евших ничего, кроме сушеных бананов, поднялся ропот. От этой банановой диеты они слабели, многие жаловались на боли в животе. Весь день течение несло «Пиренеи» на запад, не оставалось уже никакой надежды, что шхуна сможет идти прямо на юг... В середине первой вахты далеко на юге из воды вновь показались верхушки кокосовых пальм, их пышные кроны величаво колыхались над низким атоллom.

— Это остров Таэнга, — сказал Мак-Кой. — Если ночью не дует ветер, мы пройдем мимо Макемо.

— Куда запропастился юго-восточный пассат? — возмущался капитан. — Почему он не дует? Что происходит?

— Все дело в испарениях с лагун, — объяснил Мак-Кой. — Лагун-то здесь видимо-невидимо. Эти испарения изменяют всю систему пассатов. Случается, ветер вдруг и вовсе поворачивает вспять, а потом уж возвращается с юго-запада ураганным штормом. Это Опасный Архипелаг, капитан.

Капитан обернулся к старику и уже открыл было рот, собираясь выругаться, но в последний момент удержался. Присутствие Мак-Коя сдерживало клокотавшую в груди ярость, и готовое сорваться с языка богохульство так и осталось произнесенным. Влияние Мак-Коя очень выросло за те дни, что они провели вместе. Капитан Девенпорт, этот смелый и отчаянный моряк, который никогда ни перед чем не останавливался и никогда не обуздывал себя ни в поступках, ни в словах, вдруг почувствовал, что не может выговорить бранных слов в присутствии старика с добрыми карими глазами и тихим кротким голосом! Когда это дошло до сознания капитана, он был потрясен. Да ведь этот старик — потомок Мак-Коя с «Баунти», мятежника Мак-Коя, исчадия зла и наси-

лия, что бежал из Англии от грозившей ему виселицы и погиб насильственной смертью на острове Питкэрн в давно минувшие кровавые дни!

Капитан Девенпорт не отличался религиозностью, но в эту минуту им овладело безумное желание броситься к ногам стоящего перед ним человека и говорить, говорить, говорить... он и сам не знал что. Он не смог бы определить причину того глубокого волнения, которое с такой силой охватило все его существо, но вдруг почувствовал себя слабым и ничтожным рядом с этим стариком, мягкосердечным, как женщина, и простодушным, как ребенок.

Нет, он не унижится на глазах у всей команды. Ярость, душившая его за минуту до того и едва не исторгнувшая из его уст проклятия, все еще бушевала в его груди. Он изо всех сил хватил кулаком по стенке каюты.

— Меня не так-то легко сломить, слышите? Вашим проклятым Паумоту удалось провести меня, но я все равно не сдамся! Я буду вести шхуну вперед, вперед и только вперед, но я найду для нее лагуну, хотя бы мне пришлось дойти до Китая! И если все до единого сбегут со шхуны, я все равно не покину ее! Я еще покажу этим Паумоту! Им не одурачить меня! И я не брошу старую посудину до тех пор, пока на ее палубе останется хоть одна доска, на которой я смогу стоять! Слышите?

— Я останусь с вами, капитан.

Всю ночь дул слабый южный ветер. Капитан то и дело определял направление течения и каждый раз с ужасом убеждался, что шхуну с ее горящим грузом неуклонно относит на запад; тогда он отходил в сторону и тихо, чтобы не слышал Мак-Кой, ругался.

С рассветом на юге снова показались верхушки кокосовых пальм.

— Это подветренный берег Макемо,— сказал Мак-Кой.— В нескольких милях к западу — остров Катиу. Можно попытаться подойти к нему.

Но сильное течение, выбивавшееся из пролива между двумя островами, отнесло шхуну на северо-запад, и в полдень кокосовые пальмы острова Катиу в последний раз мелькнули над водой и снова исчезли в безбрежных просторах океана. А через несколько минут, как раз в тот момент, когда капитан обнаружил, что шхуна зажата мертвыми тисками уже другого течения, северо-восточного, марсовые разглядели кокосовые пальмы на северо-западе.

— Это Рарака,— объяснил Мак-Кой.— Без попутного ветра к ней не подойти. А нас относит течение к юго-западу. Не

надо быть настороже. Несколькими милями дальше мы попадем в течение, которое идет на север, потом делает круг и поворачивает к северо-западу. Оно может отнести нас от Факаравы, а Факарава — самое для нас подходящее место.

— Это прок... Эти течения носят нас из стороны в сторону, куда им заблагорассудится, — с жаром проговорил капитан. — Но мы все равно разыщем лагуну, помяните мое слово.

Однако конец шхуны неотвратимо приближался. Палуба так накалилась, что казалось, еще немного — и из щелей вырвутся языки пламени. А в некоторых местах, чтобы не обжечь ноги, приходилось бежать: даже башмаки на толстых подошвах уже не защищали. Дыма все прибавлялось, и с каждой минутой он становился все более едким. Воспаленные глаза слезились, все кашляли и задыхались, словно чахоточные больные. После полудня приготовили к спуску шлюпки. В них уложили остатки сушеных бананов и навигационные приборы. Опасаясь, что палуба может вспыхнуть в любой момент, капитан отнес в шлюпку даже хронометр.

Ночь прошла в гнетущем ожидании близкого конца, и когда забрезжил рассвет, каждый смотрел на измученное лицо и ввалившиеся глаза другого, словно удивляясь, что шхуна еще цела и все они до сих пор живы.

Перебегая с одного места на другое, а время от времени даже смешно подпрыгивая, что совсем не вязалось с его обычной степенной походкой, капитан Девенпорт осмотрел палубу.

— Конец — вопрос нескольких часов, если не минут, — объявил он, вернувшись на корму.

С мачты раздался крик марсового, увидевшего землю. С палубы ее не было видно, и Мак-Кой бросился наверх, а капитан, воспользовавшись его отсутствием, разразился проклятиями. Но вдруг они замерли у него на языке: в направлении к северо-востоку капитан разглядел на воде темную полосу. То был не шквал, а обычный ветер, тот самый пассат, что пропал и появился теперь вновь, отклонясь на восемь румбов в сторону от своего обычного направления.

— Ну, теперь держитесь по ветру, капитан, — сказал Мак-Кой, вернувшись на корму. — Мы у восточного берега острова Факарава. Войдем в лагуну на полном ходу, при боковом ветре под всеми парусами.

Через час кокосовые пальмы и низкие берега острова были видны уже с палубы. Но мысль о том, что конец шхуны неотвратимо приближается, тяжелым камнем легла на души людей. Капитан приказал спустить на воду три шлюпки, а чтобы

они держались порознь, в каждую посадили по матросу. Шхуна шла вдоль самого берега — всего в двух кабельтовых лежал белый от пены прибой атолл.

— Приготовьтесь, капитан, — предупредил Мак-Кой.

Не прошло и минуты, как атолл словно расступился, открыв узкий пролив, за которым расстилалась зеркальная гладь огромной — тридцать миль в длину и десять в ширину — лагуны.

— Пора, капитан.

В последний раз повернулись реи, и, послушно повинуясь рулю, шхуна вошла в пролив. Но не успела она сделать поворот, не успели матросы закрепить шкоты, как вдруг все в паническом ужасе бросились на корму. Ничего не случилось, но что-то, уверяли они, вот-вот произойдет. Почему им это казалось, они и сами не могли объяснить. Но они знали, что этого не миновать. Мак-Кой побежал на нос, чтобы оттуда управлять шхуной, но капитан схватил его за руку и вернул на место.

— Оставайтесь здесь, — сказал он. — Палуба не безопасна. В чем дело? — закричал он. — Почему мы стоим на месте?

Мак-Кой улыбнулся.

— Мы пробиваемся навстречу течению в семь узлов, капитан, — объяснил он, — с такой скоростью во время отлива выходит вода из лагуны.

К концу следующего часа шхуна продвинулась вперед едва ли больше чем на собственную длину; но вот ветер посвежел, и она медленно пошла вперед.

— Все в шлюпки! — громко приказал капитан.

Но не успел еще затихнуть его голос, не успели матросы, послушно повиновавшиеся его приказу, добежать до борта, как из средней части палубы вырвался огромный столб огня и дыма и взметнулся в небо, опалив часть парусов и оснастки, тут же рухнувших в воду. Столпившихся на корме матросов спасло только то, что дул боковой ветер. Они в ужасе метнулись к шлюпкам, но их остановил спокойный невозмутимый голос Мак-Коя:

— Не спешите, все в порядке. Пожалуйста, спустите сначала мальчика.

Когда разразилась катастрофа, рулевой в панике бросил штурвал, и капитан едва успел ухватиться за спицы и выровнять шхуну, чтобы она не отклонилась от курса и не врезалась в стремительно надвигающийся берег.

— Займитесь шлюпками! — крикнул он старшему помощнику. — Одну из них держите прямо за кормой. В последний момент я в нее прыгну.

Мгновение мистер Кониг колебался, потом перескочил через борт и спустился в шлюпку.

— Полрумба правее, капитан.

Капитан Девенпорт вздрогнул. Он был уверен, что остался на шхуне один.

— Есть полрумба правее, — ответил он.

На спардеке зияла огненная дыра, извергавшая огромные клубы дыма, которые поднимались до самых верхушек мачт, совершенно закрывая носовую часть судна. Встав под прикрытие бизань-мачты, Мак-Кой продолжал управлять маневрами шхуны в узком извилистом проливе. Огонь устремился вдоль палубы на корму, белоснежная башня парусов грот-мачты вспыхнула и исчезла в огненном вихре. Парусов фок-мачты не было видно за стеной дыма, но они знали, что до фок-мачты огонь еще не добрался.

— Только бы успеть войти в лагуну прежде, чем сгорят все паруса, — тяжело вздохнув, сказал капитан.

— Успеем, — заверил его Мак-Кой. — Времени у нас вполне достаточно. Должны успеть. А уж в лагуне мы поставим ее кормой к ветру, так, что он унесет дым и собьет огонь.

Язык пламени жадно лизал бизань-мачту, но не дотянулся до нижнего паруса и исчез. Откуда-то сверху на голову капитана упал горящий кусок троса, но он только досадливо поморщился, словно его ужалила пчела, и смахнул его на палубу.

— Как на румбе, капитан?

— Северо-запад.

— Держите на запад-северо-запад.

Капитан переложил руль на подветренный борт и привел шхуну точно на заданный курс.

— Северо-запад, капитан!

— Есть северо-запад!

— А теперь запад!

Медленно входя в лагуну, шхуна, разворачиваясь, описала дугу и стала кормой к ветру, и так же медленно, со спокойной уверенностью человека, у которого впереди еще тысячи лет жизни, Мак-Кой произносил нараспев слова команды.

— Еще румб, капитан!

— Есть еще румб!

Капитан Девенпорт немного повернул штурвальное колесо, потом быстрым движением изменил направление и снова чуть-чуть повернул штурвал.

— Так держать!

— Есть так держать!

Несмотря на то, что ветер дул теперь с кормы, было так жарко, что капитан лишь искоса поглядывал на компас, поворачивая штурвал то одной, до другой рукой и заслоняя свободной обожженное, покрывшееся волдырями лицо. Борода Мак-Коя начала тлеть, и в нос капитана ударил такой сильный запах паленых волос, что он оглянулся и с беспокойством посмотрел на Мак-Коя. Время от времени капитан и вовсе отпускал штурвал и потирал обожженные руки о штаны. Все до одного паруса бизань-мачты унесло пламенным вихрем, и обоим приходилось сгибаться в три погибели, чтобы укрыть от огня лицо.

— А теперь,— сказал Мак-Кой, бросая из-под руки взгляд на лежащий перед ними низкий берег,— четыре румба вправо и так держать.

Всюду, куда бы они ни посмотрели, горели и летели вниз снасти. Едкий дым от тлеющего у ног капитана смоленого троса вызвал у него сильный приступ кашля, но капитан не выпустил штурвала.

Шхуна задела дно, и высоко задрав нос, мягко остановилась. От толчка на капитана и Мак-Коя посыпался град горящих обломков. Судно еще немного продвинулось вперед и снова остановилось. Слышно было, как киль дробит хрупкие кораллы. Подвинувшись еще немного вперед, шхуна в третий раз остановилась.

— Точнее на румбе,— сказал Мак-Кой.— Точнее? — тихо спросил он.

— Она не слушается руля,— ответил капитан.

— Ну что ж. Она разворачивается.— Мак-Кой заглянул через борт.— Мягкий белый песок. Лучшего и желать нельзя. Превосходная лагуна.

Как только шхуна развернулась и корма оказалась под ветром, на нее обрушился страшный столб дыма и пламени. Опаленный огнем, капитан выпустил из рук штурвал и бросился к шлюпке. Мак-Кой посторонился, пропуская его вперед.

— Сначала вы!— крикнул капитан, схватив его за плечо и почти перебрасывая через поручни. Но пламя бушевало уже у самого борта, и капитан прыгнул вниз сразу же вслед за Мак-Коем; оба повисли на канате и одновременно упали в шлюпку.

Не дожидаясь приказаний, матрос обрубил канат, поднятые наготове весла врезались в воду, и шлюпка стрелой полетела к берегу.

— Прекрасная лагуна, капитан,— пробормотал Мак-Кой, оглядываясь.

— Да, лагуна прекрасная, но если б не вы, нам бы никогда ее не разыскать.

Три шлюпки быстро приближались к песчаному, усеянному кораллами берегу; чуть дальше, на опушке рощи кокосовых пальм, виднелось с полдюжины хижин, а около них десятка два испуганных туземцев во все глаза глядели на огромное полыхающее чудище, подошедшее к их острову.

Шлюпки коснулись земли, и команда шхуны ступила на белый песок.

— А теперь,— сказал Мак-Кой,— мне надо подумать о том, как вернуться на Питкэрн.

ДЬЯВОЛЫ НА ФУАТИНО

I

Из многочисленных своих яхт, шхун и кечей, сновавших между коралловыми островами Океании, Гриф больше всего любил «Стрелу»; это была шхуна в девяносто тонн, очень похожая на яхту и, как ветер, быстрая и неуловимая. Слава о ней гремела еще в ту пору, когда она перевозила контрабандный опиум из Сан-Диего в залив Пюджет или совершала внезапные набеги на лежбища котиков в Беринговом море и тайно доставляла оружие на Дальний Восток. Таможенные чиновники ненавидели ее от всей души и осыпали проклятиями, но в сердцах моряков она неизменно вызывала восторг и была гордостью создавших ее кораблестроителей. Даже теперь, после сорока лет службы, она оставалась все той же старой славной «Стрелой»; нос ее по-прежнему с такой быстротой резал волны, что те моряки, которые ее никогда не видали, отказывались этому верить, и много споров, а порой и драк возникало из-за нее во всех портах от Вальпараисо до Манилы.

В этот вечер она шла в бейдевинд: грот ее почти обвис, передние шкаторины всякий раз, когда шхуна поднималась на гладкую волну, вяло колыхались: дул слабый, едва заметный бриз, и все же «Стрела» легко делала четыре узла. Уже больше часа Гриф стоял на баке у подветренного борта, облокотясь на планширь, и смотрел на ровный светящийся след, оставляемый шхуной. Слабый ветерок от передних парусов обдавал его щеки и грудь бодрящей прохладой. Он наслаждался неоценимыми качествами своей шхуны.

— Какая красавица, а, Таути? Чудо, а не шхуна! — сказал он, обращаясь к вахтенному матросу-канаку, и нежно похлопал рукой по тиковому фальшборту.

— Еще бы, хозяин, — ответил канак низким, грудным голосом, столь характерным для полинезийцев. — Тридцать лет

плаваю под парусами, а такого не видал. На Райатее мы зовем ее «Фанауао».

— Ясная зорька, — перевел Гриф ласковое имя. — Кто ее так назвал?

Таути хотел уже ответить, но вдруг насторожился и стал пристально всматриваться вдаль. Гриф последовал его примеру.

— Земля, — сказал Таути.

— Да, Фуатино, — согласился Гриф, все еще глядя туда, где на чистом, усыпанном звездами горизонте появилось темное пятно. — Ладно. Я скажу капитану.

«Стрела» продолжала идти тем же курсом, и скоро мутное пятно на горизонте приняло более определенные очертания; послышался рокот волн, сонно бившихся о берег, и блеяние коз; ветер, дувший со стороны острова, принес аромат цветов.

— Ночь-то какая светлая! Можно бы и в бухту войти, кабы тут не такая щель, — с сожалением заметил капитан Гласс, наблюдая за тем, как рулевой готовился намертво закрепить штурвал.

Отойдя на милю от берега, «Стрела» легла в дрейф, чтобы дожидаться рассвета и только тогда начать опасный вход в бухту Фуатино. Ночь дышала покоем — настоящая тропическая ночь, без малейшего намека на дождь или возможность шквала. На баке где попало завалились спать матросы, уроженцы острова Райатеи; на юте с той же беспечностью приготовились ко сну капитан, помощник и Гриф. Они лежали на одеялах, курили и сонно переговаривались: речь шла о Матааре, королеве острова Фуатино, и о любви ее дочери Наумсо к своему избраннику Мотуаро.

— Да, романтичный народ, — сказал Браун, помощник капитана. — Не меньше, чем мы, белые.

— Не меньше, чем Пилзах, — засмеялся Гриф. — А этим немало сказано. Сколько лет прошло, капитан, как он удрал от вас?

— Одиннадцать, — с обидой в голосе проворчал капитан Гласс.

— Расскажите-ка, — попросил Браун. — Говорят, он с тех пор никуда и не уезжал с Фуатино. Это правда?

— Правда! — буркнул капитан. — До сих пор влюблен в свою жену. Негодяйка этакая! Ограбила она меня. А какой был моряк! Лучшего я не встречал. Недаром он голландец.

— Немец, — поправил Гриф.

— Все одно, — последовал ответ. — В тот вечер, когда он сошел на берег и его увидела Нотуту, море лишилось хорошего моряка. Они, видно, сразу понравились друг другу. Никто и оглянуться не успел, как она уже надела ему на голову венок из каких-то белых цветов, а минут через пять они бежали к берегу, держась за руки и хохоча, как дети. Надеюсь, он взорвал этот большой коралловый риф в проходе. Каждый раз я тут порчу лист или два медной обшивки...

— А что было дальше? — не унимался Браун.

— Да вот и все. Кончился наш моряк. В тот же вечер женился и уже на судно больше не приходил. На другой день я отправился его искать. Нашел в соломенной хижине в зарослях — настоящий белый дикарь! Босой, весь в цветах и в каких-то украшениях, сидит и играет на гитаре. Вид самый дурацкий. Просил свезти его вещи на берег. Я послал его к черту. Вот и все. Завтра ее увидите. У них теперь уже трое малышей — чудесные ребятишки. Я везу ему граммофон и кучу пластинок.

— А потом вы его сделали своим торговым агентом? — обратился помощник к Грифу.

— Что же мне оставалось? Фуатино — остров любви, а Пилзах — влюбленный. И туземцев он знает. Агент из него вышел отличный. На него можно положиться. Завтра вы его увидите.

— Послушайте, молодой человек, — угрожающе забасил капитан Гласс, обращаясь к своему помощнику. — Вы, может быть, тоже романтик? Тогда лучше оставайтесь на борту. Фуатино — остров романтического безумия. Там все в кого-нибудь влюблены. Они живут любовью. Кокосовое молоко, что ли, на них так действует, или уж воздух тут такой, или море какое-то особенное. История острова за последние десять тысяч лет — это сплошные любовные приключения. Кому и знать, как не мне. Я разговаривал со стариками. И если я поймаю вас на берегу рука об руку с какой-нибудь...

Он вдруг умолк. Гриф и Браун невольно обернулись к нему. Капитан смотрел через их головы в направлении борта. Они взглянули туда же и увидели смуглую руку, мокрую и мускулистую. Потом за борт уцепилась и другая, такая же смуглая рука. Показалась восторженная, кудрявая шевелюра — и наконец лицо с лукавыми черными глазами и морщинками проказливой улыбки вокруг рта.

— Бог мой! — прошептал Браун. — Да ведь это же фавн, морской фавн!

— Это Человек-козел, — сказал Гласс.

— Это Маурири,— откликнулся Гриф,— мой названный брат. Мы с ним побратались — дали друг другу священную клятву по здешнему обычаю. Теперь я его зову своим именем, а он меня — своим.

Широкие смуглые плечи и могучая грудь поднялись над бортом, и огромный человек легко и бесшумно спрыгнул на палубу. Браун, гораздо более начитанный, чем полагается помощнику капитана, с восхищением смотрел на пришельца. Все, что он вычитал в книгах, заставляло его без колебаний признать фавна в этом госте из морской пучины. Но этот фавн чем-то опечален, решил молодой человек, когда смутло-золотистый бог лесов приблизился к Дэвиду и тот приподнялся ему навстречу с протянутой рукой.

— Дэвид! — приветствовал его Дэвид Гриф.

— Маурири, Большой брат! — отвечал Маурири.

И в дальнейшем, по обычаю побратимов, каждый звал другого своим именем. Они разговаривали на полинезийском наречии острова Фуатино, и Браун мог только гадать, о чем у них идет беседа.

— Издалека же ты приплыл, чтобы сказать «талюфа», — проговорил Гриф, глядя, как с усевшегося на палубе Маурири ручьями стекает вода.

— Много дней и ночей я ждал тебя, Большой брат. Я сидел на Большой скале, там, где спрятан динамит, который я стерегу. Я видел, как вы подошли к проходу, а потом опять ушли в темноту. Я понял, что вы ждете утра, и поплыл к вам. У нас большое горе. Матаара все время плачет и молится, чтобы ты скорее приехал. Она старая женщина, а Мотуаро умер, и она горюет.

Гриф, согласно обычаю, сокрушенно покачал головой и вздохнул.

— Женился он на Наумоо? — спросил он немного погодя.

— Да. Они убежали и жили в горах с козами, пока Матаара их не простила. Тогда они вернулись к ней в Большой дом. Но теперь он умер, и Наумоо скоро умрет. Страшное у нас горе, Большой брат. Тори умер, и Тати-Тори, и Петоо, и Нари, и Пилзах, и еще много других.

— И Пилзах тоже! — воскликнул Гриф. — Что, была какая-нибудь болезнь?

— Было много убийств. Слушай, Большой брат. Три недели назад пришла незнакомая шхуна. С Большой скалы я видел над морем ее паруса. Шлюпки тащили ее в бухту. Но они не сумели обогнуть риф, и шхуна много раз задевала его. Теперь ее вывели на отмель и там чинят. На борту восемь белых. С ни-

ми женщины с какого-то острова далеко к востоку. Женщины говорят на языке, похожем на наш, только не совсем. Но мы их понимаем. Они сказали, что люди со шхуны их похитили. Может, это и правда, но они танцуют и поют и как будто довольны.

— Ну, а мужчины? — прервал его Гриф.

— Говорят они по-французски, это я знаю, ведь раньше на твоей шхуне плавал помощник, который говорил по-французски. Двое из них главные, и они не похожи на других. У них голубые, как у тебя, глаза, и они дьяволы. Один — самый большой дьявол, другой — поменьше, остальные шестеро — тоже дьяволы. Они не платят нам ни за ямс, ни за таро и плоды хлебного дерева. Они отнимают все, а если мы противимся, убивают. Так они убили Тори, и Тати-Тори, и Петоо, и других. Мы не можем драться с ними, потому что у нас нет винтовок, только два или три старых ружья.

Они обижают наших женщин. А когда Мотуаро заступился за Наумоо, они его убили и увели Наумоо к себе на шхуну. За это же убили Пилзаха. Главный дьявол выстрелил в него один раз, когда Пилзах греб на своем вельботе, а потом еще два раза, когда он полз вверх по берегу. Пилзах был храбрый человек, и теперь Нотуту сидит в своем доме и плачет. Многие испугались и убежали в горы к козам. Но в горах на всех не хватает еды. А кто остался внизу, те боятся выходить на рыбную ловлю и больше не работают в своих садах, потому что эти дьяволы все отнимают. Мы хотим драться, Большой брат, нам нужны ружья и много патронов. Я послал сказать нашим, что поплыл к тебе, и они теперь ждут. Белые люди со шхуны не знают, что вы здесь. Дай мне лодку и ружья, и я вернусь, пока темно. Когда вы завтра подойдете к берегу, мы будем готовы. Ты дашь знак, и мы нападём на чужих белых и убьем их. Их нужно убить. Большой брат, ты всегда был нам как родной; все у нас молились многим богам, чтобы ты пришел. И ты пришел.

— Я поеду вместе с тобой, — сказал Гриф.

— Нет, Большой брат, — ответил Маурири, — ты должен остаться на шхуне. Чужие белые будут бояться шхуны, а не нас. Ты дашь нам ружья, но они этого не будут знать. Они испугаются только тогда, когда увидят твою шхуну. Пошли на лодке этого юношу.

И вот Браун, взволнованный предвкушением романтических приключений, о которых он столько читал в книгах и столько мечтал, но которых еще не испытал в жизни, занял свое место на корме вельбота, нагруженного ружьями и па-

тронами; четверо матросов с Райатеи взяли за весла, смугло-золотистый фавн, добравшийся вплавь, сел за руль, и лодка нырнула в теплую тропическую ночь, направляясь к полупрозрачному острову любви — Фуатино, который оказался во власти пиратов двадцатого века.

II

Если провести линию между Джалуитом (в группе Маршалльских островов) и Бугенвилем (Соломоновы острова) и если двумя градусами южнее экватора эту линию пересечь другой прямой, проведенной от Укуора (Каролинские острова), то здесь, на этом омытом солнцем участке моря, мы найдем гористый остров Фуатино, населенный племенами, родственными гавайцам, таитянам, маори и самоанцам. Он составляет самое острие обращенного на запад клина, вбитого Полинезией между Меланезией и Микронезией. Вот этот-то остров Фуатино и увидел на следующее утро Гриф в двух милях к востоку от шхуны, на одной линии с поднимающимся солнцем. Дул все тот же слабый, едва ощутимый бриз, и «Стрела» скользила по гладкому морю со скоростью, какая сделала бы честь любой шхуне даже при ветре в три раза более сильном.

Фуатино был не что иное, как древний вулкан, поднятый со дна моря каким-то доисторическим катаклизмом. Западную стену кратера размывло морем, и она обвалилась, образовав вход внутрь кратера, который теперь представлял собой бухту. Фуатино, таким образом, походил на неровную подкову, обращенную пяткой на запад. К проходу в подкове и направлялась «Стрела». Капитан Гласс, стоявший на палубе с биноклем в руке и то и дело сверявшийся с самодельной картой, которую он разостлал на палубе рубки, вдруг выпрямился, и на его лице появилось выражение не то тревоги, не то покорности.

— Начинается, — сказал он. — Это малярия. Но я не ждал приступа раньше завтрашнего утра. Она меня всегда здорово треплет, мистер Гриф. Через пять минут я уже ничего не буду сообщать. Придется вам самому вводить шхуну в бухту. Бой, готовь койку! Грелку и побольше одеял! Море сейчас так спокойно, мистер Гриф, что вам, я думаю, удастся благополучно проскочить большой риф. Держите по ветру и хорошенько разгоните судно. Только одна «Стрела» во всем Тихом океане способна на такой маневр, и я уверен, что вы его сделаете. Идите вплотную к Большой скале и следите за готагиком.

Он говорил быстро, словно пьяный; затуманенное сознание с трудом боролось со все нарастающим приступом малярии. Когда он, шатаясь, направился к каюте, его лицо стало багровым и все пошло пятнами, как при воспалении или гангрене. Глаза вылезли из орбит и остекленели, руки тряслись, зубы стучали от озноба.

— Через два часа начну потеть, — еле выговорил он с мертвенной улыбкой на губах. — Потом еще два часа, и все будет в порядке. Уж я изучил эти проклятые приступы. С первой минуты и до последней... Ввв-ы бб...

Речь его превратилась в невнятное бормотание, и, с трудом держась на ногах, он сполз по трапу в свою каюту; Гриф занял его место. «Стрела» только что подошла к проходу. На концах подковы возвышались две скалистые горы высотой около тысячи футов. Они вырастали из моря и соединялись с островом лишь узкими и низкими перешейками. Между горами оставалось пространство в полмили, почти сплошь перегороженное коралловым рифом, отходившим от южного конца подковы. Проход, который капитан Гласс называл щелью, извивался между рифами, загибаясь к северной горе, и тут тянулся у самого подножия отвесного утеса. В этом месте грота-гик, вынесенный за левый борт шхуны, то и дело касался скалы. Гриф, стоявший у противоположного борта, видел, что дно здесь на глубине всего двух сажен и что прямо из-под шхуны оно круто поднимается вверх. Впереди шел вельбот: он тянул за собой шхуну, которую иначе могло бы снести на риф отражавшимся от утеса ветром. Гриф ввел шхуну в проход, воспользовавшись благоприятным бризом, и обогнул большой риф без повреждений. Шхуна, правда, царапнула по рифу, но так легко, что медная обшивка не пострадала.

Перед Грифом открылась бухта Фуатино. Ее водная гладь представляла собой правильный круг около пяти миль в диаметре, вписанный в белые коралловые берега, от которых поднимались одетые зеленью склоны, выше переходившие в мрачные стены кратера. Зубчатые гребни этих стен распадалась на острые вулканические пики, вокруг которых шапками стояли принесенные пассатами облака. Каждая впадинка, каждая расщелина в выветрившейся лаве давали приют деревьям и ползучим, взбирающимся вверх лозам — зеленая пена растительности покрывала скалы. Горные потоки, обозначенные лентами тумана, извивались по крутым склонам высотой в несколько сот футов. Теплый и влажный воздух был напоен ароматом желтой кассии.

Лавируя против слабого ветра, «Стрела» вошла в бухту. Гриф приказал поднять вельбот и стал рассматривать берег в бинокль. Нигде не видно было признаков жизни. Все спало под палящими лучами тропического солнца. Никто не вышел встречать «Стрелу». На северном берегу, там, где за коксовыми пазьмами скрывалась деревня, из-под навесов торчали черные носы пирог. На прибрежной отмели, прямая и неподвижная, одиноко стояла незнакомая шхуна. Ни на ее борту, ни вокруг не было заметно движения. Когда до берега оставалось не больше пятидесяти ярдов, Гриф приказал отдать якорь. Тут глубина была сорок сажен. А на середине бухты Гриф однажды, много лет назад, вытравил триста сажен троса, но дна так и не достал, чего и следовало ожидать в таком огромном кратере, как вулкан Фуатино.

Цепь, громыхая, полезла из клюза, и Гриф увидел, что на палубе незнакомой шхуны появилось несколько туземок, рослых и пышных, какими бывают только уроженки Полинезии. Видел он и то, чего на шхуне не заметили: из камбуза, озираясь, выбрался человек, спрыгнул на песок и мгновенно исчез в прибрежных зарослях.

Пока убирали и крепили паруса, растягивали тент и свертывали шкоты и тали, как это полагается на стоянке, Гриф ходил взад и вперед по палубе и оглядывал берег, надеясь хоть где-нибудь обнаружить признаки жизни. Один раз он ясно услышал, как где-то далеко, в направлении Большой скалы, грохнул выстрел. Но больше выстрелов не последовало, и он решил, что это какой-нибудь охотник подстрелил в горах дикого козла.

К концу второго часа капитан Гласс перестал трястись от озноба под горой одеял и начал обливаться потом.

— Еще полчаса — и буду здоров, — проговорил он слабым голосом.

— Отлично, — сказал Гриф. — Здесь что-то никого не видно. Я съезжу на берег, повидаясь с Матаара и узнаю, что там у них делается.

— Только будьте поосторожнее, — предупредил его капитан. — Публика тут, видно, собралась отчаянная. Если не сможете через час вернуться, дайте мне знать.

Гриф сел за руль, и четверо матросов канаков навалились на весла. Когда вельбот подошел к берегу, Гриф не без любопытства оглядел женщин, расположившихся под тентом шхуны. Он помахал им рукой, и они, прыснув со смеху, сделали то же самое.

— Талофа! — крикнул он.

Они поняли приветствие, но ответили «иорана», и Грифу стало ясно, что они с какого-то из островов Товарищества.

— С Хуахине,— не колеблясь, уточнил один из матросов. И действительно, когда Гриф спросил женщин, откуда они родом, те, снова прыснув со смеху, ответили: «Хуахине».

— Очень похожа на шхуну старика Дюпюи,— тихо сказал Гриф на таитянском наречии.— Не смотрите так пристально. Ну, что? Ведь точь-в-точь «Валетта»!

Пока матросы вылезали из вельбота и втаскивали его на берег, они как бы невзначай поглядывали на судно.

— Да, это «Валетта»,— сказал Таути.— Восемь лет назад она потеряла стеньгу. В Папезте ей поставили новую, на десять футов короче. Вон она, я ее узнал.

— Подите-ка, ребята, поболтайте с женщинами. С вашей Райатеи ведь рукой подать до Хуахине, и вы наверняка найдете среди них знакомых. Разнюхайте все, что можно. Но если явятся белые, не затевайте драки.

Целая армия крабов-отшельников, шурша, разбежалась перед ним, когда он стал подниматься по берегу. Но нигде не видно было свиней, которые в прежнее время всегда хрюкали и рылись под пальмами. Кокосовые орехи валялись где попало. Под навесами было пусто: копру не заготавливали. Труд и порядок исчезли. Гриф обошел одну за другой травяные хижины деревни. Все были пусты. Возле одной он наткнулся на слепого беззубого старика с увядшим, морщинистым лицом. Он сидел в тени и, когда Гриф заговорил с ним, с перепугу залепетал что-то невнятное. «Словно от чумы все вымерли»,— думал Дэвид, подходя наконец к Большому дому. И здесь царило безмолвие и запустение. Не было юношей и девушек в венках, в тени авокадо не возились коричневые малыши. На пороге, скорчившись и раскачиваясь взад и вперед, сидела старая королева Матаара. Увидев Грифа, она заплакала и стала рассказывать ему о своей горе, в то же время сокрушаясь, что нет при ней никого, кто бы мог оказать гостю должный прием.

— И они забрали Наумоо,— закончила она.— Мотуаро убит. Люди все убежали в горы и голодают там с козами. И некому даже открыть для тебя кокосовый орех. О брат, твои белые братья — дьяволы.

— Они мне не братья, Матаара,— утешал ее Гриф.— Они грабители и подлецы, и я очищу от них остров...

Недоговорив, он быстро обернулся, рука его метнулась к поясу и обратно, и большой кольт наставился на человека, который, пригибаясь к земле, выбежал из-за кустов и бросил-

ся к Грифу. Но Гриф не спустил курка, и человек, подбежав, кинулся ему в ноги и разразился потоком каких-то несурзных, жалобных звуков. Гриф узнал в нем того беглеца, который полчасом раньше вылез из камбуза «Валетты» и скрылся в зарослях. Подняв его, он стал внимательно следить за его судорожными гримасами — у этого человека была заячья губа — и только тогда начал различать слова в этом невнятном бормотании.

— Спасите меня, хозяин, спасите! — кричал человек по-английски, хотя он, несомненно, был уроженцем Океании. — Я знаю вас, спасите меня.

Дальше последовали совсем уже дикие бессвязные вопли, которые прекратились лишь после того, как Гриф взял его за плечи и сильно встряхнул.

— Я тоже узнал тебя, — сказал Гриф. — Два года назад ты служил поваром во французском отеле в Папеэте. Все звали тебя Заячьей Губой.

Человек неистово закивал.

— Теперь я кок на «Валетте». — Губы его дергались, он брызгал слюной и плевался, делая отчаянные усилия говорить внятно. — Я знаю вас. Я видел вас в отеле. И в ресторане «Лавиния». И на «Киттиуэйк». И на пристани, где стояла ваша «Марипоза». Вы капитан Гриф. Вы спасете меня. Эти люди — дьяволы. Они убили капитана Дюпюи. Меня они заставили отравить половину команды. Двоих они застрелили на мачте. Остальных перебили в воде. Я все про них знаю. Они похищали девушек с Хуахине. И взяли на борт беглых каторжников в Нумеа. Они грабили торговцев на Новых Гебридах. Они убили купца в Ваникори и украли там двух женщин. Они...

Но Гриф уже не слышал его. Из-за деревьев, со стороны залива, донеслась сухая дробь выстрелов, и он бросился к берегу. Пираты с Таити в компании с преступниками из Новой Каледонии! Шайка отъявленных головорезов! А теперь они напали на его шхуну! Заячья Губа бежал за ним по пятам и, не переставая брызгать слюной и плеваться, старался закончить свой рассказ о преступлениях белых дьяволов.

Ружейная пальба прекратилась так же внезапно, как и началась, но Гриф, мучимый дурными предчувствиями, все бежал и бежал, пока на повороте не столкнулся с Маурири, мчавшимся навстречу ему с берега.

— Большой брат, — воскликнул, тяжело дыша, Человек-козел. — Я опоздал. Они захватили твою шхуну. Бежим! Они теперь будут искать тебя.

Он бросился в гору, прочь от берега.

- Где Браун? — спросил Гриф.
- На Большой скале. После расскажу. Бежим!
- А матросы с вельбота?

Маурири пришел в отчаяние от такой медлительности.

— Они на чужой шхуне с женщинами. Их не убьют. Я тебе верно говорю. Дьяволам нужны матросы. А тебя они убьют. Слушай! — Внизу у воды надтреснутый тенор выводил французскую охотничью песню. — Они уже высаживаются на берег. Я видел, как они захватили твою шхуну. Бежим!

III

Гриф никогда не дрожал за свою жизнь, однако он был далек и от ложного геройства. Он знал, когда нужно драться, а когда — бежать, и нисколько не сомневался в том, что сейчас самым правильным будет бегство. Вверх по дорожке, мимо старика, сидевшего в тени пальм, мимо Матары, скорчившейся на пороге своего дома, промчался он следом за Маурири. По его пятам, как верный пес, бежал, задыхаясь, Заячья Губа. Сзади слышались крики преследователей, однако скорость, взятая Человеком-козлом, оказалась им не под силу. Широкая тропа сузилась, завернула вправо и пошла круто в гору. Последняя травяная хижина осталась позади. Они проскочили сквозь густые заросли кассии, вспугнув рой огромных золотистых ос. Дорожка становилась все круче и круче и наконец превратилась в козью тропу. Маурири показал на открытый выступ скалы, по которому вилась чуть заметная тропинка.

— Только бы там пройти, Большой брат, а дальше мы уже будем в безопасности. Белые дьяволы туда не сунутся. Наверху много камней, и если кто пробует влезть, мы скатываем их ему на голову. А никакого другого пути нет. Они всегда останавливаются здесь и стреляют, когда мы пробираемся по скале. Бежим!

Через четверть часа они достигли того места, откуда начинался подъем по совершенно открытому склону.

— Погодите немного, а когда пойдете, так уж не зевайте, — предупредил их Маурири. Он выпрыгнул на яркий солнечный свет, и сразу же внизу хлопнуло несколько ружейных выстрелов. Пули защелкали вокруг, выбивая из скалы облачка пыли, но Маурири проскочил благополучно. За ним последовал Гриф. Одна пуля пролетела так близко, что Дэвид почувствовал, как его ударило в щеку осколком камня. Не пострадал и Заячья Губа, хотя он пробирался медленнее всех.

Остаток дня они провели выше в горах, в лощине, где на толще вулканического туфа террасами росли таро и папайя. Здесь Гриф обдумал план действий и выслушал подробный рассказ Маурири о том, что произошло.

— Нам не повезло,— сказал Маурири.— Надо же, чтобы именно в эту ночь белые дьяволы отправились на рыбную ловлю. Мы входили в бухту в темноте. Дьяволы были на шлюпках и пирогах. Они шагу не делают без ружья. Одного матроса они застрелили. Браун вел себя очень храбро. Мы хотели проскочить в глубь залива, но они опередили нас и загнали к берегу между Большой скалой и деревней. Ружья и патроны мы спасли, а вот лодка досталась им. По ней-то они и узнали о твоём прибытии. Браун теперь на этой стороне Большой скалы, с ружьями и патронами.

— Почему же он не перебрался через Большую скалу и не предупредил меня, когда мы подошли к берегу?

— Он не знает дороги. Одни только козы да я знаем, как пройти. Я не подумал об этом и пополз сквозь кусты вниз, чтобы плыть к тебе. А белые дьяволы засели в кустах и обстреливали оттуда Брауна и матросов. За мной они тоже охотились до самого рассвета и даже утром вон там в низине. Потом подошла твоя шхуна, и они стали ждать, чтобы ты сошел на берег. Я наконец выбрался из кустов, но ты был уже на берегу.

— Так это ты стрелял?

— Да, я хотел предупредить тебя, но они поняли и не стали отвечать, а у меня больше не было патронов.

— Рассказывай теперь ты, Заячья Губа,— обратился Гриф к коку с «Валетты».

Как рассказывал мучительно долго, с бесконечными подробностями. С год он плавал на «Валетте» между Таити и Паумоту. Старый Дюпюи, хозяин шхуны, был также ее капитаном. В свое последнее плавание он нанял на Таити двух незнакомых моряков, одного — помощником, другого — вторым помощником. Кроме них, на шхуне был еще один новый человек — его Дюпюи вез на Фанрики в качестве своего торгового агента. Помощника звали Рауль Ван-Асвельд, второго помощника — Карл Лепсиус.

— Они братья, я знаю, я слышал, как они разговаривали ночью на палубе, когда думали, что все спят,— пояснил Заячья Губа.

«Валетта» крейсировала между островами Лоу, забирая с факторий Дюпюи перламутр и жемчуг. Новый агент, Франс Амундсон, остался на острове Фанрики вместо Пьера Голяра,

а Пьер Голяр сел на шхуну, намереваясь вернуться на Таити. Туземцы с Фанрики говорили, что при нем была кварта жемчуга, которую он должен был сдать Дюлюи. В первую же ночь после отплытия в каюте слышались выстрелы, а утром из каюты вытащили два мертвых тела — это были Дюлюи и Голяр — и выбросили их за борт. Матросы-таитяне забились в кубрик и двое суток сидели там без еды, а «Валетта» лежала в дрейфе. Тогда Рауль Ван-Асвельд велел Заячьей Губе приготовить пищу, всыпал в нее яду и заставил кока отнести котел вниз. Половина матросов умерла.

— Он наставил на меня ружье, что мне было делать? — со слезами говорил Заячья Губа. — Из тех, кто остался в живых — их было десять человек, — двое вскарабкались на ванты, там их и застрелили. Остальные попрыгали за борт, думали добраться до берега вплавь. Их всех перестреляли в воде. На шхуне остались только я и двое дьяволов. Меня они не убили, им нужен был кок, чтобы готовить пищу. В тот же день подул бриз, они вернулись на Фанрики и захватили Франса Амундсона, он тоже из их шайки.

Затем Заячья Губа рассказал о всех ужасах, которые пережил, пока шхуна долгими переходами подвигалась к западу. Он был единственным живым свидетелем совершенных преступлений и понимал, что, не будь он коком, его бы давно убили. В Нумеа к ним присоединились пятеро каторжников. Ни на одном из островов Заячьей Губе не разрешали сходить на берег, и Гриф был первым посторонним человеком, с которым ему удалось поговорить.

— Теперь они меня убьют, — говорил, брызгая слюной, Заячья Губа. — Они знают, что я вам все рассказал. Но я не трус. Я останусь с вами, капитан, и умру с вами.

Человек-козел покачал головой и встал.

— Лежи тут и отдыхай, — сказал он Грифу. — Ночью нам придется долго плыть. А кока я отведу повыше, туда, где живут мои братья вместе с козами.

IV

— Хорошо, что ты умеешь плавать, как настоящий мужчина, — прошептал Маурири.

Из туфовой ложины они спустились к берегу и вошли в воду. Плыли тихо, без плеска. Маурири показывал дорогу. Черные стены кратера уходили ввысь, и пловцам казалось, что они находятся на дне огромной чаши. Над головой тускло све-

тилось небо, усыпанное звездной пылью. Впереди мерцал огонек, указывая, где стоит на якоре «Стрела». С палубы, ослабленные расстоянием, доносились звуки гимна. Это заведи граммофон, предназначавшийся для Пилзаха.

Пловцы повернули влево, подальше от захваченной шхуны. Вслед за гимном послышались смех и пение, потом опять звуки граммофона. «Веди меня, о благодатный свет», — понеслось над темной водой, и Гриф невольно усмехнулся — так кстати пришли эти слова.

— Мы должны доплыть до прохода и вылезть на Большой скале, — прошептал Маурири. — Дьяволы засели в низине. Слышишь?

Одиночные выстрелы, следовавшие через неровные промежутки времени, говорили о том, что Браун еще держится на скале и что пираты угрожают ему со стороны перешейка.

Через час они уже плыли вдоль Большой скалы, которая нависала над ними темной громадой. Ощупью отыскивая путь, Маурири привел Грифа в тесную расщелину, и они стали карабкаться вверх, пока не достигли узкого карниза на высоте ста футов над водой.

— Оставайся здесь, — сказал Маурири. — А я пойду к Брауну. Вернусь утром.

— Я пойду с тобой, брат, — сказал Гриф.

Маурири усмехнулся в темноте.

— Даже тебе, Большой брат, не удастся это сделать. Меня зовут Человек-козел, и только один я на всем Фуатино могу ночью перебраться через Большую скалу. Но и я делаю это в первый раз. Дай руку. Чувствуешь? Вот здесь хранится динамит Пилзаха. Ложись поближе к скале и можешь спокойно спать — не упадешь. Я уйду.

Прислушиваясь к шуму прибоя, грохотавшего далеко внизу, Гриф сидел на узком карнизе, рядом с тонной динамита, и обдумывал план дальнейших действий. Затем, подложив руку под голову, он прижался к скале и заснул.

Утром, когда Маурири повел его через перевал, Гриф понял, почему этот переход был бы невозможен для него ночью. Как моряк, он отлично умел взбираться на мачты и не боялся высоты, и все же впоследствии ему казалось чудом, что он вообще ухитрился здесь пройти даже при ярком свете дня. Были места, где ему приходилось, следуя точным наставлениям Маурири, наклоняться над щелью футов в сто глубиной и, падая вперед на руки, цепляться за какой-нибудь выступ на противоположной стороне, а затем уже осторожно подтягивать ноги. Один раз пришлось сделать прыжок через зи-

яющую пропасть шириной в десять футов и глубиной футов в пятьсот с таким расчетом, чтобы стать ногами на крохотный выступ на другой стороне, футов на двадцать ниже. В другом месте, когда он шел по узкому, всего в несколько дюймов, карнизу и вдруг увидел, что ему не на что опереться руками, он, несмотря на все свое хладнокровие, растерялся. И Маурири, заметив, что он пошатнулся, быстро обошел его с краю, балансируя над самой пропастью, и на ходу больно ударил по спине, чтобы привести в чувство. Вот тогда-то Гриф понял раз и навсегда, почему Маурири прозвали Человеком-козлом.

V

Позиция на Большой скале давала обороняющимся ряд преимуществ, хотя и имела свои слабые стороны. Она была неприступна, — двое могли бы удержаться здесь против целой армии. Кроме того, она контролировала выход в открытое море; обе шхуны, вместе с Раулем Ван-Асвельдом и его головорезами, оказались запертыми в бухте. Гриф, который перенес сюда свою хранившуюся ниже тонну динамита, был хозяином положения. Это он неопровержимо доказал в то утро, когда шхуны попытались выйти в море. Впереди шла «Валетта», которую вел на буксире вельбот; гребцами на нем были захваченные в плен фуатинцы. Гриф и Маурири следили за ней из своего укрытия за скалой с высоты в триста футов. Рядом лежали ружья, а также тлеющая головешка и большая связка динамита со вставленными шнурами и детонаторами. Когда вельбот проходил под самым утесом, Маурири покачал головой:

— Они наши братья, мы не можем стрелять!

На носу «Валетты» было несколько матросов со «Стрелы» все уроженцы Райатеи. Еще один их соплеменник стоял на корме у штурвала. Пираты, должно быть, прятались в каюте или же они были на «Стреле». Лишь один с винтовкой в руках расположился посреди палубы. Он прижал к себе Наумоо, дочь старой королевы Матаары, прикрываясь ею, как щитом.

— Это главный дьявол, — прошептал Маурири. — Глаза у него голубые, как у тебя. Он страшный человек. Посмотри, он прячется за Наумоо, чтобы мы его не убили.

Слабый ветерок и начинающийся прилив загоняли воду внутрь залива, и шхуна подвигалась медленно.

— Вы понимаете по-английски? — крикнул Гриф.

Человек вздрогнул, поднял ружье и взглянул вверх. Все движения у него были быстрые и гибкие, как у кошки. Лицо,



покрытое красноватым загаром, характерным для блондинов, выражало свирепый задор. Это было лицо убийцы.

— Да, — ответил он. — Чего вы хотите?

— Поворачивайте обратно или я взорву вашу шхуну, — предупредил его Гриф. Он раздул головешку и прошептал: — Скажи, чтобы Наумоо вырвалась и бежала на корму.

Со «Стрелы», шедшей следом за «Валеттой», прогремели выстрелы, и пули защелкали по скале. Ван-Асвельд вызывающе захохотал, а Маурири тем временем обратился на туземном наречии к Наумоо. Когда шхуна очутилась под самой скалой, девушка вырвалась из рук бандита. Гриф, ждавший этого момента, поднес головешку к спичке, вставленной в расщепленный конец шнура, вскочил из-за укрытия и бросил динамит. Ван-Асвельду удалось опять схватить Наумоо, и теперь они боролись. Человек-козел прицелился в него, но ждал, опасаясь задеть Наумоо. Динамит плотным свертком стукнулся о палубу, подскочил и скатился в шпигат левого борта. Ван-Асвельд заметил это и в нерешительности остановился, затем и он и Наумоо бросились на корму. Человек-козел выстрелил, но лишь расщепил угол камбуза.

Огонь со «Стрелы» усилился, и двое на скале вынуждены были притаиться за укрытием. Маурири хотел было высунуться и посмотреть, что делается внизу, но Гриф удержал его.

— Чересчур длинный шнур, — сказал он. — В следующий раз будем знать.

Взрыв грохнул только через полминуты. Того, что за этим последовало, они не видели, ибо на «Стреле» определили, наконец, дистанцию и оттуда вели непрерывный огонь. Гриф отважился было выглянуть, но тотчас две пули просвистели у него над головой. Он успел, однако, увидеть, что «Валетта» с проломленным правым бортом и сорванным планширем, кренясь, уходит под воду. Течением ее относило обратно в бухту. Прятавшиеся в каюте бандиты и женщины подплыли под прикрытием огня к «Стреле» и теперь карабкались на борт. Гребцы фуатинцы отдали буксир, повернули обратно в бухту и гребли изо всех сил к южному берегу.

Со стороны перешейка хлопнуло четыре выстрела — это Браун со своими людьми пробрался сквозь чащу к берегу и вступил в бой. Огонь со «Стрелы» ослабел, и Гриф с Маурири поддержали Брауна, но их выстрелы не могли нанести противнику большого вреда, ибо пираты, отстреливаясь, укрывались за палубными надстройками. К тому же ветром и течением «Стрелу» относило все дальше в глубь бухты. От «Валет-

ты» не оставалось уже и следа. Она исчезла в бездонных водах кратера.

Два маневра Ван-Асвельда, свидетельствовавшие о его хладнокровии и находчивости, вызвали невольное восхищение Грифа. Ружейный огонь, который вели пираты со «Стрелы», вынудил убежавших фуэтинцев повернуть обратно и сдаться. Одновременно Ван-Асвельд отрядил половину своих бандитов на берег, с тем чтобы они отрезали Брауна от основной части острова. Все утро с перешейка доносились пальба, то замолкавшая, то вспыхивая вновь, и по ней Гриф мог следить, как Брауна теснили к Большой скале. Таким образом, за исключением гибели «Валетты», все осталось по-прежнему.

VI

Но позиция на Большой скале имела и существенные неудобства. Там не было ни воды, ни пищи. По ночам Маурири, в сопровождении одного из матросов, уплывал на другой берег за припасами. Но пришла ночь, когда огни осветили гладь залива и загремели выстрелы. Так были отрезаны и водные подступы к скале.

— Интересное положение,— заметил Браун, некогда мечтавший о приключениях и теперь имевший возможность полностью ими насладиться.— Мы их держим в руках, но и они нас тоже. Рауль не может удрать, но зато мы можем умереть с голоду, пока его сторожим.

— Хоть бы дождь пошел, тогда наполнились бы все, какие тут есть, впадины,— сказал Маурири. Уже сутки они сидели без воды.— Большой брат, сегодня ночью мы с тобой достанем воду. Это могут сделать только сильные люди.

В ту ночь, захватив с собой несколько калабашей¹ с тщательно пригнанными пробками, каждый вместимостью в кварту, Гриф и Маурири опустились к морю по склону скалы, обращенному к перешейку. Они отплыли от берега футов на сто. Где-то недалеко время от времени позвякивали уключины или глухо ударялось весло о борт пироги. Иногда вспыхивала спичка — это кто-нибудь из караульных закуривал сигарету или трубку.

— Подожди здесь,— прошептал Маурири.— Держи калабашу.

Он нырнул. Гриф, опустив лицо в воду, видел его фосфоресцирующий след, уходивший в глубину. Потом след потускнел

¹ К а л а б а ш — сосуд из выдолбленной тыквы или скорлупа кокосового ореха.

и пропал совсем. Прошла долгая минута, прежде чем Маурири бесшумно вынырнул на поверхность рядом с Грифом.

— На, пей!

Калабаш был полон, и Гриф с жадностью стал пить свежую пресную воду, добытую из морской пучины.

— Там бьют ключи,— сказал Маурири.

— На дне?

— Нет, из берега. До дна оттуда так же далеко, как до вершины горы. Это на глубине пятидесяти футов. Опускайся, пока не почувствуешь холода.

Несколько раз вдохнув всей грудью и выдохнув воздух, как обычно делают пловцы перед тем как нырнуть, Гриф ушел под воду. Она была соленая на вкус и теплая. Потом, уже на порядочной глубине, она заметно охладилась и стала менее соленой. Внезапно Гриф почувствовал, что попал в холодную струю. Он вынул пробку, и пресная вода, булькая, стала вливаться в калабаш. Мимо, словно морской призрак, проплыла огромная рыба, оставляя за собой светящийся след.

В дальнейшем Гриф, оставаясь на поверхности, держал постепенно тяжелеющие калабаши, а Маурири нырял и наполнял их один за другим.

— Здесь есть акулы,— сказал Гриф, когда они поплыли обратно к берегу.

— Не страшно!— последовал ответ.— Эти акулы едят только рыбу. Мы, фуатинцы, братья таким акулам.

— А тигровые акулы? Я как-то видел их здесь.

— Если они сюда приплывут, мы останемся без воды, разве только пойдет дождь.

VII

Через неделю Маурири и один из матросов, отправившись за пресной водой, вернулись с пустыми калабашинами. В залив проникли тигровые акулы. На следующий день на Большой скале все мучились от жажды.

— Надо рискнуть,— сказал Гриф.— Сегодня ночью за водой поплыву я с Маутау. А завтра ты с Техаа.

Гриф успел наполнить всего лишь три калабаши, как вдруг появились акулы и загнали пловцов на берег. На скале было шестеро человек, на каждого, стало быть, пришлось по одной пинте воды на весь день, а этого под тропическим солнцем недостаточно для человеческого организма. На следующую ночь Маурири и Техаа вернулись вовсе без воды. И в тот день,

который последовал за этой ночью, Браун узнал, что такое настоящая жажда — когда потрескавшиеся губы кровоточат, небо и десны облеплены густой слизью и распухший язык не помещается во рту.

Стемнело, и Гриф отправился за водой вместе с Маутау. Они по очереди ныряли вглубь, где бил холодный ключ, и, пока наполнялись калабаши, с жадностью глотали пресную воду. С последним калабашем нырнул Маутау. Гриф сверху видел, как промелькнули тускло светящиеся тела чудовищ, и по фосфорическим следам различил все перипетии подводной драмы. Обратно он поплыл один, но не выпустил из рук драгоценный груз — наполненные калабаши.

Осажденные голодали. На скале ничего не росло. Внизу, где об утесы с грохотом разбивался прибой, можно было найти сколько угодно съедобных ракушек, но склон был слишком крут и недоступен. Кое-где по расщелинам удавалось иной раз спуститься к воде и набрать немного тухлых моллюсков и морских ежей. Бывало, что в западню попадался фрегат или какая-нибудь другая морская птица. Один раз на наживку из мяса фрегата им посчастливилось поймать акулу. Они сбегали ее мясо для приманки и еще раз или два ловили на него акул.

Но с водой положение по-прежнему было отчаянное. Маурири молил козьего бога послать им дождь. Таути просил о том же бога миссионеров, а двое его земляков с Райатеи, отступив от своей новой веры, взывали к божествам былых языческих дней. Гриф усмехался и о чем-то размышлял, а Браун, у которого язык почернел и вылезал изо рта и взгляд стал совсем диким, проклинал все на свете. Особенно он свирепел по вечерам, когда в прохладных сумерках с палубы «Стрелы» доносились звуки священных гимнов. Один гимн — «Где нет ни слез, ни смеха» — каждый раз приводил его в бешенство. Эта пластинка, видимо, нравилась на шхуне: ее заводили чаще других. Браун, невыносимо страдавший от голода и жажды, временами от слабости почти терял сознание. Он мог лежать на скале и спокойно слушать брэнчание гитары или укулеле и пение хуахинских женщин; но лишь только над водой раздавались голоса хора, он выходил из себя. Однажды вечером надтреснутый тенор стал подпевать пластинке:

Где нет ни слез, ни смеха,
Там скоро буду я.
Где нет ни зимы, ни лета,
Где все одето светом,

Там буду я,
Там буду я.

Браун поднялся. Схватив винтовку, не целясь, вслепую, он выпустил всю обойму по направлению шхуны. Снизу донесся смех мужчин и женщин, а с перешейка прогремели ответные выстрелы. Но надтреснутый тенор продолжал петь, и Браун все стрелял и стрелял до тех пор, пока гимн не кончился.

В эту ночь Гриф и Маурири вернулись всего с одним калашником воды. На плече у Грифа не хватало двух дюймов кожи — эту памятку оставила ему акула, задевшая его своим жестким, как наждак, боком в ту минуту, когда он увернулся от нее.

VIII

Однажды ранним утром, когда солнце не начало еще палить по-настоящему, от Ван-Асвельда пришло предложение начать переговоры. Браун принес эту весть со сторожевого поста, устроенного в скалах ста ярдами ниже. Сидя на корточках перед маленьким костром, Гриф поджаривал кусок акульего мяса. За последние сутки им повезло. Они набрали водорослей и морских ежей, Техаа выловил акулу, а Маурири, спустившись вниз по расщелине, где хранился динамит, поймал довольно крупного спрута. К тому же они успели ночью дважды сплавать за водой до того, как их выследили тигровые акулы.

— Говорит, что хотел бы прийти и побеседовать с вами, — сообщил Браун. — Но я знаю, чего этому скоту нужно. Хочет посмотреть, скоро ли мы тут подохнем с голоду.

— Ведите его сюда, — сказал Гриф.

— И мы его убьем, — радостно воскликнул Человек-козел. Гриф отрицательно покачал головой.

— Но ведь он убийца, Большой брат. Он зверь и дьявол! — возмутился Маурири.

— Нельзя его убивать. Мы не можем нарушить свое слово. Такое у нас правило.

— Глупое правило!

— Все равно, это наше правило, — твердо сказал Гриф, переворачивая на углях кусок мяса, и, заметив, какими голодными глазами смотрит на это мясо Техаа и с какой жадностью он вдыхает запах жареного, добавил: — Не показывай вида, что ты голоден, Техаа, когда Большой дьявол будет здесь. Веди себя так, как будто ты никогда и не слышал, что такое голод. Из-

жарь-ка вот этих морских ежей. А ты, брат, приготовь спрута. Главный дьявол будет с нами завтракать. Ничего не оставляйте, жарьте все.

Когда Ван-Асвельд в сопровождении большого ирландского терьера подошел к лагерю, Гриф, все еще сидевший перед костром, поднялся ему навстречу. Рауль благоразумно не сделал попытки обменяться с ним рукопожатием.

— Здравствуйте, — сказал он. — Я много о вас слышал.

— А я предпочел бы ничего о вас не слышать, — ответил Гриф.

— То же самое и я, — отпарировал Рауль. — Сначала я не знал, что это вы, и думал, так, обыкновенный капитан торговой шхуны. Вот почему вам удалось запереть меня в бухте.

— Должен, к стыду своему, признаться, что и я вас вначале недооценил, — усмехнулся Гриф. — Думал, так, мелкий жулик, и не догадался, что имею дело с прожженным пиратом и убийцей. Вот почему я потерял шхуну. Так что мы в общем квиты.

Даже сквозь загар, покрывавший лицо Рауля, видно было, что он весь побагровел, однако он сдержался. Взгляд его недоуменно остановился на съестных припасах и на калабашках с водой, но он ничем не выдал своего удивления. Он был высок ростом, строен и хорошо сложен. Гриф вглядывался в него, стараясь разгадать, что за человек стоит перед ним. Светлые глаза Рауля смотрели властно и проницательно, но они были посажены чересчур близко, — не настолько, чтобы вызывать впечатление уродства, а просто чуточку ближе, чем того требовал весь склад его лица: широкий лоб, крепкий подбородок, тяжелые челюсти и выдающиеся скулы. Сила! Да, его лицо выражало силу, и все же Гриф смутно угадывал, что в этом человеке чего-то недостает.

— Мы оба сильные люди, — сказал Рауль с легким поклоном. — Сто лет назад мы могли бы спорить за обладание целыми империями.

Гриф, в свою очередь, поклонился.

— А сейчас мы, увы, ссоримся из-за нарушения закона в колониях тех самых империй, судьбы которых мы могли бы вернуть сто лет назад.

— Да, все тлен и суета, — философски изрек Рауль, садясь у костра. — Продолжайте, пожалуйста, свой завтрак. Не обращайтесь на меня внимания.

— Не хотите ли к нам присоединиться? — пригласил его Гриф.

Рауль внимательно посмотрел на него и принял приглашение.

— Я весь в поту,— сказал он.— Можно умыться?

Гриф утвердительно кивнул и приказал Маурири подать калабаш. Драгоценная влага вылилась на землю. Рауль пытливо заглянул в глаза Маурири, но лицо Человека-козла не выражало ничего, кроме полного безразличия.

— Моя собака хочет пить,— сказал Рауль.

Гриф опять кивнул, и еще один калабаш подали собаке. Снова Рауль пристально вглядывался в лица туземцев и снова ничего не увидел.

— К сожалению, у нас нет кофе,— извинился Гриф.— Придется вам удовольствоваться простой водой. Еще калабаш. Техаа! Попробуйте акульего мяса. А на второе у нас спрут и морские ежи с салатом из водорослей. Жалко, что нет фрегатов. Ребята вчера поленились и не ходили на охоту.

Гриф был так голоден, что, кажется, проглотил бы и политые салом гвозди, однако он ел с видимой неохотой и бросал куски собаке.

— Никак не привыкну к этому варварскому меню,— вздохнул он, окончив завтрак.— Вот консервов, которые остались на «Стреле», я бы поел с удовольствием, а эта дрянь...— Он взял большой поджаренный кусок акульего мяса и швырнул его собаке.— Но, видно, придется привыкать, раз вы еще не намерены сдаться.

Рауль неприязненно рассмеялся.

— Я пришел предложить условия,— колко сказал он.

Гриф покачал головой.

— Никаких условий. Я держу вас за горло и отпускать не собираюсь.

— Вы что же, воображаете, что навек заперли меня в этой мышеловке? — воскликнул Рауль.

— Да уж живым вы отсюда не выйдете, разве что в кандалах.— Гриф задумчиво оглядел своего гостя.— Я ведь не первый раз имею дело с такими, как вы. Только я думал, что мы давно уже очистили Океанию от подобной публики. Вы представляете собой, так сказать, живой анахронизм, и от вас надо как можно скорее избавиться. Я лично советовал бы вам вернуться на шхуну и пустить себе пулю в лоб. Это для вас единственный шанс избежать тех неприятностей, которые вам предстоят в будущем.

Таким образом, переговоры, по крайней мере для Рауля, окончились ничем, и он отправился восвояси, вполне убежденный, что люди на скале могут продержаться еще хоть целый год. Он быстро переменил бы мнение, если бы видел, как, едва он исчез за склоном, матросы и Техаа бросились подбирать оставшиеся после собаки объедки, как они, ползая по скале, выискивали каждую крошку мяса, обсасывали каждую косточку.

— Сегодня придется поголодать,— сказал Гриф,— но это лучше, чем потом долго мучиться от голода. Очень хорошо, что Большой дьявол поел с нами и вволю напился воды — зато, ручаюсь, теперь он не станет здесь задерживаться. Он, может быть, уже завтра попробует уйти. Этой ночью, Маурири, мы с тобой будем спать на том склоне Большой скалы. А если Техаа сможет добраться туда, то и его возьмем,— он метко стреляет.

Среди матросов-канаков один Техаа умел лазить по утесам и способен был преодолеть опасный путь. На рассвете следующего дня он уже лежал в защищенной скалами нише, ярдов на сто правее того места, где укрепились Гриф и Маурири.

Первым предупреждением были выстрелы на перешейке; они означали, что бандиты отходят через чащу к заливу и что Браун с двумя матросами их преследует. Но прошел еще час, прежде чем Гриф из своего орлиного гнезда на утесе увидел «Стрелу», направляющуюся к проходу. Как и в первый раз, шла за вельботом, и гребли на нем пленные фуатинцы. Пока они медленно проплывали под Большой скалой, Маурири, по указанию Грифа, объяснил им, что они должны делать. На скале рядом с Грифом лежало несколько связок динамитных шашек с очень короткими шнурами.

На палубе «Стрелы» было много народу. Один из бандитов, в котором Маурири узнал брата Рауля, с ружьем в руке стоял на баке среди матросов. Другой поместился на юте, рядом с рулевым. К нему грудь с грудью была привязана веревкой старая королева Матаара. По другую сторону от рулевого стоял капитан Гласс с рукой на перевязи. Рауль, как и в первый раз, стоял на середине палубы, прикрываясь связанной с ним Наумоо.

— Доброе утро, мистер Дэвид Гриф,— крикнул он, глядя вверх.

— А ведь я предупреждал вас, что вы покинете остров только в кандалах,— укоризненно откликнулся Гриф.

— Вы не посмеете убить всех людей, которые у меня на борту,— ответил Рауль.— Ведь это же ваши люди.

Шхуна, подвигавшаяся очень медленно, рывками, в такт со взмахами весел на вельботе, теперь оказалась почти под самой скалой. Фуатинцы продолжали грести, но стали заметно слабее налегать на весла, и тотчас бандит, стоявший на баке, прицелился в них из ружья.

— Бросай, Большой брат!— крикнула Наумоо на фуатинском наречии.— Сердце мое разрывается от горя, и я хочу уме-

реть. Он уже приготовил нож, чтобы перерезать веревку, но я схвачу его и буду крепко держать. Не бойся, Большой брат, бросай. Бросай скорее... и прощай!

Гриф в нерешительности опустил головешку, которую он только что раздувал.

— Бросай! — молил Человек-козел.

Но Гриф все колебался.

— Если они выйдут в море, Большой брат, Наумоо все равно погибнет. А что будет с остальными? Что ее жизнь по сравнению с жизнью многих?

— Попробуйте только выстрелить или бросить динамит, и мы перебьем всех на шхуне, — крикнул Рауль. — Я победил вас, Дэвид Гриф! Вы не можете убить всех этих людей, а я могу. Тихо, ты!

Последнее относилось к Наумоо, продолжавшей звать к Грифу на своем родном языке. Рауль схватил ее одной рукой за горло и стал душить, чтобы заставить замолчать, а она крепко обхватила его вокруг пояса и умоляюще глядела вверх.

— Бросайте, мистер Гриф! Взорвите их ко всем чертям! — зычным басом прогремел капитан Гласс. — Это подлые убийцы. Их там полным-полно, в каюте.

Бандит, к которому была привязана старая королева, обернулся и пригрозил капитану Глассу ружьем, но тут Техаа, давно уже целившийся в него со скалы, спустил курок. Ружье выпало из рук пирата, невероятное удивление отразилось на его лице, ноги подогнулись, и он повалился на палубу, увлекая за собой королеву.

— Лево руля! Еще лево руля! — крикнул Гриф. Капитан Гласс вместе с канаком рулевым быстро перехватили ручки штурвала, и «Стрела» пошла прямо на скалу. Рауль все еще боролся с Наумоо. Его брат кинулся с бака к нему на помощь. Грянули выстрелы из винтовок Техаа и Маурири, но оба они промахнулись. Брат Рауля приставил ружье к груди Наумоо — и в эту самую секунду Гриф прикоснулся головешкой к спичке, вставленной в конец шнура. Обеими руками он поднял и швырнул вниз тяжелую пачку, и тут же прогремел выстрел. Наумоо пошатнулась, ее тело рухнуло на палубу одновременно с падением динамита. На этот раз шнур был достаточно короткий и взрыв произошел сразу. Та часть палубы, где находились Рауль, его брат и Наумоо, исчезла как по мановению ока.

Борт шхуны был пробит, и она стала быстро течь. Матросы канаки попрыгали с бака в воду. Первого выскочившего из каюты бандита капитан Гласс ударил ногой в лицо, но был

смят и сшиблен с ног остальными. Следом за бандитами выскочили женщины с Хуахине и тоже попрыгали за борт. А «Стрела» тем временем все погружалась и, наконец, стала килем на дно рядом со скалой. Верхушки ее мачт торчали над водой.

Грифу сверху хорошо было видно, что делалось под водой. Он видел, как Матаара на глубине сажени отвязала себя от мертвого пирата и нырнула на поверхность. Тут она заметила, что рядом тонет капитан Гласс: он не мог плыть. И королева — старая женщина, но истая дочь островов — нырнула за ним и, поддерживая его голову над водой, помогла ему добраться до мачты.

На поверхности воды среди множества темных голов виднелось пять рыжих и русских. Гриф с винтовкой у плеча ждал, когда удобнее будет выстрелить. Человек-козел тоже прицелился; через минуту он спустил курок — одно тело медленно пошло ко дну. Но мщение совершилось и без их участия, руками матросов канаков. Эти огромные, могучие островитяне, умеющие плавать, как рыбы, быстро рассекая воду, устремились туда, где мелькали русые и рыжие головы. Сверху было видно, как четверых оставшихся пиратов схватили, утащили под воду и утопили там, как щенят.

За десять минут все было кончено. Женщины с Хуахине со смехом и визгом цеплялись за борта вельбота. Матросы канаки, ожидая приказаний, собрались вокруг торчавшей из воды мачты, за которую держались капитан Гласс и Матаара.

— Бедная «Стрела»! — стонал капитан Гласс. — Пропала моя голубушка!

— Ничего подобного, — отозвался Гриф со скалы. — Через неделю мы ее поднимем, починим борт и пойдем дальше. — Обращаясь к королеве, он спросил: — Ну, как, сестра?

— О брат мой, Наумоо умерла и Мотуаро умер, но Фуатино опять наш. День только начинается. Я пошлю в горы оповестить мой народ, и сегодня вечером мы снова, как никогда раньше, будем пировать и веселиться в Большом доме.

— Давно уже надо было переменить ей шпангоуты в средней части, — сказал капитан Гласс. — А вот хронометрами не придется пользоваться до самого конца плавания.

ПУТНИКИ С НЬЮ-ГИББОНА

I

— Сказать по правде, я даже боюсь вести вас на Нью-Гиббон,— сказал Дэвид Гриф.— Ведь пока вы и англичане не уехали с острова и не развязали мне рук, я ничего не мог добиться и топтался на месте.

Валленштейн, германский резидент из Бутенвиля, налил себе щедрую порцию шотландского виски с содовой и улыбнулся.

— Мистер Гриф, мы преклоняемся перед вами,— сказал он на отличном английском языке.— Вы совершили чудо на этом проклятом острове. Мы больше не станем вмешиваться в ваши дела. Это действительно остров дьяволов, а старый Кохо — самый главный дьявол. Сколько мы ни пытались договориться с ним, все напрасно. Он страшный лжец и далеко не дурак. Прямо-таки чернокожий Наполеон или Талейран, но только Талейран — людоед, охотник за головами. Помнится, лет шесть тому назад я прибыл сюда с английским крейсером. Негры тут же попрятались в зарослях, но некоторым не удалось скрыться. Среди них была последняя жена Кохо. Ее подвесили за руку, и она двое суток коптилась на солнце. Мы сняли ее, но она все равно умерла. А потом в реке нашли еще трех женщин, погруженных по самую шею в холодную проточную воду. У них были перебиты все кости. Очевидно, при таком способе приготовления они должны стать вкуснее. Когда мы вытащили этих несчастных, они еще дышали. Удивительно живучий народ! Самая старшая из них протянула потом, кажется, дней десять... Да, вот вам примерное «меню» Кохо. Настоящий дикий зверь. И как вам удалось усмирить его, остается для нас загадкой.

— Я бы не сказал, что мы его усмирили, — ответил Гриф, — хоть иногда он приходит на плантацию и чуть ли не ест из рук.

— Да, но все-таки вы добились куда большего, чем мы со всеми нашими крейсерами. Ни немцы, ни англичане его и в глаза не видели. Вы были первый...

— Нет, не я, — возразил Гриф, — первым был Мак-Тэвиш.

— Ах да, я помню его. Такой маленький, сухощавый шотландец. Его еще называли «Миротворец».

Гриф кивнул.

— Я слышал, что жалованье, которое он получает у вас, больше, чем мое или английского резидента?

— Боюсь, что так. И поверьте — только не обижайтесь, пожалуйста, — он стоит этих денег, Мак-Тэвиш всегда там, где пахнет резней. Он просто маг и волшебник. Без него мне никогда бы не обосноваться на Нью-Гиббоне. Сейчас он на Малаите расчищает плантацию.

— Первую?

— Да. На всей Малаите нет даже фактории. До сих пор вербовщики обтягивают свои лодки колючей проволокой. И вот теперь там разбита плантация. Ну что же, через полчаса мы будем на месте. — Гриф протянул гостю бинокль. — Вон там, слева от бунгало, вы видите навесы для лодок. Сзади — бараки. А справа — навесы для копры. Мы уже высушиваем немало копры. Старый Кохо настолько цивилизовался, что заставляет своих людей собирать для нас кокосовые орехи. А вон и устье реки, в которой вы нашли трех искалеченных женщин.

«Уондер» под всеми парусами шел прямо к месту якорной стоянки. Судно, подгоняемое легким бризом, лениво покачивалось на стеклянной поверхности моря, подернутого легкой рябью. Заканчивался сезон дождей, воздух был тяжелый и насыщенный влагой, по небу неслись бесформенные массы причудливых облаков. Они заволакивали остров серой пеленой, сквозь которую мрачно проступали извилистые очертания берегов и горные вершины. Один мыс обжигали горячие лучи солнца, а другой, в какой-нибудь миле поодаль, заливали потоки дождя.

Нью-Гиббон — сырой, богатый и дикий остров — расположен в пятидесяти милях от Шуазеля. Географически он входит в группу Соломоновых островов, а политически лежит как раз на границе между английской и немецкой сферами влияния и поэтому находится под объединенным контролем резидентов Англии и Германии. Однако контроль этот существовал только на бумаге, в решениях, вынесенных колониальными ведомствами обеих стран. Фактически никакого

контроля не было и в помине. Ловцы трепангов и близко не подходили к Нью-Гиббону. Торговцы сандаловым деревом, умудренные горьким опытом, тоже перестали навещать его. Вербовщикам не удалось завербовать здесь ни одного туземца для работы на плантациях, а после того, как на шхуне «Дорсет» был вырезан весь экипаж, они вообще не наезжали сюда.

Позднее одна немецкая компания попыталась разбить на Нью-Гиббоне плантацию кокосовых пальм; но когда несколько управляющих и много рабочих сложили здесь головы, плантация была заброшена. Немецким и английским крейсерам так и не удалось заставить чернокожих обитателей Нью-Гиббона внять голосу рассудка. Четырежды миссионеры начинали мирное наступление на остров и каждый раз спасались бегством, бросив тех, кто погиб от ножа и болезней.

Снова прибывали крейсера, снова туземцев усмиряли, но усмирить никак не могли. Они прятались в зарослях кустарника и дружно смеялись под вой снарядов. Когда военные корабли уходили, они снова строили свои травяные хижины, сожженные белыми, и снова складывали печи стародадедовским способом.

Нью-Гиббон — большой остров: миль полтораста в длину и семьдесят пять в ширину. Наветренный скалистый берег почти недоступен для судов: ни бухты, ни удобной якорной стоянки. Населяли его десятки племен, которые постоянно враждовали между собой, по крайней мере до тех пор, пока не появился Кохо. Силой оружия и хитрой политикой он, подобно Камехамеха, объединил большинство племен в этакую конфедерацию. Кохо запрещал своим подданным устанавливать какие бы то ни было связи с белыми и был совершенно прав, поскольку европейская цивилизация не сулила для его народа ничего хорошего. После ухода последнего крейсера он был безраздельным хозяином острова, но вот сюда прибыли Дэвид Гриф и Мак-Тэвиш-Миротворец; они высадились на пустынном берегу, где когда-то стояли немецкое бунгало, бараки и дома английских миссионеров.

Война следовала за войной, короткое перемирие — и снова война. Маленький, сухощавый шотландец умел не только установить мир, но и учинить резню. Ему мало было одного побережья; он привез с Малаиты бушменов и прошел по кабаньим тропам в глубину джунглей. Он сжигал деревни до тех пор, пока Кохо не надоело отстраивать их заново, а когда Мак-Тэвиш захватил в плен старшего сына Кохо, вождю ничего не оставалось, как начать переговоры. Во время этих пере-

говоров Мак-Тэвиш установил весьма своеобразный обменный курс на головы: за одного белого он обещал убивать десять соплеменников Кохо. После того как Кохо убедился, что шотландец — человек слова, на острове впервые воцарился прочный мир.

А Мак-Тэвиш тем временем выстроил бунгало и бараки, расчистил по побережью джунгли и разбил плантацию. Потом он отправился на атолл Тасмана, где бушевала чума; знахари утверждали, что зараза исходит от плантации Грифа. Через год его снова призывали на Нью-Гиббон, чтобы усмирить туземцев, и, уплатив штраф в размере двухсот тысяч кокосовых орехов, старый вождь решил, что гораздо выгоднее поддерживать мир и продавать кокосовые орехи, чем отдавать их даром. К тому же он утратил воинственный пыл юности, состарился и охромел на одну ногу: пуля из винтовки Ли-Энфилда продырявила ему икру.

II

— Я знал одного малого на Гавайях, — сказал Гриф, — управляющего сахарной плантацией; так вот, он обходился в таких случаях молотком и десятипенсовым гвоздем.

Они сидели на широкой веранде бунгало и наблюдали, как Уорс, здешний управляющий, врачует больных. Это были рабские из Нью-Джорджии, всего человек двенадцать, и последним в очереди стоял парень, которому надо было вырвать зуб. Первая попытка была неудачной. Уорс одной рукой вытирал пот со лба, а в другой держал щипцы и помахивал ими в воздухе.

— И верно, сломал немало челюстей, — мрачно пробурчал Уорс.

Гриф покачал головой. Валленштейн улыбнулся и приподнял брови.

— Во всяком случае, он об этом не рассказывал, — ответил Гриф. — Больше того, он уверял меня, что у него всегда получается с первого раза.

— Я видел, как это проделывают, когда плавал вторым помощником на одном английском судне, — вставил капитан Уорд. — Наш старик пользовался колотушкой, которой конопатят судно, и стальной свайкой. Он тоже выбивал зуб с первого удара.

— По мне лучше щипцы, — пробурчал Уорс, засовывая их в рот чернокожего.

Он начал тащить, но больной взвыл и едва не соскочил со стула.

— Да помогите же кто-нибудь, наконец, — взмолился управляющий, — держите его крепче!

Гриф и Валленштейн схватили беднягу с двух сторон и прижали к спинке стула. Однако тот яростно отбивался и все сильнее стискивал щипцы зубами. Все четверо раскачивались из стороны в сторону. От жары и напряжения пот лил с них градом. Пот лил и с пациента, но не от жары, а от страшной боли. Вот опрокинулся стул, на котором он сидел. Уорс умолял своих помощников приналечь еще немножко, приналеет сам и, сдавив щипцы так, что зуб хрустнул, изо всех сил дернул...

Из-за возни никто не заметил, как какой-то туземец, небольшого роста, прихрамывая, поднялся по ступенькам веранды, остановился на пороге и стал с интересом смотреть на происходящее. Кохо был очень консервативен. Его отец, дед и прадед не носили одежды, Кохо тоже предпочитал ходить голым и обходился даже без набедренной повязки. Многочисленные дырки в носу, губах и ушах свидетельствовали о том, что когда-то Кохо обуревала страсть к украшениям. Мочки его ушей были разорваны, и величину бывших отверстий можно было легко определить по длинным полоскам иссохшего мяса, свисающим до самых плеч. Теперь он заботился только об удобствах и одну из шести дырок в правом ухе приспособил под короткую глиняную трубку. На нем был широкий дешевый пояс из искусственной кожи, а за поясом блестело лезвие длинного ножа. На поясе висела бамбуковая коробка с бетелем. В руке он держал короткоствольную крупнокалиберную винтовку системы Снайдер. Он был невообразимо грязен, весь в шрамах, и самый ужасный шрам оставила на левой ноге пуля винтовки Ли-Энфилда, вырвав у него половину икры. Впалый рот говорил о том, как мало зубов осталось у Кохо. Лицо его сморщилось, тело высохло, и лишь маленькие черные глаза ярко блестели, и в них было столько беспокойства и затаенной тоски, что они были больше похожи на обезьяньи глаза, чем на человеческие.

Он смотрел и усмехался, как маленькая злая обезьянка. Нет ничего удивительного в том, что он испытывал удовольствие при виде страданий пациента, ибо мир, в котором он жил, был миром страданий. Ему не раз причиняли боль, и еще чаще он причинял ее другим. Когда больной зуб был наконец вырван и щипцы, проскрежетав по другим зубам, вытащили его наружу, глаза старого Кохо радостно сверкнули. Он с восторгом



смотрел на беднягу, который упал на пол и отчаянно вопил, сжимая руками голову.

— Как бы он не потерял сознание,— сказал Гриф, склоняясь над негром.— Капитан Уорд, дайте ему, пожалуйста, выпить. И вам самому надо выпить, Уорс, вы дрожите, как осиновый лист.

— Пожалуй, и я выпью глоток,— сказал Валленштейн, вытирая со лба пот. Вдруг он увидел на полу тень Кохо, а потом и самого вождя.— Хэлло! Это кто такой?

— Здравствуй, Кохо!— сердечно приветствовал его Гриф, но здороваться за руку не стал.

Когда Кохо родился, колдуны запретили ему прикасаться к белому человеку, и это стало табу.

Уорс и капитан «Уондера» Уорд тоже поздоровались с Кохо, но Уорс нахмурился, когда увидел в руках Кохо снайдер, ибо строго-настрого запретил бушменам приносить на плантацию огнестрельное оружие. Это тоже было табу. Управляющий хлопнул в ладоши, и тотчас же прибежал мальчик-слуга, завербованный в Сан-Кристовале. По знаку Уорса он отобрал у Кохо винтовку и унес ее внутрь бунгало.

— Кохо,— сказал Гриф, представляя немецкого резидента,— это большой хозяин из Бугенвиля, да-да, очень большой хозяин.

Кохо, очевидно, припомнил визиты немецких крейсеров и усмехнулся, а в глазах у него вспыхнул недобрый огонек.

— Не здоровайтесь с ним за руку, Валленштейн,— предупредил Гриф.— Это табу, понимаете?— Потом он сказал Кохо:— Честное слово, ты стал очень уж жирный. Не хочешь ли жениться на новой Марии? А?

— Мой очень старый,— ответил Кохо, устало качая головой.— Мой не любит Мария. Мой не любит как-кай (пищу). Скоро мой совсем умрет.— Он выразительно посмотрел на Уорса, который допивал стакан, запрокинув назад голову.— Мой любит ром.

Гриф покачал головой.

— Для черных парней это табу.

— Тот черный парень — это не табу,— возразил Кохо, кивая на рабочего, который все еще стонал.

— Он больной,— объяснил Гриф.

— Мой тоже больной.

— Ты большой вун,— рассмеялся Гриф.— Ром — табу. Всегда — табу. Кохо, у нас будет большой разговор с этим большим хозяином из Бугенвиля.

Гриф, Валленштейн и старый вождь уселись на веранде и заговорили о государственных делах. Старого вождя хвалили за то, что он ведет себя спокойно, а Кохо жаловался на свою дряхлость и немощь и клялся, что теперь между ними будет вечный мир. Потом обсуждался вопрос о создании немецкой плантации в двадцати милях отсюда по побережью. Землю под плантацию, разумеется, нужно было купить у Кохо, заплатив ему табаком, ножами, бусами, трубками, топорами, зубами морской свинки и раковинами, которые заменяют туземцам деньги. Платить можно было чем угодно, но только не ромом. Пока они совещались, Кохо то и дело поглядывал в окно и видел, как Уорс приготавливал какие-то лекарства, а бутылки ставил в аптечный шкаф. Закончив работу, Уорс налил себе стакан шотландского виски. Кохо прекрасно запомнил бутылку. Когда совещание кончилось, он битый час проторчал в комнате, но ему так и не представился подходящий момент: его ни на минуту не оставляли одного. Когда Гриф и Уорс снова заговорили о делах, Кохо понял, что сегодня у него ничего не выйдет.

— Мой пойдет на шхуна, — объявил он и, прихрамывая, вышел из бунгало.

— Как низко пали великие мира сего! — засмеялся Гриф. — Даже не верится, что когда-то этот Кохо был самым страшным и кровожадным дикарем на Соломоновых островах и открыто выступал против двух самых сильных держав в мире. А теперь он идет на шхуну, чтобы выклянчить у Дэнби немного виски.

III

Дэнби ведал приемом и выдачей грузов на шхуне «Уондер». Он сыграл очень злую шутку над туземцем, но шутка эта оказалась последней в его жизни.

Он сидел в кают-компании и проверял список товаров, которые вельботы уже выгрузили на берег. В это время по трапу поднялся Кохо, вошел в кают-компанию и уселся за стол прямо напротив Дэнби.

— Мой скоро совсем умрет, — пожаловался старый вождь. Земные радости больше не волновали его. — Мой не любит никакие Мэри, не любит кай-кай. Мой очень болен. Мой скоро конец. — Кохо сокрушенно умолк. Лицо его выражало крайнюю тревогу. От осторожно похлопал себя по животу, давая понять, что испытывает острую боль. — Живот совсем плохо. — Он снова замолчал, как бы ожидая, что Дэнби посочувст-

вует ему. Наконец последовал долгий тягостный вздох: — Мой любит ром.

Дэнби безжалостно рассмеялся. Старый вождь не раз пытался выпросить у него хоть немного виски, но Гриф и Мак-Тэвиш наложили строжайшее табу на алкоголь и не разрешали давать туземцам ни капли спиртного.

Вся беда в том, что Кохо уже отведал возбуждающих напитков. В юности, когда он вырезал экипаж шхуны «Дорсет», ему довелось вкусить всю сладость опьянения; к сожалению, он пил не один, и корабельные запасы скоро иссякли. В следующий раз Кохо оказался предусмотрительней: когда он уничтожил со своими нагими воинами немецкую плантацию, то сразу же забрал все спиртные напитки себе. Получилась великолепная смесь, состоящая из множества возбуждающих компонентов, начиная от хинного пива и кончая абсентом и абрикосовым бренди. Эту смесь он пил много месяцев, выпил всю, но жажда осталась, осталась на всю жизнь. Как и все дикари, он был предрасположен к алкоголю, и его организм настойчиво требовал выпивки. Когда он выпивал, в горле появлялось восхитительное жжение и по всем жилам разливалось тепло; его обволакивала какая-то блаженная греза, а сердце наполнялось радостью и ликованием. Он был уже стар и немощен, женщины и пиршества больше не доставляли ему удовольствия, остыла бывшая ненависть к врагам, сжигавшая его сердце, и теперь ему все больше и больше был нужен всемогущий огонь из бутылки, из всевозможных бутылок, — он хорошо их запомнил. Бывало, он часами сидел на солнце, грустно вспоминая ту великую оргию, которую он устроил после уничтожения немецкой плантации.

Дэнби посочувствовал старому вождю, расспросил о симптомах его болезни, а потом предложил слабительное, какие-то пилюли, капсулы и прочие совершенно безвредные лекарства из аптечного шкафа. Однако Кохо решительно отказался от них. Вырезав экипаж шхуны «Дорсет», он по неосторожности разжевал капсулу с хиной, а двое его воинов проглотили какой-то белый порошок и вскоре умерли в страшных мучениях. Нет, Кохо не доверял лекарствам. Зато он любил жидкости в бутылках: их пламенно-холодная струя возвращала молодость, согревала душу и навевала сладкие мечты. Неудивительно, что белые так высоко ценили эти напитки и не хотели продавать их.

— Ром очень хорошо, — повторял он монотонно, жалобно и по-старчески терпеливо.

Вот тогда-то Дэнби и совершил роковую ошибку, зло подшутив над Кохо. Он подошел к аптечке, которая была у Кохо за спиной, отпер ее и достал четырехунциевую бутылку с этикеткой «Горчичная эссенция». Он сделал вид, что вынул пробку и хлебнул из бутылки. В зеркале, висящем на переборке, он видел Кохо, который сидел вполоборота и явно наблюдал за ним. Дэнби причмокнул губами и, выразительно крякнув, поставил бутылку на место. Он не стал запираť аптечку и вернулся на свое место; посидев немного, он встал, вышел на палубу, остановился возле трапа и прислушался. Через несколько секунд тишину разорвал хриплый надрывный кашель. Дэнби усмехнулся и вернулся в каюту. Бутылка стояла на прежнем месте, а старый вождь сидел в прежней позе. Дэнби поразился его железному самообладанию. Его рот, губы, язык и горло жгло, конечно, огнем, он задыхался и едва подавлял кашель, а из глаз невольно текли слезы и крупными каплями катились по щекам. Любой другой на его месте давился бы от кашля целых полчаса.

Но лицо старого Кохо было мрачно и непроницаемо. Он понял, что над ним сыграли злую шутку, и глаза его вспыхнули такой неистовой ненавистью и злобой, что у Дэнби мороз пробежал по коже. Кохо поднялся и гордо сказал:

— Мой пойдет домой. Пусть мой дадут лодку.

IV

Когда Гриф и Уорс отправились на плантацию, Валленштейн расположился в гостиной, чтобы почистить свой автоматический пистолет. Разобрав его, он смазывал части ружейным маслом и протирал их старыми тряпками. На столе возле него стояла неизменная бутылка шотландского виски и множество бутылок с содовой водой. Случайно здесь оказалась еще одна бутылка, неполная, тоже с этикеткой шотландского виски, однако в ней была налита жидкая мазь для лошадей; ее приготовил Уорс и забыл убрать.

Валленштейн посмотрел в окно и увидел идущего по дорожке Кохо. Старик шел очень быстро, но когда он приблизился к веранде и вошел в комнату, походка его была медленной и величественной. Он уселся и стал наблюдать за чисткой оружия. Хотя его рот, губы и язык были сожжены, он и виду не подал, что ему больно. Минут через пять он сказал:

— Ром хорошо. Мой любит ром.

Валленштейн ухмыльнулся и покачал головой, а потом словно бес надоумил его сыграть над туземцем весьма злую шутку, которая, к сожалению, тоже оказалась последней в его жизни. На эту мысль, собственно, его натолкнуло сходство между обеими бутылками с этикеткой шотландского виски. Валленштейн положил на стол части пистолета и налил себе солидную порцию виски с содовой. Он стоял как раз между Кохо и столом и незаметно поменял бутылки местами; потом он осушил свой стакан и, сделав вид, что ищет что-то, вышел из комнаты. Вскоре он услышал, что старик отчаянно кашляет и плюется; Валленштейн вернулся в комнату, но Кохо сидел на прежнем месте как ни в чем не бывало. Правда, жидкости в бутылке поубавилось, и поверхность ее еще слегка колебалась.

Кохо встал и хлопнул в ладоши. Появился мальчик-слуга, Кохо знаком потребовал свою винтовку. Тот принес винтовку и, как было принято на плантации, пошел по дорожке впереди Кохо. Он передал старику-вождю оружие лишь после того, как они вышли за ворота. Валленштейн, посмеиваясь, смотрел вслед Кохо, который ковылал по берегу к реке.

Едва Валленштейн успел собрать пистолет, как услышал отдаленный выстрел. Он почему-то тотчас подумал о Кохо, но потом отогнал эту мысль. Ведь Уорс и Гриф взяли с собой дробовики, и кто-нибудь из них, наверное, бил диких голубей. Валленштейн удобно развалился в кресле, закрутил, ухмыляясь, свои желтые усы и задремал. Его разбудил взволнованный крик Уорса:

— Звоните в большой колокол! Звоните что есть силы! Звоните всюю!

Валленштейн выбежал на веранду как раз в тот момент, когда управляющий верхом на лошади перемахнул через низкую ограду и поскакал вдоль берега за Грифом, который мчался, как сумасшедший, далеко впереди. Громкий треск огня и клубы дыма, пробивающиеся сквозь чащу кокосовых деревьев, объяснили все. Кохо поджег бараки и навесы для лодок. Когда немецкий резидент побежал по берегу, он услышал бешеный звон большого колокола и видел, как от шхуны быстро отваливают вельботы.

Бараки и навесы для лодок, крытые сухой травой, были охвачены ярким пламенем. Из кухни появился Гриф: он волочил за ногу голый труп чернокожего мальчика. Труп был без головы.

— Там кухарка! — сказал Гриф. — Тоже без головы. Но она слишком тяжелая. А мне надо было скорее сматываться.

— Во всем виноват я, я один,— грустно повторял Валленштейн.— Это дело рук Кохо. Я дал ему выпить лошадиной мази вместо виски.

— Он, наверное, скрылся в кустах,— сказал Уорс, вскакивая на лошадь.— Оливер сейчас на берегу реки. Надеюсь, он не попадет в лапы Кохо.

Управляющий пустил лошадь галопом и исчез за деревьями. Через несколько минут, когда пылающие, как костер, бараки рухнули, они услышали, что Уорс зовет их. Они нашли его на берегу. Уорс, очень бледный, все еще сидел на лошади и пристально смотрел на что-то лежащее на земле. Это был труп Оливера, молодого помощника управляющего; его с трудом опознали, ибо головы у него не было. Вокруг, еле переводя дух, сгрудились сбегавшиеся со всей плантации чернокожие рабочие; Гриф велел им соорудить носилки для покойника.

Валленштейн горевал и каялся, как истый немец. Слезы катились у него из глаз, а когда он перестал плакать, то разразился проклятиями. Его ярость не имела границ; он схватил дробовик Уорса, и на губах у него выступила пена.

— Перестаньте, Валленштейн!— твердо сказал Гриф.— Успокойтесь! Не валяйте дурака!

— Неужели вы дадите ему удрать?— взревел немец.

— Он уже удрал. Заросли начинаются сразу же за рекой. Вы же видите, где он перебрался через реку. Он уходит от нас по кабаньим тропам. Преследовать его — все равно что искать иголку в стоге сена, и мы наверняка нарвемся на его молодчиков. Кроме того, в джунглях легко попасть в западню; знаете ли, всякие там волчьи ямы, отравленные колючки и прочие сюрпризы дикарей. Один Мак-Тэвиш со своими бушменами рискует заходить в джунгли, да и то в прошлый раз погибло трое ребят из его отряда. Идемте домой. Вечером мы услышим и треск раковин, и бой военных барабанов, и всю эту адскую музыку. На нас напасть они не рискнут, но все же, мистер Уорс, пусть люди ни на шаг не отходят от дома. Пошли!

Когда они возвращались по тропинке домой, навстречу им попался один из рабочих, который громко хныкал.

— Заткнись!— рявкнул на него Уорс.— Какого черта ты орешь?

— Кохо кончил два корова,— ответил рабочий, выразительно проводя указательным пальцем по шее.

— Он зарезал коров,— сказал Гриф своим спутникам.— Значит, Уорс, вам пока что придется обходиться без молока. А через несколько дней я пришлю вам пару коров с Уги.

Валленштейн не мог успокоиться до тех пор, пока Дэнби, сойдя на берег, не признался, что напоил старого вождя горчичной эссенцией. Услышав это, немецкий резидент даже повеселел, хотя он еще яростнее крутил усы и проклинал Соломоновы острова на четырех языках.

На следующее утро с топамачты «Уондера» можно было наблюдать, как над лесными зарослями выются сигнальные дымы. Черные клубящиеся столбы поднимались ввысь и передавали от мыса к мысу и дальше, в самую чащу джунглей, тревожную весть. В этих переговорах принимали участие далекие селения, расположенные в глубине острова, на вершинах гор, куда не заходили даже отряды Мак-Тэвиша. Из-за реки непрерывно доносился сумасшедший треск раковин, и на десятки миль вокруг воздух содрогался от глухого рокота огромных военных барабанов, которые туземцы выжигают и выдалбливают из толстых стволов орудиями из камня и морских раковин.

— Пока вы здесь, вам ничего не грозит, — сказал Гриф своему управляющему. — Мне надо съездить в Гувуту. Они не решатся выйти из джунглей и напасть на открытом месте. Держите рабочие команды поближе к дому. Прекратите расчистку леса, пока не кончится вся эта заваруха. Они перебьют всех рабочих, которых вы пошлете в лес. И что бы ни случилось, не вздумайте преследовать Кохо в джунглях. Ясно? Иначе попадете к нему в лапы. Ждите Мак-Тэвиша. Я пришлю его с отрядом малайтских бушменов. Только Мак-Тэвиш сможет проникнуть в джунгли. До моего возвращения с вами останется Дэнби. Вы не возражаете, мистер Дэнби? Я пришлю Мак-Тэвиша на «Ванде»; на ней вы и вернетесь и скоро снова будете на «Уондере». В этот рейс капитан Уорд как-нибудь управится без вас.

— Я как раз хотел просить вас об этом, — сказал Дэнби. — Я никак не думал, что из-за моей шутки заварится такая каша. И как тут ни крути, во всем виноват я.

— И я тоже, — вставил Валленштейн.

— Но начал я, — настаивал Дэнби.

— Может быть, вы и начали, но я продолжил.

— А Кохо закончил, — сказал Гриф.

— Во всяком случае, я тоже останусь здесь, — решил немец.

— Я думал, вы поедете со мной в Гувуту, — возразил Гриф.

— И я так думал, но долг велит мне остаться здесь, а потом ведь как-никак я сам свалял дурака. Я останусь и помогу вам навести здесь порядок.

Из Гувуту на Малаиту уходил вербовочный кеч, и Гриф немедленно послал Мак-Тэвишу самые подробные инструкции. Капитан Уорд отправился с «Уондером» на острова Санта-Крус, а Гриф, получив у английского резидента вельбот и команду чернокожих заключенных, пересек пролив и высадился в Гвадалканаре, чтобы осмотреть пастбища за Пендуфрином.

Через три недели, со свежим ветром и под всеми парусами, Гриф лихо прошел меж коралловых рифов и всколыхнул неподвижную поверхность бухты Гувуту. Бухта была пуста, и лишь у самого берега стоял небольшой кеч. Гриф узнал «Ванду». Она, очевидно, пришла сюда проливом Тулаги и только что стала на якорь; чернокожий экипаж еще убирал паруса. Гриф подошел к «Ванде», и сам Мак-Тэвиш подал ему руку, помогая перебраться на кеч.

— В чем дело? — спросил Гриф. — Вы еще не уехали?

Мак-Тэвиш кивнул головой.

— Уехали. И уже приехали. На судне все в порядке.

— А на Нью-Гиббоне?

— Все на месте, если не считать некоторых мелких деталей ландшафта, которые вдруг куда-то исчезли.

Такой же маленький, как Кохо, и такой же сухощавый, с лицом цвета красного дерева, Мак-Тэвиш смотрел на Грифа маленькими бесстрастными голубыми глазами, которые были больше похожи на высверленные отверстия, чем на человеческие глаза. Это был не человек, а холодное пламя. Болезни, зной и стужа были ему ни о чем, он не знал, что такое восторг или отчаяние, не ведал страха, не испытывал никаких чувств; жестокий и резкий, он был беспощаден, как змея. И теперь, глядя на кислую физиономию Мак-Тэвиша, Гриф сразу понял, что тот привез дурные вести.

— Выкладывайте все! — сказал Гриф. — Что там случилось?

— То, что случилось, достойно самого сурового осуждения, — ответил Мак-Тэвиш. — Надо съезем потерять совесть, чтобы так шутить над язычниками-неграми. А кроме того, это обходится слишком дорого. Пойдемте вниз, мистер Гриф. О таких вещах лучше говорить за стаканом виски. Прошу вас.

— Ну, как вы там все уладили? — спросил Гриф, едва они вошли в каюту.

Маленький шотландец покачал головой.

— А там нечего было улаживать. Ведь все зависит от точки

зрения. И с моей точки зрения, там было все устроено, понимаете, абсолютно все, еще до моего приезда.

— Но плантация? Что с плантацией?

— Нет никакой плантации. Весь наш многолетний труд пропал даром. Мы вернулись к тому, с чего начали, с чего начинали и миссионеры и немцы и с чем они ушли отсюда. От поселения не осталось камня на камне. Дома превратились в пепел. Деревья срублены все до единого, а кабаны перерыли ямс и сладкий картофель. А ребята из Нью-Джорджии!.. Сто дюжих парней! Ведь какие были работяги... И обошлись вам в кругленькую сумму... Все погибли... и некому даже рассказать о том, что произошло.

Он замолчал и полез в большой рундук под трапом.

— А Уорс? А Дэнби? Валленштейн? Что с ними?

— Я же сказал вам. Вот, посмотрите!

Мак-Тэвиш вытащил мешок и вытряхнул его содержимое на пол. Содрогнувшись, Дэвид Гриф с ужасом смотрел на головы тех троих, кого он оставил на Нью-Гиббоне. Желтые усы Валленштейна уже не закручивались лихо вверх, а свисали на верхнюю губу.

— Я не знаю, как это произошло, — мрачно сказал шотландец. — Но предполагаю, что они полезли за старым чертом в джунгли.

— А где Кохо? — спросил Гриф.

— Опять в джунглях и пьян, как лорд. Потому-то мне и удалось добыть эти головы. Он так накачался, что не держался на ногах. Когда я нагрянул в деревню, его едва успели унести. Я буду вам очень обязан, если вы избавите меня от этого. — Мак-Тэвиш замолчал и, вздохнув, кивнул на головы. — Вероятно, их надо похоронить, как полагается, зарыть в землю! Но, насколько я понимаю, это очень любопытные экземпляры. Любой музей заплатит вам по сотне фунтов за каждую голову. Выпейте еще. Вы немного бледны... А теперь, если говорить серьезно, позвольте дать вам один совет: не допускайте никаких проделок и шуток над дикарями. Это — дорогое удовольствие и, кроме беды, ни к чему не приведет.

НОЧЬ НА ГОБОТО

I

На Гобото собираются торговцы, прибывающие сюда на своих шхунах, и плантаторы с диких и далеких берегов, и все надевают здесь башмаки, облачаются в белые полотняные брюки и прочие атрибуты цивилизации. На Гобото приходит почта, оплачиваются счета, и здесь почти всегда можно получить газету не более чем пятинедельной давности, ибо этот крохотный островок, опоясанный коралловыми рифами и имеющий удобную якорную стоянку, стал, по суждению, главным портом и своего рода распределительным центром всего архипелага.

Гобото живет в мрачной, удушливой и зловещей атмосфере, и, хоть это совсем маленький островок, здесь зафиксировано больше случаев острого алкоголизма, чем в любой другой точке земли. На Гувуту (Соломоновы острова) говорят, что там пьют даже в промежутках между выпивками. На Гобото этого не оспаривают. Но, между прочим, замечают, что в истории Гобото о таких промежутках ничего не известно. И еще приводят некоторые статистические данные об импорте, из которых явствует, что Гобото потребляет гораздо больше спиртных напитков на душу населения, чем Гувуту. Гувуту объясняет это тем, что Гобото ведет более крупные дела и там больше приезжих. Гобото возражает на это, что по численности населения он уступает Гувуту, но зато приезжающие сюда больше страдают от жажды. Спору этому конца не видно, и прежде всего потому, что спорщики слишком быстро сходят в могилу, так ни до чего и не договорившись.

Гобото невелик. Остров имеет лишь четверть мили в поперечнике, и на этой четверти мили расположились адмиралтейские навесы для угля (несколько тонн угля лежат тут вот уже двадцать лет), бараки для горстки чернокожих рабочих,

большой магазин и склад, крытые железом, и бунгало, в котором живут управляющий и два его помощника. Эти трое и составляют белое население острова. Одного из трех всегда трясет лихорадка. Работать на Гобото нелегко. Как и все Компании, обосновавшиеся на островах, здешняя Компания взяла за правило обильно угощать своих клиентов, и обязанность угощать ложится на управляющего и его помощников. Круглый год торговцы и вербовщики, прибывающие сюда из далеких и предельно «сухих» рейсов, и плантаторы со столь же далеких и «сухих» берегов высаживаются на Гобото, мучимые великой и неутолимой жаждой. Гобото — это Мекка кутел, и, упавшись до бесчувствия, приезжие возвращаются на свои шхуны и плантации, чтобы отдохнуть и восстановить силы.

Иным, менее выносливым, нужна по крайней мере шестимесячная передышка, прежде чем они в состоянии вновь посетить Гобото. Но управляющему и его помощникам такой передышки не полагается. Они привязаны к своему месту; день за днем, неделя за неделей с муссоном или юго-восточным пассатом приходят шхуны, груженные копррой, «растительной слоновой костью», перламутром, морскими черепахами и жаждой.

Работать на Гобото очень тяжело. Поэтому служащим здесь платят вдвое больше, чем на других факториях, и именно поэтому Компания отбирает для работы на Гобото самых смелых и неустрашимых людей. Мало кто может протянуть здесь хотя бы год; либо его чуть живого увозят обратно в Австралию, либо его останки зарывают в песок на противоположной, подветренной стороне острова.

Джонни Бэссет, почти легендарный герой Гобото, побил все рекорды. Джонни получал деньги, которые ему присылали с родины; обладая совершенно удивительным здоровьем, он протянул целых семь лет. Выполняя его предсмертную волю, помощники заспиртовали его в бочке с ромом (купленной на их собственные сбережения) и отправили бочку к его родным в Англию.

И тем не менее на Гобото старались быть джентльменами. Пусть у них есть кое-какие грешки на совести, но все же они джентльмены и всегда были таковыми. Вот почему на Гобото существовал великий неписанный закон, согласно которому человек, сходя на берег, должен надевать брюки и башмаки. Короткие штаны, лава-лава и голые ноги были просто неприличны. Когда капитан Йенсен, самый отчаянный из всех вербовщиков, хоть и происходил из почтенной нью-йоркской семьи, решил сойти на берег в набедренной повязке, нижней

рубашке, с двумя пистолетами и ножом за поясом, ему предложили одеться. Это произошло еще во времена Джонни Бэссета, человека весьма щепетильного в вопросах этикета. Стоя на корме своего вельбота, капитан Йенсен громогласно утверждал, что у него на шхуне штанов нет; при этом он подтвердил свое намерение сойти на берег. Потом его заботливо лечили на Гобото от пулевого ранения в плечо и даже принесли извинения за причиненное беспокойство, так как на его шхуне штанов действительно не оказалось. Наконец, когда капитан Йенсен поднялся с постели, Джонни Бэссет очень вежливо, но твердо помог гостю облачиться в брюки из своего собственного гардероба. Это был великий прецедент, и в последующие годы этикет никогда не нарушался. Отныне белый человек и брюки были неотделимы друг от друга. Только чернокожие бегали голыми. Брюки стали символом касты.

II

Этот вечер был бы таким же, как и все остальные вечера, если бы не одно происшествие. Их было семеро; целый день они тянули шотландское виски с умопомрачительными коктейлями, и хоть глаза у них блестели, они еще твердо держались на ногах; потом все семеро сели обедать. На них были куртки, брюки и башмаки. Тут были: Джерри Мак-Мёртрей, управляющий; Эдди Литл и Джек Эндрюс, помощники; капитан Стейплер с вербовочного кеча «Мери»; Дарби Шрайлтон, плантатор с Тито-Ито; Питер Джи, наполовину англичанин, наполовину китаец, скупавший жемчуг на островах от Цейлона до Паумоту, и, наконец, Альфред Дикон, который прибыл сюда с последним пароходом. Сначала чернокожий слуга принес вино для тех, кто хотел вина, но вскоре они снова перешли на шотландское виски с содовой и обильно смачивали каждый кусок, прежде чем отправить его в свои затвердевшие, сожженные спиртом желудки.

Когда они пили кофе, послышался грохот якорной цепи, скользящей по клюзу: прибыло какое-то судно.

— Это Дэвид Грифф,— заметил Питер Джи.

— Откуда вы знаете?— грубо спросил Дикон и, не желая согласиться с метисом, заявил:— Все вы такие, чуть что, норовите пустить новичку пыль в глаза. Я сам немало поплавал на своем веку и считаю пустым бахвальством, когда мне говорят название судна, едва завидев парус, или называют по имени капитана, лишь услышав, как гремит якорная цепь его судна; это... это совершеннейшая ерунда.

Питер Джи зажигал в это время сигарету и промолчал.

— Я знал чернокожих, которые проделывают совершенно удивительные вещи,— тактично вставил Мак-Мёртрей.

Поведение Дикона раздражало и управляющего и остальных свидетелей этой сцены. С той минуты, как Питер Джи прибыл сюда, Дикон все время старался как-нибудь задеть его. Он придирался к каждому его слову и вообще был очень груб.

— Может быть, это потому, что у Питера есть примесь китайской крови?— предположил Эндрюс.— Дикон— австралиец, а ведь известно, какие они сумасброды, когда речь идет о цвете кожи.

— Думаю, что вы правы,— согласился Мак-Мёртрей.— Но мы не допустим, чтобы так оскорбляли человека, особенно такого, как Питер Джи, который белее многих белых.

И управляющий был прав. Питер Джи, этот евразиец, был редким человеком, добрым и умным. Хладнокровие и честность его китайских предков уравнивали безрассудство и распущенность его отца-англичанина. Кроме того, он был образованнее, чем любой из присутствующих, говорил на хорошем английском языке, равно как и на нескольких других языках, и больше соответствовал их идеалу джентльмена, чем они сами. Наконец, он был добрая душа. Он ненавидел насилие, хотя в свое время ему приходилось убивать людей, ненавидел драки и избегал их, как чумы.

Капитан Стейплер поддержал Мак-Мёртрея.

— Помню, когда я перешел на другую шхуну и прибыл на ней в Альтман, чернокожие сразу же узнали, что это я. Меня там не ждали, тем более на другом судне. Они сказали торговому агенту, что шхуну веду я. Тот взял бинокль и заявил, что они ошибаются. Но они не ошиблись. Потом они сказали, что узнали меня по тому, как я управлял шхуной.

Дикон словно не слышал Стейплера и продолжал приставать к скупщику жемчуга.

— Каким образом вы могли узнать по грохоту цепи, что подошел именно этот... как его там зовут?..— вызывающе спросил он.

— Тут очень много всего, что позволяет прийти к этому выводу,— ответил Питер Джи.— Не знаю даже, как вам это объяснить. Об этом можно написать целую книгу.

— Так я и думал,— ухмыльнулся Дикон.— Ничего нет проще, как дать объяснение, которое ничего не объясняет.

— Кто хочет партию в бридж?— прервал его Эдди Литл, помощник управляющего; он выжидательно смотрел на при-

сутствующих и уже начал тасовать карты.— Питер, вы будете играть, не правда ли?

— Если он сядет сейчас за бридж, значит, он просто болтун,— отрезал Дикон.— В конце концов мне надоел весь этот вздор. Мистер Джи, вы весьма обяжете меня и поддержите свою репутацию честного человека, если объясните, каким образом вы узнали, чей корабль отдал сейчас якорь. А потом мы сыграем с вами в пикет.

— Я предпочел бы бридж,— ответил Питер.— Что же касается вашего вопроса, то дело, в общем, обстоит так: по звуку якорной цепи я определяю, что это небольшое судно, без прямых парусов. Не было слышно ни гудка, ни сирены — опять-таки небольшое судно. Оно подошло чуть не к самому берегу. Еще одно указание на то, что это небольшое судно, ибо пароходы и большие парусники отдают якорь, не доходя до мели. Далее, вход в бухту очень извилист, и ни один капитан на всем архипелаге, будь он с вербовочного или торгового судна, не отважится войти в бухту после наступления темноты. И тем более, если он не местный. Правда, есть два исключения. Одно из них — Маргонвилл, но его казнили по приговору верховного суда на Фиджи. Остается Дэвид Гриф. Он заходит в бухту днем и ночью, в любую погоду. Все это знают. Если бы Гриф был сейчас где-нибудь далеко, мы могли бы предположить, что это какой-нибудь отчаянный молодой шкипер. Но, во-первых, о таком шкипере нам ничего не известно. Но, во-вторых, Гриф плавает сейчас в этих водах на «Гунге» и скоро отправится на Каро-Каро. Позавчера я был на «Гунге» в проливе Сэндфлай и разговаривал с ним. Он привез на новую факторию торгового агента. Гриф сказал, что сначала он зайдет в Бабо, а потом прибудет на Гобото. Ему давно пора быть здесь. Я слышал, как отдали якорь. Кому же еще быть, как не Дэвиду Грифу? Командует «Гунгой» капитан Доновен, и я знаю, что он не подойдет к Гобото в темноте, когда на судне нет хозяина. Вот увидите, не пройдет и нескольких минут, как в дверях появится Дэвид Гриф и скажет: «В Гувуту пьют даже в промежутках между выпивками». Держу пари на пятьдесят фунтов, что сейчас войдет именно он и скажет: «В Гувуту пьют даже в промежутках между выпивками».

На миг Дикон был сокрушен. От гнева кровь бросилась ему в лицо.

— Отлично! Он ответил вам.— Мак-Мёртрей добродушно рассмеялся.— И я сам поддерживаю пари на пару соверенов.

— Кто хочет сыграть в бридж? — нетерпеливо крикнул Эдди Литл.— Питер, идите сюда!

— Вы играйте в бридж, а мы перекинемся в пикет,— заявил Дикон.

— Я предпочитаю бридж,— мягко возразил Питер Джи.

— Вы не играете в пикет?

Скупщик жемчуга кивнул.

— Тогда начнем! И, может быть, я докажу вам, что в пикете смыслю больше, чем в якорях.

— Но позвольте...— начал было Мак-Мёртрей.

— Вы можете играть в бридж,— перебил его Дикон,— а мы предпочитаем пикет.

Питер Джи сел за игру очень неохотно; он словно чувствовал, что она могла плохо кончиться.

— Только один роббер,— сказал он, снимая колоду перед сдачей.

— По сколько будем играть?— спросил Дикон.

Питер Джи пожал плечами.

— По сколько хотите.

— Сто на кон— пять фунтов партия?

Питер Джи согласился.

— При недоборе больше чем наполовину, конечно, десять фунтов?

— Хорошо,— сказал Питер Джи.

Четверо сели за другой стол играть в бридж. Капитан Стейплер в карты не играл и время от времени наполнял шотландским виски высокие стаканы, что стояли справа у каждого игрока. Мак-Мёртрей, плохо скрывая беспокойство, следил за тем, как шла игра в пикет. На его товарищей англичан тоже весьма неприятно действовало поведение австралийца, и они опасались какой-нибудь выходки с его стороны. Всем было ясно, что он ненавидит Питера Джи и в любой момент может затеять ссору.

— Надеюсь, что Питер проиграет,— тихо сказал Мак-Мёртрей.

— Едва ли, разве если карта совсем не пойдет,— ответил Эндрюс.— В пикет он играет как бог. Знаю по собственному опыту.

Питеру Джи явно везло, потому что Дикон все время бранился, то и дело наливая себе виски. Он проиграл первую партию и, судя по его отрывистым замечаниям, проигрывал вторую, когда дверь открылась и в комнату вошел Дэвид Грифф.

— В Гувуту пьют даже в промежутках между выпивками,— сказал он и пожал руку управляющему.— Здорово, Мак! Понимаешь, мой шкипер сидит в вельботе. У него есть шелковая рубашка, галстук и теннисные туфли, одним словом, все как

полагается, но он просит прислать ему пару брюк. Мои ему слишком малы, но ваши будут впору. Здорово, Эдди! Ну как твоя нгари-нгари? Джек, ты здоров? Просто чудеса! Никого не трясет лихорадка, и никто не пьян! — Гриф вздохнул. — Наверно, еще слишком рано. Здорово, Питер! Знаешь, через час, после того, как ты ушел в море, налетел шквал. Он захватил вас? Нам пришлось бросить второй якорь. — Пока Грифа знакомили с Диконом, Мак-Мёртрей велел мальчику-слуге отнести брюки, и, когда капитан Доновен вошел в комнату, он имел такой вид, какой и должен иметь белый человек — по крайней мере на Гобото.

Дикон проиграл вторую партию. Об этом возвестил новый взрыв брани. Питер Джи молча закурил сигарету.

— Что? Вы выиграли и хотите бросить игру? — свирепо спросил Дикон.

Гриф вопросительно поднял брови и взглянул на Мак-Мёртрея, который сердито нахмурился в ответ.

— Роббер окончен, — ответил Питер Джи.

— Роббер состоит из трех партий. Мне сдавать. Начали! Питер Джи уступил, и третья партия началась.

— Щенок, ему нужна плетка, — прошептал Мак-Мёртрей Грифу. — А ну, ребята, кончай игру! Я присмотрю за этим малым. Если он зайдет слишком далеко, я выкину его вон, и плевать я хотел на инструкции.

— Кто это? — спросил Гриф.

— Прибыл с последним пароходом. Компания распорядилась встретить его как можно лучше. Он хочет вложить деньги в плантацию. Компания предоставила ему кредит на десять тысяч фунтов. Он бредит «Австралией только для белых». Думает, что если у него белая кожа, а папаша был когда-то генеральным прокурором Британского содружества, значит, он может хамить. Вот и пристаёт к Питеру, а ведь вы знаете, что Питер — самый миролюбивый человек в мире. К черту Компанию! Я не обязан нянчить ее молокососов с банковскими билетами. Налейте себе, Гриф. Это негодяй, отъявленный негодяй.

— Может быть, он еще слишком молод? — заметил Гриф.

— Он просто не умеет пить. — Управляющий весь кипел гневом. — Если он поднимет на Питера руку, я его так отделаю, что век не забудет, паршивец этакий!

Питер Джи опустил доску, на которой записывал очки, и откинулся на спинку стула. Он выиграл третью партию. Питер посмотрел на Эдди и сказал:

— Теперь я могу играть с вами в бридж.

— Может быть, продолжим? — проворчал Дикон.

— Нет, я, право же, устал от этой игры,—сказал Питер Джи со свойственным ему спокойствием.

— Давайте сыграем еще партию,—настаивал Дикон.—Еще одну. Это же сущий разбой. Я проиграл пятнадцать фунтов. Либо проиграю вдвое больше, либо каждый останется при своих.

Мак-Мёртрей хотел было вмешаться, но Гриф остановил его взглядом.

— Если действительно в последний раз, то я согласен,—сказал Питер Джи, собирая карты.—Кажется, мне сдавать. Если я правильно понял, ставка — пятнадцать фунтов. Либо вы будете мне должны тридцать фунтов, либо мы в расчете.

— Вот именно! Либо ничья, либо я плачу вам тридцать фунтов.

— Что, попало? — заметил Гриф, пододвигая стул.

Остальные стояли или сидели вокруг стола, а Дикону опять не везло. Было очевидно, что он умеет играть и играет хорошо. К нему просто не шла карта. Но он не умел сохранять хладнокровие, когда проигрывал. Он так и сыпал грубыми, отвратительными ругательствами и все время нападал на невозмутимого Питера Джи. Когда Питер уже закончил игру, у Дикона не было даже пятидесяти очков. Он не произнес ни слова и злобно посмотрел на своего противника.

— Кажется, недобор,—сказал Гриф.

— Значит, проигрыш вдвойне,—заметил Питер Джи.

— Без вас знаю,—огрызнулся Дикон.—Я учил арифметику. И должен вам сорок пять фунтов. Забирайте!

И он грубо швырнул на стол девять пятифунтовых банкнот, что само по себе было оскорблением. Однако Питер Джи оставался невозмутим и даже виду не подал, что его это как-то задевает.

— Дуракам счастье, но скажу вам по чести, что в карты играть вы все-таки не умеете,—продолжал Дикон.—Я показал бы вам, что значит играть в карты.

Питер Джи усмехнулся и, кивая головой, молча сложил деньги.

— Есть одна маленькая игра, которую называют казино,—не знаю, слышали ли вы о ней,—совсем детская игра.

— Я видел, как в нее играют,—мягко ответил Питер Джи.

— Что такое? — рявкнул Дикон.—Уж не хотите ли вы сказать, что умеете в нее играть?

— О нет, ни в коем случае. Боюсь, для меня это слишком сложно.

— Отличнейшая игра казино,—непринужденно вмешался Гриф.— Я очень ее люблю.

Дикон не удостоил его даже взглядом.

— Я сыграю с вами по десять фунтов партия, до тридцати одного,—заявил Дикон.— И докажу вам, как мало вы смыслите в картах. Начнем. Где полная колода?

— Нет, благодарю вас,—ответил Питер Джи.— Меня ждут партнеры, мы будем играть в бридж.

— Да, да, идите к нам,—встребенулся Эдди Литл.— И давайте начнем.

— Испугались маленького казино!—издевался Дикон.— Может быть, ставка слишком высока? Ну, так будем играть на пенсы и фартинги, если вам угодно.

Поведение австралийца было оскорбительно для всех присутствующих. И Мак-Мёртрей не выдержал:

— Перестаньте, Дикон! Он же сказал, что не хочет играть. Оставьте его в покое.

Дикон свирепо повернулся к хозяину, но, прежде чем он успел разразиться ругательствами, вмешался Гриф.

— Мне бы хотелось сыграть с вами в казино,—сказал он.

— Что вы понимаете в казино?

— Совсем немного, но я с удовольствием поучусь.

— Сегодня я не даю уроков за пенсы.

— Прекрасно!—ответил Гриф.— Я согласен почти на любую ставку... конечно, в разумных пределах.

Дикон решил отделаться от этого назойливого человека одним ударом.

— Мы сыграем по сто фунтов за партию, если вас это устраивает.

Гриф выразил свой полнейший восторг.

— Чудесно! Великолепно! Давайте начнем. Вы мелочь считаете?

Дикон был ошарашен. Он никак не ожидал, что гоботский торговец примет его предложение.

— Так вы мелочь считаете?—повторил Гриф.

Между тем Эндрюс принес новую колоду и выбросил джокера.

— Конечно, нет,—ответил Дикон.— Так играют только пай-мальчики.

— Прекрасно,—согласился Гриф.— Я тоже не люблю играть, как пай-мальчики.

— Значит, не любите? Ну что ж, тогда я вам предложу одну вещь: будем играть по пятьсот фунтов партия.

И Дикон снова был ошарашен.

— Согласен,— сказал Гриф, начиная тасовать карты.— Сначала идет вся масть и пики, потом большое и малое казино и, наконец, тузы, по старшинству, как в бридже. Согласны?

— Да я вижу, вы здесь ребята не промах,— засмеялся Дикон, но смех его звучал неестественно.— Откуда я знаю, есть ли у вас деньги?

— А откуда я знаю, что они есть у вас? Мак, какой кредит может мне предоставить Компания?

— Такой, какой вам нужно.

— Вы лично гарантируете это? — спросил Дикон.

— Ну, конечно, гарантирую. И будьте спокойны, Компания учтет его вексель на гораздо большую сумму, чем ваш чек.

— Снимите,— сказал Гриф, кладя колоду карт перед Диконем на стол.

Недоверчиво глядя на лица присутствующих, Дикон нерешительно начал снимать. Помощники управляющего и капитаны ободряюще кивнули.

— Я никого из вас не знаю,— жаловался Дикон.— Как я могу быть уверен? Вексель — это еще не деньги.

Тогда Питер Джи достал из кармана бумажник и, попросив у Мак-Мёртрея авторучку, стал писать.

— Я еще ничего не купил,— сказал он,— значит, вся сумма лежит на моем счете. Гриф, я переведу ее на ваше имя. Здесь пятнадцать тысяч. Вот посмотрите.

Дикон перехватил чек, когда его передавали через стол, медленно прочитал и посмотрел на Мак-Мёртрея.

— Чек надежный?

— Вполне. Такой же надежный, как ваш. И вообще бумаги Компании всегда надежны.

Дикон снял колоду и тщательно перетасовал карты. Первым сдавал он. Но ему по-прежнему не везло, и он проиграл первую партию.

— Сыграем еще,— сказал он.— Мы не договорились, сколько партий будем играть, и вы не можете бросить игру, когда я проигрываю. Будем дерзать.

Гриф стасовал карты и протянул колоду Дикону, чтобы тот снял.

— Давайте играть на тысячу,— сказал Дикон, проиграв вторую партию. И когда ставка в тысячу фунтов была проиграна так же, как перед этим две по пятьсот, он предложил играть на две тысячи.

— Ведь это прогрессия,— предостерегающе заявил Мак-Мёртрей и тут же встретил ненавидящий взгляд Дикона.

Однако управляющий был настойчив.— Вы умный человек и не соглашайтесь на удвоение ставок.

— Кто здесь играет, вы или он? — злобно выкрикнул Дикон, потом, обращаясь к Грифу, сказал: — Я проиграл две тысячи. Будете играть на две тысячи?

Гриф кивнул в знак согласия, началась четвертая партия, и Дикон выиграл. Каждый понимал, что, постоянно удваивая ставки, он вел нечестную игру. Хотя Дикон проиграл три партии из четырех, он не потерял ни пенса. Прибегая к этой детской уловке и удваивая ставки при каждом проигрыше, он рано или поздно должен был полностью отыграться при первом же выигрыше.

Было видно, что он не прочь прекратить игру, но Гриф снова протянул ему колоду.

— Как? — закричал Дикон. — Вы еще хотите?

— Я же ничего не выиграл, — капризно, словно оправдываясь, пробормотал Гриф, начиная сдавать. — Играем, как сначала, по пятьсот фунтов?

До Дикона, очевидно, дошло, что он ведет себя недостойно, и он ответил:

— Нет, продолжим по тысяче. И потом игра до тридцати одного тянется очень долго. Почему бы нам не сыграть до двадцати одного, если для вас это не слишком быстро?

— Это будет чудесная быстрая игра, — согласился Гриф.

Дикон играл в прежней манере. Он проиграл две партии, удвоил ставку и опять вернул проигранное. Но Гриф был терпелив, хотя та же самая история повторилась на протяжении часа несколько раз. Наконец произошло то, чего он так долго ждал: Дикон проиграл подряд несколько партий. Он удвоил ставку до четырех тысяч, потом до восьми — и проиграл опять, тогда он предложил удвоить ставку до шестнадцати тысяч.

Гриф отрицательно покачал головой.

— Вы же не можете играть на такую сумму. Компания предоставила вам кредит только на десять тысяч.

— Значит, вы не дадите мне отыграться? — хрипло спросил Дикон. — Отобрали у меня восемь тысяч фунтов и бросаете карты? Надо дерзать!

Гриф, улыбаясь, покачал головой.

— Но это же грабеж, настоящий грабеж! — кричал Дикон. — Вы забрали мои деньги и не даете мне отыграться.

— Нет, вы ошибаетесь. Можете играть. У вас осталось еще две тысячи фунтов.

— Хорошо, мы сыграем на них, — прервал его Дикон. — Снимите.

Игра шла в полной тишине, которую прерывали лишь гневные выкрики и ругательства Дикона. Зрители молчаливо потягивали виски и снова наполняли стаканы.

Гриф не обращал внимания на своего беснующегося противника и играл очень сосредоточенно. В колоде было пятьдесят две карты, которые надо помнить, и он их помнил. Партия после последней сдачи была почти сыграна; Гриф бросил карты.

— Я кончил,— сказал он.— У меня двадцать семь.

— А если вы ошиблись?— угрожающе сказал Дикон; его лицо побледнело и вытянулось.

— Тогда я проиграл. Считайте.

Гриф пододвинул ему свои взятки, и Дикон начал пересчитывать их дрожащими пальцами. Потом он отодвинулся от стола, осушил стакан виски и огляделся: все смотрели на него с неприязнью.

— Кажется, со следующим пароходом мне надо ехать в Сидней,— сказал он, и впервые за весь день голос его прозвучал спокойно, без раздражения.

Впоследствии Гриф рассказывал:

— Если бы он начал хныкать или поднял гвалт, я бы ни за что не дал ему этого последнего шанса, но он вел себя, как подобает мужчине, и я не мог отказать ему в этом.

Дикон взглянул на часы, сделал вид, что зевает, и начал подниматься.

— Подождите,— сказал Гриф.— Может быть, вы еще хотите отыграться?

Дикон опустился на стул, хотел что-то сказать, но не мог, он только облизал пересохшие губы и кивнул головой.

— Утром капитан Доновен уходит на «Гунге» на Каро-Каро,— начал Гриф таким тоном, словно говорил о чем-то, совершенно не относящемся к делу.— Каро-Каро — это песчаная отмель посреди моря, на которой стоит несколько тысяч кокосовых пальм. Еще там растет панданус, но ни сладкий картофель, ни таро развести не удастся. На острове живут около восьмисот туземцев, король и два премьер-министра, причем только эти трое носят кое-какую одежду. Это забытая богом дыра, и раз в год я посылаю туда с Гобото шхуну. Питьева вода там, правда, солоновата на вкус, но старый Том Батлер пьет ее вот уже двенадцать лет и держится. Он там единственный белый. У него есть шлюпка и пятеро гребцов с островов Санта-Крус, которые — дай им только волю — немедленно бы сбежали или прикончили Тома. Потому-то их и послали на Каро-Каро. Оттуда не сбежишь. Ему посылают с плантаций са-

мых буйных. Там нет миссионеров. Двух учителей туземцы с Самоа забили насмерть палками, едва они сошли на берег.

Вы, конечно, удивлены, зачем я все это рассказываю. Наберитесь терпения. Так вот, завтра утром капитан Доновен отправится в свой ежегодный рейс на Каро-Каро. Том Батлер стар, ему уже трудно вести дела. Я предлагал ему вернуться в Австралию, но он не соглашается, говорит, что хочет умереть на Каро-Каро; так оно и будет через год-два. Старый чудак! Но теперь туда пора послать кого-нибудь помоложе, чтобы он заменил там Батлера. Как вам нравится эта работа? Вам пришлось бы пробыть там два года.

Подождите! Я еще не кончил.

Сегодня вы много говорили о том, что надо дерзать. А что дерзновенного в том, чтобы просаживать деньги, которые не стоили тебе ни капли пота? Проигранные вами десять тысяч достались вам от отца или какого-нибудь родственника, которому, наверно, пришлось немало попотеть, прежде чем он их заработал. Но если вы пробудете два года на Каро-Каро в качестве агента, это уже кое-что значит. Я ставлю десять тысяч фунтов, которые выиграл у вас, против вашего обязательства провести два года на Каро-Каро. Если вы проиграете, то поступаете ко мне на службу и завтра утром отправляетесь на остров. Вот это можно назвать настоящим дерзанием. Будете играть?

Дикон не мог выговорить ни слова. У него словно застрял комок в горле, и, беря карты, он только кивнул головой.

— Одну минуту, — сказал Гриф. — Я даже пойду вам навстречу. Если вы проиграете, то два года вашей жизни принадлежат мне — безо всякого жалованья, разумеется. И тем не менее я заплачу вам жалованье. Если вы будете хорошо работать, будете выполнять все правила и инструкции, то за два года заработаете у меня десять тысяч фунтов, по пять тысяч в год. Деньги будут депонированы на счет Компании и по истечении срока выплачены вам с процентами. Вас это устраивает?

— Даже больше, чем устраивает, — с трудом выдавил из себя Дикон. — Но вы же идете на явный убыток. Агент получает каких-нибудь десять — пятнадцать фунтов в месяц.

— Отнесем это за счет дерзания, — сказал Гриф, как бы давая понять, что говорить тут не о чем. — Но прежде чем начать, я набросаю для вас несколько жизненных правил. Вы будете их повторять вслух каждое утро в течение двух лет, если, конечно, проиграете. Они пойдут вам на пользу. Я уверен, что, когда вы их повторите на Каро-Каро семьсот тридцать раз, они навсегда врежутся в вашу память. Мак, дайте мне, пожалуйста, вашу ручку. Итак...

Несколько минут он что-то быстро писал, а потом начал читать вслух:

«Я должен раз и навсегда запомнить, что каждый человек достоин уважения, если только он не считает себя лучше других».

«Как бы я ни был пьян, я должен оставаться джентльменом. Джентльмен — это человек, который всегда вежлив. Примечание: лучше не напиваться пьяным».

«Играя с мужчинами в мужскую игру, я должен вести себя, как мужчина».

«Крепкое словцо, вовремя и к месту сказанное, облегчает душу. Частая ругань лишает ругательство смысла. Примечание: ругань не сделает карты хорошими, а ветер — попутным».

«Мужчине не разрешается забывать, что он мужчина. Такое разрешение не купишь даже за десять тысяч фунтов».

Когда Гриф начала читать, Дикон побледнел от гнева. Потом шея и лицо его стали медленно багроветь, и он сидел красный как рак.

— Вот и все,— сказал Гриф, складывая бумагу и бросая ее на середину стола.— Ну как, вы все еще хотите играть?

— Так мне и надо,— отрывисто пробормотал Дикон.— Я осел. Мистер Джи, независимо от того, выиграю я или проиграю, мне хотелось бы извиниться перед вами. Может быть, всему виной виски, я не знаю, но я осел, грубиян и хам.

Он протянул Питеру Джи руку, и тот радостно пожал ее.

— Послушайте, Гриф,— воскликнул Джи,— он, право же, парень что надо. Давай кончим это дело, выпьем на прощание и все забудем.

Гриф хотел было что-то возразить, но Дикон крикнул:

— Нет, я этого не допущу. Играть — так играть до конца. И если суждено Каро-Каро, пусть будет Каро-Каро. И хватит об этом.

— Правильно,— сказал Гриф, начиная тасовать колоду. И если он сделан из крепкого материала, Каро-Каро ему не повредит.

Игра была острая и упорная. Трижды они набирали равное количество взяток и не могли выйти на «мастях». Перед пятой и последней сдачей Дикону не хватало до выигрыша трех очков, а Грифу — четырех. Дикон мог выиграть на одних «мастях», и он играл на «мастях». Он больше не ворчал и не ругался и, надо сказать, играл отлично. Неожиданно он сбросил два черных туза и туза червей.

— Думаю, что вы можете назвать четыре мои карты? — сказал он, когда колода кончилась и он взял оставшиеся карты.

Гриф кивнул.

— Тогда назовите их.

— Валет пик, двойка пик, тройка червей и туз бубен.

Ни один мускул не дрогнул на лицах зрителей, которые стояли за Диконом и видели его карты. Гриф назвал карты правильно.

— Кажется, вы играете в казино лучше меня,— признал Дикон.— Я могу назвать только три ваших карты; у вас валет, туз и большое казино.

— Неверно. В колоде не пять тузов, а четыре. Вы сбросили трех, а четвертый у вас на руках.

— Клянусь Юпитером, вы правы. Я и правда трех сбросил. И все-таки я наберу на одних «мастях»... Это—все, что мне нужно.

— Я отдам вам малое казино...— Гриф замолчал, прикидывая взятки.— Да и туза тоже, а потом сыграю на «мастях» и кончу с большим казино. Играйте!

— «Мастей» больше нет, и я выиграл!— возликовал Дикон, когда взял последнюю взятку.— Я кончаю с малым казино и четырьмя тузами. На пиках и большом казино вы набираете только двадцать.

Гриф покачал головой.

— Боюсь, что вы ошибаетесь.

— Не может быть,— уверенно заявил Дикон.— Я считал каждую карту, какую сбрасывал. Это единственное, за что я спокоен. У меня двадцать шесть, и у вас двадцать шесть.

— Пересчитайте,— сказал Гриф.

Дрожащими пальцами, медленно и тщательно Дикон пересчитывал взятки. У него было двадцать пять. Он протянул руку к углу стола, взял написанные Грифом правила, сложил их и сунул в карман. Потом он допил свой стакан и встал. Капитан Доновен посмотрел на часы, зевнул и тоже поднялся.

— Вы на шхуну, капитан?— спросил Дикон.

— Да. В котором часу прислать за вами вельбот?

— Я иду сейчас с вами. По дороге захватим с «Билли» мой багаж. Утром я ходил на нем в Бабо.

Все пожелали Дикону удачи на Каро-Каро, и он с каждым попрощался за руку.

— А Том Батлер играет в карты?— спросил он Грифа.

— В солитер,— ответил тот.

— Тогда я научу его двойному солитеру.

Дикон повернулся к двери, где его ждал капитан Доновен, и со вздохом добавил:

— Думаю, он тоже обдерет меня, если играет, как вы, почтенные островитяне.

ЖЕМЧУТ ПАРЛЕЯ

I

Канак рулевой повернул штурвал, «Малахия» послушно стала носом к ветру и выпрямилась. Передние паруса вяло повисли; раздалось дробное пощелкивание концов троса о парус и скрип поспешно выбираемых талей; ветер снова наполнил паруса, шхуна накренилась и легла на другой галс. Хотя было еще раннее утро и дул свежий бриз, пятеро белых, расположившихся на юте, были одеты очень легко: Дэвид Гриф и его гость, англичанин Грегори Малхолл, — в пижамах и китайских туфлях на босу ногу, капитан и его помощник — в нижних рубашках и парусиновых штанах, а второй помощник капитана все еще держал рубашку в руках, не имея ни малейшего желания надеть ее. Пот выступил у него на лбу, и он жадно подставлял обнаженную грудь ветру, не приносящему прохлады.

— Экая духота, и ветер не помогает, — с досадой сказал он.

— Что там делается на западе, хотел бы я знать, — проворчал Гриф.

— Это ненадолго, — отозвался голландец Герман, помощник капитана. — Ветер и ночью все менялся: то так повернет, то этак.

— Что-то будет! Что-то будет! — мрачно произнес капитан Уорфилд, обеими руками разделяя надвое свою густую бороду и подставляя подбородок ветру в напрасной надежде освежиться. — Вот уже две недели погода какая-то шалая. Порядочного пассата три недели не было. Ничего понять нельзя. Вчера на закате барометр стал колебаться — и сейчас еще пляшет. Люди сведущие говорят, что это ровно ничего не значит. А только не нравится мне это! Действует на нервы, знаете. Вот так он плясал и в тот раз, когда пошел ко дну «Ланкастер». Я тогда был мальчишкой, но отлично помню. Новенькое суд-

но, четырехмачтовое, и обшивка стальная, а затонуло в первый же рейс. Капитан не перенес удара. Он сорок лет плавал на судах Компании, а после этого и года не протянул — истаял как свеча.

Несмотря на ветер и на ранний час, все задыхались от жары. Ветер только дразнил, не принося прохлады. Не будь он так насыщен влагой, можно было бы подумать, что он дует из Сахары. Не было ни пасмурно, ни туманно — ни намека на туман, и, однако, даль казалась расплывчатой, неясной. На небе не видно было облаков, но его заволокла густая мгла, и лучи солнца не могли пробиться сквозь нее.

— Приготовиться к повороту! — спокойно, внушительно распорядился капитан Уорфилд.

Темнокожие матросы канаки в одних коротких штанах стали к шкотам; все их движения были плавны, но быстры.

— Руль на ветер! На борт!

Рулевой мгновенно перебрал ручки штурвала, и «Малахини» изящным, стремительным движением переменила галс.

— Да она просто чудо! — воскликнул Малхолл. — Не знал я, что в Южных морях купцы ходят на яхтах.

— Она была построена в Глостере как рыбацье судно, — пояснил Гриф, — а у глостерских судов и корпус, и оснастка, и ход такой, что никакой яхте не уступят.

— А ведь устье лагуны перед вами, почему же вы не входите? — критически заметил англичанин.

— Попробуйте, капитан Уорфилд, — предложил Гриф. — Покажите гостю, что значит входить в лагуну при сильном отливе.

— Круче к ветру! — отдал команду капитан.

— Есть круче к ветру! — повторил канак, слегка поворачивая штурвал.

«Малахини» направилась к узкому проходу в лагуну длинного и узкого атолла своеобразной овальной формы. Казалось, он возник из трех атоллов, которые некогда сомкнулись и срослись в один. На песчаном кольце атолла местами росли кокосовые пальмы, но там, где песчаный берег был слишком низок, пальмы не росли, и в просветах сверкала лагуна; вода в ней была как зеркало, едва подернутое рябью. Эта неправильной формы лагуна простиралась на много квадратных миль, и в часы отлива воды ее рвали в открытое море через единственный узкий проток. Так узок был проток и так силен напор устремлявшейся в него воды, что казалось — это не просто вход в лагуну, а стремнина бурной реки. Вода кипела, кружила, бурлила и рвалась вон из пролива крутыми, зубчатыми, увенчанными белой пеной валами. Удар за ударом наносили

«Малахини» эти вздымавшиеся ей навстречу валы, и каждый удар, точно стальным клином, сбивал ее с курса, отбрасывая в сторону. Она уже вошла в проход — и тут оказалась так прижатой к коралловому берегу, что пришлось сделать поворот. На новом галсе шхуна стала бортом к течению, и оно стремительно понесло ее в открытое море.

— Самое время запустить ваш новый дорогой мотор, — с добродушной насмешкой сказал Уорфилду Гриф.

Все знали, что этот мотор — слабость капитана Уорфилда. Капитан до тех пор преследовал Грифа мольбами и уговорами, пока тот не дал согласия на покупку.

— Он еще оправдывает себя, — возразил капитан. — Вот увидите. Он надежнее всякой страховки, а ведь сами знаете — судно плавающее на Паумоту, и страховать никто не берется.

Гриф указал назад, на маленький тендер, который тоже пробивался, борясь с течением, ко входу в лагуну.

— Держу пари на пять франков, что «Нухива» нас обгонит.

— Конечно, — согласился Уорфилд. — У нее относительно очень сильный мотор. Мы рядом с ней — прямо океанский парход, а у нас всего сорок лошадиных сил. У нее же — десять, и она летит, как птица. Она проскочила бы в самый ад, но такого течения и ей не одолеть. Сейчас его скорость верных десять узлов!

И со скоростью десяти узлов, швыряя и кидая «Малахини» то на один борт, то на другой, течение вынесло ее в открытое море.

— Через полчаса отлив кончится, тогда войдем, — сердито сказал капитан Уорфилд и прибавил, словно объясняя, чем недоволен: — Парлей не имел никакого права давать атоллу свое имя. На всех английских картах, да и на французских тоже этот атолл обозначен как Хикихохо. Его открыл Бугенвилл и оставил ему туземное название.

— Не все ли равно, как он называется? — сказал второй помощник, все еще медля надевать рубашку. — Главное — он перед нами, а на нем старик Парлей со своим жемчугом.

— А кто видел этот жемчуг? — спросил Герман, глядя то на одного, то на другого.

— О нем все знают, — ответил второй помощник и обернулся к рулевому: — Тай-Хотаури, расскажи-ка нам про жемчуг старика Парлея.

Польщенный канак, немного сконфуженный общим вниманием, перехватил ручки штурвала.

— Мой брат нырял для Парлея три, нет, четыре месяца. Он много рассказывал про жемчуг. Хикихохо — место хорошее, тут много жемчуга.

— А перекупщики, как ни добивались, не получили у старика ни единой жемчужины, — вставил капитан.

— Говорят, когда он отправился на Таити встречать Арманду, он вез для нее полную шляпу жемчуга, — продолжал второй помощник. — Это было пятнадцать лет назад, с тех пор у него немало прибавилось. Он и перламутр собирал. Все видели его склады раковин — сотни тонн. Говорят, из лагуны взято все дочиста. Может быть, поэтому он и объявил аукцион.

— Если старик и правда надумал продавать, это будет самая большая годовая распродажа жемчуга на Паумоту, — сказал Гриф.

— Ничего не понимаю! — не выдержал Малхолл, как и все, измученный влажным, удушливым зноем. — В чем дело? Кто такой этот старик? И что у него за жемчуг? Почему вы говорите загадками?

— Старик Парлей — хозяин Хикихохо, — ответил второй помощник капитана. — У него огромное состояние в жемчуге, он собирал его долгие годы, а недавно объявил, что хочет распродать весь свой запас; на завтра назначен аукцион. Видите, сколько мачт торчит над лагуной.

— По-моему, восемь, — подсчитал Герман.

— Что делать восьми шхунам в такой богом забытой дыре? — продолжал второй помощник. — Тут и для одной шхуны не наберется за весь год полного груза копры. Это они на аукцион явились, как и мы. Вот и «Нухива» поэтому за нами гонится, хотя какой уж она покупатель! На ней плавает Нарий Эринг, он и владелец и шкипер. Он сын английского еврея и туземки, и у него только и есть за душой, что нахальство, долги да неоплаченные счета за виски. По этой части он гений. Он столько должен, что в Папее все торговцы до единого заинтересованы в его благополучии. Они в лепешку расшибутся, чтобы дать ему заработать. У них другого выхода нет, а ему это на руку. Вот я никому ничего не должен, а что толку? Если я заболею и свалюсь вон тут на берегу, никто и пальцем не шевельнет: пусть и подохну, они не в убытке. Другое дело Нарий Эринг, для него они на все готовы. Если он свалится больной, для него ничего не пожалеют. Слишком много денег в него вложено, чтоб оставить его на произвол судьбы. Его возьмут в дом и будут ходить за ним, как за родным братом. Нет, знаете, честно платить по счетам совсем не так выгодно, как говорят!

— При чем тут этот Нарий? — нетерпеливо сказал англичанин и, обращаясь к Грифу, попросил: — Объясните мне все по порядку. Что это за басни о жемчуге?

— Если что забуду, подскажите, — предупредил Гриф остальных и начал рассказывать: — Старик Парлей — большой чудака. Я с ним давно знаком и думаю, что он немного не в своем уме. Так вот, слушайте. Парлей чистокровный француз, даже парижанин, это он мне сам сказал, у него и выговор настоящий парижский. Приехал он сюда давным-давно, занялся торговлей и всякими делами и таким образом попал на Хикихохо. Приехал торговать, когда здесь процветала меновая торговля. На Хикихохо было около сотни жителей, нищих туземцев. Он женился на их королеве по туземному обряду. И когда королева умерла, все ее владения перешли к нему. Потом разразилась эпидемия кори, после которой уцелело не больше десятка туземцев.

Парлей, как король, кормил их, а они на него работали. Надо вам сказать, что незадолго до смерти королева родила дочь Арманду. Когда девочке исполнилось три года, Парлей отослал ее в монастырь в Папезте, а семи или восьми лет отправил во Францию. Можете догадаться, что из этого вышло. Единственной дочери короля и капиталиста с островов Паумоту подобало воспитываться лишь в самом лучшем, самом аристократическом монастыре. Вы ведь знаете, в доброй старой Франции не существует расовых барьеров. Арманду воспитывали как принцессу, да она и чувствовала себя принцессой. Притом она считала себя настоящей белой и даже не подозревала, что с ее происхождением что-то неладно.

И вот разыгралась трагедия. Старик Парлей всегда был со странностями, к тому же он слишком долго жил на Хикихохо неограниченным владыкой — и под конец вообразил, будто он и в самом деле король, а его дочь — принцесса. Когда Арманде исполнилось восемнадцать лет, он выписал ее к себе. Денег у него было хоть пруд пруди, как говорится. Он построил огромный дом на Хикихохо, а в Папезте — богатое бунгало. Арманда должна была приехать почтовым пароходом, шедшим из Новой Зеландии, и старик на своей шхуне отправился встречать ее в Папезте. Возможно, все обошлось бы благополучно, назло всем спесивым индюшкам и тупым осликам, задающим тон в Папезте, но тут вмешался ураган. Это ведь было, кажется, в тот год, когда затопило Ману-Хухи, верно? Там еще утонуло больше тысячи жителей?

Все подтвердили, а капитан Уорфилд прибавил:

— Я плавал тогда на «Сороке». Нас выбросило на сушу — шхуну со всей командой и с коком. Занесло за четверть мили от берега в пальмовую рощу, у входа в Таохайскую бухту. А считается, что это безопасная гавань.

— Так вот, — продолжал Гриф. — Этим самым ураганом подхватило и шхуну Парлея, и он явился в Папееде со всем своим жемчугом ровно на три недели позже, чем следовало. Его шхуну тоже выбросило на берег, и ему пришлось подвести под нее катки и проложить полозья, ее волокли посуху добрых полмили, прежде чем снова спустить на воду.

А тем временем Арманда ждала его в Папееде. Никто из местных жителей ни разу ее не навестил. Она сама, по французскому обычаю, явилась с визитом к губернатору и к портовому врачу. Они приняли ее, но их жен, конечно, не оказалось дома, и визита они ей не отдали. Ведь она была отверженная, она стояла вне общества, хотя и не подозревала об этом, — и вот столь деликатным образом ей дали это понять. Был тут еще некий беспутный молодой лейтенант с французского крейсера. Она покорила его сердце, но головы он не потерял. Можете себе представить, каким ударом было все это для молодой девушки, образованной, красивой, воспитанной, как подлинная аристократка, избалованной всем, что только можно было достать тогда за деньги во Франции. Нетрудно угадать конец. — Гриф пожал плечами. — В бунгало Парлея был слуга японец. Он видел это. Он рассказывал потом, что она проделала все, как настоящий самурай. Действовала не сгоряча, не в безумной жажде смерти, — взяла стилет, аккуратно приставила острие к груди и обеими руками неторопливо и уверенно вонзила его себе прямо в сердце.

И после этого приехал старик Парлей со своим жемчугом. Говорят, у него была жемчужина, которая стоила шестьдесят тысяч франков. Ее видел Питер Джи, он говорил мне, что сам давал за нее эти деньги. Старик совсем было сошел с ума. Два дня его держали в Колониальном клубе в смиренной рубашке...

— Дядя его жены, старик туземец, разрезал рубашку и освободил его, — прибавил второй помощник.

— И тогда Парлей начал буйствовать, — продолжал Гриф. — Всадил три пули в подлеца лейтенанта...

— Так что тот три месяца провалялся в судовом лазарете, — вставил капитан Уорфилд.

— Запустил бокалом вина в физиономию губернатору; дрался на дуэли с портовым врачом; избил слуг туземцев; устроил разгром в лазарете, сломал санитару два ребра

и ключицу и удрал. Кинулся напрямиком на свою шхуну, держа в каждой руке по револьверу и крича, что пусть, мол, начальник полиции со всеми своими жандармами попробует его арестовать,— и ушел на Хикихохо. Говорят, с тех пор он ни разу не покидал острова.

Второй помощник кивнул.

— Это было пятнадцать лет назад, и он с тех пор ни разу с места не двинулся.

— И собрал еще немало жемчуга,— сказал капитан.— Сумасшедший, просто сумасшедший. Меня от одной мысли о нем дрожь пробирает. Настоящий колдун.

— Кто-кто? — не понял Малхолл.

— Хозяин погоды. По крайней мере все туземцы в этом уверены. Вот спросите Таи-Хотаури. Эй, Таи-Хотаури! Как по-твоему, что старик Парлей делает с погодой?

— То, что делает дьявол,— был ответ.— Я знаю. Захочет бурю — накличет бурю. Захочет — совсем ветра не будет.

— Да, настоящий колдун,— сказал Малхолл.

— Этот жемчуг приносит несчастье,— вдруг объявил Таи-Хотаури, зловеще качая головой.— Парлей говорит — продаю. Приходит много шхун. Тогда Парлей сделает большой ураган, и всем будет конец. Увидите. Все здесь так говорят.

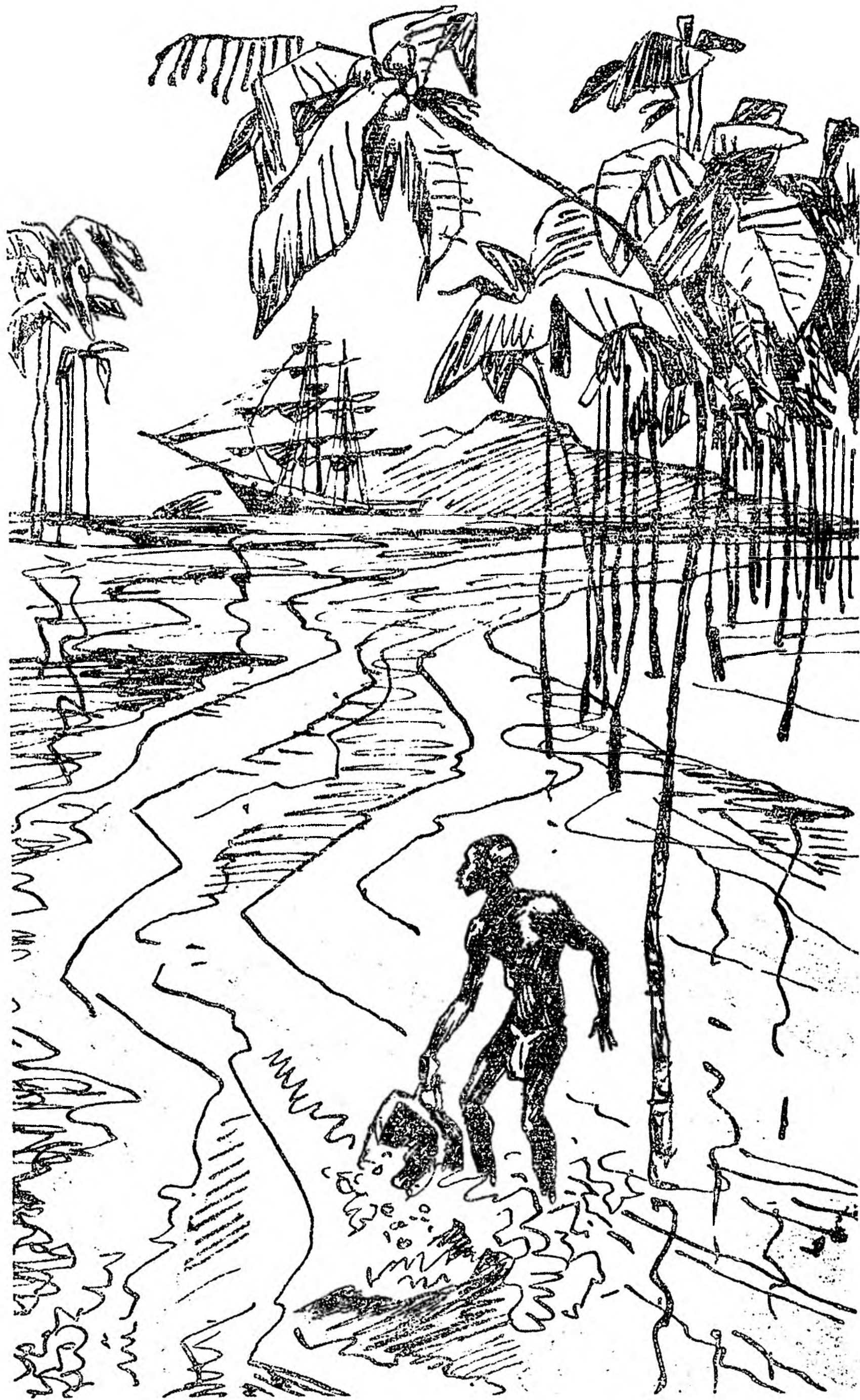
— Теперь самая пора ураганов,— невесело усмехнулся капитан Уорфилд.— Туземцы не так уж далеки от истины. Вот и сейчас что-то надвигается. Я бы предпочел, чтоб «Малахини» была за тысячу миль отсюда.

— Конечно, Парлей немного помешан,— закончил Гриф.— Я долго старался его понять. У него в голове все перепуталось. Восемнадцать лет вся жизнь для него была в одной Арманде. И теперь ему часто кажется, что она жива, но до сих пор не вернулась из Франции. Между прочим, ему еще и поэтому не хотелось расставаться со своим жемчугом. И он ненавидит белых. Он никогда не забывает, что они убили его дочь, хотя почти всегда забывает, что ее уже нет в живых... Вот те и на! Где же ваш ветер?

Паруса бессильно повисли у них над головой, и капитан Уорфилд с досадой выругался сквозь зубы. Жара и прежде была невыносимая, а теперь, когда ветер стих, стало совсем невтерпеж. По лицам людей струился пот, и то один, то другой, тяжело переводя дыхание, жадно ловил ртом воздух.

— Вот он, ветер.— И капитан на восемь румбов изменил направление.— Гика-шкоты перенести! Живо!

Канаки бросились выполнять команду капитана, и целых пять минут шхуна, преодолевая течение, шла прямо ко входу



в узкий пролив. Ветер снова упал, потом подул в прежнем направлении, и пришлось опять ставить паруса по-старому.

— А вот и «Нухива», — сказал Гриф. — Они пустили в ход мотор. Смотрите, как несется!

— Все готово? — спросил капитан у механика, португальца-метиса, который высунулся из маленького люка перед самой рубкой и утирал потное лицо комком промасленной пакли.

— Готово, — ответил механик.

— Ну, пускайте.

Механик скрылся в своей берлоге, и тотчас послышалось фыркание и шипение глушителя. Но шхуне не удалось удерживать первенства. Пока она продвигалась на два фута, маленький тендер успевал пройти три; он быстро настиг ее, а затем и обогнал. На палубе его были одни туземцы. Человек, управлявший тендером, насмешливо помахал рукой тем, кто был на «Малахини».

— Это и есть Нарий Эринг, — сказал Гриф Малхоллу. — Высокий у штурвала — видели? Самый отъявленный негодяй на всех островах Паумоту.

Пять минут спустя канаки — матросы «Малахини» подняли радостный крик, и все взгляды обратились на «Нухиву». Там что-то случилось с мотором, и теперь «Малахини» обходила ее. Канаки карабкались на ванты и осыпали насмешками остающихся позади соперников; тендер круто накренился под ветер, и течение сносило его назад в открытое море.

— Вот у нас мотор так мотор! — одобрительно сказал Гриф, когда перед ними раскрылась лагуна и «Малахини» переменила курс, готовясь стать на якорь.

Капитан Уорфилд, хотя и очень довольный, только буркнул в ответ:

— Будьте покойны, он окупится.

«Малахини» прошла в самую середину небольшой флотилии и наконец выбрала свободное место для стоянки.

— Вот и Айзекс на «Долли», — заметил Гриф и приветственно помахал рукой. — И Питер Джи на «Роберте». Когда объявлена такая распродажа жемчуга, разве он останется в стороне! А вот и Франчини на «Кактусе». Все скупщики собрались. Можете не сомневаться, старик Парлей возьмет хорошую цену.

— А они все еще не исправили мотор, — с торжеством сказал капитан Уорфилд.

Он смотрел туда, где за редкими стволами кокосовых пальм, окаймлявших лагуну, виднелись паруса «Нухивы».

Дом у Парлея был большой, двухэтажный, из калифорнийского леса и крыт оцинкованным железом. Он был несоразмерно велик для тонкого кольца атолла и торчал над узкой полоской песка, точно огромный нарост. Едва «Малахини» стала на якорь, прибывшие, как полагается, отправились на берег с визитом. Капитаны и скупщики с остальных судов уже собрались в большой комнате, где можно было осмотреть жемчуг, назначенный на завтра к продаже. Темнокожие слуги, они же родня хозяина — последние жители Хикихохо, — разносили виски и абсент. И среди этого своеобразного собрания, покашливая и посмеиваясь, расхаживал сам Парлей — жалкая развалина, в которой нельзя было узнать когда-то рослого и сильного человека. Глаза его ушли глубоко в орбиты и лихорадочно блестели, щеки ввалились. Он неровно, местами, оплешивел, усы и эспаньолка у него были тоже какие-то клочковатые.

— О господи! — пробормотал Малхолл. — Прямо долговзый Наполеон Третий! Но какой облезлый, высохший! Кожа да кости. До чего жалок! Неудивительно, что он держит голову набок, иначе ему на ногах не устоять.

— Будет шторм, — сказал старик Грифу вместо приветствия. — Вы, видно, очень уж равнодушны к жемчугу, если явились сюда сегодня.

— За таким жемчугом не жаль отправиться хоть к чертям в пекло, — со смехом ответил Гриф, оглядывая стол, на котором разложены были жемчужины.

— Кое-кто уже отправился туда, — проскрипел Парлей. — Вот посмотрите! — Он показал на великолепную жемчужину размером с небольшой грецкий орех, лежавшую отдельно на куске замши. — Мне за нее давали на Таити шестьдесят тысяч франков. А завтра, пожалуй, и больше дадут, если всех не унесет ураган. Так вот, эту жемчужину нашел мой родич, вернее, родич моей жены. Туземец. И притом вор. Он ее припрятал. А она была моя. Его двоюродный брат, который приходился и мне родней — мы тут все в родстве, — убил его, стащил жемчужину и удрал на катере в Ноо-Нау. Я снарядил погоню, но вождь племени Ноо-Нау убил его из-за этой жемчужины еще раньше, чем я туда добрался. Да, тут на столе немало мертвецов. Пейте, капитан. Ваше лицо мне незнакомо. Вы новичок на островах?

— Это капитан Робинсон с «Роберты», — сказал Гриф, знакомя их.

Тем временем Малхолл обменялся рукопожатием с Питером Джи.

— Я и не думал, что на свете столько жемчуга,— сказал Малхолл.

— Такого количества сразу и я не видывал,— признался Питер Джи.

— Сколько все это может стоить?

— Пятьдесят или шестьдесят тысяч фунтов — для нас, скупщиков. А в Париже...— Он пожал плечами и высоко поднял брови, не решаясь даже назвать сумму.

Малхолл вытер пот, стекавший на глаза. Да и все в комнате обливались потом и тяжело дышали. Льда не было, виски и абсент приходилось глотать теплыми.

— Да, да,— хихикая, твердил Парлей.— Много мертвецов лежит тут на столе. Я знаю свои жемчужины все наперечет. Посмотрите на эти три! Недурно подобраны, а? Их добыл для меня ловец с острова Пасхи — все три в одну неделю. А на следующей неделе сам стал добычей акулы: она отхватила ему руку, и заражение крови его доконало. Или вот эта, она крупная, но неправильной формы,— много ли в ней толку; хорошо, если мне дадут за нее завтра двадцать франков, а добыли ее на глубине в сто тридцать футов. Ловец был с Раратонга. Вот кто побил все водолазные рекорды. Он нашел ее на глубине в сто тридцать футов. Я видел, как он вынырнул. У него сделалось не то кровоизлияние в легкие, не то судороги — только через два часа он умер. И кричал же он перед смертью! На несколько миль было слышно. Такого силача туземца я больше не видывал. Человек шесть моих ловцов умерли от судорог. И еще много людей умрет, еще много, много умрет.

— Довольно вам каркать, Парлей,— не стерпел один из капитанов.— Шторма не будет.

— Будь я крепок, как когда-то, живо поднял бы якорь и убрался отсюда,— ответил хозяин старческим фальцетом.— Живо убрался бы, если б был крепок и силен и не потерял еще вкус к вину. Но вы останетесь. Вы все останетесь. Я бы и не советовал, если б думал, что выслушаетесь. Стервятников от падали не отгонишь. Выпейте еще по стаканчику, мои храбрые моряки. Ну-ну, чем только не рискуют люди ради нескольких соринков, выделенных устрицей! Вот они, красавицы! Аукцион завтра, точно в десять. Старик Парлей распродает свой жемчуг, и стервятники слетаются... А старик Парлей в свое время был крепче их всех и еще не одного из них похоронит.

— Экая скотина! — шепнул второй помощник с «Малахия» Питеру Джи.

— Да хоть и будет шторм, что из этого? — сказал капитан «Долли». — Хикихохо никогда еще не заливало.

— Тем вероятнее, что придет и его черед, — возразил Уорфилд. — Не доверяю я этому Хикихохо.

— Кто теперь каркает? — упрекнул его Гриф.

— Черт! Обидно будет потерять новый мотор, пока он не окупился, — пробурчал капитан Уорфилд.

Парлей с неожиданным проворством метнулся сквозь толпу к барометру, висевшему на стене.

— Взгляните-ка, мои храбрые моряки! — воскликнул он торжествующе.

Тот, кто стоял ближе всех, наклонился к барометру. Лицо его вытянулось.

— Упал на десять, — сказал он только, но на всех лицах отразилась тревога, и казалось, каждый готов сейчас же кинуться к выходу.

— Слушайте! — скомандовал Парлей.

Все смолкли, и издали донесся необычайно сильный шум прибоя: с грохотом и ревом он разбивался о коралловый берег.

— Большую волну развело, — сказал кто-то, и все бросились к окнам.

В просветы между пальмами виден был океан. Мерно и неторопливо, одна за другой, наступали на берег огромные ровные волны. Несколько минут все, кто был в комнате, тихо переговариваясь, смотрели на это необычайное зрелище, и с каждой минутой волны росли и поднимались все выше. Таким неестественным и жутким был этот волнующийся при полном безветрии океан, что люди невольно понизили голос. Все вздрогнули, когда раздалось отрывистое карканье старика Парлея:

— Вы еще успеете выйти в открытое море, храбрые джентльмены. У вас есть шлюпки, лагуну можно пройти на буксире.

— Ничего, — сказал Дарлинг, подшкипер с «Кактуса», дюжий молодец лет двадцати пяти. — Шторм идет стороной, к югу. На нас и не дунет.

Все вздохнули с облегчением. Возобновились разговоры, голоса стали громче. Некоторые скупщики даже вернулись к столу и вновь занялись осмотром жемчуга.

— Так, так! — пронзительно выкрикнул Парлей. — Пусть настанет конец света, вы все равно будете торговать.

— Завтра мы непременно купим все это, — подтвердил Айзекс.

— Да, только заключать сделки придется уже в аду.

Взрыв хохота был ответом старику, и это общее недоверие взбесило его. Вне себя он накинулся на Дарлинга:

— С каких пор таким молокососам стали известны пути шторма? И кем это, интересно знать, составлена карта направления ураганов на Паумоту? В каких книгах вы ее нашли? Я плавал в этих местах, когда самого старшего из вас еще и на свете не было, я знаю, что говорю. Двигаясь к востоку, ураганы описывают такую гигантскую, растянутую дугу, что получается почти прямая линия. А к западу они делают крутой поворот. Вспомните карту. Каким образом в девяносто первом во время урагана затопило Аури и Хиолау? Все дело в дуге, мой мальчик, в дуге! Через час-другой, самое большее через три, поднимется ветер. Вот, слушайте!

Раздался тяжелый, грохочущий удар, мощный толчок потряс коралловое основание атолла. Дом содрогнулся. Темнокожие слуги с бутылками виски и абсента в руках прижались друг к другу, словно искали защиты, и со страхом глядели в окна на громадную волну, которая обрушилась на берег и докатилась до одного из навесов для копры.

Парлей взглянул на барометр, фыркнул и искоса злорадно посмотрел на своих гостей. Капитан тоже подошел к барометру.

— Двадцать девять и семьдесят пять,— сказал он.— Еще на пять упал. О черт! Старик прав, надвигается шторм. Вы как хотите, а я возвращаюсь на «Малахини».

— И все темнеет,— понизив голос чуть не до шепота, произнес Айзекс.

— Черт побери, совсем как на сцене,— сказал Грифу Малхолл, взглянув на часы.— Десять утра, а темно, как в сумерки. Огни гаснут, сейчас начнется трагедия. Где же тихая музыка?

Словно в ответ, раздался грохот. Дом и весь атолл вновь содрогнулись от мощного толчка. В паническом страхе люди бросились к двери. В тусклом свете мертвенно-бледные, влажные от пота лица казались призрачными. Айзекс дышал тяжело, с хрипом, эта нестерпимая жара давила его.

— К чему такая спешка?— ехидно посмеиваясь, кричал им вдогонку Парлей.— Выпейте напоследок, храбрые джентльмены!

Никто его не слушал. Когда гости дорожкой, выложенной по краям раковинами, направились к берегу, старик высунулся из дверей и окликнул их:

— Не забудьте, джентльмены, завтра с десяти утра старик Парлей распродает свой жемчуг.

III

На берегу поднялась суматоха. Шлюпка за шлюпкой подбирала спешащих людей и тотчас отваливала. Тьма сгущалась. Ничто не нарушало тягостного затишья. Всякий раз, как волны извне обрушивались на берег, узкая полоса песка содрогалась под ногами. У самой воды лениво прогуливался Нарий Эринг. Он смотрел, как торопятся отплыть капитаны и скупщики, и ухмылялся. С ним были трое его матросов-канаков и Тай-Хотаури, рулевой с «Малахини».

— Лезь в шлюпку и берись за весло,— приказал капитан Уорфилд своему рулевому.

Тай-Хотаури с развязным видом подошел к капитану, а Нарий Эринг и его канаки остановились поодаль и смотрели.

— Я на тебя больше не работаю, шкипер!— громко и с вызовом сказал Тай-Хотаури. Но выражение его лица противоречило словам, так как он усиленно подмигивал Уорфилду.— Гони меня, шкипер,— хрипло прошептал он и снова многозначительно подмигнул.

Капитан Уорфилд понял намек и постарался сыграть свою роль как можно лучше. Он поднял кулак и возвысил голос:

— Пошел в шлюпку, или я из тебя дух вышибу!— загремел он.

Канак отступил и угрожающе пригнулся; Гриф стал между ними, стараясь успокоить капитана.

— Я иду служить на «Нухиву»,— сказал Тай-Хотаури, отходя к Эрингу и его матросам.

— Вернись сейчас же!— грозно крикнул вслед ему Уорфилд.

— Он ведь свободный человек, шкипер!— громко сказал Нарий Эринг.— Он прежде плавал со мной и ко мне возвращается, только и всего.

— Скорее, нам пора на шхуну,— торопил Гриф.— Смотрите, становится совсем темно.

Капитан Уорфилд сдался; но едва шлюпка отошла от берега, он, стоя на корме, выпрямился во весь рост и кулаком погрозил оставшимся.

— Я вам это припомню, Нарий!— крикнул он.— Никто из шкиперов, кроме вас, не сманивает чужих матросов.

Он сел на свое место.

— Что это у Тай-Хотаури на уме?— негромко, с недоумением сказал он.— Что-то он задумал, только не пойму, что именно.

Как только шлюпка подошла вплотную к «Малахини», через борт навстречу прибывшим перегнулся встревоженный Герман.

— Барометр летит вниз,— сообщил он.— Надо ждать урагана. Я распорядился отдать второй якорь с правого борта.

— Приготовьте и большой тоже,— приказал Уорфилд, возвращаясь к своим капитанским обязанностям.— А вы, кто-нибудь, поднимите шлюпку на палубу. Поставить ее вверх дном и принайтовать как следует!

На всех шхунах команда торопливо готовилась к шторму. Судно за судном подбирало грохотающие якорные цепи, поворачивалось и отдавало второй якорь. Там, где, как на «Малахини», был третий, запасной якорь, готовились отдать и его, когда определится направление ветра.

Мощный рев прибоя все нарастал, хотя лагуна по-прежнему лежала невозмутимо гладкая, как зеркало. На песчаном берегу, где стоял дом Парлея, все было пустынно и безжизненно. У навесов для лодок и для копры, у сараев, где складывали раковины, не видно было ни души.

— Я рад бы сейчас же поднять якоря и убраться отсюда,— сказал Гриф.— В открытом море я бы так и сделал. Но тут мы заперты: цепи атоллов тянутся и с севера и с востока. Пожалуй, надежнее всего остаться на месте. Как по-вашему, Уорфилд?

— Я с вами согласен, хотя лагуна в шторм и не так безопасна, как мельничная запруда. Хотел бы я знать, с какой стороны он налетит. Ого! Один склад Парлея уже готов!

Они увидели, как приподнялся и рухнул сарай, снесенный волною, которая, вскипая пеной, перекатилась через песчаный гребень атолла в лагуну.

— Перехлестывает!— воскликнул Малхолл.— И это — только начало. Вот опять!

Новая волна подбросила остов сарая и отхлынула, оставив его на песке. Третья разбила его и вместе с обломками понеслась по склону вниз, в лагуну.

— Уж скорей бы шторм. Может, хоть прохладнее станет,— проворчал Герман.— Совсем дышать нечем, настоящее пекло! Я изжарился, как в печке.

Ударом ножа он вскрыл кокосовый орех и с жадностью выпил сок. Остальные последовали его примеру, а в это время у них на глазах волной снесло и разбило в щепы еще один са-

рай Парлея, служивший складом раковин. Барометр упал еще ниже и показывал 29,50.

— Видно, мы оказались чуть не в самом центре низкого давления, — весело сказал Гриф. — Я еще ни разу не бывал в сердце урагана. Это и вам будет любопытно, Малхолл. Судя по тому, как быстро падает барометр, переделка нам предстоит нешуточная.

Капитан Уорфилд охнул, и все обернулись к нему. Он смотрел в бинокль на юго-восток, в дальний конец лагуны.

— Вот оно! — негромко сказал он.

Видно было и без бинокля. Странная, ровная пелена тумана стремительно надвигалась на них, скользя по лагуне. Приближаясь, она низко пригибала растущие вдоль атолла коксовые пальмы, несла тучу сорванных листьев. Вместе с ветром скользила по лагуне сплошная полоса потемневшей, взбаламученной воды. Впереди, точно застрельщики, мелькали такие же темные клочки, исхлестанные ветром. За этой темной полосой двигалась другая, зеркально гладкая и спокойная, шириною в четверть мили. Следом шла новая темная, взвихренная ветром полоса, а дальше вся лагуна белела пеной, кипела и бурлила.

— Что это за гладкая полоса? — спросил Малхолл.

— Штиль, — ответил Уорфилд.

— Но он движется с той же скоростью, что и ветер, — возразил Малхолл.

— А как же иначе? Если ветер нагонит его, так и штиля никакого не будет. Это двойной шквал. Когда-то я попал в такой на Савайи. Вот это был двойной! Бац! Он обрушился на нас, потом вдруг тишина, и потом снова ударило. Внимание! Сейчас нам достанется. Смотрите на «Роберту»!

«Роберту», стоявшую ближе всех бортом к ветру на ослабших якорных цепях, подхватило, как соломинку, и понесло, но цепи тотчас натянулись — и она, резко рванувшись, стала носом к ветру. Шхуна за шхуной, в том числе и «Малахини», срывались с места, подхваченные налетевшим шквалом, и разом останавливались на туго натянутых цепях. Когда якоря остановили «Малахини», толчок был так силен, что Малхолл и несколько канаков не удержались на ногах.

И вдруг ветра как не бывало. Летящая полоса штиля захватила их. Гриф чиркнул спичкой, и ничем не защищенный огонек спокойно, не мигая, разгорелся в недвижном воздухе. Было темно и хмуро, как в сумерки. Затянутое тучами небо, казалось, с каждым часом нависавшее все ниже, теперь словно прильнуло вплотную к океану.

Но вот на «Роберту» обрушился второй удар урагана, и она, а затем и остальные шхуны, одна за другой, вновь рванулись на якорях. Океан яростно кипел, весь в белой пене, в мелких и острых, сыплющих брызгами волнах. Палуба «Малахини» непрерывно дрожала под ногами. Туго натянутые фалы отбивали на мачтах барабанную дробь, и все снасти сотрясались, точно под неистовыми ударами чьей-то могучей руки. Стоя против ветра, невозможно было дышать. Малхолл, который в поисках убежища вместе с другими скорчился за рубкой, убедился в этом, нечаянно оказавшись лицом к ветру: легкие его мгновенно переполнились воздухом, и он чуть не задохся прежде, чем успел отвернуться и перевести дыхание.

— Невероятно! — с трудом произнес он, но его никто не слышал.

Герман и несколько канаков ползком, на четвереньках пробирались на бак, чтобы отдать третий якорь. Гриф тронул капитана Уорфилда за плечо и показал на «Роберту». Она надвигалась на них, волоча якоря. Уорфилд закричал в самое ухо Грифу:

— Мы тоже тащим якоря!

Гриф кинулся к штурвалу и, быстро положив руль на борт, заставил «Малахини» взять влево. Третий якорь удержался, и «Роберту» пронесло мимо, кормой вперед, на расстоянии каких-нибудь двенадцати ярдов. Гриф и его спутники помахали Питеру Джи и капитану Робинсону, которые вместе с матросами хлопотали на носу «Роберты».

— Питер решил расклепать цепи! — закричал Гриф. — Пробует выйти из лагуны! Ничего другого не остается, якоря ползут!

— А мы держимся! — крикнул в ответ Уорфилд. — Смотрите, «Кактус» налетел на «Мизи». Теперь им крышка!

До сих пор «Мизи» держалась, но «Кактус», налетев на нее всей тяжестью, сорвал ее с места, и теперь обе шхуны, сцепившись снастями, скользили по вспененным волнам. Видно было, как их команды рубят снасти, стараясь разъединить суда. «Роберта», освободившись от якорей и поставив кливер, направлялась к выходу в северо-западном конце лагуны. Ей удалось пройти его, и с «Малахини» видели, как она вышла в открытое море. Но «Мизи» и «Кактус» так и не сумели расцепиться, и их выбросило на берег в полумиле от выхода из атолла.

Бетер неуклонно крепчал, и казалось, этому не будет конца. Чтоб выдержать его напор, приходилось напрягать все силы, и тот, кто вынужден был ползти по палубе против ветра, в несколько минут доходил до полнейшего изнеможения.

Герман и канаки упрямо делали свое дело — крепили все, что только возможно было закрепить. Ветер рвал с плеч легкие рубашки и раздирал в клочья. Люди двигались так медленно, словно тела их весили много тонн; при этом они постоянно искали какой-нибудь опоры и не выпускали ее, не ухватившись сначала за что-нибудь другой рукой. Свободные концы тросов торчали горизонтально, и ветер, измочалив их, отрывал по клочку и уносил прочь.

Малхолл тронул за плечо тех, кто был рядом, и указал на берег. Крытые травой навесы исчезли, а дом Парлея шатался как пьяный. Ветер дул вдоль атолла, и поэтому дом был защищен вереницей кокосовых пальм, тянувшейся на несколько миль. Но громадные валы, перехлестывая через атолл, снова и снова бешено ударяли в стены, подтачивали и дробили фундамент. Дом уже накренился и сползал по песчаному склону; он был обречен. Там и тут люди взбирались на кокосовые пальмы и привязывали себя к дереву. Пальмы не раскачивались на ветру, но, согнувшись под его напором, уже не разгибались, а только дрожали, как натянутая струна. Под ними на песке вскипала белая пена.

Вдоль лагуны перекачивались теперь такие же громадные валы, как и в открытом море. Им было где разгуляться на протяжении десяти миль от наветренного края атолла до места стоянки судов, и все шхуны то глубоко ныряли, накрытые волной, то поднимались чуть ли не отвесно на ее гребне. «Малахини» стала зарываться носом до самого полубака, а в иные минуты палубу до поручней заливало водой.

— Пора пустить ваш мотор! — во все горло закричал Гриф, и капитан Уорфилд, ползком добравшись до механика, стал громко, решительно отдавать приказания.

Мотор заработал на полный ход вперед, и «Малахини» начала держаться лучше. Правда, она по-прежнему зарывалась носом, но уже не так яростно рвалась с якорей. Однако и теперь цепи были натянуты до отказа. С помощью мотора в срок лошадиных сил удалось лишь немного ослабить их натяжение.

А ветер все крепчал. Маленькой «Нухиве», стоявшей на якоре рядом с «Малахини», ближе к берегу, приходилось совсем плохо; притом ее мотор до сих пор не исправили, и капитана не было на борту. Она так часто и так глубоко зарывалась носом, что всякий раз, как ее захлестывало волной, на «Малахини» теряли надежду вновь ее увидеть. В три часа дня «Нухиву» накрыло волной; не успела вода схлынуть с палубы, как вдо-

гонку обрушился новый вал, и на этот раз «Нухива» уже не вынырнула.

Малхолл вопросительно взглянул на Грифа.

— Проломил люки! — прокричал тот в ответ.

Капитан Уорфилд показал на «Уинифрид» — маленькую шхуну, которая металась и ныряла по другую сторону от «Малахини», — и что-то закричал в самое ухо Грифу. Но до того доносились только смутные обрывки слов, остальное исчезало в реве урагана.

— Дрянная посудина... Якоря держат... Но как сама не рассыплется!.. Стара, как Ноев ковчег.

Часом позже Герман снова показал на «Уинифрид». Резкие рывки, сотрясавшие шхуну всякий раз, когда якорные цепи удерживали ее на месте, просто-напросто разнесли ее на куски; вся носовая часть вместе с фок-мачтой и битенгом исчезла. Шхуна повернулась бортом к волне, скатилась в провал между двумя валами, постепенно погружаясь передней частью в воду, — и так, почти опрокинутую, ее погнало ветром к берегу.

Теперь осталось только пять шхун, из них с мотором одна лишь «Малахини». Две из оставшихся, опасаясь, как бы и их не постигла участь «Нухивы» или «Уинифрид», последовали примеру «Роберты»: расклепали якорные цепи и понеслись к выходу из лагуны. Первой шла «Долли», но у нее сорвало кливер, и она разбилась на подветренном берегу атолла, неподалеку от «Мизи» и «Кактуса». Это не остановило «Мону», она тоже снялась с якорей и тоже разбилась, не достигнув устья лагуны.

— А хорош у нас мотор! — во все горло крикнул капитан Уорфилд Грифу.

Владелец шхуны крепко пожал ему руку.

— Мотор себя окупит! — закричал он в ответ. — Ветер заходит к югу, теперь нам станет легче!

Ветер по-прежнему дул со все нарастающей силой, но при этом постепенно менял направление, поворачивая к югу и юго-западу, так что наконец три оставшиеся шхуны стали под прямым углом к берегу. Ураган подхватил то, что осталось от дома Парлея, и швырнул в лагуну; обломки понесло на уцелевшие суда. Миновав «Малахини», вся эта груда рухнула на «Папару», стоявшую в четверти мили позади нее. Команда кинулась на бак и в четверть часа отчаянными усилиями свалила остатки дома за борт, но при этом «Папара» потеряла фок-мачту и бушприт.

Левее «Малахини» и ближе к берегу стояла «Тахаа», стройная, точно яхта, но с несоразмерно тяжелым рангоутом. Ее якоря еще держались, но капитан, видя, что ветер не ослабевает, приказал рубить мачты.

— С таким мотором нас можно поздравить! — крикнул Гриф своему шкиперу. — Нам, пожалуй, не придется рубить мачты.

Капитан Уорфилд с сомнением покачал головой.

Как только ветер переменился, улеглось и волнение в лагуне, зато теперь шхуну бросали то вверх, то вниз перехлестывающие через атолл валы океана. На берегу уцелели далеко не все пальмы. Одни были сломаны чуть не у самой земли, другие вырваны с корнем. На глазах у тех, кто был на борту «Малахини», под напором ветра ствол одной пальмы переломился посередине, и верхушку вместе с тремя людьми, уцепившимися за нее, швырнуло в лагуну. Двое, оставив дерево, поплыли к «Тахаа». Немного позже, перед тем, как совсем стемнело, один из них показался на корме шхуны, прыгнул за борт и поплыл к «Малахини», уверенно и сильно рассекая мелкие, острые, брызжущие пеной волны.

— Это Тай-Хотаури, — вглядевшись, определил Гриф. — Теперь мы узнаем все новости.

Канак ухватился за конец каната, вскарабкался на нос и пополз по палубе. Ему дали кое-как укрыться от ветра за рубкой и передохнуть; и потом, отрывочно, больше жестами, чем словами, он стал рассказывать:

— Нарий... разбойник, дьявол!.. хотел украсть жемчуг... убить Парлея... один человек убьет... никто не знает кто... Три канака, Нарий, я... пять бобов в шляпе... Нарий сказал, один боб черный... Нарий проклятый обманщик — все бобы черные... пять черных... в сарае темно... все вытащили черные... Подул большой ветер, надо спасаться... все влезли на деревья... Этот жемчуг приносит несчастье, я вам говорил... он приносит несчастье...

— Где Парлей? — крикнул Гриф.

— На дереве... с ним три канака... А Нарий с одним канаком на другом дереве... Мое дерево сломалось и полетело к чертям, а я поплыл на шхуну...

— Где жемчуг?

— На дереве, у Парлея. Может, он еще достанется Нарию...

Одному за другим Гриф прокричал на ухо спутникам то, что рассказал ему Тай-Хотаури. Больше всех возмутился капитан Уорфилд, он даже зубами заскрипел от ярости.

Герман спустился в трюм и вернулся с фонарем, но как

только подняли фонарь над рубкой, ветер задул его. Кое-как общими усилиями удалось наконец зажечь нактоузный фонарик.

— Ну и ночка! — закричал Гриф в самое ухо Малхоллу. — И ветер все крепчает!

— А какая скорость?

— Сто миль в час... а то и двести... не знаю... никогда ничего подобного не видел.

Волнение в лагуне тоже усиливалось, так как огромные валы все время перекатывались через атолл. За многие сотни миль ветер гнал воды океана обратно, навстречу отливу, преодолевая его и переполняя лагуну. А как только начался прилив, наступающие на атолл валы стали еще выше. Луна и ветер точно стоворились опрокинуть на Хикихохо весь Тихий океан.

В очередной раз заглянув в машинное отделение, капитан Уорфилд вернулся растерянный и сообщил, что механик лежит в обмороке.

— Нам нельзя остановить мотор, — прибавил он беспомощно.

— Ладно, — сказал Гриф. — Тащите механика на палубу. Я его сменю.

Люк, ведущий в машинное отделение, был задраен наглухо, и попасть туда можно было только из каюты, через тесный, узкий проход. В крохотном машинном отделении стояла нестерпимая жара и духота, воняло бензиновым перегаром. Гриф наскоро, опытным глазом, оглядел мотор и все снаряжение. Потом задул керосиновую лампу и начал работать в полной темноте; ему светил лишь кончик сигары, — он курил их одну за другой, всякий раз выходя в каюту, чтобы зажечь новую. Каким он ни был спокойным и уравновешенным, а вскоре и его нервы стали сдавать — так тяжело было оставаться здесь взаперти, вбоем с механическим чудовищем, которое надрывалось, пыхтело и стонало в этой гулкой тьме. Гриф был обнажен до пояса, перепачкан смазкой и машинным маслом, весь в ссадинах и синяках, потому что качкой его то и дело швыряло и бросало во все стороны; от спертости, отравленного воздуха кружилась голова; так он работал час за часом, без конца возился с мотором, осыпая его и каждую его часть в отдельности то благословениями, то проклятиями. Зажигание начало пошаливать. Горючее поступало с перебоями. И что хуже всего, начали перегреваться цилиндры. В каюте наскоро посоветовались, причем метис-механик просил и умолял на полчаса выключить мотор, чтобы дать ему хоть немного остыть и тем временем наладить подачу воды. А капитан Уорфилд твердил, что выключать ни в коем случае нельзя. Метис клялся, что тогда мотор выйдет из строя и все равно остано-

вится, но уже навсегда. Гриф, весь перепачканный, избитый, исцарапанный, сверкая воспаленными глазами и крича во все горло, выругал обоих и распорядился по-своему. Малхоллу, Герману и второму помощнику велено было оставаться в каюте и дважды и трижды профильтровать бензин. В настиле машинного отделения прорубили отверстие, и один из канаков стал раз за разом окатывать цилиндры водой из трюма, а Гриф поминутно смазывал все подвижные части.

— Вот не знал, что вы такой специалист по бензину, — с восхищением сказал капитан Уорфилд, когда Гриф вышел в каюту, чтобы глотнуть менее отравленного воздуха.

— Я купаюсь в бензине, — ответил тот, яростно скрипнув зубами. — Я пью его...

Какое еще употребление нашел Гриф для бензина, осталось неизвестным: внезапно «Малахини» круто зарылась носом в волну — и всех, кто находился в каюте, и бензин, который они процеживали, с размаху отбросило на переднюю переборку. Несколько минут никто не мог подняться на ноги, люди катались по палубе то взад, то вперед, их било и колотило о переборки. На шхуну обрушились один за другим три гигантских вала, она вся закрипела, застонала, затряслась под непосильным грузом переполнившейся палубы воды. Гриф пополз к мотору, а капитан Уорфилд, улучив минуту, выбрался по трапу на палубу.

Прошло добрых полчаса, прежде чем он вернулся.

— Вельбот снесло, — сообщил он. — И ялик! Все смыло, остались только палуба да люки! Если бы не мотор, тут бы нам и крышка. Действуйте дальше!

К полуночи голова и легкие механика настолько очистились от паров бензина, что он сменил Грифа, и тот наконец мог выйти на палубу и отдышаться. Он присоединился к остальным — они скорчились позади рубки, держась за все, за что только можно было ухватиться, и вдобавок для верности накрепко привязав себя веревками. Все смешалось в этой человеческой каше, потому что и для канаков не было другого укрытия. Некоторые из них по приглашению капитана сунулись было в каюту, но бензиновый угар скоро выгнал их отсюда. «Малахини» то и дело ныряла или ее окатывало волной, и люди вдыхали воздух, полный мельчайших брызг и водяной пыли.

— Тяжеленько приходится, а, Малхолл? — крикнул гостю Гриф в перерыве между двумя валами.

Малхолл, задыхаясь и кашляя, только кивнул в ответ.

Вода, скопившаяся на палубе, не успевала уходить за борт через шпигаты — она перекачивалась по шхуне, выплескивалась через фальшборт, и тут же «Малахини» черпала другим бортом или порою совсем оседала на корму, задрав нос в небо, и тогда водяная лавина проносилась по всему судну из конца в конец. Потоки воды хлестали по трапам, по палубе рубки, окатывали, били и сталкивали друг с другом укрывшихся здесь людей и водопадом выливались за корму.

Малхолл первый заметил при тусклом свете фонарика темную фигуру и показал на нее Грифу. Это был Нарий Эринг. Он каким-то чудом держался на палубе, скорчившись в три погибели, совершенно голый; на нем был только пояс, и за поясом — обнаженный нож.

Капитан Уорфилд развязал удерживавшие его веревки и перебрался через чужие плечи и спины. Свет фонарика упал на его искаженное гневом лицо. Губы его шевелились, но слова относилось ветром. Он не пожелал нагнуться к Эрингу и кричать ему в самое ухо. Он просто указал за борт. Нарий понял. Зубы его блеснули в дерзкой, глумливой усмешке, и он поднялся — рослый, мускулистый, великолепно сложенный.

— Это убийство! — крикнул Малхолл Грифу.

— Собирался же он убить старика Палея! — закричал в ответ Гриф.

На мгновение вода схлынула с юта, и «Малахини» выпрямилась. Нарий храбро шагнул к борту, но порыв ветра сбил его с ног. Тогда он пополз и скрылся в темноте, но все были уверены, что он прыгнул за борт. «Малахини» снова круто зарылась носом, а когда волна схлынула с кормы, Гриф дотянулся до Малхолла и крикнул тому в ухо:

— Ему это нипочем! Его на Таити зовут Человек-рыба! Переплывет лагуну, вылезет на другом краю атолла, если только от атолла хоть что-нибудь уцелело.

Через пять минут, когда шхуну снова накрыло волной, на палубу рубки, а с нее — на тех, кто укрывался за нею, свалился клубок человеческих тел. Их схватили и держали, пока не схлынула вода, а потом стащили вниз и тогда только разглядели, кто это. На полу, неподвижный, с закрытыми глазами, лежал навзничь старик Парлей. С ним были его родичи канаки. Все трое — голые и в крови. У одного канака рука висела, как плеть. У другого была содрана кожа на голове, и зияющая рана сильно кровоточила.

— Работа Нария? — спросил Малхолл.

Гриф покачал головой.

— Нет. Их расшибло о палубу и о рубку.

Вдруг все переглянулись, ошеломленные, недоумевающие. Что случилось? Не сразу они поняли, что ветра больше нет. Он прекратился внезапно, будто обрубленный взмахом меча. Шхуна раскачивалась, ныряла в волнах, рвалась с якорей, и только теперь стало слышно, как гремят и лязгают цепи. Впервые люди услышали и плеск воды на палубе. Механик отключил винт и приглушил мотор.

— Мы в мертвой точке циклона, — сказал Гриф. — Сейчас ветер изменит направление. Опять начнется, и еще покрепче. — И, поглядев на барометр, прибавил: — Двадцать девять и тридцать два.

Ему не сразу удалось понизить голос — он столько часов кряду старался перекрыть бурю, что теперь, в наступившем затишье, чуть не оглушил окружающих.

— У старика все ребра переломаны, — сказал второй помощник, ощупывая бок Парлея. — Он еще дышит, но дело его плохо.

Парлей застонал, бессильно шевельнул рукой и открыл глаза. Взгляд был ясный, осмысленный.

— Мои храбрые джентльмены, — услышали они прерывающийся шепот. — Не забудьте... аукцион... ровно в десять... в аду.

Веки его опустились, нижняя челюсть стала отвисать, но он на мгновение одолел предсмертную судорогу и в последний раз громко, насмешливо хихикнул.

Снова все демоны неба и океана сорвались с цепи. Прежний, уже знакомый рев урагана наполнил уши. «Малахини», подхваченная ветром, совсем легла на борт, с маху описав крутую дугу. Якоря удержали ее; она стала носом к ветру и рывком выпрямилась. Подключили винт, вновь заработал мотор.

— Норд-вест! — крикнул капитан Уорфилд вышедшему на палубу Грифу. — Сразу перескочил на восемь румбов!

— Теперь Эрингу не переплыть лагуну! — заметил Гриф.

— Тем хуже, черт опять принесет его к нам!

V

Как только центр циклона миновал их, барометр начал подниматься. В то же время ветер быстро слабел. И когда он стал всего лишь обыкновенным сильным штормом, мотор последним судорожным напряжением своих сорока лошадиных сил сорвался с фундамента, подскочил в воздух и тут же рухнул набок. Вода из трюма с шипением окатила его, и все окуталось облаком пара. Механик горестно засто-

нал, но Гриф с нежностью поглядел на эти железные останки и вышел в рубку, комьями пакли обтирая руки и грудь, перепачканные машинным маслом.

Солнце уже поднялось высоко, и дул легчайший ветерок, когда Гриф вышел на палубу, зашив рану на голове одного родича Парлея и вправив руку второму. «Малахини» стояла у самого берега. На баке Герман с командой выбирали якоря и приводили в порядок перепутавшиеся цепи. «Папара» и «Тахаа» исчезли, и капитан Уорфилд внимательно осматривал в бинокль дальний берег атолла.

— Ни одной мачты не видать,— сказал он.— Вот что получается, когда плаваешь без мотора. Должно быть, их унесло в открытое море еще до того, как ветер переменился.

На берегу, в том месте, где стоял прежде дом Парлея, не видно было никаких следов жилья. На протяжении трехсот ярдов, там, где океан ворвался в кольцо атолла, не сохранилось не только деревья, но и ни единого пня. Дальше кое-где одиноко стояли уцелевшие пальмы, но большинство было сломлено у самого корня, торчали лишь короткие обрубки. Тай-Хотаури заметил, что на одной из пальм среди листьев что-то шевелится. Шлюпки с «Малахини» смыло ураганом, и Тай-Хотаури бросился в воду и поплыл к берегу, затем вскарабкался на дерево. Оставшиеся на шхуне не спускали с него глаз.

Потом он вернулся, и ему помогли поднять на борт девушку туземку из числа домочадцев Парлея. Но, прежде чем подняться самой, она протянула наверх измятую, поломанную корзинку. В корзинке оказался выводок слепых котят — они были уже мертвы, кроме одного, который слабо попискивал и шатался на неловких, расползающихся лапках.

— Вот те на! — сказал Малхолл. — А это кто?

И все увидели, что берегом идет человек. Его движения были так беспечны и небрежны, словно он просто вышел поутру прогуляться. Капитан Уорфилд скрипнул зубами: это был Нарий Эринг.

— Эй, шкипер! — крикнул Нарий, поравнявшись с «Малахини». — Может, вы пригласите меня к себе и угостите завтраком?

Кровь бросилась в лицо Уорфилду, и даже шея его побатровела. Он хотел что-то сказать, но поперхнулся словами.

— Я вас... в два счета... — только и сумел он выговорить.

КУЛАУ-ПРОКАЖЕННЫЙ

— Оттого что мы больны, у нас отнимают свободу. Мы слушались закона. Мы никого не обижали. А нас хотят запереть в тюрьму. Молокаи — тюрьма. Вы это знаете. Вот Ниули, — его сестру семь лет как успали на Молокаи. С тех пор он ее не видел. И не увидит. Она останется на Молокаи до самой смерти. Она не хотела туда ехать. Ниули тоже этого не хотел. Это была воля белых людей, которые пражьят нашей страной. А кто они, эти белые люди?

Мы это знаем. Нам рассказывали о них отцы и деды. Они пришли смиренные, как ягнята, с ласковыми словами. Оно и понятно: ведь нас было много, мы были сильны, и все острова принадлежали нам. Да, они пришли с ласковыми словами. Они разговаривали с нами по-разному. Одни просили разрешить им, милостиво разрешить им проповедовать нам слово Божие. Другие просили разрешить им, милостиво разрешить им торговать с нами. Но это было только начало. А теперь они все забрали себе — все острова, всю землю, весь скот. Слуги господ бога и слуги господ рома действовали заодно и стали большими начальниками. Они живут, как цари, в домах о многих комнатах, и у них толпы слуг. У них ничего не было, а теперь они завладели всем. И если вы, или я, или другие канакки голодают, они смеются и говорят: «А ты работай. На то и плантации».

Кулау замолчал. Он поднял руку и скрюченными, узловатыми пальцами снял с черноволосой головы сверкающий бусенок из цветов мальвы. Лунный свет заливал ущелье серебром. Ночь дышала мирным покоем. Но те, кто слушал Кулау, казались воинами, пострадавшими в жестоком бою. Их лица напоминали львиные морды. У одного на месте носа зияла дыра, у другого с плеча свисала культешка — остаток сгнившей руки.

Их было тридцать человек, мужчин и женщин,— тридцать отверженных, ибо на них лежала печать зверя.

Они сидели, увенчанные цветами, в душистой, пронизанной светом мгле, выражая свое одобрение речи Кулау нечленораздельными хриплыми криками. Когда-то они были людьми, но теперь это были чудовища, изувеченные и обезображенные, словно их веками пытали в аду,— страшная карикатура на человека. Пальцы— у кого они еще сохранились— напоминали когти гарпий; лица были как неудавшиеся, забракованные слепки, которые какой-то сумасшедший бог, играя, разбил и расплющил в машине жизни. Кое у кого этот сумасшедший бог попросту стер половину лица, а у одной женщины жгучие слезы текли из черных впадин, в которых когда-то были глаза. Некоторые мучились и громко стонали от боли. Другие кашляли, и кашель их походил на треск рвущейся материи. Двое были идиотами, похожими на огромных обезьян, созданных так неудачно, что по сравнению с ними обезьяна показалась бы ангелом. Они кривлялись и бормотали что-то, освещенные луной, в венках из тяжелых золотистых цветов. Один из них, у которого раздувшееся ухо свисало до плеча, сорвал яркий оранжево-алый цветок и украсил им свое страшное ухо, колыхавшееся при каждом его движении.

И над этими существами Кулау был царем. А это захлебнувшееся цветами ущелье, зажатое между зубчатых скал и утесов, откуда доносилось блеяние диких коз, было его царством. С трех сторон поднимались мрачные стены, увешанные причудливыми занавесями из тропической зелени и чернеющие входами в пещеры— горные берлоги его подданных. С четвертой стороны долина обрывалась в глубочайшую пропасть, и там, вдалеке, виднелись вершины более низких гор и хребтов, у подножия которых гудел и пенился океанский прибой. В тихую погоду к каменистому берегу у входа в долину Калалау можно было подойти на лодке, но только в очень тихую погоду. И смелый горец мог проникнуть с берега в верхнюю часть долины, в зажатое скалами ущелье, где царствовал Кулау; но такой человек должен был обладать большой смелостью и к тому же знать еле видные глазу козы тропы. Казалось невероятным, что жалкие, беспомощные калеки, составлявшие племя Кулау, сумели пробраться по головокружительным тропинкам в это неприступное место.

— Братья,— начал Кулау.

Но тут один из косноязычных, обезьяноподобных уродов издал безумный, звериный крик, и Кулау замолчал, дожидаясь, когда отзвуки этого пронзительного вопля, перекатив-

шись между скалистыми стенами, замрут вдаль, в неподвижном ночном воздухе.

— Братья, неудивительно ли? Нашей была эта земля, а теперь она не наша. Что дали нам за нашу землю эти слуги господ бога и господа рома? Получили ли кто из вас за нее хоть доллар, хоть один доллар? А они стали хозяевами и теперь говорят нам, что мы можем работать на земле — на их земле, и что плоды наших трудов тоже достанутся им. В прежние дни нам не нужно было трудиться. И ко всему этому теперь, когда нас поразила болезнь, они отнимают у нас свободу.

— А кто принес нам эту болезнь, Кулау? — спросил сухопарый, жилистый Килолиана, который лицом так напоминал смеющегося фавна, что казалось, вместо ног у него должны быть копыта. Но это были не копыта, а ноги, только все в крупных язвах и лиловых пятнах гниения. А когда-то Килолиана смелее всех карабкался по горам и знал все козы топинки, он-то и привел Кулау и его несчастный народ в безопасные верховья Калалау.

— Это правильный вопрос, — ответил Кулау. — Оттого что мы не хотели работать на их сахарных плантациях, где раньше паслись наши кони, они привезли из-за моря рабов-китайцев. А с ними пришла китайская болезнь — та самая, которой мы болезем и за которую нас хотят заточить на Молокаи. Мы родились на Кауаи. Мы бывали и на других островах, кто где: на Оаху, Мауи, Гавайи, в Гонолулу. Но всегда мы возвращались на Кауаи. Почему мы возвращались? Как вы думаете? Потому что мы любим Кауаи. Мы здесь родились, здесь жили. И здесь мы умрем, если... если среди нас нет трусливых душ. Таких нам не нужно. Таким место на Молокаи. И если они есть среди нас, пускай уходят. Завтра на берег высадутся солдаты. Пусть трусливые души спустятся к ним. Их живо отправят на Молокаи. А мы, мы останемся и будем бороться. Но не бойтесь, мы не умрем. У нас есть винтовки. Вы ведь знаете, как узка тропа, двоим на ней не разойтись. Я, Кулау, который ловил когда-то диких быков на Ниихау, один могу защищать эту тропу от тысячи врагов. Вот Капалеи, он раньше был судьей над людьми, почтенным человеком, а теперь он — затравленная крыса, как и мы с вами. Он мудрый, послушайте его.

Капалеи поднялся. Когда-то он был судьей. Он учился в колледже в Пунахоу. Он сидел за одним столом с господами и начальниками и с высокими представителями иностранных держав, охраняющими интересы торговцев и миссионеров. Вот какой был Капалеи в прошлом. А сейчас, как и сказал Кулау, это была затравленная крыса, человек вне закона, прев-

ратившийся в нечто столь страшное, что он был теперь и ниже закона и выше его. Вместо носа и щек у него остались только черные ямы, глаза без век горели под голыми надбровными дугами.

— Мы не затеваем раздоров,— начал он.— Мы просим, чтобы нас оставили в покое. Но если они не оставляют нас в покое — значит, они и затевают раздоры и пусть понесут за это наказание. Вы видите, у меня нет пальцев.— Он поднял свои култышки, чтобы все могли их увидеть.— Но вот от этого большого пальца еще сохранился сустав, и я могу нажать им на спуск так же крепко, как в былые дни — указательным пальцем, которого нет. Мы любим Кауаи. Так давайте жить здесь или умрем здесь, но не пойдем в тюрьму на Молюкаи. Болезнь эта не наша. На нас нет греха. Слуги господа бога и слуги господа рома привезли сюда болезнь вместе с китайскими кули, которые работают на украденной у нас земле. Я был судьей. Я знаю закон и порядок. И я говорю вам: не разрешает закон украсть у человека землю, заразить его китайской болезнью, а потом заточить в тюрьму на всю жизнь.

— Жизнь коротка, и дни наши наполнены страданиями,— сказал Кулау.— Давайте петь и танцевать, и будем счастливы, как можем.

Из пещеры в скале принесли калабаши и пустили их вкруговую. Они были наполнены крепчайшей настойкой из корней растения ти; и когда жидкий огонь ударил этим людям в мозг и разлился по телу, они забыли все и снова стали людьми. В женщине, проливавшей жгучие слезы из пустых глазниц, проснулись прежние чувства, и она, перебирая струны своей гитары, запела любовную песню дикарки — песню, что родилась в темных лесных чащах первобытного мира. Воздух дрожал от ее голоса, властного и зовущего. На циновке, подчиняясь ритму песни, плясал Килолиана. Каждое его движение излучало любовь, и рядом с ним на циновке плясала женщина, чьи пышные бедра и высокая грудь странно не вязались с изъеденным болезнью лицом. То была пляска живых мертвецов, ибо в их разлагающихся телах еще таились и любовь и желания. Все громче звучала любовная песня женщины, проливавшей жгучие слезы из невидящих глаз, все упоеннее плясали танцоры пляску любви в теплой ночной тишине, все быстрее ходили по рукам калабаши, и упорным огнем тлели у всех в мозгу воспоминания и страсть.

Рядом с женщиной на циновке плясала тоженькая девушка; лицо у нее было красивое и чистое, но на скрюченных руках, поднимавшихся и падавших в пляске, болезнь уже оставила

свой разрушительный след. А оба идиота — страшная, отвратительная пародия на человека — плясали поодаль, бормоча и хрипя что-то невнятное, пародируя любовь.

Но вот любовная песня женщины оборвалась на полуслове, опустились на землю калабаши, и кончилась пляска. Взгляды всех устремились в пропасть, к морю, над которым в залитом луною воздухе призрачным огнем сверкнула ракета.

— Это солдаты, — сказал Кулау. — Завтра будет бой. Нужно подкрепиться сном и подготовиться.

Прокаженные повиновались и уползли в свои норы, и скоро Кулау остался один. Он сидел неподвижно в свете луны, положив на колени винтовку и глядя вниз на далекий берег, к которому приставали лодки.

Здесь, наверху, долина Калалау была надежным убежищем. Если не считать Килолианы, знавшего обходные тропы в отвесных стенах ущелья, никто не мог добраться сюда, кроме как по острому горному гребню. Гребень этот тянулся на сотню ярдов в длину; в ширину он был не больше двенадцати дюймов. По обе стороны его зияли пропасти. Стоило поскользнуться — и справа и слева человека ждала верная смерть. Но в конце пути перед ним открывался земной рай. Море зелени омывало ущелье, заливая его от стены до стены зелеными волнами, стекая со скалистых уступов обильными струями лоз и разбрызгивая по всем расщелинам пену папоротников и воздушных корней. Долгие месяцы Кулау и его подданные вели борьбу с этим морем растительности. Им удалось оттеснить буйные цветущие заросли, и теперь бананам, апельсинам и манговым деревьям стало свободнее. На небольших полянках рос дикий аррорут; на каменных террасах, покрытых слоем земли, они развели таро и дыни; и на всех открытых местах, куда проникало солнце, поднимались деревья папайя, стяженные золотыми плодами.

В это убежище Кулау ушел из низовьев долины, от моря. Если бы пришлось уходить и отсюда, у него были на примете другие ущелья, еще выше, среди громоздящихся горных вершин. И теперь он сидел, положив рядом с собою винтовку, и вглядывался сквозь завесу листвы в солдат на далеком берегу. Он разглядел, что они привезли с собой тяжелые пушки, отражавшие солнце, как зеркала. Прямо перед ним тянулся острый гребень. По тропинке, ведущей к нему снизу, ползли крошечные точки — люди. Кулау знал, что это не солдаты, а полиция. У этих ничего не выйдет, и вот тогда за дело возьмутся солдаты.

Он любовно провел искалеченной рукой по стволу винтовки и проверил прицел. Стрелять он научился давно, когда охотился на острове Ниихау, где до сих пор не забыли его меткой стрельбы.

По мере того как движущиеся точки приближались и увеличивались, Кулау определял дистанцию с поправкой на ветер, дувший сбоку, и учитывал возможность перелета по таким низко расположенным целям. Но стрелять он не стал. Он дал им добраться до начала острого гребня и только тогда обнаружил свое присутствие. Он спросил, не выходя из зарослей:

— Что вам нужно?

— Нам нужен Кулау-прокаженный,— ответил начальник стряда туземной полиции, голубоглазый американец.

— Уходите обратно,— сказал Кулау.

Он знал этого человека: это был шериф,— тот, кто не дал ему жить на Ниихау и прогнал его через весь Кауаи в долину Калалау, а оттуда вверх, в ущелье.

— Кто ты? — спросил шериф.

— Я Кулау-прокаженный,— послышалось в ответ.

— Тогда выходи. Ты нам нужен, живой или мертвый. Твоя голова оценена в тысячу долларов. Тебе не уйти.

Кулау громко рассмеялся в своем тайнике.

— Выходи! — скомандовал шериф, но ответом ему было молчание.

Он посоветовался с полицейскими, и Кулау понял, что они решили взять его штурмом.

— Кулау! — крикнул шериф. — Кулау, я иду к тебе.

— Тогда погляди сначала на солнце, и небо, и море, потому что больше ты их никогда не увидишь.

— Хорошо, хорошо, Кулау,— сказал шериф примирительным тоном. — Я знаю, что ты стреляешь без промаха. Но в меня ты не станешь стрелять. Я ничем тебя не обидел.

Кулау проворчал что-то.

— Право же,— настаивал шериф,— я ведь ничем тебя не обидел, разве не так?

— Ты обижаешь меня тем, что пытаешься засадить в тюрьму,— прозвучал ответ. — И ты обижаешь меня тем, что пытаешься получить за мою голову тысячу долларов. Если тебе дорога жизнь, стой на месте.

— Я должен до тебя добраться. Что поделаешь, это мой долг.

— Ты умрешь раньше, чем доберешься до меня.

Шериф был не трус, но тут он заколебался. Он посмотрел вниз, в пропасть, окинул взглядом острый, как нож, гребень и решился.

— Кулау! — крикнул он.

Заросли молчали.

— Кулау, не стреляй. Я иду.

Шериф повернулся к полицейским, отдал им какое-то приказание и пустился в свой опасный путь. Он шел медленно. Это напоминало ему ходьбу по канату. Кроме воздуха, ему не за что было ухватиться. Камни сыпались у него из-под ног и стремительно летели в пропасть. Солнце палило, и по лицу у него катился пот. Но он все шел и наконец достиг половины пути.

— Стой! — скомандовал Кулау из зарослей. — Еще шаг, и я стреляю.

Шериф остановился, покачиваясь над бездной, чтобы удержать равновесие. Он побледнел, но во взгляде его была решимость. Он облизал пересохшие губы и заговорил:

— Кулау, ты не убьешь меня. Я знаю, что не убьешь.

Он снова двинулся вперед. Пуля заставила его перевернуться волчком. Когда он падал, на лице его промелькнуло сердитое недоумение. Он успел подумать, что если упасть на острый гребень, то еще можно спастись, — но тут смерть настигла его. Секунда — и гребень был пуст. И тогда пятеро полицейских один за другим смело пустились бегом по острому гребню, а остальные тут же открыли огонь по зарослям. Это было безумие. Кулау нажимал курок так быстро, что пять выстрелов прогремели почти непрерывной очередью. Пригнувшись к самой земле от пуль, со свистом прорезавших кусты, он выглянул из зарослей. Четверо полицейских исчезли так же, как их начальник. Пятый, еще живой, лежал поперек гребня. На дальнем конце толпились остальные полицейские, уже переставшие стрелять. Положение их на этой голой скале было безнадежным: Кулау мог снять их всех до последнего, не дав им спуститься. Но он не стрелял. И после короткого совещания один из полицейских снял с себя белую рубашку и помахал ею, как флагом. Потом он, а за ним и другой пошли по гребню к раненому товарищу. Не выдавая себя ни одним движением, Кулау смотрел, как они медленно отступали и, спустившись вниз, в долину, снова превратились в темные точки.

Два часа спустя Кулау заметил из другого укрытия, что группа полицейских пробует подняться по противоположному склону долины. Дикie козы разбегались от них, а они лез-

ли все выше и выше. И наконец, не доверяя самому себе, Кулау послал за Килолианой.

— Нет, здесь им не пройти,— сказал Килолиана.

— А козы? — спросил Кулау.

— Козы пришли из соседней долины, а сюда им не попасть. Дороги нет. Эти люди не умнее коз. Они упадут и разобьются насмерть. Давай посмотрим.

— Они смелые,— сказал Кулау.— Давай посмотрим.

Лежа рядом на ковре из лиан, под свисающими сверху желтыми цветами хау, они смотрели, как крошечные человечки карабкаются вверх — и то, чего они ждали, случилось: трое полицейских оступились, упали и, докатившись до выступа, камнем полетели вниз.

Килолиана усмехнулся.

— Больше нас не будут тревожить,— сказал он.

— У них есть пушки,— возразил Кулау.— И солдаты еще не сказали своего слова.

Размороженные жарой, прокаженные спали в пещерах. Кулау тоже дремал у своего логовища, держа на коленях начищенную, заряженную винтовку. Девушка с искалеченными руками лежала в зарослях, наблюдая за острым гребнем. Вдруг Кулау вскочил, забыв про сон: на берегу раздался взрыв. В следующее мгновение воздух словно разодрало на части. Этот немислимый звук испугал его. Казалось, боги схватили небесный покров и рвут его, как женщины рвут на полосы ткань. Страшный звук быстро приближался. Кулау с опаской поднял глаза. И вот снаряд разорвался высоко в горах, и столб черного дыма вырос над ущельем. Утес дал трещину, и обломки полетели к его подножию.

Кулау провел рукой по взмокшему лбу. Он был потрясен. Он еще никогда не слышал орудийной стрельбы и даже не мог себе представить, как это страшно.

— Раз,— сказал Капалеи, решив почему-то вести счет выстрелам.

Второй и третий снаряды с визгом пролетели над ущельем и разорвались за ближним хребтом. Капалеи считал. Прокаженные высыпали на открытое место перед пещерами. Вначале стрельба испугала их, но снаряды перелетали через ущелье, и скоро они успокоились и стали любоваться новым для них зрелищем. Оба идиота визжали от восторга и принимались кривляться и прыгать всякий раз, как воздух раздирало снарядом. Кулау почти успокоился. Пушки не причиняли вреда. Наверно, такими большими снарядами и на таком расстоянии невозможно стрелять метко, как из винтовки.

Но вот что-то изменилось. Теперь снаряды не долетали до них. Один разорвался в зарослях у острого гребня. Кулау вспомнил про девушку, которая лежала на страже, и побежал туда. Кусты еще дымились, когда он заполз в чащу. Изумление охватило его. Ветки были поломаны, расщеплены. Там, где он оставил девушку, в земле была яма. Девушку разорвало в клочья. Снаряд попал прямо в нее.

Выглянув из кустов и убедившись, что на гребне нет солдат, Кулау пустился бегом обратно к пещерам. Снаряды летели над ним с воем, свистом, стоном, и вся долина гудела и сотрясалась от взрывов. Перед пещерами весело скакали оба идиота, вцепившись друг в друга полусгнившими пальцами. И вдруг Кулау увидел, как рядом с ними из земли поднялся столб черного дыма. Взрывом их отшвырнуло в разные стороны. Один лежал неподвижно, другой на руках пополз к пещере. Ноги его волочились по земле, из ран хлестала кровь. Он был весь в крови и скулил, как собачонка. Все остальные, кроме Капалеи, попрятались в пещеры.

— Семнадцать,— сказал Капалеи и тут же добавил:— Восемнадцать.

Восемнадцатый снаряд упал у самого входа в одну из пещер. Прокаженные высыпали на волю, но из этой пещеры никто не показывался. Кулау вполз в нее, задыхаясь от едкого вонючего дыма. На земле лежали четыре изуродованных трупа. Среди них была женщина с невидящими глазами, у которой только теперь иссыхали слезы.

Подданных Кулау охватила паника, и они уже двинулись по тропе, уводившей из ущелья вверх, в хаос вершин и обрывов. Раненый идиот, тихо подвывая, тащился по земле, стараясь поспеть за остальными. Но у самого начала подъема силы изменили ему, и он скорчился и затих.

— Его нужно убить,— сказал Кулау, обращаясь к Капалеи, который сидел там же, где раньше.

— Двадцать два,— ответил Капалеи.— Да, лучше убить его. Двадцать три... двадцать четыре.

Увидев направленное на него дуло, идиот громко вскрикнул. Кулау заколебался и опустил винтовку.

— Это не легко,— сказал он.

— Ты дурак. Двадцать шесть, двадцать семь,— сказал Капалеи.— Дай я тебя научу.

Он встал и, подняв с земли тяжелый камень, пошел к раненому. В ту минуту, когда он замахнулся, новый снаряд попал прямо в него, тем самым избавив его от необходимости действовать и подведя итог его счету.

Кулау остался один в ущелье. Он провожал глазами своих подданных, пока последние скрюченные фигуры не исчезли за выступом горы. Потом повернулся и пошел вниз, к зарослям, где убило девушку. Стрельба продолжалась, но он не уходил, так как заметил, что далеко внизу к подъему двинулись солдаты. Один снаряд разорвался в десяти шагах от него. Распластавшись на земле, Кулау слышал, как осколки пролетели над ним. Цветы хаупосыпались на него дождем. Он поднял голову, посмотрел на тропинку и вздохнул. Ему было очень страшно. Пули не смутили бы его, но орудийный огонь вселял в него ужас. При каждом выстреле он, дрожа, припадал к земле, но всякий раз опять поднимал голову и следил за тропинкой.

Наконец стрельба прекратилась. Верно, потому, решил он, что солдаты уже близко. Они ползли по тропинке гуськом, и он стал было считать их, но сбился со счета. Их было не меньше сотни, и все они пришли за ним — Кулау-прокаженным. На мгновение в нем вспыхнула гордость. С винтовками и пушками, с полицией и солдатами они идут за ним, а он — один, да еще больной, калека. За него, живого или мертвого, обещана тысяча долларов. Во всю свою жизнь он не имел столько денег. Это была горькая мысль. Капалеи сказали правду. Он, Кулау, никому не сделал зла. Просто белым людям нужны были рабочие руки на краденой земле, и они привезли китайских кули, а с ними пришла болезнь. И теперь, оттого что его заразили этой болезнью, он стоит тысячу долларов, но ему-то их не получить! Его труп, сгнивший от болезни или разорванный снарядом, — вот за что будут выплачены эти огромные деньги.

Когда солдаты добрались до острого гребня, Кулау хотел было предупредить их, но взгляд его упал на убитую девушку, и он смолчал. Когда на тропинке показался шестой солдат, он открыл огонь и стрелял до тех пор, пока тропинка не опустела. Он выпускал пули, снова заряжал винтовку и снова стрелял не переставая. Все старые обиды огнем горели у него в мозгу, им овладела ярость и жажда мщения. Растянувшись по всей тропе, солдаты тоже стреляли, и хотя они залегли, стараясь укрыться в неглубоких выемках, целиться по ним было легко. Пули свистели и ударялись вокруг Кулау, со звоном отскакивая от камней. Одна пуля царапнула его по черепу, другая обожгла лопатку, не оцарапав кожи.

Это было настоящее побоище, и учинил его один человек. Солдаты стали отступать, унося раненых. Снимая их выстрелами одного за другим, Кулау вдруг почуял запах горелого

мяса. Он огляделся по сторонам, потом понял, что это его пальцы горят от накалившейся винтовки. Проказа разрушила нервы рук. Мясо горело, и он слышал запах, а боли не чувствовал.

Он лежал в зарослях и улыбался, но вдруг вспомнил о пушках. Они, вероятно, замолчали ненадолго и теперь уже будут стрелять прямо по зарослям, откуда он вел огонь. Не успел он отодвинуться за выступ скалы, куда, по его наблюдениям, снаряды не попадали, как обстрел возобновился. Кулау считал: еще шестьдесят снарядов выпустили пушки по ущелью, а потом замолчали. Небольшая площадь была так изрыта воронками, что, казалось, ничего живого там не могло остаться. Солдаты так и ринулись и под палящими лучами полуполуденного солнца опять полезли вверх по тропе. И снова им не удалось пройти по гребню, и снова они отступили к морю.

Еще два дня Кулау удерживал тропу, хотя солдаты продолжали обстреливать его укрытие из пушек. На третий день на скалистой гряде, нависавшей над ущельем, появился один из прокаженных, мальчик Пахау, и прокричал ему, что Киюлиана, охотясь на коз, чтобы им всем не умереть с голода, упал и разбился и что женщины перепуганы и не знают, что делать. Кулау велел мальчику спуститься и, дав ему запасную винтовку, оставил его сторожить тропу, а сам поднялся к своим подданным. Они совсем пали духом. Большинство из них были слишком слабы, чтобы добывать себе пищу в таких тяжелых условиях, поэтому все они голодали. Кулау выбрал двух женщин и мужчину, у которых болезнь зашла еще не слишком далеко, и послал их в ущелье за едой и циновками. Остальных он постарался утешить и подбодрить, так что даже самые слабые стали помогать в постройке шалашей.

Но посланные за едой не вернулись, и Кулау пошел назад, в ущелье. Когда он появился над обрывом, одновременно щелкнуло пять-шесть затворов. Одна пуля пробила ему мякоть плеча, другая ударилась о скалу, и отлетевшим осколком ему порезало щеку. Он отпрянул назад, но успел заметить, что ущелье кишит солдатами. Его подданные предали его. Они не выдержали ужаса канонады и предпочли ей Молокаи — тюрьму.

Отступив на несколько шагов, Кулау снял с пояса тяжелую патронную сумку. Он залег среди скал и, когда над обрывом поднялась голова и плечи первого солдата, спустил курок. Так повторилось два раза, а потом, после паузы, из-за края обрыва вместо головы и плеч высунулся белый флаг.

— Что вам нужно? — спросил Кулау.

— Мне нужно тебя, если ты — Кулау-прокаженный, — раздался ответ.

Кулау забыл об опасности, забыл обо всем, — он лежал и дивился необычайному упорству этих хаоле — белых людей, которые добиваются своего, несмотря ни на что. Да, они добиваются своего, подчиняют себе все и вся, даже если это стоит им жизни. Он почувствовал восхищение этой их волей, которая сильнее жизни и покоряет все на свете. Он понял, что дело его безнадежно. С волей белого человека спорить нельзя. Убей он их тысячу, они все равно подымутся, как песок морской, и умножатся, и доконают его. Они никогда не признают себя побежденными. В этом их ошибка и их сила. У его народа этого нет. Теперь ему стало понятно, как ничтожная горсть посланцев господ бога и господ рома сумела поработить его землю. Это случилось потому...

— Ну, что же? Пойдешь ты со мной? — Это был голос невидимого человека, державшего белый флаг. Ну да, он настоящий хаоле, идет напролом к своей цели.

— Давай поговорим, — сказал Кулау.

Над обрывом поднялась голова и плечи, а потом и весь человек. Это был молоденький капитан с нежным лицом и голубыми глазами, стройный, подтянутый. Он двинулся вперед, потом, по знаку Кулау, остановился и сел шагах в пяти от него.

— Ты храбрый, — сказал Кулау задумчиво. — Я могу убить тебя как муху.

— Нет, не можешь, — ответил тот.

— Почему?

— Потому что ты — человек, Кулау, хоть и скверный. Я знаю твою историю. Убивать ты умеешь.

Кулау проворчал что-то, но в душе он был польщен.

— Что ты сделал с моими людьми? — спросил он. — Где мальчик, две женщины и мужчина?

— Они сдались нам. А теперь твоя очередь, — я пришел за тобой.

Кулау недоверчиво рассмеялся.

— Я свободный человек, — заявил он. — Я никого не обижал. Одного я прошу: чтобы меня оставили в покое. Я жил свободным и свободным умру. Я никогда не сдамся.

— Значит, твои люди умнее тебя, — сказал молодой капитан. — Смотри, вот они идут.

Кулау обернулся. Сверху двигалась страшная процессия: остатки его племени со вздохами и стонами тащились мимо него во всем своем жалком уродстве.

Но Кулау суждено было изведать еще большую горечь, ибо, поравнявшись с ним, они осыпали его оскорбительной бранью, а старуха, замыкавшая шествие, остановилась и, вытянув костлявую руку с когтями гарпии, оскалив зубы и трясая головой, прокляла его. Один за другим прокаженные перебирались через скалистую гряду и сдавались притаившимся в засаде солдатам.

— Теперь ты можешь идти, — сказал Кулау капитану. — Я никогда не сдамся. Это мое последнее слово. Прощай.

Капитан соскользнул вниз, к своим солдатам. В следующую минуту он поднял надетый на ножны шлем, и пуля, выпущенная Кулау, пробила его насквозь. До вечера они стреляли по нему с берега, и когда он ушел выше, в неприступные скалы, солдаты двинулись за ним следом.

Шесть недель гонялись они за Кулау среди острых вершин и по козым тропам. Когда он скрывался в зарослях лантаны, они расставляли цепи загонщиков и гнали его, как кролика, сквозь лантановые джунгли и кусты гуава. Но всякий раз он путал следы и ускользал от них. Настигнуть его не было возможности. Если преследователи наседали вплотную, Кулау пускал в дело винтовку, и они уносили своих раненых по горным тропинкам к морю. Случалось, что солдаты тоже стреляли, заметив, как мелькает в чаще его коричневое тело. Однажды они нагнали его впятером на открытом участке тропы и выпустили в него все заряды. Но он, хромая, ушел от них по краю головокружительной пропасти. Позже они нашли на земле пятна крови и поняли, что он ранен. Через шесть недель на него махнули рукой. Солдаты и полицейские возвратились в Гонолулу, предоставив ему долину Калалау в безраздельное пользование, хотя время от времени охотники-одиночки пытались изловить его... на свою же погибель.

Два года спустя Кулау в последний раз заполз в заросли и растянулся на земле среди листьев ти и цветов дикого имбиря. Свободным он прожил жизнь и свободным умирал. Стал накрапывать дождь, и он закрыл свои изуродованные ноги рваным одеялом. Тело его защищал клеенчатый плащ. Маузер он положил себе на грудь, заботливо стерев со ствола дождевые капли. На руке, вытиравшей винтовку, уже не было пальцев; он не мог бы теперь нажать на спуск.

Он закрыл глаза, слабость заливала тело, в голове стоял туман, и он понял, что конец его близок. Как дикий зверь, он заполз в чашу умирать. В полусознании, в бреде он возвращался мыслью к дням своей юности на Ниихау. Жизнь угасала, все тише стучал по листьям дождь, а ему казалось, что он

снова объезжает диких лошадей и строптивый двухлеток пляшет под ним и встает на дыбы; а вот он бешено мчится по корралю, и подручные конюхи разбегаются в стороны и переманивают через загородку. Минуту спустя, совсем не удивившись этой внезапной перемене, он гнался за дикими быками по горным пастбищам и, набросив на них лассо, вел их вниз, в долину. А в загоне, где клеймили скот, от пота и пыли ело глаза и щипало в носу.

Вся его здоровая, вольная молодость грезилась ему, пока острая боль наступающего конца не вернула его к действительности. Он поднял свои обезображенные руки и в изумлении посмотрел на них. Почему? Как? Как мог он, молодой, свободный, превратиться вот в это? Потом он вспомнил все и на мгновение снова стал Кулау-прокаженным. Веки его устало опустились, шум дождя затих. Томительная дрожь прошла по телу. Потом и это кончилось. Он приподнял голову, но сейчас же снова уронил ее на траву. Глаза его открылись и уже не закрывались больше. Последняя мысль его была о винтовке, и, обхватив ее беспальными руками, он крепко прижал ее к груди.

ПРОЩАЙ, ДЖЕК!

Странное место — Гавайи. В тамошнем обществе все, как говорится, шиворот-навыворот. Не то чтобы случилось что-нибудь неподобающее, нет. Скорее наоборот. Все даже слишком правильно. И тем не менее что-то в нем не так. Самым изысканным обществом считается миссионерский кружок. Любого неприятно удивит тот факт, что на Гавайях незаметные, готовые как будто в любую минуту принять мученический венец служители церкви важно восседают на почетном месте за столом у представителей денежной аристократии. Скромные выходцы из Новой Англии, которые еще в тридцатых годах минувшего столетия покинули свою родину, спешили сюда с возвышенной целью — принести канакам свет истинной веры и научить их почитать бога единого, всеправедного и вездесущего. И так усердно обращали они канаков и приобщали их к благам цивилизации, что ко второму или третьему поколению почти все туземцы вымерли. Евангельские семена упали на добрую почву. Что до миссионеров, то их сыновья и внуки тоже собрали неплохой урожай в виде полноправного владения самими островами: землей, бухтами, поселениями, сахарными плантациями. Проповедники, явившиеся сюда, чтобы дать дикарям хлеб насущный, недурно покутили на языческом пиру.

Я вовсе не собирался рассказывать о странных вещах, что творятся на Гавайях. Но дело в том, что только один человек может толковать о здешних событиях, не приплетая к разговору миссионеров: этот человек — Джек Керсдейл, тот самый, о котором я и хочу рассказать. Так вот, сам он тоже из миссионерского рода. Правда, со стороны бабки. А дед его был старый Бенджамен Керсдейл из Штатов, который начал сколачивать в молодости миллион, торгуя дешевым виски и джи-

ном. Вот вам еще одна странная штука. В былые времена миссионеры и торговцы считались заклятыми врагами. Интересы-то их сталкивались. А нынче их потомки переженились, поделили остров и отлично ладят друг с другом.

Жизнь на Гавайях, что песня! Об этом здорово сказал Стоддарт¹ в своих «Гавайях»:

Самой судьбы мелодии прелестной
Тут каждый островок — строфа.
И жизнь как песня!

Как он прав! Кожа здесь у людей золотистая. Туземки — юноны, спелые, как солнце, а мужчины бронзовые аполлоны. Нацепят украшения, венки из цветов — и ну петть да плясать. Да и белые, которые недолюбливают чопорную миссионерскую компанию, тоже поддаются расслабляющему влиянию солнечного климата и, как бы ни были заняты, тоже танцуют, поют и втыкают цветы в волосы. Джек Керсдейл из таких ребят. А надо сказать, самый деловой человек из тех, кого я знаю. Сколько у него миллионов, — не сочтешь! Сахарный король, владелец кофейных плантаций, первым начал добывать каучук, держит несколько скотоводческих ранчо, непременный участник чуть ли не всех предприятий, что замышляют тут, на островах. И в то же время — человек света, член клуба, яхтсмен, холостяк, к тому же такой красавец, какие не снились мамашам, имеющим дочек не выданье. Между прочим, он прошел курс в Иейле², так что голова у него была набита всякими цифрами и учеными сведениями о Гавайских островах больше, чем у любого здешнего жителя, каких я знаю. И работать умел что надо, и песни пел, и танцевал, и цветы в волосы втыкал, как заправский бездельник.

Характер у Джека был упорный: он дважды дрался на дуэли — оба раза по политическим мотивам, — будучи еще зеленым юнцом, который делал первые шажки в политике. Он сыграл самую достойную, пожалуй, и мужественную роль во время последней революции, когда скинули местную династию, а ведь ему тогда было едва ли больше шестнадцати. Он далеко не трус — я говорю об этом для того, чтобы вы лучше поняли случившееся потом. Довелось мне раз видеть, как он

¹ Стоддарт Чарлз Уоррен (1843—1909) — американский поэт и писатель, автор ряда книг о Гавайях и Таити. Стоддарт после 1903 года постоянно жил в Калифорнии, как и известный английский писатель Р. Л. Стивенсон (1850—1894). Стоддарт пытался выступать в защиту прав коренного населения Океании от посягательств колонизаторов.

² Иейл — один из старейших университетов в США.

объезжал на ранчо в Халеакала одного четырехлетнего жеребца, к которому два года не могли подступиться лучшие ковбои Фон Темпского. И еще об одном происшествии расскажу. Оно случилось в Конне, внизу, на побережье, вернее — наверху, потому что тамошние жители, видите ли, считают ниже своего достоинства селиться меньше чем на тысячефутовой высоте. Так вот, мы собрались на веранде у доктора Гудхью. Я болтал с Дотти Фэрчайлд. И вдруг со стропил прямо к ней на прическу упала огромная сороконожка — мы потом измерили: семь дюймов! Признаюсь, я остолбенел от ужаса. Рассудок не повиновался мне. Я не мог шевельнуть пальцем. Только представьте: в каком-нибудь шаге от вас в волосах собеседницы извивается такая отвратительная ядовитая гадина. Каждую секунду сороконожка могла скатиться на ее оголенные плечи — ведь мы только что поднялись из-за стола.

— В чем дело? — удивилась Дотти, поднимая руку к волосам.

— Не двигайтесь! — закричал я.

— Что случилось? — испуганно спрашивала она, видя, как дергаются у меня губы и глаза расширились от ужаса.

Мое восклицание привлекло внимание Керсдейла. Он посмотрел в нашу сторону, сразу все понял и быстро, но без лихорадочной поспешности подошел к нам.

— Не двигайтесь, Дотти, прошу вас! — сказал он спокойно.

Он не колебался ни секунды и действовал хладнокровно, расторопно.

— Позвольте, — проговорил он.

Он поднял ей на плечи шарф и одной рукой плотно держал концы, чтобы сороконожка не попала Дотти за корсаж. Другую руку, правую, он протянул к ее волосам, схватил омерзительную тварь насколько возможно ближе к голове и, крепко держа между большим и указательным пальцами, вытащил ее прочь. Не часто увидишь такое. Меня мороз по коже продирает. Сороконожка — семь дюймов шевелящихся конечностей — билась в воздухе, изгибалась, скручивалась, обвивалась вокруг пальцев, царапала Джеку кожу, стараясь вырваться. Я видел, как эта тварь даже укусила его, хотя, сбросив ее на землю и раздавив ногой, Джек принялся уверять дам, что дело обошлось без укусов. Но пять минут спустя он уже был в кабинете у доктора Гудхью, где тот сделал ему насечку и инъекцию перманганата. На другой день рука у Керсдейла вздулась, как пивной бочонок, и прошло три недели, прежде чем опухоль спала.

Все это не имеет в общем-то прямого отношения к моему рассказу, я лишь хотел показать, что Джек Керсдейл был кто угодно, но только не трус. Он являл лучший образец мужской выдержки. Никогда не выказывал боязни. Улыбка не сходила с его губ. Он запустил руку в волосы Дотти Фэрчайлд так беспечно, как будто в бочонок с соленым миндалем. И все же мне привелось наблюдать, как этот человек испытал такой дикий страх, который в тысячу раз сильнее того, что охватил меня, когда я увидел, как на голове Дотти Фэрчайлд шевелится ядовитая сороконожка, грозя вот-вот упасть на лицо и на грудь.

В ту пору я интересовался различными случаями проказы, а в этой области Керсдейл обладал поистине энциклопедическими знаниями — как, впрочем, и в любой другой, касающейся островов. Проказа была, что называется, его коньком. Он слыл ревностным защитником колонии на Молокаи, куда помещали всех заболевших. Среди туземцев ходили разговоры, раздуваемые всякими демагогами, насчет жестокостей на Молокаи, что, дескать, людей не только насильно отрывают от родных и друзей, но и принуждают жить в заключении до самой смерти. Попавший туда не мог будто бы надеяться ни на смягчение этого наказания, ни на отсрочку приговора. На воротах в колонию словно было написано: «Оставь надежду...»

— А я вам заявляю, что они там вполне счастливы, — настаивал Керсдейл. — Им куда лучше живется, чем их родственникам и друзьям, которые здоровы. Вся эта болтовня об ужасах на Молокаи — вздор! Побывайте в какой-нибудь больнице или в трущобах любого большого города, вы увидите вещи в тысячу раз страшнее. Живые мертвецы! Существа, которые когда-то были людьми! Какая глупость! Посмотрели бы вы, какие конные состязания устраивают эти живые мертвецы четвертого июля! У некоторых из них есть собственные лодки. Один имеет даже катерок. Им совсем нечего делать, кроме как весело проводить время. Еда, кров, одежда, медицинское обслуживание — все к их услугам. Они сами себе хозяева. И климат там гораздо лучше, чем в Гонолулу, и местность восхитительная. Я и сам не возражал бы насовсем поселиться там. Чудесное местечко!

Так Керсдейл представлял веселящегося прокаженного. Сам он не боялся проказы. Он утверждал, что для него или любого другого белого опасность заразиться проказой ничтожна, какой-нибудь один случай из миллиона, хотя признавался впоследствии, что его однокашник, Альфред Стартер, как-то умудрился заболеть, был отправлен на Молокаи и там умер.

— Дело в том, что прежде не умели точно ставить диагноз,— объяснил Керсдейл.— Какие-нибудь неизвестные симптомы или отклонение от нормы — и человека упекали на Молокаи. В результате туда были отправлены десятки таких же прокаженных, как мы с вами. Теперь ошибок не случается. Метод, которым пользуется Бюро здравоохранения, абсолютно надежен. Самое интересное: когда этот метод открыли, подвергли повторному исследованию всех, кто был на Молокаи, и обнаружили, что кое-кто совершенно здоров. Вы думаете, они были рады выбраться оттуда? Как бы не так! Покидая колонию, они рыдали так, как не рыдали, уезжая из Гонолулу. Иные наотрез отказались вернуться, их пришлось увезти силой. Один даже женился на женщине в последней стадии болезни и писал душераздирающие письма в Бюро здравоохранения, протестуя против высылки его из колонии на том основании, что никто не сможет так ухаживать за его старой больной женой, как он сам.

— И что это за метод? — спрашивал я.

— Бактериологический метод. Тут уж ошибка невозможна. Первым его применил здесь доктор Герви, наш лучший специалист. Он прямо кудесник. Знает о проказе больше, чем кто бы то ни было, и если когда-нибудь откроют средство от проказы, то это сделает он. А самый метод очень прост: удалось выделить и изучить *bacillus leproae*. Теперь эти бациллы узнают безошибочно.

Человека, у которого подозревают проказу, приглашают к врачу, срезают крохотный кусочек кожи и подвергают его бактериологическому исследованию. Видимых признаков нет, а тем не менее могут найти кучу этих самых бацилл.

— В таком случае и у нас с вами может быть куча бацилл? — спросил я.

Керсдейл пожал плечами и засмеялся..

— Разумеется! Инкубационный период длится семь лет. Если у вас есть какие-нибудь сомнения на этот счет, отправляйтесь к доктору Герви. Он срежет у вас кусочек кожи и мигом даст ответ.

Позже Джек Керсдейл познакомил меня с доктором Герви, который немедленно всучил мне стопку разных отчетов и брошюр по этому вопросу, выпущенных Бюро здравоохранения, и повез в Калихи, на приемный пункт, где подвергались исследованию подозреваемые, а тех, у кого обнаруживали проказу, задерживали для высылки на Молокаи. Отправляют туда приблизительно раз в месяц, и тогда, попрощавшись с

близкими, больные садятся на крошечный пароходик «Ноо», и их везут в колонию.

Однажды около полудня, когда я писал в клубе письма, ко мне подошел Джек Керсдейл.

— Вы-то мне и нужны! — сказал он вместо приветствия. — Я хочу показать вам самое грустное зрелище на Гавайях: отправку рыдающих прокаженных на Молокаи. Посадка начнется через несколько минут. Позвольте, однако, предупредить: не давайте воли своим чувствам. Горе их, конечно, безутешно, но, поверьте, они убивались бы сильнее, если бы Бюро здравоохранения вздумало через год вернуть их обратно. У нас как раз есть время пропустить стаканчик виски. Коляска ждет у подъезда. Мы за пять минут доберемся до пристани.

Мы отправились на пристань. Человек сорок несчастных сгрудились там на отгороженном месте со своими тюками, одеялами и прочей кладью. «Ноо» только что прибыл и подходил к лихтеру, что стоял у пристани. За посадкой наблюдал самолично мистер Маквей, управляющий колонией; меня представили ему, а также доктору Джорджесу из Бюро здравоохранения, которого я уже видел раньше в Калихи. Прокаженные и в самом деле являли собой весьма мрачное зрелище. Лица у большинства были так обезображены, что не берусь описать. Среди них попадались, однако, люди вполне приятной внешности, без явных признаков беспощадной болезни. Особенно я запомнил белую девочку, лет двенадцати, не больше, с голубыми глазами и золотистыми кудряшками. Но одна щечка у нее была чуть раздута. На мое замечание о том, насколько ей, бедняжке, тяжело, наверное, одной среди темнокожих больных, доктор Джорджес ответил:

— Не совсем так. По-моему, это для нее самый счастливый день в жизни. Дело в том, что ее привезли из Кауаи, где она жила с отцом — страшный человек! И теперь, заболев, она будет жить вместе с матерью в колонии. Ту отправили еще три года назад... Очень тяжелый случай.

— И вообще по внешности судить никак нельзя, — пояснил Маквей. — Видите того высокого парня, который так хорошо выглядит, словно совсем здоров? Так вот, я случайно узнал, что у него открытая язва на ноге и другая у лопатки. И у остальных тоже что-нибудь... Посмотрите на девушку, которая курит сигарету. Обратите внимание на ее руку. Видите, как скрючены пальцы? Анестезийная форма проказы. Поражает нервные узлы. Можно отрубить ей пальцы тупым ножом и потереть о терку для мускатного ореха, и она ровным счетом ничего не почувствует.



— Да, но вот, например, та красивая женщина. Она-то уж наверняка здорова,— упорствовал я.— Такая великолепная и пышная.

— С ней печальная история! — бросил Маквей через плечо, поворачиваясь, чтобы прогуляться с Керсдейлом по пристани.

Да, она была красива — чистокровная полинезийка. Даже из моего скудного знакомства с типами людей той расы я мог заключить, что она отпрыск старинного царского рода. Я дал бы ей года двадцать три — двадцать четыре, не больше. Сложена она была великолепно, и признаки полноты, свойственной женщинам ее расы, были едва заметны.

— Это было ударом для всех нас,— прервал молчание доктор Джорджес.— Она сама пришла на обследование. Никто даже не подозревал. Как она заразилась — ума не приложу. Право же, мы чуть не плакали. Мы, разумеется, постарались, чтобы дело не попало в газеты. Что с ней случилось, никто не знает, кроме нас да ее семьи. Спросите у любого в Гонолулу, и он скажет, что она скорее всего в Европе. Она сама просила, чтобы мы не распространялись. Бедняжка, она такая гордая.

— Но кто она? — спросил я.— По тому, как вы о ней говорите, она должна быть заметной фигурой.

— Знаете такую — Люси Мокунуи?

— Люси Мокунуи? — повторил я; в памяти у меня зашевелились какие-то давние впечатления, но я покачал головой.— Кажется, что я где-то слышал это имя, но, право, оно мне ничего не говорит.

— Никогда не слышали о Люси Мокунуи? Об этом гавайском соловье? Ах, простите, вы же малахини, новичок в здешних местах, можете и не знать. Люси Мокунуи была любимицей всего Гонолулу, да что там — всего острова.

— Вы сказали *была*... — прервал я доктора.

— Я не оговорился, увы! Теперь она, считайте, умерла.— Он с безнадежным сожалением пожал плечами.— В разное время из-за нее потеряли голову человек десять хаолес — ах, простите! — человек десять белых. Я уж не говорю о людях с улицы. Те десять — все занимали видное положение.

Она могла бы выйти замуж за сына Верховного судьи, если бы захотела. Так вы считаете ее красивой? Да, но надо услышать, как она поет! Самая талантливая певица-туземка на Гавайских островах. Голос у нее — чистое серебро, нежный, как солнечный луч. Мы обожали ее. Она гастролировала в Америке — сначала с королевским гавайским оркестром, потом дважды ездила одна, давала концерты.

— Вот оно что! — воскликнул я. — Да, да, припоминаю. Я слышал ее года два назад в Бостонской филармонии. Так это она! Теперь-то я узнаю ее.

Безотчетная грусть внезапно охватила меня. Жизнь в лучшем случае — бессмысленная и тщетная штука. Каких-нибудь два года, и вот эта великолепная женщина во всем величии своего успеха вдруг оказывается здесь, в толпе прокаженных, ожидающих отправки на Молокаи. Невольно пришли на ум строки из Хенли:

Старый несчастный бродяга поведал о старом
несчастье,
Жизнь, говорит, — ошибка, ошибка
и позор.

Я содрогнулся при мысли о будущем. Если на долю Люси Мокунуи выпал такой тяжкий жребий, то кто знает, что ожидает меня... или любого из нас? Я всегда отдавал себе отчет в том, что мы смертны, но жить среди живых мертвецов, умереть и не быть мертвым, стать одним из тех обреченных существ, которые некогда были мужчинами и женщинами, да, да, и женщинами — такими, как Люси Мокунуи, это воплощение полинезийского обаяния, талантливая актриса, божество... Наверное, я выдал в ту минуту свое крайнее смятение, ибо доктор Джорджес поспешил уверить меня, что им там, в колонии, живется совсем не плохо.

Это было непостижимо, чудовищно. Я не мог заставить себя смотреть на нее. Немного поодаль, за веревками, где прохаживался полисмен, стояли родственники и друзья отъезжающих. Подойти поближе им не позволяли. Не было ни объятий, ни прощальных поцелуев. Они могли лишь переговариваться друг с другом — последние пожелания, последние слова любви, последние, многократно повторяемые напутствия. Те, что стояли за веревками, смотрели с каким-то отчаянным, напряженным до ужаса вниманием. Ведь в последний раз видели они любимые лица, лица живых мертвецов, которых погребальное судно увезет сейчас на молокайское кладбище.

Доктор Джорджес подал знак, и несчастные зашевелились, поднялись на ноги и, сгибаясь под тяжестью клади, медленно побрели через лихтер к сходням. Скорбное похоронное шествие! Среди провожающих, сгрудившихся за веревками, тут же послышались рыдания. Кровь стыла в жилах, сердце разрывалось. Я никогда не видел такого горя и, надеюсь, не увижу больше. Керсдейл и Маквей все еще находились на другом

краю пристани, занятые каким-то серьезным разговором — наверное, о политике, потому что оба они в ту пору крайне увлекались этой странной игрой. Когда Люси Мокунуи проходила мимо, я снова украдкой посмотрел на нее. Она и в самом деле была прекрасна! Прекрасна даже по нашим представлениям — один из тех редчайших цветков, что расцветают лишь раз в поколение. Подумать только, что такая женщина обречена прозябать в колонии для прокаженных!

Она шла, точно королева: вот пересекла лихтер, поднялась по сходням, прошла палубой на корму, где у поручней столпились прокаженные — они плакали и махали остающимся на берегу.

Отдали концы, и «Ноо» стал медленно отваливать от пристани. Крики и плач усилились. Какое безнадежное, горестное зрелище! Я мысленно давал себе слово, что никогда впредь не окажусь свидетелем отплытия «Ноо», в эту минуту подошли Маквей и Керсдейл. Глаза у Джека блестели, и губы не могли скрыть довольной улыбки. Очевидно, разговор о политике закончился к обоюдному согласию. Веревочное ограждение сняли, и причитающие родственники кинулись к самому краю причала, окружив нас плотной толпой.

— Это ее мать, — шепнул мне доктор Джорджес, показывая на стоявшую рядом старушку, которая горестно покачивалась из стороны в сторону, не отрывая от палубы невидящих, полных слез глаз. Я заметил, что Люси Мокунуи тоже плачет. Но вот она утерла слезы и пристально посмотрела на Керсдейла. Потом протянула обе руки — тем восхитительным чувственным движением, которым некогда словно обнимала аудиторию Ольга Нетерсоль, и воскликнула:

— Прощай, Джек! Прощай, дорогой!

Он услышал ее и обернулся. Я никогда не видел, чтобы человек так испугался. Керсдейл зашатался, побелел и как-то обмяк, словно из него вынули душу. Вскинув руки, он простонал: «Боже мой!» Но тут же громадным усилием воли взял себя в руки.

— Прощай, Люси! Прощай! — отозвался он.

Он стоял и махал ей до тех пор, пока «Ноо» не вышел из гавани и лица стоявших у кормовых поручней не слились в сплошную полосу.

— Я полагал, что вы знаете, — сказал Маквей, удивленно глядя на Керсдейла. — Уж кому-кому, а вам... Я решил, что поэтому вы и пришли сюда.

— Теперь я знаю, — медленно проговорил Керсдейл. — Где коляска?

И быстро, чуть не бегом, зашагал с пристани. Я едва поспевал за ним.

— К доктору Герви,—крикнул он кучеру,—да побыстрее!

Тяжело, еле переводя дух, он опустился на сиденье. Бледность разлилась у него по лицу, губы были крепко сжаты, на лбу и на верхней губе выступил пот. Сильнейшая боль, казалось, мучает его.

— Поскорее, Мартин, ради бога!—вырвалось у него.— Что они у тебя плетутся? Подхлестни-ка их, слышишь? Подхлестни как следует.

— Мы загоним лошадей, сэр,—возразил кучер.

— Пускай! Гоним всю! Плачу и за лошадей и штраф полиции. А ну, быстрее, быстрее!

— Как же я не знал? Ничего не знал...—бормотал он, откидываясь на подушки и дрожащей рукой отирая пот с лица.

Коляска неслась с бешеной скоростью, подпрыгивая и кренясь на поворотах. Разговаривать было невозможно. Да и о чем говорить? Но я слышал, как Джек повторял снова и снова: «Как же я не знал!.. Как же я не знал!..»

«АЛОХА ОЭ»

Нигде уходящим в море судам не устраивают таких проводов, как в гавани Гонолулу. Большой пароход стоял под парами, готовый к отплытию. Не менее тысячи человек толпилось на его палубах, пять тысяч стояло на пристани. По высоким сходням вверх и вниз проходили туземные принцы и принцессы, сахарные короли, видные чиновники Гавайев. А за толпой, собравшейся на берегу, длинными рядами выстроились под охраной туземной полиции экипажи и автомобили местной аристократии.

На набережной гавайский королевский оркестр играл «Алоха Оэ», а когда он смолк, ту же рыдающую мелодию подхватил струнный оркестр туземцев на пароходе, и высокий голос певицы птицей взлетел над звуками инструментов, над многоголосым гамом вокруг. Словно звонкие переливы серебряной свирели, своеобразные и неповторимые, влились вдруг в многозвучную симфонию прощания.

На нижней палубе вдоль поручней стояли в шесть рядов молодые люди в хаки; их бронзовые лица говорили о трех годах военной службы, проведенных под знойным солнцем тропиков. Однако это не их провожали сегодня так торжественно, и не капитана в белом кителе, стоявшего на мостике и безучастно, как далекие звезды, взиравшего с высоты на суматоху внизу, и не молодых офицеров на корме, возвращавшихся на родину с Филиппинских островов вместе со своими измученными тропической жарой, бледными женами. На верхней палубе, у самого трапа, стояла группа сенаторов Соединенных Штатов — человек двадцать — с женами и дочерьми. Они приезжали сюда развлечься. И целый месяц их угощали обедами и поили вином, пичкали статистикой, таскали по го-

рам и долам, на вершины вулканов и в залитые лавой долины, чтобы показать все красоты и природные богатства Гавайев.

За этой-то веселящейся компанией и прибыл в гавань большой пароход, и с нею прощался сегодня Гонолулу.

Сенаторы были увешаны гирляндами, они просто утопали в цветах. На бычьей шее и мощной груди сенатора Джереми Сэмбрука красовалась добрая дюжина венков и гирлянд. Из этой массы цветов выглядывало его потное лицо, покрытое свежим загаром. Цветы раздражали сенатора невыносимо, а на толпу, кишевшую на пристани, он смотрел оком человека, для которого существуют только цифры, человека, слепого к красоте. Он видел в этих людях лишь рабочую силу, а за ней фабрики, железные дороги, плантации, все то, что она создавала и что олицетворяла собой для него. Он видел богатства этой страны, думал о том, как их использовать, и, занятый этими размышлениями о материальных благах и могуществе, не обращал никакого внимания на дочь, которая стояла подле него, разговаривая с молодым человеком в изящном летнем костюме и соломенной шляпе. Юноша не отрывал жадных глаз от ее лица и, казалось, видел только ее одну. Если бы сенатор Джереми внимательно присмотрелся к дочери, он понял бы, что пятнадцатилетняя девочка, которую он привез с собой на Гавайские острова, за этот месяц превратилась в женщину.

В климате Гавайев все зреет быстро, а созреванию Дороти Сэмбрук к тому же особенно благоприятствовали окружающие условия. Тоненькой бледной девочкой с голубыми глазами, немного утомленной вечным сидением за книгами и попытками хоть что-нибудь понять в загадках жизни, — такой приехала сюда Дороти месяц назад. А сейчас в глазах ее был жаркий свет, щеки позолочены солнцем, в линиях тела уже чувствовалась легкая, едва намечавшаяся округлость. За этот месяц Дороти совсем забросила книги, ибо читать книги жизни было куда интереснее. Она ездила верхом, взбиралась на вулканы, училась плавать на волнах прибоя. Тропики проникли ей в кровь, она упивалась ярким солнцем, теплом, пышными красками. И весь этот месяц она провела в обществе Стивена Найта, настоящего мужчины, спортсмена, отважного плывца, бронзового морского бога, который укрощал бешеные волны и на их хребтах мчался к берегу.

Дороти Сэмбрук не замечала перемены, которая произошла в ней. Она оставалась наивной молодой девушкой, и ее удивляло и смущало поведение Стива в этот час расставания.

До сих пор она видела в нем просто доброго товарища, и весь месяц он и был ей только товарищем, но сейчас, прощаясь с ней, вел себя как-то странно. Говорил взволнованно, бессвязно, вдруг умолкал, начинал снова. По временам он словно не слышал, что говорит она, или отвечал не так, как обычно. А взгляд его приводил Дороти в смятение. Она раньше и не замечала, что у него такие горящие глаза; она не смела смотреть в них и то и дело опускала ресницы. Но выражение их и пугало и в то же время притягивало ее, и она снова и снова заглядывала в эти глаза, чтобы увидеть то пламенное, властное, тоскующее, чего она еще не видела никогда ни в чьих глазах. Она сама испытывала какое-то странное волнение и тревогу.

На пароходе оглушительно завыл гудок, и увенчанная цветами толпа хлынула ближе. Дороти Сэмбрук сделала недовольную гримасу и заткнула пальцами уши, чтобы не слышать пронзительного воя,— и в этот миг она снова перехватила жадный и требовательный взгляд Стива. Он смотрел на ее уши, нежно розовеющие и прозрачные в косых лучах закатного солнца.

Удивленная и словно замороженная странным выражением его глаз, Дороти смотрела на него не отрываясь. И Стив понял, что выдал себя; он густо покраснел и что-то невнятно пробормотал. Он был явно смущен, и Дороти была смущена не меньше его. Вокруг них суетилась пароходная прислуга, толпа провожающих сойти на берег. Стив протянул руку. И в тот миг, когда Дороти ощутилажатие его пальцев: тысячу раз сжимавших ее руку, когда они вдвоем карабкались по крутым склонам или неслись на доске по волнам,— она услышала и по-новому поняла слова песни, которая, подобно рыданию, рвалась из серебряного горла гавайской певицы:

Ka halia ko aloha Kai hiki mai,
Ke hōne ae nei iu'u manawa,
O ce no Ka'u aloha
A loko e hana nei.

Этой песне учил ее Стив, она знала и мелодию и слова и до сих пор думала, что понимает их. Но только сейчас, когда в последний раз пальцы Стива крепко сжали ее руку и она ощутила теплоту его ладони, ей открылся истинный смысл этих слов. Она едва заметила, как ушел Стив, и не могла отыскать его в толпе на сходнях, потому что в эти минуты она уже блуждала в лабиринтах памяти, вновь переживая минув-

шие четыре недели — все события этих дней, представшие перед ней сейчас в новом свете.

Когда месяц назад компания сенаторов прибыла в Гонолулу, их встретили члены комиссии, которой было поручено развлекать гостей, и среди них был и Стив. Он первый показал им в Ваикики-Бич, как плавают по бурным волнам во время прибоя. Выплыв в море верхом на узкой доске, с веслом в руках, он помчался так быстро, что скоро только пятнышком замелькал и исчез вдали. Потом неожиданно возник снова, встав из бурлящей белой пены, как морской бог, — сначала показались плечи и грудь, потом бедра, руки; и вот он уже стоял во весь рост на пенистом гребне могучего вала длиной с милю, и только ноги его были зарыты в летящую пену. Он мчался со скоростью экспресса и спокойно вышел на берег на глазах у пораженных зрителей. Таким Дороти впервые увидела Стива. Он был самый молодой член комиссии — двадцатилетний юноша. Он не выступал с речами, не блистал на торжественных приемах. В увеселительную программу для гостей он вносил свою долю, плавая на бурных волнах в Ваикики, гоня диких быков по склонам Мауна Кеа, объезжая лошадей на ранчо Халеакала.

Дороти не интересовали бесконечные статистические обзоры и ораторские выступления остальных членов комиссии, на Стива они тоже нагоняли тоску, — и оба потихоньку удирали вдвоем. Так они сбежали и с пикника в Хамакуа и от Эба Луиссона, кофейного плантатора, который в течение двух убийственно скучных часов занимал гостей разговором о кофе, о кофе и только о кофе. И как раз в тот день, когда они ехали верхом среди древовидных папоротников, Стив перевел ей слова песни «Алоха Оэ», которой провожали гостей-сенаторов в каждой деревне, на каждом ранчо, на каждой плантации.

Они со Стивом с первого же дня очень много времени проводили вместе. Он был ее неизменным спутником на всех прогулках. Она совсем завладела им, пока ее отец собирал нужные ему сведения о Гавайских островах. Дороти была кротка и не тиранила своего нового приятеля, но он был у нее в полном подчинении, и лишь во время катания на лодке, или поездок верхом, или плавания в прибой власть переходила к нему, а ей оставалось слушаться.

И вот теперь, когда уже был поднят якорь и громадный пароход стал медленно отваливать от пристани, Дороти, слушая прощальную мелодию «Алоха Оэ», поняла, что Стив был для нее не только веселым товарищем.

Пять тысяч голосов пели сейчас «Алоха Оэ»:

В разлуке любовь моя будет с тобою
Всегда, до новой встречи.

И в то же мгновение, вслед за открытием, что она любит и любима, пришла мысль, что их со Стивом разлучают, отрывают друг от друга. Когда еще они встретятся снова? И встретятся ли? Слова песни о новой встрече она услышала впервые от него, Стива, — она вспомнила, как он пел их ей, повторяя много раз подряд, под деревом хау в Ваикики. Не было ли это предсказанием? А она восторгалась его пением, твердила ему, что он поет так выразительно... Вспомнив это, Дороти рассмеялась громко, истерически. «Выразительно!» Еще бы, когда человек душу свою изливает в песне! Теперь она знала это, но слишком поздно. Почему он ей ничего не сказал?

Вдруг она вспомнила, что в ее возрасте девушки еще не выходят замуж. Но тотчас сказала себе: «А на Гавайях выходят». На Гавайях, где кожа у всех золотиста и женщины под поцелуями солнца созревают рано, созрела и она — за один месяц.

Тщетно вглядывалась Дороти в толпу на берегу. Куда девался Стив? Она готова была отдать все на свете, чтобы увидеть его еще хоть на миг, она почти желала, чтобы какая-нибудь смертельная болезнь поразила капитана, одиноко стоявшего на мостике, — ведь тогда пароход не уйдет! В первый раз в жизни она посмотрела на отца внимательно, пытливо — и с внезапно проснувшимся страхом прочла в этом лице упрямство и жесткую волю. Противиться этой воле очень страшно! И разве она может победить в такой борьбе?..

Но почему, почему Стив молчал до сих пор? А сейчас уже поздно... Почему он не сказал ей ничего тогда, под деревом хау в Ваикики?

Тут ее осенила догадка — и сердце у нее упало. Да, да, теперь понятно, почему молчал Стив! Что-то такое она слышала недавно... А, это было у миссис Стертон, в тот день, когда дамы миссионерского кружка пригласили на чашку чая жен и дочерей сенаторов... Та высокая блондинка, миссис Ходжкинс, задала вопрос... Дороти отчетливо вспомнила все: обширную веранду, тропические цветы, бесшумно сновавших вокруг слуг-азиатов, жужжание женских голосов и вопрос миссис Ходжкинс, сидевшей неподалеку в группе других дам. Миссис Ходжкинс недавно вернулась на остров с континента, где она провела много лет, и, видимо, расспрашивала о старых знакомых, подругах ее юности.

— А как поживает Сюзи Мэйдзуэлл? — осведомилась она.

— О, мы с ней больше не встречаемся! Она вышла за Вилли Кьюпеля,— ответила одна из местных жительниц.

А жена сенатора Беренда со смехом спросила, почему же замужество Сюзи Мэйдуэлл оттолкнуло от нее приятельниц.

— Ее муж — хапа-хаоле, человек смешанной крови,— был ответ.— А мы, американцы на островах, должны думать о наших детях.

Дороти повернулась к отцу, решив проверить свою догадку.

— Папа! Если Стив приедет когда-нибудь в Штаты, ему можно будет бывать у нас?

— Стив? Какой Стив?

— Ну, Стивен Найт. Ты же его знаешь, ты прощался с ним только что, пять минут назад! Если ему случится когда-нибудь попасть в Штаты, можно будет пригласить его к нам?

— Конечно, нет!— коротко отрезал Джереми Сэмбрук.— Этот Стивен Найт — хапа-хаоле. Ты знаешь, что это значит?

— О-ох!— чуть слышно вздохнула Дороти, чувствуя, как немое отчаяние закрадывается ей в душу.

Стив — не хапа-хаоле, в этом Дороти была уверена. Она не знала, что к его крови примешалась капелька крови, полной жара тропического солнца, а значит, о браке с ним нечего было и думать. Станный мир! Ведь преподобный Клегхорн женился же на темнокожей принцессе из рода Камехамена,— и все-таки люди считали за честь знакомство с ним, и в его доме бывали женщины высшего света из ультрафешенебельного миссионерского кружка! А вот Стив... То, что он учил ее плавать или вел ее за руку в опасных местах, когда они поднимались на кратер Килауэа, никому не казалось предосудительным. Он мог обедать с нею и ее отцом, танцевать с нею, быть членом увеселительной комиссии, но жениться на Дороти он не мог, потому что в жилах его струилось тропическое солнце.

А ведь это совсем не было заметно! Кто не знал, тому это и в голову не могло прийти! Стив был так красив... Образ его запечатлелся в ее памяти, и она с бессознательным удовольствием вспоминала великолепное гибкое тело, могучие плечи, надежную силу этих рук, что так легко подсаживали ее в седло, несли по гремящим волнам или поднимали ее, уцепившуюся за конец альпенштока, на крутую вершину горы, которую называют «храмом солнца»! И еще что-то другое, таинственное и неуловимое, вспоминалось Дороти, что-то такое, в чем она и сейчас еще очень смутно отдавала себе от-

чет: ощущение близости мужчины, настоящего мужчины, какое она испытывала, когда Стив бывал с нею.

Она вдруг очнулась с чувством острого стыда за эти мысли. Кровь прилила к ее щекам, окрасила их ярким румянцем, но тотчас отхлынула: Дороти побледнела, вспомнив, что больше никогда не увидит любимого.

Пароход уже отвалил, и палубы его поравнялись с концом набережной.

— Вон там стоит Стив,— сказал сенатор дочери.— Помаши ему на прощание, Дороти!

Стив не сводил с нее глаз и увидел в ее лице то новое, чего не видел раньше. Он просиял, и Дороти поняла, что он теперь знает. А в воздухе трепетала песня:

Люблю — и любовь моя будет с тобой,
Всегда, до новой встречи.

Слова были не нужны, они и без слов все сказали друг другу. Вокруг Дороти пассажиры снимали с себя венки и бросали их друзьям, стоявшим на пристани. Стив протянул руки, глаза его молили. Она стала снимать через голову свою гирлянду, но цветы зацепились за нитку восточного жемчуга, которую надел ей сегодня на шею старик Мервин, сахарный король, когда вез ее и отца на пристань.

Она дергала жемчуг, цеплявшийся за цветы. А пароход двигался и двигался вперед. Стив был теперь как раз под палубой, где она стояла, медлить было нельзя — еще минута, и он останется позади!

Дороти всхлипнула, и Джереми Сэмбрук испытующе посмотрел на нее.

— Дороти! — крикнул он резко.

Она решительно рванула ожерелье — и вместе с цветами дождь жемчужин посыпался на голову ожидавшего возлюбленного.

Она смотрела на него, пока слезы не застлали перед ней все, потом спрятала лицо на плече отца. А сенатор, забыв о статистике, с удивлением спрашивал себя: почему это маленькие девочки так спешат стать взрослыми?

Толпа на пристани все пела, мелодия, отдаваясь, таяла в воздухе, но по-прежнему была в ней любовная нега и слова сжигали сердце, как кислота, ибо в них была ложь.

Aloha oe, Aloha oe, e ke ona no ho ika lipo...
В последний раз приди в мои объятия!
Любовь моя с тобой всегда, до новой встречи.

ЧУН А-ЧУН

Во внешности Чун А-чуна вы не нашли бы ничего примечательного. Он был небольшого роста, худощавый и узкоплечий, как большинство китайцев. Путешественник, случайно встретив его на улице в Гонолулу, решил бы: вот добродушный маленький китаец, владелец какой-нибудь процветающей прачечной или портняжной мастерской. Что касается добродушия и процветания, это суждение было бы правильным, хотя и не отражало бы истину во всем ее объеме, ибо добродушие Чун А-чуна было столь же велико, как и его состояние, а точных размеров последнего не представляла ни одна живая душа. Все знали, что Чун А-чун чрезвычайно богат, но в данном случае словом «чрезвычайно» обозначалось нечто абсолютно неизвестное.

Маленькие черные глазки Чун А-чуна, хитрые и блестящие, казались дырочками, просверленными буравчиком. Но они были широко расставлены, и лоб, нависший над ними, несомненно, принадлежал мыслителю. Ибо всю жизнь А-чуну приходилось решать самые сложные проблемы. Не то чтобы эти проблемы особенно беспокоили его. В сущности, А-чун представлял собой законченный тип философа, духовное равновесие его не зависело от того, был ли он мультимиллионером, распоряжающимся судьбами множества людей, или простым кули. А-чун всегда пребывал в состоянии безграничного душевного покоя, не нарушаемого успехом и не смущаемого неудачами. Ничто не могло сокрушить его невозмутимость: ни удары плети надсмотрщика на плантации сахарного тростника, ни падение цен на сахар, когда А-чун уже сам владел этими плантациями. Опираясь на непоколебимую скалу своей удовлетворенности миром, он справлялся с проблемами, ко-

горыми людям вообще приходится заниматься не часто, а китайским крестьянам и того реже.

А-чун был именно китайским крестьянином, обреченным всю жизнь трудиться, как рабочая скотина, на полях; но, по велению судьбы, в один прекрасный день он исчез с этих полей, словно принц в сказке. А-чун не помнил своего отца, мелкого арендатора неподалеку от Кантона; немного воспоминаний оставила и мать: она умерла, когда мальчику едва исполнилось шесть лет. Зато он помнил своего почтенного дядюшку А-ку, на которого он батрачил с шести лет до двадцати четырех. Именно после этого он исчез, завербовавшись на три года на сахарные плантации Гавайских островов с оплатой в пятнадцать центов в день.

А-чун обладал редкой наблюдательностью. Он запоминал мельчайшие подробности, какие вряд ли заметил бы и один из тысячи. Он проработал на плантациях три года и по окончании этого срока знал о выращивании сахарного тростника больше, чем надсмотрщики и даже сам управляющий; управляющий же был бы несказанно изумлен, если бы ему стало известно, какими сведениями о переработке тростника располагает этот сморщенный кули. Но А-чун изучал не только процессы переработки тростника. Он старался постичь, каким путем люди становятся владельцами сахарных заводов и плантаций. Очень быстро он усвоил, что от своего собственного труда люди не богатеют. Он знал это потому, что сам гнул спину целых двадцать лет. Люди наживают деньги, только используя труд других. И человек тем богаче, чем больше ближних работают на него.

И вот, когда срок контракта истек, А-чун вложил свои сбережения в маленькую лавку импортных товаров, вступив в компанию с неким А-янгом. Впоследствии лавка превратилась в крупную фирму «А-чун и А-янг», которая торговала решительно всем — от индийских шелков и женышеня до островов, с залежами гуано и вербовочных судов. В то же время А-чун нанялся работать поваром. Он оказался прекрасным кулинарум и за три года стал самым высокооплачиваемым шеф-поваром в Гонолулу. Карьера его была обеспечена, и он совершал непростительную глупость, отказываясь от нее, — так сказал ему Дантен, его хозяин; однако А-чун лучше знал, что ему надо. За упрямство его трижды называли дураком при расчете и выдали пятьдесят долларов сверх положенной суммы.

Фирма «А-чун и А-янг» богатела. Теперь А-чуну незачем было работать поваром. На Гавайях начался бум. Расширялись

плантации сахарного тростника, и всюду требовались рабочие руки. А-чун видел, какие это сулит возможности, и занялся ввозом рабочей силы. Он доставил на Гавайи тысячи кантонских кули, и состояние его росло день ото дня. Он вкладывал капитал в различные предприятия. Его черные, как бусинки, глаза безошибочно различали выгоду там, где прочим людям виделось разорение. Он за бесценок купил пруд для разведения рыбы, который потом принес пятьсот процентов прибыли и дал А-чуну возможность монополизировать поставки рыбы в Гонолулу. А-чун не давал интервью, не играл никакой роли в политике, не участвовал в революциях, зато он безошибочно предугадывал события и был значительно дальновиднее тех, кто руководил этими событиями. В воображении он видел Гонолулу современным, освещенным электричеством еще в те времена, когда город, грязный, под вечной угрозой песчаных заносов, беспорядочно лепился к голым скалам кораллового островка. И А-чун покупал землю. Он покупал землю у торговцев, нуждающихся в наличных, у нищих туземцев, у разгульных сынков богачей, у вдов и сирот, даже у прокаженных, которых высылали на Молокай. И со временем оказалось, что купленные А-чуном клочки земли совершенно необходимы для складов, либо для общественных зданий, либо для отелей. А-чун сдавал внаем и брал в аренду, продавал, покупал и перепродавал снова.

Однако это еще не все, А-чун вверил свои надежды и деньги некоему Паркинсону, бывшему капитану, которому не доверился бы никто другой. Паркинсон отбыл в таинственный рейс на маленькой «Веге». После этого Паркинсон не знал нужды до конца дней своих, а много лет спустя весь Гонолулу охватило изумление: каким-то путем стало известно, что острова Дрейк и Акорн, славившиеся залежами гуано, давно проданы Британскому тресту фосфатов за три четверти миллиона.

Кроме того, были дни изобилия и пьянства при короле Калакауа, когда А-чун заплатил триста тысяч долларов за опиумную лицензию. И хотя монополия на торговлю наркотиками обошлась ему в треть миллиона, все же это оказалось выгодной сделкой, так как на доходы с нее он купил плантацию Калалау, а та, в свою очередь, давала ему в течение семнадцати лет тридцать процентов чистой прибыли и была продана в конце концов за полтора миллиона.

Задолго до этого, еще при правлении династии Камеха-ме-ха, А-чун верно служил своей стране в качестве консула на Гавайях — должность, которую отнюдь нельзя назвать недоход-

ной. При Камехамехе IV он переменял гражданство и стал гавайским подданным для того, чтобы жениться на Стелле Аллендейл; она являлась подданной туземного короля, хотя в жилах ее текло больше англосаксонской крови, чем полинезийской. Среди предков Стеллы были люди стольких национальностей, что доли крови исчислялись восьмыми и даже шестнадцатыми. Одну шестнадцатую составляла, например, кровь ее прабабушки Паа-ао — принцессы Паа-ао, ибо она происходила из королевского рода. Прадедом Стеллы Аллендейл был некий капитан Блант, англичанин-авантюрист, который служил у Камехамеха I и был возведен им в сан неприкосновенного вождя. Дед ее, капитан китобойного судна, происходил из Нью-Бедфорда, а у отца, кроме английской крови, была слабая примесь итальянской и испанской. Так что супруга А-чуна, гаваянка по закону, с большим основанием могла быть причислена к любой из трех других национальностей.

И в этот сплав рас. А-чун добавил струю монгольской крови. Таким образом, его дети от миссис А-чун были на одну тридцать вторую полинезийцы, на одну шестнадцатую итальянцы, на одну шестнадцатую португальцы, наполовину китайцы и на одиннадцать тридцать вторых англичане и американцы.

Вполне вероятно, что А-чун воздержался бы от брака, если бы он мог предвидеть, какое необыкновенное потомство произойдет от этого союза. Оно было необыкновенным во многих отношениях. Во-первых, по количеству: А-чун стал отцом пятнадцати сыновей и дочерей, в основном дочерей. Вначале родились сыновья — всего трое, а затем с неумолимой последовательностью целая дюжина дочерей. Результаты смешения рас оказались блестящими. Потомство было не только многочисленным: все дети, как один, обладали безукоризненным здоровьем. Но больше всего поражала их красота. Дочери А-чуна были красивы какой-то хрупкой, неземной красотой. Казалось, в них острые углы папаша А-чуна смягчены плавностью линий, свойственной мамаше А-чун, так что дочери были гибкими, но не костлявыми и ласкали глаз округлостью форм, не будучи полными. Черты каждой из девушек носили неумолимый отпечаток Азии, хотя и сглаженный и замаскированный влиянием старой Англии, новой Англии и Южной Европы. Ни один наблюдатель, не будучи осведомлен заранее, не догадался бы о наличии значительной примеси китайской крови в их жилах; в то же время осведомленный наблюдатель не преминул бы тут же отметить в дочерях А-чуна китайские черты.

Девушки А-чун являли собой новый тип красавиц. Ничего подобного природа еще не создавала. Единственно, на кого сестры походили, — это друг на друга, и все же каждая обладала ярко выраженной индивидуальностью. Перепутать их было невозможно. В то же время белокурая голубоглазая Мод непременно напоминала каждому Генриетту, брюнетку с оливковой кожей, огромными томными глазами и волосами, черными до синевы.

То общее, что проглядывало во внешности сестер, невзирая на все их различия, шло от А-чуна. Он заложил основу, на которую наносился сложный узор смещения рас. Хрупкое сложение досталось дочерям от А-чуна, а кровь саксов, латинов и полинезийцев дала им утонченную красоту, которая свойственна женщинам этих рас.

У миссис А-чун были свои представления о жизни, и А-чун во всем шел жене навстречу, но только до тех пор, пока это не нарушало его философского спокойствия. Она привыкла жить на европейский лад. Прекрасно! А-чун подарил ей европейский особняк. Позже, когда подросли сыновья и дочери, он выстроил бунгало — просторное, широко раскинувшееся здание, столь же скромное, сколь великолепное. Кроме того, через некоторое время появился дом в горах Танталус, куда семья переезжала на сезон южных ветров. А в Ваикики, на взморье, он построил виллу, причем настолько удачно выбрал участок, что впоследствии, когда правительство Соединенных Штатов решило конфисковать участок для военных целей, А-чуну выплатили изрядную сумму. Во всех резиденциях имелись бильярд, курительные и несчетное количество комнат для гостей — дело в том, что прелестные наследники А-чуна любили устраивать многолюдные приемы. Меблировка отличалась изысканной простотой. Были потрачены баснословные суммы, но это не бросалось в глаза — все благодаря просвещенному вкусу наследников.

А-чун не скупился, когда речь шла об образовании его детей.

— Не жалейте денег, — говорил он в прежние времена Паркинсону, если этот нерадивый моряк выражал сомнение, стоит ли тратить на совершенствование мореходных качеств «Веги». — Вы водите шхуну — я плачу по счетам.

Точно так же было с его сыновьями и дочерьми. Их дело получать образование и не считаться с расходами. Первенец Гарольд учился в Гарварде и Оксфорде. Альберт и Чарльз поступили в Йэйл в один и тот же год. Дочери же, от самой старшей до младшей, воспитывались в закрытой школе

Миллз в Калифорнии, а затем переходили в Вассар, Уэллсли или Брин Маур. Те, кто желал, завершали образование в Европе. Со всех концов земли возвращались к А-чуну сыновья и дочери и высказывали все новые пожелания и советы по части усовершенствования строгого великолепия его резиденций. Сам А-чун предпочитал откровенную пышность восточной роскоши. Но он был философ и прекрасно понимал, что вкусы его детей безукоризненны и полностью соответствуют западным стандартам.

Разумеется, дети его не были известны как дети А-чуна. Подобно тому, как он из простого кули превратился в мультимиллионера, точно так же и имя его претерпело изменения. Мамаша А-чун писала фамилию А'Чун, а ее отпрыски мудро опустили апостроф и превратились в Ачунов. А-чун не возражал. Как бы ни писали его имя, это не нарушало его удобств и философского спокойствия. Кроме того, он не был горд. Но когда требования детей А-чуна настолько возросли, что речь зашла о крахмальной сорочке, стоячем воротничке и сюртуке, это уже нарушало его удобства и покой. А-чун не носил европейское платье. Он предпочитал свободные китайские халаты, и семейство не смогло заставить А-чуна отказаться от его привычек ни уговорами, ни силой. Молодые Ачуны испробовали оба способа и во втором случае потерпели особенно катастрофическое поражение. Надо сказать, что они недаром побывали в Америке. Там они познали всю действенность бойкота как оружия организованного труда, и вот они стали бойкотировать Чун А-чуна, своего отца, в его собственном доме, при подстрекательстве и содействии мамыши А-чун. А-чун, хотя и невежественный в том, что касалось западной культуры, был достаточно хорошо знаком с отношениями между предпринимателями и рабочими на Западе. Как крупный работодатель, он знал, что следует противопоставить тактике организованного труда. Не долго думая, он объявил локаут своим взбунтовавшимся отпрыскам и заблудшей супруге. Он рассчитал прислугу, заколотил конюшни, запер все дома и переехал в гавайский отель «Рояль», основным держателем акций которого он, между прочим, являлся. И пока вся семья в смущении и ярости металась по знакомым, А-чун спокойно занимался многочисленными делами, покуривал трубку с крошечной серебряной чашечкой и обдумывал проблему своего необыкновенного семейства.

Проблема эта не слишком тревожила его. В глубине своей философской души он знал: в надлежащий момент он сумеет разрешить ее. А пока А-чун дал ясно понять, что, несмотря на

свое благодушие, именно он безраздельно вершит судьбами остальных А-чунов.

Семейство продержалось лишь неделю, а затем вместе с А-чуном и штатом прислуги возвратилось в бунгало. После этого случая никто не смел выражать недовольство, если А-чун выходил в великолепную гостиную в костюме, состоящем из голубого шелкового халата, ватных туфель и шелковой черной шапочки с красным шариком на макушке, или когда появлялся, посасывая трубку с серебряной чашечкой на тонком мундштуке, среди офицеров и штатских, куривших сигареты и сигары на просторных верандах или в курительной комнате.

А-чун занимал совершенно особое положение в Гонолулу. Он не выезжал в свет, но двери любого дома были открыты для него. Сам он никого не посещал, кроме нескольких китайцев-купцов; зато он принимал у себя и всегда распоряжался хозяйством и всеми домочадцами, а также главенствовал за столом.

Китайский крестьянин по рождению, он был теперь в центре атмосферы утонченной культуры и изысканности, не имеющей себе равных на Гавайских островах. И не нашлось бы ни одного человека на Гавайях, кто бы счел ниже своего достоинства переступить порог дома А-чуна и пользоваться его гостеприимством. Прежде всего потому, что бунгало А-чуна отвечало требованиям самого безукоризненного вкуса. Далее, А-чун был могуществен. И, наконец, А-чун являл образец добродетели и честного предпринимательства. Хотя деловая мораль была на Гавайях строже, чем на материке, А-чун превзошел всех дельцов Гонолулу своей беспримерной, скрупулезной честностью. Вошло в поговорку, что на слово А-чуна можно положиться так же, как на его долговую расписку. Ему не нужно было скреплять свои обязательства подписью. Он никогда не нарушал слова.

Через двадцать лет после того, как умер Хотчкис из фирмы «Хотчкис, Мортерсон и К°», среди забытых бумаг была обнаружена запись о ссуде в триста тысяч долларов, выданной А-чуну. В то время А-чун состоял тайным советником при короле Камехаамехе II. В суете и неразберихе тех дней — дней процветания и обогащения — А-чун забыл об этом деле. Не сохранилось никакой расписки, и никто не предъявлял А-чуну иска, тем не менее он полностью рассчитался с наследниками Хотчкиса, добровольно уплатив по сложным процентам сумму, которая значительно превышала основной долг.

То же произошло и в случае, когда А-чун поручился своим словом за неудачный проект осушительных работ в Какику, — в то время самым заядлым пессимистам не снилось, что нужна какая-то гарантия; и А-чун, «не моргнув глазом, подписал чек на двести тысяч, да, да, джентльмены, не моргнув глазом», — так доложил секретарь лопнувшего предприятия, которого, почти ни на что не надеясь, послали выяснить намерения А-чуна. И в довершение ко многим подобным фактам, подтверждавшим твердость его слова, вряд ли был на островах хоть один более или менее известный человек, которому в трудную минуту А-чун щедрой рукой не оказал финансовой помощи.

И вот теперь на глазах у всего Гонолулу милое семейство А-чуна превратилось в запутанную проблему. А-чун стал предметом всеобщего тайного сочувствия, ибо невозможно было представить, каким образом ему удастся выкрутиться из этого затруднительного положения. Но для А-чуна проблема была значительно проще, чем для остальных. Никто, кроме него, не знал, насколько далек он от своих родных. Даже семейство его об этом не догадывалось. А-чун признавал, что он лишний среди собственных детей. А ведь впереди старость, и с каждым годом он будет отдаляться от них все больше — это А-чун предвидел. Он не понимал своих детей. Они разговаривали о вещах, которые не интересовали его и о которых он понятия не имел. Западная культура не коснулась его. Он оставался азиатом до мозга костей — это означало, что он был язычником. Христианство его детей казалось А-чуну бессмысленным. Однако он мог бы не обращать внимания на все это, как на нечто постороннее, не имеющее значения, если бы он понимал души своих детей. Когда Мод, например, сообщала ему, что расходы по дому составили за месяц тридцать тысяч долларов, или Альберт просил пять тысяч долларов на покупку яхты «Мюриэль», чтобы вступить в Гавайский яхт-клуб, тут для А-чуна не было загадок. Но его сбивали с толку сложные процессы, происходившие в умах его детей, и их другие, странные желания. Прошло немного времени, и он понял, что мысли каждого сына и каждой дочери для него — запутанный лабиринт, в котором ему никогда не удастся разобраться. Он постоянно натывался на стену, разделяющую Восток и Запад. Души детей были недоступны для А-чуна точно так же, как его душа оставалась недостижимой для них.

К тому же с течением времени А-чуна все больше влекло к соотечественникам. Запахи китайского квартала притягивали его. А-чун вдыхал их с наслаждением, проходя по улице; и

воображение уносило его на узкие, извилистые улочки Кантона, где кипела шумная жизнь. Он жалел, что отрезал косу, желая сделать приятное Стелле Аллендейл перед свадьбой; теперь он всерьез подумывал о том, чтобы обрить затылок и отрастить косу опять. Блюда, которые стряпал высокооплачиваемый повар, не доставляли ему такого удовольствия, как напоминающие родину странные кушанья в душном ресторанчике китайского квартала. И он гораздо больше любил наслаждаться беседой за трубкой с двумя-тремя друзьями-китайцами, нежели выступать в роли хозяина на изысканных званных обедах, какими славился его бунгало. Там мужчины и женщины — сливки американского и европейского общества Гонолулу — сидели за длинным столом, женщины — со сверкающими в мягком свете драгоценностями на белых шеях и руках, мужчины — в вечерних костюмах; они болтали о таких событиях и смеялись таким шуткам, которые, хотя и не были абсолютно бессмысленными для А-чуна, но не интересовали и не развлекали его.

Однако не только отчужденность А-чуна от семьи и его растущее стремление вернуться на родину составляли проблему. Речь шла также о его капитале. А-чун жаждал безмятежной старости. Он хорошо потрудился на своем веку и в награду хотел только мира и покоя. Но он знал, что с таким огромным богатством вряд ли ему удастся насладиться миром и покоем. Уже появились дурные предзнаменования. А-чуну приходилось наблюдать, какие неприятности происходили из-за денег.

Дети его бывшего хозяина Дантена, действуя по всем правилам закона, лишили старика права распоряжаться своим имуществом; по решению суда над Дантеном учредили опеку.

А-чун твердо знал: будь Дантен бедняком, никто не усомнился бы в его способности разумно вести свои дела. И ведь у старого Дантена было только трое детей и каких-нибудь полмиллиона, а у него, А-чуна, — пятнадцать детей и, ему одному известно, сколько миллионов.

— Наши дочери — красавицы, — сказал А-чун однажды вечером своей жене. — Вокруг них множество молодых людей. В доме полным-полно молодых людей. Счета за сигары огромны. Почему же нет свадеб?

Мама А-Чун пожала плечами и промолчала.

— Женщины остаются женщинами, а мужчины — мужчи-

нами, странно, что нет свадеб. Может быть, наши дочери не нравятся молодым людям?

— Ах, наши дочери в достаточной мере нравятся мужчинам,— ответила наконец мамаша А'Чун.— Но, видишь ли, молодые люди не могут забыть, что ты отец своих дочерей.

— Однако ты-то забыла, кто был мой отец,— сказал А-чун серьезно.— Единственное, о чем ты меня попросила,— это отрезать косу.

— Я полагаю, молодые люди теперь более разборчивы, чем была я.

Тут А-чун неожиданно спросил:

— Что сильнее всего на свете?

С минуту мама А'Чун обдумывала ответ, затем сказала:

— Бог.

А-чун кивнул:

— Да, я знаю. Боги бывают всякие. Из бумаги, из дерева, из бронзы. У меня в конторе есть маленький бог, он служит мне вместо пресс-папье. А в Епископском музее выставлено множество богов из кораллов и застывшей лавы.

— На свете есть только один бог,— твердо заявила мама А'Чун и, решительно распрямив свою массивную фигуру за отсутствием других доказательств, уже готова была ринуться в спор.

А-чун заметил тревожные сигналы, но не принял вызова.

— Хорошо, в таком случае, что сильнее бога?— спросил он.— Так вот, я скажу тебе: деньги. Мне приходилось вести дела с иудеями и христианами, с мусульманами и буддистами, с маленькими чернокожими с Соломоновых островов и с Новой Гвинеей— те носили своих богов с собой, завернув в промасленную бумагу. Они молились разным богам, эти люди; но все они одинаково поклонялись деньгам. Этот капитан Хиггинсон, ему как будто нравится Генриетта.

— Он ни за что на ней не женится,— возразила мамаша А'Чун.— Когда-нибудь он станет адмиралом.

— Контр-адмиралом,— поправил А-чун.— Да, я знаю. Они получают этот чин, когда выходят в отставку.

— Его семья в Соединенных Штатах занимает высокое положение. Они не допустят, чтобы он женился на... чтобы он женился не на американке.

А-чун вытряхнул пепел из трубки и вновь набил ее серебряную головку крошечной щепоткою табаку. Потом он зажег трубку, неторопливо выкурил ее и только после этого заговорил:

— Генриетта — старшая дочь. Когда она выйдет замуж, я дам за ней триста тысяч долларов. Капитан Хиггинсон и его высокопоставленная семейка никак не устоят против этого соблазна. Пусть только он узнает об этом. Тут я целиком полагаюсь на тебя.

Потом А-чун сидел и курил, и в сплетающихся кольцах дыма перед его глазами возникали очертания лица и фигуры Той Шей, прислуги «за все» в доме его дяди в деревне близ Кантона; для этой девушки работа никогда не кончалась, и за год труда она получала один доллар. И самого себя, молодого, видел он в клубах дыма, юношу, который восемнадцать лет надрывался на полях своего дяди за чуть бóльшую плату.

И теперь он, крестьянин А-чун, дает своей дочери в приданое триста тысяч лет такого труда. А эта дочь — лишь одна из двенадцати. Эта мысль не вызвала в нем торжества. Он подумал, как забавен и непонятен мир; и он засмеялся и вывел мамашу А-чун из задумчивости, истоки которой, он знал, лежали в скрытых глубинах ее существа, куда ему никогда не удавалось проникнуть.

Однако слух о намерении А-чуна дошел по назначению, и капитан Хиггинсон, забыв о контр-адмиральском чине и своей высокопоставленной семье, взял в жены триста тысяч долларов, а также утонченную и образованную девицу, которая была на одну тридцать вторую полинезийкой, на одну шестнадцатую итальянкой, на одну шестнадцатую португалькой, на одиннадцать тридцать вторых англичанкой и американкой и наполовину китайкой.

Щедрость А-чуна сделала свое дело. Девицы А-чун стали буквально нарасхват. Следующей оказалась Клара, однако когда секретарь управления Территорией сделал ей официальное предложение, А-чун объявил, что ему придется подождать: сначала должна выйти замуж Мод, вторая дочь. Это был мудрый шаг. Теперь вся семья оказалась заинтересованной в замужестве Мод; дело сладилося в три месяца, Мод вышла замуж за Неда Гемфриса, иммиграционного чиновника Соединенных Штатов. Оба новобрачных выражали недовольство, так как получили в приданое всего двести тысяч долларов. А-чун объяснил, что его первоначальная щедрость имела целью сломать лед; теперь дело сделано, и, естественно, его дочери пойдут по более низкой цене.

После Мод настала очередь Клары; и потом на протяжении двух лет свадебные церемонии в бунгало следовали одна за другой.

Между тем А-чун не терял времени даром. По частям он ликвидировал капиталовложения. Он продал свою долю в двух десятках предприятий и шаг за шагом, стараясь не вызвать на рынке падений цен, избавился от своих огромных вложений в недвижимость. Напоследок падение цен все-таки произошло, но он продавал, хотя и себе в убыток. Он видел: первые тучки уже собираются на горизонте. Ко времени замужества Люсиль пресипатательства и завистливые шепотки уже достигли ушей А-чуна. В воздухе носились проекты и контр-проекты насчет того, как добиться расположения А-чуна и построить его против того или иного зятя, а то и против всех зятьев, разумеется, кроме одного. Все это отнюдь не помогало А-чуну вкушать мир и спокойствие, на которые он рассчитывал в старости.

А-чун спешил. Уже долгое время он состоял в переписке с крупнейшими банками Шанхая и Макао. Каждым пароходом в течение нескольких лет шли в те дальневосточные банки переводные векселя на имя некоего А-чуна. Вклады становились все крупнее.

Две младшие дочери А-чуна не были пока замужем. Он решил не мешкать и выделил каждой по сто тысяч; деньги лежали в Гавайском банке, приносили проценты и ожидали свадебных церемоний обеих девиц. Альберт занялся делами фирмы «А-чун и А-янг», так как старший, Гарольд, предпочел взять свои четверть миллиона и отправился жить в Англию. Младший, Чарльз, получив сто тысяч и опекуна, должен был пройти курс обучения в институте Кели. Мамаше А-чун было передано бунгало, дом в горах на Танталусе и новая резиденция на взморье, построенная взамен той, которую А-чун продал властям. Кроме того, мамаше А-чун предназначались полмиллиона долларов, надежно помещенных.

Наконец А-чун был готов к кардинальному решению проблемы. В одно прекрасное утро, когда семья сидела за завтраком, — А-чун позаботился о том, чтобы все зятья и их жены были в сборе, — он объявил о своем решении возвратиться на землю предков. В ясной, краткой речи он объяснил, что достаточно обеспечил свою семью; тут же А-чун изложил ряд правил, которые, он уверен, помогут — так он сказал — семье жить в мире и согласии.

Помимо того, он дал своим зятьям различные деловые советы, прочитал небольшую проповедь о преимуществах умеренности и надежных вкладов и поделился с ними своими всеобъемлющими знаниями относительно промышленности и деловой жизни на Гавайях. Затем он приказал подать эки-

паж и вместе с рыдающей мамашей А'Чун отбыл к тихоокеанскому почтовому пароходу. В бунгало воцарилась паника. Капитан Хиггинсон в исступлении требовал насильно вернуть А-чуна. Дочери лили обильные слезы.

— Старик, должно быть, сошел с ума.— Высказав такое предположение, муж одной из них, бывший федеральный судья, немедленно отправился в соответствующее учреждение, чтобы навести справки. Вернувшись, он сообщил, что А-чун, оказывается, побывал там накануне, потребовал освидетельствования, которое и прошел с блеском. Итак, ничего другого не оставалось, как спуститься к пристани и сказать «до свидания» маленькому пожилому человечку; он помахал им на прощание с верхней палубы, в то время как огромный пароход медленно нащупывал носом путь в океан между коралловыми рифами.

Однако маленький пожилой человечек не собирался ехать в Кантон. Он слишком хорошо знал свою страну и железную хватку мандаринов, чтобы рискнуть появиться там с кругленькой суммой денег, которая у него оставалась. Он направлялся в Макао. А-чун привык пользоваться почти неограниченной властью и, естественно, стал высокомерен, как монарх. Но когда он сошел на берег в Макао и прибыл в лучший европейский отель, клерк отказался предоставить ему номер. Китайцы не допускались в этот отель. А-чун потребовал вызвать управляющего и получил оскорбительный ответ. Тогда он уехал, но через два часа снова был в отеле. Пригласив клерка и управляющего, он уплатил им жалованье за месяц вперед и уволил их. А-чун сам стал хозяином отеля. Много месяцев, пока в окрестностях города строился его великолепный дворец, А-чун занимал самые роскошные апартаменты отеля. И очень быстро, со свойственной ему ловкостью, А-чун добился увеличения доходов отеля с трех процентов до тридцати.

Неприятности, в предвидении которых А-чун сбежал, начались чрезвычайно скоро. Кое-кто из зятьев неудачно поместил свои деньги, нашлись и такие, что промотали приданое дочерей А-чуна. Поскольку старик был вне пределов досягаемости, они обратили взоры на мамашу А'Чун и ее полмиллиона и, естественно, испытывали друг к другу отнюдь не самые теплые чувства.

Юристы наживали состояния, разбирая правильность формулировок доверенностей. Гавайские суды были завалены исками, встречными исками и ответными исками. Дело дошло даже до полицейских судов. Во время некоторых ожесточенных стычек от брани стороны перешли к рукоприкладству.

Дабы прибавить вес словам, в ход были пущены тяжелые предметы вроде цветочных горшков. И вот возникали процессы о диффамации; они тянулись до бесконечности, и сенсационные показания свидетелей держали весь Гонолулу в постоянном возбуждении.

А во дворце, окруженный дорогими его сердцу атрибутами восточной роскоши, А-чун безмятежно покуривал трубочку и прислушивался к суматохе за океаном. И каждый почтовый пароход увозил из Макао в Гонолулу письмо, написанное на безукоризненном английском языке и отпечатанное на американской пишущей машинке. В письмах А-чун, приводя подходящие к случаю цитаты и правила, призывал семью жить в мире и согласии. Что же касается его самого, то он далек от всего этого и целиком удовлетворен жизнью. Он добился желанного покоя. Изредка А-чун посмеивался и потирал руки, а в его раскосых черных глазах вспыхивал лукавый огонек при мысли о том, как забавен мир. Ибо долгие годы жизни и размышлений укрепили в нем это убеждение, что мир, в котором мы живем,— чрезвычайно забавная штука.

ШЕРИФ КОНЫ

— Да, здешний климат нельзя не полюбить,— сказал Кадуорт в ответ на мой восторженный отзыв о побережье Коны.— Я приехал сюда восемнадцать лет назад, совсем юнцом, только что окончив колледж, да тут и остался. На родину езжу редко, только погостить. Предупреждаю: если есть на земле местечко, дорогое вашему сердцу, не задерживайтесь здесь надолго, не то Кона станет вам милее.

Разговор этот мы вели после обеда на широкой террасе. Терраса выходила на север, но в таком чудесном климате это не имело никакого значения.

Потушили свечи. Слуга-японец в белой одежде, скользя неслышно, как призрак, в серебряном лунном свете, принес нам сигары и скрылся, словно растаял во мраке бунгало. Сквозь листву бананов и легуа я смотрел вниз, туда, где ниже зарослей гуавы, в тысяче футов под нами, тихо плескалось море. Вот уже целую неделю, с тех пор как я сошел на берег с каботажного суденьшка, я жил у Кадуорта, и за все это время ни разу не видел, чтобы ветер хотя бы покрыл рябью безмятежную гладь моря. Здесь, правда, иногда дуют бризы, но это легчайшие из ветерков, когда-либо веявших над островами вечного лета. Их и ветром назвать нельзя,— они подобны вздохам, протяжным, блаженным вздохам отдыхающего мира.

— Страна лотоса,— сказал я.

— Да, страна, где один день похож на другой и каждый из них — день райской жизни,— отозвался мой собеседник.— Здесь никогда ничего не случается. Здесь не слишком жарко и не слишком холодно. Все в меру. Вы заметили, как дышат по очереди море и земля?

Действительно, я наблюдал это чудесно-ритмичное дыхание. Каждое утро на берегу поднимался легкий ветерок и, овеяв землю нежнейшей и легчайшей струей озона, медленно

уходил к морю. Играя над морем, этот бриз слегка затемнял блеск его глади, и, куда ни глянь, длинные полосы воды переливались, струились, волновались под капризными поцелуями ветра. А по вечерам я следил, как замирает дыхание моря, сменяясь божественным покоем, и слушал, как тихо дышит земля между кофейными деревьями и баобабами.

— Это страна вечной тишины,— сказал я.— Дуют здесь когда-нибудь сильные ветры? Настоящие? Вы знаете, о каких я говорю.

Кадуорт покачал головой и указал на восток.

— Как они могут дуть, когда им преграждает путь такой барьер?

Бдали высились громады гор Мауна-Кеа и Мауна-Лоа, заслоняя половину звездного неба. На высоте двух с половиной миль над нашими головами они возносили свои одетые снегом вершины,— даже тропическое солнце было не в силах этот снег растопить.

— Готов поручиться, что в тридцати милях отсюда ветер сейчас дует со скоростью сорока миль в час.

Я недоверчиво усмехнулся.

Кадуорт подошел к телефону на террасе. Он вызывал по очереди Уаймею, Кохалу и Гамакуа. И по долетавшим до меня отрывочным фразам я понял, что говорят о ветре в тех местах: «Значит, бешеный шторм?.. Валит с ног, да?.. И сколько времени это уже длится?.. Всего неделю?.. Алло, Эйб, это ты?.. Да, да. А ты все еще не бросил свою затею — разводить кофе на берегу Гамакуа?.. К черту твои защитные насаждения! Ты бы посмотрел на *мои* деревья!..»

— В Гамакуа настоящая буря,— сказал мне Кадуорт, повесив трубку.— Я всегда подсмеиваюсь над попытками Эйба разводить кофе. У него плантация в пятьсот акров, и он творит чудеса, защищая ее от ветра. Но как там корни держатся в земле, не понимаю, хоть убейте. Ветрено ли там? Да ведь в Гамакуа всегда дуют сильные ветры. Из Кохалы сообщают, что шхуна под парусами, на которых взято по два рифа, идет против ветра по проливу между Гавайей и Мауи и ей туго приходится.

— Сидя здесь, трудно себе это представить,— сказал я, все еще не убежденный.— Неужели же хоть слабые порывы этих ветров никогда не проникают сюда каким-нибудь окольным путем?

— Никогда. Наш береговой бриз не имеет ничего общего с ветрами по ту сторону Мауна-Кеа и Мауна-Лоа. Он чисто местный. Понимаете, земля излучает свое тепло быстрее, чем

море, и потому ночью, когда она остывает, ветер дует с берега. А днем земля нагревается сильнее, и ветер дует с моря... Вот вслушайтесь! Теперь дышит земля: поднимается горный ветер.

Я и в самом деле услышал, как ветерок, приближаясь, тихо шелестит в листве кофейных деревьев, шевелит плоды баобаба и вздыхает среди стеблей сахарного тростника. На террасе воздух все еще был недвижим. Но вот долетело и сюда первое дуновение горного ветра, мягкое, полное пряного аромата, прохладное. И что это была за дивная прохлада, ласкающая, как шелк, хмельная, как вино! Только горный ветер Коны приносит такую упоительную свежесть.

— Теперь вы понимаете, почему я восемнадцать лет назад влюбился в Кону? — спросил Кадуорт. — Я не смогу никогда отсюда уехать. Это было б ужасно, я бы, кажется, умер с тоски. Еще один человек любил Кону так же, как я. Пожалуй, даже сильнее: ведь он родился здесь, на побережье. Он замечательный человек и мой лучший друг, ближе родного брата. Но он покинул Кону — и не умер.

— А что его заставило уехать? — спросил я. — Любовь? Женщина?

Кадуорт покачал головой.

— Нет. И никогда он не вернется сюда, хотя сердце свое оставил здесь и до самой смерти не разлюбит Коны.

Мой собеседник некоторое время молчал, засмотревшись на береговые огни Каула внизу. А я курил и ждал.

— Вы спрашивали, не женщина ли тут замешана. Нет. Он был влюблен в свою жену. И детей у него было трое, их он тоже любил. Они теперь в Гонолулу. Мальчик уже учится в колледже.

— Так что за причина?.. Какой-нибудь опрометчивый поступок? — помолчав, спросил я, на этот раз уже нетерпеливо. Он снова отрицательно потряс головой.

— Нет, ни в каком преступлении он не был виновен, да его ни в чем и не обвиняли. Он был шерифом Коны.

— У вас пристрастие к парадоксам, — сказал я.

— Да, вероятно, это похоже на парадокс, — согласился Кадуорт. — В том-то и весь ужас.

С минуту он смотрел на меня испытующе. И вдруг отрывистым тоном начал свой рассказ:

— Он был прокаженный. Нет, не от рождения — с проказой не рождаются. Он заболел ею. Этот человек... — ну, да не все ли равно, зачем скрывать его имя? — Лайт Грегори. Каждый камаина знает его историю. Лайт — чистейший американец, но он сложен, как вожди старой Гавайи. Ростом в шесть футов три дюйма, а весом двести двадцать фунтов, и при этом весь из

мускулов и костей, ни одной унции жира. Я не встречал человека сильнее его — это настоящий великан, атлет. Не человек, а бог! И он был моим другом. Душа и сердце у него такие же большие и такие же прекрасные, как его тело.

Скажите, что бы вы сделали, если бы увидели своего друга, брата, на краю пропасти? Ноги у него скользят, он вот-вот сорвется, а вы ничем не можете ему помочь. Это самое пережил я. Ничего нельзя было сделать! Я видел, как этот ужас надвигается, — и был бессилен. Господи, что я мог сделать? Страшная болезнь уже наложила на его лицо злобный и неотвратимый отпечаток. Никто еще не замечал этих признаков. Я один видел их — вероятно, потому, что любил Лайта. Видел, но не хотел верить глазам: это было слишком страшно. Однако признаки были. Сначала припухли мочки ушей — слегка, едва заметно! Месяцами я наблюдал это и вопреки всему надеялся, что ошибаюсь. Потом чуть-чуть потемнела кожа над бровями. Вначале это напоминало легкий загар. И я хотел бы думать, что это загар, если бы кожа в этом месте не поблескивала как-то странно: по ней словно пробегали отсветы. Так хотелось верить, что это просто загар, однако я уже не мог обманывать себя. А ведь никто еще не замечал страшных признаков (никто, кроме Стивена Калюны, — это я узнал только позднее). Один я видел, как надвигается несчастье, отвратительное, невыразимо ужасное... Но я не хотел заглядывать вперед. Не мог: очень уж страшно было. И по ночам я плакал.

Он был мой друг. Мы вместе охотились на акул, на Ниихау и диких животных на Мауна-Кеа и Мауна-Лоа, объезжали лошадей и клеймили быков на ранчо Картера. Гонялись за козами по всему Халеакала. Лайт учил меня нырять и плавать во время прилива, и в конце концов я почти сравнялся с ним в этом искусстве, а он был искуснее любого канака. Он у меня на глазах нырял на глубину в пятнадцать морских саженей и оставался под водой целых две минуты. На море он был человек-амфибия, а по горам лазал, как настоящий альпинист, взбираясь туда, куда забредали только дикие козы. Ничего он не боялся. Он находился на борту «Люги», когда она потерпела крушение, и, прыгнув за борт, проплыл тридцать миль за тридцать шесть часов — это во время сильного шторма! Самые бурные волны, которые нас с вами превратили бы в студень, его не могли остановить. Он был велик и могуч, как бог. Вместе пережили мы с ним революцию¹, и оба были романти-

¹ Имеется в виду «революция» 1893 года. Попытка королевы гавайской Лилиукалани защитить национальные интересы и ограничить дальнейшее закрепление американского влияния вызвала в 1893 году ликвидацию монархии на Гавайях, которая была подготовлена и проведена агентами США, хотя и называлась «революцией». В 1898 году республика Гавайи «присоединилась» к США.

ками-монархистами. Лайт был дважды ранен. Его приговорили к смерти, но у республиканцев рука не поднялась на такого человека. А он только смеялся над ними. Позднее ему воздали должное и назначили шерифом Коны.

Он был простодушен, этот большой ребенок, так и не ставший взрослым. Склад его ума не отличался сложностью, в ходе мыслей не было никаких хитросплетений и вывертов. Он всегда действовал напрямик и смотрел на вещи просто.

Лайт был сангвиник. Я в жизни не встречал человека столь оптимистичного, довольного всем и счастливого. Он ничего не требовал от жизни: ведь у него было все, чего можно пожелать. Жизнь расплатилась с ним сполна и наличными, за ней не числилось никакого долга. Он получил все авансом: великолепное тело, железное здоровье, душевную стойкость и скромность. Чего ему еще было желать? Физически он был совершенством. Ни разу в жизни не болел, не знал, что такое головная боль, и, когда я страдал от нее, он смотрел на меня с удивлением и смешил меня своими неловкими попытками выразить сочувствие. Да, он не понимал, не мог понять, что такое головная боль. Великий был оптимист!.. Еще бы! Как не быть оптимистом при такой поразительной жизнеспособности и невероятном здоровье!

Вот вам пример того, как он верил в свою счастливую звезду и как оправдана была эта вера. Когда он был еще юнцом и мы с ним только что познакомились, он однажды вздумал сыграть в покер в Уайлуку. Среди игроков был здоровенный немец по фамилии Шульц, он вел себя отвратительно — грубо и деспотически властвовал за игорным столом. Ему в тот день везло, и он стал уже совсем невыносим. Тут пришел Лайт Грегори и сел играть с ними.

Первым объявил игру Шульц, поставив ставку втемную. Лайт ставку принял, остальные тоже, и Шульц заставил выйти из игры всех, кроме Лайта. Лайту не понравился наглый тон немца, и он, в свою очередь, повысил ставку. Шульц ответил тем же. Лайт повысил снова. Так они состязались. А знаете, какие карты были на руках у Лайта? Два короля и три мелких трефы. Какой уж там покер! Но Лайт не в покер играл, он вел игру, в которой ставкой был его оптимизм. Он не знал, какие карты у Шульца, однако все повышал и повышал ставку, пока тот не взвыл. А ведь у немца-то было на руках три туза! Подумайте только! Имея на руках двух каких-то королей, человек заставляет противника с тремя тузами брать прикуп и отступить!

Итак, Шульц прикупил две карты. Сдавал второй немец, приятель Шульца. Лайт знал уже, что играет против трех одинаковых карт. И что же, вы думаете, он сделал? Что бы вы сделали на его месте? Конечно, прикупили бы три карты, а королей придержали. Но Лайт поступил иначе. Ведь то была игра на оптимизм. Он сбросил королей, оставив себе три трефы, и прикупил две карты. Он даже не взглянул на них — смотрел через стол на Шульца, ожидая, чтобы тот объявил ставку. И Шульц поставил очень крупную сумму. Имея на руках трех тузов, он был уверен, что обыграет Лайта: ведь если у Лайта и есть три одинаковые карты, рассуждал немец, они во всяком случае меньше тузов. Бедняга Шульц! Его предпосылки были совершенно правильны, ошибался он только в одном: он полагал, что Лайт играет в покер. Они сражались пять минут, и попеременно то один, то другой увеличивал ставку. Наконец уверенность Шульца начала таять. А Лайт за все время так и не взглянул в прикупленные им две карты — и Шульц это знал. Я видел, как он раздумывал секунду-другую, потом вдруг оживился и опять начал повышать ставку. Но это было последнее усилие: напряжение было слишком велико, и Шульц наконец не выдержал.

— Послушайте, Грегори, — сказал он. — На что вы играете? Не нужны мне ваши деньги. Но ведь у меня на руках...

— Все равно, что бы у вас там ни было, — перебил его Лайт. — Вы же не знаете еще, что у меня. Пожалуй, пора и взглянуть...

Он посмотрел в свои карты и повысил ставку еще на сто долларов. И все началось сначала. Опять то один, то другой повышал ставку, пока Шульц наконец не сдался и, прекратив игру, выложил на стол свои три туза. Лайт открыл карты. Они все были одной масти: оказалось, что и прикупил он тоже две трефы...

Вот так он сломил Шульца: тот никогда больше не играл с прежней смелостью и азартом. Он потерял веру в себя и сильно нервничал за игрой.

— Но как тебе это удалось? — спросил я потом у Лайта. — Ведь когда он прикупил две карты, ты уже понимал, что у тебя меньше. И ты даже не взглянул на свой прикуп!

— Незачем мне было смотреть, — ответил Лайт, — я все время не сомневался, что там еще две трефы. Иначе и быть не могло. Ну и что же? Неужели ты думал, что я спасую перед этим толстым немцем? Нет, я и мысли не допускал, что он может меня победить! Сдаваться я не привык. Я всегда уверен,

что победа будет за мной. Веришь ли, я был бы просто поражен, если бы у меня не оказались на руках одни трефы.

Да, вот каков был Лайт Грегори! Теперь вы сами можете судить о силе его оптимизма. По его собственному выражению, ему так и полагалось — всегда побеждать, преуспевать и быть счастливым. И победа над Шульцем, как и десять тысяч других удач, укрепляла его веру в себя. Ведь ему действительно всегда сопутствовал успех. Вот почему он ничего не боялся. Он верил, что с ним никакая беда не может стрястись, потому что не знал в своей жизни несчастий. Когда «Люга» потерпела крушение, он проплыл тридцать миль, пробыл в воде две ночи и день. И все это страшное время ни на миг не терял надежды, не сомневался в том, что спасется. Он *знал*, что выберется на сушу. Так он сам мне сказал, и я верю, что он сказал правду.

Такой уж это был человек. Человек особой, высшей породы, непохожий на нас, жалких смертных. Он не знал обычных человеческих невзгод и болезней. Все, чего он хотел, само давалось ему в руки. Когда он ухаживал за красавицей из семьи Кэрузер, у него была целая дюжина соперников, но девушка вышла за него и была ему доброй женой, самой любящей женой на свете. Он хотел иметь сына — и родился сын. Потом захотел дочь и второго сына. Исполнилось и это желание. И дети у него хорошие, без малейшего изъяна, грудные клетки у них, как бочонки. Они унаследовали от Лайта его силу и здоровье.

Потом пришла беда. И наложила на этого счастливица страшное клеймо зверя. Я целый год наблюдал, как оно все больше обозначается, и сердце у меня разрывалось. А Лайт ничего не подозревал, да и никто другой не догадывался, кроме того проклятого хапа-хаоле, метиса Стивена Калюны. Но я тогда не знал, что и Стивен тоже заметил признаки проказы. Да, чуть не забыл: знал это, кроме нас двоих, еще доктор Строубридж, федеральный врач, — у этого глаз был наметан: ведь в его обязанности входило осматривать больных, у которых подозревали проказу, и отправлять зараженных на приемный пункт в Гонолулу. Да и Стивен Калюна с одного взгляда распознавал эту болезнь: она свирепствовала в их семье, и не то четверо, не то пятеро его родственников были уже отосланы на Молокаи.

Стивен был зол на Лайта из-за своей сестры. Когда у нее заподозрили проказу, брат увез ее и спрятал где-то, прежде чем она попала в руки доктора Строубриджа. А Лайт, как шериф Коны, обязан был ее разыскать и пытался это сделать.

В тот вечер мы все собрались в Хило, в баре Неда Остина. Когда мы пришли, Стивен Калюна был уже там и сидел один. Он был явно нетрезв и настроен воинственно. Лайта позабавила какая-то шутка, и он засмеялся своим громким, веселым смехом большого ребенка. Калюна презрительно сплюнул. Лайт это заметил, как и все остальные, но решил не обращать внимания на грубияна. Однако Калюна искал ссоры: он не простил Лайту попыток разыскать и задержать его сестру и в тот вечер всячески подчеркивал свою неприязнь. Но Лайт делал вид, будто ничего не замечает. Я думаю, он в душе немного жалел Калюну. Самая тяжелая обязанность шерифа — разыскивать прокаженных: не очень-то приятно врываться в чужой дом и уводить оттуда ни в чем не повинных отца, мать или ребенка, а затем отправлять их в вечную ссылку на Молокаи! Разумеется, это необходимо для охраны общественного здоровья, и, поверьте, Лайт поступил бы точно так же с родным отцом, если бы у того заподозрили проказу.

Наконец Калюна выпалил, обращаясь к Лайту:

— Эй, Грегори, вы думаете, что отыщете Каланивео? Ну, нет, не надейтесь.

Каланивео звали сестру Стивена Калюны. Услышав этот оклик, Лайт посмотрел на Калюну, но ничего не ответил. Калюна окончательно взбесился. Он ведь все время распалял себя.

— Знаете, что я вам скажу? — закричал он. — Сами вы угодите на Молокаи раньше, чем отправите туда Каланивео. Хотите знать, кто вы такой? Вы не имеете права находиться в обществе чистых людей. Немало народу вы угнали на Молокаи и повсюду кричите, что это ваш долг, а между тем отлично знаете, что вам самому место на Молокаи!

Никогда еще я не видел Лайта в таком гневе! Проказа — этим, знаете ли, не шутят!

Лайт одним прыжком очутился возле Калюны и, схватив его за горло, поднял со стула. Он тряс метиса так свирепо, что у того зубы стучали.

— Ты что этим хочешь сказать? — крикнул Лайт. — Сию минуту отвечай, или я выжму из тебя правду!

Как вы знаете, на Западе есть одна фраза, которую полагаются произносить с улыбкой. То же принято у нас на островах, когда речь идет о проказе. Каков бы ни был Калюна, трусом его не назовешь. Как только Лайт отпустил его, он ответил:

— Что я хотел сказать? Да то, что вы сами прокаженный.

Лайт неожиданно с размаху посадил на стул метиса, не ожидавшего, что так легко отделается, и захохотал весело, от

души. Но смеялся только он один, и, через секунду заметив это, Лайт обвел взглядом нас всех. Я подошел к нему и пытался его увести, но он не обращал на меня внимания. Он смотрел, как загишнотизированный, на Стивена Калюну, а тот тер себе шею — нервно, торопливо, словно хотел поскорее уничтожить заразу в том месте, к которому прикоснулись пальцы Лайта. Видно было, что он делает это инстинктивно, непривольно.

Лайт опять оглянулся на нас, медленно переводя взгляд с одного на другого.

— О, господи, ребята! О, господи! — выговорил он хриплым, испуганным шепотом. В голосе его клокотал смертельный ужас, а ведь он, мне думается, до этого вечера не знал в жизни страха.

Впрочем, через минуту его безграничный оптимизм взял верх, и он снова засмеялся.

— Шутка недурна, кто бы ее ни придумал, — сказал он. — Ну-с, сегодня я вас всех угощаю. Я было испугался, по правде сказать... Никогда больше не шутите так ни над кем, ребята. Это слишком страшно. То, что я пережил за одну минуту, хуже тысячи смертей... Подумал о жене и детишках и...

Голос его дрогнул, оборвался, взгляд опять остановился на метисе, все еще потиравшем шею. Видно было, что Лайт ошеломлен, расстроен.

— Джон, — сказал он, повернувшись ко мне.

Его звучный и приятный голос стоял еще у меня в ушах, но я не в силах был отозваться: к горлу подступил комок, и я знал, что лицо мое выдает меня.

— Джон! — позвал он снова и подошел ближе.

Он обратился ко мне с какой-то робостью, а слышать робость в голосе Лайта Грегори было ужаснее всех ночных кошмаров!

— Джон, Джон, что все это значит? — повторил Лайт еще неувереннее. — Ведь это шутка, правда? Джон, вот моя рука. Разве я протянул бы ее тебе, если бы был болен? Джон, разве я прокаженный?

Он протянул руку, и я подумал: «А, будь что будет! К черту все, ведь он мой друг». И пожал ему руку. У меня защемило сердце, когда я увидел, как просияло его лицо.

— Да, да, это шутка, Лайт, — сказал я. — Мы сговорились подшутить над тобой. Но, пожалуй, ты прав: такими вещами не шутят. И больше это не повторится.

Лайт не засмеялся, он только улыбнулся, как человек, ко-

торый только что очнулся от страшного сна и все еще не может забыть его.

— Вот и хорошо, — сказал он. — Больше так не шутите, а за выпивкой дело не станет. Должен сознаться, ребята, вы мне на минуту задали-таки страху! Смотрите, меня даже пот прошиб.

Он со вздохом утер потный лоб и направился к стойке.

— Я вовсе не шутил, — отрывисто произнес вдруг Калюна.

Я бросил на метиса уничтожающий взгляд. Я готов был убить его на месте, но не решился ни сказать что-либо, ни ударить его: это только ускорило бы катастрофу, а я все еще питал безумную надежду предотвратить ее.

— Нет, это не шутка, — повторил Калюна. — Вы прокаженный, Лайт Грегори, и не имеете права прикасаться к здоровому телу честных людей.

Тут Грегори вскипел.

— Шутка зашла уже слишком далеко! Прекрати это, слышишь, Калюна? Прекрати, говорю, или я тебе все кости переломлю!

— Сперва ступайте-ка, пусть сделают бактериологическое исследование, — возразил Калюна. — И если окажется, что я вру, тогда уж бейте меня до смерти, раз вам так этого хочется. Да вы бы хоть поглядели на себя в зеркало! Это же сразу видно. Всякому видно. У вас делается *львиное* лицо. Вот уже и кожа над бровями потемнела.

Лайт долго смотрел на себя в зеркало, и я видел, как у него трясутся руки.

— Ничего не вижу, — сказал он наконец. Затем обрушился на хапа-хаоле:

— Черная у тебя душа, Калюна! Скажу прямо: напугал ты меня так, как ни один человек не имеет права пугать другого. И ты ответишь за свои слова. Я сейчас пойду прямо к доктору Строубриджу выяснить это дело. И когда вернусь, берегись!

Ни на кого не глядя, он пошел к двери.

— Подожди меня здесь, Джон, — сказал он, жестом остановив меня, когда я хотел пойти за ним. И вышел.

Мы все стояли неподвижно, безмолвно, как призраки.

— Ведь это же правда, — сказал Калюна. — Вы сами могли убедиться.

Все посмотрели на меня, и я утвердительно кивнул. Гарри Барнли поднес стакан ко рту, но тотчас, не отпив ни капли, поставил его на прилавок так неловко, что расплескал половину виски. Губы у него дрожали, как у ребенка, который сейчас расплачется. Нед Остин с грохотом открыл холодильник. Он ничего там не искал и вряд ли даже сознавал, что делает.

Никто из нас не говорил ни слова. У Гарри Барнли губы еще сильнее задрожали, и вдруг он в порыве дикой злобы ударил Калюну кулаком по лицу, раз и другой. Мы не пытались разнять их. Нам было безразлично, пусть бы даже Барнли убил метиса. Бил он его жестоко. А мы не вмешивались. Я даже не помню, когда Барнли оставил беднягу в покое и тот смог убраться. Слишком все мы были потрясены.

Позднее доктор Строубридж рассказал мне, что произошло у него в кабинете. Он засиделся там, составляя какой-то отчет, и вдруг в кабинете появился Лайт. Лайт к тому времени уже ободрился и вошел быстрыми и легкими шагами. Он еще немного сердился на Калюну, но к нему вернулась прежняя уверенность в себе. «Что мне было делать?—говорил доктор.—Я знал, что он болен, я уже несколько месяцев видел, как надвигается эта беда. Но у меня не хватило духу ответить на его вопрос. Не мог я сказать «да»! Признаюсь, я не выдержал и разрыдался. А он умолял меня сделать бактериологическое исследование. «Срежьте у меня кусок кожи, док,—твердил он,—и сделайте исследование».

Но, видно, слезы доктора Строубриджа подтвердили опасения Лайта. На другое утро «Клодина» отходила в Гонолулу. И мы перехватили Лайта уже на пристани. Понимаете, он решил ехать в Гонолулу и заявить о своей болезни во врачебном управлении. И ничего мы не могли с ним поделать! Слишком много больных отправил он на Молокаи и не мог увиливать, когда дело коснулось его самого. Мы уговаривали его ехать в Японию. Но он и слышать не хотел об этом. «Я должен нести свой крест, ребята»,—вот все, что он отвечал нам. И повторял это снова и снова, как одержимый.

Он уладил все свои дела и с приемного пункта в Гонолулу отправился на Молокаи.

Там здоровье его пошатнулось. Местный врач писал нам, что это уже не Лайт, а тень прежнего Лайта. Видите ли, он то-сковал по жене и детям. Он знал, что мы о них заботимся, но и это не могло залечить рану. Месяцев через шесть или семь я поехал на Молокаи навестить его. Я сидел по одну сторону зеркального окна, он — по другую. Мы смотрели друг на друга сквозь стекло и переговаривались при помощи трубы вроде рупора. Все мои уговоры были тщетны: Лайт решил оставаться на Молокаи. Добрых четыре часа я спорил с ним и наконец изнемог. К тому же мой пароход уже давал гудки.

Однако мы не могли с этим примириться. Через три месяца мы зафрахтовали шхуну «Алкион». На ней контрабандисты провозили опиум, и летела она под парусами со сказочной

быстротой. Хозяин ее, швед, за деньги готов был на все, и мы за изрядную сумму договорились с ним о рейсе в Китай. Шхуна отплыла из Сан-Франциско, а через несколько дней и мы вышли в море на шлюпе Лендхауза. Это была яхта грузоподъемностью в пять тонн, но мы лавировали на ней пятьдесят миль против ветра на северо-восток. Вы спрашиваете насчет морской болезни? Никогда в жизни я не страдал так от нее, как в тот раз. Когда берег скрылся из виду, мы встретили «Алкиона». Барнли и я перешли на шхуну.

К Молокаи мы подошли около одиннадцати часов вечера. Шхуна легла в дрейф, а мы на вельботе пробились через буруны и высадились в Калауэо — знаете, то место, где умер отец Дамьен. Швед, хозяин «Алкиона», был молодчина. Засунув за пояс пару револьверов, он пошел с нами. Втроем мы прошли около двух миль по полуострову до Калаупапы. Представьте себе наше положение: поздней ночью искать человека в поселке, где больше тысячи прокаженных! Да если бы поднялась тревога, нам была бы крышка! Место незнакомое, тьма, ни зги не видать. Выскочили собаки прокаженных, подняли лай... Мы брели наугад, спотыкаясь в темноте, и заблудились.

Тогда швед перешел к решительным действиям. Он повел нас к первому попавшемуся дому, стоявшему на отлете. Захлопнув за собой дверь, мы зажгли свечу. В комнате было шестеро прокаженных. Мы их подняли на ноги, и я обратился к ним на языке туземцев. Нам нужен был кокуа. Кокуа по-ихнему означает «помощник». Так называют туземца, не зараженного проказой, который живет в поселке на жалованье от Врачебного управления; его обязанность — ходить за больными, делать перевязки и так далее. Мы остались в доме, чтобы надзирать за его обитателями, а швед отправился с одним из них разыскивать кокуа. Нашел и привел, держа его всю дорогу под дулом револьвера. Впрочем, кокуа оказался смирным и услужливым. Швед остался в доме на страже, а меня и Барнли кокуа отвел к Лайту. Мы застали его одного.

— Я так и думал, что вы приедете, ребята, — сказал Лайт. — Не касайтесь меня, Джон! Ну, как поживают Нед, Чарли и вся наша компания? Ладно, потом расскажете. Я готов идти с вами. Девять месяцев здесь отмучился, хватит. Где вы оставили лодку?

Мы пошли к тому дому, где нас ждал швед. Но в поселке уже поднялась тревога. В домах загорались огни, хлопали двери. У нас решено было стрелять только в случае крайней необходимости. И, когда нас пытались задержать, мы пустили в ход кулаки и рукоятки револьверов. На меня наскочил ка-

кой-то здоровенный парень, и я никак не мог от него отделаться, хотя дважды хватил его изо всей силы кулаком по лицу. Он вцепился в меня, и мы, упав, покатались по земле. Теперь мы боролись лежа, и каждый пытался одолеть другого. Парень уже брал верх, когда кто-то подбежал к нам с зажженным фонарем,— и я увидел лицо своего противника. Как описать мой ужас! То было не лицо, а только страшные его остатки, разлагающиеся или уже разложившиеся. Ни носа, ни губ, и только одно ухо, распухшее и обезображенное, свисавшее до самого плеча. Я чуть с ума не сошел. Он обхватил меня и прижал к себе так близко, что его болтавшееся ухо коснулось моего лица. Тут я, должно быть, действительно обезумел и принялся колотить его револьвером. До сих пор не знаю, как это случилось, но, когда я уже вырвался, он вдруг впился в мою руку зубами. Часть кисти оказалась внутри этого беззубого рта. Тогда я нанес ему удар револьвером прямо по переносице, и зубы разжались.

Кадуорт показал мне свою руку. При лунном свете я разглядел на ней шрамы. Можно было подумать, что он искусан собакой.

— Наверное, здорово боялись заразы? — сказал я.

— Да. Семь лет жил в страхе. Ведь у этой болезни инкубационный период длится семь лет. Жил я здесь, в Конне, и ждал. Я не заболел. Но за эти семь лет не было ни одного дня, ни одной ночи, когда бы я не смотрел во все глаза вокруг... на все это...

Голос его дрогнул, он поглядел на залитое лунным светом море внизу, потом на снежные вершины гор.

— Невыносимо было думать, что я утрачу все это, никогда больше не увижу Конну. Семь лет!.. Проказа меня пощадила. Но из-за этих лет ожидания я остался холостяком. У меня была невеста. Я не мог жениться, пока были опасения... А она не поняла. Уехала в Штаты и там вышла замуж за другого. Больше я никогда ее не видел...

Как раз в ту минуту, когда я оторвал от себя прокаженного полисмена, послышался стук копыт, такой громкий, словно кавалерийский отряд мчался в атаку. Это наш швед, испуганный суматохой, не теряя времени, заставил тех прокаженных, которых он стерег, оседлать для нас четырех лошадей. Нам уже ничто не мешало продолжать путь: Лайт расправился с тремя кокуа, и мы общими усилиями вырвали Барнли из рук двух других. К этому времени вся колония уже была на ногах, и когда мы мчались прочь, кто-то стал стрелять в нас

из Винчестера — вероятно, Джек Маквей, главный надзиратель на Молокаи.

Ох, что это была за скачка! Лошади прокаженных, седла и поводья прокаженных, тьма, хоть глаз выколи, свист пуль за спиной, а дорога далеко не из лучших. Притом швед ездить верхом не умел, а ему еще вместо лошади подсунули мула.

Но все-таки мы добрались до вельбота и ушли, пользуясь приливом. Отчаливая, мы слышали, как с береговой кручи спускались всадники из Калаупапы...

Вы едете в Шанхай. Так навестите там Лайта Грегори. Он служит у одной немецкой фирмы. Пригласите его пообедать, закажите вино и все, что там найдется самого лучшего, и не позволяйте ему платить — счет пришлите мне. Жена и дети Лайта живут в Гонолулу, и я знаю, что заработок его нужен для них. Он отсылает им большую часть этого заработка, а сам живет отшельником...

И поговорите с ним о Коне. Здесь он оставил свое сердце. Расскажите ему о Коне побольше — все, что знаете.

ПИСАТЕЛЬ СИЛЬНЫХ

«Джек Лондон — писатель сильных» — эти слова из записной книжки поэта-солдата Семена Гудзенко верно определяют суть творчества знаменитого американского прозаика. Не раз в своих произведениях писатель формулировал жизненное кредо — кредо сильной личности. В его устах «удачное приспособление к среде» означает, что человек должен быть не рабом обстоятельств, но их хозяином, должен сам творить себя, не полагаясь на судьбу. Именно так жил Джек Лондон.

Будущий писатель родился 12 января 1876 года в Сан-Франциско, и судьба не сулила ему радужной перспективы. Вечно недоедающим мальчишкой в обносках, вынужденным неустанно подрабатывать, то разнося газеты, то устанавливая кегли в кегельбане, он находил отдушину от будничных тягот в потрепанных томиках приключений. А портовый Окленд с лесом стройных мачт у причала придавал мечтам реальные контуры: какие удивительные края и отчаянные похождения могут ждать за Золотыми Воротами Сан-Францисского залива, ведущими в тихоокеанские просторы.

Целый год копил Джек шесть долларов, необходимые для покупки подержанного ялика. «В открытом ялике он пересекал залив при сильном юго-западном ветре, — пишет Ирвинг Стоун в книге «Моряк в седле», — и матросы с рыбацких шхун говорили, что он плетет небылицы, потому что проделать такое невозможно»¹. А он испытывал свое мужество, давал волю деятельной рискованной натуре — и одновременно искал возможность отрешиться от гнетущего быта с горьким привкусом нужды.

Жизненные обстоятельства, и так довольно тягостные, складывались драматично: отчим покалечился, попав под поезд, и на плечи Джека лег еще больший груз ответственности за семью, оказавшуюся в полной нищете. Удалось устроиться на фабрику — этому периоду будет посвящен рассказ «Отступник» (1906 г.): за сущие гроши предпри-

¹ Стоун И. Моряк в седле. М.: 1984. С. 32.

ниматели превращают подростков в живые механизмы, работающие на износ. Герой рассказа Джонни-отступник, отказавшись от непосильного труда, избирает вольное бродяжничество. Подобно своему герою поступил в 1894 году и Джек, вступив в Братство Дороги, а пока он, пятнадцатилетний, уходит в пираты.

Старые добрые корсарские времена черных флагов и абордажей, знакомые ему по книжным страницам, ушли в прошлое. В заливе Сан-Франциско промышляли лишь отдаленные потомки легендарного Генри Моргана, заметно выродившиеся, уже не мощные испанские галионы грабили они, а занимались вполне тривиальным браконьерством, очищая под покровом ночи чужие устричные отмели. В этом вольном промысле была известная толика мятежной романтики, обаяние дерзкой авантюры, возможность бросить вызов общественному механизму регламентированной наживы и спеси охраняющего его закона, обывательским нравам и фатальной обреченности бессловесной рабочей лошади.

Купив в долг шлюп «Рэзл-Дэзл», Джек с упоением окунается в бурную стихию устричного разбоя, где выпали на его долю и немислимые штормовые рейды, и бесшабашные загулы, и нежная любовь юной Мэми, «королевы пиратов», и коварство конкурентов, пустивших ко дну его судно...

Судьба вскоре предложила поворот довольно ироничный: вместе с закадычным компаньоном Сатаной Нельсоном Джек поступает на службу в рыбачий патруль и теперь уже сам охотится на своих недавних однокашников по устричному промыслу, равно как и на прочих удалыцов-браконьеров залива Сан-Франциско.

В семнадцать лет Джек завербовался матросом на шхуну «Софи Сазерленд», отправившуюся бить котиков к берегам Японии, Кореи. На третий день пути во время шторма ему был доверен штурвал — и Джек с честью выдержал крещение тихоокеанской бурей. В «Путешествии на «Снарке» он с гордостью вспоминает об этом эпизоде.

Первый литературный опыт будущего писателя «Тайфун у берегов Японии» — очерк, рассказывающий о реальном эпизоде на шхуне «Софи Сазерленд», — был опубликован газетой «Сан-Франциско Колл» в 1893 году. Противоборство человеческой воли и мощной разъяренной стихии, личности и суровых обстоятельств — коллизия, типичная для прозы Д. Лондона, разрабатывавшаяся во множестве вариаций, впервые использована им в «Тайфуне у берегов Японии».

«Сан-Франциско Колл» удостоила молодого автора премии, но пройдет еще немало времени, прежде чем Лондон вернется к литературной работе. Впереди был год скитаний по Америке плечом к плечу с другими неприкаянными бродягами — «хобо», жизнь по законам Дороги, сотни и сотни миль на товарняке, блуждания без гроша в кармане... И — пристальное познание все новых сторон действительности,

людских взаимоотношений, торопливо заполненные страницы записной книжки.

Крепкая моряцкая закваска пригодится Джеку Лондону и в пору северной одиссеи, во время золотой лихорадки 1897 года. Хотелось попытаться старательского счастья — и хотя золотоискателя из него не получилось, зато удалось обзавестись золотым запасом удивительных впечатлений. «Никогда, за всю историю Севера никто не рисковал так безрассудно, и никогда еще туда не проникали более отчаянные люди», — вспоминал позднее писатель. По пути в Доусон Джек с товарищами мог застрять в верховьях Юкона. Тысячи золотоискателей топтались тут в нерешительности перед бурными порогами под названием Белая Лошадь. Но молодому морскому волку, выдавшему океанские шторма, не занимать было дерзости и хладнокровия: ведомая Джеком «Красавица Юкона», нагруженная снаряжением, лихо одолела кипящие стремнины.

Морские дали всегда манили Джека Лондона, и давней мечтой было путешествие на собственном судне. В 1903 году он приобрел парусный шлюп «Спрей» («Морская пена»). Многие страницы его романа «Морской волк», вышедшего годом позже, родились непосредственно на палубе «Спрея».

Отправившись в 1904 году на театр действий русско-японской войны корреспондентом газеты «Экзаминер», Джек Лондон нашел возможность еще раз испытать на прочность свои моряцкие навыки. Случилось так, что японские власти не торопились приглашать иностранных журналистов в действующую армию. Деятельная натура Джека не могла с этим смириться: наняв джонку и троих помощников, он совершил отчаянный шестидневный переход по Желтому морю от японского побережья до корейского. «Когда Лондон появился в Чемульпо, — вспоминал очевидец, — я его не узнал. Отморожены уши, пальцы, ноги. Развалина, да и только. Ему это, оказывается, было неважно, зато он добрался до фронта. Хочется сказать, что среди всех храбрецов, каких мне посчастливилось встретить в жизни, Джек Лондон — один из самых отчаянных. В мужестве он не уступит ни одному герою своих романов».

Личность Джека Лондона отчетливо сказалась в его произведениях, ведь он всегда стремился быть искренним в творчестве, как и в жизни. Еще в пору своего литературного становления Джек Лондон, излагая в одном из писем выработанные им принципы повествования, настаивал на том, что автор должен как бы самоустраняться из книги, поступки персонажей должны говорить сами за себя. «Плюньте на себя! Забудьте себя! И тогда мир будет вас помнить!» Это вполне справедливо в отношении литературной техники, однако секрет привлекательности прозы Лондона заключается именно в том, что его сильная и обаятельная личность ощутимо присутствует в его книгах. И кажется, что портрет Джека Лондона — лучшая иллюстрация к каждому тому его произведений. Его знаменитая улыбка произвела особый эффект,

когда в 1909 году писатель вернулся в Сан-Франциско после путешествия на «Снарке». «Словами «улыбка, не сходящая с лица» и наполовину не выразишь, какая у Лондона улыбка,— писала одна из газет.— Это что-то щедрое, душевное, широкое, как морские просторы,— посмотришь, и сердце радуется». Эффект был столь впечатляющ еще и оттого, что «Снарк» сочли погибшим, и многие газеты выразили соболезнование по этому поводу...

«Путешествие на «Снарке» интересно не только своей событийной стороной — ценно то, что писатель позволил себе «не устраняться» из повествования и, можно сказать, оставил нам автопортрет. Что мы можем сказать о нем, пригласившем нас в попутчики на борт «Снарка»?

Он откровенен — ведь он начал свой рассказ с разговора о смысле жизни.

Он с юмором относится к самому себе, а это признак сильной натуры.

Он упорен и жизнерадостен — создание «Снарка» было связано с массой проблем, хлопот, но описываются эти драматические перипетии все с той же легкой улыбкой, что и тропические болезни.

Он храбр — «Снарк» по океанским масштабам скорлупка, владелец же собирается вести его не на воскресный речной пикник, а вокруг света.

Это было самое счастливое время его жизни; удивительное ощущение свободы, любимая Чармиан рядом, готовая делить любые напасти, — он ждет, что скоро она принесет ему сына... Хорошо работается, на борту «Снарка» Лондон писал «Мартина Идена», путевые заметки.

Он никогда уже не будет так безраздельно счастлив, как в эти месяцы на «Снарке». Болезнь не дала совершить кругосветного плавания. Чармиан родила девочку, которая вскоре умерла. А любимец «Снарк» пошел с аукциона — нужно было платить долги. «По иронии судьбы,— пишет Ирвинг Стоун,— оно досталось вербовщикам, набиравшим среди жителей Соломоновых островов работников для каторжного труда на плантациях — такой конец постиг судно, построенное одним из ведущих социалистов мира».

Джек Лондон вернулся из плавания в 1909 году — кругом уже поговаривали, что он сошел с круга, кончился как писатель. В это время Лондон работает по двенадцать часов. Ежедневная норма — тысяча слов. Выходит в свет «Мартин Иден». Пишется роман «Время-не-ждет», первые рассказы о Южных морях.

Пусть путешествие закончилось досрочно, но оно дало новый материал.

«Это дичайший уголок земли,— писал Лондон своему другу с Соломоновых островов.— Очень распространены охота за головами, каннибализм, убийства. В самых опасных местах архипелага мы никогда не расстаемся с оружием и выставаем на ночь еще и дозорных».

Полинезийские рассказы насыщены экзотикой. Тут головы-трофеи белых охотников за золотом скалят зубы, став украшением туземных

хижин. Тут удалец Ра Ундреундре, живший согласно закону своего края «Ешь, не то съедят тебя», имеет на своем гастрономическом счету восемьсот семьдесят два человека... Но чутье Джека Лондона позволило ему понять здешних обитателей, отнестись к ним с уважением и сочувствием.

В одном только рассказе «Зуб кашалота» — целая гамма душевных качеств туземцев. Им свойствен и здравый смысл: вождь Монгондро, выслушав лекцию Стархерста о сотворении мира, резонно возражает — он-де на то, чтобы сделать челнок, потратил три месяца, а тут целый мир — и за шесть дней? И своеобразный юмор — «Что значит такая мелочь, как миссионер?» — и уважение к противнику, признание его достоинств: «Где храбрец?» — поют туземцы, уже неся тело миссионера к печи.

Можно вспомнить и нестигаемую страсть к свободе Мауки, вновь и вновь бегущего из неволи. Для работорговцев Мауки — этот дикий туземец, носящий в носу для украшения ручку от фарфоровой чашки, самую большую свою драгоценность, как чудо воспринимающий вставные зубы белого, живой предмет купли-продажи, за который можно расплатиться табаком и ситцем. Но Мауки вольнолюбив и мужествен, он расправляется со своим врагом, обретает наконец независимость.

Над всякого рода фальшивыми каннибальскими страстями Лондон то и дело иронизирует, как, например, в рассказе «Страшные Соломоновы острова». Главное для него — проявление человеком мужества и достоинства независимо от цвета его кожи.

Есть в рассказах и типичный для Джека Лондона белый герой — таков Дэвид Грифф, центральный персонаж цикла «Сын солнца». Он с готовностью ввязывается в любую авантюру, причем вовсе не обязательно из соображений корысти. «...Мне просто хочется, — говорит Грифф. — А можете ли вы найти какую-нибудь более основательную причину для всех ваших поступков?»

Но удачливый и решительный Грифф куда менее западает в душу, чем Мауки или Кулау-прокаженный. Ведь их мужество — не от играющего в крови удализма, не «от нечего делать», оно имеет особую цену. Им тоже просто хочется, просто хочется — жизни, свободы. Грифф, отказавшись от своих эскапад, ничего не потеряет, кроме острых ощущений, ему лишь скучнее будет существовать. Мауки и Кулау ставят на карту неизмеримо больше...

Время столкнуло на тихоокеанских островах два разных жизненных уклада, две разные эпохи — и столкновение это трагично. «Истинную веру» несли сюда белые миссионеры. Джек Лондон пишет о плодах их деятельности с сарказмом: «И так усердно обращали они канаков и приобщали к благам цивилизации, что ко второму или третьему поколению почти все туземцы вымерли. Евангельские семена упали на добрую почву. Что до миссионеров, то их сыновья и внуки тоже собрали неплохой урожай в виде полноправного владения самими островами...»

Уместно вспомнить строки из записок нашего соотечественника, капитана российского флота Отто Евстафьевича Коцебу, побывавшего в здешних краях за восемьдесят лет до Джека Лондона.

«Новая религия была введена силой...— писал Коцебу.— Были убиты все те, кто не хотел сразу переходить в новую веру. Религиозное рвение породило тигриную ярость в сердцах прежде столь кротких людей. Пролились потоки крови, целые племена были истреблены»¹. И далее: «Миссионерская религия прекратила человеческие жертвоприношения, но на самом деле ей в жертву принесено гораздо больше человеческих жизней, чем когда-либо приносилось языческим богам»². Джек Лондон видел уже закономерные последствия этого зловещего «просветительства».

Прожорливый Ра Ундреундре — дилетант по сравнению с пришлыми карателями, уничтожающими по десять туземцев за каждого белого. И это — суровая и трагическая реальность, а не беллетристический вымысел.

Джек Лондон всегда уважал людей своей крови за упорство, предприимчивость, волю, отдавал даже в известной мере превосходство расе англосаксов. Но честность художника побеждала предрассудки среды. Противоречия подобного рода сказывались в его творчестве — например, в романе «Приключение» (1910), написанном также на полинезийском материале. Но мало кто помнит сейчас роман с таким завлекательным названием — вспоминается совсем иное.

Вспоминается рассказ «Неукротимый белый человек», в котором с горькой усмешкой вкладывает автор знаменательную реплику в уста одного из персонажей: «И вообще это не так уж обязательно — понимать негров. Чем глупее белый человек, тем успешнее он насаждает цивилизацию...»

Вспоминается тот же Дэвид Грифф, пришедший на помощь обитателям Фуатино, этого острова любви, оказавшегося во власти «пиратов двадцатого века» (выражение, которое, можно предположить, пущено в обиход именно Джеком Лондоном: рассказ «Дьяволы на Фуатино» вышел в 1912 году).

Вспоминается, наконец, язычник Отоо с его благородным кодексом чести, Отоо, ставший верным товарищем белого. Он выручает Чарли после кораблекрушения, отбивает у охотников за головами, спасает ценою собственной жизни от акульей пасти... Есть здесь оттенок добровольной подчиненности Отоо, но на общем фоне ситуации этот союз двух честных сердец, пусть не во всем равный, — огромное достижение. Вот в таком содружестве видит писатель идеал отношений между расами, подобная модель встречается и в его северных рассказах.

¹ Коцебу О. Новое путешествие вокруг света в 1823—1826 гг. М.: 1987. С. 102.

² Там же. С. 107.

Сила убеждений Джека Лондона заключается в том, что волю и мужество он тогда считает подлинными достоинствами, когда проявляются они в сплаве с благородством цели, душевной честностью и чистотой принципов. Писатель верил в сильного человека — ведь «в короткие мгновения полета он живет так, как никогда не жил бы, оставаясь на месте». И тем полнее счастье, чем длительнее эти мгновения. Нужно побеждать.

Джеку Лондону удалось это сделать. Конечно, не полностью сумел он «победить капиталистов по правилам их собственной игры», что сказалось на ряде страниц. Но его книги победили время и покорили многие поколения читателей.

«Россия зачитывалась Джеком Лондоном,— писал Всеволод Иванов.— Американцы... считая Джека Лондона детским писателем, объясняли любовь русских к нему слабоволием, инфантильностью, детскостью русских»¹. Ну что касается места, отводимого в литературе деловитыми земляками, то, видимо, такое нередко случается в литературе. А вот инфантильность и слабоволие... Куда точнее было бы сказать о душевной восприимчивости и отзывчивости русского читателя.

Время иное, но и сейчас точно звучат слова одного из биографов Джека Лондона: «...Нельзя не испытывать к нему симпатию, как к человеку, который мог бы стать другом каждого из нас». Джек Лондон предлагает нам свою верную мужскую дружбу, и нужно стремиться быть достойными ее.

Алексей Ерохин

¹ И в а н о в В с. Из записных книжек и дневников. М.: 1985. С. 295.

**КРАТКИЙ СЛОВАРЬ
МОРСКИХ ТЕРМИНОВ И ВЫРАЖЕНИЙ
К «ПУТЕШЕСТВИЮ НА «СНАРКЕ»¹**

Бак—носовая часть верхней палубы судна.

Балласт—груз, укладываемый в нижней части судна для придания ему устойчивости.

Бизань—самая задняя мачта, парус на этой мачте.

Бортовые отличительные огни—красный огонь на левом борту и зеленый на правом борту, выставляемые на ходу от заката до восхода в целях предупреждения столкновений со встречными судами.

Брашпиль—машина для подъема якорей, имеющая горизонтальный вал.

Бриг—двухмачтовое парусное судно с прямым вооружением.

Буй—поплавок на якорю, служащий для ограждения подводных и других опасностей на море.

Буруны—волны, разбивающиеся о берег или подводные скалы.

Бушприт—наклонное или горизонтальное рангоутное дерево, торчащее вперед с носа судна. Служит для крепления тросов (штагов), удерживающих мачту спереди, и вынесения вперед косых треугольных парусов—кливеров и стакселей.

Ванты—снасти, удерживающие с боков мачты и их верхние продолжения—стенги.

Ватерштаг—наклонный трос (или цепь), удерживающий бушприт снизу.

Вельбот—быстроходная шлюпка с заостренными носом и кормой.

Вертлюг—шарнирное соединение.

Веха—длинный шест на поплавке, служащий для ограждения опасностей и проходов для судов.

Винтовые талрепы—приспособления для обтягивания снастей, состоящие из продолговатой обоймы и двух стержней с винтовой нарезкой.

Выбирать—вытягивать, подтягивать к себе снасть или якорную цепь.

¹ Словарь составлен Ю. Медведевым.

Высота солнца — угловое расстояние солнца от горизонта, измеренное по отвесной линии — вертикалу.

Галс — снасть, которой растягиваются наветренные углы парусов. Поэтому, если ветер дует в паруса справа, то говорят, что судно идет *правым галсом*, а если слева, то *левым галсом*.

Гафель — легкое наклонное рангоутное дерево, подвешенное к мачте и шарнирно упирающееся в нее нижним концом. Служит для растягивания верхнего края (шкаторины) косого четырехугольного паруса.

Грота-гафель — гафель паруса грота.

Грот — здесь, то есть на судах с парусным вооружением типа «Кеча», самый большой парус, поднимаемый на главной, то есть передней, мачте.

Грот-мачта — здесь главная, то есть передняя, мачта, на судах с другим парусным вооружением — вторая от носа мачта.

Девияция — отклонение магнитной стрелки компаса на судне от направления, которое она занимает на земле (магнитный меридиан), под воздействием судового железа.

Док — береговое или плавучее сооружение для ремонта подводной части судов.

Дрейф — снос судна ветром.

Дрейфовать — перемещаться по ветру, не имея собственного хода вперед. Лечь в дрейф — не становясь на якорь, убрать паруса или так расположить их, чтобы они не сообщали судну движения; здесь — в положении судна носом к волне.

Иол — небольшое парусное судно с двумя мачтами: передней — гротом — большего размера и задней — бизанью — меньшего размера, парус, который не выступает за корму.

Картушка компаса — диск с делениями на румбы или градусы, скрепленный с магнитами компаса и указывающий страны света.

Катер — здесь парусно-гребная шлюпка средних размеров, имеющая острые очертания (обводы) и хороший ход. Катера употреблялись главным образом для разездов. Позднее название «катер» распространилось на все паровые и моторные разездные суда, а также на небольшие военные корабли (например, сторожевые и торпедные катера).

Кеч — небольшое парусное судно с двумя мачтами: передней — гротом — большего размера и задней — бизанью — меньшего размера. В отличие от иола (см. Иол) имеет не один, а несколько парусов на грот-мачте и косые паруса между мачтами.

Киль — продольный брус в нижней части судна, простирающийся от носа до кормы и служащий основанием, к которому крепятся остальные детали набора судна — корабельного скелета. *Плавниковый*

киль—вертикальный, утяжеленный плавник в нижней части корпуса мелких парусных судов, служащий для уменьшения их бокового сноса под действием ветра и улучшения остойчивости.

Кливер—косой треугольный парус, поднимаемый над носом судна между передним концом—ноком—бушприта и верхним продолжением—стенгой—передней мачты на снасти (штаге), удерживающей ее спереди.

Кокпит (буквально «петушиная яма») — открытый сверху, часто сообщающийся с каютной надстройкой вырез в кормовой части палубы на небольших парусных судах и катерах.

Комингс—сплошное вертикальное ограждение из досок или металлических листов, окаймляющее вырезы в палубе, для предохранения их от заливания водой, а людей—от падения в открытые отверстия. В данном случае—ограждение кокпита.

Космография—начало астрономии, касающееся взаимного расположения и движения небесных светил.

Котелок компаса—закрытый сверху стеклом сосуд, обычно наполненный спиртом, в котором на специальной шпильке с острием подвешена свободно вращающаяся картушка компаса.

Лог—инструмент для определения скорости судна и проходимого им расстояния.

Лагуна—узкий и длинный залив, параллельный берегу и отделенный от него песчаной или галечной отмелью, идущей от берега, то есть косой.

Летучий кливер—косой треугольный парус, поднимаемый при слабом ветре между передним концом бушприта и верхним продолжением—стенгой передней мачты, но не на штаге, а на отдельном тросе.

Лоция—описание морей и побережий, служащее руководством для плавания судов.

Меридиональная высота—высота небесного светила, измеренная при прохождении его через меридиан, проходящий через оба полюса, и место наблюдателя.

Миля морская—основная единица расстояния на море, равная одной минуте (1') дуги земного меридиана, или 1852 м. В США длина мили принимается равной 1853,2 м.

Морской альманах (Морской астрономический ежегодник)—астрономический календарь-справочник, содержащий в себе небесные координаты светил на каждый день года и позволяющий определять место судна в открытом море.

Навигация—здесь в широком смысле этого слова, то есть штурманская наука о вождении судов. В узком смысле этого слова—раздел этой науки, излагающий методы вождения и определения на карте ме-

ста судна по береговым предметам и путем расчета пройденного расстояния и направления (счисление).

Надстройка — закрытое помещение, расположенное выше верхней палубы судна.

Остойчивость — устойчивость судна на воде, то есть его способность, будучи накренным ветром или волной, возвращаться в прямое положение.

Отдать — отвязать, отпустить ранее закрепленную снасть или конец. *Отдать якорь* — значит отдать удерживающие его крепления, чтобы он упал за борт.

Пассаты — постоянные и довольно сильные ветры, дующие в океанах. Направление их, хотя и не всегда, строго постоянно, но сохраняется в определенных пределах (к северу от экватора наблюдаются преимущественно северо-восточные, а к югу от экватора — юго-восточные пассаты).

Плавниковый киль (см. Киль).

Поправка индекса секстана (см. Секстан).

Проложить курс — нанести на карте путь корабля.

Рангоут — буквально «кругловое дерево». На парусном судне — совокупность всех частей, служащих для несения парусов, как-то: мачты, стеньги, бушприт, рей, гики, гафели и т. п. Раньше для изготовления рангоута использовался исключительно специальный прямой и ровный корабельный лес, отчего перечисленные части рангоута получили общее название рангоутных деревьев. Впоследствии стали делать рангоут из полых металлических труб.

Рифы — а) гряда подводных камней или коралловых образований, скрытых под водой или едва выступающих над ее поверхностью; б) завязки на парусах, расположенные в несколько рядов, с помощью которых при необходимости уменьшают их площадь. *Взять рифы* — уменьшить площадь парусов с помощью рифов. *Взять по два рифа* — взять два ряда рифов. *Зарифленные паруса* — паруса, на которых взяты рифы.

Румб — деление окружности горизонта, принятое в старых морских компасах. 1 румб равен $1/32$ части окружности, или углу в одиннадцать с четвертью градусов. Это деление сохранилось и в современных морских компасах наряду с делением окружности на 360° , так как удобно для приближенной оценки направления.

Сажень (морская или английская) равна 6 футам, или 1,83 метра.

Секстан — морской угломерный инструмент. *Поправка индекса секстана* — величина погрешности секстана, которую нужно прибавить к его показаниям для получения правильного результата наблюдений.

Склонение— угол отклонения стрелки компаса от истинного меридиана вследствие несовпадения направления магнитных линий Земли с истинными меридианами.

Стаксель— косой треугольный парус, поднимаемый на штаге— снасти, удерживающей мачту спереди.

Такелаж— совокупность всех неподвижных и подвижных снастей на судне.

Тали— приспособление для получения выигрыша в силе, состоящее из двух блоков: подвижного и неподвижного,—соединенных между собой тросом.

Талреп— приспособление для обтягивания снастей.

Тамбур— небольшая надстройка над сходным люком.

Травить— ослаблять, отпускать, выпускать. **Травить шкоты** (при внезапном порыве ветра)—ослабить шкоты так, чтобы частично или полностью обезветрить паруса.

Транспортир-линейка— чертежный инструмент, служащий для прокладки курса и представляющий собой сочетание транспортира и линейки.

Угол опасности Лекки—заранее определенный по карте угол между двумя береговыми предметами, под которым они должны быть видны с судна на опасном расстоянии от берега или от подводных препятствий.

Фальшборт—продолжение борта, возвышающееся по краям открытых палуб для защиты от воды и предохранения людей от падения за борт.

Фордевинд—курс, при котором ветер совершенно попутный, то есть дует прямо в корму судна.

Форштевень—вертикальный брус, образующий острие носа судна и соединенный внизу с килем.

Фрегат—во времена парусного флота—трехмачтовый корабль, второй по величине после линейного корабля, имеющий до 60 пушек, расположенных на двух палубах: верхней, открытой, и нижней, закрытой.

Шкоты—снасти для управления нижними углами парусов. Название шкота зависит от названия паруса, для управления которым он служит, например, *грота-шкот*, *кливер-шкот* и т. п.

Шпигаты—отверстия в фальшборте или палубном настиле для стока за борт воды, попавшей на палубу.

Шпринтовый парус—четыреугольный парус, пришнурованный передним краем к мачте и растягиваемый по диагонали наклонным шестом—шпринтовым, упирающимся одним концом в верхний задний угол паруса, а другим—в нижнюю часть мачты.

Штаг—снасть стоячего такелажа, расположенная в продольной осевой (диаметральной) плоскости судна и удерживающая спереди одну из деталей его рангоута, здесь — мачту.

Штормовой грот—парус меньшего размера, чем основной грот, и поднимаемый вместо него во время шторма.

Штормовой трисель—разновидность косого паруса небольшого размера, поднимаемого во время шторма, здесь — на бизань-мачте.

Шхуна—двух- и более мачтовое судно с косым вооружением.

Ют—кормовая часть верхней палубы.

Якорные огни—белые огни, поднимаемые над носом и кормой судна, а на мелких судах — только над носом при стоянке на якоре.

СОДЕРЖАНИЕ

ПУТЕШЕСТВИЕ НА «СНАРКЕ». Перевод Е. Гуро	3
--	---

РАССКАЗЫ

Дом Мапуи. Перевод М. Лорие	179
Зуб кашалота. Перевод М. Клягиной-Кондратьевой	199
Мауки. Перевод В. Курелла	208
Ату их, ату! Перевод Р. Гальпериной	224
Страшные Соломоновы острова. Перевод Е. Коржева	237
Язычник. Перевод М. Бессараб	253
Неукротимый белый человек. Перевод М. Бессараб	271
Потомок Мак-Коя. Перевод Э. Шаховой	280
Дьяволы на Фуатино. Перевод В. Тамохина	309
Шутники с Нью-Гиббона. Перевод К. Телятникова	335
Ночь на Гобото. Перевод К. Телятникова	350
Жемчуг Парлея. Перевод Норы Галь	365
Кулау-прокаженный. Перевод М. Лорие	390
Прощай, Джек! Перевод Г. Злобина	404
«Алоха Оэ». Перевод М. Абкиной	415
Чун А-чун. Перевод И. Полетаевой	422
Шериф Коны. Перевод М. Абкиной	436
А. Ерохин. Писатель сильных	450
Краткий словарь морских терминов и выражений к «Путешествию на «Снарке»	457

Лондон Д.

Л 76 Путешествие на «Снарке». Рассказы: Пер. с англ. / Послесл. А. Ерохина; Ил. М. Петрова.— М.: Правда, 1991.— 464 с., ил.

ISBN 5—253—00526—9

Плавание Джека Лондона на парусном судне «Снарк» в 1907 году обогатило писателя массой новых впечатлений. Жизнь, быт, борьба за независимость коренных жителей Океании стали основной темой «Путешествия на «Снарке», а также рассказов, вошедших в настоящий сборник — «Страшные Соломоновы острова», «Кулау-прокаженный», «Ночь на Гобото» и др.

Л $\frac{4703010100-2667}{080(02)-91}$ 2667—91

84. 7 США

Литературно-художественное издание

Джек Лондон

ПУТЕШЕСТВИЕ НА «СНАРКЕ»
РАССКАЗЫ

Редактор Е. А. Дмитриева

Оформление художника Г. А. Раковского

Художественный редактор Т. Н. Костерина

Технический редактор Т. В. Мешкова

ИБ 2667

Подписано к печати с готовых фотоформ 14.01.91.
Формат 84×108¹/₃₂. Бумага типографская № 2. Гарнитура «Эдисон».
Печать высокая. Усл. печ. л. 24,36. Усл. кр.-отт. 24,78. Уч.-изд. л. 28,03.
Тираж 500 000 экз. (1-й завод: 1 — 250 000 экз.).
Заказ 1-419. Цена 3 р. 50 к.

Набор и фотоформы изготовлены в ордена Ленина
и ордена Октябрьской Революции
типографии имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда».
125865, Москва, А-137; ГСП, улица «Правды», 24.

Отпечатано в типографии издательства «Харьков»
Харьковского обкома Компартии Украины,
310037. Харьков, ГСП, Московский проспект, дом 247.

3 р. 50 к.